А.М. Ремизов

Сочинения



А. М. Ремизов. 1909 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



А.М. Ремизов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ПРУД

РОМАН

МОСКВА
•РУССКАЯ КНИГА•
2000

УДК 882
ББК 84Р
Р38

Издание подготовлено при содействии **Б. Б. Бунич-Ремизова, Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова**

Подготовка текста, послесловие, комментарии **А. А. Данилевского**

Вступительная статья, приложение **А. М. Грачевой**

Научный редактор тома **А. М. Грачева**

Техническая подготовка тома **О. А. Линдеберг**

Оформление **Г. Л. Шацкого**

Ремизов А. М.

Р38 Собрание сочинений. Т. 1. Пруд: Роман. — М.: Русская книга, 2000. — 576 с., 1 л. портр.

В 1-й том Собрания сочинений одного из наиболее значимых и оригинальных мастеров русского авангарда XX века Алексея Ремизова (1877–1957) вошли две редакции первого значительного произведения писателя — романа «Пруд» (1908, 1911) и публикуемое впервые предисловие к последней неизданной редакции романа (1925).

ISBN 5-268-00481-6 **УДК 882**
ISBN 5-268-00482-X **ББК 84Р**

ОТ РЕДАКЦИИ

Собрание сочинений А. М. Ремизова, выпускаемое Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук и издательством «Русская книга», является первым посмертным Собранием сочинений одного из наиболее значимых и оригинальных мастеров русского авангарда XX века.

А. М. Ремизов сам положил начало и выработал некоторые основные эдиционные принципы публикации своих сочинений. Восьмитомное собрание, подготовленное писателем для издательства «Шиповник» (СПб., [1910–1912]) и повторенное затем издательством «Сирин» (СПб., 1910–1912), было основано на жанрово-хронологическом принципе, сочетающемся с системным подходом — сохранением по возможности принципа циклизации текстов. Публикуемые произведения были тщательно откорректированы Ремизовым, избавлены от ошибок предшествующих изданий. Тексты подверглись значительной правке, результатом которой стало создание новых редакций, стилистически и семантически отличных от первоначальных. Наиболее яркий пример такой авторской работы — новая редакция романа «Пруд». Впоследствии при переиздании Ремизов отказался от ряда редакций Собрания сочинений 1910-х годов. После 1912 года он печатал свои произведения в периодике и отдельными книгами, а, начиная с 1931 и до 1949 года (тогда в Париже вышел «Пляшущий демон. Танец и слово»), издание их прекратилось. В связи с этим законченные произведения большой эпической формы («Подстриженными глазами», «Иверень», «Учитель музыки», «Петербургский буерак») печатались отрывками в периодике, причем три последних так и остались целиком не опубликованными при жизни автора.

Потребность в издании Собрания сочинений А. М. Ремизова обусловлена постоянно растущим интересом к его творчеству, интересом, который с начала 1960-х годов возник по объективным причинам сначала за рубежом, а затем и на родине писателя. Основная часть его посмертных изданий на Западе — это репринты прижизненных публика-

ций. С середины 1980-х годов нарастает количество изданий отдельных произведений Ремизова в России. Их число свидетельствует о существующей на родине писателя духовной потребности в его творчестве, но до настоящего времени качество этих изданий, за редкими исключениями, не позволяет читателю адекватно раскрыть для себя произведения Ремизова.

Рукописи большинства вещей, созданных писателем до отъезда за границу в 1921 году, не сохранились, так как уничтожались самим автором. Незначительная часть рукописей и корректур того времени хранится в рукописных отделах Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Российской национальной библиотеки, Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного Литературного музея, Российской государственной библиотеки. Рукописи и корректуры произведений периода 1923–1957 годов сохранились более полно как в российских (ИРЛИ РАН, РГАЛИ, РГБ), так и в иностранных архивохранилищах и частных собраниях (Центр Русской культуры Амхерст-колледжа (США), Бахметевский архив Колумбийского университета (США), Собрание Резниковых (Франция) и др.). Основные части ремизовского личного архива, куда входят и творческие рукописи, находятся в России (ИРЛИ РАН, РГАЛИ, РГБ), США (Центр Русской культуры Амхерст-колледжа) и Франции (Собрание Резниковых). Подобная разделенность архива повлекла за собой рассредоточение черновиков одного произведения по разным частям света. Недостаточно разработана библиография прижизненных изданий ремизовских текстов. Все это, учитывая также специфику литературной работы писателя, создававшего до семи редакций одного и того же произведения, не позволяет на современном уровне изучения творчества Ремизова предпринять труд по созданию академического полного Собрания сочинений. Коллектив авторов данного Собрания сознательно не ставит перед собой такой научной задачи, рассматривая свое издание как предваряющее последующий этап научного исследования наследия Ремизова — работу по подготовке полного академического Собрания его сочинений.

Цель создания настоящего Собрания сочинений Ремизова — представить свод основных художественных произведений писателя, дать как широкому кругу читателей, так и исследователям выверенные и прокомментированные тексты. При этом учтен опыт академического Полного собрания сочинений и писем А. А. Блока в 20 томах (М., «Наука», 1997 — продолжающееся издание) — первого научного издания наследия писателя-символиста.

Последовательность размещения материалов в каждом томе такова: текст произведений, послесловие, комментарий.

Произведения располагаются по томам в жанрово-хронологическом порядке. При этом учтены разработанные самим Ремизовым принципы публикации своих произведений и специфика эстетической системы его творчества — «жанрово-ансамблевый» характер ремизовского художественного мышления, когда автор рассматривал текст цикла произведений или сборника (книги) как особый, пользуясь термином академика Д. С. Лихачева, «жанр-ансамбль». Например, сборник «Николины притчи» (1917) представляет собой целостную художественную структуру, составленную из последовательно расположенных переработок легенд о св. Николае Угоднике. В настоящем издании отдельные произведения, вошедшие в «жанр-ансамбль», печатаются в составе такого художественного единства. Поскольку это издание не является академическим, в нем не ставится задача раскрыть во всей полноте творческую историю текстов произведений, принадлежащих как к «каноническим» жанрам, так и к «жанру-ансамблю». В целях дать в рамках ограниченного объема Собрания сочинений максимальное количество текстов Ремизова авторы издания сознательно пошли на непоследовательность подачи материала. Зачастую текст «жанра-ансамбля» представляет собой художественное целое, смонтированное из частей-произведений малых жанров, неоднократно повторяющихся в составе разных сборников или циклов. Например, в сборник сказок «Докука и балагурье» (1914) вошел цикл сказок «Русские женщины», который в дальнейшем составил основу одноименного сборника сказок (1918). В подобных случаях составители не воспроизводят сборники или циклы в целом виде, а представляют читателям составляющие их тексты в хронологическом порядке, указывая в комментарии на последовательность их вхождения в состав того или иного «жанра-ансамбля». В конце томов такого состава приведены перечни содержания отдельных сборников и циклов.

В результате научного изучения произведений Ремизова было установлено, что представление автора о процессе художественного воплощения творческого замысла не соответствует идее однонаправленного развития текста от первоначальной редакции к последней, которая тем самым является основным текстом. В применении к творчеству Ремизова определение редакций, основанное на хронологическом принципе (I-я, II-я, III-я), условно. Оно фиксирует лишь временную последовательность создания текстов. Но эта последовательность неравнозначна движению текста к основному в классическом понимании этого термина — как к наиболее полному, «лучшему» и законченному отражению творческого замысла. Ремизовские редакции — проявления бесконечного процесса творчества. Каждая из них — автономна и эстетически равноценна. В художественном сознании писателя отсутствует понятие «основной текст» в традиционном понимании. Новая редакция раннего текста — это новое самодостаточное произведение, не перечеркиваю-

щее и не отвергающее предыдущего. В свете этого о дореволюционном этапе творчества Ремизова можно говорить, основываясь на редакциях, созданных именно в те годы, хотя в иных видах те же произведения продолжали оформляться и позднее (например, серия берлинских редакций произведений 1910-х годов). В связи с этим в настоящем Собрании сочинений выбор текста для воспроизведения определяется не принципом издания его по последней авторизованной публикации или рукописной версии, а принципом издания в редакции, сыгравшей наиболее существенную роль в развитии литературного процесса. Так, например, повесть «Крестовые сестры» была одним из наиболее ярких явлений русской литературы начала 1910-х годов. В связи с этим она публикуется по редакции тех лет, а не по берлинской — 1922 года, являющейся «последней прижизненной», но имеющей значение лишь для индивидуальной творческой биографии Ремизова. Одной из задач будущего академического Собрания сочинений будет последовательное рассмотрение литературной истории каждого текста, анализ каждой редакции. Настоящее собрание такой задачи не ставит. Краткие сведения о публикациях и автографах произведений даны в комментарии. Исключение сделано лишь для тех текстов, принципиально различные редакции которых сыграли свою особую роль в литературном процессе. Такие редакции приводятся целиком, как отдельные самостоятельные произведения.

Основной принцип подачи текстов — выверка их по первоисточникам (изданию, корректуре, рукописи). Произведения, не опубликованные при жизни Ремизова, печатаются по рукописям с учетом прижизненных публикаций их частей. Устраняются цензурные искажения, а также другие не авторские изменения. Явные опечатки печатного текста (пропуск и перестановка букв и т. д.) исправляются без оговорок. В сомнительных случаях текст печатается в исправленном виде, но с оговоркой в комментариях. В необходимых случаях производится конъектурное (не опирающееся на документальные источники) восстановление текста. Допускается восстановление в угловых скобках ошибочно пропущенного автором или типографией слова. При сомнении после восстановленного слова внутри редакторских скобок ставится вопросительный знак. Неточные цитаты в текстах у Ремизова не исправляются. Сохраняются в тексте и отмечаются в комментарии фактические ошибки автора.

Общий орфографический принцип издания — максимальное применение общепринятой современной орфографии с сохранением существенных морфологических и фонетических особенностей языка Ремизова. Во всех сомнительных случаях предпочтение отдается авторским написаниям, учитывая принципиальную позицию в этом вопросе самого Ремизова: «Пишу по-русски и ни на каком другом. Русский словарь стал

мне единственным источником речи. Слово выше носителя слов! Я вслушиваюсь в живую речь и следил за речью по документам и письменным памятникам. Не все лады слажены — русская книжная речь разнообразна, общих правил синтаксиса пока нет и не может быть. Восстанавливать речевой век не думал и подражать не подражал ни Епифанию Премудрому, ни протопопу Аввакуму, и никому этого не навязываю. Перебрасываю слова и строю фразу как во мне звучит»[1]. В соответствии с волей автора и пунктуация Ремизова, выявляющая ритмико-мелодический строй речи, передается как можно более точно. Сохраняются авторские знаки, не мотивированные правилами современной пунктуации, и индивидуально-авторские комбинации знаков (сочетание запятой и тире, сочетание более трех точек, нескольких тире и т. п.), имеющие интонационное значение.

Все тексты сопровождаются подробными комментариями, цель которых — дать читателю сведения, помогающие адекватно понять сложные ассоциативные связи, исторические и культурные реалии, а также символику текстов Ремизова.

[1]Цит. по: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959]. С. 42.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА

Алексей Михайлович Ремизов родился 24 июня (6 июля) 1877 года в Москве. «Моя фамилия — Ре́мизов. Ударение на *«ре́»*, а не на *ми»*[1], — отмечал он в автобиографии 1912 года. По происхождению Ремизов принадлежал к московскому купечеству.

Отец писателя — Михаил Алексеевич Ремизов — сын крестьянина Веневского уезда Тульской губернии, был привезен в детстве в первопрестольную, где сделал карьеру от «мальчика на побегушках» до владельца собственного галантерейного магазина, двух лавок в Москве и двух — в Нижнем Новгороде и получил звание личного почетного гражданина.

Мать Ремизова — Марья Александровна — принадлежала к видному московскому купеческому роду Найденовых. В 1765 году основатель рода (прадед Ремизова) — крепостной крестьянин Егор Иванович Найденов, уроженец села Батыева Суздальского уезда Владимирской губернии, был продан владельцу шелковых фабрик, московскому купцу Колосову и стал красильным мастером, а со временем открыл собственное дело — красильню. Его сын (дед писателя) — Александр Егорович-*меньшой* расширил дело: завел ткацко-набивную и шерстопрядильную фабрику. Всем представителям найденовского рода была свойственна тяга к культуре. Так, Александр Егорович, окончивший лишь приходское училище, самостоятельно выучился французскому языку, много читал, вел своеобразную «найденовскую летопись». Всем детям (трем сыновьям и трем дочерям) он дал хорошее образование в Петропавловском евангелическо-лютеранском училище, где преподавание велось на немецком и французском языках. Самым знаменитым среди них был дядя Ремизова — Николай Александрович Найденов[2]. Он продолжил родовое торговое дело, основал и руководил Московским Торговым банком, в течение 25 лет был бессменным председателем Московского Биржевого комитета и активным гласным городской думы. «Маленький, живой, огненный» — таким запомнился он хорошо знав-

[1] РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 1. Л. 1.

[2] См.: Иванова Л. В. Общественное служение Н. А. Найденова // Отечество. Краеведческий альманах. М., 1994. С. 162–177.

шим его современникам[1]. Н. А. Найденов получил известность не только как крупный предприниматель, финансист, но и как историк, написавший немало научных трудов, и как меценат, много сделавший для сохранения и изучения московских древностей, друг И. Е. Забелина. Огромная семейная библиотека А. Е. и Н. А. Найденовых составила основу библиотеки Московского Биржевого комитета, а впоследствии была включена в фонды Российской государственной библиотеки. Говоря о своих корнях — «заветах дедовских», Ремизов с гордостью писал о Н. А. Найденове: «Нрава «задорного», <...> с огромными знаниями не только в чисто экономических и юридических науках, но и по истории и археологии, и с большим творческим полетом, весь одаренный, не похожий ни на кого, превратил он свою жизнь — свои дни в какую-то бессменную работу, без передышки, без праздников, без прогулов для крепкой и деятельной, крепко выкованной гордой русской России»[2]. По свидетельству родных, Алексей Ремизов был внешностью и нравом похож на своего дядю, что в жизни приводило обоих к неоднократным столкновениям. В юности мать Ремизова была проникнута «передовыми идеями» 60-х годов и участвовала в Богородском кружке московских нигилистов. Из-за несчастной любви она «назло» своим прежним устремлениям вышла замуж за вдовца М. А. Ремизова, бывшего вдвое старше ее. Их брак оказался несчастливым. После рождения пятерых мальчиков (один из них умер в младенчестве) Марья Александровна, забрав детей, ушла от мужа и вернулась домой. По воле опекунов-братьев они поселились на положении бедных родственников на территории их фабрики, во флигеле у Найденовского пруда. Изломанная судьба наложила печать на характер Марьи Александровны и на ее взаимоотношения с сыновьями — Николаем, Сергеем, Виктором и Алексеем. Целыми днями она сидела, запершись, в своей комнате, читая книги и мало занимаясь детьми. В восприятии Ремизова образ матери навсегда остался овеянным ореолом страдания. Именно она стала прототипом многих трагических героинь его раннего творчества.

Братья Ремизовы вначале были на попечении прислуги, а затем росли в окружении соседей — фабричных рабочих и их детей. В возрасте двух лет Алексей, ударившись о железную игрушечную печку, сломал себе нос. Это явилось для него не только физической, но и тяжелой психической травмой. Ее последствия сказались на формировании его личности, способствовали, одновременно, и образованию комплекса неполноценности («уродства»), и осознанию этого события как символического факта — наложения на него некоей печати избранничества.

[1] См.: Рябушинский В. П. Купечество Московское и День русского ребенка. Сан-Франциско. 1951. Цит. по: Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1991. С. 140.

[2] РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 1. Л. 5.

С детства Алексею Ремизову были свойственны своеволие, озорство, порой доходившее до жестоких шуток, и в то же время душевная чуткость, сострадание к чужому горю. В дневниковой записи от 1 января 1927 года он отмечал: «К слову хочу объяснить: то, что странно и непонятно людям. С детства еще я почувствовал, что когда меня хвалят, мне стыдно; а когда меня порицали я чувствовал кровную связь со всеми гонимыми. // У меня сложилось такое чувство — и выговорилось: «Я где-нибудь в сторонке — на паперти с нищими — с пойманными ворами за решеткой — в строю арестантов, которых провожают улюлюканьем, свистками — с грешниками [»]. // Так приблизительно. <...> // Образ Богородицы, которая идет в ад мучиться с грешниками для меня это не только из книг легенда, это свет, в котором живет мое сердце. // <...> Меня мучает совесть с детства — в этом я не изменился. <...> А потом я хотел (и это из детства) всегда идти и делать по-своему. Не всегда это удавалось и думаю по моей неодаренности. Теперь я могу себя расценивать. // Очень много дураков на свете и много эксплуатирующих большие духовные ценности, не неся в ничтожном своем сердце этих ценностей: // люди не доразвившиеся еще до — — обезьян. // И в мире от того-то так много смешного»[1].

С юных лет и на всю жизнь у Ремизова осталась страсть к музыке, рисованию и театру. Результатом сильной близорукости, не замеченной взрослыми до 14 лет, когда Ремизов впервые надел очки, были несколько далеко идущих последствий. Близорукость помешала Алексею, обладавшему абсолютным слухом, научиться играть на фортепьяно и «правильно» рисовать (он был изгнан за «карикатуры» с занятий в воскресных классах Училища живописи, ваяния и зодчества), а также способствовала развитию сильной сутулости, к старости сделавшей его горбатым. В то же время близорукость — вúдение мира (пользуясь выражением писателя) «подстриженными глазами» — усилила природную фантазию Ремизова, породила его рисунки «испредметных» — необычайных существ, которые возникали из цветовых пятен, пронизанных взвихренными линиями-лучами. Что касается театра, то Ремизову была присуща и любовь к нему как таковому, и постоянное стремление ввести элемент лицедейства в свою жизнь. Ремизовская «игра» — сложный, до конца еще не изученный социокультурный феномен. Она оборачивалась (зачастую одновременно) и нарочито алогичным, «грубым» мальчишеским озорством; и формой самозащиты от враждебного мира; и столь характерным для эпохи Серебряного века жизнетворчеством; и восходящим корнями к культуре Древней Руси «юродством»[2], в котором элемент театральности был связан с обличением и осмеянием неправедного «мира сего».

---

[1] Собрание Резниковых (Париж).

[2] См.: Панченко А. М. Юродство как зрелище // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 81–116.

Отец Ремизова умер в 1883 году. А годом позже Алексей вместе с Виктором поступил в 4-ю московскую классическую гимназию. Вскоре из-за слабого здоровья Виктора обоих братьев «заодно» перевели в Александровское коммерческое училище, одним из основателей и попечителей которого был Н. А. Найденов. В училище основное внимание уделялось математическим и экономическим дисциплинам. Классические языки (латинский и греческий) были исключены из преподавания. Последнее создавало для выпускников препятствие для поступления действительными студентами в университет, куда они могли быть приняты только как вольнослушатели. В 1895 году Алексей закончил училище с отличными оценками по Закону Божию, законоведению, статистике, коммерческой географии и чистописанию. Всю жизнь он был убежден, что по другим предметам его оценки были несправедливо занижены по желанию Н. А. Найденова — влиятельного члена попечительского совета училища. По воле опекунов Ремизову предназначалось занять место бухгалтера в найденовском банке. Но он настоял на своем — поступил вольнослушателем на естественное отделение математического факультета Московского университета, а также стал посещать лекции на историко-филологическом и юридическом факультетах. Тогда же Ремизов вошел в среду студенческих революционных кружков. Позднее писатель вспоминал: «Меня тронула беда и я не знал как ответить. А потом из книжных разговоров узнал, как все можно поправить. <...> Сначала мне казалось, что все можно поправить низложением правящих царя и министров, и был готов на правое дело, но такое чувство было недолго. Я поверил в марксизм и меня толкнуло на Бельтова-Плеханова»[1]. После первого курса, летом 1896 года он совершил заграничное путешествие по Швейцарии, Германии и Австрии, откуда привез сундук с двойным дном, наполненным нелегальной литературой социал-демократической направленности.

18 ноября 1896 года Ремизова арестовали за активное участие в столкновении студентов с полицией на демонстрации в память о событиях на Ходынском поле. По степени вины он был отнесен к «руководителям беспорядков»[2] и сослан на два года в Пензу. Там весной 1897 года Ремизов вошел в руководство революционного рабочего кружка. Деятельность его членов заключалась в пропаганде марксизма среди рабочих и учащихся, в установлении связей с другими кружками сходного направления, в распространении литературы и листовок. В Пензе же Ремизов познакомился со студентом московского Филармонического училища В. Э. Мейерхольдом, которого он привлек к пропагандистской работе. Вскоре полиция раскрыла нелегальную организацию и арестовала ее участников. Документы ремизовского дела в Департаменте по-

[1] Цит. по: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959]. С. 80.

[2] ГАРФ. Ф. 102 (ДП). Оп. 3. 1905 г. Ед. хр. 258. Л. 41.

лиции свидетельствуют, что на допросах он вел тонкую игру со следователями, не подведя никого из товарищей и, в частности, сумев скрыть причастность к кружку Мейерхольда. Как неоднократно впоследствии, Ремизов надел на себя маску — на сей раз далекого от жизни, неприспособленного к практической работе теоретика-марксиста, который, как сказал он сам, «крайне сожалеет о своих пензенских увлечениях, начавшихся с весны и окончившихся совершенно с первым снегом зимы 1897 г.»[1]. В итоге по постановлению суда Ремизов был сослан на три года в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции. 1900–1903 годы он провел в Устьсысольске и Вологде.

В начале XX века Вологду называли «Северными Афинами», столицей ссыльного края. В те годы в ней одновременно отбывали ссылку многие позднее известные деятели русской культуры и политики: Н. А. Бердяев, А. В. Луначарский, А. А. Богданов-Малиновский, Б. В. Савинков, П. Е. Щеголев и другие.

Для писателя годы вологодской ссылки стали во многих смыслах поворотным временем. Его философские и политические взгляды изменились. Ремизов окончательно отверг революционный путь переустройства мира. Свои убеждения он открыто отстаивал и в теоретических спорах с ссыльными революционерами (в первую очередь с Б. В. Савинковым), и в практической борьбе за судьбу любимой девушки — своей будущей жены — С. П. Довгелло, «спасенной» им от судьбы казненного террориста И. Каляева. В Вологде Ремизов окончательно осознал свое творческое призвание. В 1902 году в газете «Курьер» под псевдонимом «Н. Молдаванов» появилась его первая публикация — восходящий к зырянскому фольклору «Плач девушки перед замужеством»[2]. М. Горький, рекомендуя произведение Ремизова редактору беллетристического отдела газеты Леониду Андрееву, писал: «„Плач девушки" — ей-богу — хорош!»[3] В Вологде же Ремизов встретился со своим литературным «крестным» — ссыльным студентом-филологом П. Е. Щеголевым. Суть «учительской миссии» Щеголева заключалась в том, что именно он открыл для начинающего писателя, начитанного в нелегальной литературе, мир запрещенных книг другого рода — пространство древних апокрифов. Для осознания причин обращения Ремизова к подобным текстам важна научная концепция книги Щеголева «Очерки истории отреченной литературы. Сказание Афродитиана» (СПб., 1900) — студенческой работы, изданной по рекомендации академика А. Н. Веселовского. Щеголев модернизировал истолкование значения и внеэстетической функции апокрифов. Фактически он проводил скрытые параллели между прошлым и настоящим, как бы сопостав-

[1] ГАРФ. Ф. 102 (ДП). Оп. 3. 1903 г. Ед. хр. 2081. Л. 10 об. — 12 об.
[2] Курьер. 1902. № 248. 8 сент.
[3] Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 1997. Т. 3. С. 92.

ляя древнюю и новую запрещенные литературы. Практический революционный опыт Ремизова повлек за собой не только «разочарование» в телеологизме, абсолютизации экономического и социального факторов развития общества, в историческом оптимизме марксизма, но и поиск новых философских ориентиров. Еще в Пензе он «открыл» для себя европейскую «новую драму», творчество французских, польских и русских символистов, философию Ф. Ницше. Известно, что в устьсысольской колонии ссыльных Ремизов имел прозвище «Декадент». Но у писателей и философов нового времени он не нашел приемлемого для себя решения проблемы теодицеи, объяснения причин существования Зла, безмерных человеческих страданий. Свои ответы на эти вопросы давали отреченные книги. Через Щеголева Ремизов узнал об исследовании А. Н. Веселовского «Разыскания в области русского духовного стиха» (СПб., 1880–1891). Начинающий писатель обнаружил в исследовании Веселовского изложение целого комплекса народных космогонических, антропогонических, эсхатологических, фаталистических и прочих идей, лежащих в основе ряда еретических учений, в частности, ереси богомилов, чьи представления во многом восходили к воззрениям гностиков. Воздействие этого научного труда на развитие философских, религиозных и эстетических воззрений Ремизова было настолько серьезным, что в каких-то отдельных областях сохранилось до конца его творческого пути. Начиная с вологодского периода и кончая временем после второй мировой войны, исследование Веселовского стало для писателя неисчерпаемым источником литературных сюжетов.

В Вологде Ремизов создал первую редакцию романа «Пруд» (1902–1903). Это был опыт эстетической аккумуляции онтологических и гносеологических представлений, сюжетов и образов апокрифической литературы. Уже в первом крупном произведении Ремизова проявилась характерная черта его творческого метода: для писателя герои и факты из собственной «реальной» жизни были художественными составляющими текста, равнозначными «чужим» (вымышленным или заимствованным) героям и сюжетам. По сути, «Пруд» стал одним из первых русских экзистенциальных романов. Каждый из персонажей был частью авторского «я» — единственного самодостаточного и все заполняющего героя романа. На первый взгляд, сюжет «Пруда» основан на перипетиях судьбы Николая Финогенова, и внешность, и биография которого во многом совпадали с авторскими. На деле сюжет романа — внефабульный, это — история изменения авторского самосознания. В связи с этим движение сюжета понятно только в контексте развития мировосприятия Ремизова, происходящего симультанно процессу работы над произведением. И здесь существенную роль играло усвоение автором (ссыльным революционером) космогонических, антропогонических и эсхатологических представлений, сохраненных в апокрифической литературе. Та-

кого рода литература стала базой для формирования идейной концепции произведения и непосредственным источником его отдельных сюжетных мотивов. Моделируя макрокосм романа, Ремизов опирался на апокрифические легенды о начале и конце мира. Само название романа («Пруд») возникло на основе контаминации мифа (пересказанной Веселовским космогонической легенды «О тивериадском море») и бытовой реалии (того самого Найденовского пруда, на берегу которого прошло детство писателя). Подобный художественный принцип был основополагающим для всего произведения. Авторский метод заключался в последовательной трансформации объекта художественного творчества: от реалии к символу, от символа к мифу.

Творчески аккумулируя представления, заимствованные из различных источников, Ремизов создал свой авторский миф. Его выражением стал ремизовский эсхатологический апокриф о Втором Пришествии и конечных судьбах мира сего. Этот апокриф органично проистекал из переосмысления автором эсхатологического оптимизма марксизма (центральная проблема, над которой он раздумывал в вологодской ссылке). Увидев воочию революционеров и их дела, Николай Финогенов убеждался в умозрительности их учений. В романе это показано посредством приема символического параллелизма: ложность телеологической веры революционеров в их способность насильственным путем преобразить мир раскрывалась через ремизовский миф о невоскресшем Христе. В контексте последовательно проведенной в романе зеркальной оборачиваемости идей апокрифических сказаний дальнейшим развитием ремизовского эсхатологического мифа была подмена Христа вечным соперником и «братом» Бога — Сатанаилом. Сюжетная кульминация произведения — попытка насильственным методом преобразить мир — дана Ремизовым через систему символических соответствий. Высшая ступень символического обобщения — совершенное Николаем убийство дяди «Антихриста» (отдаленным прототипом этого героя был Н. А. Найденов) с предварительным показом ему фотографии пруда. Это — зашифрованное в «реалеподобных» образах сакральное действо — попытка свержения Антихриста. Фотография пруда — эмблематический символ мира, с момента своего появления из водной стихии находящегося под властью Сатанаила и его детища — Антихриста. Николай ассоциировал себя с Мессией, но в системе символических соответствий он оказывался лишь ложным претендентом на роль Христа. Это подтверждалось характерным «художественным жестом» — формой гибели героя. Он выбрасывался из окна — т. е. низвергался вниз, в бездну Невоскресения. Преображения мира не происходило, поскольку ему не предшествовало Воскресение.

31 мая 1903 года закончился срок пребывания Ремизова в ссылке, и он покинул Вологду, увозя оттуда рукописи романа и ряда других, так-

же еще не опубликованных произведений, в основном — стихотворений в прозе. 1903–1905 годы — время странствования Ремизова с С. П. Ремизовой-Довгелло и дочерью Наташей, родившейся 18 апреля 1904 года, по южным областям Российской империи (Херсон, Николаев, Елизаветград, Одесса, Киев). Писателю и его жене было запрещено проживание в столичных городах, поэтому очень кстати пришлось предложение, полученное Ремизовым от В. Мейерхольда, — стать заведующим репертуарной частью в организованном им «Товариществе новой драмы». Приняв эту должность, Ремизов стал «духовным собратом» режиссера-новатора. Он активно участвовал в формировании той части репертуара, которая и оправдывала название антрепризы Мейерхольда, занимался подбором пьес представителей европейской «новой драмы», правкой имеющихся переводов и созданием новых. Так он перевел основной корпус пьес М. Метерлинка и Ст. Пшибышевского, драмы Г. фон Гофмансталя, А. Стриндберга и других. В херсонский сезон 1903/04 года спектаклем-манифестом пропагандируемого Мейерхольдом «нового искусства» стала драма Ст. Пшибышевского «Снег», шедшая в переводе С. и А. Ремизовых. При этом Ремизов выступал не только как автор перевода, но и как (по его собственному выражению) «настройщик» актеров — т. е. фактически помощник режиссера. Он же был автором анонимной статьи, разъяснявшей зрителю смысл театрального эксперимента Мейерхольда: «Символическая драма, как один из главных побегов искусства, стремится к синтезу, к символу (соединению) от отдельного к целому. В этом и вся идейность такой драмы, но, чтобы ее уловить и заметить, необходима аккомодация (приспособление) духовного зрения: мы так привыкли искать в искусстве воспроизведения жизни, новой ли, старой ли, ее смысла или бессмыслицы, цели и т. д., что попытку разбить стены повседневности и представить бьющуюся душу человеческую легко и проглядеть. А раз это просмотрено, такая драма теряет всякую ценность и смысл, и даже интерес»[1]. Херсонская публика не восприняла ни постановку, ни саму «новую драму» Пшибышевского. У писателя разочарование в успехе пропаганды нового драматического искусства в среде неподготовленной провинциальной публики соединилось с чувством недовольства теми отношениями, которые сложились у него с Мейерхольдом, что в итоге привело к уходу Ремизова из «Товарищества». На сезон 1904/05 года Ремизов остался в Киеве, не поехав с труппой в Тифлис.

Киевский период — один из самых мрачных в жизни писателя. Литературных заработков не было, семья существовала за счет случайных репетиторских уроков его жены. В это время Ремизов создал повесть «Часы» (1904; опубл. 1908) — одно из своих самых пессимистических

[1] <Без подписи> [Ремизов А. М.]. Городской театр // Юг (Херсон). 1903. № 1657. 19 окт. С. 2.

произведений. В дарственной надписи С. П. Ремизовой на экземпляре повести он писал: «О происхождении Часов: это самое больное, о чем со стыдом вспоминаю: это в Киеве — когда ты кормила Наташу и на уроки ходила, а я писал. Была еще большая тетрадка — там вроде стихов — тогда же «обрабатывалась». Помню комнату, почему-то помню всегда, однооконная, узкая и тут же кровать складная походная, и дверь, где ты с Наташей. Пожар помню. Я взял рукопись эту «Часы», икону и Наташу. <...> Это память начальная — пробивания моего в „люди"»[1]. В октябре 1904 года Ремизов подал прошение в Департамент полиции о разрешении жить в Петербурге. Он связывал с переездом в столицу много надежд, о чем свидетельствует, в частности, его письмо жене от 26 июня 1904 года: «Мечтаю о Петербурге. Там я не буду на «родине», а буду у «чужих», т. е. и сам буду другим. Хожу своим шагом и говорю «акая» только в Москве. Но и ненавижу я эту Москву, кровно любя. <...> В «Пруду» я всю правду написал, только сумел ли? <...> Но говоря так, в черной волне, я забыл все тепло — дыхание «родного», забыл благовест, распевы, Пасху — колыбельную Москву неповторимую <...> Найду ли я в Петербурге у чужих в чужом городе хоть тень от этого «невечернего» света? <...> // Человеческие души разные и разными проходят жизнь. Какое же может быть общее «служение»? Надо победить свою отдельность и не замечать, но и другие должны забыть тебя и соединиться с тобой в игре «не в твое и не мое». // А это над тобой — миф. // Миф — сверхвозможное, сверхмогучее — на что смотришь снизу вверх»[2]. Ремизов с семьей переехал в Петербург в начале 1905 года, получив при помощи друзей (Н. А. Бердяева и Г. И. Чулкова) место технического сотрудника в журнале «Вопросы жизни». Там он сразу вошел в литературный круг писателей-символистов, заняв в нем особое — «внефракционное» — положение.

В эти годы Ремизов сблизился с поэтом Вяч. Ивановым — одним из теоретиков русского символизма, стал одним из постоянных участников ивановских «сред» на Башне. На этих собраниях он познакомился со многими петербургскими литераторами, философами и художниками. Духовное сближение Ремизова и Иванова было вызвано созвучностью их тогдашних воззрений на природу художественного творчества и задачи современного искусства, ищущего пути к народной душе. Для Ремизова середина 1900-х годов — время обращения к народному творчеству и интенсивного самопознания истоков своего интереса. Легенда, сказка, полузабытый обряд или быличка — все это, по Ремизову, оскол-

---

[1] Надпись на обложке форзаца изд.: Ремизов А. Часы. СПб., 1908. — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 61.

[2] Ремизов А. На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло. Подгот. текста и коммент. А. Д'Амелия // Europa Orientalis. 1987. № 6. С. 271–272.

ки народного мифа, воскресить который — миссия писателя. Эта идея была наиболее четко заявлена в его открытом письме в редакцию ряда газет и журналов, вызванном обвинением в плагиате, которое возникло по поводу его обработок народных сказок[1]. Декларация Ремизова была тесно связана по идеям и словесным формулировкам со статьями Вяч. Иванова «О веселом ремесле и умном веселии» (1907) и «Две стихии в современном символизме» (1908). В ней Ремизов фактически подтверждал свою близость к тому «грядущему мифотворчеству», которое пропагандировал Иванов. Последний воспринимался Ремизовым как идеолог художественного направления, родственного ориентации его эстетического самосознания. В связи с этим закономерно то, что первое отдельное издание своего цикла сказок «Посолонь» (М., 1907) писатель посвятил трехлетней дочери Наташе и Вяч. Иванову: ребенку — естественному объекту и субъекту мифа, и теоретику, обосновавшему роль мифотворчества в истории культуры.

В «Посолони» Ремизов обратился к восстановлению мифа, скрытого под поздними наслоениями; к раскрытию истоков изначальной гармонической целостности мира. В сказках этого цикла «пóсолонь» (по ходу движения солнца) сменялись времена года, и каждому из них соответствовали древние, подчас забытые обряды, отголоски которых сохранились в сказках, загадках, считалках, детских играх. Ремизову удалось достичь органичного соединения двух эстетических задач — создания «истинно» символистского произведения и достижения той чаемой художниками начала века «простоты», которая «возвращала» миф его носителю, в данном случае — ребенку. Для писателя «Посолонь» на всю жизнь осталась самой любимой книгой. В дарственной надписи жене на ее первом издании он отмечал: «Первая книга моя «бескорыстная». Всегда хочется что-то сказать, о чем-то передать, с чем-то борешься, что-то защитить, а тут — в этой книге — так. Просто так. Так птицы поют. (как нам — людям — кажется “бескорыстно”)»[2]. Книга была единодушно высоко оценена в художественной среде (А. Блок, Андрей Белый, Вяч. Иванов и др.). М. Волошин писал: «“Посолонь” — книга народных мифов и детских сказок. Главная драгоценность ее — это ее язык. <...> Ремизов ничего не придумывает. Его сказочный талант в том, что он подслушивает молчаливую жизнь вещей и явлений и разоблачает внутреннюю сущность, древний сон каждой вещи. Искусство его — игра <...> Призвание Ремизова быть сказочником-сказителем, ходить по домам <...> и, кутаясь в свой вязаный платок, рассказывать детям и взрослым своим таинственным, вкрадчивым голосом бесконечные фан-

---

[1] См.: Русские ведомости. 1909. № 205. 6 сент. С. 5.; перепеч. в журн. «Золотое Руно». 1909. № 7–9. С. 147.

[2] Надпись на шмуцтитуле изд.: Ремизов А. Посолонь. М., 1907. — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 59.

тастические истории про забытых и наивных человеческих богов»[1]. Начиная с «Посолони», жанр литературной сказки, основанной на фольклорной основе, стал одним из основных в творчестве писателя (сборники «Докука и балагурье» (1914), «Укрепа» (1916), «Русские женщины» (1918) и др.).

События революции 1905 года явились первой практической проверкой тех доктрин, за увлечение которыми Ремизов заплатил десятилетием своей молодости и которые были столь трудно «изжиты» им в вологодский период. В 1907 году в издательстве Вяч. Иванова «Оры» был опубликован сборник ремизовских апокрифов «Лимонарь».

Основным текстуальным и идейно-тематическим источником ремизовских апокрифов сборника «Лимонарь» было то же исследование Веселовского «Разыскания в области русского духовного стиха». «Лимонарь» обладает внутренней целостностью. В своем цикле писатель «исследовал» природу революции 1905 года, характер ее движущих сил и влияния на народную судьбу. Для этого он обратился к древнерусской апокрифической литературе, к заключенным в ней религиозным, философским и эстетическим представлениям.

Ремизов не пытался «реконструировать» средневековое мышление, в котором, как показал А. Н. Веселовский, органично соединялись древние языческие и христианские представления. Он постарался понять систему, парадигмы и художественную образность этого мышления, потому что считал его в каких-то базисных элементах живой составляющей современного мышления русского народа.

Ремизовские апокрифы — не стилизации под старину. Соединение принципа символизации, характерного для средневекового мышления и, в частности, для его художественного типа, со свойственным символизму нового времени принципом «презумпции» параллелей и соответствий позволило писателю создать цикл художественно целостных произведений, по жанру являющихся «апокрифами» (т. е. произведениями, «отреченными» по содержанию и многообразными по форме). В изображении Ремизова революция — это безумный вихрь, стихийная «плясавица», все разрушающая и несущая хаос («О безумии Иродиадином, как на земле зародился вихорь», «Гнев Ильи Пророка, от него же сокрыл Господь день памяти его»). Ее гибельность заключена в том, что запланированное революционерами насильственное создание «нового неба» и «нового человека» является делом, неорганичным для народа («Отчего нечистый без пят и о сотворении волка»). В использованной писателем системе символических соответствий это деяние ассоциировалось с постоянными попытками сил Зла разрушить предустановленное Богом («Вещица, имен которой двенадцать с половиной»). По Реми-

[1] Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 508–509, 515.

зову, природа самого человека — двойственна, он — создание и Бога, и Сатанаила, но стремление через смерть победить Смерть и вело только к ней же.

Публикация сборника вызвала значительный интерес в среде медиевистов. С конца 1900-х годов установились дружеские контакты Ремизова со многими известными учеными, такими, как А. А. Шахматов, А. И. Яцимирский, Е. А. Аничков, М. Н. Сперанский, И. А. Шляпкин, И. А. Рязановский и другими. О их взаимоотношениях свидетельствуют многочисленные архивные материалы, а также произведения самого писателя. Его увлеченность древнерусской культурой повлияла на дальнейшее духовное развитие С. П. Ремизовой-Довгелло, по совету Вяч. Иванова поступившей учиться в Санкт-Петербургский Археологический Институт (1910–1912) по специальности «Русская палеография». Фактически Ремизов занимался вместе с ней и приобрел уже не дилетантские, а серьезные научные знания в области русских древностей и, в частности, в сфере палеографии славянских рукописей. Тогда же он научился писать, пользуясь древним славянским алфавитом — глаголицей. В системе эстетического самопознания писателя *глаголица* изначально приняла на себя не только «компенсаторную» функцию средства его приобщения к избранному научному миру, но и функцию «сакрального языка» — атрибута эзотерического знания, что находилось в русле тогдашних интересов русских модернистов к всевозможным «тайным доктринам».

1910-й год знаменателен в творческой биографии Ремизова как год создания повести «Крестовые сестры». После ее появления критики заговорили о писателе как равноценном продолжателе традиций мастеров русской прозы XIX века. Наряду с романом Андрея Белого «Петербург» повесть «Крестовые сестры» стала одним из произведений, завершающих петербургский период русской литературы. Как и в романе «Пруд», Ремизов художественно исследовал в ней те же, центральные для него проблемы теодицеи и причин человеческих страданий. Фабульная основа произведения — история трагической судьбы отставного чиновника Маракулина. Но эта «реалия», будучи спроецированной, а затем и включенной в «петербургский текст»[1] русской литературы (цитатный контекст произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского), трансформировалась в символ, который имел мифологические первоистоки. В системе символических соответствий финальное самоубийство выбросившегося из окна Маракулина представало новой несвершившейся попыткой уподобить себя Спасителю — принять на себя

[1]См.: Топоров В. Н. О «Крестовых сестрах» А. М. Ремизова: поэзия и правда. Статья 1-я//Уч. зап. Тартус. гос. ун-та. 1989. Вып. 857. С. 138–158; О «Крестовых сестрах» А. М. Ремизова: поэзия и правда. Статья 2-я//Уч. зап. Тартус. гос. ун-та. 1989. Вып. 822. С. 121–138.

«крестные мучения» ради освобождения мира от власти Сатанаила.

Для Ремизова 1912 год — это время подведения итогов и начало нового этапа творчества. В 1912 году завершился выпуск его Собрания сочинений в восьми томах (опубликовано в издательстве «Шиповник»; тот же набор с библиографическими дополнениями был повторен издательством «Сирин»). Оно имело продуманную структуру и представляло читателю целостную картину творчества писателя. Сравнение ранних редакций произведений Ремизова с редакциями Собрания сочинений позволяет увидеть динамику изменения авторского мировоззрения, движение от тотального пессимизма к обретению позитивных ценностей, которые Ремизов искал в глубинах народного миросозерцания.

Повесть «Пятая язва» (1912) стала одним из центральных произведений Ремизова, посвященных исследованию сути народного характера на протяжении русской истории от древнейших времен до современности. Главный герой повести, следователь Бобров, трагически отделен от своего народа, который он считает себя вправе судить и осуждать. Как это характерно для Ремизова, «реальный» сюжет из жизни российской провинции базировался на множественных символических аллюзиях и отсылках к образам, ситуациям, конфликтам, взятым из древнерусских исторических и публицистических произведений. В число основных источников повести входили апокрифы «Слово Мефодия Патарского о царствии язык последних времен» и «Хождение Богородицы по мукам». Вся повесть представала как цепь «судов»: реальных и «мысленных» — судов совести героев. Главное «судебное дело» Боброва — написание «обвинительного акта» русскому народу. Это — публицистическое сочинение, построенное на виртуозном переплетении отдельных мотивов, скрытых цитат, стилистических формул древнерусских памятников. На основе их тончайшей контаминации Ремизов создал актуальное произведение, не являющееся стилизационным подражанием публицистике начала XVII века. Сюжетное развитие повести было подчинено раскрытию становящейся все более многозначной темы Страшного суда. По мере движения к финалу начинал осуществляться Высший суд, но над тем, кто взял на себя право судить и осуждать свой народ. Финал произведения — смерть героя от сердечного приступа — был одновременно моментом его нравственного прозрения. К концу повести все более частотными становились скрытые цитаты из апокрифа «Хождение Богородицы по мукам». Бобров «сходил в муку», но в этом для Ремизова заключалось высшее прощение героя, его слияние, хотя бы в момент смерти, с единой душой народа.

Ко времени второй русской революции Ремизов был признанным писателем, в художественное мировосприятие которого органично и прочно входили представления и категории древнерусской культуры. Только учитывая это, можно адекватно понять общественно-политиче-

ские и эстетические взгляды Ремизова периода 1917–1921 годов, когда на его глазах совершалась новая попытка сотворения в России «новых» неба, земли и человека.

Еще в середине 1900-х годов у Ремизова в общих чертах сформировалось представление об историческом процессе как процессе развития народной души, ходу которого присущи не механическая динамика прямолинейно восходящего, поступательного движения, а как бы постоянное вращение внутри системы кругов, одновременно и сходных и отличных друг от друга. Во времена, близкие к событиям революции 1905 года, в основе теологических воззрений писателя лежало еретическое в своей основе представление (авторский миф о невоскресшем Христе). Спроецированное на предопределенность исторической судьбы России, оно обусловливало тупиковость ее пути, как пути «затворенного», «псоглавого» народа. «Лимонарь» заканчивался картиной тотальной победы Зла. В 1910-е годы безысходный пессимизм Ремизова постепенно трансформировался в осознание телеологической целесообразности страдания. Крестовый подвиг Христа был осознан им как провиденциальный символ пути России, страны «крестовых» сестер и братьев, чье развитие проходит по кругам очищающих ее страданий. Подобная концепция предопределила отношение Ремизова к новой попытке насильственного создания «нового мира».

В период 1917–1921 годов Ремизов пережил новый творческий подъем. Метафизически он воспринял революцию как мировой пожар, в огне которого происходит уничтожение старого и рождение нового и в мире, и в его собственной судьбе. Надо учитывать, что Ремизов, завоевав к 1917 году прочную литературную репутацию мастера прозы, тем не менее становился все более внутренне чужд литературной среде. В дневниковой записи 30-х годов он вспоминал: «Я и сам того не знал, что только с революцией я вздохнул. Детство мое было жестокое, юность ожесточенная, литературная жизнь — тернистая <...> Писательская среда — мерзкая. Или на показ или пошлость. И никакой «убежденности». Я с детства думал поджечь: началось это с игрушечной печки, это была та самая печка, на которую я дряпнулся — только не помню, что меня тогда обидело, но я в печке разложил огонь. Потом я сжег все свои дневники. И я радовался всякой разорвавшейся бомбе. Я не видел исхода — как только поджечь»[1]. О преображающей силе революционного пожара Ремизов писал в хронике «Всеобщее восстание» (1918), в переработке высказываний философа Гераклита «Электрон» (1919), книге «Огненная Россия» (1921).

Однако писатель не принял ни Февраля, ни Октября 1917 года как конкретных социально-политических явлений. Он увидел в них этапы

[1]Собрание Резниковых (Париж).

трагического слома в историческом развитии России, наступление нового «Смутного времени», результат осуществляемого небольшой кучкой людей манипулирования народной темнотой. По Ремизову, случившееся в России — проявление уже свершающегося Высшего Суда над русским народом. Россия погружалась в муку, но за страданием чаялось очищение — залог грядущего Воскресения.

Конец 1917–1918 годов стал периодом беспрецедентной публицистической активности Ремизова. В «Простой газете», «Воле народа», «Вечернем звоне», «Воле страны» и других Ремизов опубликовал ряд притч, основанных на древнерусских источниках. Эти повествования о легендарных героях — святых и подвижниках — включались писателем в контекст реальной действительности и превращались в актуальные отклики на современность. Другим видом ремизовской публицистики были прямые обращения к читателю, как анонимные, так и подписанные псевдонимами. Так, например, в «Новой простой газете» под псевдонимом «Сергей Скрытник» было опубликовано произведение «Зазыв//письмо первое//Скрытникам и молчальникам»[1]. Ремизов-публицист призывал читателей пробудиться от немотствующей покорности, которая ведет каждого к потере самого себя, а всех вместе — к превращению в проклятый «затворенный» народ. При этом в публицистике он проводил прямые параллели между Смутой XVII века и современностью, что должно было актуализировать историческую память читателя и напомнить, что только путем деяния, противодействия удалось преодолеть ту, первую Смуту и возродить Россию. Закономерным явлением эстетического самосознания Ремизова стало вершинное произведение его публицистики – «Слово о погибели русской земли» (1917). Уже современники отмечали его прямую связь (тематические и текстуальные параллели) с «обвинительным актом русскому народу» — «плачем над разоренностью русской земли», написанным героем «Пятой язвы» Бобровым. Однако «Слово о погибели» было отражением следующего этапа в развитии историософской концепции писателя. «Плач» Боброва — это монологический текст — сочинение литературного персонажа. В нем были использованы художественные приемы древнерусской литературы, цитаты из источников. Но авторская позиция в этом «плаче» была точкой зрения единичного человека, противопоставившего себя России. Ремизовское «Слово о погибели» — полифонический текст, в котором голос автора был фактически одним из голосов хора. Художественная структура произведения — сложный сплав риторических вопросов, плачей, приговоров, притч и пророчеств о судьбе России. Тема гибели переходила в тему «последних времен» и наступившего Страшного Суда. Звучали голоса пророков Исайи и свя-

[1]Новая простая газета. 1917. № 1. 26 нояб. С. 4.

того Иоанна Богослова. После апокалиптических пророчеств в повествование впервые включался голос самого Ремизова — в текст введены прямые цитаты из его Дневника тех лет. В финале какофония перебивающих друг друга голосов превращалась в слитное звучание хора, завершающегося христианским песнопением. Русь вставала на свой крестный путь, и в этом для Ремизова был залог грядущего Воскресения. «Слово о погибели» явилось произведением нового синтетического жанра. Его создание шло в русле главного направления ремизовской публицистики революционных лет – снять печать с «затворенных уст», дать заговорить самой России — от духовной элиты до тех, чьи голоса угасли во времени.

Проявлением отношения Ремизова к большевистской диктатуре, один из декретов которой запрещал свободу печати и деятельность «контрреволюционных» партий, стало создание им новой своеобразной «игры», оказавшейся самой длительной в его жизни – Обезьяньей Великой и Вольной палаты (Обезвелволпала)[1]. Фантастические основатели этого «тайного общества» — обезьяны – были сродни гуингнгмам — благородным лошадям, в страну которых попадал в одном из путешествий свифтовский Гулливер. Ремизовские обезьяны презирали несвободу и насилие, царящие в человеческом сообществе, и принимали в свою Палату лишь тех, кто любым способом противостоял такому миропорядку. Во главе Обезвелволпала стоял никем не знаемый и никогда не видимый царь Асыка-Валахтантарарах-тарандаруфа-Асыка-Первый-Обезьян-Великий, а всеми делами управлял бывший канцелярист Обезвелволпала, cancellarius Алексей Ремизов. Последний рассылал от имени Асыки грамоты людям, принятым в члены Палаты и становившимся служками, кавалерами и князьями Обезвелволпала. Истоки атрибутики и персоналий «игры» восходили к 1908 году, когда царь Асыка впервые появился как комический персонаж в ремизовской пьесе «Трагедия о Иуде принце Искариотском», и к 1910–1912 годам, когда литератор увлекся перепиской с друзьями на глаголице, ставшей впоследствии «тайнописью» Обезвелволпала. Однако идеологическая концепция «игры» в Обезвелволпал всецело относилась ко времени периода «военного коммунизма» и была основана на скрытой под ернической маской оппозиции большевистскому режиму. Одно из «заседаний» этого общества периода 1920 года зафиксировал в своих воспоминаниях художник В. А. Милашевский: «Михаил Алексеевич [Кузмин. — *А. Г.*] предложил мне отправиться вместе на заседание «Обезьяньей палаты» к ее Верховному магистру Алексею Михайловичу Ремизову. <...> Стали подходить рыцари Капитула. Вячеслав Шишков. <...> Замятин Евгений Иванович. <...> Юрий Верховский <...> Вот и все собравшиеся в этот первый вечер

[1]См.: Обатнина Е. Р. «Обезьянья Великая и Вольная Палата» А. М. Ремизова: история литературной игры. Автореферат канд. дис. СПб., 1998. С. 17.

моего знакомства. Скоро все сели за стол <...> — Кушайте! Кушайте! — говорил Алексей Михайлович. — Чем богаты, тем и рады!.. Это ведь присыпано толченой печенью Черного Ворона!.. Попробуйте-ка достать!//Потом, понизив голос до шепота, со значительным видом и убежденностью старого знахаря: — Спасает от внезапных арестов!.. Только этим и живем! А то бы!..»[1] Несмотря на присущее мемуаристу стремление к литературному приукрашиванию фактов, в воспоминаниях зафиксировано характерное для стиля общения членов Обезвелволпала смешение дружеской шутки с политически ориентированной издевкой над парадоксами революционной действительности. В 1917–1921 годах вступление в члены Обезвелволпала стало для многих значимым жестом, в котором модернистская «игра с реальностью» сочеталась с нравственной оппозицией реалиям современности. Характерно, что в число князей Обезвелволпала вошел автор «Несвоевременных мыслей» М. Горький, что незадолго до ареста о чести вступить в Палату просил Ремизова Н. Гумилев. Титул «епископа обезьянского Замутия» носил Е. Замятин, в чьем романе «Мы» мир свободных людей за Зеленой Стеной в значительной степени был основан на парадигмах обезьяньего царства свободы Ремизова[2]. Кавалерами обезьяньего знака были А. А. Ахматова, Андрей Белый, В. В. Розанов, Ф. К. Сологуб, А. Ф. Кони и многие другие. В феврале 1919-го Ремизов был арестован ЧК в связи с преследованиями эсеров, в чьих изданиях он печатался. Характерно, что в книге «Взвихренная Русь» (1927), в которой писатель синтезировал хронику своей жизни, исторических событий и произведений революционных лет, он включил историю своего пребывания в петроградской ЧК (на Гороховой улице) в раздел «Обезвелволпал», назвав его «хождение по Гороховым мукам б. канцеляриста и трех кавалеров обезвелволпала»[3]. С 1920 года Ремизов начал хлопоты о разрешении на выезд и покинул Россию 7 августа 1921 года.

С 1921 по 1923 год Ремизов пробыл в Берлине, где участвовал в работе собраний берлинских Дома искусств, Клуба писателей, Вольной философской ассоциации (Вольфилы). Русский литературный Берлин представлял тогда некое пограничное пространство, специфика которого состояла «в беспрецедентной интенсивности «диалога» метрополии и эмиграции внутри данного острова русской культуры»[4]. Для самого Ремизова вопрос о возвращении на родину тогда еще не был окончательно решен. Так, в письме С. М. Алянскому от 21 января 1922 года он

[1] Милашевский В. Вчера, позавчера... Воспоминания художника. 2-е изд. М., 1989. С. 155, 157–159.

[2] См.: Грачева А. М. Алексей Ремизов — читатель романа Е. Замятина «Мы»//Сб.: Творческое наследие Евгения Замятина. Кн. 5. Тамбов, 1997. С. 6–21.

[3] Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж, 1927. С. 274.

[4] Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921–1923. Paris, 1983. С. 2.

сообщал: «Я себя за эмигранта не считаю, а лишь за временно живущего вне России, как на санатории для восстановления потерянных сил»[1]. Сохранились архивные данные, свидетельствующие, что в конце 1923 года Ремизов подавал в Консульский отдел Советской России документы для получения разрешения для себя и жены на возвращение на родину[2]. Все обстоятельства и причины окончательного решения писателя остаться в эмиграции еще нуждаются в дальнейшем исследовании, но фактом остается то, что 5 ноября 1923 года Ремизовы переехали в Париж.

Годы парижской эмиграции стали для Ремизова временем плодотворного труда. 1920–1930-е — период обдумывания и создания основных книг писателя, основанных на автобиографическом материале. Погружение в глубины своего «я», в воспоминания стало неисчерпаемым источником творчества Ремизова. При этом он понимал «память» не только как «реальные» воспоминания, но и как глубокую «прапамять» о своих реинкарнациях на протяжении веков. Парадокс эмигрантского периода творчества Ремизова (с конца 1920-х и до 1949) заключался в том, что тогда он работал над несколькими крупными произведениями сразу, сумел их завершить, но условия эмигрантского печатного дела помешали их публикации в виде отдельных книг. Это привело, во-первых, к тому, что книги эти оказались опубликованными в периодике в виде отдельных глав и частей, представленных как отдельные произведения малых жанров. Во-вторых, следствием их фактической неопубликованности было бесконечное продолжение авторской работы над ними, доходящей не только до создания новых редакций, но и до разделения целостной книги на две новые, лишь генетически связанные со своим истоком. Большинство из этой серии книг, которые лишь условно можно назвать «мемуарными», было издано только после второй мировой войны, причем часть из них вышла посмертно. Так, времени детства посвящена книга «Подстриженными глазами» (1951) (здесь и далее указан год публикации), годам ссылки — «Иверень» (1986), петербургскому периоду литературной карьеры — «Встречи. Петербургский буерак» (частично опубликована в 1981), годам парижской эмиграции — «Мышкина дудочка» (1953), «Учитель музыки» (1981). На основе биографии жены Ремизов создал книги о ее жизни «Оля» (1927) и «В розовом блеске» (1952).

Ремизов никогда не переставал рисовать. Еще в начале века его графика была оценена, что подтверждается участием Ремизова в организованной Н. Кульбиным выставке «Треугольник» (1910). С тех лет начались его дружеские контакты с художниками М. Ларионовым, Н. Гонча-

[1] РГАЛИ. Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 15 об.

[2] ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 38. Л. 13.

ровой, Д. Бурлюком. В годы революции начавшиеся проблемы с изданием книг породили ремизовскую так называемую «продовольственную литературу» — рукописные книги, по типу почерка и строения рукописи являвшиеся прямыми подражаниями древнерусским рукописям XVII века, написанным скорописью. Лишь в оформлении шмуцтитулов и инициалов прослеживалась связь с эстетикой футуристических изданий. Тогда же началась традиция создания Ремизовым альбомов портретных изображений и автоиллюстраций. Берлинский период был временем наиболее тесных дружеских контактов Ремизова с художниками (В. Кандинским, Н. Пуни, Б. Анисфельдом, Н. Зарецким и другими), ценившими его оригинальную изобразительную манеру. С 1920-х годов создание пластического образа у Ремизова зачастую предшествовало созданию образа словесного. Рисование стало органичной частью — этапом его работы над книгой.

В 1930-е годы создание Ремизовым иллюстрированных альбомов превратилось из эстетического занятия любимым делом в средство добывания денег. Как вспоминала Н. В. Резникова: «В те годы (20–30-е) рисунки и надписи Ремизова представляли собой чудо тончайшей графики. А. М. составлял из этих рисунков альбомы, или иллюстрировавшие его произведения, сказки, или на тему каких-нибудь событий или литературных произведений, или портреты знакомых лиц или писателей. Эти альбомы А. М. делал на продажу. Друзья Ремизовых обходили по адресам состоятельных людей, любителей искусства, или просто лиц, желавших помочь нуждающемуся писателю. <...> Продажа альбомов помогала иногда Ремизовым прожить в самые трудные моменты»[1]. К середине 1930-х годов авторский список иллюстрированных альбомов насчитывал 157 номеров[2].

Годы второй мировой войны Ремизов прожил в Париже, пережив все тяготы немецкой оккупации. В 1943 году умерла С. П. Ремизова-Довгелло, что было для писателя невосполнимой потерей. Потребность выразить в творчестве нестихающую боль по умершей жене и показать осознание продолжения жизни с любимой, но уже в ином, метафизическом плане дала толчок новому взлету ремизовского творчества, что проявилось в создании им цикла «Легенды в веках» — комплекса произведений, написанных на основе древнерусских источников. Хронологические рамки цикла: 1947–1957 годы. В его состав вошли «Повесть о двух зверях. Ихнелат» (1947–1949), «Савва Грудцын» (1949), «Брунцвиг» (1949), «Мелюзина» (1949–1950), «Бова Королевич» (1950–1951), «О Петре и Февронии Муромских» (1951), «Тристан и Исольда» (1951–1953), «Григорий и Ксения» (1954–1957). Они были изданы в журнале

[1] Резникова Н. Огненная память. Berkeley, 1980. С. 74.

[2] <Без подписи> [Ремизов А. М.]. Рукописные иллюстрированные альбомы А. Ремизова // Новь (Таллин). 1935. № 8.

«Возрождение» и в некоммерческом издательстве «Оплешник». Помимо раскрытия авторского мифа о бессмертии любви художественной задачей Ремизова было своеобразное «исследование» процесса литературного развития: его современных тенденций и эстетических трансформаций, сопровождавших переход от средневековой к новой литературе.

Идея утраченной любви стала одной из центральных, глубоко личностных идей цикла. По мере его создания происходила трансформация идеи Любви в художественном миросозерцании Ремизова. Возникнув из горечи утраты близкого человека, сначала она обернулась авторским стремлением воскресить в искусстве страстное земное чувство. В дальнейшем начался процесс восхождения этой идеи к высшей ступени, когда она обрела облик Божественной Небесной Любви. Именно Она, озарившая лучом последние страницы «Саввы Грудцына» и «Бовы Королевича» и уже ярко сияющая в «Тристане и Исольде» и повести «О Петре и Февронии Муромских», стала религиозно-философской основой последней «легенды в веках» — «Григорий и Ксения». Эта легенда была опубликована вскоре после смерти писателя, последовавшей 26 ноября 1957 года, и, по сути, стала его литературным завещанием.

В «Григории и Ксении» была представлена вся иерархия обликов любви, прошедших через «легенды в веках». Герои Ремизова любили и страдали от потери земной любви, но они же, каждый по-своему, избирали Любовь Небесную. Писатель понял то уникальное соединение повествования о человеческой страсти и рассказа о сознательном предпочтении высшей христианской Любви, которое было присуще еще источнику, что и сделало эту древнерусскую повесть одним из канунных произведений, стоящих на пороге классического русского романа. Как и все «легенды в веках», повесть «Григорий и Ксения» была органично включена в «автобиографическое пространство» Ремизова. В ней отразились две грани авторского мифа — разлученная любовь и тайна судьбы. В процессе создания этого произведения Ремизов задавался вопросом: «моя судьба — для чего-то жертва. Неужто для создания книг?»[1] Таким образом, жертва героев — *ради создания «святого места»* — осмыслялась автором и как развернутая метафора, скрывающая еще один, глубинный смысл произведения. Сам факт создания этого текста слепнущим автором был его последней жертвой творчеству, которое побеждает смерть.

Ремизов, обратившись к жанру «легенды» в последнее десятилетие жизни, создал законченный цикл произведений, основанных на текстах древнерусских «повестей» и в то же время имевших новую форму, син-

---

[1] Цит. по: Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж, 1977. С. 384.

тетически соединившую в себе признаки жанров разных литературных родов. Трагические странствования его героев заканчивались их жертвенной гибелью, которая имела мистериальный характер. Последовательно развивая систему символических соответствий, Ремизов в каждой легенде осмыслял свою судьбу, итоги и смысл пройденного пути. Говоря об идейной концепции всего цикла, можно сделать вывод, что для самого автора деянием, имеющим мистериальный характер, был творческий акт, преображающий жизнь и дающий бессмертие. В подобном истолковании соединялись наследие русского символизма начала XX века и христианский символизм древнерусской литературы. В этом был итог процесса самопознания, составляющими которого была вся совокупность творчества Ремизова.

А. М. Грачева



Посвящаю С.П. Ремизовой-Довгелло

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дом братьев Огорелышевых

От Камушка до Чугунолитейного завода и от Колобовского сада до Синички тянется огромный двор, огороженный высоким, красным забором, часто утыканным изогнутыми, ржавыми костылями. К Синичке примыкает пруд, густо заросший со всех краев старыми ветлами, на конце которого шипит и трясется бумаго-прядильная фабрика с черной, закопченной трубой. За фабрикой, поверх оранжереи и цветника, выглядывает исподлобья неуклюжий белый домина — дом Братьев Огорелышевых.

На противоположном конце пруда, на заднем дворе — красный флигель с мезонином.

А там, от красного флигеля до самого белого дома, вдоль двора фабричные корпуса — спальни, дрова и амбары.

Еще не померкла тень деда, Николая Огорелышева, и много темных историй ходит кругом, от Камушка до Чугунолитейного завода и от Колобовского сада до Синички.

Скрюченный, желтый кощей с лукаво-острыми глазками, помахивая своей зеленой бородой Черномора, наводил старик на всякого, с кем сталкивался, неимоверный ужас. Старики же крепко держались своего старшины, гордясь умом и упорством, с которыми вел кощей свою линию: Николай не выдаст!

В семейной жизни слыл Огорелышев столпом. Женился рано. Правда, без любви, женился только потому, что Ефросиния затворницей была, в монастырь идти собиралась:

красавица, с скитскою поволокой темных глубоких глаз подвижницы, с тонким разрезом губ сладостно-тихо улыбающейся мученицы. Скоро она надоела ему и принуждена была хорониться в детской, вынося смиренно жизнь свою.

— Ефросиния преподобная, угодница Божия, — приступал, бывало, старик, — на кухне там девочка стоит, зябленькая сироточка... Пригрей ты ее! — а сам трясется весь, губа ходуном ходит, отмачивается.

Крепкий был старик, девяносто лет на белом свете жил и пожил немало, — не смотри, что скрюченный! — и сделал для города много, дай Бог всякому столько сделать.

После смерти старика дело и капиталы перешли к сыновьям, из которых быстрее всех выдвинулся старший, Арсений. В городе открылся банк, на Кавказе — керосинное дело, в Средней Азии — хлопок, и везде во главе стоял Арсений.

Умирая, старик сказал сыну:

— Смотри, Арсений, не будет меня, запрячут тебя за язык твой!

Да, язык у Арсения свой был — такого не переспоришь, такой все на своем поставит.

И уж скоро оценили его, — Арсений не только в отца пошел, он отца обогнал и умом и деловитостью и предприимчивостью — и купечество выбрало его своим председателем.

С этих пор и началась его настоящая деятельность, а с нею пошла слава, которая увековечила имя Огорелышевых. Стал известен в самом высшем петербургском круге и пользовался полным доверием. Вся финансовая машина понемногу очутилась в его руках и он крепко держал ее. Он проводил и останавливал законы. Стал известен на всю Россию.

И этого маленького, юркого человека, отказавшегося от всяких чинов, слушались, ненавидели, льстили. Начинать борьбу с Арсением стало верным проигрышем. Все сильное и смышленое держало руку Огорелышева: Огорелышев был один, только один он с своим языком умел веско и крепко постоять за сословие. Русское купечество, вырас-

тавшее под его охраной, вправе было гордиться своим председателем.

— Достойный человек Арсений Николаевич! — говорили и враги и свои.

В детстве Арсения баловали: Ареньку к ранней обедне не будили. Ареньке покушать давалось самое лучшее.

— Икорку-то Ареньке оставьте! — ныла мать, Ефросиния преподобная, перенесшая свои васильковые скитские слезы с Лучезарного Жениха на любимого первенца.

Сгорбленный, с сведенными крючковатыми пальцами, заросший весь, нечесаный весь, Арсений не ходил по-людски, а как-то странно шмыгал, будто ноги были сами по себе, чем-то слабым, земным и ничтожным, за плечами же развевались тончайшие крылья, неутомимо рассекавшие воздух, несшие его по его воле.

— Антихрист, честнóе слово, — говаривали фабричные про своего хозяина, — и ходить-то путно не может, летает дьявол, сатана рогатая!

Правда, что-то зудело в воздухе, когда шел он, а серые глаза его кололи пронырливыми остриями, огорелышевские глаза непроницаемые, и, кажется, расцарапать способные всю душу.

Возиться с отцовской фабрикой Арсению не было времени, да и дело не такое было значительное, чтобы тратить ему свои большие силы, и все управление понемногу перешло в руки второго Огорелышева, Игнатия Николаевича.

Игнатий молодость свою прожил в Англии, знакомясь и изучая тамошние фабричные порядки. Красавец, теперь седой, с грустящею улыбкой, ничему не удивлявшийся, — таким должен быть под старость седой Дон-Жуан, — оставался он холостяком, развлекаясь садоводством и благотворительностью. Управление фабрикой занимало так мало времени: все было налажено и с английской строгостью втиснуто в крепкую огорелышевскую оправу.

Третий Огорелышев Никита, — Ника, восхищавший весь город своею утонченностью и приятностью, рано женился на соседке — миллионерше Колобовой, числился

директором Колобовских фабрик и заводов и, в противоположность Арсению, дела никакого не делал, но всегда был занят.

Когда его о чем-нибудь просили, — из всех Огорелышевых только Нику можно было еще просить, — Ника капризно морщился и, изящно отмахиваясь выхоленными белыми руками, постоянно ссылался то на колобовских рабочих, которых будто бы то и дело усмирять приходилось, то на всесильного князя.

— Опять ехать усмирять этих негодяев, — говорил Ника, по-детски картавя, — потом на вечер к князю, ах, право, мне некогда.

Ника жил отдельно от братьев в Колобовском дворце, доставшемся ему за женою в приданое. И круг знакомых у Ники не похож был на Огорелышевский: деловые люди к нему редко заглядывали, а терлась около него всякая знатная шантрапа — промотавшиеся аристократики, военные вертопрахи, ловкие адвокаты, у которых часто за душою оставалось всего-навсего одно святое имечко да легкий нрав.

Если Арсений устраивал русское купечество, вытягивая его из купчишек, которых смел безнаказанно лягнуть всякий барский холоп, то Ника, по его собственным словам, играл видную роль в слиянии сословий. Но больше знали и больше ценили Нику за границей, где славился он покровителем парижских и лондонских тайных притонов.

Такие все трое разные: Арсений, Игнатий, Никита, и все трое похожие в одном, — всех их объединяла одна черта, выражавшаяся наиболее ярко в старшем Арсении. Огорелышевы умели улыбаться по-своему, по-огорелышевски: где-то в окаменевшей улыбке хоронилось затаенное желание взять что-нибудь, достать что-нибудь и не только потому, что нужно им для дела их или для безделья — для развлечения, а часто потому, что, казалось бы, попросту нельзя этого взять, нехорошо, грехом считается.

Единственная сестра Огорелышевых — Варенька. Варенька — младшая, двойник матери Ефросинии преподобной, такая же, как мать, с скитскою поволокой тем-

ных глубоких глаз подвижницы, так же, как мать, с тонким разрезом губ сладостно-улыбающейся мученицы.

Варенька воспитывалась дома. Ходили учителя и немцы, французы и англичанка. Росла Варенька смышленая и пытливая, с огорелышевской закваской. Глядели за ней мало. Ходила Варенька по субботам ко всенощной в приходскую церковь к Покрову, вывозили ее на балы, в симфонические собрания, а Великим постом в итальянскую оперу. И все в кругу родственников, с родственниками, но были у ней и еще знакомства, о которых знала одна нянька.

Попался в дом такой учитель, познакомил Вареньку с студентами. Стали студенты ей книжки давать. Конечно, все тайно, как тайное, все, как самое запретное. Вареньке понравилось. Варенька собиралась в народ идти...

Как-то в светлую звездную ночь у Огорелышевых необычайно засуетились, а потом жутко примолкли. Варенька сидела в кабинете Арсения, Арсений ее допрашивал: он метался, как ужаленный, топал ногами и, подбегая к столу, тыкал в сверток с книгами, листками и письмами, — все это сам он отобрал у Вареньки. Варенька молчала.

— Не скажешь? — как-то по-кошачьи, словно мяукал Арсений, — кто тебе дал? Кто? Не скажешь? — и вдруг, не раздвигая густых щетинистых бровей, улыбнулся своею огорелышевскою каменной улыбкой.

Нашла коса на камень. Кто разобьется: коса или камень?

Варенька молчала, белая, мертвела вся, а темные глаза заволакивались: темные, ничего не скажут они, закроются, захлопнутся — не жди, не будет ответа.

— Так пошла вон! — и взбесившийся голос Арсения разбился на тысячу режущих криков, рассек трепетавшее затишье и ожидание комнат белого дома.

Через неделю объявлена была Варенькина свадьба.

Почему Варенька на улицу не сбежала? Так бы, кажется, и бежать ей из дому без оглядки, бежать куда угодно, ну, к учителю тому, ну, к студентам своим революционерам, только в доме не оставаться больше, ни одной минуты — еще одна минута и пропадет все ее дело, сгинет вся

ее свобода, вся душа прихлопнется. Или уж петлю бы на шею да в петлю, чтобы сразу конец. Все бы тогда сразу кончилось без всяких терзаний и мук, и жалоб, и слез. Или была какая надежда? Да на что она могла надеяться? Будущего мужа своего она совсем не любила.

Накануне свадьбы поздним вечером Варенька вышла из дому. Торопилась она, не сказавшись, вышла, но у ворот повернула назад, пошла по двору, миновала фабрику, отворила калитку в сад, пошла по саду, прямо по снегу вокруг пруда, вышла на пруд и долго бродила по сугробам, подходила к проруби, заглядывала в черную дымящуюся прорубь и вернулась домой опять в белый дом.

Вернулась Варенька в свой белый дом, — никто ее ни о чем не спросил, и сама она ни с кем слова не сказала, молча прошла к себе в комнату. Села у стола без огня и сидела в темноте, жмурилась: кололо глаза — это слезы кололи глаза, не проливаясь, словно сжигались слезы где-то в самых глазах.

— Все сорвалось, — шептала она, — нет надежды и думать не о чем и ждать нечего, все сорвалось.

И вдруг улыбнулась она, как Арсений, каменной огорелышевской улыбкой, встала и твердо, не хоронясь, твердыми шагами спустилась в столовую. В столовой ни души не было. Она отворила буфет и выпила простой водки.

Как горячо ей по сердцу пошло, как горячо! И уж в кровати она заплакала, — никто ее не слышал, никому не услыхать было последних ее, отчаянных слез, — и плакала до безумия.

Стало светать, и чуть увидела она свет, живо, твердо поднялась на ноги.

Начался день ее свадьбы. Что будет дальше? Будет ли она счастлива?

— Боже мой, подкрепи меня! — шептала Варенька.

Свадьба прошла благополучно и невесело, но все, как заведено, по всем правилам. Только в начале беда — лошадь карету с Варенькой не повезла: дом Огорелышевых в котловине, к воротам — горка, как подниматься к воротам, лошади и стали, и пришлось Вареньке вылезать и в белом своем платье, в белых туфельках пешком идти.

— Не бывать барышне нашей счастья в замужестве, — охали по двору фабричные бабы, — лошадь не повезла.

И началась для Вареньки новая жизнь — будни с чужим у чужих в диком, облупляющемся Финогеновском доме, далеко от Синички и Камушка, на другом конце города за Большой рекой.

Елисей Финогенов старше Вареньки лет на двадцать, вдовец с кучей детей, любил он Вареньку, но пустым затеям ее не хотел потакать, не мог примириться.

— Пожили б вы, как я жил, погнули б хребты, не то бы заговорили, театры-то эти выбросили бы из головы, одни пустые траты, — ворчал Елисей вечерами, вернувшись из города из своих магазинов, и позевывал.

Жизнь Елисею выпала нелегкая. Нелегко ему было в люди пробиться. Изголодавшийся мужик — отец его, Степан Финогенов, привел в город своего Елеську, почерневшего и шелудивого от серой, деревенской нужды, и определил в лавку Толокова мальчишкой.

Известно, мальчишка в лавке: наука немудреная, а мозги затрещат.

Елеська за кипятком бегал, тычка получал, ситцы таскал, да такие куски, большому не унесть, инда кровь носом хлестала. А выровнялся, подрос мальчишка и сметливым оказался, — наука впрок пошла. Хозяин без него и шагу не ступит: шустрый и угодливый, — и все с ним будто прибыльнее идет; и целый день копается, без дела не посидит, — и все с ним будто и порядка больше, счета какие-то выдумал, прибыльные. На пятнадцатом году произвели Елеську в приказчики. Прибаутчиком да насмешником прослыл Елисей и лихо на гармонье играл и с душою песни пел: голос нежный, так в душу и просится. Хозяйке, старухе Толоковой, очень Елисей за набожность свою по душе пришелся: как сын, души в нем старуха не чаяла. Скоро повысили Елисея в главные. Главным толоковским приказчиком сделался Елисей, и ведь из ничего, из простых мальчишек вышел, своим трудом. И теперь уж не Елеська, не Елесей, а Елисей Степанович Финогенов — так стали величать Елисея. Разъезжал Елисей по городам за товарами, бывал по хозяйскому делу и за границей, везде

присматривался. Пошли деньги и уважение. Чего еще? Да мало ли чего, — семьей обзавестись пора. Женился Елисей. А тут умирает Толоков и вся торговля переходит в руки Финогенова. Старуха Толокова сделала Елисея доверенным, и до самой смерти старухи служил Елисей у Толоковых доверенным. А умерла старуха, отошел он от Толоковых и свое дело открыл.

Толоковское дело кончилось, началось финогеновское.

Хаживал Елисей на биржу, понравился Арсению.

— Елисей — человек верный, — говорил Арсений про Финогенова, — без мыла куда хочешь влезет.

А Елисей овдовел и подумывал о новой семье: еще и не стар он, и дети на руках — порядок надобен.

Когда отдали за него Вареньку, он по положению своему поднимался все выше и выше, вровень с богатыми заречными купцами. И все было хорошо, одно мучило: дети не в отца пошли. Хоть и пристроил он сыновей по магазинам в своем же деле, да толку мало: нерасторопность какая-то, небрежность, да и погуливали. Дочь Людмилу замуж выдал, и тоже неудачно: зять ненадежный, того и гляди промотается.

Пять лет прожила Варенька с мужем в диком финогеновском доме. Никто у них не бывал, и они никуда не выезжали, кроме ярмарки в Нижний да к Огорелышевым в праздник.

Что за эти годы — за пять-то страдных лет вытерпела она, как рождались и умирали желания в ее изболевшем, покорившемся, но еще живом бунтующем сердце, как узнаешь? Никому ни полслова, да и себе, должно быть, ясно не сказала она, а то бы все по-другому стало: уж давно бы нашла выход.

Целыми днями молча ходила Варенька по высоким, нелюдимым чужим комнатам дикого финогеновского дома, а вечер придет, сядет в углу где-нибудь и сидит впотьмах.

В детской колыбельки поскрипывают, — там няньки, детей баюкают, в приказчичьей — гармонья чуть слышная, кажется, через пол идут звуки, ползут по полу и срываются, снуют вокруг в темноте такие надоедливые, не отмахнешься, ничем не заглушишь, на половине других детей —

пасынков, если дома они и гости у них, — там смех, вскрики, разговоры. Слушает Варенька и не помнит, когда так сама она разговаривала? А ведь она тоже когда-то разговаривала и беззаботно и весело, тогда — в праздник свой с теми студентами да и с подругами.

Зачем она покорилась? Во имя чего взяла на себя такой большой, такой тяжелый, такой непосильный крест? Мать ее — Ефросиния, проливавшая васильковые слезы свои перед Женихом Лучезарным, тоже покорилась и, покорная, несла крест свой безропотно ради своего первенца. И уж все могла вынести и до конца все вынесла. Но Варенька несла свой крест совсем по-другому, несла она крест не ради самого спасительного крестного бремени: вынесешь до конца, и земля потрясется и солнце померкнет и звезды попадают с неба, и уж новая другая земля ляжет под тобой, и другое новое солнце и другие новые звезды загорятся на новом небе. Крест ее подымался перед ней виселицей и силком, хотела она, не хотела, тащили ее к этой смертной виселице. Упиралась она, но ее пересиливали и кто-то подымал на воздух, закидывал петлю на шею, и петля душила ее, и молоток постукивал, — пригвождали ей руки, рвалась она, не вырвешься, — гвозди вонзались.

Сброситься бы ей вниз на землю с ее виселицы-креста, сбросить с себя тяжелый, ненужный, какой-то бесцельный, проклятый крест, уйти из этой финогеновской покорной жизни! Куда уйти? — Да куда глаза глядят, только вон из чужого дикого дома, сейчас же, сию минуту — еще одна минута и оборвется сердце, оставят ее последние силы, затянется петля, гвоздями пробьются руки, раздробятся кости и тогда уж поздно. — Уйти ей? Хорошо; уйдет она, а как же дети? У ней четыре сына, как же с детьми-то? Они еще маленькие? — И детей пусть бросит. Зачем они ей? Что ей с детьми? Любит она их? Пусть любит, но есть у нее и еще любовь и большая, чем к детям, важнее всякой материнской любви, любовь ее к своей покорившейся, но и еще живой, еще не прихлопнутой, еще бунтующей душе, которая покоя не находит себе, примириться не может, все мучается... Или в жертву принести себя хочет? Но жертва

только добровольная угодна, недобровольная же худшее из проклятий. Вот она сидит тут в комнате впотьмах, а там детей ее няньки нянчают, она одна сидит, не идет ведь в детскую и не может идти. И пусть совсем их бросит — и дом и детей, все позади оставит, Бог с ними. Проклянет ведь она их, свою жизнь проклянет и детей, проклянет вместе с домом, вместе с своею покорностью и крестом своим.

— Боже мой, подкрепи меня! — шептала Варенька.

Так проходили ее будни в финогеновском доме за Большой рекой.

Измучается она, истерзается вся, да обессиленная, тихая от грызущей тоски, пойдет к мужу.

Чуял ли он беду в ее порывистых и каких-то отчаянных ласках?

Елисей любил жену.

— Я с тобой, Варенька, — говорил он ей, — я люблю тебя, дети есть у нас, наши дети! — вот и все.

Да чего же еще? Елисей любил ее, по-своему, конечно, но любил по всей правде, и все, что казалось ему нужным, все делал для нее: были у Вареньки и платья всякие и драгоценностей сколько угодно, и кроме добра он другого не хотел для нее.

Как-то и совсем по пустякам старший пасынок, Василий, что-то резкое, не так сказал мачехе, а, может быть, вовсе и не резкое, а ей так показалось тогда, только Варенька, не дожидаясь мужа, собрала детей и прямо на Камушек к братьям в белый Огорелышевский дом.

Веселая ночь была, звездная, шумно-весенняя.

В белом доме засуетились, как пять лет назад, на первые заморозки, а молчание наступило еще страшнее того. Варенька сидела в кабинете Арсения. Оба кричали... Нашла коса на камень. Кто разобьется, коса или камень? А вышли оба тихие, будто примиренные. Темные глаза Вареньки словно поседели. Арсений мертвецом смотрел, горло у него болело и шея была завязана белым платком, из-под платка вата торчала.

Арсений не выгнал Вареньку, Арсений уступил. Варенька не вернется в Финогеновский дом, Варенька останется жить у Огорелышевых, ей дадут угол.

Решение Огорелышева — закон, больше чем закон, и если он сам уступил, так и быть тому.

Очень огорчился Елисей, умолял Вареньку вернуться — позор-то какой: жена сбежала! — в ноги ей кланялся, — и разве он какой-нибудь пьянчужка или он истязал ее, как ему теперь в городе-то показаться и на ярмарке в Нижнем? — но так и уехал ни с чем. И забывшись, в огорчении своем попробовал было с Арсением поговорить, да лучше бы и не начинать. Елисея вызвали к князю и князь с места пригрозил выслать его из города в двадцать четыре часа, если он хоть что-нибудь предпримет к законному возвращению жены. Елисей перекрестился и подписал развод.

Лето прожила Варенька с детьми на даче, а к зиме в красный флигель переехала, на огорелышевский задний двор. Огорелышевы положили выдавать ей на жизнь небольшую часть процентов с ее приданого, а приданое в дело отобрали.

Решиться так круто разорвать с мужем, уйти из финогеновского дома, решиться вернуться к Огорелышевым, остаться у Огорелышевых — это на такую высоту броситься, где дух захватывает. И вот все кончено. И после всех своих дел Варенька сразу затихла, словно там, в душе ее с ее желаниями, в этой пучине извивающихся простертых рук, оборвалось что-то, смешалось и кануло. Остались жалобы, жалобой переполнилось все ее сердце, а на месте воли открылись больные жалкие слезы — жалобный плач.

Фабричный огорелышевский свисток да колокольный звон в Боголюбовом монастыре, возвышавшемся за пустырем — огородами над Синичкой, сторожили ее тягучую, какую-то проклятую жизнь.

Изредка ходила Варенька в гости, еще реже ездила в театр и больше всего оставалась одна в своей комнате, выходившей в красный забор.

Арсений и Игнатий заходили к сестре только в ее именины, а Ника за недосугом коробку конфет присылал, самых дорогих конфет и таких вкусных — по особому заказу.

Гостей у Вареньки не бывало, кроме забегавшей Пала-

геи Семеновны Красавиной, дальней родственницы ее и старой приятельницы.

Елисей Степанович приезжал к Вареньке каждое воскресенье обедать. И всегда к обеду была лапша и черная каша — любимые кушанья Финогенова. После обеда финогеновский кучер Гаврила катал детей с нянькой по городу, пили чай, но уже в самом начале вечера Елисей уезжал к себе за реку.

Пять лет, не пропуская ни одного воскресенья, приезжал Елисей в красный огорелышевский флигель. Детям нравилось кататься по городу и они ждали воскресенья. Младшему Коле наступал шестой год, когда умер отец. Елисей умер, прохворав весь пост и Пасху: на масленице простудился, сделалось воспаление легких, не выдержало сердце — конец. По духовному завещанию всем детям отказан был большой капитал, но еще больший капитал завещал Елисей на колокол в село, откуда привел его когда-то отец его Степан Финогенов, такой колокол отлить, чтобы, как ударят ко всенощной, от села до самой Москвы хватало. Опекунами назначены были Варенька и приятель Елисея Холостов. Холостов оказался человек ловкий и прожога. Говорили, что, если бы вступился сам Огорелышев, можно было бы, устранив Холостова, еще спасти дело. Но Арсения, как видно, не занимали финогеновские капиталы, и даже чудодейственный колокол, мысль о котором очень понравилась Огорелышеву, все-таки не тронул его. Дело с наследством затягивалось, деньги куда-то тратились. И выходило так, что дело пропащее: ни капитала не будет, ни колокола. Да так оно и вышло.

Когда дети чуть подросли, открылась перед ними улица — фабричный двор с его острой борьбой за нищенскую жизнь, с безобразным разгулом и смертью увечной и беспощадною.

Фабричные любили Вареньку, а по ней и детям ее честь шла. И дети не чуждались фабричных. Их тянула та ласковость, с которой обходились с ними все эти простые люди. Они бегали в сторожку, в каморки, в будку и там пили фабричный чай, жиденький вприкуску, и ели картошку и тюрю с мелко накрошенным луком и солдатский черный

хлеб: кислый, верхняя корочка плесенью покрыта — очень вкусный. Фабричные ребятишки и подростки водились с ними: дрались и играли, рассказывали о пинках и оплеухах, и как их штрафуют и порют.

Финогеновы называли своих дядей по-фабричному хозяева, и повторяли фабричные прозвища: Арсений-антихрист, Игнатий-змея, Никита-скусный, стариков же фабричных, всех этих Никифоров, Демьянов, Иванов, величали дяденьками и дедушками.

Их было четверо сынов, четыре мальчика Финогеновых: Саша, Петя, Женя, Коля, — все погодки. Огорелышевцы — под такой кличкой скоро стали известны они за свое беспримерное озорство и озорная слава шла о них по городу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Под диваном

Зимние сумерки снежные и тихие.

Маленький курносенький Коля лежит на полу под диваном и смотрит сквозь пустую звездочку, прожженную папиросой на оборке дивана.

Коля лежит в гостиной на полу под диваном, скорчившись и неловко, как связанные телята на возу-лотке, когда везут их на бойню за Боголюбов монастырь, — почти всякий день медленно и томительно тянутся такие возы мимо красного флигеля Огорелышевского дома, и всегда Коля бежит к окну смотреть на болтающиеся телячьи языки и мягкое, полуживое их вздрагивающее тело.

Над Колей, прямо над головой вплотную спускается сиденье дивана, тяжелое и темное, в паутине, — провалится оно, и тельце его расплющится, как лягушка, которую раздавил осенью на дорожке у пруда дворник Кузьма своим огромным, явлочным сапогом.

Пыль забирается Коле в нос, душит, а глазам так больно.

На диване сидит Палагея Семеновна Красавина и Ва-

ренька. Палагея Семеновна болтает ногой и, захлебываясь, рассказывает Вареньке всякие городские новости и семейные события.

Коля привык к рассказам Палагеи Семеновны, много чего переслушал он с осени, когда впервые залез под диван и навострил уши.

Коле восемь лет, на Ивана Купала девятый пошел. Он уж гимназист-приготовишка, — нынешним летом в гимназию его отдали. С нынешнего лета началась для Коли новая жизнь: стал он вспоминать что-то хорошее, что будто бы когда-то третьего года было, стал и скучать, а раньше ничего такого не чувствовал. Прошлой весной умер отец, Коля вспоминал отца: ему представлялся большой человек и почему-то непременно в белой майской паре, с драгоценным перстнем на волосатом пальце, черные, большие усы, колючие, когда поцелуется.

Как хорошо было, когда в воскресенье приезжал отец и в кухне появлялся Гаврила-кучер, а на дворе вздрагивали сытые черные кони, как хорошо было кататься в коляске!

Приезд отца только по воскресеньям нисколько не удивлял Колю. Может быть, так все и нужно было, так и везде делается, почему он знал? Один только раз он заметил, что Варенька как-то особенно, с каким-то захлебыванием плакала и сидела в гостиной, а отец ходил по зале, и тогда же почувствовал, что между отцом и матерью есть что-то, чего, может, и не нужно, и не так везде бывает, а только их, финогеновское. Коля помнит, как возили их прощаться с отцом. Варенька так и сказала тогда: «Поедемте прощаться». И он в первый раз увидел дикий Финогеновский дом и комнату, где он родился, и отца увидел не в белой майской паре, а в сером мышином халате, только чулки на нем были белые, шерстяные вязаные — отец сидел в кресле и задыхался, поседевший и небритый. Принесли икону Спасителя с золотым красным голубком на сиянии и отец благословил их и потом дал Коле яичко, в яичке — змейка, и фарфорового серого медведюшку. Медведюшка цел — это его единственная игрушка, а змейка пропала. Коля помнит, как, вернувшись домой, он вдруг расплакался, и сам не знает, почему так горько рас-

плакался, он влез к няньке на колени, обнял старуху, и чувствовал, как горячи его щеки, и бегут слезы. За год до этого, когда горел Чугунолитейный завод и Колю разбудили и он увидел в окно страшный огонь, он так же горько заплакал. А вскоре после прощанья с отцом Варенька сказала, что отец умер, и портниха Даша в столовой торопилась шить черные курточки и черные штанишки. А на следующий день опять ездили в Финогеновский дом: отца в гроб клали. Коля помнит, как, положив в гроб, после панихиды опять вынули отца и стали надевать на него атласный лиловый халат и трудно было наряжать покойника, — подняли ему руку и рука поднялась высоко до самого потолка, да так и осталась, и уж сколько ни старались, рука и после все торчала из гроба. В третий раз поехали в дом, в карете поехали на похороны. На похоронах, когда стали прощаться, все плакали — и Саша, и Петя, и Женя, и Варенька, но Коля совсем не плакал. У покойника пошла из носу сукровица и это так поразило Колю, что он только это и видел: водянистая кровь струйкой бежала из носу, пропадала в усах и текла по выбритой бороде. В день похорон отца у Финогеновых бабки украли, а Женю на поминках напоили водкой. А как было досадно, что бабки украли! Коля помнит, что старший пасынок Василий после поминок, прощаясь, дал Вареньке перстень отца и обещал приезжать по воскресеньям. Варенька перстень взяла, а от посещений отказалась. Много Коля помнит и всяких мелочей: и какой день был пасмурный, и только, когда звонили, проглянуло солнце, и как на Финогеновском дворе у конюшни трава была такая зеленая, больше уж никогда он не видел такой зеленой травы.

Шустрый и живой, Коля — памятливый, а близорукие темные глаза его с поволокой, как жучки, таращились и искали все, высматривали. Огорелышевский пруд — вода проточная и два ключа, купаться можно. Финогеновы рано начали купаться. Плавать их учила горничная Маша. Коля быстро научился, но долгое время притворялся неумелым: ему было приятно, когда Маша брала его к себе на руки и сама улыбалась, так что зубы были видны белые, такие острые. Среди игр, в которых Коля занимал особенное ме-

сто, отличаясь своим озорством и плутнями, была одна игра тайная, называлась она стручки продавать. Играли в нее за дровами у забора Колобовского сада, да на покатой, зазеленевшей от ветхости, крыше курятника — местах скрытых от взрослых: неловко же было, если увидят. Садились Финогеновы в кружок и играли.

Коля знал много сказок, но больше неприличных. Вечерами дети торчали за воротами. За ворота же вечером выходили посидеть фабричные. Тут уж чего не наслушаешься. Падок был Коля на всякий рассказ и прилипчив ко всякому.

Вот почему он так зорко смотрит и чутко слушает, и, хоть не очень-то легко ему, и мало он понимает чего, но из своей засады — из-под дивана он не вылезет, будет слушать рассказы Палагеи Семеновны.

Палагея Семеновна после долгого перерыва беременна, она очень боится за себя: Сергей Аркадьевич — доктор сказал ей, что роды будут тяжелые, пожалуй, понадобится операция.

Коле страшно захотелось чихнуть, даже глаза закололо и забегали по лицу мелкие, щекочущие мурашки. И хорошо бы покашлять ему громко и несколько раз! Но он делает невероятное усилие и сдерживается.

— Покойный Елисей Степанович, — звенит голос Палагеи Семеновны, — после вашего развода, Варенька, сошелся с горничной Сашей. Ну, помнишь, тощая такая и ямка между бровей. Теперь с ней живет Василий. Просто ужас! От отца перешла к сыну! Хорошее наследство! Да, вчера мне рассказывали, Варенька! В Пассаже я встретила А., очень хороший юрист, он посвящен во все ваши дела. От вашего наследства ничего не останется: дом продают, Василий и Степан кутят, в магазине их никогда не видно. Я не могу представить, Варенька, как ты могла прожить с ними! А Людмилу, знаешь, на бульваре видели с кавалерами! Прямо неприлично... — и Палагея Семеновна зашептала что-то о Людмиле.

Коля перестал дышать.

— Выкидыш... вытравляли... желтый билет... — доходят до него отдельные слова, больше он ничего не разбирает.

Ножки стола и кресел почернели, словно копоть легла на них, и стали они толще. Ковер разбух и вздыбился, будто шкура невиданного зверя лубочной картинки, — такая картинка висит в столовой: лев, она висит между красноносым бенедиктинецем-монахом — рекламою и священным коронованием.

Палагея Семеновна кашлянула, достала платок и примолкла.

Запахло духами.

А цветы на ковре вдруг стали яркими и большими, медные ножки кресел заблестели, как подсвечники.

Это — Маша, горничная принесла лампу и поставила ее на стол.

У Маши ботинки на высоких каблуках, а не стучат, — Филиппок ей сделал, Степаниды-кухарки сын. Со временем, конечно, и у Коли такие сапоги будут, а ему очень хочется, чтобы не стучали, — теперешние его грубые и скрипучие.

— Готов ли чай? — говорит Варенька, — поторопись, Маша, пожалуйста.

Коля осторожно перевертывается. Левая нога у него затекла, в ней будто песок, и кажется она такой огромной, чужой.

Шелковые юбки снова зашуршали.

— Вчера у П. П. был вечер, — затараторила Палагея Семеновна, словно чему-то обрадовалась, — пели итальянцы. И вдруг вижу, входит К. Ф. Мы были поражены: П. П. на прошлой пятнице прозрачно намекнул ему при Лизочке, что их отношения для него не тайна. А Лизочка, право, такая наивная! Это ужасный человек, Варенька, представь себе, от него все без ума: Люся, Муся, Нина, и теперь Лизочка. Да! на рожденье Тани, Ника взял Катю на руки и при всех, — мы только что вышли из залы, они фокусника приглашали, чудный фокусник! — понимаешь, Варенька, при всех, показывает на Д. Е.: «Посмотри, говорит, Катя, вон твой настоящий папа». Бедненькая Ксенечка не знала, что ей и делать. Д. Е. побледнел, как полотно. Словом, сплошная нетактичность. Мы просто не знали, куда деваться...

— А ты видела Арестовых? — спросила Варенька.

— Ах, совсем и забыла. Я их встретила у А. М. Знаешь, Варенька, месяца нет как они обвенчались, а Тука мне рассказывает... — и Палагея Семеновна шепчет, не передохнет.

Коля прислушивается, напрягает все силы, чтобы хоть что-нибудь понять, а понять ничего не может. Среди мудреных слов прыгают начальные буквы имен и фамилий, вытянутые, с завитками, а в спину колет, словно булавкой.

Вдруг маленькое сердце его сжалось камушком и застыло: на пол что-то уронили.

— Не беспокойся, оставь, Варенька, я сама! — рука Палагеи Семеновны, пухлая, в кольцах, шмыгнула, как мышь, около самого носа Коли.

В другое время Коля непременно бы тяпнул ее за палец, но теперь что-то горяче-колкое разливается по всему телу и душит его, он больше не может удержаться, сопит.

— Чтой-то у вас, Варенька, мыши?

— Нет, Наумка — кот вечно под диваном трется.

Палагея Семеновна опасливо подбирает юбки.

— Я кошек не люблю.

— Барыня, чай готов! — говорит Маша.

Встает Варенька, за нею Палагея Семеновна. Палагея Семеновна заглядывает в трюмо, прихорашивается. И Варенька, и Палагея Семеновна выходят из гостиной в залу.

Когда бывают гости, чай пьют в зале. Без гостей — в столовой. В зале две лампы с яркими горелками-молниями, очень много цветов, и в горшках, и на окнах, и по углам в корзинах; между цветов банка с аксалотом, «который может ничего не есть», в углу у дверей рояль, и ломберный столик между окон. Печка в зале всегда очень горячая; впрочем, все печки горячие — дрова у Финогеновых огорелышевские!

В зале на красном круглом раздвигающемся столе шипит красный бронзовый самовар.

Стучат блюдцами.

Коля приподнял оборку дивана, насторожился... И вдруг шорох, будто с дивана и еще кто-то встал.

Коля быстро опустил оборку и затих. Ему слышно, как мешают ложечкой сахар. Упала ложка.

— Дама будет, — Варенька подняла ложку.

— Понимаешь, Варенька, просто невероятно... — и понеслась Палагея Семеновна, вспомнив что-то очень интересное и, может быть, самое любопытное.

Коля прополз до дверей Варенькиной комнаты — спальни, поднялся на цыпочки и пошел.

Высокий темный киот, освещенный красной лампадкой, строго провожает его всеми ликами и гневными и скорбящими, они осуждают Колю: зачем он под диваном сидит и подслушивает, будут ему немилосердные муки, в ад преисподний посадят его, будет он гореть в негасимом прелютом огне.

Не дыша, проходит Коля спальню и соседнюю узкую комнату — гардеробную, где стоят высокие шкапы и устюжский, покрытый белою жестью, сундук с замком — музыкою. А из гардеробной он уж пускается бегом и, цепляясь за шаткие перила лестницы, подымается наверх в детскую.

Наверху — в детской две комнаты: комната прямо с лестницы, она выходит к пруду, и из нее видна фабрика и Чугунолитейный завод; в этой комнате две кровати, Сашина и Петина, и маленькая дверь на чердак; другая комната, соединенная с первой дверями, выходит на улицу, из нее виден пустырь — огороды, Синичка и Боголюбов монастырь, в этой комнате спит Женя, Коля и нянька Прасковья, здесь же стоит комод и всякие клопиные сундучки и висит высокое зеркало, — большая и очень заставленная комната.

Дорогой до детской Коля никого не встретил — пронесло благополучно, но в детской он наткнулся прямо на няньку Прасковью-Пискунью.

Прасковья сидела у стола, где обыкновенно Саша и Петя учат уроки, и штопала рваные чулки. Чулок лежала перед ней целая гора, и казалось, — так на лице у ней было написано, — сколько ни штопай, всего не перештопаешь: заштопаешь десяток, завтра же дюжина рваных прибудет.

— Где это ты, Колюшка, пропадал? — Прасковья под-

слеповато, устало всматривается через огромные медные очки, — ишь завозил курточку-то, будто мешки таскал. Дай-ка я тебя, девушка, почищу!

— Так, няня, живот у меня болит! — Коля всегда все на живот сваливает.

— Покушал, знать, лишнего, он у тебя и разболелся. Горчичник поставим ужотко.

«Ну, горчичник-то не поставим, горчичник больно щиплется!» — думает Коля, а все-таки ему надо больным представиться, как-никак, а могут хватиться, где пропадал так долго, и он ложится на Сашину кровать.

— Или поставить бутылку, горячую бутылку хорошо, — нянька передернула спицу, — поветрие нынче ходит: напущено, знать, нечистым, согрешишь грешный.

«Ну, горячую бутылку можно!» — думает Коля, ему на кровати лежать хорошо, спину не колет, и дышать он может сколько угодно.

По лестнице наверх кто-то подымался.

Коля зажмурился.

— Колечка, — вдруг услышал он такой знакомый голос с ласкающей оттяжкой, это звала Маша, — Колечка, чай кушать ступайте!

Коля обрадовался, вскочил, и неловко ему, что так обрадовался, супится.

А Маша уж на пороге и идет к няньке, будто на работу посмотреть, а сама: ам! — поймала Колю, затеребила его, зацеловала его и в носик, и в ушко, и в глазки.

— Красавчик ты мой, речистый ты мой черноглазенький, ма-а-ленький!

— Ну чего, лупоглазая, чего развозилась, — ворчит Прасковья, — мальчик хворый: что ни час новая болезнь открывается, а она лезет. Да и под руку толкаешь...

Маша оставила Колю. Маша стоит, смотрит на Колю и смеется, будто и знает что, да не скажет. А какая она высокая, какая она — больше нет такой, так бы и бросился к ней: взобраться бы к ней на колени, обнять ее шею, чтобы взяла она к себе на руки, — щеки у ней всегда горячие.

Но Коля говорит, не глядя:

— У меня, Маша, живот болит.

— Ужинать-то скоро? — Прасковья кладет спицы в груду рваных чулок, — всю-то, девушка, разломило, поясница гудёт... И когда этот колокольчик, прости Господи, сгинет!.. перекусить, что ли.

Нянька и Маша уходят из детской вниз. Маша успела в окно заглянуть и догнала Прасковью и перегнала старуху. По лестнице медленно шлепает нянька, но и ее старушечьи шаги затихают.

Коля опять ложится на Сашину кровать: ему надо еще немного выдержать и тогда он может идти пить чай, — а то еще не поверят!

«Мальчик хворый: что ни час новая болезнь открывается!» — вспоминает Коля слова няньки и смеется: у него губки пухлые и ровные белые зубы, как молоко, белые.

Конечно, никакой новой болезни у Коли не открывалось. С тех пор, как на третьем году была у него скарлатина, осложнившаяся водянкой, когда он и вправду помирал и никакие ванны из трухи не помогали, да вскоре затем корь, он не хворал ни разу.

Вообще, все дети отличались крепким здоровьем, несмотря на все свои финогеновские проделки: для озорства и удали ели снег и выбегали в одних рубашках в холодные сени, глотали больших мух, чтобы мутило и не идти в гимназию, а чтобы грозы не бояться, ели черствые заплесневелые просвирки — бабушкино наущение! — и всегда на пруду — кувыркались в прорубь. И все с рук сходило, вреда особенного не замечалось. Исключением был Женя. Женя, после всех болезней Коли, прохворав скарлатиной и корью, получил еще дифтерит и одно время ослеп. Зрение вернулось, но постоянно на глаза он жаловался. Какая-то была у него сильная невральгия. Не глаза болели, а где-то над бровями в висках: схватит и мучает, — и свету тогда уж не видит, и плачет убито, так плачут только беспомощные дети, не плачет, а гудит. И лунатик он был: по ночам сонный проделывал диковинные вещи, — вылезал на крышу, ходил по карнизу. В самом раннем детстве, когда у него были припадки, клали его на мощи, и у Вареньки у образов в киоте вместе с венчальными свечами хранились

бархатные рукавички и шапочки с мощей, — святыню к глазам прикладывали. Водила его Прасковья в Боголюбов монастырь к схимнику о. Глебу на молитву о изгнании беса, будто и полегчало. Глаза у Жени такие были грустные, и забиякой не слыл он, а все же разойдется — маху не даст.

«Кто ж их разберет, — говорила Прасковья, — все они, и большие и маленькие, на одну колодку, разбойники сущие».

Большими назывались Саша и Петя, маленькими, мелюзгой — Женя и Коля.

Коля подымается с кровати и, прежде чем идти вниз, растворяет дверь в смежную комнату.

В комнате темно. Чуть живет изнывающий мутный луч лампадки перед образом Трифона Мученика.

Коля вытягивает руки, чтобы не споткнуться. Ему не очень страшно, но все-таки впотьмах он боится.

В его всматривающихся близоруких глазах, не потухая, плывет лиловый кружок с серебряным ободком. Лиловый кружок с серебряным ободком постоянно плывет перед глазами, если Коля долго жмурится и попадает из света в темноту. Ему приятно видеть этот лиловый кружок.

И вдруг, не рассчитав шага, Коля оступился, заколотилось сердечко.

— Господи Владыко, что ты, Коко, неосторожный какой!

— Бабушка!

Бабушка Анна Ивановна — старая старуха из богадельни, старуху все у Финогеновых бабушкой называют.

Откуда появилась бабушка к Финогеновым, об этом никто никогда не спрашивал. Просто сама пришла. У ней нет ни души в городе, да и не только в городе, а и нигде нет ни родственников, ни знакомых, одни покойники. Варенька давала ей рубль в месяц, и бабушка подолгу живала у Финогеновых.

— У, вертопрах, — охает бабушка, подымаясь, она расстелилась было на полу вздремнуть до ужина, — все-то ноги отдавил, прости Господи! И куда это ты запропастился: днем с огнем не сыщешь. Ходила я на

пруд, все дети развлекаются, горку строят, а тебя нет как нет.

Сказать бабушке о животе: живот болит, — животом бабушку не возьмешь.

— Бабушка, — подлащивается Коля, — дай, бабушка, мне понюхать табачку немножечко?

— Изволь, душа моя, изволь, — бабушка с удовольствием вынимает табакерку, — Бахрамеевский табак свежий. Всех наших старух намедни потчевала, Юдишна хвалила, сам Александр Петрович О т в а ж н ы й отведал. Александр Петрович — старичок отважный!

Бабушка и сама понюхала и Коле понюхать дала. Табак забористый.

— А я тебе, бабушка, духов подолью, хочешь?

Бабушка довольна.

А Коля выхватывает табакерку и опрометью бежит по лестнице вниз и через черные сени, через кухню, мимо Маши, Степаниды, Прасковьи прямо в столовую и трясется весь: вот расхохочется, — глаза прелукавые. Там влезает он на шкап, достает из стеклянного буфета толченого перцу, подсыпает перцу в бабушкину табакерку, потом плюет и все размешивает.

Наперченная табакерка в кармане, глаза потускнели, ловко состроена кислая рожица, — медленно идет Коля в зал: он ведь болен, у него живот болит!

— Жарок небольшой есть, — Палагея Семеновна дотрагивается своими пухлыми пальцами до Колиного высокого лба, — покажи, Коля, язычок... И, какой красный!

— Завтра дома посидишь, — замечает Варенька, — и Женя отдохнет немного.

— А мой-то, мой-то! Представь, мой Ванечка третью неделю не выходит. Ванечка такой слабенький. Был Поморцев, говорит: коклюш. Удивительный доктор! Да, напомни мне, Варенька, сказать что-то... Замечательный доктор.

В сенях, с черного хода, послышались крики, потом все притихло и опять закричали.

Казалось, все двенадцать разбойников вломились в дом. В кухне шлепнулся кто-то и закувыркался.

Это Саша, Петя и Женя вернулись с пруда домой.

— Подрались, сладу с ними нет! — поднялась Варенька, и в голосе ее столько раздражения, будто нанесли ей смертельную обиду.

Палагея Семеновна опустила глаза и, самодовольно улыбаясь, принялась доедать варенье — ложка ее поддевала последние ягодки, словно вылизывала блюдечко.

Коля исподлобья следит за Палагеей Семеновной. Он сразу надулся, ему на все досадно: и на пруд не ходил, а на пруду без него горку строили, да и горчичник впереди, горчичник больно щиплется!

Ему досадно на Палагею Семеновну, из-за нее он под диваном сидел и гулять не пошел. И зачем она так улыбается и ложечкой выскабливает блюдечко?

Летом привела Палагея Семеновна своего Ванечку к Финогеновым с детьми поиграть. А дети взяли да и вымазали Ванечку навозом, накормили его куриным пометом, а потом затащили в лодку и стали лодку раскачивать — волнение устроили. С Ванечкой сделалось дурно. Гувернантка так и ахнула, едва освободила его да скорее к мамочке, а он мамочке бух самое непристойное слово, — Финогеновы научили.

«К таким уличным мальчишкам нельзя порядочных детей пускать, такие и убить могут! — возмущалась тогда Палагея Семеновна, — я к тебе, Варенька, чаще заходить буду, я займусь их воспитанием. Посмотри, мой какой: просто пая».

«И не нуждаемся, — говорит себе Коля, и глядит уж со злостью на Палагею Семеновну, вспоминая слова ее, их он как-то слышал под диваном, — а с вашим Ванечкой мы и не то еще сделаем... фискала!»

Гуськом — пинкаясь, входят остальные дети: впереди Саша, за Сашей Петя, за Петей Женя. Они раскраснелись с мороза, и уши горят. Они такие же, как и Коля, в царапинах и с линяющими вчерашними синяками на скулах и под глазами. И одеты рвано: курточки на них и штаны подштопаны и в заплатах.

Саша рослый, остролицый, с длинными руками, лобастый, как Коля, глаза серые огорелышевские.

Петя — губошлеп, мордочка розовенькая с синими глазами.

Женя смотрит букой, будто никогда не улыбнется.

— Как твои успехи, Саша? — жеманно подобрав губы, епрашивает Палагея Семеновна.

— Ничего, — смело и громко отвечает Саша, — четверку по-латински схватил, экстемпорале писали, целых пять страниц.

— Так много?

— А в восьмом классе пишут и десять, бывает и двадцать.

— Ай, ай, ай! У вас новый директор?

— Стерляев Александр Федорович, — Саша речисто и бойко рассказывает — сочиняет, без этого он не может, он всегда сочиняет: их новый директор Стерляев будто во время уроков садится у классной двери и следит в подзорную трубку через матовое окошко; сегодня Саша попросился выйти и наткнулся на директора; директор, увидев Сашу, очень смутился, спросил фамилию и потрепал его по головке, — с учителями в учительской директор разговаривает не иначе как по-гречески, только на совете изредка по-латински, так, слова два...

— Ай, ай, ай! — перебивает Палагея Семеновна: ей это все пригодится, будет что порассказать и удивить.

— В восьмом классе показывали яйцо страуса в шестьдесят пудов, — Саша начинает захлебываться, беспокойно вертит руками, ударяет по столу, теребит ремень и загрызает ногти, — Петр Васильевич, физик, едва дотащил. Вот какое!

— Ай, ай, ай!

Петя ни слова, его будто и в комнате нет.

Входя в залу, Петя состроил перед самым Колиным носом фигурку: пригнул пальцы к ладошкам, большие оттопырил рогами и скоро-скоро зашмыгал мусылышками: «кузит — музит— бук — сосáл». Коля огрызнулся, но Петя, усевшись за чай, больше уж не ответил, не отплатил.

Петя мечтает. Он влюблен в гимназистку Варечку. Варечка — барышня серенькая и пухленькая, исподтишка

заигрывающая с Финогеновыми за всенощной. Каждый раз, когда Варечка выходит из церкви, Финогеновы с фырканьем кидают в нее воском, норовя ей прямо в глаза, — финогеновская ласка!

Сегодня Петя нашел у себя в шинели обрывышек бумажки, на бумажке крупным твердым почерком, очень напоминающим руку Саши, было написано: «Милый Петя, я тебя очень люблю. Варечка».

Петя мечтает. Петя женится на Варечке. Варечка старше его, но это неважно. Он твердо решил жениться на Варечке.

«Милый Петя, я тебя очень люблю!» — повторяет Петя любовные слова любовной записочки.

Саша продолжает свои гимназические рассказы — сочинения. Родись Саша не в городе, а где-нибудь в деревне, вышел бы из него хороший охотник.

Женя налил полное блюдце, уткнулся в чай, дует и тянет.

Палагея Семеновна доела все свои ягодки и подымается к роялю. На пюпитре появляется истрепанная и замусленная красная тетрадка с нотами — Гусельки. И начинается пение.

Дети любят пение. Готовы всегда петь и с удовольствием. В детские голоса врывается истошный голос Палагеи Семеновны. Палагея Семеновна закатывает глаза и томно ударяет о клавиши.

Лучше всех поет Петя: у него нежный, какой-то молитвенный дискант. И когда он поет, глаза его голубеют. Петя в гимназии певчим, этим только и берет, а то беда — лентяй отчаянный.

Саша басит. Саша вытягивает катушкою губы, как знаменитый соборный протодьякон, у которого не голос, а рык.

Женя подтягивает пресекающимся, бесцветным голоском, и не застенчиво, а как-то безразлично.

Один Коля ни звука. Сидит Коля и упорно молчит: досада еще не прошла. А у него альт, он орало-мученик, как окрестил лечивший его доктор Михаил Васильевич, и постоянно Коля мурлычет.

А петь-то как ему хочется: встал бы вот так и громко-громко, на всю залу! И вот ни гу-гу. И слезы подступают к глазам.

«И не буду, и не стану!» — мучается Коля, и вдруг вспоминает о табакерке, вскакивает, как ни в чем не бывало, скорее наверх через прихожую, через столовую, через кухню мимо Маши, Степаниды, Прасковьи, через черные сени по лестнице наверх к бабушке.

— Подлил, бабушка, много подлил: через край полилось! Вот твоя табакерка!

— Ах, Коко, Коко, а мне и невдомек: все мышиные норки перебрала, нигде нет. Думаю себе, не обронила ли грешным делом? Ну, мерси тебе. И чудесный же ты у меня, Колюшка, курнопятка ты проворная. Дай я тебя поцелую! — бабушка наклоняет свою седую голову и тонкими лиловыми губами целует Колю, а бабушкина бородавка с длинным седым волосом, завитым, как серп, щекочет Колину щеку.

Бабушка очень старая, память у ней зашибает: даст так Коле табакерку и забудет.

Коля частенько пользуется забывчивостью бабушки или просто стащит у ней табакерку и спрячет. Придет время, захочется бабушке табачку понюхать, схватится, нет нигде табакерки. А он ходит, смотрит, как старуха томится, да, насмотревшись, вдруг, будто случайно, и нашел: «Вот твоя табакерка!»

Проголодавшись, бабушка раскрывает табакерку, берет большую щепотку и со свистом нюхает — и хорош же табак вышел, душистый! И Коля понюхал: перцу не слышно, хорош табак и душистый, пахнет, как от плащаницы.

Коля чихает и бежит обратно в залу.

А в зале уж пропеты все Гусельки, начали новую песню из новой зеленой тетрадки:

— «Грустила зеленая ива, грустила, Бог знает о чем».

Все поют и только один Коля молчит. И уж прежней досады нет у него: он не должен представляться больным, и совсем ему не важно, что без него на пруду горку состроили, и не боится он горчичника, если поставят ему на

ночь горчичник, и все-таки ни звука, как сел, так и сидит, губы сжаты.

Коле вдруг стало жалко, всех стало жалко. И Палагею Семеновну жалко ему, — «операция, кишку будут резать, больно!» И бабушку Анну Ивановну жалко ему, припоминает он, как другой раз Варенька рассердится на бабушку — бабушка все к месту прибирает, так что и найти после ее уборки ничего невозможно, да и мало ли еще за что, просто так рассердится Варенька и выгонит ее из дому, соберет бабушка свой узелок табачный, попрощается с детьми, с Машей, с Прасковьей, с Степанидою и пойдет с своим узелком табачным, без денег, старая, пешком на другой конец города. И мать ему жалко — Вареньку: как она плачет и не ест ничего, и лицо у ней такое красное становится... и уж сам себе боится Коля договорить, почему ему жалко Вареньку и как-то страшно. И няньку ему жалко Прасковью-Пискунью, у ней сын — Митя, в половых служит в трактире, Митя запивает, а Прасковью на конюшне пороли, когда крепостною была. А из братьев жалко ему только Женю: как убивается Женя, когда ему глаза больно! А когда ослеп Женя, заставили его пилюли глотать — пилюли горькие, одну он раскусил и две проглотил, а все остальные Коля тогда себе взял и в пруд бросил.

И вспоминается Коле, как однажды за его проказы обвинили во всем Женю. Учились они до гимназии у Покровского дьякона Федора Ивановича. Федор Иванович — справедливый и кроткий, дети его любили. Коля раз влез на стол птичку в клетке посмотреть и задел ногой за чернильницу, чернильница опрокинулась и весь стол залило чернилами, попало и на пол. Пришел дьякон, спрашивает: «Кто разлил?» А Женя вдруг и заплакал. «Я, — говорит Коля, — я разлил!» «Неправда, — не поверил дьякон, — разлил Женя!» А Женя все плачет. Дьякон пробрал Женю за то, что не сознался, а Колю укорять стал, что вину чужую на себя берет. «Брать на себя вину — гордость, за это Бог накажет!» сказал дьякон. А Женя все плакал. Так и ушли: Коля виновный невинным, а, стало быть, хорошим, — Федор Иванович, прощаясь, по головке его погладил, Женя невиновный виноватым, а, стало быть, дур-

ным, — Федор Иванович еще раз ему заметил, что в нехороших поступках своих сознаваться надо, а то Бог накажет. Вспомнив пролитую чернильницу и дьякона, и плачущего тогда Женю, и себя таким обеленным, хорошим, невиновным, Коля чувствует, как на место жалости подымается в нем жгучая досада на себя: зачем он тогда голову себе о стенку не прошиб, не отрезал пальца, чтобы уверить, доказать Федору Ивановичу, что он один, только он один разлил чернила, а Женя совсем ни при чем, или кричать бы ему, кричать бы тогда до потери голоса, и почему он никогда не может делать то, что хочет, вот ему петь хочется, а он не поет?..

Все время молчавшая Варенька встала из-за стола и быстро, шмыгая, как сам Огорелышев Арсений, пошла к себе в спальню.

— «Грустила зеленая ива, грустила, Бог знает о чем...» — еще раз повторили песню.

Палагея Семеновна сложила ноты и собирается домой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Оглашенные

День на день не приходится, час на час не похож. Не всякий вечер лежать Коле под диваном, смотреть в пустую, папироской прожженную звездочку на оборке, да прислушиваться. Палагея Семеновна не бабушка — не Анна Ивановна, — бывает, что и по неделям не слышно ее колокольчика у Финогеновых в гостиной, бывают и другие вечера — будни.

Долгий вечер, каких много. Чуть внятны напевы ворчливого ветра. Ветер ворчит и в трубе, и на чердаке.

Саша и Петя учат уроки, поскрипывает перо, не хуже ветра бормочут, уроков много.

Женя и Коля с бабушкой в потемках. Лампадка теплится перед Трифоном Мучеником. Бабушка расстелилась на полу. С бабушкой, Женей и Колей лежит окотившаяся Ма-

руська и шесть котяток, и тут же шелудивый кот Наумка, — Колин любимец.

— Бабушка, завтра первый декабрь! — вспоминает Коля, — завтра Наумка именинник!

Бабушка гладит по брюшку Маруську, творит молитву.

— Что ты, нагрешник! — спохватывается старуха, — разве тварь именинница? Тварь — пар. А его, паскудника, надо палитанью вымазать: истаскался весь, шатавшись.

Женя дремлет: утомила его гимназия. Котятки перебирают лапками, сосут Маруську, — ужинают. Наумка пригрелся, разнежился, сладко зевнул и запел.

И начинает бабушка сказку.

— Жил-был в тридевятом царстве, в подсолнушном государстве...

— Про Ивана-царевича?

— Про него самого, душа моя, про царевича и серого волка.

Слушает Коля сказку, видится ему серый волк, так ясно видит он волчью, шершавую мордочку. Вот входит волк к Ивану-царевичу, весь его хвост в жемчугах, улыбается волк, а язык-то красный и острый страшно, и глаза горят. «Ну, говорит, спас я тебя, выручил, живи и царствуй, а наград твоих не нужно мне, пойду я в дремучий лес». — «Спасибо, отвечает Иван-царевич, спасибо тебе, серый волк, вовек не забуду: не случись тебя, лежать бы мне на сырой земле».

«Буду большим, — мечтает Коля, — богатырем сделаюсь, буду как серый волк!»

И кончилась сказка: бабушка тоже была на пиру у Ивана-царевича — мед там вкусный-превкусный, соты-меды, только ей в рот не попало. Бабушка поднялась, зажгла свечку, а за бабушкой Женя и Коля, а за Колей Наумка.

Входят в комнату Саша и Петя. Уроков они не выучили, но тетрадки и книги побросали в лысые ранцы, будто все готово и в исправности.

На столе перед зеркалом появляется старое Евангелие в черном кожаном переплете с оборванными застежками.

— О страстях Господних! — объявляет бабушка и начинает нараспев истово любимое свое евангелие о стра-

стях: — «И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Заведеевых, начал скорбеть и тосковать»...

Слушает Коля евангелие, видится ему Христос: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты». А ученики спят. А ведь Он просил их бодрствовать с ним, но они заснули. И опять молится и опять находит учеников спящими. И час приблизился, вот входит Иуда и множество народа с ним. Если бы захотел Христос, ангелы спасли бы его, но так надлежало быть. Видит Коля, как ведут Христа, и двор видит, где Петр остался, и слышит, как клянется Петр и божится, что не знает Христа, и поет петух.

— «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И вышед вон, плакал горько!» — бабушка молитвенно замолкает.

Присоседившиеся к бабушке дети замерли. Лишь слышно баюканье ветра, и не потухает горькое слово: «И вышед вон, плакал горько».

«Будь я Петром, — мечтает Коля, — я никогда бы не отрекся! А что если опять придет Христос? Поскорее бы Пасха, а там и на лето распустят. Господи, я никогда бы Тебя не предал и не отрекся!»

Саша и Петя тоже мечтают, тоже загадываются, только по-своему.

Женя прижался к бабушке, тычется головой к коленям, и над ним шевелятся концы коричневого горошком платка.

Мороз ли на пруду ударил, ветер ли полосой прошел от Боголюбова, кто-то постучал в окно.

— Ангел! — встала бабушка.

И все дети встали и запели Богородицу. И пропели Богородицу, и долго не трогались с места, словно боялись спугнуть ангела: ангел тут близко летал около дома, около пруда, ангел постучал им в окно, — не постучит ли еще?

— А отчего звезды падают? — спрашивает Коля.

— Ангелы незримые, ангелы падшие! — строго отвечает бабушка и вдруг оживляется: — Саня, душа моя, принеси и почитай моего любимого Пушкина. Что-нибудь чудесное...

Евангелие складывается, тушится свечка, зажигается лампа.

Саша приносит изодранную К а п и т а н с к у ю д о ч к у, откашливается и начинает бойко любимую повесть.

Под конец повести, на том месте, где Гринев прощается: «Прощайте, Марья Ивановна! — Прощайте, Петр Андреевич!» — бабушка с Петей тихонько плачут.

Да и как им не плакать!

В субботу за всенощной Петя подбросил Варечке записку с своим собственным стихотворением:

Ваши очи страстны,
А коса — руно,
Разве вы не властны
Ялику сбить дно?

Вот какой акростих сочинил он для своей Варечки.

А когда за обедней, проходя мимо нее с кружкой, он взглянул на нее, полный ожидания, она только повела своим носиком.

«В Сашу влюбилась, конечно, в Сашу! И письмо это Саша писал: «Милый Петя, я тебя очень люблю!» Вот она какая! Нет, помереть бы, один конец!»

— Эх, душа моя, — вытирает бабушка табачным платком свои табачные слезы, — какая я была в молодости! Лицо у меня было лосное, п о л ь с к о е, сам граф Паскевич Иван Федорович засматривался.

Растроганная воспоминаниями, рассказывает бабушка о крепостном времени — о своих прошлых годах, и незаметно переходит к богадельне, к табачной богаделенной жизни, к старухам, к старостихе Юдишне. И уж не граф Паскевич Иван Федорович, а старик Александр Петрович О т в а ж н ы й ходит-крутит вокруг бабушки, засматривается на ее позеленевшее, когда-то лосное п о л ь с к о е лицо.

— Бабушка, а бабушка! — лукаво прерывает Коля бабушку.

— Что тебе, дружок?

— А все же мы тебя, бабушка, из членов Святейшего Синода вычеркнем!

— Вычеркнем, вычеркнем! — подхватывают хором за Колей и Саша, и Петя, и Женя.

— Не имеешь права, будет уж: времена не те! — седой бабушкин волос на бородавке трясется: в чем тут дело с Синодом, бабушка сообразить не может, только чувствует она насмешку какую-то и, пригорюнившись, замолкает.

— Ну, ладно, — сдается, наконец, Коля, — подождем... пока.

— Ах, Коко, Коко, и всегда-то озорной ты был, задира сущая. Кормилицу тебе наняли, месяц не прожила, вытурили: с желтым билетом объявилась, гулящая. Поступила Евгения и жизни невзвидела. Бывало, ревмя ревет: как вцепишься, ни за какие блага оторвать невозможно, всю-то норовишь поискусать. А как стал ножками ходить, рано стал ты ножками ходить, годочку тебе не было, жили мы тогда на даче, на круг гулять ходили, и повадился ты на кругу целоваться. Как сейчас помню, Колюшка, впился ты губками в Валю, — девочка с тобой играла, Валя, насилу оттащили, а носик-то ей все-таки перекусил. Потом и себя изуродовал: Господь Бог покарал. Варим мы крыжовник с покойницей Настасьей, царство ей небесное, обходительная, чудесная была женщина, мамашу выходила, ну, и слышим крик. Побежали наверх, а ты, Колюшка, лежишь, закатился, синий весь, а кровь так и хлещет, тут же и печка игрушечная валяется. Залез ты на этот самый комод, сковырнулся и прямо на печку окаянную. С того самого времени ты и курносый, задира сущая.

Бабушка, а также нянька Прасковья любят вспоминать, как Колю покарал Бог, — сделал его курносым. Но Коля и сам без всяких рассказов и напоминаний помнит, как упал он с комода на игрушечную жестяную печку, только не помнит, зачем ему понадобилось на комод взбираться. И не тогда, как перекусил он, целуя, нос какой-то девочке Вале, а только с того дня, как переломил себе нос, начался его первый день, и словно впервые у него открылись глаза: он помнит и видит себя на полу, а вокруг кровь — во рту кровь, на губах кровь, все руки измазаны кровью, все платьице.

Бьет восемь.

Дети вскакивают от бабушки и под часы, и там, под часами, подпрыгивают, топочут, стучат, кричат — мышей топчут. Такой уж обычай у Финогеновых: когда бьет восемь — перед ужином топотать под часами.

— Ну, Коко, похвальный лист тебе, — нюхает бабушка, одобряет Колю, — другую неделю твои духи держатся, удружил: табак чудесный, мягкий.

Дети тянутся с щепотками к табакерке, нюхают, потом чихают и вниз из детской в столовую ужинать.

На лестнице сцепились. Коля дал тумака Пете, Петя оскользнулся, задел Женю, а Саша захотел пофорсить — взять всех на левую и ударил Колю под душку, Коля задохнулся, укусил Сашу за палец.

С покрасневшими глазами, дуясь, толкутся дети в кухне.

— Оглашенные вы и лицемерные, — ворчит Прасковья, — не будет вам ужотко гостинцев. Только мамашино здоровье расстраиваете.

Степанида, иконописная кухарка, повязанная по-староверски, в темном платке изловила здоровенную рыжую крысу — матку.

Начинается крысиная расправа.

Мышеловку ставят на табуретку и потихоньку льют кипяток на крысу. Крыса визжит и мечется, а кипяток все льют и льют на нее. С хвоста у ошпаренной крысы слезает шкурка, и хвост становится розовым и нежным, хвост дрыгает. Дается отдых. Передохнула крыса, берут лучинки и тыкают крысу лучинками, то лучинками, то поганым ножом. Снова появляется кипяток, снова льют кипяток, норовя на глаза ей. Крыса судорожно умывается лапкой и кричит, кричит, как человек.

Шелудивый Наумка, курлыча, тут же трется с возбужденными, злыми глазами...

Покончив с крысой, дети переходят из кухни в столовую, но ужинают нехотя, едят — давятся. И, поужинав, наверх не идут, а лазают за занавеску на кровать Маши, рассматривают ярко-намалеванные лубочные картинки: Льва, Бенедиктинского монаха и Священное коронование, подделывают хвостики и рожки, и, толь-

ко после долгих уговариваний и многих угроз Прасковьи, Степаниды, бабушки, отправляются спать.

Гурьбой подходят к гардеробной к Варенькиной комнате — к спальне прощаться. Стучат к Вареньке. И без толку.

Варенька часто запрется с вечера в своей комнате и не выходит, и, хоть дверь ломай, не откликнется.

— Тише, вы, — останавливает нянька, — мамаша заперлись: нездоровы... У, неугомонные! И когда-то Господь вас на ум-разум наставит!

Долго и шумно укладываются дети: ждут г о с т и н ц е в. Гостинцы — лакомства: либо по кусочку яблока, либо по часточке апельсина или финик или чернослив полагается детям после ужина и дается в кроватях, чтобы скорее угомонились. Съедят эти гостинцы и затихнут.

Затихло в детской наверху, только Коля не спит. Коля долго не засыпает, все прислушивается.

Из кухни доносится чавканье: в кухне ужинают.

— Наездился он на мне — рассказывает Степанида о своем постылом, — рожать Филиппка время пришло, бросил постылый: со стерьвой-сукой своей связался.

— А Юдишна говорит, — слышится голос бабушки, — околдовали вы, говорит, Анна Ивановна, старичка отважного Александра Петровича: неспроста он хмелем около вас увивается. Как бы смотритель не заметил.

— И не шляйся ты, хухора, с журавлевским приказчиком, — поучает Степанида Машу, — не висни тут у Федора на шее: он тебя загадит всю, а опосля кинет. Куда брюхатой?

— Трудно, девушка, пока-то устроишься, дух вон и лапы кверху.

Маша хихикает.

Коля прислушивается. И, как под диваном, лежит он, не шелохнется, и, как под диваном, многое не разбирает, и о чем разговор идет, и на что все жалуются, и отчего Маша так смеется-хихикает? Ждет Коля, когда поужинают, ждет бабушку. Вызвался он бабушке постель постелить и постелил: под засаленный, просетившийся ватошный подстильник поленьев наклал и все это сделал чисто, совсем неза-

метно. Вот как-то она теперь на поленья уляжется, вот чего ждет Коля, и сна ему нет.

В кухне сначала перемывают посуду, потом гасят лампы и шлепают по лестнице — идет наверх бабушка, за бабушкой Прасковья.

Коля завернулся с головкой, только нос торчит.

Нянька тычется по углам, шарит:

— Куда это я, девушка, ватошную вещь задевала, не сыщешь.

Коля смеется, не открывая рта: знает он, где нянькина ватошная вещь — набрюшник, ну да пускай себе ищет!

— Колюшка молодец у меня, лучше всех детей: и постель мне, старухе, постелил и в табак духов налил.

— Мочи моей нету, девушка, измаялась я: день-то-деньской шатавшись, ноги отваливаются.

Почесываются, сначала легонько, потом со скребом.

— Господи, Владыко! — вздыхает бабушка.

— Митя-то сызнова, девушка, в золоторотцах. Из трактира погнали: запой, знать.

— Напущено! — бабушка всунула голову в ворот рубашки, засветила там огарок и ищется, не бабушка — Коза-Береза.

— Спрашивала я батюшку, отца-то Глеба, батюшка молитву дал запойную. Знать, Богу так угодно... Эх, девушка, по пятому годочку Митя в трактире-то: несмышленого, махонького определила. Думаешь, девушка, должность чистая, а вот поди ж ты, может, и напущено. Сердце материно изболелось, глядевши... Закопытили его сердешного!..

Тихо в комнате, только часы ходят, маятник качается.

Почесались, поискались и за молитву: молится бабушка, молится Прасковья.

— Скорбящая Матерь Божия, помилуй!

— Троеручица, Владычица моя матушка, сохрани!

— Горы Афонские, согрешил вечеславный, во дни и в нощи!

— Богородица, присно Дева, радуйся!

— Окаянная, словом еже делом, помыслом нескверным...

— И от блуда всякого сохрани и помилуй!

— Митрия, раба Твоего, помилуй и сестру Арину!

Коля слушает, как молятся, и вспоминается ему Митя, сын Прасковьи, длинный и серый весь, с крысьими хвостиками-усами, в коричневой визитке, и в штиблетах без стука.

— Но избави нас от лукавого! — оканчивает бабушка молитву, окрещивает воздух вокруг себя, еще раз крестится и опускается на пол, на постель свою, плюх прямо на поленья, — чтоб тебе! — вырывается ее сдавленно-негодующий вопль, — курносая пятка, курнофейка окаянная, уродина паршивая, скажу мамаше. На старости лет, Господи! За что это, Господи!

Шлепаются полена, раскидывает их бабушка по комнате, куда ни попало.

И, раздирая свой красненький ротик, пищит придавленный котенок.

— Оглашенные! — ворчит Прасковья, укладываясь без своей ватошной вещи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дух вон, лапы кверху

Сонный свист и храп и бормотание наполнили комнату, заснула детская.

Не спится Коле, ёрзает он, разбегаются мысли.

Обидел Коля бабушку, ни за что обидел. Лежит она теперь с скорбно-сложенными лиловыми губами, снятся ей проклятые полена, падающие, прихлопывающие ее, как крышка гроба с черными гвоздями. И жалко ему бабушку, жалко ему Митю, — «Митю закопытили!» — вспоминаются ему нянькины слова, и няньку Прасковью жалко, ее самоё копытили век ее вечный, — «Пороли нас больно на конюшне, девушка, лупили за всякую малость»...

Мутно-кровавый глаз лампадки от Трифона Мученика хмуро защурился. Завыло в трубе. И с воем приползло в комнату тайное, что окутывало Финогеновский дом, а в взбудораженных мыслях у Коли замелькала тайная жизнь

Вареньки, а в растравленной жалостью душе его поднялись отдельные жуткие дни и часы и минуты жуткой, тайной жизни матери.

«Барышня несчастная!» — вспомнилось Коле, так по двору называли фабричные Вареньку, и тут же вспомнилось, как сказал как-то дворник Кузьма: «За сороковкой барыне!», а Прасковья на него: — «Цыц ты, кудластый, чего галдишь, дети услышат, мало што!» — и еще вспомнились слова бабушки: «Пьяницы не гниют, только чернеют!» Да, чернеют, слесарь Самсон как почернел, Коля Самсона видел, и потому почернел Самсон, что пил много, и Варенька почернеет — «барышня несчастная!»

Варенька пьет, как пил слесарь Самсон, Коля об этом знает. И всякий раз, когда Варенька запирается в своей комнате, она пьет, Коля и об этом знает. Но почему Варенька пьет, и так мало ест, а только пьет водку, Коля может только гадать.

«От скуки, вот отчего, скучно ей, все книги читает и журналы: книги и журналы такие скучные! И почему вчера в театр не поехала? — спрашивает себя Коля, — разоделась в свое дорогое зеленое бархатное платье, напудрилась, брошку приколола золотую с бриллиантами, и осталась дома сидеть?»

Коля не знает, что ответить, ему всегда бывает досадно, когда Варенька почему-то остается дома сидеть, он любит, когда она разряженная перед отъездом прощается с ними — дает руку поцеловать и в лоб целует каждого. И вдруг вспоминаются ему слова Палагеи Семеновны, он их недавно под диваном слышал:

«Ты только подумай, Варенька, что про тебя скажут? Нельзя тебе ехать с З., и так уж говорят о вас. Ведь я должна предупредить тебя: если хочешь сохранить свое доброе имя...»

Коля так ясно услышал голос Палагеи Семеновны, и представилось ему, будто лежит он в гостиной на полу под диваном, весь он скорчился, и неловко ему, и душит пыль, а голос Палагеи Семеновны острыми иголками колет его в грудь, и плачет Варенька, вся разряженная в своем дорогом зеленом бархатном платье, плачет так жалостно. Вот

выскакивает он из-под дивана, бросается на Палагею Семеновну, цапается за платье, но Палагея Семеновна подымается на цыпочки, вырастает, уж в потолок головой упирается, скалит свои острые желтые зубы, а подбородок у ней трясется — перекатывается мягкий и жирный, как индюшка. И хочется Коле орать во все горло, разбить новый стеклянный колпак, разодрать альбом с карточками, Ниву, сорвать скатерть, исковеркать стол, а к губам его пристает что-то липкое и соленое, как тогда, когда упал он с комода на железную печку и расшиб себе нос, и красные, густые, кровавые пятна выплывают из углов, плывут на него. Он свернулся в клубочек, кружится, мечется, как ошпаренная крыса в мышеловке. Хочет проскользнуть в спальню, а ноги не слушаются, ноги к земле прирастают...

— Няня! няня!!! — и сердце перестукивает, и губы вздрагивают, и голос надрывается.

Но в ответ ему только ветер воет. Что же, нянька не слышит? Спит Прасковья — закопытили ее, и бабушка спит — и ее закопытили. И словно вымер весь дом, ни души живой, ни слова в ответ, только ветер, ветер воет.

«Когда буду большим, — успокаиваясь, перестукивает сердце, — буду все делать, захочу — петь буду. Никола, угодник Божий! — молится Коля, — Ангел мой Божий! Завтра, завтра... серым волком буду...»

И ударили в Боголюбовом монастыре, зазвонили к заутрене, и от звона стекла вздрогнули, а часы, под которыми в восемь Финогеновы топчут мышей, с оттяжкой пропели свои три часа. И засвистел на дворе фабричный свисток, долгий, словно встрепенувшийся со сна.

И почему-то вспомнился Коле фабричный мальчишка Егорка, попавший в маховое колесо. Стал Егорка перед глазами и, подлетая и улетая куда-то за спицы, взвивался, мелькал на маховом колесе, и уж не Егорка, а кровавый кусок говядины, его синие сплющенные лепешечками пальцы хватались за воздух; синие, красные, черные, желтые, серые дранки отщеплялись от его тела, и только медный изогнутый крестик все трепыхался на проломленной исполосованной груди.

— А! а! ах!!! Душат! — не своим голосом заорала Прасковья: видно, ей опять черти приснились.

«Ходят они по ночам за мной, — часто слышал Коля, как жаловалась нянька, — будто этак комната — спальня, а они черненькие, в курточках крадутся...»

Кто-то неслышно подошел к кровати, провел по одеялу руками.

Коля обомлел от страха.

Да это Женя. Это Женя во сне встал и бродит!

Женя постоял-постоял и пошел к своей кровати.

«Порченый! Женя — порченый! — мелькнуло у Коли, — порченая девочка в Боголюбовом подняла за обедней подол, да прямо в крест о. Глебу!..» — и начинает сам кощунствовать, и хотел бы остановиться, да не может, все новые кощунства осаждают его: он и сам плюет в крест и, Бог знает, что делает с крестом, как та порченая.

— Господи, Господи, — кается Коля, мечется на постели, шепчет, — прости меня: с Ваней Финиковым в алтаре подрался, я садился на престол, и на мехах, кадило раздувая, чертиков рисовал, Никола, угодник Божий, ангел мой Божий, прости меня!

А в ответ Коле как запищат котята, все семь котяток Маруськиных, да так неистово, бабушку с пола подняли.

— Окаянные! треклятые! — застонала бабушка, отдирая от себя вцепившихся и в волосы и в рубашку ошалевших котят, вся вытянулась, костлявая, взлохмаченная, седой, трясущийся хвостик на бородавке загнулся серпом, выпученные, зеленые глаза, не бабушка — злая Баба-Яга.

Коля зажмурился, не дыхнет, не пошевелится: дух вон и лапы кверху. Подушка — огонь горячая. И что-то будто темное огромное плывмя плывет на него, оно вот-вот раздавит, сплющит его маленькое тельце, и душа его вылетит, — конец его. Коля скрестил кулачки:

— Ангел мой, Хранитель мой!

Но сон берет свое — тихий сон закрыл ему глаза и успокоил встревоженное сердце и унес испуг, оставив сладкий покой и тишину.

И все затихло, все заснуло наверху в детской.

Варенька задула свечку и, шатаясь, повалилась на кро-

вать, так полураздетая с какими-то подплясывающими назойливыми мыслями, будто заостренными зеленоватыми крестиками в глубине ее воспаленного мозга. Заломила она руки, разметалась. И ослабевшая свинцовая голова ее, и переизнывшее сердце погрузились в чадный сон неминуемых бед и дразнящего хмельного несбыточья: ей так много хочется, так много всяких желаний у ней, и все будто само приходит, приходит готовое исполниться, и сразу сжигается, не утоляя. Если бы ей совсем-совсем никогда и ничего не хотеть!

И в белом Огорелышевском доме пришел тихий час. Там в окне у Арсения вздохнула матово-зеленая лампа и померкла, и зазмеился желтый огонек свечи, поиграл и уполз. Вздрагивая и от утомления и от табаку, оторвавшись, наконец, от дел, которых всегда так много, а часы так кратки, прошел Арсений в спальню, где лежит болезненная жена, состарившаяся, выцветшая и совсем чужая. И ему вспоминается новенькая банковская машинистка в кудряшках, и он дрожит, нечаянно встретив себя в высоком, закачавшемся трюмо. И какая-то горечь пьет сердце. Знает он, что, не делая своих дел, он не может жить, и вся жизнь его в борьбе и победах — он всегда побеждает, но зачем ему эти победы и зачем дела? Для того, чтобы сделать все по-своему, разрушить и построить, расчистить место и построить, как хочется, создать свое по-своему, по-новому, по-другому. И дел так много, и часы так кратки, успеет ли он? И жизнь проходит, и как быстро проходит! А он ее еще уторапливает.

И на дворе начинается новая смена, после краткой ночи наступает рабочий день.

В заплесненно-гноящихся, спертых фабричных корпусах и в душных каморках, несладко потягиваясь и озлобленно раздирая рты судорожной зевотой, крестясь и ругаясь, подымаются фабричные. Осоловелые, недоспавшие фабричные дети тычутся по углам, и от подзатыльников и щипков хнычут.

Распластавшиеся по нарам и койкам, женщины и девушки с полуразинутыми слипающимися ртами борются с одолевающим искушением ночи и с замеревшим сердцем

опускают горячие ноги на холодный, липкий, захарканный пол, наскоро запахивая и стягивая взбунтовавшуюся грудь.

Сменяется ночной сторож Аверьяныч и, обессиленный болями, с пеной на подгнивающих губах, сквернословя и непотребствуя, валится в угол сторожки, а на его место становится дворник Кузьма.

Тянутся в Боголюбов монастырь вереницы порченых, расслабленных, помутившихся в уме и бесноватых с мертвенно-изможденными лицами, измученные и голодные, — у одних закушенные языки, у других губы растрескавшиеся, синие без кровинки, с застывшею странной улыбкой.

И о. Глеба, укрощающего бесов, ослепленного схимника, ведет под руку из белой башенки-кельи в церковь к бесноватым дылда-послушник, отплевывающийся от сивушной перегари полуночной попойки.

И в промозглом, заиндевевшем склепе Огорелышевых последний жадный червяк точит последнюю еще живую кость деда Огорелышевых, Николая.

А там, за вьюжным, а там за беззвездным небом, нехотя пробуждается зимнее серое утро и сдавленным, озябшим криком тупо кричит в Финогеновском петухе, очнувшемся на самой верхней жерди.

Кружится, крутится — падает снег, кружится, падает снег на замерзшую землю и хоронит ее такую непонятную, с ее неразгаданной непостижимой жизнью.

А там, на скользкой высокой горке, запорошенной пушистым снегом, там что-то огоньком мелькало — один из бесов, бесенок с ликом неподкупной и негодующей человеческой честности и справедливости, по-кошачьи длинно вытянув вверх ногу, горько и криво смеялся закрытыми губами.

Он-то знал, и зачем надо было самому деду Николаю на свет родиться, а от Николая Арсению и Вареньке, зачем Арсению свои дела делать, а Вареньке горькую пить, и зачем Коле под диваном сидеть и все замечать и ко всему прислушиваться, и про бабушку знал и про няньку и про Митю, зачем век их вечный копытят и будут копытить, он знал поименно всех порченых и бесноватых, дожидаю-

щихся схимника о. Глеба, и зачем одни, не доспав, должны вставать на фабричный свисток, а другие спят, и почему так складывается, одним одна жизнь, а другим другая, одним легкая и удачная, другим трудная и несчастная. Да знал ли он? И кто он — демон, один ли из бесов или просто бесенок? И демон, и бес, и бесенок, он знал и горько и криво смеялся с сжатыми губами.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Олаборники

Как пришла весна, пришла громкая с пенными ручьями, певучими, с голубым ласковым небом, с теплым, лучистым солнцем, и почернел сад, раструхлявились гнезда, зажелтелся лед на пруду, и стал пруд серым, — всеми лежал он покинутый, с одинокими брошенными льдинами, с темной, как проломленный глаз, прорубью, и запел Боголюбовский колокол по-весеннему звонче и переливчатее часы свои, о своем полдне и о своей полночи, и уж целыми днями, только придут из гимназии Финогеновы, и прямо на двор за работу: колют, рубят, метут, чтобы к Пасхе ни одной зимней снежинки не удержалось.

Вечерами же наверху играют не по-зимнему, играют в священники — в большие и в маленькие. Строят из столов и стульев престол и царские двери, облачаются в цветные платки и разные тряпки, служат всенощную, обедню, а больше пасхальные службы — так в больших священниках, в маленьких же все дело просто в деревянных кубиках: из кубиков строят церковь со всеми приделами, теплыми и холодными, как в церкви у Покрова, кубики же ходят и за священника, и за дьякона, и за весь причт церковный. И опять правят всякие службы, но больше пасхальные.

Финогеновы не пропускали ни одной службы и по охоте и по неволе. Иногда так не хотелось, особенно к ранней обедне.

— Дрыхалы, оглашенные, — подымала детей Пра-

сковья, — что вас не добудишься, будто напущено.

А было еще так рано, только к часам перезванивали, и хоть бы минутку еще поспать, одну минутку!

Когда они возвращались из церкви, они при всяких увертках не могли миновать Арсения: Арсений, для которого не было ни праздников, ни воскресенья, вставал рано и уж сидел в кабинете за делами, и в окно ему видно было, кто по двору шел. Он окликал Финогеновых и всегда, находя какую-нибудь неисправность, выговаривал. Особенно попадало постом на Страстной неделе. И все-таки как хорошо и весело бывало на Страстной!

Покровский пономарь Матвей Григорьев, черный, что нечистый, то и дело выходил, бывало, на церковный двор унимать Финогеновых.

— Олаборники, — брюзжал пономарь, — батюшка увидит.

А Покровский батюшка такой старый, едва ноги передвигает, пойдет он смотреть! — об этом Финогеновым хорошо известно, и они не слушались и продолжали свое.

Пономарь только рукой махал:

— Останавливай — не останавливай, ничем не проймешь.

На церковном дворе около колокольни стояла будка. Когда перестраивали церковь, иконописцы, озорничая, изобразили в будке на потолке соблазнительную картинку: мужчину и женщину. Тут-то под этой картинкой и вытворялось Финогеновыми нечто, уму непостижимое. А приедалась будка, надоедала, вламывались в церковь. И церковь словно оживала.

На Благовещение Ване Финикову, сыну просвирни, Агафьи Михайловны, читавшему в первый раз на амвоне шестопсалмие — С л а в а в в ы ш н и х Б о г у, и облаченному по такому торжественному случаю в семинарскую казенную чуйку, кто-то из Финогеновых пришпилил сзади к этой финиковой чуйке красный фланелевый хвостик.

В Вербное воскресенье за всенощной, когда стали раздавать освященную вербу, Финогеновы хлестали вербой не только друг друга, но и посторонних, и не ребятишек, а взрослых.

— Верба хлес — бей до слез!

В Великую Среду за пением ирмосов Сеченная сечется, Коля такое сотворил, и при том в самой же церкви, до самого батюшки дошло, и сырая шляпа Вани Финикова по рукам ходила. Охали и ахали богомольцы, трогая несчастную финиковскую шляпу.

— Ах ты, дьявольский сынок, не будет тебе ужотко причастия, — пригрозил батюшка и велел Коле у Креста стать, поклоны класть.

И Коля стоял у Креста на коленях, выкладывал положенные сорок поклонов, еле удерживая слезы, но не столько от стыда, сколько от душившего хохота: этак ведь, штуку какую выкинул! И тут опять сплутовал, — не сорок, дай Бог двадцать поклонов отмерив, улизнул от Креста.

— Ах ты, дьявольский сынок! — пугал батюшка Колю, оставив его после поклонов стоять в алтаре.

Из алтаря уж трудно было уйти, и, делая вид, что молится, Коля страшно скучал. Да и как было не скучать! — Саша, Петя и Женя возились на колокольне, пускаясь на все выдумки. И вот совсем не по уставу вдруг зазвонил большой колокол, и богомольцы напуганным стадом шарахнулись к паперти.

— Дойдет до благочинного, ни чертá путного, олаборники! — брюзжал пономарь Матвей Григорьев, сгоняя Финогеновых с колокольни.

В Великий Четверг на двенадцать евангелиев, выходя с горящими свечами, Финогеновы тушили огни у особенно ревностных покровских прихожан, к великому негодованию их и обиде.

— Душа моя, Коко, — наставляла после бабушка, — Бог тебя накажет за это, и нешто в законе Божьем сказано, чтобы страстной огонь тушить? Иуда ты и Варфоломей, Искариот, помолись ангелу своему и покайся, ни росту, ничего не даст тебе Владыко Господь, и останешься ты курносым до скончания веков, до самого светопреставления!

А Коле непременно хотелось быть высоким — большим, большим, и чтобы нос был, как у любимого учителя француза, и ну как не будет ему ни росту, и ничего до самого светопреставления?

Прикладываясь к Плащанице, Коля каялся, но как-то не так все выходило, словно поклоны клал за шляпу перед Крестом: очень уж было задорно тогда тушить свечки — страстной огонь, слышать злющее шипение испостившихся злюк и ужас видеть на их передернутых негодованием лицах.

Наступал Светлый День — Пасха.

И все забывалось. И плохенькие одежонки выказывались новыми и нарядными. Кажется, вся жизнь Финогеновых была в пасхальной заутрене, они ждали ее весь год и, что бы ни делали, что бы ни делалось, всегда помнили, будет Пасха, вот Пасха придет!

И какая радость и какая мука! После обедни, выходя из церкви на паперть, Коля постоянно чувствует, как жгучий стыд заливает ему сердце: на паперти со всех сторон тянутся к нему дрожащие руки:

— Колечка, дай копеечку!

— Колечка, Христос Воскрес!

И навязчиво идет запах гнили и промозглого немытого тела, а все эти лохмотья вздрагивают от утренника.

— Колечка, дай копеечку!

— Колечка, Христос Воскрес!

А он такой нарядный, — ему кажется так, что он нарядный, и идет он домой разговляться! Какая мука и как ему жутко, что все они такие: нет у них дома, нет у них и пасхи белой с яркими красными цветами. И как хотел бы он быть с ними нищим! И до боли ярко он уж видит себя тут, на паперти, среди нищенской рвани в лохмотьях, без дома и без пасхи.

— Воистину, воистину воскрес! — он вынимает из курточки все свои новенькие копейки, подаренные Варенькой на Пасху, и сует в заскорузлые, ловящие руки. А копеек так мало.

Мглистое утро с собирающимся снегом перекликается одиноким колокольным перекликом запоздалых и растянутых усердных обеден.

Прямо из церкви Финогеновы шли поздравлять Огорелышевых: Арсения и Игнатия. Не без страха, теряя голос, вступали они в белый огорелышевский дом.

Обыкновенно на Прощеное Воскресенье, когда, бухаясь каждому в ноги, они положенно приговаривали: «Простите, дядюшка, ради Христа!» — бывала большая проборка, и за дело и для острастки — на будущее. И на Пасху надо было ждать беды.

Между Огорелышевыми и Финогеновыми лада не было. Озорство Финогеновых раздражало Арсения, а кроме того Варенька подливала масла в огонь. Нередко в свои отчаянные минуты, желая, должно быть, сердце сорвать, Варенька посылала письма Арсению, и в письмах описывала ему Бог знает что о детях, и всякий раз просила брата сделать им внушение, так как сил ее нет, и одна она не может с ними справиться, проклятыми. И Арсений принимал меры.

Особенно доставалось Коле и Пете. С Колей началось очень давно, когда еще был он совсем-совсем маленький. Вела его как-то Прасковья по двору гулять, встретился Арсений, Коля и протяни ему руку. «Ты, мальчишка, смеешь мне первый подавать руку! Забываешь, кто ты: на наш счет живешь»! — беленился Арсений, и в голосе его звучало что-то кошачье: было так, будто кошка, долго и пристально насмотревшись в глаза другой кошке, отпрыгнула вдруг, ощетинилась и взвизгнула. А у Коли тогда губы дрожали, но рука не опускалась.

Робко прокравшись по парадной лестнице, Финогеновы входили в кабинет к Арсению, и каждый еле слышно произносил затверженное:

— Поздравляю вас, дядюшка, Христос Воскрес!

— Болваны! — не глядя, обрывал Арсений, — чаще драть вас, вот что! И ты! и ты! Лентяи, дармоеды. Тебя, Петька, выдеру, призову рабочих и выдеру: ты у меня забудешь трубку курить. А ты, курносая гадина, чего рот разинул? И ты, дурак, туда же, — Арсений потеребил бумагами: праздники для него нож острый, Пасха в особенности, как-никак, а отрываться от дела ему придется, — ну, марш, отправляйтесь!

Кубарем скатываются Финогеновы с парадной огорелышевской лестницы, да вприпрыжку по двору мимо фабрики, мимо фабричных корпусов к себе в красный флигель, где их ждет-дожидается и бабушка, и Маша, и нянь-

ка. И дома в одиночку и хором славят Христа, кричат на весь дом и христосуются с бабушкой, с нянькой, а с Машей несчетно раз.

В первый день после вечерни приходит Покровский батюшка с крестом.

Пономарь Матвей Григорьев, нахристосовавшись, едва держится на ногах.

— Пупок у меня не на животе, а на спине этак! — толкует он каждому и, весь изгибаясь, посмеивается, не открывая рта.

За чаем батюшка пробирает Петю за трубку.

— Дьявольский ты сынок! — говорит батюшка, — накажет тебя Бог!

Все Финогеновы курили, и курили до зеленых кругов и тошноты. Но трубка Петина: Петя главный курильщик. Они еще не научились воровать, их деньги – копейки, и на копейки, перепадавшие им от Вареньки, съедалось мороженое и покупались на Великом посту гречники, и волей-неволей приходилось курить тот самый табак — листья, которыми перекладывалось зимнее платье.

— Ну, Христос с вами, Пресвятая Владычица, малыши вы, неразумные! — батюшка гладил детей по головке, вставая из-за стола.

А Варенька плакала, загрызала ногти, — ногти все были изгрызаны, загрызала мясо у ногтей, Варенька жаловалась.

— Потерпите, несите крест! — наставлял батюшка.

— Да они, он... они... жизнь мою... я..., — глотая слезы, бормотала Варенька.

— Пупок у меня не на животе, а на спине этак! — толковал Матвей Григорьев на прощанье и, весь изгибаясь, посмеивался, не открывая рта.

Под ночь в Пасху бывало грустно: жалко было, что прошел Светлый день.

«Если бы всегда была Пасха! — мечтал Коля, — только в раю, должно быть, всегда Пасха, и умереть, говорят, хорошо на Пасху, прямо в праведники. Дедушка на третий день издох...» — И вдруг вспоминались ему нищие на паперти с протянутой рукой.

А в крышу постукивал теплый дождь, зеленью красящий траву и черный берег оттаявшего пруда.

И лягушки, выпучив сонные бельма и растаращив лапки, в первый раз после зимнего сна, бестолково квакали. И под дождем земля расправлялась и тучнела, и все семена жизни зреть стали, наливаться, изнемогая в своей любовной жажде.

Зарею первые нежные травинки, первые голубые подснежники, будто хор девочек — благовестниц грядущих невест, выглянули на восходящее солнце Христова дня, на Христа воскресшего.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Семивинтовое зеркальце

Весна началась не на шутку. С каждым днем становилось теплее. Благополучно прошли экзамены. И скоро о зиме забыли. Перед Финогеновским домом на огороде зацвели яблони и вишни. Бело-алые дождинки яблонова и вишневого цвета, осыпаясь с деревьев, залетали в комнату Вареньки.

С самого утра Финогеновы на огороде, в земле копаются. Рубашки и штаны испачканы, лица и руки в грязи, — чертенята маленькие.

— Эй, плотнички лихие, работай! — покрикивает Петя.

— Стемнеет, за досками пойдемте: шалаш надо строить, без шалаша нам никак нельзя, — Саша, как заправский землекоп, поплевывает себе на руки, — или берлогу выкопаем в двадцать сажен, там чай пить будем и кровать поставим. У Сухоплатовых вон берлога на дворе сделана в пятьсот сажен, Васька Сухоплатов рассказывал, музыка у них в берлоге играет.

— Свой пруд выроем! — поддакивает Коля.

— На той стороне кизельник зацвел! — объявляет Женя.

Той стороной называлась часть огорелышевского сада к Синичке: там росли старые яблони, которыми особенно дорожил Игнатий, вкусный кизельник и дикая малина.

И хотя караул ставился крепкий и всякий день из друго-

го огорелышевского маленького фруктового сада присылали Финогеновым по корзине всякой падали: ешь до отвала, — все равно, наедаясь до отвала, до холеры огорелышевской падалью, Финогеновы не оставляли к Ильину дню ни яблочка, ни ягодки. Обыкновенно поздним вечером Финогеновы шелушили деревья, а чтобы запугать сторожей, хлопали в ладоши, будто водяной тешится.

«И сад и пруд проклятые, — шла молва, — нечистый ходит! Пошел намедни в караул Егор-Смехота, — рассказывали потерпевшие от огорелышевского нечистого, — а из пруда ему рожа, да как загогочет, инда яблоки попадали. Подобрал Егор полы, да лататы. Душка-Анисья богоявленской кропила, насилу отходился. А Егор-то ведь во, — смехота!»

— Палевый вчера улетел, остался один чернопегий. И подсеву нет, — вспоминает о голубях Коля, он работает лениво, и не так пачкается, как другие дети, он любит, чтобы чисто все было, как стеклышко.

Голуби — общие Финогеновские, но Коля чувствует к голубям особенную нежность. Он и тайники и всякие приманки выдумывает

Петя гоняет голубей: его дело — залезть с шестом на крышу и посвистывать.

В воскресенье и в праздники Финогеновы, забрав голубей, ходили на дальний бульвар, где открывался птичий базар, на базаре они приторговывали новых или обменивали своих или просто слонялись, вступая с торговцами в препирательства, задирая бахвальством своим и плутнями. Огорелышевцев весь базар знал.

К голубям пристрастил Финогеновых огорелышевский приказчик Михаил Иванович.

За старостью лет жил Михаил Иванович на покое на дворе у амбаров в старой конторе, дела у него хозяйского никакого не было, разве вечерами, когда вызовет его к себе Арсений в шашки поиграть, но это бывало так редко. Все свое время проводил Михаил Иванович с птицами. Страстный любитель птиц, он только ими и жил. Занимали птицы всю его квартиру, не было уголка без клетки. Птицы чахли, гадили, а петь мало пели.

Финогеновы часто забегали к старику, любопытствовали, а Михаил Иванович, не торопясь, отщипывая не хуже бабушки понюшку за понюшкой, рассказывал им о каждой птичьей породе, и представлял голоса, и ставил примерные силки и западни, и нередко случал пичужек в надежде иметь яички: уж очень хотелось старику маленьких птенчиков повидать, выходить птичек, — авось запоют!

К великому удивлению и огорчению Михаила Ивановича после финогеновского посещения клетки как-то сами собою открывались и, несмотря на двойные рамы круглый год не отворяемых окон, птицы вылетали на волю. Думать на Финогеновых он никак не мог, — Михаил Иванович был муж дальних замыслов, и всегда охотно принимал детей и с удовольствием показывал им свое певчее пернатое царство.

Любовь Михаила Ивановича к птицам и охота за ними очень увлекла Финогеновых. Когда гостившая у Степаниды дочь ее, Авдотья-Свистуха, собиралась уезжать в деревню, Коля написал ей большой список, чего Авдотья привезти должна, когда в следующий раз к Степаниде в гости приедет. И чего-чего в записке этой не было: и соловей, и жаворонок, и кукушка, и филин, и аист, и журавль, и орел, и даже сам павлин, а из зверей — медведь с медвежатами, заяц, лисица, волк и слон. Авдотья рассказывала Коле, что в их деревне водится всякий зверь и птица, Коля и задумал Авдотьиных зверей на огорелышевский двор пустить, и просил он не так уж много, всего по одной штуке. Авдотья записку в платок себе завязала с паспортом, а зверей так и не дождался Коля.

— Весь зверь нынче перевелся по грехам нашим, — оправдывала Степанида дочь свою Авдотью, — один воробей остался, да и то птица непутевая!

Благодаря Михаилу Ивановичу, была у Финогеновых такая голубятня, всем голубятникам на зависть. Теперь совсем уж не то, сломали у них голубятню.

И все из-за Палагеи Семеновны. Узнала она о голубях, вознегодовала: как можно, ведь гонять голубей значит быть голубятником, а быть голубятником – неприлично и безнравственно.

И желая разъяснить детям их дурной поступок, вызвалась голубятню посмотреть, чтобы там на месте наставление свое сделать.

Финогеновы согласились, подставили лестницу.

Высоко задирая юбки и вскрикивая, взобралась Палагея Семеновна по трясущейся крутой лестнице под самую крышу к слуховому окошку мезонина и, наступая на теплый помет, приготовилась наставлять, но детей на голубятне не оказалось, хоть бы один кто-нибудь, никого не было, да не только детей, и лестницы — лестницу они отставили. И натерпелась же она страха, наморили они ее, наоралась вдосталь. Узнал Арсений, и была после потасовка, а голубятню сломали. А какая была голубятня! Теперь совсем не то.

Солнце, осмотрев все закоулки двора и тинистый берег пруда, вышло на самую середку греть старых огорелышевских сазанов и палить ледяные ключи.

Финогеновы бросают лопаты и с огорода домой обедать.

По праздникам после обеда приходит Филиппок, сын Степаниды, коренастый и черномазый, взъерошенный мальчишка-сапожник. Филиппок большой искусник: ловкач мастерил из разноцветной кожи оружие, ордена и всякие медали.

С приходом Филиппка начинались разбойничьи игры и война.

Что ни попадет под руку, все летит вверх тормашками: стекла и куры, скамейки и цветы, дрова и собаки, — не попадайся! Там, глядишь, кто-нибудь и в пруд бултыхнется. И не ходят, а словно на конях носятся в бумажных и кожаных орденах, с подбитыми глазами, исцарапанные.

— Вольница, удержу на вас нет, оглашенные! — ходит Прасковья, собирает черепки.

А война в самом разгаре, — такую войну и самый настоящий театр не представит.

Вот будто пожар, весь город в огне. Осажденные, озверелые от голода и тревог, мечутся люди, рвутся под бьющей бедой, стеная и проклиная. Вот буря, корабли тонут в волнах, а над головой свищут пули.

Вот бегут, — по пятам черный дым и грохот, впереди топь крови.

Вот лопнет сердце, вот дух захватит.

И крик взрывает сад, и, кажется, из фабричной огорелышевской трубы, выпыхивающей клубы седого дыма, кричит этот крик неумолимо-резкий и страшный:

— Бей! бей! бей!

И вдруг острые, как клещи, пальцы огорелышевского управляющего Андрея Филимоновича вонзаются в ухо кому-нибудь из Финогеновых и больно выворачивают мягкий хрящ:

— Дяденьке пожалуемся!

— Андрей-воробей! — Андрей-воробей! — дети, поддразнивая, кричат все зараз, кружатся, а их проворные руки то и дело салят Филимоныча с крючковатым носом, на котором торчит сухой конский волос.

Согнувшись, проходит Филимоныч к фабричному корпусу, наводя страх и порядок.

«Со свету сжил, дьявол, — ропщут по двору на управляющего, — лизун огорелышевский, шпион подхвостник! Найдет полоса, хлебнешь из пруда!»

Кончилась разбойничья игра, пошла потешная война, скрылся управляющий, и Финогеновы в купальню — купаться. До дрожи, до тошноты ныряют они и плавают, ни сухого местечка в купальне, а забрызганная одежда их свертывается, как выполощенное белье.

После купанья — на навоз, на ту сторону сада к липам.

Навоз складывается около забора, отделяющего огорелышевский сад от берега Синички. В навозе водятся необыкновенно жирные белые черви. Финогеновы разрывают навоз, чтобы выкопать этих жирных белых червей, и, набрав полные горсти, раздавливают червей по дорожкам.

А надоедят черви, идут Финогеновы ловить лягушек. Ловят и пускают в кадушку.

Кадушка — под желобом у дома. Наберут полную кадушку и за игру в лягушки: отрывают лапки у лягушек, выкалывают глаза, распарывают брюшко, чтобы кишки

поглядеть. А лягушки квакают, захлебываясь, квакают во всю лягушиную глотку по-человечьи.

— Ай! нагрешники! — спохватывается Степанида, — всю-то мне воду опоганили! — и долго возится с кадушкой, вылавливает левой рукой скользкие лягушиные внутренности и лапки.

От этих лягушек, — так были все уверены, — пальцы у Финогеновых обрастали за лето бородавками.

«Это от ихних соков поганых», — объясняла Прасковья, и бабушка, и Степанида, и даже Маша.

Зато какое удовольствие после каникул сводить бородавки! Пальцы мазали теплыми куриными кишками, кишки зарывались в землю, а когда кишки сгнивали в земле, бородавки пропадали.

Бросят Финогеновы лягушек, и на качели, качаться.

Выпачканные в навозе, липкие от раздавленных червей и распотрошенных лягушек, они качаются-подмахивают до замирания сердца, они взлетают за фонарь до маковки старой березы, — вот, вот перелетит доска за перекладину... А ведь этого им только и хочется, чтобы доска перелетела за перекладину. Накачавшись всласть, Финогеновы лазают по качельным канатам. Лазить по качельным канатам особенное удовольствие. И долго они лазают, жмурясь и вздрагивая от захватывающего чувства сжимать ногами упругую, щекочущую веревку. И, добираясь до самого края, вверху у колец задерживаются и висят, как маленькие обезьянки.

Вечереет. Вечер раскаляет за Боголюбовым монастырем закатные красные тучи, и черные длинные тени сонно проплывают по пруду. Начинается вечерняя игра.

Подымают Финогеновы свои знамена и хоругви — шесты, овитые вверху разноцветными тряпками, и трогается крестный ход: избиение младенцев.

Сажей и кирпичом вымазаны лица и руки у хоругвеносцев.

Впереди всех Коля в белой простыне на длиннейших ходулях. А жертва — Машка Пашкова, девчонка, дочь слесаря, мечется и визжит.

— Машка Пашкова! Машка Пашкова! — сначала тихо,

потом все громче, гнусаво, говорком, изводяще гнусаво поет хор, по пятам гоняясь за девочкой, пока она не выбьется из последних сил.

Затравленная Машка камушком влетает в каморку к отцу, бросается в колени к отцу, дрожит, как листик.

Отца Машки, Павла Пашкова, Финогеновы боялись. Трезвый он был не страшен, но когда наступал запой, в запое Павел Пашков свирепел. Бледный, словно мукою обсыпанный, с впалою грудью, задыхаясь, бегал слесарь с ножом по двору, искал зарезать огорелышевцев. И в такие дни Финогеновы обыкновенно прятались в самые засадные места, и только, когда Пашков, обессилев, с окровавленными руками, с слипшеюся прядью бурых волос на закопченной голове, валился где-нибудь у помойки, они выходили из своих потайных нор.

— Машка Пашкова, Машка Пашкова! — сначала тихо, потом все громче, гнусаво, говорком, изводяще гнусаво, поет зловещий хор.

Сложат хоругви за террасу и в б а б к и играть. Финогеновы играют в бабки по-разному: в б а б к и - с а л к и, в к о н з а к о н, в е з д о к и и в п л о ц к и.

Вместо бабок иногда играли они в п а л о ч к у - в ы р у ч а л о ч к у, в к а з а к и - р а з б о й н и к и или в мирную игру – в р а з н о с ч и к о в, представляя старика разносчика Анисима, доставлявшего Финогеновым телятину белую, как писчая бумага, и раков, — Варенька только и ела раков.

И за бабками непременно подерутся. Да и как не подраться: тут каждый друг перед другом соперничает. Финогеновы лупили друг друга чем ни попало.

В Боголюбовом бьют часы восемь.

В сад выходит гулять Игнатий с книжкой и биноклем.

Хоронясь от Игнатия, чтобы не попасться ему на глаза, забираются Финогеновы под террасу и на корточках в темноте и сырости слушают рассказы Филиппка.

Филиппок начинает с своего хозяина-сапожника, рассказывает о мастерах сапожных и подмастерьях, потом переходит к сказке. И всегда рассказывает он одну и ту же сказку о с е м и в и н т о в о м з е р к а л ь ц е, — непечатная

сказка, затейливая, запутанная, такая забористая, и слушать ее, хоть сто раз прослушаешь, никогда не надоест. Другой Филиппок не знает.

Спадает жара. Убирается Филиппок восвояси. И выходит теплая, темная ночь, — темный ли саван на ней, черные ли кудри вьются? — она идет, теплая, темная ночь, в полыхающих слепых зарницах, в зорких звездочках, и замирает жизнь от Камушка до Чугунолитейного завода и от Колобовского сада до Синички.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мертвая грамота

На Казанскую в ночь к Финогеновым вор залез, украсть ничего не украл, а шуму наделал много. Как мог проникнуть вор к Финогеновым, сказать мудрено. Внизу, во всех окнах и в зале, и в гостиной на лето вставлялись деревянные решетки, только одно окно в комнате Вареньки — в спальне, у киота, было без решетки, но зато оно и не выставлялось. Влез ли вор в форточку — форточку Варенька держала на ночь открытой, или, забравшись еще накануне под диван в гостиной и пролежав там весь вечер, ночью он вышел и прямо к Вареньке? Одни говорили, в форточку влез, другие, из-под дивана вылез, а кто был прав — и то и другое возможно. Один только Сёма-печник, работавший когда-то у Огорелышевых, юродивый, шатавшийся по околодку в своей шапке, сделанной из игрушечного барабана с бубенцами, головой своей барабаном потряхивал, не соглашаясь ни с теми, ни с другими: не принимал юродивый ни форточку, ни диван.

Сёма все бормотал о какой-то грамоте, о какой-то о мертвой грамоте, и больше от него нельзя было ничего добиться. И огорелышевские мудрецы вроде Душки-Анисьи, огорелышевской прачки, толковали и перетолковывали непонятные слова юродивого о мертвой грамоте. По их толкованию выходило так, что, хоть вор и был, но вор не настоящий, и приходил этот ненастоящий вор с грамотой, приносил вор мертвую грамоту — смертный

приговор. Но кому приносил вор смертный приговор: всему ли белому огорелышевскому дому или только красному финогеновскому флигелю, самому ли Арсению или только Вареньке, об этом судить не брались, а юродивый все бормотал да головой своей барабаном потряхивал.

Ночью Варенька вдруг проснулась. Около ее кровати лицом к шифоньерке, где прятала она деньги, водку и шоколадные лепешки, стоял здоровый парень в красной кумачной рубахе. Красная кумачная рубаха от лампадки казалась страшно кровавой, и перепуганная Варенька, вскрикнув, схватила его за рубашку, но он рванулся, бросил на пол ключи и в дверь — в гостиную. С криком выскочила Варенька из комнаты в кухню, из кухни во двор, она кричала, что вор в красной рубахе, она кричала, чтобы держали вора в красной рубахе. Летом фабричные спали не в корпусах, а на дворе и всюду по двору пестрели их красные рубахи. На крик они повскакали, бросились ловить вора и со сна ловили друг друга.

Ночная тревога взбаламутила Финогеновых. Остаток ночи в доме никто не спал. А день начался жаркий и душный. Для Коли это был особенный день: Колю пороли. Еще накануне, поспорив из-за бабок, Коля хватил Петю свинчаткой по голове, да так, чуть голову не прошиб, а в Казанскую, копаясь с Женей в песке, тоже из-за чего-то повздорил, набрал песку пригоршню и бросил ему в глаза. А кроме того, помогая катать белье, так быстро стал вертеть колесо, что вместе с какой-то простыней между валиками попали и пальцы Пети. Пальцы защемило до черноты, а Петя повалился без памяти. Вот за все за это и решено было выпороть Колю. И взяли его обманом. Позвала Прасковья Колю в комнату Вареньки, будто новые штаны померять. Обрадовался Коля — Коля большой щеголь, побежал он вприпрыжку, быстро стащил с себя старенькие заплатанные штанишки.

— Нагнись, девушка! — сказала Прасковья, став под киотом.

Коля, ничего не подозревая, нагнулся. А как Коля нагнулся, тут-то и началось; держал Кузьма-дворник, а нянька с Варенькой ремешком хлестали.

— Будешь, девушка? — приговаривала нянька.

— Буду! — не сдавался Коля.

— Так вот тебе, девушка! — хлестала нянька.

— Гадина паршивая, гадина, выродок проклятый! — подхлестывала Варенька.

Так и выдрали. И Коля ни разу не вскрикнул, молча, не глядя, надел он свои старенькие заплатанные штанишки и пошел наверх в детскую.

К вечеру собралась гроза. Огромная грозовая туча вышла из-за Боголюбова монастыря и шла прямо, огромная, на финогеновский флигель.

Грозовая жуткая темь пробиралась сквозь стекла закрытых окон, ползла наверх в детскую. Нагорая, колыхалась – плыла перед образом Трифона Мученика крещенская свеча. А где-то над потолком, высоко над крышей, в редких дрожащих каплях дождя ворчало что-то, перекатывалось, будто какое-то страх-страшное, безглазое чудовище, — погрохатывал гром.

Стонал Петя, ерзая от боли: на голове тяжелая повязка, расплющенные черные пальцы крепко бинтом замотаны.

Женя, уткнувшись лицом в подушку, не переставая плакал: схватила его всегдашняя боль, нестерпимо болело где-то над бровями в висках.

Заглядывала в детскую Прасковья и опять вниз уходила. Поджатые, поблекшие губы шептали молитву. В Варенькиной комнате — в спальне хлопала форточка: хлопнет, ветром закроется и опять хлопнет.

Сжавшись, сидел наверху у окна Коля. Его до крови искусанные губы вздрагивали, сухим блеском горели темные с поволокой глаза. Он как сел у окна после порки, так и сидел, не оглядывался, все на одном месте. Над Боголюбовым монастырем распахнется и мгновенно закроется огненная полоса, будто яркая, ярко-белая, добела раскаленная пасть какого-то страх-страшного безглазого чудовища.

Коля вспоминает, как его пороли в спальне перед киотом, как обманули его новыми штанами, и где-то в сердце, на самом дне сердца что-то словно бурлит — закипают слезы и не могут подняться, не слезы – расплавленное олово слезное.

Петя вскрикнул, заерзал на кровати и затих, будто обмер.

И растопырились перед Колей расплющенные черные Петины пальцы, и он увидел так ясно перед собой Петю, как от боли тогда у Пети глаза закатились и как ткнулся Петя в каток, весь белый.

Вдруг белые стрелки забороздили темь. И ударил гром, словно сорвалась чугунная гора, грохнулась, рассекла полнеба и раскатилась над самой головой глухозвучащими, железными шариками.

Зачем Коля так обидел Женю? Разве не знал он, что у Жени глаза больные? Полную горсть бросил, все глаза засыпал. А ведь только что перед этим Женя сказал Коле, что трогать его не будет, пусть и Коля его не трогает. А Коля взял песку да в глаза ему, все глаза засыпал.

— «Я тебя, Коля, трогать не буду, я тебе служить буду!» — повторяет Коля слова Жени, и надрывается сердце.

Коля потихоньку приотворил окно: пускай его гром разразит! И высунулся в окно, тянется под тучу, под молнию.

— Пускай меня гром разразит! — шепчет он грому, грозе, тучам.

Но не жжет молния, не ударяет гром, только деревья перешептываются, свистят, и лист к листу ластится, точно хоронится.

И вдруг онемел Коля от отчаяния — его и гром не берет! — и в отчаянии закусил себе палец, крепко до крови, и почувствовал, как что-то тяжелое — какая-то огромная синяя свинчатка ударила его в грудь, а красный, заревной свет хлещет его по ногам, хлещет по лицу и уходит в голову и там крутится, и, закрутившись, расплывается легко и мягко.

Коля выпустил изо рта палец и упал на пол. И лежал на полу в глубоком обмороке, пока не пришла Прасковья.

Прасковья и Саша, кропя богоявленской водой, подняли Колю на руки и уложили в кровать. И от окна до кровати закраснела дорожка густо-красных капелек крови.

Коля очнулся ночью: тикают-ходят часы, и кто-то маленьким пальцем все стучит в окно.

Ангел ли Божий стучал в окно, злой ли демон, один ли из бесов или просто бесенок, с вестью ли благовестною или с мертвой грамотой — и зачем она и кому она? Ангел ли Божий, злой ли демон, один ли из бесов или просто бесенок, кто-то маленьким пальцем все стучал в окно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Огорелышевцы

В детской душе скоро все забывается, так уж Богом она устроена. Поджили расплющенные пальцы у Пети, и забыл Петя о своих пальцах, вылизала языком Душка-Анисья у Жени в глазах все песчинки, поболели глаза, поправились, и Женя забыл о глазах, и Коля забыл, как пороли его перед киотом. А вот о воре, забравшемся к Финогеновым в ночь на Казанскую, долго помнили: не год, а целых два года вспоминали о воре.

С тех пор, как приходил вор, у Вареньки стали пропадать деньги. Куда могли пропадать деньги из запертой шифоньерки, никто не догадывался. И знали только Петя и Коля: Петя и Коля не хуже заправского вора влезали через форточку в спальню, отпирали шифоньерку и, не трогая водки, ели шоколадные лепешечки и брали мелочь. Крупное — бумажки они оставляли в покое и только всего раз или два был случай. Однажды, вернувшись из гимназии, Петя показывал десять рублей — он их нашел на дороге, так объяснял Петя. На эти деньги Петя купил себе на Камушке у старьевщика серебряные часы, а вскоре и у Коли появились часы-луковица. Как же было Финогеновым не вспоминать вора!

В городе среди купечества произошло важное событие. По мысли Арсения открылось новое коммерческое училище. Основать образцовое коммерческое училище было давнишней мечтой Арсения, и под покровительством всемогущего князя он успешно осуществил ее, и в награду за это, кроме всяких благодарностей, получил он из Петербурга звезду, какой и у самого князя не было. Старались

высокие друзья, над которыми Огорелышев, презирая их втайне, немало смеялся.

В новое коммерческое училище и перевели из гимназии Женю и Колю. Женю перевели, потому что он хворый и в коммерческом ему легче будет учиться, Колю просто так, заодно, чтобы Жене не было скучно. Женя числился на огорелышевской стипендии, за Колю платил Никита Николаевич — Ника Огорелышев.

Первое время в училище все шло хорошо. Женя и Коля перешли из класса в класс с наградами: Коля получил награду первой степени, Женя второй. Но уж во втором классе начались нелады, и в третий класс перевели Финогеновых не только без всяких похвальных листов, а с предупреждением оставить на второй год, и не столько за лентяйство, сколько за поведение.

На дом задавали диктант. Петя, уж зачитывавшийся романами, диктовал Жене и Коле, диктовал, выбирая из своих книг самые интересные места. Книги доставал Петя из библиотеки на билет Вареньки, а также читал и те книги, которые читала Варенька. Палагея Семеновна снабжала Вареньку новинками, о которых много говорили. Так попала в руки Пети Крейцерова соната. Петя продиктовал Жене и Коле и из Крейцеровой сонаты. Учитель русского языка, Виктор Викторович Языков-Селедка, учитель очень добрый и мечтательный, заставлявший учеников заучивать всевозможные стихи и просматривавший, походя, домашние диктовки, тут обратил свое внимание, отобрал себе финогеновские тетрадки и представил их на учительском совете. А совет донес самому Арсению, и иначе поступить не могли: узнай Арсений сам без доноса, — тетрадь ему всегда могла попасть в руки, и непременно уж прогнал бы учителя и всему совету попало бы. Поведение Финогеновым сбавили, а от Арсения большая была нахлобучка.

Коле исполнилось двенадцать лет, Жене тринадцать, Пете четырнадцать, Саше пятнадцать.

Лето принесло Финогеновым новую жизнь.

Двоюродный брат Финогеновых Сеня, единственный сын Арсения, закончил свое образование, прицепил к жи-

летке золотую медаль, поступил в Огорелышевский банк и задумался о развлечениях. А пока что остановился на кеглях: огорелышевские плотники выстроили за сараем, недалеко от дров, под Колобовским забором, кегельбан.

Играть в кегли в одиночку — лучше сидеть сложа руки и мух считать. Сеня пригласил Финогеновых и на кегельбане произошло сближение между двоюродными братьями. Это сближение для Сени не прошло даром. С одной стороны, оно было принято с большим неудовольствием и Арсением, и Игнатием, дрожавшим над своим любимым племянником, как над родным сыном, а с другой стороны, Сеня из Сеньки-Гордецова, как прозвали по двору фабричные Огорелышева, превратился наравне с Финогеновыми просто-напросто в огорелышевца, и стал уже не хозяйским сыном, а своим, Финогеновым. Раньше Сеня, пробегая по двору, ни перед кем не ломал шапку, теперь его можно было встретить и за воротами в кругу фабричных, и в фабричных корпусах.

Кегельбан открывался вечером. Женя и Коля ставили кегли. Сеня, Саша и Петя играли.

Первые партии прошли подсухую: увлекала новость и неизвестность самой игры. А когда вся кегельная мудрость была усвоена, пришлось подмазать: сначала появилось пиво, а за пивом шампанское.

По окончании игры в кегли огорелышевцы забирали кульки с вином и конфетами и перелезали через забор в Колобовский сад. В Колобовский сад, принадлежавший Нике, была калитка, но огорелышевцы калиткой пренебрегали. И в саду начиналась другая игра.

Ника, живший лето в своем подгороднем имении, соседям разрешал гулять в своем огромном саду. И по вечерам летом в сад набирались гуляющие. Ухаживать за соседками и подпаивать их, вот в чем заключалась огорелышевская игра в Колобовском саду.

Варечка, гимназистка, в которую когда-то был влюблен Петя, и ее подруги, особенно Сашенька-казак и Верочка, пользовались наибольшими симпатиями огорелышевцев.

Сеня и Саша, урывками Петя коноводили. Женя и Коля, семеня вокруг старших, только надоедали и мешали.

Кроме всегдашнего любопытства Колю мучила ревность.

Коля влюблен был в Верочку. Коля влюблен был и в горничную Машу, но он не знал, что он любит Машу, — просто она радовала его, когда он видел ее, когда она брала его за руку, когда разговаривала с ним и смеялась, а о Верочке Коля знал, что влюбился в нее, и себе втайне, только себе одному назвал свое чувство. Машу он видел близко, Маша, играя, обнимала его и целовала его, с Машей он прежде купался, он видел ее обнаженную, среди белого дня, при солнце, и чувствовал, знал теплоту ее тела и чувствовал, знал здоровый парной запах ее молодого здорового тела, Верочку же он видел только вечером, с Верочкой он ни разу не здоровался за руку, никогда не подходил к ней близко, он слышал только ее голос, она какая-то воздушная проходила мимо его. И первая его любовная мука, первая его любовная тоска связалась в душе его не с Машей, а с Верочкой.

По примеру Пети, который с год уж вел дневник, записывая в тетради всякие финогеновские события и свои стихи, Коля тоже завел себе тетрадку, но в отличие от Петиной маленькую.

Как чтение книг казалось Коле какой-то каторгой и он ничего не читал, так и писание было для него невыносимо скучным, и он представить себе не мог, как бы это он писать стал, а теперь за месяц он исписал всю свою тетрадку. Целая тетрадка дневника наполнена была горькою жалобой неразделенного чувства — Верочка на Колю не обращала никакого внимания, и каждая страница посвящена была Верочке, и не было строчки без ее имени, дорогого и страшного, первого имени.

Когда приезжали в город из имения дети Никиты Николаевича, гулянья прекращались, и соседки сидели дома, но огорелышевцы не пропускали часа и вторгались в Колобовский сад.

Без барышень было свое развлечение.

Начинали с Пушкина, читали стихи громко, во все горло, — на весь сад, а когда показывалась в саду тетка —

Ксенечка Огорелышева, жена Ники, с Палагеей Семеновной, приятельницей своей, и другие двоюродные братья с боннами и гувернантками, Пушкин складывался, и трогался куриный крестный ход.

Впереди шел Коля, нес на голове глиняный красный из-под кваса кувшин с отбитым носком, за Колей Сеня, Саша и Петя, а заключал Женя с шестом в руках, на маковке которого насажена была червивая, дохлая курица, и при этом вид у всех наглый и дерзкий — огорелышевский, кланяться — здороваться с теткой, с двоюродными братьями и Палагеей Семеновной не полагалось.

И в ужасе бонны тащили детей назад в комнаты, и слышались охи и ахи: ведь неровен час, — от одного вида огорелышевцев дети могли испортиться.

О курином крестном ходе скоро стало известно Арсению. Финогеновым была проборка, а Сене предупреждение.

— Вот что, Семен, — дергаясь, грыз ногти Арсений, возвышая голос, — я предупреждаю, понимаешь, до добра это не доведет: с этими связаться, понимаешь, и не тому еще научат. Я говорю тебе!

Кто мог насплетничать Арсению? — Конечно, Палагея Семеновна! Это она, никто другой. И несколько вечеров огорелышевцы придумывали мщение. Остановились на некрологе.

Некролог открывался картинкой — изображен был колокольчик, что означало сплетню. Колокольчик нарисовал Саша, — в гимназии Саша первый по рисованию. Содержание некролога было выдумано всеми. Какие только не перечислялись в нем заслуги! И финогеновская разрушенная голубятня, на которой наставляла Палагея Семеновна, не была забыта. Переписал некролог Коля, — Коля в училище первый по чистописанию. Когда все было готово, уложили некролог в огромный самодельный конверт из синей бумаги для дел, запечатали печатками — орлами с екатерининских пятачков и послали Кузьму передать прямо в руки Палагеи Семеновны.

Должно быть, очень обиделась Палагея Семеновна, получив такой подарок, но ничем не показала обиду свою,

только у Финогеновых с тех пор, к большому огорчению Вареньки, ни разу уж ноги ее не бывало. Да и как могла она показать еще обиду свою, кому жаловаться, когда участие в этом некрологе Сени Огорелышева и дураку было ясно. А против Сени где же управа?

После кегель с пивом или с шампанским, после Колобовского сада, после всяких ухаживаний, стихов и куриного крестного хода, вечер обычно заканчивался весело, по-огорелышевски. Выходили огорелышевцы из главных огорелышевских ворот и шли посередке улицы через мост мимо Чугунолитейного завода. Сеня и Саша басами читали паримии, подымая голос, как знаменитый соборный протодьякон. И когда паримии подходили к концу, к последним заключительным словам — И приложатся ему лета живота — хором, общим выкриком кричали на всю улицу:

— И приложатся ему лета живота-а-а!!!

И лошади шарахались в сторону, и прохожие крестились и ахали, а остановить никто не решался: ни городовые, ни околодочные.

— Огорелышевцы, свяжешься: нагорит еще! — только рукой махали и городовые, и околодочные.

Обогнув Синичку и перейдя банный мост, возвращались огорелышевцы домой, но с другого конца — к заднему двору, к красным воротам красного Финогеновского флигеля.

Тут у ворот рассаживаются огорелышевцы на лавочке отдохнуть. За ворота выходят посидеть и фабричные. И начинаются всякие россказни о житье-бытье, о житии дедушки Огорелышевых — Николая, а от были и деяний переходят к сказкам.

— Покойный дедушка ваш, — начинал свой рассказ старый огорелышевский кузнец Иван Данилов, — перед кончиной живота своего призвал меня и говорит: «Сын ты, говорит, сучий, отлупи ты, говорит, мне напоследях какой ни на есть охальный рассказ, али повесть матерную!» — а сам уж едва дыхает, расцарапай ему кошка хрен. Так-то вот. Ну, о пчеле, что ли?

— О пчеле! о пчеле! — от нетерпения тряслась вся ла-

вочка, так хороша была кузнецова сказка о чудесной пчеле.

И начиналась сказка о чудесной пчеле с тремя ульями. Расходился кузнец, загибал словцо, инда небу жарко.

Кузнеца сменял городовой Максимчук хохлацкими, а на загладку ночной сторож Аверьяныч, расползающийся старикашка с трясущимися ногами, умиленно и благодушно, как молитву какую, изрыгал сквернословие-прибаутки.

И чутко из ночи глядит Боголюбов монастырь своими белыми башенками. Выплывает из-за колокольни теплая ясная луна и в тишине ее хода поют монастырские старые часы, и где-то за прудом громыхает сторожевая чугунная доска, и где-то за прудом Трезор и Полкан мечутся на рыкале.

Сам дьявол заслушался! Он ли это, синий, лениво раскинул свои синие крылья среди млеющих звездочек от края до края по тихому небу, или это теплая, тихая лунная ночь раскрыла свои звездами переливающиеся глаза и замерла, затаилась в слухе огорелышевцев?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ангелы земные — небесные человеки

Осенью кегельбан закрылся: и темно и неловко — и свет зажигать не позволяют, и дождем промочены доски. Ходить в Колобовский сад — скучно: встречаться с теткой радость небольшая, да и некогда — началось ученье.

Реже виделись Финогеновы с Сеней, только по субботам у Покрова за всенощной да в воскресенье на пруду горку и каток вместе делали. А после Рождества Сеня уехал за границу. Так все и кончилось.

Игнатий настаивал, чтобы Сеня ехал в Англию, Арсений посылал его в Бельгию, а вышло и то, и другое, и даже третье: Сеня поехал сначала в Лондон, из Лондона должен был проехать в Бельгию, а от себя сочинил поездку в Италию, и это было тайной, которую он сообщил только Фи-

ногеновым, обещая когда-нибудь взять их с собою.

С отъездом Сени нечего было и думать о кеглях и, конечно, о Колобовском саде. Куда было деваться одним Финогеновым? И скоро, однако, нашлось дело, и дело и развлечение — Боголюбов монастырь. Правда, и раньше ходили Финогеновы в монастырь к поздней обедне да в поминальные дни на могилу деда — Николая Огорелышева, но теперь их походы участились.

За пустырем-огородами над Синичкою, высоко на крутом обрывистом холме стоял Боголюбов монастырь, окруженный крепкою белою стеной с белыми башенками. Кажется, не было в монастыре камня, не затаившего в себе следов далекого прошлого и грозного времени.

Вон к подножию остроконечной башенки с *каменным мешком* — кельи схимника, укротителя бесов о. Глеба, упирается обрубок камня, каменная пузатая *лягушка* с растопыренными лапами — дьявол, проклятый боголюбовским угодником.

Какая пестрая толпа всякий праздник окружает лягушку, сколько ртов плюют, норовя ей в самую морду!

А вон на золотом шпице петушок с отсеченным клювом, — кто и за что, за какую хулу отсек клюв петушку, все позабыто. А вон *пужной* набатный колокол с вырванным сердцем — без языка, а вон следы бурых нестираемых пятен пролитой крови.

Монастырь — первоклассный: мощи под спудом, архиерей и огромные вклады.

Покойники в монастыре все богатые, смирные, лежат себе под крестами и памятниками, смирно гниют и истлевают. Правда, о. Никодим-*Гнида* рассказывал как-то за всенощной, будто дед, Огорелышев Николай, из склепа выходит весь белый и с ножом бегает, ну, то Огорелышев!

Братии монастырской немного, — процентов на всех хватает.

Эконом ворует, казначей ужуливает. Поигрывают в карты, выпивают, заводят шашни, путаются и за стеною и в кельях. *Кружка, халтура, проценты, лампадка*, — все помыслы, все разговоры вокруг этих доходов, и много из-за них ссоры, драки и побоев.

Монастырские ворота запираются в девять. Привратник — кривой монашек о. Алфей-Сосок. За каждый неурочный час берет Сосок по таксе: вернешься до двенадцати — подавай серебра, после двенадцати — и рублем не обойдешься, на то он и Сосок — привратник.

И все идет хорошо, благолепно, как по уставу писано.

Финогеновых встретили в монастыре очень радушно. Еще бы: племянники Огорелышева! И у кого не мелькнула надежда через Финогеновых проникнуть к самому Огорелышеву и получить себе Огорелышевскую лампадку. Ходить за лампадкой в склепах — доход большой и верный, как проценты с вкладов, вернее непостоянной церковной кружки и халтуры — сбора очередными монахами в их служебную неделю.

А Финогеновым монастырская жизнь и братия пришлись по душе. Особенно полюбились двое: иеромонах о. Иосиф-Блоха и иеродиакон о. Гавриил-Дубовые кирлы.

О. Иосиф-Блоха — черный продувной цыган, приманил к себе Финогеновых лакомствами и непристойными анекдотами.

Когда сапожник, мальчишка — Филиппок, сидя под террасой, рассказывал свою единственную сказку о семивинтовом зеркальце, он рассказывал ее необыкновенно просто и наивно, и вся непечатность сказки только и заключалась в непечатности слов и выражений. Как-то в зоологический сад привезли диких. Финогеновы пошли смотреть диких. Диким Финогеновы очень понравились, и дикие стали показывать им свои украшения и какие-то подозрительные кабаньи хвосты, которыми увешаны были их руки, а потом подняли свои кокосовые пояса и название при этом сказали и так серьезно, так наивно, что никому стыдно не стало и никто не хихикнул, — так и Филиппок свою сказку рассказывал. И когда кузнец Иван Данилов ночью за воротами принимался за свою пчелу, он рассказывал ее, словно молотом выковывая слова, крепко, мертвец зашевелится. А когда рассказывал свои анекдоты о. Иосиф, все выходило с медком, да с патокой, да с маслицем, и в конце концов тошно становилось.

О. Иосиф любил в карты поиграть — в стуколку, а пить не пил, но вино держал для гостей. На медовый первый Спас к меду с огурцами поднес он Финогеновым, забежавшим к нему после обедни, такой наливки — смесь кагора, пива, запеканки, Коля ползком выполз, да и остальные нетверды были. Это было первое Колино опьянение до потери сознания: он не помнил, как приполз, только помнил, что не шел, а полз.

Рассчитывал о. Иосиф на огорелышевскую лампадку, навязался к Финогеновым в гости и повадился. Приходил о. Иосиф не один, приводил подручных монахов, чаще волосатого иеродиакона о. Михаила-Шагало. Эти подручные о. Иосифа, которых он таскал за собой, обыкновенно глуповатые, надобились ему для зубоскальства.

Сядут у Финогеновых за самовар, выпьют один, выпьют другой — с монахами пили Финогеновы на спор: кто больше стаканов выпьет. Станет седьмой пот прошибать, тут и начнет о. Иосиф свои анекдоты медовые и всякие подтрунивания над подручным — над тем же о. Михаилом.

О. Иосиф, хоть и пьет стакан за стаканом, и так, чтобы много выпить, да меру все-таки знает. О. Михаил меры никакой не знает, он пьет с какой-то жадностью, без передышки, и доходит до того, что совсем обалдевает, а ему все подливают.

— О. Михаил, ну еще стаканчик! — лукаво предлагает Коля: Колю хлебом не корми, любит он такие штуки.

— Достаточно, — отмахивается о. Михаил и опрокидывает стакан, облапив его крепко волосатой рукой, — достаточно: неспособен...

— Неспособен, говоришь? — скоком подхватывает о. Иосиф-Блоха, — а как же пололка!?

— Чего пололка?

— Аниска-пололка... ай да неспособен! — фыркает о. Иосиф, — ты же ведь капусту на огороде вытоптал?

— Какую капусту?

— А такую! — и пойдет, и до того доведет беднягу, что тот просто языка лишится и от смущения что-нибудь такое выкинет, хоть караул кричи!

У о. Иосифа — язык острый, с таким языком не только огорелышевскую лампадку достанешь, а пожалуй, и звезды с неба хватать начнешь. И достал-таки о. Иосиф лампадку., а ему только того и надо было.

Другой финогеновский избранник, о. Гавриил-Дубовые кирлы, тучный и рослый, во всю щеку румянец, голос писклявый с пригнуской, добродушие необыкновенное и глупость непроходимая, взял Финогеновых своею потешностью.

О. Гавриил занимал в монастыре особенное место и был в некотором роде монастырской достопримечательностью, нисколько не уступавшей каменной лягушке — проклятому дьяволу, ржавому петушку с отсеченным клювом и пужному колоколу. Единственный из всей боголюбовской братии о. Гавриил оставался непорочным, на что не без гордости указывали всякому богомольцу.

— Я, душечка, сохраняю за слепотою! — простодушно объяснял о. Гавриил любопытствующим и добивающимся причины такого необычного явления, о котором только в писании упоминается.

— Слепой! — и тут скоком подхватывал о. Иосиф-Блоха на свой язык острый, — а сделай над тобой обрезание, и был бы ты человеком! — ну и добавлял сейчас же всякую всячину с медом, с патокой и с маслицем.

Келья о. Гавриила — не келья, а свалка. Чего только нет в его келье, чего не сложено в этой свалке: тут и сломанная клетка, облепленная пометом, и продырявленные ширмы, и какая-нибудь засиженная мухами, в масляных пятнах занавеска, и истоптанные никуда не годные штиблеты, и рыжие, промякшие от бессменной носки, сапоги, и заплесневевшие опорки, и заржавленные перья, и изгрызанные побуревшие зубочистки, и всякие лоскутья, и тряпки, и до дыр изношенные рясы, и худое белье, и сломанные часы без стрелок, и зазубренные ножи без рукоятки, и рукоятки без клинка.

О. Гавриил, по собственному его выражению, ничем не гнушался. Но зачем надо ему было без всякого разбора всякую дрянь собирать и загромождать и без того свою

крохотную келью, сам он ничего не знал, — просто ничем не гнушался и только. И не дорожил он, не трясся над своею рухлядью — кто хотел, пользовался: бери, сделай милость!

Всякое воскресенье, всякий праздник с некоторых пор обедал о. Гавриил у Финогеновых. Сколько бы ни ел о. Гавриил, все ему мало, а ел он удивительно помногу. И от водки не отказывался, но уж после третьей хмелел. После третьей лицо его пылало жаром и лоснилось таким рыбьим жиром, инда сало проступало.

Финогеновы обыкновенно ели быстро, о. Гавриил копался. И не доев еще своей тарелки, когда другие уж кончали, он сливал к себе остатки из других тарелок. Если же ему предлагали подлить свежего супу или щей, или хотели в кухню унести начатые тарелки, он обижался.

— Я тебя, — пищал о. Гавриил, как-то растягивая слова с пригнуской, — я тебя, душечка, объел, я тебя, Сашечка, объел?

Финогеновы знали такую повадку о. Гавриила и всякий раз хором отвечали ему, повторяя по нескольку раз:

— Ты меня не объел! Ты меня не объел!

А он, еще больше раззадоренный, тянул свое, обращаясь то к тому, то к другому:

— Я тебя, Колечка, объел? Я тебя, Женечка, объел? Я тебя, Петечка, объел?

— Ты меня не объел! Ты меня не объел! — один был ответ.

Не унимался о. Гавриил и, увешанный капустой, лапшой, хлебными крошками, соловея, растопыривал он жирные лоснящиеся пальцы и над своей, и над чужими тарелками.

— У-у, пчелочка-заноза, Колечка! пожрут они тебя... тысячи... Мартын Задека, Женечка... Я тебя объел, я тебя объел?

— Ты меня не объел! Ты меня не объел! — на своем стояли и Коля — *пчелочка-заноза*, и Женя — *Мартын Задека*, и Петя, и Саша, не обращая внимания, что *они*, т. е. женщины *пожрут* их.

Возраст Финогеновых не ахти какой, только одному Саше пятнадцать, но о. Гавриил, от непорочности ли своей, или еще от чего, за детей беспокоился: ему постоянно за обедом и ужином мерещились женщины, — тысячи, миллионы женщин, которые вот пожрут и иссосут Финогеновых, а может быть, уж пожирают и сосут.

После обеда на ужин, после ужина на завтрак уносит о. Гавриил от Финогеновых к себе в монастырь полный судок, куда сливалась ботвинья и суп, и уха, и щи, и торчала обглоданная ножка курицы, и мокли разбухшие куски хлеба.

По понедельникам через неделю Финогеновы ходили в баню. Теперь они ходили в баню с о. Гавриилом. В бане занимался номер. И творилось там такое, сам черт шею сломит.

О. Гавриил признавал только горячую воду и, сколько ты его ни проси, все равно нальет в шайку горячей, и покато привыкнешь и притерпишься, наорешься сколько угодно. От горячей воды шуму и крику было немало. Кроме того, самого о. Гавриила мыли Финогеновы всем собором, как выражался о. Гавриил. А от этого мытья крику было еще больше.

Мытья полагалось в номере всего один час. И час проходил, и другой уж кончался, а Финогеновы и не думали выходить. За дверью сначала очень вежливо напоминали и просили честью, потом начинали угрожать — требовали немедленно очистить номер.

Не тут-то было!

И лишь на отчаянный стук, который постоянно следовал за просьбами и угрозами, о. Гавриил выскакивал нагишом в коридор и, извиняясь перед ожидающими, что является без галстука, просил повременить.

— Деточки не готовы еще, пучок не вымыт!

И проходит еще час — третий час.

Опять начинали просить, требовать и угрожать.

— Деточки не готовы еще, пучок мою! — отвечал писклявый голос на всякий стук.

Но видно, уж больше ждать не могли: в коридоре на

время все затихало, а потом банщик-хозяин, все незанятые банщики, дворник, извозчик со двора и какой-нибудь из публики любитель скандалов, или потерявший терпение получить номер, или просто ревнитель справедливости, тоже всем *собором*, вторгались в финогеновский номер, и с хохотом, бранью и насмешкой номер, наконец, очищался.

По понедельникам через неделю в Синичкинских банях повторялось одно и то же. Так все и знали: если моется *батюшка с детьми*, жди скандала.

После бани дома чай, после чаю, — игра в *быки*.

Играли в *быки* наверху. Вся игра заключалась в том, чтобы повалить о. Гавриила.

С визгом и криком враз бросались Финогеновы на о. Гавриила, а он, нагнув голову и раскорячив ноги, размахивал руками, будто не руки у него, а рога. Финогеновы цепки и упорны и до тех пор лезут и цепляются, и, хоть что там, не отстанут, пока не грохнется, тяжело дыша, *быково* грузное тело, и не одна нога пнет и топнет в его медленно подымающийся мягкий живот.

Как-то разыгрались Финогеновы в этого быка, а все хотелось побольше. Случилось, зашла зачем-то наверх в детскую Прасковья. Не мигнув, бросились они на няньку, сорвали с нее юбку и кофточку, раздели ее всю донага, да к о. Гавриилу, — и с ним то же, тоже и его донага раздели. А сами погасили свечку, да за дверь, комнату заперли и у дверей караулить стали: что будет.

Долго сидели несчастные молча.

— Батюшка, — плачущим голосом, корчась в одном углу, отозвалась, наконец, Прасковья, — о. Гавриил, пройдись ты маленько, ноги у тебя затекут, не гляжу я на тебя.

— Матушка, Прасковья Семеновна, — пищал из другого угла, отдуваясь, о. Гавриил, — пройдись ты, матушка, сама... У! Пчелочка-заноза, Задека, Сашечка, Петечка!

Боевой час высидели, несчастные, наплакались, а Финогеновы этот час тряслись от хохота под дверью.

Было и повторение. Только вместо няньки сидела с о. Гавриилом и тоже нагишом Варенька.

Дня не проходило в монастыре без финогеновской затеи.

Был в монастыре один иеродиакон высоты необыкновенной и такой худой, смотреть страшно, о. Геннадий-Курья шейка. Этому о. Геннадию подали Финогеновы на обедню поминальную записку с разными вымышленными новопреставленными покойниками, имена которых по необычайности своей нелегко давались: о. Геннадий должен был громко на амвоне читать записку. И когда дошла очередь до финогеновской записки, много бедняга путался, перевирал и запинался, даже пот прошиб. А о здравии стояло одно только имя: болярин Каин, — и о. Геннадий выкрикнул Каина на всю церковь.

Преосвященный о. Кассиан-Хрипун, которому сейчас же донесли на о. Геннадия, очень пенял потом иеродиакону своим вставным серебряным горлом и строго наказывал не читать впредь таких несообразностей.

— Расстригу тебя за непотребное житие! — хрипел преосвященный.

В наказание лишили о. Геннадия на воскресенье служебной кружки-халтуры.

Финогеновы ставили вверх дном все внешнее благолепие, каким держался монастырь. И братия словно шалела; по кельям откалывалось коленце за коленцем одно другого чище. Хохот звенел звончее печальных колоколов, и заунывное пение терялось в смехе и звонких песнях. И все эти ухарства финогеновские сходили ни за что.

Был в монастыре один малюсенький, безобидный иеромонашек о. Алипий-Сопля. С лица о. Алипий выделялся из своей братии: весь заплывший жиром, подслеповатый, львовая грива волос на толкачике-голове и бородища по пояс.

Если у Христофора было свиное рыло от бесовского наваждения, то у о. Алипия, должно быть, от вожделенных помыслов. Ничего так не занимало о. Алипия, как женщины. При одном упоминании о женщинах о. Алипий пьянел. А если сам принимался рассказывать свои любовные истории, терял от волнения всякую речь, захле-

бывался и только хихикал, как-то аукая. Руки о. Алипия постоянно мокли, а лицо горело-лоснилось в каких-то сальных пятнах. Пить водку он совсем не мог: валился с первой.

Из году в год на именинах о. Гавриила бывало большое угощение — пир всей братии. Главная приманка — перцовка, настоянная, Бог знает, на каких перцах и предназначавшаяся, как говорил именинник, исключительно для низких душ.

Финогеновы, конечно, были на именинах в числе самых почетных гостей.

Зашел поздравить именинника и о. Алипий, и получил, как душа низкая, стаканчик перцовки, но пить отказался. И как о. Гавриил ни просил его, он все отказывался. Тогда по настоянию Финогеновых о. Гавриил налил стаканчик той же самой перцовки, но предлагать уж стал под видом сладенького, которого и детям можно. О. Алипий не выдержал, — очень уж ему захотелось сладенького, — и соблазнился. Соблазнился о. Алипий, выпил стаканчик до дна и не прошло минуты, захихикал по-своему, зааукал да и свалился с ног.

Бесчувственного иеромонаха положили за занавеску. За занавеску пробрались и Финогеновы. И заработали их ножницы над львовой гривой и бородой о. Алипия. И щелкали ножницы до тех пор, пока на месте гривы заблестела голая коленка, а от бороды остался один жалкий козий хвостик.

Наутро в церкви, увидя о. Алипия, не смеялись и не хохотали, а просто стоном стон стоял, даже петь не могли.

— Убирайся вон, — хрипел преосвященный о. Кассиан-Хрипун своим серебряным горлом на беспомощно потягивающего свою козью бороденку несчастного о. Алипия, — убирайся, пока не отрастет новая, беспокоите вы меня!

Так о. Алипия из Боголюбова монастыря и прогнали. И пошел малюсенький безобидный иеромонашек, о. Алипий-Сопля, беспомощно потягивая свою козью бороденку, вон за ворота мимо привратника о. Алфея на улицу, бесприютный, искать себе пристанище.

Вскоре после этого пожелал познакомиться с Финогеновыми Боголюбовский схимник, укротитель бесов, о. Глеб.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Хранитель Божьей правды

О. Глеб еще совсем не старый, лет сорок ему, не больше. За свою стойкость и твердость и крепость веры, за свои подвиги любви и милости, и за то, что жил крепким и жестоким житием, и проницал в будущее, и повелевал бесам, и делал дело жизни, исполнял волю Бога, звали о. Глеба везде, и по городу и по окрестностям, Боголюбовским старцем.

Белый крест и белые письмена его черной схимы, низко спущенной на глаза, и темные багровые ямы на месте провалившихся ослепленных глаз, и изможденно-белое лицо мученика, и резкие острые морщины от заострившегося тонкого носа к углам рта, и то, что вздрагивали вдруг скулы, сводило пальцы, и руки словно ловили что-то около носа, ловили невидимое что-то, каких-то невидимых мух, и тихий скорбящий шепот молитвы, и сокрушающая сила его заклятия бесам, приводили в трепет богомольцев.

Первые годы жизни о. Глеба прошли в городе по соседству с Огорелышевскими владениями, и старожилы, знавшие его раньше, испытывая дух писания, нередко впадали в соблазн.

— Он есть ков и лукавство! — говорили тогда про Боголюбовского старца и ссылались на писание: — «Многие скажут мне, Господи, Господи, не Твоим ли именем бесов изгоняли и Твоим именем чудеса многие сотворили. И тогда скажу им, что никогда не знал вас, идите прочь от меня, делающие беззаконие».

Но всякий раз, на воскресных собеседованиях, устраиваемых о. Глебом в трапезной с приходящими, или слушая в пятницу после обедни молитву — заклинания бесов, с грозным потрясающим повелением бесу: — Да запретит тебе Господь! — смущенный дух соблазненного смирялся.

О. Глеб — в миру Андрей Алабышев, — из семьи знатной и богатой. Жизнь ему выпала неровная и полная всяких случайностей.

Когда умер старик Алабышев, разорившийся, богатый помещик, а под старость смотритель Колобовской богадельни, Андрею было пятнадцать лет.

Ни жене, ни сыну Алабышев ничего не оставил. Куда им было деваться, жить в смотрительской квартире больше уж нельзя было, ну хоть по миру ступай! И после всяких хлопот и просьб дали им, наконец, комнату в бесплатных квартирах при Колобовской богадельне.

Комната в бесплатных квартирах при богадельне. Дни напролет согнувшаяся над столом мать. На столе перед ней вороха пряжи и неподрубленных платков, — работа, которой они кормились. А вечерами, после гимназии и уроков, Андрей до глубокой ночи с вытянутыми руками: он растягивал пряжу, мать наматывала клубки.

За работою мать слезливо вспоминала о прошлом, о прошлых достатках и прошлом почете, и тут же перебирала все дрязги нищенской жизни тесной комнаты в бесплатных квартирах при богадельне.

Эта *бесплатная* жизнь с изводящей работой и постоянной нуждой, с постоянными попреками и жалобами, оскорбляла гордого и самолюбивого мальчика. Душевный слух его обострялся, и душа его поднялась навстречу всякой обиде, принимая к сердцу и самую ничтожнейшую мелочь с равной болью. Он ловил каждую колкость и увеличивал ее до смертельнейшей раны, а всякий намек доводил до открытого вызова. И бывало так, что и не думают его оскорблять, и колкость-то не на него направлена, и намек-то не к нему относится, но уж вся душа у него поражена, и он все на себя сводит, к себе, к своей душе, до своего сердца. А сколько в обиходе мелочей мельчайших, способных растравить больную душу, ну взять хоть ту же склонность у людей и совсем незлых и неглупых, остроумничая, хвататься за самое легкое, в глаза бросающееся, для своих шуток: встречая, напр., лысого приятеля, сказать ему, какой он лысый, встречая толстяка, сказать, какой он толстый, или потрунить над необычностью имени, или

вывернуть твою фамилию. Все это неважно, конечно, просто шутка, но для больной души, встревоженной — грубость.

И свет, который освещает путь детству с его доверчивостью, с каждым днем погасал в душе Андрея.

Жить так, как жили Алабышевы, больше нельзя было.

Детское сердце недетским рвущим стуком выбивало всякую минуту:

«Нельзя так жить!»

И свет, который освещает путь детству с его доверчивостью, с каждым днем погасал в душе Андрея.

Была одна надежда — кончит он гимназию, поступит в университет, и тогда пойдет жизнь другая.

И вот на выпускном экзамене, взволнованный и смущенный чем-то, сгоряча сказал он какую-то грубость директору, и из гимназии его выгнали. Волчий билет, однако, не помешал ему для горшей, может быть, обиды, участвовать в праздновании окончания гимназии вместе с счастливыми товарищами. Первая пьяная ночь, — пьяный под утро вернулся он домой, и его выгнали из бесплатных квартир.

Пришлось Андрею жить отдельно. Долго он шатался без дела, потом кое-как устроился. И на воле было ему тяжко и дома не лучше. Грошовое дело — грошовая комната. За стеною крики и кашель, кашель и стон, стон и слезы, слезы и ругань соседей-жильцов.

Тупо шла его жизнь. И было так, будто заставили его идти, и он шел по тесному сырому банному коридору: редкие, выгорающие лампочки, спертый пар, поплескиванье глухо сбегающей воды, — и он все шел, и не знал, когда выйдет, и куда войдет, и вдруг останавливался: да есть ли выход, есть ли дверь наружу? Был он тем, кого одни любят, другие ненавидят, середки — равнодушия нет. Резкие переходы путали его, и часто не знал он, как ступить, и вдруг останавливался: да есть ли выход, есть ли дверь наружу?

Хворость, обида и непосильный изнурительный труд подтачивали мать и, наконец, доконали.

Когда жива была мать, у Андрея еще была зацепка к

жизни: он жалел мать и хотел облегчить ее последние тяжелые дни, а теперь он был один, и оборвалась последняя связь с жизнью, и он всякую минуту готов был без труда и верно распроститься с своей недолей. Но тут случилась совсем неожиданная для него перемена.

Вскоре после смерти матери умирает какой-то дальний его родственник, и все огромное состояние переходит по наследству Андрею. Из нищеты он опять попадает в богатую обстановку. С деньгами и досугом он словно перерождается. То, что было раньше недоступным и дразнящим, теперь перед ним открыто, и несколько лет сряду он словно наверстывал потерянное — это была в его жизни какая-то гонка за развлечениями и удовольствиями. И он успел за это время забыть прошлое, все оскорбления и унижения свои, и огрубел, как грубеют только сытые, сытостью усыпляемые люди.

И все шло для него по-хорошему, удачно. Пришла любовь, повернул ветер на свадьбу, на счастье. И, кажется, желать-то ему уж больше нечего было, всего было много и довольно. И опять произошел случай, перевернувший всю его жизнь.

Накануне свадьбы поздним вечером он отправился в дом своей невесты. В доме справлялся девичник. И ступив на порог, он в ужасе замер: в освещенном богатом зале на столе копошилось безглазое что-то, вязкое что-то, какая-то кровавая каша исполосованного, истерзанного мяса. И это была его невеста, вынутая из-под поезда.

В минуты своих признаний сам он ни словом не обмолвился невесте о своем недавнем прошлом — о последних беззаботных годах своих. А ему было что рассказать о себе. И он не то чтобы хотел скрыть, утаить о себе, он только откладывал, он хотел когда-нибудь потом это сделать, в минуты более простые и не такие торжественные. Ему не хотелось огорчать ее, ведь для нее было бы неприятным и тяжким слушать его исповедь о всяких любовных связях и похождениях. И любя ее и охраняя ее, он только не подумал о самом главном — о ее душе. А когда однажды она первая заговорила с ним, он отделался какою-то шуткой. А когда она во второй раз попробовала объясниться по пово-

ду ходивших о нем слухов, он назвал слухи просто сплетнями. А в третий раз на ее вопросы он уж вспылил, и слухи в его ответе оказались наглою ложью и клеветой. Но тайна придушенная — правда отведенная то шуткою, то ссылкою на сплетни, то на клевету, не могла, должно быть, больше таиться и вышла на свет — камнем упала ей на сердце. Накануне девичника она получила какое-то изобличающее письмо, и то, что в нем передавалось — какая-то глупая любовная история, ее совсем не тронула, но одно ее захватило — поняла она, что он лгал ей, трижды солгал ей. И, гордая, она решила по-своему — она ушла из дому, чтобы больше никогда его не видеть. И вот лежала на столе вынутая из-под поезда, истерзанная и безглазая.

Куда девался его беззаботный хохот, с которым он переступал порог дома! Была для него жизнь — копейка, а теперь все живое его сердца словно резалось мелкими искривленными ножичками.

Это она лежала на столе, вынутая из-под поезда, истерзанная и безглазая. Это счастье его лежало убитое.

И стало ему жутко легко. И было так, будто какой-то железный багор, вонзившийся ему в шею, вдруг превратился в горящую ленту, и эта лента опутала его и, крепко натянувшись, вдруг дернула и понеслась с ним. И было так, будто, кружась, он несся куда-то, и с каждым кругом круг расширялся, — ни конца, ни начала.

Какая бессмыслица: вчера нищета, а завтра богатство, вчера счастье, а сегодня — пропал. Кто даст силы вынести такую неверность и зачем выносить такую неверную жизнь? И она, безглазая, невеста его, перерезанная колесами, и ночь и день виделась ему, преследовала его, не отпускала от себя: зачем он тогда не сказал ей всего? И было ему завидно всякой другой беде, всякому другому несчастью — нищете, голоду и унижению. Вот теперь вернуть бы ему его прежнюю бесплатную жизнь в бесплатных квартирах! Но как вернуть? Кто тебе вернет, кто тебе исполнит, когда тебе так надо, твою последнюю заветную мечту? Куда идти? Кого просить? Есть проще средство, есть верное средство наверняка разделаться с неверной

жизнью — сам, ты сам откажись от нее, иначе всего можно ждать.

На Покрова в слякотный, будто слезящийся вечер, сбежавшиеся на стоны во двор Алабышевской квартиры, увидели его бьющегося и извивающегося на щебне. Приняв какого-то яду, он сполз с лестницы во двор и, отравленный, бился в изодранном белье и загрызал землю от саднящей жгучей боли.

Но вовремя схватились и отходили его.

Взглянув во все глаза на смерть, он опять вышел в жизнь. Ему вернули жизнь, а жизнь начала свои испытания.

Хотел он когда-то жить только по-человечески и, проклиная судьбу, просил себе хоть только маленького, маленького счастья, а судьба его, ненароком набежавшая доля-недоля его, отнимала от него всякую надежду на это маленькое счастье, а когда он решил совсем отказаться от жизни, привалила удача — богатство. И уж хотел он жить, как ему любо, и все у него было, и он потянулся за огромным счастьем, уверенный, а судьба его, ненароком набежавшая доля-недоля его, вырвала из рук у него это огромное счастье, и, проведя его через страшную кровь, бросила, а когда он, отчаявшись, в отчаянии своем руки на себя наложил, она спасла его, и снова вывела на свет.

Раньше, и тогда, в своей бесплатной жизни, и тогда, в богатстве, он об одном только и думал, — о себе только и думал. Если же он оставит себя и весь уйдет в другие жизни, тогда все переменится. Так рассуждал он.

И поверив себе, он с головой ушел в заботы других людей и ждал, что наступит перемена. А перемены никакой не происходило. Он везде видел только проклятия судьбе, он встретил то, от чего хотел уйти, самого себя он встретил, только разбившегося на много, много жизней.

Что же делать ему?

«Надо принять всю судьбу — всякую недолю, и принять ее вольно и кротко, и благословить ее всю до конца».

Так рассудил он.

И перейдя через достаток, нищету, богатство, счастье,

и, наконец, через кровь, и заглянув в глаза смерти, заглянув людям в бедующие глаза, проклинающие судьбу свою, он благословил этот мир бед и неверности и случайности. И приняв всю судьбу, благословив ее всю до конца с ее скорбью, печалью, нуждою, понял всю игру судьбы, и стало ясно ему: зачем беды и за что бедуют.

Скоро он пропал из города, и несколько лет о нем не было никаких слухов. Отыскался он, наконец, в одной из дальних северных пустынь, уж монахом: не Андреем Алабышевым, а о. Глебом ослепленным.

Одни говорили о дурной болезни, которой захворал он, когда вел свою легкую богатую жизнь, и от этого лишился глаз. Другие передавали, что в бродяжничестве своем, среди бродяг пало на него какое-то обвинение, и в наказание его ослепили, засыпав глаза нюхательным табаком, а третьи уверяли, что он сам себя ослепил.

Разные ходили слухи, и много чего говорилось: кому верить, а кому не верить, как решить? Но скоро все слухи смолкли. Жизнь шла своим чередом, каждому было о чем подумать, и забыли совсем об Андрее.

И вот из пустыни он снова появляется в городе в Боголюбовском монастыре, и не простым монахом, а в схиме. Тут-то и прошла молва, будто бесы повинуются ему.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ладан херувимский

Сам Огорелышев Арсений Николаевич втайне смотрел на Боголюбовского старца о. Глеба просто-напросто как на одного из тунеядцев, наполнявших монастыри, выделяя его из других лишь по уму и ловкости. Ни в какие заклинания старца Арсений не верил, и все грозные молитвы его и исцеления, следовавшие за отчитыванием, считал или надувательством или самообманом. Что уж говорить: если бы все монастыри и церкви вдруг провалились сквозь землю, Арсений пожалел бы только о крепких стенах и о самом монастырском церковном здании, которое всегда

можно было бы перестроить для каких-нибудь торгово-промышленных целей, использовать для дела, да еще пожалел бы стиль — старину. Единственным развлечением Арсения, кроме шашек, игру в которые он ставил куда выше и хитрее всяких других игр, была для него археология, и среди ученых он слыл большим знатоком, а Огорелышевская библиотека была редким древлехранилищем.

Но Арсений слыл столпом, и хоть, в сущности, кроме своего дела ему на все было наплевать — ни Бога, ни черта, ничего, — он все исполнял, чтобы с виду казаться, для кого это надо было, простым русским человеком — купцом: он и причащался для приличия, и ко всенощной забегал. И когда в его присутствии позволяли себе неуважительно отзываться о церкви, бывала большая перепалка: он не допускал никаких суждений, кроме принятых, и во всяком отклонении видел подрывание основ.

У Финогеновых знали старца как угодника и целителя. Когда-то Прасковья водила к нему Женю и брала запойную молитву для своего сына — полового Мити, и кормилица Жени, порченая Катерина-Околелая лошадка, изредка заходившая к Финогеновым, не раз бывала на заклинательной молитве у старца и после в кухне много рассказывала о нем чудесного. Но Финогеновы избегали о. Глеба, он им представлялся одной из огорелышевских основ, которыми все уши прожужжали им и в гимназии и всякий раз при огорелышевских проборках и острастках. И когда, после изгнания из монастыря остриженного о. Алипия, старец пожелал познакомиться с Финогеновыми, они уперлись и слышать ничего не хотели, и только потом уже согласились, но чтобы непременно с о. Гавриилом.

В монастырь Финогеновы пришли после обеда и прямо к о. Гавриилу в келью, и не заметили, как пролетел день.

Утром к о. Гавриилу приехал канонарх из Лавры Яшка-Слон и, нахлеставшись именинной перцовкой, валялся за занавеской.

— Низкая душа, — таинственно рассказывал о. Гавриил о своем госте, — отпущено ему Богом сверх всякой меры, хобот уму непостижимо, вершков не хватает, от обера, душечка, есть воспрещение ему сноситься.

Конечно, сейчас же все было сосредоточено на спящем канонархе, которому отпущено Богом сверх всякой меры: Финогеновым надо было, во что бы то ни стало, добраться до канонарховых вершков и все увидеть собственными глазами. И вот с помощью о. Гавриила стащили со Слона подрясник, и началась разборка планов, как любил выражаться сам о. Гавриил.

Сонный Слон визжал, григотал, захлебывался, и, наконец, совсем протрезвился, открыл глаза и сконфузился.

— Низкая душа, — бормотал запыхавшийся о. Гавриил, — деточкам в удовольствие, а ты брыкаешься!

Так весь день и провозились с канонархом. И ушел канонарх от о. Гавриила, стало солнце садиться, вдруг спохватились: пора уж было идти к старцу знакомиться. А страсть не хотелось идти после веселого канонарха.

И вот вошли они в белую башенку. Гомон на угомон шел. На узенькой темной лестнице, казалось, уж поджидала ночь, чтобы выйти на волю.

Вошли Финогеновы в келью, скорчившись, дикими, голоса потеряли. Молча подошли они под благословение. Молча благословил их старец, благословил и засуетился, будто и оробел не меньше.

О. Гавриил скрылся в соседнюю комнату самовар ставить. И наступило тяжкое молчание. Никто не решался сесть, и старец стоял. Никто не сказал ни единого слова.

Тесная келья словно наполнилась какими-то отчуждающими призраками. Тесная келья-пустыня: не отзовется, не спросит.

— Батюшка! — просунулось в дверь красное, сияющее лицо о. Гавриила, — батюшка, о. Глеб! да самовар-то у вас, батюшка, с течью!

— Тащи свой! — замахал старец на о. Гавриила, — тащи, скорей, свой пузатый!

И почему-то слова старца показались такими смешными, сам старец таким обыкновенным и вовсе не страшным, и стало легко, будто давно и близко знали они старца, пуд соли с ним съели, как с о. Гавриилом, в баню с ним ходили. И что-то верное прошло и согрело келью.

Не дичась, пошли Финогеновы ходить по келье, пошли

копаться в книгах, трогать все, что ни попадет под руку. Залезли на решетчатое окно, заспорили:

— Нет, вон он Чугунный завод! — показывал Саша.

— А вон наша фабрика, а там бани! — стоял на своем Коля.

Старец сидел в кресле и о чем-то думал. Финогеновы его не замечали; да он был для них теперь обыкновенным, нестрашным, своим, как о. Гавриил.

И когда о. Гавриил с своим пузатым самоваром, пыхтя и отдуваясь, наполнил келью, и Финогеновы закрыли грудью весь стол, прощальный густой луч солнца ударил прямо в окно башенки.

— И ему на покой надо, и ему ночь ночевать положено, ему, бесприютному, отдающему кровь и сердце свое. Так-то, лучи вы мои красные! — промолвил старец, и на месте багровых темных ям его засветились тихие глаза, перегорюнившиеся.

И опять беспечность исчезла куда-то. Финогеновы, сопя и кроша, отхлебывали свои стаканы и обжигались: почему-то вспомнился им остриженный о. Алипий, из-за стрижки выгнанный из монастыря.

«Обидели мы его, — пронеслось у каждого, — и за что?»

И стало неловко каждому, словно впервые во все глаза увидели они так ясно свою злую шутку. Когда сегодня у Слона они разбирали планы, это ничего. Слону было даже приятно, а когда стригли они о. Алипия, и на другой день его из монастыря Хрипун погнал, это совсем не то. И стало сердце полно горечью, и сожаление и страх непоправимого смешались с горечью.

— Да, — задумался старец, — горько мне порой, так горько...

Женя тихо заплакал.

— Отец-то Алипий где теперь? — обратился старец к о. Гавриилу.

Женя тихо плакал.

— В Андреевский, батюшка, в Андреевский определился. Намедни, батюшка, Алипка у Мишки, у Шагалы в гостях был, говорит, богатейший монастырь, про́центов,

говорит, куда больше! Спервоначала-то Алипка в кутузку попал, неделю высидел. Не признают за монаха: «Какой ты, говорят, монах, ты фокусник, гвозди через нос пропускаешь!» Сам Алипка Мишке рассказывал. Ну, а как подрастать борода стала, видят, что монах настоящий, обрадовались и выпустили на волю. Процентов, говорит, куда больше, и халтура ежевременная! — распространялся о. Гавриил, но уж старец его не слушал.

Старец спросил Сашу о Вареньке.

— Ничего, — ответил Саша, ответил не сразу затихшим голосом, — иногда... — он хотел сказать: пьет, но спохватился, — ничего... хворает.

Финогеновы уткнулись в стаканы, им было неловко, что старец знает о матери.

Старец вдруг перекрестился, и уж совсем по-другому спросил о гимназии: кто в каком классе?

— Я в пятом!

— А я в четвертом!

— А мы в третьем! и не в гимназии, а в коммерческом! — за себя и за Женю ответил Коля.

И опять стало по-прежнему легко и, перебивая друг друга, начали они рассказывать, как там, у них в училище.

— А у нас в гимназии был учитель математики Сергей Александрович — Козел, — засмеялся о. Глеб.

— А у нас Сыч! — А у нас Аптекарь! — А у нас Стекольщик! — А у нас Клюква! — наперерыв заговорили Финогеновы, и от учителей перешли к отметкам, к плутням своим и, конечно, заспорили-подрались.

И было так, будто не в келье схимника-старца, изгоняющего бесов, а в училище, в своем излюбленном месте — в уборной шумели они за переменой, только куда здесь было вольнее: не остановит звонок, не поймает надзиратель.

Дохнул уж синий влажный вечер в раскрытое окно белой башенки, и упившийся чаем о. Гавриил не выдержал и храпеть стал.

А Финогеновы все говорили, все рассказывали, как никогда еще и никому не рассказывали, доверчиво, от полного сердца.

И ночь, забившаяся на день в углы темной узкой лестницы, спустилась с лестницы, и пошла из башенки по кладбищу, по крестам, по могильным плитам, и дальше за ограду, в город, и за город в поле...

— Ну, спите-ка хорошенько, — прощался старец, — сердечки-то у вас хорошие... не согретые...

— Ладан херувимский, ладан херувимский! — лепетал со сна о. Гавриил и торопился: ему еще требник надо читать, он очередной, завтра ему обедню служить, — у меня, у меня, батюшка, деточки у меня заночуют.

И когда, расстелившись в келье у о. Гавриила, Финогеновы проболтали и прохохотали долгий час о всяких пучках и вершках, подошел к их изголовью тихий сон, сама Пасха пришла и дохнула теплом в несогретое сердце и стала тихо греть, отогревать его, несогретое.

А в белой башне не потухал, горел огонек: там старец всю ночь молился о мире недольного мира, за всю землю.

— Господи, подуй, подуй, Господи, святым духом на землю!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Пруд посмотреть

Финогеновы привязались к старцу, часто забегали к нему в белую башенку, и старец всегда принимал их ласково, давал им гостинцев. А если нездоровилось ему, он посылал им с о. Гавриилом то по яблоку, то по финику, то еще что-нибудь из лакомств.

Финогеновым очень хотелось, чтобы о. Глеб пришел к ним когда-нибудь пруд посмотреть. Старец, редко и только в исключительных случаях выходивший за монастырскую ограду, согласился и назначил день.

И Финогеновы ждали этот день, словно Пасху. И дождались, наконец, да с утра в этот день все как-то несуразно пошло.

Прошел уж год, как Сеня Огорелышев уехал за границу, и год исполнился, как Палагея Семеновна больше не захо-

дила к Финогеновым, обиженная за некролог, и у Вареньки никого уж не осталось, с кем бы ей душу отвести.

За год монашеского нашествия Варенька не только не поднялась, напротив, она упала еще ниже.

Водка теперь покупалась открыто и в больших размерах: ведь все монахи пили, — водка покупалась для монахов. И, если о. Гавриил выпивал немного, а о. Иосиф-Блоха вовсе не пил, то подручные о. Иосифа, тот же о. Михаил-Шагало или о. Никодим-Гнида, и приятели их, о. Платон-Навозник, о. Авель-Козье вымя и о. Никита-Глист, все они пили, и здорово.

Комната Вареньки — спальня за этот год обратилась в какой-то грязный номер грязной гостиницы с больным бездомным гостем: все было не на своем месте, все было заставлено и, как попало, раскидано, закупоренные, никогда уж больше невыставляемые окна, пыль, сор, духота. За порог спальни ничья нога больше не переступала, Варенька ее охраняла от всяких вторжений и даже детям не было пропуску.

В несчастные тяжкие минуты находила на Вареньку страсть писать письма — по-финогеновски это называлось: период писем. Начало этого периода было всегда невинно, и тут без Коли не обходилось дело: брались старые номера газеты, газета разрезалась на четвертушки по образцу почтовой бумаги, сложенные четвертушки вкладывались в конверты, конверты запечатывались, а затем Коля, подделывающийся под всякие руки, разными почерками надписывал конверты всем, кому только ни вздумается, и письма опускались в ящик без марки. Тут и кончалось участие Коли. Дальше действовала одна Варенька: и утром и вечером она писала письма Огорелышевым, Арсению и Игнатию, и в письмах она писала одно и то же — все о своей невыносимой жизни, и винила во всем детей, прося принять меры. Обыкновенно просимые меры принимались, но нередко и Вареньке приходилось не лучше. И заканчивался период писем тем, что Вареньку вызывали в дом к Огорелышевым в контору, и вызывалась она для того же самого, для чего ловились Финогеновы по субботам после всенощной и в

воскресенье после ранней обедни! Вареньку пробирал Арсений. И всякий раз, вернувшись от Огорелышевых, она надолго запиралась в своей комнате и пила еще больше.

Утром в тот самый день, когда должен был прийти к Финогеновым о. Глеб пруд посмотреть, Финогеновы ушли в монастырь к обедне, а Вареньку, как на грех, вызвали к Огорелышевым.

Возвратясь от братьев, Варенька по обыкновению заперлась в своей комнате. А когда, спустя глухой угарный час, она вышла зачем-то в зал, полураздетая, покрасневшая вся и от слез и от водки, она наткнулась на Алексея Алексеевича — так Финогеновы звали гимназиста Молчанова, одноклассника Саши.

— Вам что? — спросила Варенька, не узнав гимназиста.

— Я к Саше, — отвечал тот, страшно смутившись.

— Шляются тут... всякие... украдут еще!.. — Варенька круто повернулась, заложила руки назад, и пошла в свою комнату.

Ошарашенный гимназист поплелся домой.

С Финогеновыми Молчанов был знаком очень давно. Когда-то еще в приготовительном классе Саша и Молчанов, возвращаясь из гимназии, дергали в звонки или, намелив ладошку и два пальца и сделав плевками глаза и нос, припечатывали чертей на спины прохожим, в классе сидели они на одной скамейке, списывали друг у друга задачи, экстемпорале и переводы. И по житью и обличью Молчанов мало чем отличался от Финогеновых: так же продранные локти, и заплаты — глазища вдоль сиденья, и та же беспризорность, и озорство.

Прежде Молчанов приходил к Финогеновым только по делу: за уроками. А с весны стал заходить так и без дела. Жил он недалеко от Боголюбова монастыря, совсем по соседству с Финогеновыми. Он играл на рояли. И Финогеновская рояль, не открывавшаяся с последнего прихода Палагеи Семеновны, опять ожила.

Если чем отличался Молчанов от Финогеновых, это своими знаниями: он много уж прочитал всяких книг, и не одних только романов, как Петя, и не без разбора, а толково.

И Финогеновы это чувствовали, и недаром, в отличие от других, звали его по имени и отчеству — Алексеем Алексеевичем. Алексей Алексеевич умел так же заманчиво говорить о книгах, как старик огорелышевский приказчик Михаил Иванович о своих непоющих птицах. С его появлением у Финогеновых появляются книги, — книга впервые получает такое же важное значение, как когда-то военные и разбойничьи действия Филиппка, голуби и кегли.

Когда Финогеновы после обедни пришли из монастыря домой и узнали от Прасковьи, как Варенька выгнала Алексея Алексеевича, и как Алексей Алексеевич ушел, огорчениям и досаде конца не было.

За обедом же они излили свою злобу, они изместили обиду Вареньке: когда Варенька, шатаясь, проходила по столовой, они будто нечаянно, один за другим стали подталкивать ее и толкали с каждым толчком сильнее и грубее, с каждым прикосновением больнее и жестче.

И она, едва уж держась на ногах, шарахалась из стороны в сторону, вперед и назад, вправо и влево.

И полон рот ее дрожал в слезах, и посиневшие губы дергались.

— Проклятые вы! Проклятые! — вырывалось у ней, скрежетало проклятие.

А они все толкали ее, подталкивали, сами издерганные, посиневшие от злости.

— Проклятые вы! Проклятые!

В прихожей Варенька оступилась и, не удержав равновесия, ткнулась животом оземь, и минуту лежала так, словно мертвая. И вдруг поднялась с пола, низко нагнула голову, будто опомнилась, и пошла, с закрытыми глазами, пошла, не сказала ни одного слова, не обернулась.

В спальне щелкнул замок, и весь дом притаился.

Уж давно прошло шесть, и семь пробило, а о. Глеба все не было.

«И придет ли он теперь?» — мелькнуло у каждого и стало жутко на сердце, страшно, страшнее самой горькой обиды.

— Молитвами святых, отец, батюшка, бла́гословите! —

послышалось, наконец, обычное монастырское приветствие о. Гавриила.

Финогеновы бросились к дверям. И старец переступил порог.

И сразу весь дом поднялся на ноги.

Вышла к старцу и Варенька, вышла она нетвердо. Прерываясь, с надтреснутым хохотом, выскакивали у нее слова. Финогеновы от стыда чуть не плакали: очень уж было заметно, а так не хотелось этого, так им не хотелось бы этого.

Сели чай пить на террасе.

Был теплый, слегка затуманивающийся вечер. На пруду лягушки, будто рыдая, квакали.

Один о. Гавриил казался невозмутимым и благодушным, и по обыкновению сияющим. О. Гавриил старался занимать о. Глеба.

И за чаем разговор им начался. Сначала рассказал он, как о. Платон-Навозник и о. Авель-Козье вымя во время обедни вцепились друг в друга за кружку, потом перешли к низким душам.

— В келье Пирского, батюшка, родила на утрене, извините за выражение, его Манька, батюшка, двоешку.

Старец, не проронивший за все время ни одного слова, весь сосредоточенный, словно впивавший в себя все невзгоды дома, вдруг повеселел.

— Вот и хорошо, — сказал о. Глеб, — вот и у нас ребеночек родился. Христос посетил наш мрачный, наш мертвый храм.

— Батюшка, — заволновался о. Гавриил, — а ну как до Хрипуна... — и закашлялся, — до преосвященного дойдет?

— Да, — запечалился старец, — дойдет, непременно дойдет, расскажут, и послушника выгонят...

И старец замолк. Молчал и о. Гавриил. И на пруду лягушки замолкли.

И в ту же минуту каждый прочел в своем сердце горький упрек. И острием острейшим входил этот упрек глубоко в сердце. И вспомнив прожитый день, каждый из Финогеновых обвинил себя. Стало пусто, невыносимо пусто и жить не хотелось.

— Ну, а пруд-то посмотреть? — очнулся старец.

И тотчас словно все ожило. Все поднялись из-за стола и Варенька, и о. Гавриил. Финогеновы схватили под руки о. Глеба и, чуть не бегом, прямо в сад к пруду. И там наперерыв затараторили — рассказывали о яблоках и о кизельнике, и о дикой малине, и как они воруют, как сшибают, как рвут и стряхивают. Затащили о. Глеба в купальню и, совсем забыв, что старец ничего не видит, проделывали разные купальные диковинки и, плавая и ныряя, брызгались и выкрикивали:

— О. Глеб, а о. Глеб, а я-то как, посмотрите, о. Глеб, я на одной ручке!

— А я на спинке!

— Сидя!

— Лягушкой!

— По-бабьи!

— Рыбой!

— На саженку!

— С головкой вниз!

— Боком!

И долго бы еще ныряли и плескались, и долго бы еще топили о. Гавриила, которого и вода не принимала, да Прасковья помешала: ужинать готово.

Варенька совсем оправилась, она принарядилась, что с ней давно уже не бывало, и было как-то хорошо смотреть на нее.

И ужин прошел шумно и весело.

После третьей рюмки о. Гавриил старался щегольнуть перед о. Глебом своим знанием всякой светскости и, будто бы из хорошего обращения, из тонкости своей, пустил себе в жирный суп огромный кусок паюсной икры и кильку, но, забывшись, стал есть руками.

— Ты, Гаврила, кильку съел? — спросил Коля, не дожидаясь обычного вопроса, который каждую минуту уж готов был у о. Гавриила, ревниво посматривавшего на финогеновские тарелки.

— Съел, душечка, съел, — пропищал о. Гавриил, забыв свое: «Я тебя, душечка, объел?»

— А еще съел?

— Съел, душечка, съел.

— Ты, Гаврила, кильку съел? — уж хором подняли Финогеновы и повторяли над сопящим, чавкающим о. Гавриилом.

А он, завладев всеми тарелками, как-то смиренно отвечал свое:

— Съел, душечка, съел!

Далеко за полночь увез старец нагруженного о. Гавриила, на которого кроме прочих бед напала еще безудержная икота. И икал он, будто квакал.

А Финогеновы долго не могли заснуть. И рассветать стало, а все не спалось, — так взволновал их прошедший день.

Но на душе было легко и покойно. И летний ясный рассвет, засинив белые занавески детской, ясный, неукорный, не задал своего страшного вопроса изводящей совести: — «Что ты сделал, зачем ты это сделал?» — не заглянул в глаза искаженным лицом своим, от которого одно спасение, один исход — бежать на край света.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Театр

На Ивана Купала минуло Коле четырнадцать.

До той поры не прочитавший ни одной строчки, считая книгу скучным, как уроки, Коля случайно наткнулся на сочинения Достоевского.

Много было непонятного — читалось и забывалось, но сколько было такого близкого и родного — огорелышевского. Строчки горели в глазах и закипали слезы.

И книга с этих пор стала не скучною, не чужою, книга стала чем-то своим, ну, как о. Гавриил, нет, как о. Глеб.

За Достоевским Коля прочитал Толстого, а за Толстым уж пошла книга за книгой, — всякие книги, которые охотно доставал ему Алексей Алексеевич.

Как за голубями когда-то, всякое воскресенье ходили теперь Финогеновы на книжный базар к старой башне и

рылись там у старьевщиков, перебирали книги, приценивались. Но редко возвращались домой с покупкою, больше с пустыми руками: покупать очень хотелось, так много было заманчивых книг, покупать же не на что было — Петя и Коля уж давно позабыли, как лазать за деньгами в форточку к Вареньке, а Варенька давала копейки, и то в большие праздники.

Летом Финогеновы затеяли театр — представление.

Когда-то давно и всего один раз были Финогеновы в театре. Никите Николаевичу Огорелышеву — Нике вздумалось как-то прислать Вареньке билет — ложу, и Варенька возила детей смотреть Конька-Горбунка. И с тех пор дома они разыгрывали своего Конька-Горбунка: из всяких разноцветных тряпок, служивших ризами для игры в большие священники, а главным образом, из одной полосатой, которая почему-то называлась желтой, делали они настоящее поле, ни разу не видав настоящего поля, и дворец, и хоромы, и кто-нибудь прыгал коньком, и, корча всякие рожи, появлялся Иванушка, весь вымазанный сажей, будто из крестного хода избиения младенцев. Скакали, прыгали, вились, подымали ноги, ну прямо, как в настоящем балете.

Теперь же решено было устроить такой театр, чтобы играть с словами, играть не балет, а драму.

Алексей Алексеевич не раз бывал в театре и много рассказывал очень занятного.

Когда Финогеновы сказали Вареньке, Варенька сначала слышать не хотела: для устройства театра надо деньги, а денег никаких она не может дать, да и заронить легко могут, пожар сделают. И если они ее не послушают, она сейчас же напишет Огорелышевым. Что им было делать? Пришлось о. Гавриила на помощь звать. Всем собором с о. Гавриилом коленопреклоненно, как выражался о. Гавриил, приступили они к Вареньке и так приставали неотвязно и настойчиво, что Варенька согласилась. А чтобы согласие было вернее и крепче, с Вареньки взяли расписку: Варенька мешать им не будет, а они не будут просить у нее денег. Расписку подписала Варенька и все Финогеновы, а скрепил ее сам о. Гавриил.

«Преосвященнейший митрополит и патриарх всея Руси Гавриил-Дубовые кирлы!» — накорякал о. Гавриил, пишущий, как сорока лапой.

Получив согласие от Вареньки, не откладывая в долгий ящик, приступили к делу.

Главным коноводом был Алексей Алексеевич, приходил он к Финогеновым поздно вечером после ужина. А чтобы не узнала Варенька и не подняла историю, Финогеновы еще на лестнице разувались и на цыпочках проходили наверх. Наверху кипел самовар, и, открещивая окна и углы, укладывалась на ночлег Прасковья. Прасковья была на стороне детей, и все оставалось шито-крыто.

За чаем под тук и стрекотню разгарной летней ночи Финогеновы уносились, Бог весть куда, и чего-чего они только не выдумывали, каких таких театров не строили, просто захлебывались от клокочущего нетерпения.

Больше всех горячился Петя: у Пети был такой хороший голос, и он должен был петь.

Играть решили непременно до 16 августа, непременно до этого ненавистного дня, за спиной которого торчала для Финогеновых гимназия со своим очертеневшим казенным лицом, вся в двойках, с шмыгающими, скучными и обозленными классными надзирателями.

В постройке театра большое участие принял о. Гавриил, натащивший всякого хламу из своего свинушника-кельи. Доски украдены были ночью из огорелышевской плотницкой, красть помогали фабричные, ожидавшие представления не меньше самих Финогеновых.

Работали Финогеновы с опаской, стараясь лишний раз не стукнуть и не поднять голоса.

И вот после долгих трудов сцена была готова.

На площадке перед террасой, под качелями, примостилась какая-то первобытная свайная постройка — шалаш, а на перекладине качельных столбов взвилась огромная афиша, над которой много трудился Саша, на афише изображен был зеленый черт с маленькими, смеющимися глазками.

Всю ночь накануне представления Финогеновы держали крепкий караул, — с дубинками они ходили вокруг до-

ма, прислушиваясь к каждому шороху: огорелышевский управляющий, Андрей-Воробей, накануне грозил убрать шалашную постройку, а Игнатий Огорелышев, проходя по саду вечером в свой положенный час, остановился против качелей и подозрительно наводил бинокль на непонятное сооружение.

Хорошая была ночь, теплая, без облачка, и, как на грех, к утру застлалось небо, и накрапывающий сонный дождик серыми каплями-лапками пополз по крыше и, проползая под доски, ползал по липким, мажущимся стенкам трясущихся кулис.

Финогеновы чуть не плакали от огорчения, молились Богу, чтобы прояснилось, передрались от отчаяния.

А к вечеру вдруг разбежались тучи, иссякнул дождик, приплыли другие, крохотные тучки, ясные, принесли с собою вечернюю синь и тихие звезды.

Заиграла музыка, — Алексей Алексеевич из кожи лез, старался на рояли, все сделал, чтобы под настоящий оркестр выходило.

И хлынула народу тьма-тьмущая к красному финогеновскому флигелю, к качелям: огорелышевские фабричные, мастеровые, пололки с огорода, знакомые пололок и знакомых, их знакомые и знакомых приятели.

Явился городовой Максимчук, будто в наряд.

Наряженный в голубую ленту со звездою, — от Филиппка еще хранились ордена, — начальственно расхаживал Максимчук по рядам публики, одной рукой придерживая свою селедку, в другой подсолнухи, и пощелушивая подсолнухи, непечатно бала́кал с краснощекими пололками.

О. Гавриил важно расселся в первом ряду, для торжества надев на нос пенсне без стекол. Вокруг о. Гавриила с одной стороны сел огорелышевский приказчик старичок Михаил Иванович, охотник, как оказалось, не только до своих птиц, но и до театра, и финогеновский портной Павел Петрович-Поль-Уже́, прибавлявший к каждому слову и без всякой надобности уже и сужавший финогеновские шинели и курточки ни на какую стать, но зато и дешево и почти из ничего, с другой стороны — премудрая

прачка Душка-Анисья, умевшая языком соринки в глазу искать, и печник Сёма-юродивый в своей шапке-барабане с бубенцами, то весело, как малое дите, похлопывавший в ладоши, то беспокойно озиравшийся по сторонам, — все гости почетные. О. Гавриил без умолку болтал с соседями и что-то совсем непонятное, будто по-французски, и наблюдал за Варенькой, которая с обеда, запершись, просидела у себя в спальне и теперь ходила, заложа руки за спину, готовая всякую минуту выкинуть что-нибудь совсем неожиданное.

Занавес медленно отдернулся и началось представление.

Боже мой, как замирало сердце и отлегало, сколько волнения пережили Финогеновы, как на экзаменах! И какая радость была от встрепенувшегося хохота, от всех этих лиц, превратившихся от удовольствия в смешные рожи, и от этих прыскающих присмешек и гудящих, визжащих выкриков, восклицаний и криков одобрения.

У Коли, изображавшего старуху, выпотрошился живот, — хохот. Петя, спившийся певчий, так ловко ломался, ну совсем как пьяный, — и опять хохот. Всем весело, все довольны.

Снова заиграла музыка.

Вышел Петя уже в своем виде, стройный, синеглазый и запел своим тревожным голосом, и звуки от качельных столбов покатились в сад, окунулись в созревшей листве, поплыли по пруду...

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную...

И опять медленно отдернулся занавес, и началось новое представление.

Женя-купец жалуется Саше-будочнику на Колю-сапожника: обидел он купца, подметки поставил, да не кожаные, а из папки. Будочник кличет сапожника. И выскакивает весь изодранный, в опорках на босу ногу, с подбитым глазом сапожник — Коля, беспокойно озирается, не хуже Сёмы-юродивого, потом преглупо улыбнулся, ну

совсем как Кузьма-дворник, переминается, хочет сказать что-то, разинул рот...

— Вон! — раздался вдруг звенящий голос Арсения, — вон! — и среди дрогнувших голов мелькнула его скрюченная волосатая рука.

И, как один человек, пошла толпа, дымом повалила толпа, бездушно вон от качелей, а скрюченная волосатая рука, не дрогнув, давила, а звенящий крик хлестал по шее, и словно жгутиком больно подгоняло вон, вон со двора.

О. Гавриил бросился на террасу, туркнулся в дверь — заперто, скорее к окну — слава Богу! — есть ход, полез через окно и застрял, и, застряв, с перепугу засвистел тоненько земляным лягушонком.

— Это еще что за новости... подожжете еще... никаких театров в нашем доме! — выкрикнул Арсений скороговоркой, подошел к рампе.

— У Достоевского вон на каторге, на каторге театр устраивали... — Коля наклонился к самому лицу Арсения, но не успел докончить: крепкая пощечина хлестнула его звонко по его вымазанному лицу, и рыжий картуз его глухо шлепнулся о подмостки.

— Мерзавец! — кошкой прошипел Арсений, все лицо его словно болело от злобы, он круто повернулся и, улыбаясь пересохшими от злости губами каменной огорелышевской улыбкой, зашмыгал-полетел, и словно крылья поднялись за его согнутой спиной.

И как тогда, давно, в первую встречу, когда Коля первый руку подал Арсению, Коля закусил себе до крови губу и как когда-то стоял с протянутой рукой.

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Коля один стоял на сцене, все мысли его и все решения сразу вспыхивали. И перед ним на сцене же стоял Сёма-юродивый в своей шапке-барабане с бубенцами и, молча, показывал рукою то на сердце себе, то вверх на звезды.

Коля нагнулся, поднял картуз и, не оглядываясь, пошел в дом.

А Сёма-юродивый все стоял на одном месте и показывал то на сердце себе, то вверх на звезды.

О. Гавриил, свистевший земляным лягушонком, визжал теперь настоящей свиньей, но никак не могли его высвободить. И долго тянули его: тянул его дворник Кузьма, и городовой Максимчук в голубой ленте и со звездою, и кухарка Степанида, и Прасковья, и горничная Маша. И наконец-то высвободили, высвободился о. Гавриил да со страху бежать, только кудри развеваются.

— О. Гавриил, батюшка, о. Гавриил, ряску забыли! — кричали ему вдогонку.

Куда там! Бог с ней и с рясой!

Так и сбежал о. Гавриил.

Так и кончилось представление.

Варенька заперлась в своей спальне. Финогеновы с Алексеем Алексеевичем тихонько наверх прошли.

И долго сидели они наверху вкруг самовара, как всегда.

Приготовленные к подношению дубовые венки, зеленые, глядели со стен детской.

Алексей Алексеевич взволнованно ходил взад и вперед.

Храпела Прасковья: ей тоже немало за день досталось с театром!

— Уж зимой непременно устроим, настоящий театр, здесь устроим наверху или в зале! — говорил Саша.

— А на будущий год можно и занавес такой повесить, настоящий. И все играть будем! — вторил ему Петя.

Сжавшись, сидел Коля, как тогда после порки, сидел у окна. Его до крови искусанные губы вздрагивали, и сухим блеском горели темные с поволокой глаза. Он как сел к столу, так и сидел, молча.

«Пожар какой, пожар пущу! — метались мысли его, и вдруг нестерпимо больно жгло где-то в сердце: — или умереть?».

Женя все морщился: начиналась у него всегдашняя его боль где-то над самыми бровями.

Алексей Алексеевич взволнованно ходил взад и вперед.

А там, у пруда по саду, осень шла — красавица, по-

следние прощальные дни — упоенье несказанное. Осень шла, рассыпала по небу серебряные камушки, сзывала хороводы белых звезд. Осень шла, поднимала по саду золотые хоругви, уставляла хоругвями черный пруд.

А там у качельных столбов, где висела афиша — зеленый черт, зеленый черт, дымный, как дым густой, в звездной ночи зажег зелеными огоньками свои хохочущие глазки и, извивая длинный хвост, раскачивался на влажной перекладине.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Прекрасная мати-пустыня

Коля не скоро успокоился, долго не мог он забыть театр под качелями, нет-нет да и схватит боль и замучает, замучает, хоть и не глядел бы на свет Божий. Но и эта боль — пощечина, как когда-то порка, переболела, и он забыл о пощечине, как когда-то о порке перед киотом.

Началось ученье, пошли всякие заботы.

Ранним утром, чуть еще брезжут осенние будни, и редким звоном печально звонят в Боголюбовом к средней обедне, Женя и Коля отправлялись в училище.

Слякотное небо, слякотные улицы, будто тифозные, раздирали мутные, измученные бредом глаза. К церковным папертям подносили покойников, бедных, с колыхающимся желтым казенным покровом вдоль дощатых дешевых гробов и пахло перегорелым дешевым ладаном и гниющей, заразной сыростью, и стаи ворон, каркая, кружились над измокшими деревьями в палисадниках.

И таким отдаленным казалось тогда Коле то его будущее, которое непременно придет, своевольное и огромное, то его будущее, которого хотелось ему и о котором редкий час, хоть и смутно, но с таким жаром не мечтал он.

Быть ему богатырем, серым волком, спасать ему Ивана-Царевича, быть ему апостолом Петром и никогда не отречься от Христа и не предать Его и не заснуть в Гефсиманском саду, быть ему таким высоким, как любимый

француз учитель, и носить штиблеты, как у Мити, без стука, быть ему о. Глебом и повелевать бесами, только чтобы с глазами остаться, или нет, не серым волком, не апостолом Петром, не французом, не о. Глебом, а быть ему таким, как сам Огорелышев Арсений, да, как Огорелышев, и еще повыше.

Коля давно уж понял, что Арсений — особенный, каких мало, а, может быть, и вовсе нет таких, и также понял, что делает Арсений какое-то свое большое дело, от которого зависит не только жизнь города, но и всей России.

И вот когда-то-нибудь, в своевольном будущем своем, станет Коля таким, что и сам Арсений, который теперь презирает его, первый ему поклонится, заговорит с ним, ну заговорит с ним, как с равным.

Но Арсений не презирал Колю, тут Коля ошибался. Из всех Финогеновых он выделил Колю, видя в нем свою породу огорелышевскую. И вот почему не к Жене, а к Коле придирался Арсений и не спускал Коле ни одной шалости.

Арсений нередко наезжал в Огорелышевское училище, и приезд его был для Коли самой тягчайшей минутой и без того обузной классной жизни: приходилось забираться в уборную и там высиживаться, а то не миновать — подзовет, придерется и выругает.

Уроки тянулись надоедливо, кажется, все изводило: батюшка-законоучитель, по прозвищу Китаец, обличал Финогеновых как позорящих Огорелышевский дом, благочестие коего засвидетельствовано многими христианскими добродетелями, учитель русского языка Инихов-Химера вылавливал в классных сочинениях вольнодумства, постоянно угрожая доносом.

И одно было развлечение: книга. В парте на лысом ранце постоянно лежала у Коли книга, и с каждой переменой убывали правые страницы, как с каждой четвертью убавлялись баллы по поведению. За книгу особенно преследовали Колю.

Но вот кончалась неделя и наступало, наконец, воскресенье.

До ранней обедни у Финогеновых обыкновенно шла

спешка: подчищались, вымарывались да подправлялись колы и двойки, полученные за неделю.

Всякий раз в воскресенье после ранней обедни Игнатий просматривал Финогеновские балльники и всегда оставался недовольным. Глядя куда-то в сторону, Игнатий ровно, без всякого раздражения, как настоящий англичанин, говорил одно и то же — о финогеновской лени и шалопайстве, и всякий раз поминал Сеню, который меньше пятерки никогда не имел, и всякий раз поучал, что Финогеновым надо учиться, хорошо учиться, потому что средств у них к жизни никаких нет, и что живут они на чужой счет, на их счет — на огорелышевский, а если будут так плохо вести себя, то их исключат, или Огорелышевым самим придется взять их из училища и отдать в сапожники...

Вернувшись домой от Игнатия, Финогеновы кропотливо восстановляли отметки в своих балльниках: опять выводились колы и двойки с росчерками и замысловатыми завитушками грека, русского, историка, физика. И тут Коля голова, потому что рука его — под все руки.

Наступившая осень принесла с собою много событий.

На Воздвижение умерла бабушка Анна Ивановна. Умерла бабушка одна в палате для слабых, и похоронили ее в общей могиле. Извещение о смерти ее пришло к Финогеновым много спустя после похорон.

В последние годы не так уж часто приходила бабушка к Финогеновым — с конца на другой конец города тяжело ей было, и не так долго заживалась она у Финогеновых — ни помочь, ни сделать ничего не могла, ослабла, а без дела жить обузой — совестно.

Еще летом до театра, предчувствуя, должно быть, конец свой, бабушка, не расстававшаяся со своей любимицей, кошкой Маруськой, нет-нет да спрашивала Финогеновых: придут ли они к ней на отпевание, принесут ли цветочков?

— И ты, Колюшка, — выделяла бабушка своего любимого Колю, поглаживая Маруську, — придешь, вспомнишь, как духов в табак подливал, а мне и хорошо будет, светло из гроба смотреть, и сердцу весело.

— Бабушка, я тебе никогда духов не подливал! — каялся Коля.

— Подливал, душа моя, помню хорошо.

— Бабушка, это не духи я тебе подливал...

А у бабушки только тряслись ее лиловые губы и прыгал длинный седой, серпом завитой волос на бородавке, — бабушка плакала.

Вместо бабушки к Финогеновым стала ходить тоже богаделка, сестра Прасковья, Арина Семеновна-Эрих проклятый или просто по-будничному Эрих. В очках, поводя табачным носом, выискивала Эрих всюду и везде одни непорядки, а нюхала не хуже бабушки.

За бабушкой ушел на тот свет огорелышевский приказчик Михаил Иванович — должно быть, задохся старик среди своих бесчисленных клеток: три дня не выходил он из своей конторы, три дня не показывался на огорелышевском дворе, и нашли его уж мертвым — полна комната птиц, летают птицы — и узнать нельзя, весь исклеван. Так исклеванного и похоронили, а птиц всех на волю выпустили — Душка-Анисья так посоветовала.

За приказчиком Михайлом Ивановичем приказал долго жить — обманул старичок, Покровский священник, так любил сам покойник о покойниках отзываться. Коля почему-то был уверен, что из батюшки непременно мощи будут, но батюшка на другой же день испортился. Душка-Анисья, тоже ожидавшая нетления, весь грех приписывала лекарствам.

— От лекарства и не такие угодники портились! — говорила Душка-Анисья.

На освободившееся место к Покрову назначили молодого священника. Новый священник и отец духовный о. Сергий, впрочем, отцом никто не захотел его звать, а просто Сергеем Семеновичем, получил от Финогеновых прозвище Польский священник, к которому появилось и добавление: неужели ты приехал. Страстный охотник говорить проповеди, в одной из проповедей своих, путаных и не особенно-то складных, Сергей Семенович изображал какого-то пропавшего друга и встречу с ним и хотел щегольнуть диалогом, но спутался и повторял одну и ту же фразу — «Неужели ты приехал?» — пока в церкви не поднялся хохот. Фино-

геновы обращались с Сергеем Семеновичем запанибрата.

Немного пережил своего старика священника Покровский пономарь Матвей Григорьев. И не от того, что пупок у него перешел на спину, помер пономарь, а грех его попутал, как после говорилось и на Огорелышевском дворе и у Покрова за всенощной. Полез Матвей Григорьев по лестнице паникадило зажигать, ножки у лестницы и раздвинулись, лестница покачнулась, а он с высоты-то и чертыхнись, чертыхнулся и грохнулся об пол, да так головой прямо о плиты, инда череп треснул. На его место определился Петр Егорыч с подрезанным горлом, очень смирный: когда-то, в молодости, хотел он зарезаться и неудачно.

Умер и огорелышевский ночной сторож Аверьяныч, изрыгавший сквернословие, как молитву какую. Нашли Аверьяныча в сторожке с грязною тряпкою во рту беззубом и уж окоченевшего. Сам ли он от болей своих тряпку закусил или Бог покарал за сквернословие, так и осталось невыясненным.

— Войдешь, бывало, девушка, в сторожку, — долго после вспоминала Прасковья, — а Аверьяныч спит. «Что ты, скажешь, спишь, оглашенный?» А он себе, как ни в чем не бывало: «Не спал я, девушка, я песни пел!» Что уж забьет себе в голову, на том и станет, не человек, а упор какой-то!

На место Аверьяныча поставили кузнеца, сказочника Ивана Данилова, окривевшего от искры на правый глаз и негодного уж для кузницы.

Издох кот Наумка, Колин любимец.

Вырыл Коля ямку, положил кота в ящик, убрал его усатую мордочку воздвиженскими любимыми астрами. И, как когда-то играя в большие священники, отслужили Финогеновы наверху обедню, отпели кота, и зарыли его под вербой. А на качельном столбе выскоблил Коля коту эпитафию:

«Наумка — мой ровесник, жил на земле тринадцать годов и один год, пел мне песни, не любил политани. Милый мой коташка!»

Сапожника Филиппка, Степанидина сына, засадили за воровство в острог.

В Сергиев день о. Гавриила рукоположили в иеромона-

хи и вместе с преосвященным Х р и п у н о м перешел он в Лавру и больше не бывал у Финогеновых, — далеко. Прощаясь, о. Гавриил, имевший привычку целоваться с прикусом, искусал всех Финогеновых, и даже очень больно. Ну, когда-то еще раз придется им свидеться, — Лавра далеко.

Вернулся из-за границы Сеня Огорелышев, и какой важный! И к Финогеновым уж не зашел Сеня, а встретили его Финогеновы в огорелышевском доме внизу в конторе, где по воскресеньям после ранней обедни Игнатий балльники финогеновские проверял. Холодно поздоровался Сеня, и Финогеновым уж неловко показалось Сеней его называть, но и Семеном Арсеньевичем не выходило, впрочем, весь разговор-то вышел очень краток. Одного Сашу он пригласил с собой в свою комнату и подарил наусники, на ночь на усы надевать, чтобы усы кверху торчали по-немецки, как у Вильгельма. У Саши чуть только пробивался пушок на губе, и наусники Сенины ему были ни к чему, но он все-таки их взял. И одно время наусники эти занимали Финогеновых: их надевал на ночь совсем еще безусый Петя и, конечно, без толку, раза два спал в них и Коля. Так наусниками и кончилась дружба с Сеней, — видно, не вернуть уж старого: поехал за границу Сеня, а вернулся Семен Арсениевич Огорелышев.

Горничная Маша, как говорили, путаться стала, и Машу Варенька прогнала.

Уходя от Финогеновых, Маша на весь дом плакала: ей уходить не хотелось, привыкла она и к детям, и к дому. А Коле было так горько: так бы, кажется, и уцепился он за ее белую юбку в маленьких голубеньких цветочках и никогда и никуда не отпустил бы от себя. И Маша в воображении его сливалась теперь с Верочкой, которую он изредка встречал на улице, но уж не кланялся.

— Погибла, девка, погибла, — прощалась Прасковья с Машей, и трясущейся рукой сунула в горячую руку п р о п а щ е й свой отложенный на черный день дорогой рубль, — заходи когда, чего там: все мы... таковские.

Машу заменил Митя, сын Прасковьи, половой из трактира, окрещенный Финогеновыми в первый же день П р о-

метеем. Прометея поместили в детской, а Прасковью перевели в столовую за занавеску.

К Прометею Финогеновы очень скоро привыкли. Вечерами нередко, как когда-то Жене и Коле, Петя диктовал Прометею, и за какой-нибудь месяц наловчился Прометей до золотой медали, как сам хвастал Алексею Алексеевичу.

Как у Вареньки наступал период писем, так в известный срок на Прометея запой находил.

В запое Прометей забрасывал всякую работу, брал гармонью и целый день играл одно и то же. А когда начинало смеркаться, в сумерки вдруг охватывало его беспокойство: он поминутно вскакивал и все порывался идти куда-то, домой куда-то...

— Домой пойду! — бормотал Прометей в минуты своего крайнего беспокойства и весь тянулся, пока не падала из рук гармонья и не выскакивал сам на улицу. И всю ночь пропадал он по всяким притонам и лишь к утру возвращался к Финогеновым нагишом.

Всякий раз Варенька выгоняла его, и только после просьб Прасковьи и всех детей и раскаяния самого Прометея и клятв его, что больше с ним такого никогда не произойдет, он снова принимался голодный и потемневший.

В будни носил Прометей тужурку с серебряными пуговицами, — сделана была эта тужурка из старой изодранной Сашиной шинели, на ногах его шмыгали резиновые калоши. В праздники же надевал Прометей свою коричневую визитку и штиблеты без стука.

— Как у настоящего солитера! — вертелся Прометей перед зеркалом и охорашивался, — пройтись теперь, да девчонку подцепить, эх-ма!

В праздник, вдохновлясь, должно быть, своей визиткой, как у настоящего солитера, часто Прометей рассказывал Финогеновым приключения из своей трактирной жизни и восторгался, вспоминая трактирных гостей: и теми, у кого деньги, как лебеди, так и летели, и теми, кто хорошо ему на чай давал.

— Не то, что шпульник какой: натрескается, набегаешь все ноги из-за него, а он тебе еще в морду! — и при этом сплевывал в сторону тоненьким плевком.

За трактирными приключениями следовали у Прометея воспоминания из жизни Зоологического сада, где однажды занимал Прометей трудную и небезопасную должность при слоне: за двадцать пять рублей приводил он слона в чувство во время случки.

— Целый день под слоном! И хоть бы медаль полагалась, хуже каторги! — возмущался Прометей.

У Петра Егорыча с подрезанным горлом филинов голос, у Прометея и такого не было, — родятся такие совсем безголосые люди, но согласиться с этим, лучше помереть, один конец, и длинно вытягивая свои бескровные губы и приседая, Прометей пел.

— Ну-ка, послушайте, — останавливал Прометей кого-нибудь из Финогеновых и пел, — как, ловко? Не хуже протодьякона вывел, ловко?

— Прометей, а Прометей! — приступал не без лукавства Коля, — хвати, Прометей, многолетие с перекатами!

Прометей ничего не замечал и орал, он орал во всю мочь, и, должно быть, самому ему слышались большие звуки, он орал и хрипел, пока не саднило в горле.

Когда приходил к Финогеновым Алексей Алексеевич и начинались всякие разговоры о книгах, Прометей внимательно прислушивался и, улучив минуту, весь изгибаясь, таинственно задавал вопросы и совсем не идущие к делу. Любимый вопрос Прометея — война.

— Не грянет ли сызнова война, и не объявился ли где Наполеон?

Наверху над кроватью Прометея висела раскрашенная картина — портрет Наполеона.

— Какая еще тут война! — огорашивал Прометея Алексей Алексеевич, — и так у нас народ мрет от голода, Бог с ней, с войной, одно безобразие!

Прометей не сдавался: голод голодом, а война — священное дело великого человека. Сам Прометей — великий человек, таким он сам считал себя, он только не имел еще повода обнаружиться. Обнаружит Прометея война.

Но Алексей Алексеевич стоял на своем: не надо никакой войны, и не будет войны.

— И жить не стоит, коли так, — примолкал Прометей, и

весь истощенный, спитой, жаждущий отличиться, он горбился больно и, покручивая свои крысьи хвостики, отходил к столу, отыскивал клочок бумаги и с каким-то отчаянием своим затейливым красивым почерком выводил подпись с росчерком и завитушками: — «Генерал-лейтенант, генерал от инфантерии, наказный атаман Войска Донского, генералиссимус Дмитрий-Прометей Мирский».

Частые ли встречи с о. Глебом, или так уж душа повернулась, в душе Саши произошел резкий перелом: из болтуна он превратился в замкнутого и скрытного, всех избегать стал, стал уединяться, или сидит и читает или молится, и рисовать стал только иконы. Лицо его еще больше заострилось, а серые глаза залучились.

С наступлением зимы, вечером наверху в детской, где когда-то бабушка рассказывала сказки и читала евангелие, за которым следовала Капитанская дочка, там, в детской, где летом еще, так недавно, велись нескончаемые разговоры о театре, теперь рассказывал Саша жития угодников.

Затихшим, изболевшимся голосом, проникая в самую душу, рассказывал Саша о подвижнической жизни, о мучениках, и о старых скитах, и о чудесах великих. И так у него хорошо выходило, — виделась церковка где-то среди дремучего леса на дне светлого озера, виделась прекрасная мать-пустыня.

С замиравшим сердцем, как когда-то сказку о Иване-царевиче и сером волке, как когда-то Страсти Господни, слушал Коля о матери-пустыне. И Петя о ней слушал, о своем мечтая: Петя не выходил из своего круга — он всегда был влюблен, и сердце его никогда не пустовало.

— А как же насчет военных действий? — спохватывался вдруг Прометей, сам растроганный Сашиною повестью о подвижниках, сам замечтавший о матери-пустыне.

Но какой же разговор мог быть о военных действиях с матерью-пустыней в ее пустыне?

— Там овца ляжет около тигра, — говорил Прометею Саша.

— И жить не стоит, коли так, — примолкал Прометей, и весь истощенный, спитой, жаждущий отличиться, он горбился больно и, покручивая свои крысьи хвостики, уходил из детской вниз к черным холодным сеням и там, в темноте, запершись на задвижку, с каким-то отчаянием орал себе царское многолетие — Дмитрию Прометею Мирскому.

Алексей Алексеевич, не одобрявший Сашиного увлечения, избегал душеспасительных бесед, — так с насмешкою называл он Финогеновские вечера, — и, попадая случайно на Сашину проповедь и прослушав какой-нибудь рассказ, он с улыбкой подносил Финогеновым самое отборное из очертевших буден нашей русской несуразности, нашего несчастья и неудачи.

— А вы в монастырь идти хотите? душу спасать хотите? — ершился и щетинился Алексей Алексеевич.

Но всегда кротки были ответы Саши: да, он бросит этот мир, ищущий веселья, жить будет где-нибудь в старом скиту за Волгою.

Саша ближе всех сошелся с Колей. У Коли появилась страсть: собирая книги, собирал он и всякие маленькие вещицы, всяких игрушечных зверков и зверушек, и все они стояли у него на столике с любимыми книгами. Саша доставал Коле этих зверушек: принесет и поставит к нему на столик, будто сами пришли.

Медведюшка, подаренный Коле Елисеем Степановичем, отцом, накануне смерти, фарфоровый глупый медвежонок, занимал у Коли самое почетное место. И как жалел Коля, что другой подарок отцовский, змейка пропала и уж такой нигде не найдешь больше.

— Ничего, Коля, — утешал Саша, — я тебе зайчика достану: зайчик капусту ест, а в капусте музыка.

Алексей Алексеевич, приносивший Коле книги, головой покачивал и ворчал не хуже Прасковьи:

— Один в монахи собирается, другой в игрушки играет!

С Рождества детская обратилась в моленную.

И вышло это само собою: сначала Саша только жития рассказывал, потом после рассказов стали петь ирмосы и стихиры, а потом перешли и к акафистам.

У Саши появились всякие триоди, — доставал он церковные книги или у о. Глеба, или у Сергея Семеновича-Польского священника. Сшил себе Саша что-то вроде подрясника. Этот подрясник выкроил Саше финогеновский портной Павел Петрович-Поль-Уже, из старого дедушкина халата, перешедшего к Финогеновым вместе с поношенным бельем от Огорелышевых.

Игра в большие священники пришлась кстати. Конечно, обеден теперь не служили, просвирок не вынимали, квасом не причащались, и никаких архиерейских служений не представляли, — в моленной совершалось только дозволенное.

За акафистами и канонами выстаивали Финогеновы до глубокой ночи, выбивали поклоны и мучили себя всевозможными лишениями: постились в среду и пятницу, понедельничали, как Прасковья, Степанида и покойница бабушка. Ревностнее всех, конечно, был Саша, но и остальные не уступали, все старались: и Петя, и Женя, и Коля, — было какое-то соревнование друг перед другом в самоистязании.

Алексей Алексеевич одно время почти перестал ходить к Финогеновым, а на долгие ночные службы их даже и заглянуть не захотел. Алексей Алексеевич не знал, что и думать о финогеновских затеях, просто хоть рукой махни и поставь крест!

Варенька, обыкновенно остававшаяся одна в своей комнате, изредка, хоть и нетвердо, а подымалась наверх в детскую на моленье, и какой-нибудь час – ничего, она тихо молилась, но наступала минута, и вот, кажется, ни с того ни с чего или начинала она насмешливо фыркать, или со слезами на глазах вдруг повертывалась:

— Проклятые вы, проклятые! — и, заложив руки за спину, шмыгала по-огорелышевски вниз из детской, плача и проклиная.

— И от Бога грех, и от людей стыд! — говорила Прасковья в кухне за ужином после непонятных выходок Вареньки.

Степанида и Прасковья постоянно молились с Финогеновыми.

Но что было делать Вареньке? У ней ни души не было — всегда одна, ведь и монахи с переходом в Лавру о. Гавриила больше не появлялись у Финогеновых, а монахи все-таки, как-никак, развлечение, ну, хоть что-нибудь, чем бы душу отвести, — ничего. И она одна в своей опостылевшей комнате, около своей пропитавшейся водкой шифоньерки, с тяжелой головой и с падающим сердцем проклинала и детей, и себя.

Зачем она тогда покорилась и, не желая, покорностью своей крест на себя взяла, понесла его, мучительный, ненавистный — проклятый крест.

— Проклятые вы, проклятые! — плакала, проклинала Варенька и себя, и детей.

И казалось, уж мера переполнилась, и время кончалось, приспевал ее час идти на ответы.

Финогеновы в Великий пост еще усерднее отправляли свои ночные службы, а Саша даже говел на Первой неделе. Правда, и тут, на великопостных стояниях, не обходилось без вывертов к большому огорчению Саши. На Пятой неделе Великого поста, на стоянии Марии Египетской, после канона за сенаксарем Коля, строясь приходским старостой от Покрова, прошелся с тарелкой, а сзади Коли, будто просвирня, семенил Женя с блюдечком. Распевая на разные гласы иермосы, представляли Финогеновы соборных дьяконов. Незаметно и, может быть, невольно переходили они к игре, к старому — к игре в большие священники.

Пришла весна, подкралась к финогеновским окнам, — рамы вон. И в ветре, заводящем воркотню в трубе, и в глухо сбегающих с крыш каплях зашептала она, заманила за собой идти. И какая синяя да большущая за монастырем полегла туча, раздавит она белую колокольню, белые башенки!

— Не люблю я этого фарисейства, — ворчал Алексей Алексеевич, с весною снова зачастивший к Финогеновым, а сам подбирал на рояли Стих о Иосафе царевиче индийском:

Прекрасная мати пустыня,
Приими мя в свою пустыню!

По случаю поздней Пасхи экзамены у Финогеновых начались рано.

Прометей не меньше Финогеновых тревожился и заучивал с ними теоремы и вынимал билетики, как на экзамене.

Ура, латинский порешили!
Геометрия дрянная
Лезет в голову весь день...

— распевал Прометей собственный стих на голос песни в честь славного казака, объехавшего на коне Сибирь: Ура! Пешков, тебе награда...

Приближалась Пасха. Дождались, наконец, Финогеновы Вербной субботы, и распустили их на праздники.

Еще с Чистого понедельника Страстной недели взялись Финогеновы за лепление из маленьких свечек и огарков одной огромной свечи: свеча предназначалась для крестных ходов в Великою Субботу и в ночь под Пасху, — никакой ветер не загасит этой свечи и никакой дождь не зальет.

В Великую Пятницу Финогеновы до Плащаницы ничего не ели, а после Плащаницы всего только по одному финику. Был, конечно, грех: и Петя, и Женя, и Коля отщипнули себе по кусочку пасхи для пробы, — хороша ли выйдет пасха, над которой так много потрудились, сами растирая творог и размешивая его лопаточкой.

На утрене в Великую Субботу Петя в первый раз жутким распевом читал над Плащаницей паримию — Иезекиилево чтение: «Бысть на мне рука Господня...» А за обедней, когда священник и дьякон снимают черные ризы и облачаются в белые, Петя один пел «Воскресни Боже, суди земли!» — и на такой театральный лад, что Сергей Семенович-Польский священник из алтаря кашлять принялся, а Петр Егорыч вдруг выскочил на амвон и затянул по-своему своим подрезанным горлом, — и грех и смех.

Так проходили дни весело и хорошо, никогда еще не было так хорошо, как в этот год в страстные дни, а сколько вспыхнуло живым огнем всяких финогеновских затей — проказ.

А тут еще Сёма-юродивый всех со смеху уморил! В Великую Субботу, когда вернулись Финогеновы из церкви, появился Сёма на дворе и не один, а с теленком, и тащит теленка прямо к Финогеновым на кухню.

— Вам, — говорит, — пригодится! – а сам потряхивает головой — барабаном, звенит бубенцами.

Степанида за теленка Сёму поблагодарила, повела теленка в сарай, поставить, а Сёма взял ведро и ну крыльцо мыть, а как вымыл крыльцо, снял с себя все свои лохмотья да при всех этой грязной водой и окатился.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Монах

С обеда Финогеновы легли отдыхать, только Коля все не ложился, все копался: то его развлекал Сёмин теленок, и он не выходил из сарая, то прибирал свой столик с зверками и зверушками. И уж солнце, насмотревшись на пруд, на молодую травку, закатилось, и тучи, плывшие над домом, повернули куда-то за Чугунный завод, и сумерки тихо завесили окна, только тогда угомонился Коля и, не раздеваясь, прикурнул на кровати.

И показалось Коле, вошел будто в детскую нищий старик, весь такой сгорбленный, измоделый, на покойника ночного сторожа Аверьяныча похож, штаны серые, мышиные, и стал нищий перед кроватью.

— Чего тебе нужно? — будто спрашивает Коля у нищего.

А нищий смотрит на него и молчит, и как-то неспроста молчит.

— Кто ты? – спрашивает Коля.

А нищий все молчит, смотрит, так смотрит, словно сделать над Колей что-то собирается и такое страшное и непоправимое, и не уйти уж никуда ему от нищего.

Тут у Коли захолонуло на сердце, руки одеревенели, и мысли помутнелись. И уж виделось ему другое, шел он будто по деревне — по рассказам Степанидиной Авдотьи

он узнал, их деревня, Папоротня: белая церковка и две покатые стены почернелых изб. Мужики и бабы, толкаясь, обгоняли его. Было тихо. Необыкновенно красное солнце медленно заходило за колокольню, и ярко-зеленые тучи крылатыми чудовищами мчались по небу. И вот какая-то краснощекая баба в красном платке выскочила из ворот и, расталкивая мужиков, оступаясь и прихрамывая, побежала вдоль улицы, а над ее головой горел острый кухонный нож. И все, словно обезумев, бросились за ней. Коля шарахнулся в сторону да к избе, стукнулся в избу, отворил дверь и, очутившись в избе, будто очнулся.

«Завтра Пасха, — метались его всполошившиеся мысли, — Пасха пришла, а я здесь один в черной избе!»

И вдруг задрожал весь: в избу вошел к нему нищий — старик, весь такой сгорбленный, измоделый, на покойника ночного сторожа Аверьяныча похож, штаны серые мышиные. Но не Аверьяныч, совсем это был не Аверьяныч, на волосатом пальце его играл драгоценный перстень, как у отца, и что-то было в нем такое страшное и непоправимое, и неизбежное.

Коля вскочил к окну, хотел выскочить, но в эту минуту острый кухонный нож вспыхнул над ним, захолодело сердце, и он открыл глаза.

В Боголюбском монастыре звонили к Деяниям.

Этот звон погребальный, пел звон свою страшную песню над всем домом, над Пасхой и над Христом. И было так горько, словно уходил кто-то, дорогой бесконечно.

— Коля, вставай! — Саша подошел к Колиной кровати, — к тебе, Коля, зайчик пришел тот самый: зайчик ест капусту, в капусте музыка!

Коля не обрадовался игрушке-зайчику, которого так хотел он, не подошел к своему столику, сам он себе казался в эти минуты таким хрупким, словно все тело его просетилось, и слышал он и чувствовал и самый малый шорох, и вот он переломится или растает в воздухе, и тоска заливала все его сердце. Коля заторопился переодеться: все уже на ногах были — и Петя, и Женя, и Прометей в своей коричневой визитке и в штиблетах без стуку.

Финогеновы собрались спозаранку.

Забрали они куличи, пасхи, и свечу, которую никакой ветер не загасит и никакой дождь не зальет, и пошли в церковь. А ночь была беззвездная, пасхальная, и пруд казался черным, и темен был двор, только в кабинете Арсения мигал его будничный зеленый огонек.

И красный Финогеновский флигель опустел.

Недомогавшая Прасковья осталась дом караулить.

Прасковья прошла в залу, зажгла лампадку перед Спасителем с золотым красным голубком на сиянии, постояла перед образом, вспомнила покойницу бабушку Анну Ивановну, и приказчика Михаила Ивановича, и батюшку старичка Покровского, и Матвея Григорьева, и сторожа Аверьяныча, и Машу горничную, — где-то она теперь треплется, как нитка? — и Филиппка Степаниднинова-острожника, кормит, сердечный, вшей! — и о. Гавриила Лаврского, помолилась за Митрия раба и за сестру Арину и, крестя окна, пошла по зале. Заглянула Прасковья в зеленую банку к голодному аксолоту, поправила пальму у рояля и, не топая, по ковру прошла в гостиную и там провела рукой по дивану и, подняв оборку, пошарила под диваном и, отвертываясь от зеркала, послушала под дверью к Вареньке — нет, у Вареньки тихо было и только нагоревший фитиль лампадки перед киотом потрескивал. Перекрестила Прасковья дверь к Вареньке и назад из гостиной, и в зале еще раз помолилась, и через прихожую вышла в столовую. И в столовой, крестя двери и окна и углы холодные, окрестила она и льва, и бенедектинца-монаха, и священное коронование, и через кухню на цыпочках прошла в гардеробную и опять послушала у дверей Вареньки — нет, у Вареньки тихо было, и только нагоревший фитиль лампадки перед киотом потрескивал. Измаялась вся, присела старуха на кованый устюжский сундук, — неспокойно ей было, ей все чудилось: ходит кто-то, не то по чердаку, не то в черных сенях, лезет кто-то по террасе, что ли, и ногой топает, — встала она с сундука, и крестя двери и углы холодные, побрела по лестнице наверх в детскую и там прилегла до звона на кровать своего Мити — Прометея. Но не успела она глаз завести, как попала в свою страшную комнату, и они — чернень-

кие в курточках – прокрались в ее страшную комнату.

А там у Вареньки было тихо, и только нагоревший фитиль лампадки перед киотом потрескивал.

Монах с красивым лицом и рассеченной бровью, из которой тихо, капля за каплей, сочилась густая темная кровь, монах в ярко-зеленой шуршащей, шелковой рясе, держал перед ней деревянный темный крест, обшитый неровной зазубренной жестью.

Как сквозь аксолотово зеленое стекло, видела Варенька этого странного монаха и не двигалась с места, она закрывала глаза, стараясь отогнать видение, и долго сидела с закрытыми глазами.

Монах с красивым лицом и рассеченной бровью, из которой тихо, капля за каплей, сочилась густая темная кровь, монах в ярко-зеленой шуршащей шелковой рясе держал перед ней деревянный темный крест, обшитый неровной зазубренной жестью, и вдруг изогнулся весь и бросился на Вареньку.

И они бегали по комнате, и монах пропадал и появлялся, и настигал, и хватал ее. И глядели на них в тишине присмиревшие стены, и высокий темный киот со всеми ликами, и гневными, и скорбящими. Обессиленная, измученная, перепуганная насмерть, бросилась Варенька в гардероб и забилась в платья. Но уж поздно, нет ей защиты: крепкая, костлявая рука монаха нащупала ее, схватила ее там, вцепилась и, вытащив вон, кинула ничком на кровать.

И тогда хрустнула спина ее под навалившейся тяжестью черного креста.

Монах не уходил, монах, шурша своей ярко-зеленой шелковой рясой, расхаживал у шифоньерки, напевая старческим голосом барыню:

Ты, барыня-барыня,
Сударыня-барыня...

Не шелохнувшись, в смертельном ужасе лежала Варенька, не шелохнувшись, вниз головою лежала она и много больше ее роста во всю кровать деревянный темный крест, обшитый неровной зазубренной жестью, наседая,

приплюскивал ее тело, и острый гвоздь креста царапал ей темя.

Ты, барыня-барыня,
Сударыня-барыня...

И в знакомом напеве слышались ей другие страшно знакомые, страшно близкие, такие близкие, такие верные, такие родные напевы. Надо что-то вспомнить ей, надо что-то сделать ей, непременно сделать, и уйдет монах, унесет свой крест. Ах да, в ту звездную зимнюю ночь, когда она бродила по сугробам вокруг пруда, заглядывала в черную дымящуюся прорубь, зачем она тогда домой вернулась, зачем она покорилась? И там тогда, в чужом диком доме за Большой рекой, зачем она, покорная, прожила свои пять лет и детей рожала, нежеланных проклятых детей? Нет, ей надо все поправить, сейчас же, сию минуту, и уйдет монах, унесет свой крест.

Ты, барыня-барыня,
Сударыня-барыня...

Гвоздь креста, царапая ей темя, скрипнув, резанул что-то мягкое и живое, гвоздь пробил ей кости и пошел вглубь по мягкому и живому. И защемило все сердце, искры прыснули из глаз.

Варенька стиснулась в комок, уперлась локтями и выскользнула из-под креста, выскользнула да к киоту.

Но уж поздно, нет ей защиты.

Монах с красивым лицом и рассеченной бровью, из которой тихо, капля за каплей, сочилась густая темная кровь, монах в ярко-зеленой шуршащей шелковой рясе стоял перед ней. Монах стоял перед ней, как распятый, крестом руки раскинув, и руки его — перекладины креста такие длинные, во всю комнату.

Нагоревший фитиль лампадки — красный камень, потрескивая, вздыхал.

Варенька выдернула шпильку, стряхнула нагар.

Куда ей деваться? Где найти ей защиту? Нет ей защиты.

По углам копошилось, липло, шуршало, всю ей душу тянуло, всю ей душу тащило с корнем, тащило с кровью, с

мясом, с мозгом. Всю, всю ее щипало, и не осталось ни одного живого места.

И вдруг угарная волна хлестнула ее по глазам и закружила.

Минуту стояла Варенька в этой угарной волне — в уме смешалась: монах все стоял перед ней, как распятый, и тихо, капля за каплей, сочилась густая темная кровь из его рассеченной брови. Она схватила какую-то тряпку, панталоны, мигом, как кошка, вскарабкалась на гардероб, нащупала крюк.

«Здесь, здесь... так! — спешила она, привязывала к крюку тряпку, — уйдет монах, унесет свой крест! — спешила она, страшно спешила, завязывала петлю, — я уйду!» — и бросилась вниз с гардероба и в петле повисла.

— А! а! ах!.. Душат! — заорала не своим голосом Прасковья: доняли ее черти, и опять, но слабее, и опять, еще тише, и совсем затихла.

И вдруг словно оборвалось что-то, глухо раскатилось и ударилось прямо в стены, в красный финогеновский флигель, и, вздрогнув, задребезжали окна, — все сорок сороков звонили в пасхальный колокол пасхальный воскресный звон.

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех
Живот даровав.

Коля с большою белой с густой позолотой свечою шел в крестном ходу перед батюшкой, облаченным в золотую кованую ризу, и сияло лицо его — вся тоска миновала, светилось лицо и сливалось сердце с сердцем пасхальных напевов, всколыхнувшись темную темь церкви.

И там посреди нищих, покаранных царей, стоял Он, Царь над царями в своих светлых одеждах и возлагал на понурые головы руки свои:

— Мир вам!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Бунт

В дом к Огорелышевым Финогеновы не зашли: будет, и завтра успеется!

Уж заря заиграла, и сад и пруд затучнелись голубым дыханием, будто захотелось и еще им понежиться в теплом сне, не знать пробуждения.

Распевая по двору, шумно подошли Финогеновы к своему дому, но едва достучались Прасковью: Прасковью всю ночь душили черти, подняться ей не стало мочи.

Всем собором с Прометеем подступили Финогеновы к двери спальни христосоваться с Варенькой. Туркнулись они в спальню — заперто, постучали погромче — ни звука, еще и еще раз — тоже. И стали они стучать кулаками и долго стучали.

Было тихо за дверью.

И они закричали в один голос, закричали не своими голосами, чтобы Варенька непременно отперла им двери.

— Отоприте, отоприте нам! — кричали они, надсаживаясь, и колотили и руками и ногами в дверь спальни.

Было тихо за дверью.

И они уж не знали, что еще делать, чтобы откликнулась Варенька, подала им голос, и, упираясь друг в дружку, сжались, стиснулись, надавили на дверь, и под напором хряснула дверь спальни, петли со звоном упали, и отворилась дверь в спальню.

Варенька — в одной сорочке на крюку, Варенька — побагровевшая с длинным красным языком из черного запекшегося рта, огромные белки в упор, скрюченные пальцы, синие ногти, — Варенька висела на крюку мертвая.

Первые проснувшиеся лучи лезли в окно спальни, ползли по комнате, алым красили белую сорочку и больно горели на пустой четверти, валявшейся на коврике у кровати.

Как под обухом, стояли Финогеновы, пригнув шеи, не переступали порога.

И вдруг задрожав всем телом до последних дрожей, ткнулся Женя и в припадке закусил курточку Коле, Коля

вскрикнул и бросился к Вареньке, а за ним Саша и Петя.

Они набросились на Вареньку — спасти ее хотели! — они схватились за ее ноги, — спасти ее хотели!— они повисли на ногах, — спасти ее хотели! — и, повисая, откачнулись, как на г и г а н т с к и х к а ч е л я х , и полетели.

И вышибло крюк, грохнулась Варенька на пол. А они — на нее, мертвую: они сделать что-то хотели, поправить что-то хотели, пробудить ее хотели, и толкали, царапали ее, с запыхавшимся сапом, — они спасти ее хотели!

Крошилась над ними штукатурка, падала с потолка. Прибежавшая на суматоху Степанида и приползшая нянька кричали озверелыми голосами:

— Караул! караул! батюшки, помогите! — кричали озверевшими голосами Прасковья и Степанида.

— Караул! караул! батюшки, помогите! — кричало далеко за прудом эхо.

Сёмин теленок мычал в сарае.

На крик повскакали фабричные, и комната битком набилась суетящимся людом и тупым криком. Одни выволокли Вареньку во двор и с гиканьем принялись качать ее — подкидывать, будто утопленницу. Другие дом шарили, рыскали по чердаку, засматривали под террасу — искали вора: ночной сторож Иван Данилов, ночью обходя дом, видел, как словно бы отскочил кто-то от Варенькиных окон.

На огороде с отдавленными хвостами выли финогеновские собаки — Розик и Мальчик.

И долго еще, до позднего утра шла суетня в доме, но поправить ничего не поправили и спасти не могли.

— По грехам нашим! — сердцем плакала Прасковья.

И начался Светлый день. Было душно по-летнему. Какой-то весь желтый и неулыбчивый, будто стиснув зубы, шел Светлый день. На колокольнях колокола бестолково звонили.

Подпил огорелышевский двор, загулял для праздника. После обеда фабричные спать не легли, а гурьбой пошли шататься по двору. Шатались, шатались, — пристанища нет нигде. Задевали друг друга, раз сто подрались.

Слесарь Павел Пашков, отец Машки, за которой Фино-

геновы когда-то жестоко гонялись, играя в избиение младенцев, растерзанный, с слипшимися волосами, злой и пьяный, с ножом бегал, стращал зарезать Финогеновых.

Подтрунивали фабричные над слесарем, дразнили: то за дрова ему покажут, будто там схоронились Финогеновы, — и он бежит туда, сломя голову, то в Колобовский сад, — и он лезет в сад. Нагоготались над слесарем, надоел он всем, в орлянку затеяли. Заиграли в орлянку, разгорячились, за сердце схватило и стенка на стенку пошла.

И загалдел огорелышевский двор, хоть караул кричи.

Арсений и без того злой, поминутно отрываемый от дела к праздничным посетителям, взбешенный, выбежал во двор и зашмыгал — полетел по двору прямо на стенку унимать драку.

И не крякнув, осела перед ним буйная толпа. Да Павел Пашков, весь растерзанный, с ножом, словно из-под земли вырос.

— Стой! — завыл он волком: дождался, ну, теперь уж зарежет.

И лежать бы Арсению без своего дела, лежать бы ему навеки! И вдруг что-то хлюпнуло, и тяжело ткнулся Павел Пашков в вязкую землю, а из пробитого черепа хлынула липкая кровь. С огромным поленом Андрей — управляющий еле дух переводил: спас хозяина.

Уж шмыгал-летел Арсений к своему белому дому, и все лицо его словно болело от злобы. А Павел Пашков лежал на земле и не двигался, и кровь так и хлестала, брызгала, липкая.

И вот зловещим гулом загудела толпа, и пошли один за другим, по крови вкруг крови, как в омуте струи, один за другим, и мяли и давили друг друга.

— Бей! бей! бей! бей его!

Помутневшие глаза, усталые, наполнились жизнью, и мозолистые руки, копотью прокопченные руки, поднялись над головами.

— Бей Огорелышевых! бей отродье поганое! бей его!

И как надругались бы они, как напотешились бы, дай

только волю. И вот она воля! Они вытянут жилу за жилой, растащут по косточкам за каждую слезу, — так много слез в эти камни ушло, этим прудом выпито, этим дымом разъедено. За каждый свой день, за каждую ночь, за каждый час, за каждую минуту — так много по миру пошло и в больницах померло и доживает последние дни.

— Бей! бей! бей! бей! его!

— Тащи Игнатия!

— Лупи его, лупи змею!

— Антихриста!

Один за другим, по крови вкруг крови, как в омуте струи, один за другим шли фабричные, и гул толпы переливался в рев.

И вдруг фабричный свисток, как полоумный, на крик засвистел и с двух концов затопали кони. И зачернелся желтый день хлесткой нагайкой, хлесткая, согнула она и эти поднятые руки, и эти жилистые кулаки и словно метлой вымела взбунтовавшийся огорелышевский двор. И только в корпусах долго еще бабы вопили да ребятишки плакали.

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех
Живот даровав.

О. Глеб служил панихиду над Варенькой, такую непохожую, пасхальную. Но было тихо в доме, не по-пасхальному. Свечи горели душным огнем и дымились. И, алея, гасли вместе с вечером спущенные на окнах белые шторы.

— Вы, ты, ты! — взвизгнул Арсений, вбежавший в зал к Финогеновым, растрепанный, испачканный кровью и грязью, — вы, на моем дворе! специалисты! на дворе, из-за вас бунт, специалисты! мать из-за вас... мать довели! И я, да, довели мать!

— Да запретит тебе Господь! — сказал старец и вдруг выронил свечку и, простирая посиневшие руки, упал у гроба, а пальцы его мышами забегали, ловя что-то по полу.

Арсений хлопнул дверью и выбежал вон; все лицо его словно болело от злобы.

И когда послушник Пирский увел отдышавшегося о. Глеба назад в монастырь, в белую башенку, нагрянула к Финогеновым нежданная ночь.

Над Варенькой всю ночь читалась псалтирь, читал Саша своим затихшим, в душу проникающим голосом.

Петя, Женя и Коля, точно схваченные тугим обручем, стояли, не шелохнувшись и не оглядываясь: по стене сновали тени — это ли желания несказанные или жизнь не изжитая? — и кто-то, казалось, тихонько сзади подкрадывался и стоял за спиной близко. Свечи мелькали, и вата, закрывавшая лицо Вареньке, чуть подымалась, и давила сердце тоска смертельная.

Нет, не приходил Он, светлый и радостный, не говорил скорбящему миру: Мир вам!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На цветы

Унесли к Покрову желтый гроб, навсегда унесли Вареньку из красного финогеновского флигеля. Забили гроб черными гвоздями, и опустили Вареньку в вымерзший огорелышевский склеп к матери к Ефросинии преподобной и к самому Николаю Огорелышеву. Больше уж не вернуться ей на огорелышевский двор.

В кухне справляли Финогеновы поминки, Сёминого теленка зарезали — пригодился. Степанида и Прасковья распоряжались, помогала Арина Семеновна-Эрих: и кутья была, и блины пеклись. Попозже зашла помянуть Душка-Анисья с племянником, с Егором-Смехотой, да Кузьма-дворник. Вспомнили тут и мертвую грамоту, кому тогда под Покров Сёма-юродивый смерть пророчествовал, и уразумели, зачем Сёма в Великую Субботу пол мыл.

Прометей напился до своей гармоньи, но поиграть ему Прасковья не дала, спрятала гармонью, и он ушел по обыкновению куда-то домой. Петя, только один плакавший на похоронах, в лежку лежал, а Коля без умолку смеялся и все в окно хотел выброситься, не почему-либо, а так, просто так выброситься. Саша один ничего не пил,

Саша никогда не пил, и все Колю уговаривал лечь и успокоиться. Женя после блинов заснул.

Наутро вызвали Финогеновых к Огорелышевым. Вниз в контору вышел к ним Игнатий. Глядя куда-то в сторону, словно после воскресной проверки финогеновских подделанных балльников, Игнатий объявил им свое огорелышевское решение об их участи: все остается по-старому, Финогеновы будут жить в своем красном флигеле, пока не устроятся, но если поведение их вызовет нарекание, придется принять строгие меры — удалить их.

С тем и ушли Финогеновы начинать новую жизнь без Вареньки. И сорок дней еще было как-то не по себе им, помнилась пасхальная ночь, и словно где-то близко от дома все еще ходила Варенька, но с сорокоуста улеглось, и все в колею вошло. И пошла жизнь своим чередом от дня до ночи и от ночи до дня, под надзором огорелышевского управляющего: Андрей-Воробей приходил к Финогеновым каждое утро и отдавал приказания.

Никаких ночных стояний, никаких акафистов больше не служилось наверху в детской. К удовольствию Алексея Алексеевича все само собою кончилось.

Должно быть, смерть Вареньки и все последние события так резко изменили Сашу: куда-то исчезла вся его кротость, и в голосе не слышалось ни боли, ни задушевности, и к Коле он переменился, не было уж прежней нежности. Кончил Саша гимназию и ни в какую пустынь не удалился, а поступил в университет. Сашин подрясник-халат Прометей донашивал, триоди назад пошли к Покрову священнику Сергею Семеновичу. На лето Саша достал себе уроков и дома редко бывал: днем на уроках, вечерами у Алексея Алексеевича. За какой-нибудь месяц Саша очень близко сошелся с братом Алексея Алексеевича, Сергеем. О Сергее Молчанове Финогеновы и раньше слышали, как о человеке необыкновенном, который и в тюрьме сидел и знает куда больше самого Алексея Алексеевича, и которого Арсений называл по-своему насмешливо специалистом, что означало революционер.

В душе Коли тоже будто передвинулось что-то. Заметил Коля, что игрушечные звери и зверушки уж не владеют им,

как раньше, и он не трясется над ними и во всякую минуту готов расстаться даже с пасхальным зайцем, даже с медведюшкой. Да так оно и вышло, — роздал Коля фабричным ребятишкам все свои игрушки, и столик его опустел. А как-то после последнего экзамена, прибираясь, начал Коля уничтожать ненужные тетрадки и так увлекся, уничтожил свое тайное тайн — свой дневник, посвященный Верочке, и в столике пусто стало. И если бы случился теперь пожар, Коле незачем уж было бы в огонь бросаться, — ему нечего было спасать.

Мало, кажется, изменился Петя и Женя. Петя попрежнему был мечтательный и влюбленный, Женя попрежнему смотрел букой.

Летом Пете исполнилось семнадцать лет, а в гимназии оставалось ему еще два года — с грехом пополам перевели его в седьмой класс, Женя и Коля будущей весной должны были кончить училище.

Без Саши, все больше и больше отходившего от братьев, Петя, Женя и Коля теснее зажили и теперь на них на троих перешла кличка огорелышевцев за их финогеновское оглашенство и олаборничество.

Как когда-то на могилу к дедушке — к самому Николаю Огорелышеву, изредка заходили Финогеновы на могилу к Вареньке и, по привычке, подымались в башенку к о. Глебу. Боголюбов монастырь больше не занимал их.

В кухне Финогеновых со смерти Вареньки постоянно толклись гости: гостила Степанидина дочь Авдотья-Свистуха, а сестра Прасковьи Арина Семеновна-Эрих только что на дежурство уходила в свою богадельню, и часто ночевала кормилица Жени порченая Катерина-Околелая лошадка.

Наслышавшись от Катерины о хождениях ее на богомолье по всяким дальним монастырям, Финогеновы тоже задумали идти на богомолье и куда подальше. Сначала ходили они в Лавру к о. Гавриилу, а потом и за Лавру, в старинный заброшенный Спасо-Караулов монастырь.

Заберут Финогеновы Прометея, мешок сухарей, бутылку водки и уходят из дому на свое богомолье, как пчелы на цветы.

Ясно глядело на них открытое небо, слышно лес шелестел листвою, и царапал их ветками, и трудил ноги корнями, а поле колыхалось перед ними — свои цветы колыхало и травы, веяло широким полевым своим веяньем, будто смеялось, будто и плакало, да так смеялось, да так плакало, лег бы на землю, обнял бы землю и никогда и никуда не ушел бы. Лесные овраги ночлег им готовили. Проливной дождь спины им сек, солнце палило кожу, — загорелые лица их. А кругом круг непроторный, незатоптанный — даль широкая, да такая широкая, и хотел бы обнять, и ни глазом, ни ухом не обнимешь.

Все было внове для Финогеновых — и поле, и лес, и так много неба.

В Спасо-Карауловом монастыре останавливались Финогеновы у о. Никиты.

О. Никита-Глист, бывший Боголюбовский иеромонах, тощ и костляв, трясущаяся седенькая бороденка, вытаращенные мутные глазки, и голый без всякой пушинки череп с синей жилой поперек лба. А известен был о. Никита своей чудодейственной неколебимостью: после гаврииловской перцовки, как с ног уж валиться, выпьет, бывало, еще и в свежие силы придет.

Келья о. Никиты крохотная, вся в перегородочках. Над трапезным его столом лубочная картинка: краснощекая румяная баба в кокошнике и кумачном сарафане, и все чересчур уж дородно, и только вместо ног — чешуйчатые желтые гусиные лапы. Подпись: Блудодеяние.

И это любимое Блудодеяние всегда являлось поджигающей искоркой для келейных воспоминаний и рассказов вообще.

Поглаживая одной рукой бороденку и размахивая другой, увлеченный собственными рассказами, о. Никита приходил в неописуемый раж и всякий раз непременно ронял на пол рюмку.

— Монах — дурак! Монах — дурак! — бессмысленно высвистывал Никитин скворец, выпрыгивая на шум из-за перегородки.

И все покрывалось хохотом, далеко разлетавшимся за ограду.

В Спасо-Карауловском монастыре вся братия принимала Финогеновых приветливо: в развлечение им были Финогеновы. Кругом монастыря глушь, о жилье и помину нет. Устав — скитский: женщины в монастырь доступа не имели, и было всего два-три праздника в году, когда разрешалось женщинам входить в ограду. Подростков братия особенно любила. И в монастыре много было мальчиков-монашков, составлявших удивительно стройный хор. В шутку старшие звали этих мальчишек именами женскими, и не на шутку бывала в монастыре перепалка из-за мальчишек.

— Есть у нас Сарра, — как-то ухмыляясь, подмигивал о. Никита на Блудодеяние и крякал, — Сарра, бестия, голос херувиму подобен, а лик блудницы... Иеронимка с Нафанаилком блудники, из-за мальчишки намедни поцапались, а он себе знает, бестия... Сарра!

В Спасо-Карауловском монастыре Финогеновы заживались по неделям. От постной пищи начинало сосать под ложечкой, тянуло в город, и они возвращались домой.

Ясно глядело на них открытое небо, слышно лес шелестел листвою и царапал их ветками и трудил ноги корнями, а поле колыхалось перед ними — свои цветы колыхало и травы, веяло широким полевым своим веянием, будто смеялось, будто и плакало, да так смеялось, да так плакало, лег бы на землю, обнял бы землю и никогда и никуда не ушел бы. Лесные овраги ночлег им готовили, проливной дождь спины им сек, солнце палило им кожу, — загорелые лица их. А кругом круг непроторный, незатоптанный — даль широкая, да такая широкая, и хотел бы обнять, и ни глазом, ни ухом не обнимешь!

Возвращаясь домой, дома под дверью, настигни ночь, и всякий раз долго приходилось Финогеновым стучаться.

Прасковья высовывала голову в форточку и спросонья никого не узнавала.

— Кто вас разберет, девушка? — говорила в форточку Прасковья, ровно плакала, — может, вы и воры аль разбойники!

— Маменька, отопри Христа ради, голубушка, жрать больно хочется! — жалобно, егозя просил Прометей.

— Мало ли что! — уж сурово отвечала Прасковья, родного сына не узнавая, — и кто о такую пору шатается? Слава Богу, дом — не постоялый двор! — голова ее скрывалась и после томительного ожидания появлялась в форточке одна рука, — прими, девушка, копеечку, Христа ради, и иди подобру-поздорову.

И снова подымался стук, и на упорный стук снова отзывалась в форточку Прасковья и по-прежнему безнадежно. И только когда подходил Прометей к самому ее носу и вертел лицом и ощеривался, Прасковья вдруг узнавала своего Митю-Митрия раба и спешила отпереть дверь.

— Идите, девушки! все ли подобру-поздорову?

— Бог милости прислал, Прасковья, — отвечали Финогеновы, уж отчаявшись в дом попасть.

На следующий день после богомолья, проспавшись, Коля брался за свои книги, а Петя и Женя садились играть в карты, и весь день играли в любимую свою игру — в короли. С ними играл Прометей, Эрих и Прасковья и очень редко Степанида, считавшая карты – грехом смертным.

За картами шла плутня и редко обходилось без ссоры.

— Институтка, — подтрунивал Прометей над теткою своей Эрихом, – подвали, брат, туза!

— Сам ты шестерка, отшельник! — шипела в ответ Арина Семеновна, часто сидевшая в солдатах и платившая дань принцу – Прометею.

— Эрих проклятый, институтка! — не унимался Прометей, и кончалось тем, что Арина Семеновна, готовая выбросить его вон за шиворот, бросала карты.

Арина Семеновна, безропотно принявшая финогеновское крещение Эрихом, обижалась на Институтку. Институткою же звали ее и за ужимкость ее и за то, что до богадельни долго служила она в институте уборной горничной.

Последним чином — отходником почти всегда выходила Прасковья и платила дань Пете или Жене — королю, и за это много над ней потешались.

Покорно вздыхая, надевала Прасковья свои огромные медные очки и усаживалась за штопанье, а штопанья с

каждой стиркой прибавлялось: белье у Финогеновых все было или такая рвань, совестно при других раздеться, или в заплатах.

Вечерами Финогеновы отправлялись или на бульвары — на музыку, или ко всенощной — к храмовому празднику. Церквей в городе было столько, сколько гордовских будок, если не больше, и уж редкий день где-нибудь да не праздновали храм.

В церковь к празднику и на бульвары уходили Финогеновы уже не как пчелы на цветы, а как шмели какие-то.

За всенощной время проходило весело: с большим трудом протолкавшись к амвону, повертывали Финогеновы обратно к паперти, а дойдя до самых дверей паперти, толклись опять к амвону, и при этом действовали вовсю — и давили на ноги и локтями работали.

— Бешеные! — огрызались на них молящиеся, — бешеные огорелышевцы!

А это подбавляло Финогеновым еще большей прыти, огрызались и переругивались, и незаметно, будто только по неосторожности — за давкою, пускали в ход кулаки.

Весело бывало за всенощной у праздника, а на бульварах на музыке еще веселее.

Как когда-то к Покрову к службе, забирались Финогеновы на бульвары спозаранку. На бульваре еще, кроме детей, играющих на песке, нянек да одиноких прохожих, никого не было, и Финогеновы слонялись по аллеям. Но скрывалось за дома солнце, запирались магазины, натягивал капельмейстер белые перчатки, помахивал палочкой, и за палочкой играла музыка, приманивала гуляющих, и аллеи затоплялись шляпами и шляпками. И ночь зажигала по небесным полям свои светляки-звезды, а по уличным мостовым фонари и, все перемешивая, залегала над городом, отравленная дымом и непокойная. И все перемешивалось, растягивался бульвар в шумяще-крикливое, расползающееся чудовище. Цветы, мыло, пот, духи, незалеченная болезнь пропитывали бульвар своей горькой отравою.

Финогеновы, не отходившие от эстрады, словно привороженные палочкой капельмейстера, с тьмою выбирались на главную аллею. Короткие и изодранные их шинели бар-

хатила сгущающаяся тьма — баловница из баловниц и потворница из потворниц. На главной аллее, шныряя не хуже мальчишек-бутоньерок, они не пропускали ни одной женщины: они стаей ходили по пятам и приставали.

Сколько всяких знакомств завязывалось у Финогеновых за вечер! Как им было приятно заговаривать, брать под руку и совсем просто и легко, без особых стеснений, таких нарядных и, должно быть, среди бела дня таких недоступных!

Железная дорога – попурри из русских и цыганских песен, и капельмейстер под треск и хлопанье, и гик, и свист мальчишек, унизывающих выступы эстрады, прятал свою палочку, и бульвар редел.

Озираясь, не попасться бы из учителей какому, после музыки направлялись Финогеновы тут же в бульварную пивную. Голодные, не спеша, чтобы побольше съесть сухариков, воблы и всякой даровой дряни, пили они жиденькое дешевое пиво. Но до капельки выпивался весь стакан, запирали пивную, и Финогеновы опять на улице.

Куда идти? Домой? А домой им так не хочется.

И медленно через все бульвары плелись они домой на Камушек и дорогой подымали содом: и пели и опять приставали к прохожим женщинам, то с легким разговором, то прося книжку показать – желтый билет.

От дальнего бульвара, на конце которого на площади открывался по воскресеньям птичий базар, повертывала дорога к старой башне с книжным рынком, и Финогеновы повертывали, но до башни они не доходили, сворачивали в переулок к веселым домам.

В дорогие дома, изукрашенные разноцветной мозаикой, Финогеновы входить не решались, а выбирали который похуже из рублевых, входили они по-разному: то с видом донельзя пьяных, а то будто и по-настоящему, уверенно, как настоящие гости.

И как хохотали, насмехались веселые барышни над финогеновским напускным ухарством, над их смущением, невольно пробивающимся на еще детских вспыхивающих щеках. Ведь из всех один Прометей, раскуривая папироску и сплевывая в сторону тоненьким плевком с сознанием

собственного достоинства, великий, только не обнаруживший свое величие, Прометей, как заправский гость, больше чем гость, как дома, как у себя дома, расхаживал по залам.

Скрипач настраивал скрипку, играть пробовал. Веселые барышни танцевать становились.

И какая тоска, какая боль слышались вдруг Коле в этих звуках, будто увязающих в спертом дыхании неминуемой завтрашней смерти.

«Земля обетованная! — тайно вышептывало его сердце в своей тихой тайне, — крылья мои белые, тяжелые вы, в слипшихся комках кровавой грязи. Земля обетованная!»

Если Финогеновых не выпроваживали силой, а бывали и такие случаи, все равно уходить приходилось: последние копейки оставлены в пивной, без ничего долго не насидишься. И домовый служитель – вышибало с обидной ужимкой, какой-нибудь Демка-Моква, незаметно ставил мелом на спине каждого серый крестик в знак позора и презрения: с крестиком ни в какой уж дом больше не пустят.

И вот позднею ночью дома с надорванным и неутоленным желанием чего-то необыкновенно хорошего и страшно привлекательного, что уж совсем подходило, было рядом и миновало, с надорванным и неутоленным желанием любви и ласки, Коля долго не мог замкнуть глаз, а позорный крестик жег ему спину.

Утро пасмурное и утро ясное заглядывало в окно, в детскую, сулило ту же старую жизнь от дня до ночи и от ночи до дня с богомольем, всенощными и бульварами.

И таким отдаленным, таким недосягаемым вставало перед Колей его будущее, непременно своевольное и огромное, которого так хотел он и так ждал.

Нет, не серым волком, не апостолом Петром, не французом, не о. Глебом, не самим Огорелышевым Арсением, чем бы не быть ему, только быть с нею – с Маргариткой, недоступной, как Верочка, милой, как Маша, страшной, как никто.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Маргаритка

В одном из дорогих, изукрашенных мозаикой домов, куда никак не ухитрялись проникать Финогеновы, увидел Коля в окне Маргаритку.

Было ли это ее крещеным именем или только прозвищем, Коля не мог узнать, но так Маргариткою величала ее и сама хозяйка Аграфена Ананьевна, деревянно-одутловатая и чрезмерно дородная, словно соскочившая с Никитиного Блудодеяния, так кликали ее и все товарки и подруги, обожавшие ее, маленькая, наряженная гимназисткой Лизка-Поплавок и великанша Паша-Кузнечик, привлекавшая заморышей, падких до мяса, так звали ее гости и коты-любовники и сам вышибало Митрошка-Триндаса́.

История Магаритки незатейлива и обыкновенна: было у ней и нищенство, и добрый старичок, и попечительство, и бегство от попечительниц, тайное хождение по бульварам и открытое с книжкой, наконец, встреча с Аграфеной Ананьевной и нарядный веселый дом.

С той минуты, как начала помнить себя Маргаритка, она лишь одно знала: во что бы то ни стало бегать за прохожими, выпрашивая ради Христа копеечку, пока в кулак не наберется двугривенный, иначе нельзя в угол к матери показаться. И все ее маленькое, худенькое тельце ежедневно прихлопывалось этим одним — единственным желанием и нераздельною мыслью: набрать к вечеру двугривенный.

Как-то осенью, присмиревшим темным вечером, когда до двугривенного недоставало Маргаритке всего нескольких копеек, попался ей в переулке старичок один с большим зонтиком, разговорился ласковый старичок, затащил за кузницу, а потом и отпустил. «И вот что дал!» — показывала после Маргаритка новенький блестящий золотой ребятишкам-нищим, с завистью топтавшимся вокруг нее. За золотым — бумажка, за бумажкой — двугривенный,

понравилось ей, а там и в часть ее взяли, а из части в попечительство. Но уж не может она больше, не надо ей никакого попечительства, тянет ее, — на всю жизнь, должно быть, потрясена она тем осенним присмиревшим темным вечером, — терпела, терпела, да и сбежала. И опять за старое. Пятнадцати ей не было, встретилась она после бульваров, после всяких облав с Аграфеной Ананьевной, хозяйкой дорогого нарядного дома.

Аграфена Ананьевна то и знай похваливала гостям Маргаритку.

— Из всех девушек, — говорила хозяйка своим приторным голосом, клокотавшим площадною бранью, — Маргаритка у меня чистая, ласковая, проворная, сахарная, и по-французскому может.

— Коман-са-ва, мадам!* — подтверждала Маргаритка.

— Мерси! — одобряла хозяйка, рвотно кривя свои тоненькие, как ниточки, губы.

И правда, Маргаритка за свое искусство всегда была нарасхват.

Когда Коля в своей драной форменной шинели с облезлыми золотыми пуговицами один пробирался по переулку и затаенно, будто мимоходом, будто занятый каким-то очень важным делом, прищуриваясь, посматривал на окна двухэтажного нарядного нерублевого дома, Митрошка-Триндаса́ растворял ставни, а в одном из верхних окон появлялась Маргаритка — такая невинная, с напудренным вздернутым носиком, низко спущенной на белый лоб холкой темных душистых волос, и с такими невинными безгрешными девичьими глазами.

Маргаритка скалила свои острые, кошачьи зубки, глядела куда-то поверх низкой крыши противоположного рублевого дома.

Крохотная детская грудь ее выходила из широко вырезанного ворота, и как две глыбки таяла под закатным малиновым лучом, — казалось, это руки осовевшего запыхавшегося солнца баюкали ее.

И каким ничтожным представлялся тогда Коля самому себе, весь он горбился и, медля, но как-то уж очень скоро,

*Comment ça va — как дела (*фр.*). — *Ред.*

проходил длинный переулок до последнего солдатского красного дома и назад возвращался уж поспешно, но как-то очень долго.

Коле всегда было страшно: Маргаритка заметит его и будет смеяться. И ему вспоминалось, как однажды в переулке встретил он дьякона — дьякон засмотрелся на Маргаритку, а она вдруг визгливо затянула кабацкую песню: Лучше в море утопиться, чем попа корявого любить, и дьякон, наклонившись по-семинарски на бок, пустился улепетывать. Да, Маргаритка заметит его и будет смеяться, а этого совсем не надо, нехорошо, когда Маргаритка смеялась: было что-то оскорбляющее в ее смехе — себя самое оскорбляла она.

Иногда же сидела Маргаритка у окна такая грустная, кажется, ничего не видела, и глаза ее были грустные — так живые глаза плачут над своим гробом. И как хотелось Коле подойти к ней и утешить ее! Но как подойти, как пробраться ему в ее дорогой, изукрашенный мозаикой дом, куда вхожи только такие, как Сеня Огорелышев да Ника — Никита Николаевич.

Раз как-то после бульваров Коля подговорил попробовать на ура, Колю послушали и всем кагалом сунулись Финогеновы в нарядную дверь, но, и рта не разинув, полетели с лестницы кубарем вниз к двери.

— Всякая сволочь туда же, — кричал вдогонку вышибало Митрошка-Триндаса́, стукнув Прометея в загорбок, — я вам, паршивцы!

Нет, никакой не было возможности проникнуть в этот недоступный дом к Маргаритке. И жгла недоступность.

Уходило солнце, отходила от окна Маргаритка. В золотых зеркальных залах зажигались огни. А Коля ходил по переулку взад и вперед и вдруг, как прикованный, стоял у окна.

Скрипач настраивал скрипку, играть пробовал. Веселые барышни танцевать становились.

«Земля обетованная! — тайно вышептывало его сердце в своей тихой тайне, — крылья мои белые, тяжелые вы в слипшихся комках кровавой грязи. Земля обетованная!»

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Огорелышевское отродье

Вторая половина лета изменила жизнь Финогеновых. Женя и Коля достали, наконец, себе уроки — трудно им было достать уроки, да и понятно: трудно верилось, что Финогеновы могут нуждаться. А Петя стал учиться музыке у Алексея Алексеевича. На богомолье нельзя уж было так часто ходить, всенощные у праздника понадоели, оставались бульвары, но всякий день ходить на бульвары тоже невозможно.

По вечерам иногда выходили Финогеновы за ворота на лавочке посидеть.

Круг фабричных не тот уж был, после пасхального усмирения двор подчистился, и были все новые, не знавшие ни Вареньки, ни Финогеновского театра. И не так уж весело на лавочке, как прежде: кузнец — сказочник Иван Данилов ослаб — примется за сказку, сказку рассказывать, плетет, плетет, да так и не кончит и никакой п ч е л ы уж не выходит. Разве только городовой Максимчук, получивший после Пасхи огромную, с блюдечко, серебряную медаль за усердие, кажется, неистощим, как во дни ночного сторожа Аверьяныча.

Разговоры на лавочке вертелись около огорелышевской фабрики и огорелышевского порядка.

И странно: теперь, когда и Финогеновы и сверстники их — фабричные подвыросли, незаметно поднялась между ними глухая стена.

Досадно, горько и обидно бывало Финогеновым, когда, разговорясь с каким-нибудь новичком и вызвав его на откровенность, слышали они, как другие фабричные вдруг грубо его осаживали, и тот виновато примолкал, а в вспыхнувшей злой усмешке горело одно горькое слово:

— Огорелышевское отродье!

— Огорелышевское отродье! Яблоко от яблони недалеко падает! Одна цена! — и такое слышали Финогеновы.

На место Павла Пашкова, отца Машки, так больше и не

поднявшегося с земли тогда на Пасху, поступил к Огорелышевым молодой слесарь Прохор. Взлохмаченный, прокопченный весь, с горящими глазами, готовый и в огонь и в воду за свое дело, Прохор любил поговорить за воротами. Синие жилы на черных руках его наливались кровью, а в вывертах-словах его вспыхивали искорки, и, кажется, летели эти искорки прямо под грунт Огорелышевского белого крепкого дома, под Огорелышевский фабричный корпус и там таились, там ждали, там невидимкою жили, чтоб разрушить его, не оставив камня на камне. И забитые и робкие головы фабричных на слова Прохора выпрямлялись.

Одно время Прохор брал у Саши книжки. И этот толковый, умный и понятливый Прохор при Финогеновых уходил в себя и отмалчивался, а в вспыхивающей злой усмешке горело одно горькое слово:

— Огорелышевское отродье!

— Огорелышевское отродье! Барин, а весь зад наружи! Без сапог, да в шляпе! Тоже господа — голоштанники! — и такое слышали Финогеновы.

Досадно, горько и обидно бывало Финогеновым и уж совсем невесело, но по старой ли памяти или оттого, что некуда было деваться, по вечерам нередко выходили они за ворота на лавочке посидеть.

Прометей зеленел и озлоблялся: ни войны, ни жизни настоящей, да еще фабричные, — фабричные поколачивали Прометея, был грех. Да и трудно было им ужиться с Прометеем: Прометей, великий Прометей, мечтал сделаться, по крайней мере, Наполеоном и подчинить себе все страны и земли, а Прохор, что ж Прохор? — ведь он мечтал ни больше, ни меньше, как разрушить весь уклад стран и земель прометеевых, и уничтожить самого Прометея. Сила была вопреки всякому здравому смыслу и действительности на стороне Прохора, и несчастного Прометея били.

После ужина, когда за ворота идти не хотелось, а на бульвары было уж поздно, Коля выходил в сад к пруду. Пробираться ему одному в переулок под окно Маргаритки нельзя часто, — он скрывал от братьев свои тайные свида-

ния в переулке и, возвращаясь поздно, всегда ссылался на уроки, будто на уроках его задержали. На пруд он брал с собой книгу. Читать, конечно, на ночь глядя, и строчки не прочитаешь, но это так, чтобы не с пустыми руками.

Коле приходил час о себе подумать: как ему свою жизнь устроить. На будущий год исполнится ему шестнадцать лет, кончит он училище, а дальше что? Если бы он учился в гимназии, он поступил бы в университет, но его для чего-то взяли из гимназии и перевели в Огорелышевское коммерческое училище заодно с Женей, и заодно с Женей он непременно должен поступить на место, ну куда-нибудь в Огорелышевский банк.

И вот сядет он за конторку в этом Огорелышевском банке вести какую-нибудь бухгалтерскую книгу и будет век вечный корпеть над этой книгой, над цифрами, совсем ему ненужными. И почему он должен считать на счетах и век вечный сидеть за конторкой? Только потому, что для чего-то взяли его из гимназии и заодно с Женей отдали в коммерческое. Кто-то взял и распорядился, кто-то, не спрашивая, решил за него и назначил ему банковскую конторку. А он не хочет никакой конторки, а без конторки ему не обойтись.

Пробовал он латинскому и греческому у Саши учиться, ночей не спал, все сразу хотел, хотел, чтобы поскорее, хотел чуть ли не в месяц все пройти, чтобы, не теряя ни минуты, кончив коммерческое, держать экзамен на аттестат зрелости. И все хорошо шло, и вдруг забросил он все учебники: черт с ними!

И вот сядет он за конторку в Огорелышевском банке, другого исхода ему нет и быть не может. И там глаза его в разлинованную бумагу уйдут, и свет их обратится в мелкие буковки и цифры, совсем ему ненужные.

И он видел перед собою эти неизбежные мелкие буковки и цифры, совсем ему ненужные, и уж, казалось ему, сливались они и бумага топорщилась, твердела — из белой в черную переходила, и будто черные огромные клещи стискивали ему голову.

А он не согласен, не хочет. Что ж ему делать?

Пруд молчал, невозмутимая гладь стыла прозрачным

льдом. И вдруг будто с илистого дна, из ледяных ключей вместо всяких ответов вставала перед ним Маргаритка: сверкали ее острые, кошачьи зубки — зарябившиеся струйки под поцелуем лунным, и словно зацветали губы ласковым словом, кликали его.

Часто уж ночью, когда замирали последние вечерние гулы, прибегала к Коле в сад Машка — Машка Пашкова, тоненькая, беленькая, с туго стянутой игрушечной грудкой.

— Николай Елисеевич, можно походить с вами? — просилась Машка, и горели ее глазки, горели огоньками, а голос пугливо пресекался.

И Коля ходил с Машкой вкруг пруда и, когда она ластилась к нему, он закрывал глаза, и искал рук других, проворных и маленьких, рук Маргаритки и, нагибаясь, с закрытыми глазами целовал руки Машки, большие и жесткие.

— Звезды-то какие! — отдергивала Машка руки и таращила кверху глаза, заволакивавшиеся влажной шелковинкой полюбившего сердца.

Коля ничего не отвечал ей и, не раскрывая глаз, снова брал ее руки и целовал их.

— У Душки-Анисьи коровушка отелилась, теленочек маленький...— щебетала она, как птичка, она жила, как во сне желанном, — а дяденька Афанасий, покойник, сказывал, будто рыбы с усами бывают: «Сам, говорит, видел!»

Коля ничего не отвечал ей и, не раскрывая глаз, прижимал ее вздрагивающую, трепещущую.

— Тоже... и... китов ус... — совсем пресекался голос у Машки, а сердце так и стучало, — ну, прощайте!

Как-то в последние летние дни после Ильина дня, когда, по поверью, олень мочит рога в воде, и оттого вода холоднеет, а лягушки на дно спать ныряют, было прощально горько в тихом, разросшемся, густом, поникшем над прудом Огорелышевском саду. За плотиком на той стороне уж поспела дикая малина, у купальни барбарис завесился рубинами, и рябина у беседки верх опоясалась крупными кораллами. Листья желтели и тихо падали по дорожке в пруд.

Поздно ночью прибежавшая к Коле в сад Машка, такая радостная, вдруг присмирела, схватилась за него и не отходила, словно боялась, что прогонит он ее и тогда уж ей никогда не вернуться в свой постылый, в свой фабричный корпус.

А Коля и не думал гнать ее, так было прощально горько в саду у пруда.

И они ходили долго, горячо прижимая друг к другу свои такие родные полюбившие сердца.

«Кто ты, Маша, Верочка, Машка, Маргаритка? Ты — Маргаритка!» — шептало его сердце шепотом осенних томящихся звезд и билось, как вновь открытый заваленный ключ.

С этой ночи приходила Машка к Коле не только в сад к пруду, а и наверх в детскую, она пробиралась тихонько мимо Пети и Жени. Саша летом перешел вниз в Варенькину комнату, туда же за ним в гардеробную переселился и Прометей. У Пети и Жени тоже завелись знакомые, как говорила Арина Семеновна-Э р и х.

— Что я вам скажу, девушки, — предостерегала Прасковья Петю, Женю и Колю, она все знала, — не ровен час, кто их знает, какие еще они, таковские, вы бы, девушки, взяли Авдотью Степанидину С в и с т у х у , баба она чистая и опрятная!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Деньги вперед

Пришла осень, пошли дожди. Облетел весь сад. Подмерзла калина. И к чаю вместо варенья подавала Прасковья только одно горьковатое калиновое тесто — такое Степанида умела делать из калины. Прометей вставил в окна зимние рамы и стал по утрам топить печки.

Сумрачно тянулся в училище час и надоедливо. Ученикам с п е ц и а л ь н о г о бухгалтерского класса как старшим разрешалось не выходить на перемене из класса в зал, и в это время в классе постоянно шел разговор о всяких

ночных похождениях: в Огорелышевском училище училось много богатых и состоятельных, и ночные кутежи в загородных ресторанах и дорогих увеселительных домах были делом обычным.

— Маргаритка, — донесся как-то до Коли перегорелый с попойки голос Семенова-Совы, завсегдатая всяких заведений, — знаю, сволочь она, кожа желтая, теперь в рублевом...

Вошел учитель бухгалтерии по прозвищу Шибздик, и Сова-Семенов, продолжая разговор, уж зашептал на ухо своему соседу Сухоплатову, и лошадиное нечистое лицо Сухоплатова все затряслось и вспотело.

Сколько ни прислушивался Коля, разобрать ничего не мог, да и все равно ничего бы не разобрал он, как бы ни прислушивался, ведь весь класс, все стены загорелись от нетерпения: сейчас же бежать туда в рублевый дом, сейчас же видеть ее, рублевую Маргаритку, — теперь и ему можно! А час тянулся. Насилу Коля высидел этот долгий нетерпеливый час и, сказавшись больным: живот болит, — всегдашняя оговорка, — Коля ушел из училища.

Идти к Маргаритке так рано нельзя было, а домой заходить не стоило, и до вечера проходил Коля по бульварам.

Была суббота, редким звоном, как звонят с Воздвиженья до Пасхи, печально зазвонили ко всенощной.

С своим полысевшим ранцем под мышку вошел Коля в переулок. Мутное ненастье, будто застрявшее в переулке, лежало безгрезным сном. Ненастные суетливые сумерки сыростью липли к щекам. Нехотя со скрипом растворялись ставни в домах.

В рублевом Маргариткином доме против дома, изукрашенного разноцветною мозаикой, кровавым пятном расплылся красный свет фонаря. Коля и пошел на этот красный свет.

Знакомый, намеливший немало крестиков на спине Коли, вышибало Демка-Моква, заспанный и обрюзглый от бессонной жизни, поплевывая, чистил ботинки. Коля спросил Маргаритку. Маргаритка еще не одевалась и пришлось подождать.

Коля терпеливо остался в прихожей дожидаться. Вы-

шибало Демка-Москва чистил ботинки, перечистил одни, перечистил другие, сколько было, все кончил, отнес по дверям и за юбки принялся.

Коле показалось, пошел не час и не два, вся жизнь прошла, когда, наконец, горничная повела его в спальню.

Маргаритка стояла перед зеркалом, вся кружевная, как игрушечная, причесывалась.

— Вам что нужно? — не оборачиваясь, с полным ртом шпилек, спросила Маргаритка.

Коля почувствовал, что ни одного слова не может сказать, и молчал. Проворные руки Маргаритки мелькали перед ним.

Маргаритка воткнула все шпильки, закрутила косу.

— «Обо мне ты не мечтай...» — гнусаво запела она из оперетки шарманочную песню, подергала плечом и опять распустила волосы.

На самой макушке ее заблестело белое пятно — лысина. Пластырем лежало это белое пятно. И этот пластырь лез в глаза.

— Ну? — вдруг обернулась Маргаритка.

— Я к вам! — Коля сказал неожиданно резко и твердо, и твердо сделал шаг, и еще шаг, и еще.

Маргаритка вытаращила красные запудренные глаза.

— Деньги вперед! — сказала она сухо.

— Я не затем, я к вам!

— Деньги вперед! — вдруг закричала Маргаритка, и крик пересекся хрипом, — вы... хозяйку подводите, оборванцы! Встать по-людски не дадут, жить не дают, жить изза вас нельзя.

А у Коли горло словно свинцом налилось, и льдом сдавило его раскрытое сердце, он сделал еще шаг и обнял ее.

Незабеленные язвы ее сочились, и какая-то плесень, какая-то соль, какая-то слизь мазали ему губы.

— Вон! вон!!! — взвизгнула Маргаритка, и отпихнув от себя Колю, сжалась вся и заплакала, как дитя беззащитное.

Не смея взглянуть, Коля медленно вышел.

Моросил мелкий дождик. Всхлипывало под ногами месиво грязи. С постоялых дворов текли нечистоты. В церквах второй звон звонили. Огни фонарей будто под щипка-

ми чьих-то злющих пальцев ширялись по ветру. И больно саднило сердце.

Вдруг Коле вспомнилась Машка, ночи у пруда — «Звезды-то какие!» — и вдруг пахнуло запахом мази и гниения: — «Деньги вперед!» — и до пустых жил вздрогнуло его сердце.

Еще сумрачнее тянулся в училище час, еще надоедливее. На перемене в классе по-прежнему шел разговор о всяких ночных похождениях.

— Маргаритка, — как-то вскоре донесся до Коли перегорелый с попойки голос Семенова-Совы, — сволочь: Сухоплатова болезнью наградила, сволочь...

Сосед Семенова, Бойцов, отдуваясь, фыркнул. А Коля, не сказавшись, вышел из класса, надел шинель и без ранца поплелся домой. По пятам гнусила Маргариткина запетая песня. И у трясущихся ломовиков колеса, чавкая грязь, чавкали ту же песню.

Казалось ему, заболевала вся улица. И на губах ныло, как язва.

И вдруг до пустых жил вздрагивало его сердце.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Серебряная свадьба

Сколько было горя в ту осень, когда ехал Сеня Огорелышев за границу и кегельбан закрыли, и в Колобовском саду больше не показывалась Верочка, — казалось тогда Коле, что и жить не надо, на свет глядеть невыносимо, а все-таки улеглось на сердце, и только осталась память о каком-то огненном жгучем видении, которое, вспыхнув, навсегда исчезло. Сколько было муки, когда уходила горничная Маша, — казалось тогда Коле, нет уж сил у него больше, и не может он вынести свою муку, а все-таки улеглось на сердце, и только осталась память о какой-то розовой улыбке, о каком-то парном запахе теплого тела. А после встречи с Маргариткой казалось Коле, нет ему на земле места, дрожь охватывала его до пустых жил сердца,

и из мглы мази и гниения шелушились перед ним и липли язвы и струпья. И долго не улегалось на сердце, — так прошла и осень, и вся зима.

С весною снова встали перед Колей заботы: оставалось всего ничего, сдаст он экзамены, и ученье его кончится, а как же дальше? как устроит он свою жизнь? Эти заботы о своем будущем, о завтрашнем дне совсем успокоили его сердце.

Русский выпускной экзамен пронесся градовой тучей, но беда миновала.

Последние два года, — в первом и во втором специальном классе — был Коля под постоянной грозой: за его русские сочинения или ему совсем не ставили отметок или, красным карандашом перекрестив все страницы его тетради, выставляли ему в журнал единицу — кол пофиногеновски. И вся эта напасть будто бы за направление его сочинений, хоть и не говорилось, что за направление, и что в нем опасного, и чему оно угрожало.

Коля читал несравненно больше своих сверстников, и сама жизнь складывалась у него непохоже на других, и не мог он при всей напряженной горячности так вывести поученически буква за буквою гладко и тихонько, как это делали первые примерные ученики и последние нищедушные, вот и все, весь его грех и вся беда.

— Мы из вас не писателей готовим, а конторщиков! — не раз и нехорошо говорил Коле учитель русского языка Федор Федорович-Кукиш, возвращая Коле тетрадку с его сочинениями.

И Арсений последнюю зиму, набрасываясь на Колю в огорелышевской конторе, грозил ему исключить его из училища, и все за эти несчастные сочинения.

— Специалист! — говорил, насмехаясь, Арсений, — выдрать бы тебя, вот что!

И вот все обошлось благополучно.

После молебна по окончании экзаменов Женя и Коля, лишенные за неблагонадежное поведение звания кандидатов коммерции, пришли домой с аттестатами, вошли наверх в детскую, что-то сделать хотели, кому-то рассказать хотели, — ведь Коле казалось иногда, что и конца

не будет этому очертевшему училищу, — и ничего не сделали, и никому не рассказали. Коля спрятал свой аттестат к себе в столик, где когда-то хранился дневник его, посвященный Верочке, Женя свернул свой в трубочку и положил на свой стол: ему аттестат понадобится, когда он пойдет через неделю в Огорелышевский банк.

На педагогическом совете, когда обсуждался вопрос о Финогеновых, и кое-кто из учителей предлагали дать Коле кроме звания кандидата коммерции еще и медаль, Арсений замахал руками:

— Дай ему медаль, — сказал Арсений,— он ее возьмет и кинет в помойку!

Об этом Коля узнал от любимого француза и ночью, вспомнив, решил уж бесповоротно, что ни в какой банк Огорелышевский он не пойдет, а выгонят из дому, пойдет на улицу, а на своем поставит.

Не прошла и неделя, напялил Женя свою изодранную курточку, снял с форменного картуза герб и с аттестатом пошел в Огорелышевский банк и там, толкаясь в приемной, долго ждал Арсения. Наконец, приехал Арсений, взял аттестат, сделал для острастки внушение и, упрекнув в разгильдяйстве, велел всякий день приходить в одну из комнат с ярлычком касса. И пошла с этого дня служба: Женя должен был вести кассовую книгу.

Через управляющего Андрея Коля вызвался в банк только на следующий день, а сначала велено было идти ему в Колобовский дом к Нике — Никите Николаевичу благодарить: Ника платил за Колю в училище.

Колобовским садом по знакомым дорожкам и аллеям, мимо беседок и статуй с отбитыми носами Коля подошел к подъезду огромного с колоннами старого дома, когда-то принадлежавшего какому-то знатному графу, потом купцу Колобову, а затем перешедшего с приданым Нике Огорелышеву.

Щеголеватый лакей провел Колю в классную Юрика, двоюродного брата, кончившего с Женей и Колей Огорелышевское училище. Коля сел к окну и стал ждать Нику, как осенью в прихожей рублевого дома ждал Маргаритку, только там, в рублевом доме, глядя на Демку-Мокву, у

него от нетерпения дух захватывало, а теперь он просто робел. И, горячась, Коля доказывал себе, что глупо так вести себя, не маленький он, и робеть нечего, а чувствовал, что с каждой минутой робеет все больше и больше, сжимается весь, становится маленьким и пришибленным.

Ждать становилось невыносимо, и, вскочив со стула, Коля попробовал ходить по комнате. А прохаживаясь по комнате, не раз и не два ловил себя, что ходит на цыпочках, и уж злился на себя, но поделать ничего не мог.

— А, это ты! Что тебе надо? — неслышно вошел Ника.

Коля вздрогнул и сипло и невнятно проговорил приготовленную благодарность:

— Благодарю вас, дядюшка, за ученье! — и, сгорбившись, остановился.

— Что думаешь делать?

Коля теребил ремень и чувствовал, что сказать прямо он не может, просто духа не хватает.

— Я слышал, служить ты не хочешь. Если ты рассчитываешь поступить в высшее учебное заведение, в университет или куда ты там хочешь, то не забывай, средств у вас нет. Я понимаю, ну Юрик, да, но тебе с Юриком равняться смешно!

Коля покраснел, и, кажется, сейчас бы так и согласился на все, и вдруг что-то властное колоколом загремело в ушах.

— Я в университет поступлю! — проговорил Коля резко и твердо, как тогда Маргаритке.

— «La donna è mobile, qual piumo al vento!»* — напевая из Риголетто, Ника мягко прошелся по комнате, поправил в петлице нежную туберозу, — повторяю, средств у вас нет, дармоедничать нельзя, мы не можем вас содержать до смерти, впрочем, как знаешь! — и махнул рукою, что означало: «мне некогда!»

Коля выскочил на улицу. Какая-то радость, какая-то гордость, казалось, до крови кусала ему сердце: доберется он, измучает, исказнит насмерть за каждое выслушанное им слово — за каждый упрек.

---

* Женщина изменчива, как пух на ветру (*ит.*). — *Ред.*

Нет, не серым волком, спасающим Ивана-Царевича, не апостолом Петром, не французом, не о. Глебом, не самим Огорелышевым Арсением хотел бы он быть, нет, он хотел бы быть палачом. И громоздились плахи за плахами, щелкали пытки смертельными зубами.

Прошла неделя, прошла и другая. Женя ходил в банк в свою кассу, а Колю больше никуда не вызывали, никто не назначал ему часа, — не приказывал являться ни в контору, ни в банк.

Коля достал себе уроки, а с осени снова принялся за латинский и греческий, но уж без того рвения, как раньше: то Саше было некогда, то просто не хотелось.

Пришла зима — подарила: через управляющего Андрея позвали Финогеновых на вечер в дом к Огорелышевым: Арсений справлял свою серебряную свадьбу.

Финогеновы сначала уперлись, ни за что не хотели, но потом раздумались — поддались и пошли. И в первый раз так близко перед их глазами зашумел весь в цветах Огорелышевский зал, заиграл богатыми драгоценностями: серебром, золотом, бриллиантами.

Финогеновы стояли в дверях залы, в зал войти не решались.

Из целого сада цветов выплывали подхватывающие звуки танца и, словно напоминая о чем-то, звали за собою и так обещали верно, сердце колотилось.

— Вон, Маля Огорелышева, Юрикова сестра, посмотри, какая она красивая! — толкнул Петя Колю.

— А вон Сухоплатова Танечка, — показал Саша.

— Наш директор! — Женя даже попятился.

Много, очень много мелькнуло перед Финогеновыми и первых красавиц, и директоров, и всяких родственников, которых они в первый раз увидели, все людей важных, и так близко.

Вдруг танцы остановились, и в зале стало тихо: гости расступались и кланялись.

Мимо Финогеновых прошел высокий, на голову выше Арсения, совсем не старый военный генерал и, мутно обводя глазами, как-то вылощенно улыбался — это был сам всесильный князь. А рядом с князем шмыгал Арсений, по-

добострастно заглядывая ему в глаза, и уж слишком уверенно хихикая.

— Финогенов! — хлопнул по плечу Колю Сухоплатов, с которым Коля учился, раскрасневшийся и запыхавшийся. — Ты как сюда попал!

И Коле стало вдруг обидно до слез, что этот богач Сухоплатов может ему сказать так, и хотелось ему выкинуть что-нибудь, чтобы никто не смел его тронуть, и вдруг сгорбился, как у Ники в Колобовском доме.

А из целого сада цветов выплывали подхватывающие звуки танца и, словно напоминая о чем-то, звали за собою и так обещали верно, сердце колотилось.

Финогеновы стояли в дверях залы, одеты они были скверно: от Колиного дешевого пиджака несло каким-то подгорелым стеарином. Они одни стояли у дверей и никто с ними не здоровался, даже Сеня не подошел к ним, и казалось им, все знали — и чувствовали их как что-то чужое и ненужное. Они слышали, как в соседних комнатах звенел дорогой хрусталь и вышибались пробки, но их не угощал никто, дали им только чаю.

Юрик Огорелышев, сын Ники, в новенькой путейской форме, сам какой-то весь новенький, взмахнул руками, громко прокричал что-то, — название какого-то танца, и за ним понесся, полетел весь нарядный зал.

Какие-то словно пьяные звуки кружились и стучали, и так бы лететь под эти звуки, лететь с ними без конца!

И на минуту, забывая свой красный флигель — дом, Финогеновы, стоя у дверей зала, жили этой кружащейся, богатой жизнью, и на сердце таяло.

— Отправляйтесь-ка вы по домам! — ударил над ними знакомый голос Арсения.

И Финогеновы молча, гуськом, спотыкаясь о ковры и проталкиваясь среди шныряющих лакеев, которые, казалось, пронзали их насмешливыми взглядами, вышли из белого Огорелышевского дома и мимо фабрики, мимо амбаров, мимо забитого кегельбана, мимо дров шли по двору, молча, не глядя друг на друга: нехорошо было как-то глядеть. И каждый из них делал вид, строился, что ничего-то не произошло такого, чего бы ну, стыдиться надо было, не

хотел никто из них показать на себе того унижения, каким только что каждый унизился.

— Средств нет, ничего не поделаешь! — вдруг сказал Женя, но ему никто ничего не ответил.

Молча, без всякого шума вошли Финогеновы в свой красный флигель.

— Ну что, как, весело было, шампанское вкусное? — встретил их Прометей, почему-то нарядившийся в свою праздничную коричневую визитку и в штиблеты без стука.

И Степанида, и Авдотья Степанидина, и Прасковья, и Арина Семеновна-Эрих, всем хотелось знать, все стали расспрашивать Финогеновых о серебряной свадьбе.

Что им было рассказывать? Саша ушел к себе — в Варенькину комнату, а Петя, Женя и Коля — наверх в детскую. И там молча разделись, молча легли в кровати.

Коля притворился спящим и не спал, не мог спать, как не спал и Петя, и Женя и внизу Саша. Казалось Коле, будто кто-то словно подымал его высоко, до самого потолка и, грозя опустить на пол, держал в воздухе. И было ему страшно подумать, страшно взглянуть в свою душу... нехорошо было глядеть ему в свою душу — на свое унижение. И чувство его было жгуче, больнее, чем когда он сидел у окна после своей порки и после своей пощечины за театр: уж лучше бы никогда ему не стоять у дверей огорелышевского зала, не заглядывать в освещенный нарядный зал.

А морозное утро, крепкое, нанизывало жемчуг на окна.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Розик

Зима с серебряною свадьбой внесла в Финогеновскую жизнь какой-то разлад, словно с этого дня что-то сорвалось в их красном флигеле и гнало их из комнаты в комнату, вон из дому. И Финогеновы бродили по комнатам, по двору и по саду, нигде не находя себе места. На дворе лежали дрова, и ходила фабрика, и сновали фабричные, и таким жалким и злым казалось все. Все раздражало — драки прежней не было, но часто из-за пустяков они ссори-

лись, и все из рук валилось — сколько за зиму перебили посуды!

— Кто-то выживает! — говорила Прасковья.

На новый год пропала кошка Маруська, любимица бабушки Анны Ивановны.

— Нехорошо, — потягивала табачным носом Арина Семеновна-Эрих, — тварь уходит, твари неспокойно.

Околел Мальчик, остался один Розик.

— Вот и Мальчик отошел! — вздыхала Степанида.

Пропадавший по святым местам, вернулся на масляницу печник Сёма-юродивый, зашел к Финогеновым. Степанида блины собиралась печь, а он взял ковш воды да и залил у ней огонь в печке и вышел, что-то бормоча и покачивая головой — барабаном с бубенцами.

— Жди беды, беспременно! — помаргивала Душка-Анисья, забегая на финогеновскую кухню чаю попить, — Сёма зря не чихнет и не плюнет.

Но если бы не один, а тысячу юродивых и самым обыкновенным языком сказали бы в одно слово, что Финогеновых беда ждет, все равно, разве поверишь, разве можно поверить человеку? А может, беда и минует, а может, и ошибается Сёма. И вот жизнь идет, как шла и без Сёмы, без его вещих юродств.

За зиму Арсений несколько раз вызывал к себе Сашу и предостерегал его: дружба с Сергеем Молчановым так даром пройти не может и кончится тем, что Сашу и из университета выгонят и туда пошлют, — сам не обрадуешься.

Два года еще больше отточили черты Саши: глаза его словно заковались, темные усы и борода выдвинули скулы, а на лбу ярче обозначились впадины.

Для тех, кто знал Сашу еще гимназистом, переход его из смиренника-монаха в монаха-революционера казался просто невероятным. Когда-то завет старца: надо принять всю судьбу, всякую недолю и принять ее вольно и кротко и благословить ее всю до конца — был этот завет для Саши заповедью. Теперь же, если спросить его, что греет в нем его душу и жесточит его мысли, он ответил бы твердо: ему нет примирения.

Во имя своей непримиримости, несогласия своего с

судьбою, он истязал себя, как тогда в примирении, если не больше.

С глубокой горечью обманувшегося прекратил он всякие общения с о. Глебом, и все греющие лучи-мысли стоятеля Божьего представлялись ему теперь какими-то засоренными источниками, мутным светом сквозь мглистое снежное небо.

Сашу тянуло к резким ударам, — через кровь, через огонь, через жертву ступить гулко по земле, бросить вызов и самому сгореть — расточить жизнь свою, как говорил Саша. Расточение жизни в непримиримости сводилось у него к убийству, к уничтожению тех людей, «которые своей деятельностью мешали жить». Это и соединило Сашу с Сергеем Молчановым и с товарищами его, которых Саша встретил у Сергея. Никого они еще не убили и ничего для убийства не приготовили, и все было пока только в словах и в душе. Вся кровавая лежала перед Сашей его мать-пустыня, призывающая в свою огненную пустыню.

И шли его дни кипуче до ожесточения, вспыхивали радостью правоты, раскалялись от мучительного голоса исподних заваленных сомнений и просыпающихся бунтующих заглушенных чувств.

Петя не румяный, побледневший, все еще таскал свой ранец в гимназию и, хотя оставалось ему всего ничего, а будто и конца не было. В воскресенье часто по целым часам просиживал он у окна за стаканом пива и все думал о чем-то, глядя за Боголюбов монастырь, за белые башенки, и казалось, сидеть бы ему так, сидеть всю жизнь, гадать и загадывать...

Коля, измытарившийся за зиму — всякий день могли его вызвать и снова начать разговор о его поступлении в банк, — жил бестолочно: словно все расползалось перед ним и ускальзывало, дразнило его и не давалось. Как на грех с Машкой — с Машкой Пашковой — беда стряслась: забеременела Машка, и пришлось через Прасковью Душку-Анисью просить поправить дело. Душка-Анисья не только языком соринки в глазу искала, но как-то глазом, — так сама она говорила, — умела прибрать в человеке все

лишнее, и так, что никакого и следа не останется. Чуть не померла Машка. А умри она, пожалуй, и гора бы с плеч! Свезли Машку в больницу, полежала она там, в больнице, и выходилась, но уже на фабрику ее больше не приняли, и перебралась она в комнату в Бакаловский дом, — за Сухоплатовской фабрикой Бакалова дом с дешевыми квартирами, комнатами и углами, битком набитый всякой беднотой: тут и зонтичники, и шляпочники, и щеточники, и сбитенщики, кого-кого только нет. Коля заходил в этот дом к Машке, — промышляла Машка поденной работой. И каждый прожитый день был для Коли, что камушек: камушек за камушком падал и куда-то прямо на сердце.

Вербная Суббота — день роспуска на Святую был в этот год редким днем в жизни Пети: до экзамена его допустили, и пришел конец его долголетнего гимназического мытарства. Целых двенадцать лет таскал он ранец, двенадцать лет долбила его ненавистная ему проклятая гимназия.

По давно данному обещанию Петя, Женя, Коля и Прометей вместо всенощной отправились в подвальную пивную на Камушек к пивнику Гарибальди и всю всенощную шла попойка, а когда Гарибальди запер пивную, Петя торжественно, тоже по обещанию, лег посреди улицы в лужу и, бултыхаясь, грязнил и мазал свою драную гимназическую шинель. А потом уж наверху в детской разодрали Петин ранец и пили водку.

Прометей накачался до такой одури, — и Вербное и Чистый понедельник без просыпу спал и, очухавшись только во вторник, совсем обалдел и никак не мог сообразить, где он, кто вокруг и как зовут его, и только ненавистную тетку свою Арину Семеновну-Эрих он чувствовал и, морщась, моргал, как от какого-то яркого света.

— Очхнись, отшельник! — усовещевала Арина Семеновна, — мать родную не узнать! Видно, нечистому и душу-то свою собачью пропил.

— Господи, никаких концов не найти! — моргал Прометей, шаря вокруг себя.

— Насосался! стыд-то какой! — совестила Степанида.

— Напущено, девушка, — горевала Прасковья, — злыми людьми напущено, и молитва не помогает.

Долго Финогеновы возились с своим помутневшим Прометеем: и щипали, и щекотали его, и легонько перышком в носу шевелили, и горчицей губы мазали, мало помогало.

— Господи, никаких концов не найти! — моргал Прометей, шаря вокруг себя.

И когда уж хотели Финогеновы отступиться, а Степанида за Душкой-Анисьей побежала, Прометей сам собою сорвался из детской и прямо вон за дверь во двор.

Как ошалелый, метался Прометей по двору и все не мог прийти в себя, визжал, плакал, тряс головою и вдруг схватил полено и с какой-то радостью ударил в подвернувшуюся собачонку Розика, будто в Розике хоронилась вся тревога его, все безумие, все отчаяние великого человека, обреченного на ничтожество.

С перешибленной лапкой, взвизгнув, бросился Розик под террасу и там затих, и Прометей затих, ожил Прометей, отдышался.

Полезла Прасковья под террасу, старуха старая согнулась она вся, и там поймала собачонку, перекрестилась, вытащила ее на волю и понесла в дом.

Розик лежал у Саши в Варенькиной комнате, на Варенькиной кровати, подвернув перешибленную свою лапку и, подрыгивая лапкой, плакал молча: ну, в чем же он-то был виновен?

И Прасковья плакала:

— Молитва, девушка, не помогает!

И во всем доме, в красном Финогеновском флигеле нехорошо было, помалкивали в комнатах.

А Прометей все заглядывал в комнату к Саше, справлялся у Саши, не прикажет ли Саша пройти куда — к Алексею Алексеевичу или к Сергею Алексеевичу, или сделать не надо ли чего, переписать что-нибудь? Он ведь ненарочно ударил Розика?

А Розик лежал у Саши в Варенькиной комнате на Варенькиной кровати, и, подрыгивая перешибленной лапкой, плакал молча.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Стопудовое яйцо

Страстная прошла тихо. Финогеновы говели и в церковь к Покрову ходили к службам, а то в последний год редко их видели у Покрова. У Розика лапка поджила, и на первый день Пасхи он уж по двору за собаками бегал и лаял, как обыкновенно. И первые два дня Пасхи прошли тихо, а на третий день Петя, Женя и Коля с Прометеем опять сидели на Камушке в подвальной пивной у Гарибальди — разговлялись. И вернулись они домой поздно и совсем нетвердо.

Приснилось Коле, сидит он будто наверху, в детской, в окно смотрит, а пустырь — огороды под монастырем распаханы. В детскую входит девочка, держит яйцо в руках, безглазая, стала девочка в дверях, стоит, протянула руку с яйцом, безглазая. Безглазая она, а так всю душу насквозь проходит. И чувствует Коля, как сердце его будто расщепляется.

— Коля, вставай, в Боголюбов пойдем к обедне! — услышал Коля голос Саши, и это вывело его на свет.

Коля поднялся, закурил папироску. Последние клочья сна с болью таяли, и подплывала к сердцу какая-то радость, будто угрожавшая ему опасность миновала.

Сонная комната в ярко-желтых лучах показалась Коле особенной, золотой, и голубой дым папиросы, увязая, цапался и, обессиленный, сдаваясь, таял.

Посреди комнаты, уткнувшись в сапог и подобрав согнутые ноги к подбородку, валялся Прометей, поскрипывая зубами, и было в лице его столько гордости и величия, будто закусил он не Петин сапог, а сапог всего мира.

Коле вдруг вспомнилась ночь, вспомнилась подвальная пивная, драка в пивной, и он бросил папиросу и снова повалился, но Саша заторопил его.

В голосе Саши была и настойчивость и еще что-то особенное, и это подняло Колю на ноги, он быстро оделся, и они вышли.

Несмотря на ранний час и середину апреля, летне парило. Даже в низких местах как-то сразу истлел снег, лед за ночь лопнул и пошла река.

Весь на солнце стоял монастырь, и жарко горели золотые шпицы белых круглых башенок. В монастыре звонили к обедне, как только звонят на пасхальной неделе, звонили с малиновым переливом. И со звоном колокола доносил ветер тревожный шум и гул половодья.

Идти было легко: еще влажная теплая земля уходила под ногами, и после зимы чувствовалась земля такая влажная и теплая.

На откосе зеленела тоненькая травка. Коля спустился к Синичке, сорвал одуванчик и шел с ним, как с золотой свечкой.

Сам себе казался Коля таким воздушным и хрупким, словно все тело его просетилось, и он слышал и чувствовал и самый малый шорох, и вот он переломится или растает в воздухе, и тоска заливала все его сердце.

Ночь и подвальная пивная не выходили у него из головы, восстановлялась подробность за подробностью, лезла к самым глазам, дышала своей мерзостью, и отделаться не было сил, а заглянуть поглубже, чтобы уж навсегда отойти прочь, страшно было, и путался неоплаченный счет, драка, и какие-то плевки, покрывавшие всю пивную ночь.

Саша твердо решил порвать с кругом Сергея Молчанова. И не потому, что непримиримость его остыла в нем, а просто потому, что никакой партии, никакому лицу не мог он подчиниться, не мог выслушивать ничьих замечаний, не мог выносить, когда говорили ему, что он не смеет чего-нибудь делать так, как он хочет, а должен делать только так, как решила партия. Среди людей, объединявшихся вокруг Сергея Молчанова, были два-три человека, настроенные до какой-то исступленности в своей непримиримости, и готовы были умереть, осуществляя свое дело — «убийство лиц, вредных и мешающих жизни». Саша уважал их, но с ними было тесно ему, это он давно уже чувствовал и только недавно сказал себе ясно и без колебаний, он не мог так замкнуться, так ограничить свой мир, так обезглазить его. И вот он решил совсем уйти: он пойдет к

Сергею Молчанову и там скажет им все по правде, прямо в глаза, — пускай делают, как знают и что хотят.

И приняв решение свое, он чувствовал какую-то злобу, злость и озлобленность: ведь так долго и так много ждал он осуществить дело свое, которое теперь одному ему не исполнить, а с другими уж не может, и ему хотелось расплатиться с кем-то за все ночи свои, когда сердце его лопалось, за всю жгучесть мечты своей, за свое дело, которое совершить хотел.

Воскресения день!
И просветимся, людие,
И друг друга обымем...

— донеслось пасхальное пение из раскрытых окон Боголюбовского собора, когда, поднявшись по лестнице на монастырскую гору, Саша и Коля вошли в ограду.

В соборе было много народу, еле пробрались они на паперть. Но и на паперти душно было и от свечей и от ладана, и скоро они вышли из церкви, потолкались за воротами с богомольцами около каменной лягушки, упирающейся в башенку старца, и повернули опять в ограду на кладбище.

— А помнишь, Саша, наши службы, наши стояния наверху? Мы бы тогда все молебны с акафистами выстояли! — сказал Коля: пасхальное пение всколыхнуло всю его память, и он почувствовал, как ему больно, что прошло прежнее.

Саша горько и злобно засмеялся.

— Ты теперь и в Бога не веришь? — спросил вдруг Коля.

— Разве это так важно, верю я или не верю? — резко ответил Саша.

— А я, Саша, совсем об этом не думаю, просто не думается мне... или потому, что мне выспаться надо...

Они подошли к Огорелышевскому склепу-часовне, сели на каменные ступеньки.

Красный огонек лампадки поглядывал на них сквозь матовое окно.

— Помнишь, что сказал старец, — Саша показал на ба-

шенку, — Веруешь ты в Бога или не веруешь, не это важно, а важно то, с Христом ли ты, или без Христа! Только не к тому я говорю это, чтобы оправдать себя и без веры с Христом быть. Пускай себе старец остается со своим Христом и благословением. Я не могу, — Саша поднялся, — не могу я благословить судьбу — не-долю, беду человеческую с ее скорбью, печалью, нуждой, а раз я не могу благословить ее, и с Ним не могу быть. И если я в себе благословил бы ее, я не могу в тебе благословить ее, вон в том калеке не благословлю, и в Розике не благословлю, как лежал он тогда с перешибленной лапкой.

— Ты, Саша, теперь совсем не улыбаешься, а, бывало, как начнешь разные небылицы сочинять о гимназии: о яйце страусовом в шестьдесят пудов, помнишь, рассказывал, как физик в класс едва дотащил его, ты все улыбался, и когда игрушки мне приносил, тоже улыбался.

— Старец сказал бы, что тогда на мне был дух Божий, — горько и злобно засмеялся Саша.

— Конечно, конечно, — Коля вскочил и даже покраснел весь, словно нашел разгадку какого-то мучительного вопроса, — дух Божий! Дух Божий и на мне был, дух Божий! Ведь в самом деле, ну что божеского в угрюмости, в муке, в страданиях человеческих, а когда болтаешь, когда врешь о небылицах, дух занимается от какой-то радости — это, вот именно это и есть божеское, дух Божий!

А Саша, желая, должно быть, улыбнуться по-прежнему, кривя губы, протянул руку.

— Христа ради подайте милостыньку на яйцо стопудовое! — и вдруг нахмурился, взял у Коли одуванчик и, отворив дверь часовни, положил на каменную плиту, — вот цветок и пригодился.

— Варенька, барышня несчастная! — тихо проговорил Коля, вспомнив, как называли фабричные Вареньку, — вот мы и пришли к вам, Христос воскресе! — и подумал: «проклятые пришли», и ужаснулся, что подумал так, и в ужасе прошептал, как когда-то в отчаянии шептала Варенька: — Господи, подкрепи меня!..

А в это время красным звоном зазвонили во все колоко-

ла: обедня кончилась и тронулся крестный ход с артосом. Всю пасхальную неделю в Боголюбовом после обедни бывал крестный ход, носили вокруг собора артос.

Саша и Коля пошли за народом и, дойдя с крестным ходом до белой башенки, словно по уговору поднялись по знакомой каменной, холодной, полутемной лестнице. Но у самой двери Коля, словно спохватившись, повернул назад.

— Я не могу, — сказал он тихо и медленно, с большим усилием выговаривая слова, и почувствовал, как что-то мучительно-страшное, что подходило к его душе, о чем и самому себе он не мог сказать, теперь сказалось: ему тоже, как Саше, надо кончить свое дело, только Саша во всем чист, он же кругом виноват.

И дверь башенки закрылась за Сашей.

О. Глеб обрадовался гостю, — так давно никто из Финогеновых не заходил к нему, — о. Глеб похристосовался с Сашей. Пирский, послушник старца, принес чаю и пасхи.

Саша заметил, что старец не то чем-то расстроен, не то болен: губы, совсем сохлые, вздрагивали, и щеки потемнели, как у мертвого, улыбался он, но лежала на улыбке едкая горечь.

«Может, и заходить не надо было!» — подумал Саша, а на сердце кипело, и, не притронувшись к пасхе, сразу заговорил:

— Вот сейчас только что Коля сказал мне, что я и улыбаться перестал, а я, как вошел к вам, посмотрел на вас, и подумал: вот и вы после всех ваших благословений страданиям и бедам человеческим на вашей ступени недосягаемой тоже что-то плохо улыбаетесь.

Старец молча перекрестился: в келью донеслось пение Христос Воскрес — это крестный ход возвращался обратно.

— Нет, видно, с вашим благословением... — задумался Саша, — не создашь ничего крепкого и нерушимого. Ну как это можно? Чтобы улыбаться, надо пройти через весь ад да еще и благословить его! — и вдруг подумал: — «Да зачем же это он пришел-то к старцу? Сказать, что принял решение кончить свое дело с Сергеем Молчановым и не-

примиримость свою всю при себе оставить, похвалиться перед старцем?» — и глухо сказал то, что еще ни разу и себе не говорил: — не верю я в них, о. Глеб, — и, удивленный словам своим, поправился, — не могу я подчиняться и не хочу! — и загорячился, — никуда оно не годно, ваше благословение, расслабит оно, погубит всякую жизнь, расплодит всяких паразитов, нет, только резкий удар, грозная встряска, кровавый бич укрепят жизнь и зажгут мечту. А что делать с вашей любовью и всепрощением, когда задохнуться впору, посмотрите, люди костенеют в бескровной изморози, глаза у них слипаются, сонные какие-то, они кутаются, зябнут, идут шажком и топчут полегоньку друг друга, топнет, а сам посмотрит, — не больно ли?.. А надо подойти и... вот так! — Саша резко поддался вперед, будто ножом ударил.

О. Глеб привстал с кресла. Мускулы задергались на его лице, как тогда, на Пасху, у гроба Вареньки.

— Что? — спросил Саша с каким-то задором, — я еще никого не зарезал!

Старец опустился в кресло и не сказал ни слова.

— Не хотите мне отвечать, — сказал Саша уж затихшим голосом обиженного, — говорить со мной не хотите, а ведь знаете, вижу, что знаете, зачем кровь проливается. Или рано мне знать тайну-то вашу, так что ли, не благословил я еще не-доли вашей, не переступил я за последние страдания, где и кровь разрешается, где кровь, тайну крови постигают? а знаете вы, как поймут вас, с вашим примирением-то? — будто поддразнивая, спросил Саша, — не знаете? Всякий негодяй, всякий трус за вас ухватится, всякий паразит, всякий насильник ручку у вас поцелует. Вы задачу даете непосильную, ну сами посудите, кто ее решит: через все муки пройти надо и дойти до последнего страдания и ему, безглазому страданию-то, поклониться. У кого хватит сил, у кого достанет духа! Нет, не так вас поймут, и решать никто не будет по-вашему, а перевернет все примирение ваше в самое наиподлейшее помыкание и пойдет душить и есть поедом и давить и, что хотите, так одни, с одной стороны, а другие сами от отчаяния вешаться начнут, травиться начнут.

— Душа-то твоя, Саша!.. — едва проговорил старец и, не досказав, замолк.

— Душа! — захохотал Саша, — а что в ней! — и опять перевернул на свое, с чем и пришел к старцу, — не хочу я, чтобы мою душу убивали, и не отдам я ее, никому не хочу уступать! — и, страшно побледнев, застыл весь, глядя в упор на старца: — а кровь-то и Христу понадобилась... Чтобы прийти на землю, ведь зачем-то понадобилось столько невинной детской крови, зачем-то надо было убить столько младенцев! Вы же сами рассказывали, помните? А если Христа никакого и не было, — усмехнулся Саша, — и если избиение младенцев только легенда, ученые это доказывают, то все равно легенда пошла, неспроста же такая легенда пошла. Кровь-то она нужна, для любви нужна, так выходит. Ты возненавидь всем сердцем твоим, возненавидь всею душою твоей; убей, и придет любовь.

— Если не полюбишь врага своего, нелюбовью измучаешься, а твой нож и кровь, пролитая тобою, на тебя же обратятся, — о. Глеб запечалился, губы его вздрагивали.

— Не могу я простить, — заерзал Саша, — и скажите, пожалуйста, как же поступить мне с человеком, который людей ест, да, ест, жизнь у них отнимает, как поступить со всеми этими, кто приказывает и кто исполняет повеления, от которых гибнут люди? Уничтожать их только, больше ничего не остается.

— Подойди к нему, врагу своему, — заговорил старец, — загляни в глаза: глаза его горюют, на нем своя беда, ох, страшная беда! А ненависть твоя не зальет и не раскроет тебе этой горечи и беды его. Нет, ты подойди к нему, загляни в глаза...

— А он захочет?.. Да он тебя ножом пырнет. Ха, ха! Он с тебя шкуру будет драть, а ты с губами потянешься, ха, ха! Я, может, подходил, и не один раз, — уж с горечью сказал Саша, — руку мою протягивал и до корней волос краснел от обиды: руку мою не принимали...

И, когда проговорил Саша свои последние слова, вдруг стало ему ясно, что говорить больше не стоит: старец не

знает ничего, а только из прописей повторяет уж много раз слышанное, разыгрывает из себя какого-то блаженного, увертывается и виляет, лжет перед ним.

— Заповедь: убий! убий того, кто убивает — вот она заповедь! — Саша встал с места и твердо заходил по келье, — за зло тысячекратным злом... Да, кровь... и если я не пролью крови, так не мою, Бог с ней с моей, вашу прольют, Розикову прольют.

Старец сидел в своем кресле, казалось, и не слушал Сашу, дремал в своем мягком удобном кресле.

И гадок и омерзителен стал в эти минуты для Саши старец.

«Вот он схимой прикрыл свои прогнившие глаза!» — думал Саша, злорадствовал, ему чудился запах, шел запах по келье, проникал сквозь платье, через кожу, сосал сердце. И так захотелось Саше обидеть, унизить старца, — «старый лгун, — думал он, — изжил все свои силы», — так хотелось ему крикнуть в лицо старца самое тяжкое оскорбление, такую обиду горькую, чтобы прожгла она всю его святость, — «показную святость заклинателя бесов!» — сказал себе Саша. Мысли его разрывали друг друга и, разорванные, бросались друг на друга, кипело сердце.

— Саша, — сказал старец и дрожащей рукой протянул ему красное пасхальное яичко, — Саша, сохрани его на всю жизнь.

«Стопудовое, — вспомнилось Саше, — Христа ради подайте милостыньку на стопудовое!» — и, не приняв подарка, стиснул он зубы от горечи, закрыл лицо и сидел так, не раскрывая лица.

В монастыре ударили к вечерне.

Очнулся Саша, вспомнил: к четырем он должен поспеть к Сергею Молчанову, чтобы всех застать у него и навсегда уж покончить со всякими делами, и со всякой своей непримиримостью, и, не приняв благословения, вышел вон из кельи.

Старец до двери проводил Сашу, сполз с лестницы и долгим взором сердца глядел вослед ему: губы горько перебирали, — старец молился, — и рука крестила, — старец

молился, — и рука крестила еще неясное, еще далекое, что вышло и наступало на человека:

— Господи, подуй, подуй, Господи, святым духом на землю!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Плямка

Коля любил Машу-горничную, во сне она снилась ему, и всякий раз, просыпаясь, он чувствовал какую-то слитность со всем миром, будто за ночь произошло что-то, что соединило его с каждым предметом и не оставило никаких промежутков. Коля любил Верочку, которую, казалось ему, не раз он видел мелькающей в толпе, и сердце тогда замирало, и дух захватывало. С болью любил он Маргаритку, с болью вспоминал ее, всю, с ее язвами, с ее грубым криком, как дорогое, бесценное, отшедшее. Но Машку — Машку Пашкову он совсем не любил или любил ее только с закрытыми глазами, видя перед собою то Машу, то Верочку, то Маргаритку, а за любовь ее, изводящую и покорную, ненавидел порою и еще ненавидел за то, что уж очень ясно представлял себе, как сам-то он смешон и надоедлив с своею Машкиною любовью к Маше, к Верочке, к Маргаритке. И жестоко издевался над Машкой: приходил он в Бакаловский дом, в ее комнатенку, и не один приходил, а с Петей или с Женей, или с Алексеем Алексеевичем и их вместо себя предлагал ей. Последнее время Машка выходила по ночам на бульвары. Что у ней было на сердце, какое отчаяние, какие слезы, но она все исполняла, на что, издеваясь, толкал ее Коля.

Сколько раз хотел Коля все сказать Машке, сказать ей, что не любит он ее и не любил никогда, и кончить, наконец, всю мучительную ложь, которая извела его, и все ничего не выходило, — то не решался он из какой-то трусливой жалости, то решиться не мог просто из какого-то упрямства. Но теперь он твердо решил все кончить и уйти куда-нибудь, начать новую жизнь.

Выйдя за монастырскую ограду, Коля пошел по дороге к Бакаловскому дому и так размечтался, так уверился в себе, в решении своем, что забыл, куда идет и зачем.

Ему казалось, что уже объяснился он с Машкой, и она все поняла и со всем согласилась, и он уж уехал куда-то в другой какой-то город далеко от Бакаловского дома и теперь только вспоминает о прошлом мучительном, но таком далеком.

И вдруг Коля очнулся, и решение его вдруг куда-то исчезло, и он свернул на другую улицу в сторону от Бакаловского дома.

Как был бы он счастлив, если бы ничего не надо ему было делать или все само собою сделалось бы! И как завидовал он, кругом виноватый, Саше, который был во всем чист. И чувство оторванности охватило Колю. Сам себе представлялся он какою-то смертью, мыкающейся посреди всеобщего воскресения, и думал он, не разбираясь, о чем-то жутком, что вот наступит, и тогда всему конец.

Долго бродил Коля по переулкам, пока ноги сами собою не вывели его к знакомому Бакаловскому дому с черной доской на воротах, сплошь измелованной фамилиями жильцов. Как клопы жили люди в Бакаловском доме.

На звонок вышел дворник Степан.

Коля стоял и смотрел на его рыжие, засаленные усы, на мелкие, потные рябины и ничего не говорил.

— Вам Машку? — спросил дворник и подмигнул: знаю, мол, зачем вам она понадобилась.

— Машку, вызови Машку! — словно обрадовался Коля.

И пока дворник ходил за Машкой, стал он разбирать фамилии жильцов на черной доске, и одна чудная фамилия П л я м к а привязалась к нему.

«Плямка!» — повторял Коля, бессмысленно глядя перед собой, пока не выбежала к нему Машка: она запыхалась в своей драповой кофточке, а на исхудалом болезненном лице ее светилась улыбка.

Коля молча пошел от ворот, и Машка за ним. Шли молча. Как пчела, налетала на Колю П л я м к а и жужжала где-то в мозгу.

«Плямка!» — повторял он бессмысленно.

— Куда вы? — испуганно окрикнула Машка, схватила Колю за руку.

Но он вырвался, ничего не ответил. И долго плутали они из переулка в переулок, с улицы на улицу.

Поравнявшись с подвальной пивной, Коля вошел в пивную, и Машка за ним.

Пивник Гарибальди — лысый, в очках, с крошечной бородкой-колышком, без усов, лукаво улыбался гостям.

В пивной было жарко.

Отдышавшиеся тяжелые мухи полусонно перелетали по стаканам. И пиво казалось тягуче-приторным.

— Самую новейшую откупорил-с, — утешал Гарибальди какого-то оболваненного гостя, и улыбался.

А Коле казалось, пивник над ним смеется, да и как ему не смеяться: вчерашняя-то ночь на его глазах прошла!

Машка жалко сидела в своей драповой кофточке, из-под платка выбилась у ней светлая прядь волос, а лицо закраснелось. Несколько раз порывалась она рукавом вытереть себе пот со лба, а тяжелый драповый рукав только шерстил.

В пивную набирались гости, занимали липкие столики. Пробки наперебой хлопали.

— Не знаю, что мне делать, — нагнулся Коля к самому лицу Машки, — слышишь, уеду я, тяжко мне так...

Машка испуганно захлопала покрасневшими глазами, а веки ее стали пухнуть, и губы вздрогнули.

— С другими ходишь... да? — уж резко спросил Коля.

— Хожу, — едва слышно ответила Машка, закрылась руками.

— И не захворала?

— Н-нет... еще...

— С кем?

— Да с вашими... Сами вы, сами вы кругом виноваты! От Бакалова-то, помните, написала я письмо вам, помните, а сама ночей не спала, все ждала вас. Измучилась вся, ждавши, думала: не увижу уж. А вечером пришли вы тогда поздно, и с вами этот длинный... Поняла я тогда, сразу по-

няла все, чего хотите. И горько мне и обидно мне, так бы всю грудь разорвала себе.

Коля сморщился, ясно вспомнив вечер, когда привел он к Машке Алексея Алексеевича.

— Уйду я, — сказал он сухим голосом.

— Бог с вами! — Машка сжалась, ушла вся в свою кофточку, только худенькое лицо ее еще больше зарделось.

Гарибальди поставил на стол еще бутылку.

Коля налил себе и Машке и, не дожидаясь, стал пить.

— Плямка, — сказал кто-то, — ты и есть эта самая Плямка, безглазая, паршивая... Плямка.

Машка утерлась рукавом и залпом хватила стакан.

— Навсегда? — спросила она резко не своим голосом.

— Навсегда, — сказал Коля твердо, не взглянул на нее, и еще что-то хотел он сказать ей, чтобы смягчить резкость свою, но мысли безалаберно мчались, и одна мысль била другую, и расплывающиеся звуки хмельных голосов изводяще сновали.

А у Машки страшное слово одно выстукивало в сердце, выстукивало твердо, без пощады. Она не плакала, только лицо ее как будто состарилось, да яркие красные пятна вспыхнули на щеках, а губы дрожали, словно над пропастью стояла она, словно сердце ей резали. И вдруг острая мысль о завтра будто рассекла ее с головы до ног, и стало ей ясно, что в ее завтрашнем дне нет ничего, ни единого самого малого светика. Кофточка на ней затопорщилась, будто лопнула. Она схватила Колин порожний стакан и хряснула стаканом прямо Коле в лицо.

И стакан, скользнув по его губам, разлетелся вдребезги.

Коля на минуту видел лицо Машки, такое вдруг большое и страшное, оно мелькнуло на минуту перед ним, как шар-молния, и веки его от боли захлопнулись.

Машка всем телом навалилась на Колю и била его кулаком по глазам, по его темным глазам, скрывающим всю жизнь ее, всю тоску ее, все, все ее сердце. И кровь жгла ему щеки и губы и ползла по щекам и губам.

— Ой да бабенка! — гоготали в пивной за столиками, и огромные красные рты раздирались от хохота.

Гарибальди подошел к гуслям, поправил очки, улыбнулся, взмахнул рукой.

И запели гусли заунывную широкую песню, — пелась песня, выплакивала, выговаривала:

«Мать-сыра земля, я — сын твой, не покинь меня!..»

Коля вырвался из рук Машки, размахнулся и шваркнул ее оземь.

И медленно поднялась Машка, села к столику, покорная, и затихла, и Коля сел к столику, закрылся руками.

Капали на стол капельки крови горячие, расплывались в пролитом пиве.

«Мать-сыра земля, я — сын твой, не покинь меня!..» — дрожала струна, выплакивала, выговаривала.

И вдруг задрал чей-то визгливый, резкий, как красный кумач, бабий голос кабацкую песню:

У нашего кабака
Была яма глубока...

Показалось Коле, что закрыты все двери, совсем наглухо забиты двери, и выйти нельзя. А на сердце будто чьи-то тугие железные пальцы защемили сердце. Коля открыл лицо, хотел сказать Машке, не прощенье просить, а сказать ей, как тяжко, и за что так невыносимо тяжко, и, проскрипев неясно голосом странным, как зелень, с болью, уткнулся в колени Машки и так застыл, весь дрожа.

Как во этой-то во яме
Завелися крысы-мыши,
А крысиный господин
По канату выходил...

визжал резкий, как красный кумач, бабий голос кабацкую песню.

— Сукина манишка! — дубастил чей-то барабанный голос, разбивая песню, — сукина манишка! — и стучал кулаком.

— Кой черт посмел во гусли петь, а? Государственными законными правами, слышь, лысый! — кипятился какой-то законник.

— Плямка, сволочь... — дружески, необыкновенно ласково упрашивал о чем-то приятель приятеля.

— Лексеев, отступись... Лексеев... — уговаривал задирщик тихого.

— Уж сколько раз я зарекался, да в эту улицу не ходить... — тянул свое одинокий мутный голос, и чьи-то руки бултыхались в табачном дыму.

Гарибальди улыбался.

И казалось Коле, едкая горечь, желтыми, как пиво, мокрицами выползала из углов, ползла по полу и прямо на него, и какие-то голые уроды, киша под лавками, вдруг выскочили к столам, взялись за руки и завертелись хороводом, и хоровод рос, сползался, — прыгал, сползался, взлетал под потолок грузным пивным телом и расползся по полу тягучим тестом — прыгал и, вдруг закрутившись зубастым винтом, завертелся не хоровод уж, а сам крысиный господин — тошнотворная, гадкая, безглазая плямка. И слезы душили его от отчаяния и не проливались, слезы напрягали все сердце и не выходили.

— Колюшка, голубчик, Колюшка, дай помогу! — Машка помогла ему встать и, расплатившись, повела его к двери вон из пивной.

В монастыре звонили к вечерне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Раненое сердце

В то время, как Саша оканчивал свои объяснения у Сергея Молчанова и, высказав всю правду свою и всю свою тяготу сняв с себя, чистый кругом и уверенный, успокоенный собирался домой уходить, в то время, как Коля, чувствовавший себя кругом виноватым, и не сделав ничего, чтобы распутать узел, затянувшийся петлей, засыпал тяжелым сном на кровати у Машки в ее убогой Бакаловской комнатенке, — в Огорелышевском саду погибал Прометей, раб Митрий, великий Прометей, солитер, служитель при слоне, половой с Заречья, Наполеон, не обнаруживший

своего величия, не завладевший землями и странами, не покоривший Азию, Африку и Европу. Прометей погибал среди бела дня один в неизъяснимых муках и страданиях великим избранником, явившимся в мир несовершенный и убогий.

Поднявшись на ноги с Петей и Женей, когда уж прошел в монастыре крестный ход, и здорово опохмелившись, Прометей поиграл на своей гармонье, прокричал себе многолетие с перекатами и, вместо обеда снова выпив, пошел в сад поразмяться. И там, в саду, затеяв с Петей на березе чай пить, влез на крышу сарая, а с крыши на старую березу, всю одетую зелеными сережками, такими душистыми и нежными.

Петя вызвался подать Прометею стакан чаю на березу и, схватившись за ветку, подавая стакан, крикнул:

— А что, Прометей, вот выпьем мы чаю на этой березе, у нас, как у птиц, вырастут крылья, что тогда?

— Полетим! — будто гаркнул, просипел с березы Прометей и, приняв стакан, залпом выпил горячего чаю и вдруг застыл весь: сзади спину что-то кололо.

«Не крылья ли уж?» — подумал Прометей и, страшась оглянуться, потер спину рукою...

Стакан выпал из рук Прометея, и в ужасе хотел Прометей крикнуть Петю и только скрипел зубами: один он сидел высоко на старой березе, и крылья клейкие, как молодые листочки березы, все из клейких зеленых листочков и нежных сережек, огромные лебяжьи крылья давили ему спину.

«Куда теперь? — метались его обожженные мысли, — куда ему деваться с этими тяжелыми лебяжьими крыльями? Спуститься с березы, но там на дворе не ступить ему и шагу, затравят фабричные, и никуда не выйти ни за ворота, ни в баню: с крыльями не пустят в баню, заберут в участок, и коричневую праздничную визитку нельзя надеть и спать невозможно, не уснуть, когда спину давит. Куда ж ему деваться? Лететь, — куда полетишь? На Ивана Великого? Или перелетать ему с колокольни на колокольню? Хорошо еще летом, а зимою замерзнешь, на Иване Великом замерзнешь, как сорока. Куда же ему? Выше лететь, но там,

высоко, там задохнешься, там голова закружится. Ни до какой звезды не долететь ему, ни до какой планеты, там задохнешься. Да куда же деваться ему, Прометею, единственному крылатому на земле, ему, генерал-лейтенанту, генералу от инфантерии, наказному атаману Войска Донского, генералиссимусу Дмитрию-Прометею Мирскому? Нет ему нигде места!»

А крылья клейкие, как молодые листочки березы, все из клейких зеленых листков и нежных сережек, огромные лебяжьи крылья давили ему спину, и спина ныла от боли, и мутилось в глазах: нет ему нигде места!

— Маменька, спасите меня! — Прометей перекрестился и полетел, полетел с березы прямо в пруд.

Прошло с час, пока не хватились Прометея.

В монастыре кончали звонить к вечерне, когда вышла Прасковья в сад Митю покликать чай пить, да так у калитки и подкосило ее: в пруду у плотика, стоя, с разинутым рыбьим ртом, плыл мертвым поплавком захлебнувшийся Прометей с веткою березы за плечами и не откликался, не мог откликнуться — мертвый.

Ничего не знал Коля, он не знал, что делалось в их красном флигеле, и что уж нет на свете Прометея, что увезли Прометея в больницу для вскрытия, и также не знал он, что его самого ждет завтра, когда вечером, проспавшись, шел он от Машки, глубоко вдыхая теплоту вечернюю.

Веял вечер весенний, голубыми воздухами любовно пеленал весеннюю красную землю. Тысячи толкачиков толклись, теребя долгий ласковый луч, уходящий, засыпающий на ночь.

Дойдя до монастыря, Коля повернул на бульвар и медленно пошел по боковой аллее, хоронясь и надвигая на глаза шляпу: саднило щеки, а прикушенный язык то и дело лизал кусочек отсеченной, мешающей губы.

Коля то обвинял кого-то, то перед кем-то оправдывался и, оправдываясь, залезал в такие дебри, откуда выхода никакого не было: все были правы и нечего оправдываться! — и начинал травить и унижать себя, а унижая, жалел себя и опять оправдывался. Наконец, все мысли его обор-

вались, и он перестал думать, только чувствовал, как спина и ноги его ноют, а голова тяжелеет, словно несет он на плечах тяжелый пуд.

И бездумно Коля вышел на главную аллею, но, и шагу не сделав, хотел было повернуть в сторону: навстречу ему шел Алексей Алексеевич. Коля схватился застегиваться, а пришитая не на месте пуговица только отдула полу, и бросил он пуговицу, все равно, да и поздно: Алексей Алексеевич столкнулся с ним нос к носу.

Молча взглянули друг на друга, не поздоровались, молча пошли они рядом.

— Что случилось? — испугался Коля: у Алексея Алексеевича руки болтались, как плети.

Но ответа не было.

И так шли они молча по главной аллее, не глядели друг на друга и не расходились, словно кто-то третий шел с ними, сковывал своими руками их руки.

— Сергей-брат зарезался, — проговорил вдруг Алексей Алексеевич и улыбнулся, — в отхожем месте перочинным ножичком.

— А где Саша? — оступился Коля, холодные, как ледяшки, все слова застряли.

— Крови так пустяки, на ладошке унесешь... — Алексей Алексеевич согнул руку совочком, и понес ее перед собой, не разжимая пальцев.

И опять шли они молча, шли неровно, то торопясь, то замедляя.

Нарастающая вода разливалась половодьем, — подплывала Синичка к Огорелышевскому пруду.

Мелькнул красный флигель, красный забор, вот и ворота.

«Ворота отворены!» — кошкой царапнуло в сердце, и Коля пустился бежать, словно отворенные ворота дали знак его сердцу. И добежал он до ворот и по сырому двору, по перекрестным следам от колес бросился на черный ход.

На кухонном столе горой подымались подушки и одеяло Саши.

— Известное дело, из тюрьмы в Петербург перевезут в

Петропавловку... — сказал городовой Максимчук и виновато обернулся к Коле.

— Братца вашего, Сашу, так ей-Богу, один грех на Пасху...

— Ваша милость, никто другой! — ворчала Арина Семеновна–Э р и х, поводя носом, — всех вас повесить мало.

— Я тебе говорю, ты подушку сейчас же отправь, я тебе говорю, Максимчук! — голос Пети каплей долбил, уши у него горели.

Розик, заглядывая в глаза, стоял на задних лапках — служил, Розик служил, и глаза его плакали, словно просили, как о крохотном каком-то завалящем кусочке сахара, ну хоть о капле милосердия.

Прасковья сидела на Степанидиной кровати: обезножела от горя:

— Митя, Митенька, — повторяла Прасковья, — погубил ты свою голову, Светло-Христово Воскресение!

— Прометей утонул! — сказал Женя: над бровью у него дергалось.

— А Филиппка сызнова по статье законов! Филиппок-то говорит мне: мамынька... — и вдруг, засучив рукава, закричала богобоязненная Степанида, и темный платок спустился с ее головы, — шпульники вы, проклятые, доберутся до вас, окаянных, доберутся до вас, извергов, просить будете, нет, не будет пощады, шилом брюхо проколют, выворотят! — и зарыдала на голос.

— Сашу в тюрьму увезли, и не обедал, увезли в карете, — сказал Женя: над бровью у него дергалось.

— Перочинным ножичком... крови так пустяки, на ладошке унесешь! — услышал Коля голос Алексея Алексеевича и бросился из дому.

Коля бросился из дому за ворота, на улицу, словно кто-то гнал его бежать без оглядки, куда глаза глядят.

Он чувствовал, как ноги несут его, он слышал, как никогда еще так ясно не слышал каждый звук, кажется, ни одного звука не проронил он.

Свистки на железной дороге и звон часов, и дребезжание пролеток, и гул отдаленных колоколов, все навязчиво

лезло, будто пряча что-то, будто скрывая от него самое главное.

На запотевших окнах Сухоплатовского освещенного дома, под чуть слышную музыку, прыгали тени.

«Танцуют, — подумал Коля, — они не знают! Кто же знает! Кто видит?»

Кровь вскипала у него на сердце, каждая кровинка, испаряясь, ложилась иглой на сердце, каждая кровинка колола сердце — черное, посиневшее от боли сердце, и тоска, как кровь из смертельной раны, хлынула на него.

Коля добежал до монастырской горы и, цапаясь и падая, вскарабкался на монастырскую гору, пошел к ограде к башенке, к каменной лягушке.

Меркло зеленоватое затихшее небо. Зеленый месяц тихо взбирался на ограду вверх к колокольне. А внизу гудела, плескалась поднявшаяся Синичка, гудела, ворчала, выводила одно и то же свое речное, полноводное.

Каменная лягушка шевелила безобразными перепончатыми лапами. Вздувалось ее белое каменное брюхо.

Сгорбившись, прошел Алексей Алексеевич с согнутою совочком рукой, весь зеленый, улыбался.

Вдруг со страшной высоты, словно грохнулись на Колю все колокола — ударили часы, и каждый, выбиваемый час бил его, и он повалился на землю, обнял лягушку и ударился головой о холодный камень, и белые колкие искры, взорвав тьму, разлились в глазах.

С неизъяснимой радостью Коля бился лбом о камень, бился крепко и больно.

Казалось ему, прощается он со светом, безрадостным, надругавшимся над ним, ранившим его детское сердце, прощается со светом, безрадостным, искровянившим его тело, исполосовавшим всю его душу, прощается с теми, кого так крепко любил и кого не любил вовсе, и просит простить за все слезы, за всю муку ради его мук...

Каменная лягушка шевелила безобразными перепончатыми лапами, вздувалось ее белое каменное тело, а с красной, ржавой коростою покрытой, пасти слетала шелуха, и выступало измученное лицо человека.

И плакало сердце, тихо, как плачут одинокие, у которых отнимают последнюю надежду, как плачут оклеветанные, у которых нет защиты, как плачут бессильные перед судьбою, которыми крутит и вертит судьба, не слышит их жалоб и слышать не хочет, как плачет нежное сердце в мире грубом огрубелых сердец.

Коля медленно поднялся с земли.

Река не бурлила, трава не росла и часы не ходили, только встревоженные стрижи чуть зазвенели, перенося молитвы, да красный благословляющий огонек теплился в окне башенки у старца, а над башенкой стоял зеленый месяц.

Коля отступил на шаг, и вдруг блеснувшая мысль перехватила дыхание, — он быстро нагнулся, пошарил по земле, нащупал голыш, зажал его в кулак и, отступив еще на шаг, прицелился, развернулся и бацнул камнем в красный благословляющий огонек.

Свистнул камень, звякнул в окошке, — огонек метнулся, затрепетал и канул, красный огонек погас.

Коля постоял минуту, посмотрел на темное окошко, и, не оглядываясь, твердо пошел от ограды начинать свою новую жизнь.

А там на огорелышевском дворе в белом Огорелышевском доме уже решена была судьба его. Последнее терпение лопнуло у Арсения: что ему еще делать, как поступить, да так, видно, и поступить — завтра же выгнать Финогеновых из их красного флигеля, чтобы и духа их не было на дворе, пускай как знают, так и живут. И уж отдано было приказание завтра же очистить красный флигель.

А там Синичка, сливаясь с Огорелышевским прудом, подплывала к красному флигелю и гремела полноводная, выводила одно и то же свое речное, полноводное, покрывала оттаявшую землю, такую непонятную, с ее неразгаданной непостижимой жизнью.

А там, на ржавом гвозде затопленного огорелышевского забора, отделявшего Синичку от пруда, что-то серело в зеленоватой лунной ночи — один из бесов, бесенок с ликом неподкупной и негодующей человеческой честности и справедливости, по-кошачьи длинно вытянув вверх ногу, горько и криво смеялся закрытыми губами.

Он-то знал, и на какую новую жизнь вышел Коля и зачем Арсений велел выгнать Финогеновых, выгнать, как в погоду собаку на улицу, и зачем все горе человеческое, от которого камень-кремень трескается, зачем злая судьбина, беда, не-доля, и зачем одни обречены ей, а другие свободны? Да знал ли он? И кто он — демон, один ли из бесов или просто бесенок? И демон, и бес, и бесенок, он знал и горько и криво смеялся с сжатыми губами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бесы служат ему

От Камушка до Чугунолитейного завода и от Колобовского сада до Синички на огорелышевской земле и без Финогеновых — без Александра, без Петра, без Евгения и Николая шла жизнь по-своему, словно Финогеновых никогда и никто не видал на дворе, шла жизнь по строго заведенному английскому порядку, втиснутая раз навсегда в крепкую огорелышевскую оправу.

На огорелышевском дворе со смерти Вареньки уж больше никакого бунта не повторялось, и Прохор, слесарь, заменивший Павла Пашкова, баламутчик и смутьян, с год как сидел в новой тюрьме за Боголюбовым монастырем у заставы.

Кузьму, дворника финогеновского, белым дворником в белый Огорелышевский дом перевели, а на его место к красному Финогеновскому опустевшему флигелю Егора-Смехоту поставили, племянника Душки-Анисьи, Андрею-Воробью, управляющему, дали золотую медаль и почетное гражданство за преданную верную службу.

Игнатий Огорелышев — Игнатий Николаевич — по-прежнему смотрел за фабрикой, отдавая свой большой досуг благотворительности и садоводству, Ника — Никита Николаевич был все так же занят и приемами и гостями, способствуя слиянию сословий, как сам любил порассказать о себе в свой довольный стих. Сеня Огорелышев, уже директор Огорелышевского банка, был как нельзя лучше на своем месте, подписывал бумаги с росчерком, подражая отцу, и задумывал жениться.

Старел Арсений, но, кажется, с годами еще больше кипело в нем. Весь в делах, он все торопился, все беспокоился, хотел все сам осуществить и по-своему. И чувствуя постоянно, что времени нет, а надо много времени, чтобы все самому успеть сделать, потому что кто же сумеет сделать лучше его, он отрывал от себя свои последние минуты отдыха.

Прежде, два раза в год — перед Рождеством и Пасхой ходил Арсений в Синичкинские бани, теперь же только перед Пасхой. И в этот банный день с утра уж вставал он таким злым и таким неприступным, не дай Бог попасться! Как русский человек он любил баню, но вот и на любимую баню жалко ему стало времени.

Обтрепанный, в старом засаленном сюртуке, нечесаный, с кое-как подстриженной бородой, щетинистый весь и колючий — не Огорелышев, а жулик какой-то, Арсений давал повод к всевозможным полицейским недоразумениям: то околодочный из новичков в церковь его не пропустит, то городовой окрикнет. Околодочный и городовой на другой же день полетят с места, а приставу — выговор.

Во всех торговых и промышленных учреждениях, в конторах и банках, во главе которых стоял Арсений, служащие ходили обтрепанные и замызганные. Судя по себе Арсений не мог допустить, чтобы человеку, занятому делами, а ведь только делом должны были заниматься, было бы еще время думать о каком-нибудь галстуке, и чуть кто показывался ему нарядным, тому он ставил это на вид.

В гости, не по делу, впрочем, по делу не он, а к нему приходили, Арсений появлялся редко. И всякий раз, когда входил он куда-нибудь на вечер к родственникам, уж непременно напускал такого страха, что расстраивался весь вечер. Ему, конечно, странным казалось, что может кто-то танцевать, смеяться или просто разговаривать о пустяках. И кончалось тем, что, выругав кого-нибудь и притом так, зря, недовольный уходил он домой и всегда так торопился, словно в доме его начинался пожар.

В голосе его, и без того каком-то кошачьем, появился новый звенящий звук, уж самым простым словом оскорбляющий больнее всякого грубого, всякого позорящего

имени, а в сердце его открылась ужасающая беспощадность: ты проси его сколько хочешь, ты плачь, ты умирай, ничего не подействует — что поставил, то и сделает, как сказал , так и будет. И весь он вздрагивал, словно судорога, не отпуская, бегала по нем, да и как ей не бегать! И все оттого, что сидел он Бог знает до которого часа, и вставал рано, раньше всех, и оттого, что дела заняли все в нем, и время и всю его душу. Конечно, недаром не спал он ночей, недаром так вздрагивал, — город приходил в славу, город богател, город строился на славу городам.

«При Петре Великом быть бы Арсению первым министром!» — говаривали купцы, посмеиваясь над нищедушием, убожеством и продажностью современников.

Недовольных Арсением не было, были оскорбленные, и таких много было, дошедших до последнего унижения и в обиде своей до последней терпеливости — выгнанные с места служащие, всякие артельщики, конторщики. И удивительное дело, как только он жив ходил, как его не укокошили? На князя было покушение, стрелял какой-то из молчановской компании, но на Огорелышева ну хоть бы какое искусственное, для выслуги? А пожалуй все дело очень просто: надо было обладать не меньшей силой, чтобы, встретясь лицом к лицу, вынести прежде всего этот звенящий уничтожающий звук его голоса и не потеряться, не задрожать, не выронить ножа.

Темные люди и простые, веровавшие всем сердцем своим, что старцу Боголюбовскому о. Глебу бесы повинуются, не раз поговаривали, косясь на белый Огорелышевский дом, что Арсению бесы служат.

И пожалуй были правы: так успевать во всем, как успевал Арсений, делать столько, сколько делал Арсений, что хотите, тут и в бесов поверуешь, одному человеку где ж справиться? Все один, все сам, все по-своему, и только совсем недавно в деле его нашелся ему помощник, и кто же? — верить не хотели, — Александр Финогенов.

На четвертый день Пасхи, когда вечером стало известно Огорелышеву, что утонул Прометей и Александра в тюрьму забрали, судьба Финогеновых была решена и на пятый день в четверг Финогеновых выгнали из красного их фли-

геля. Через Андрея-управляющего было передано Финогеновым, чтобы немедленно очистили они помещение.

«С вами еще и тебя заберут!» — оправдывал Андрей свое тяжелое поручение.

Куда было деваться Финогеновым? Степанида к дочери своей Авдотье-Свистухе в деревню уехала, Арина Семеновна-Эрих в свою богадельню ушла, Прасковья пока что, тоже до какой-нибудь богадельни, у Душки-Анисьи приютилась, а им куда, куда приютиться? Да куда же — Бакалов дом под рукой: взяли они с собой только самое необходимое, взяли Розика и переехали в Бакалов дом и по одной лестнице с Машкой Пашковой комнату себе наняли.

Один Евгений получал жалованье, на это и должны были жить. Петр благополучно выдержал все экзамены и в университет поступил. На университет надобились деньги и, как нарочно, ни у Петра, ни у Николая, как ни искали, первое время не находилось никакого даже самого дешевого урока. Только с осени Николай нашел себе занятия.

В пивной у Гарибальди, куда по субботам вместо всенощной заходили Финогеновы, столкнула судьба Николая с Мишкой Сухоплатовым, одноклассником, с которым Николай кончил Огорелышевское училище. Мишка Сухоплатов принадлежал к кутящей молодежи и, озорства ради, после всяких цыганок и шампанского, доканчивал свой хмельной вечер в пивной. Пьяный человек — чувствительный, расчувствовался Сухоплатов под гарибальдийские гусли, сам подошел к Николаю старое вспомнить об училище и, узнав от Николая о его жизни, вызвался ему помочь.

Николай в своей новой-то жизни дошел уж до той потерянности, когда самого себя жалко становится: и безделье мучило, и нищета доконала, хоть пропадай или иди к Огорелышеву, проси место в банке, и предложение Сухоплатова было ему очень на руку и нисколько не унизительно — Сухоплатов сам вызвался!

Мишка оказался вовсе не такой разгильдяй, каким в пивной представился, деловитости в нем было не занимать стать, и работы навалил он на Николая, знай только рабо-

тай, и очень задешево. Николай приходил к Сухоплатовым по вечерам и часто до поздней ночи сидел, не разгибаясь, за счетами.

Сначала-то, весь отдаваясь потерянности своей, Николай нашел себе до боли раздражающее удовольствие корпеть над сухоплатовским делом: до боли приятное что-то чувствовал он в сознании своем, что вот он, Николай Финогенов, сидит за какие-то копейки у Мишки, у которого и лицо-то лошадиное, на плевок просится, а он, Николай Финогенов, знающий столько, что Мишке никогда не допрыгнуть до него, не только не плюет, а покорно высиживает час за часом, слушает Мишкины замечания, слушается Мишку, как старшего. Но потом и совсем незаметно все перевернулось: Николай готов был еще больше делать для Сухоплатова и гораздо меньше получать за работу. Таня Сухоплатова, сестра Мишки, которую когда-то на Огорелышевской серебряной свадьбе Николаю Александр показал, вот в ком все дело, вся причина.

И все вышло у него из головы, все Бакаловские будни, все ушло из его сердца. Какая Маша? — И как это давно было, смешно и вспомнить! Какая Верочка? — Да была ли она, не приснилась ли? И никакой Маргаритки никогда не было, а была всегда одна единственная, одна Таня.

Когда Коля влюблен был в Верочку, он не забывал и Машу, когда он влюбился в Маргаритку, он вспоминал и Машу и Верочку, он как-то делил их трех, но теперь одной и нераздельной была для него Таня, теперь ему казалось, что только теперь начинается его настоящая новая жизнь.

Так прошла зима. С Таней Николай встречался за работой: Таня входила в комнату брата под каким-нибудь пустяковским предлогом и оставалась подолгу. Объяснений между ними не было: так само собою вышло и без всяких слов. В гости к Сухоплатовым Николая не приглашали и только всего один раз в свои именины позвал его Мишка. Кроме пиджака, от которого несло стеарином, у Николая ничего парадного не было, и он нарядился в студенческий мундир, у Петра взял на вечер, и чувствовал себя очень неловко. К его несчастью на именинах оказался двоюрод-

ный брат Сухоплатова, студент настоящий, и было уж совсем неловко. А какая ревность мучила Николая, когда Таня нарядная входила к брату, чтобы ехать на бал или в театр! Ни в театр, ни на бал, куда уж ему! И ревность и какая зависть, и отчаяние, и упрямство: он добьется своего — будет и его время.

На Пасху выпустили из тюрьмы Александра. В Бакаловском доме Александр и недели не прожил. Скоро после свидания с Арсением, который его вызвал к себе для объяснений, получил Александр место в банке, сделался секретарем Арсения и ушел от братьев. Дело Александра осталось без всяких последствий, много этому содействовал, как говорили по городу, сам Арсений.

Весной Сухоплатовы уехали в свое подгороднее имение, и Николай уж больше не видал Таню. А занятия у Мишки продолжались. Несколько раз Николай встретился у Сухоплатова с Александром. Перед Александром Мишка заискивал, а из их разговора оказалось, что Александр бывает у Сухоплатовых, знает всю семью и Таню. Николай, делая вид, что занят счетами, особенно прислушивался, когда разговор касался Тани, и ему всякий раз казалось, что Александр как-то неприязненно смотрит в его сторону, и еще заметил он, что Александру просто стыдно за него.

Осенью, когда Сухоплатовы опять вернулись в город, Николай не нашел в Тане никакой перемены, только она много расспрашивала его об Александре, и из ее расспросов Николай понял, что Александр имеет на нее какие-то виды и, кажется, к удовольствию и с одобрения всей семьи. Но сама Таня не придавала этому никакого значения и, когда Николай высказал свои предположения, просто слышать ничего не захотела и даже просила больше никогда, никогда не касаться этого вопроса: замуж за Александра она никогда не выйдет. Это Николая страшно подняло и ходил он как в чаду. Как он тогда счета все не перепутал, надо диву даваться. А кроме того, с первым ненастьем Машка померла и, словно крест у него с шеи свалился, — теперь уж никто не будет стоять над его душой. И в заключение всего вдруг вызвал его сам Огорелышев. Было

большое искушение не идти, отказаться, но все-таки Николай пошел. О службе в банке, чего так боялся Николай, ни слова не было сказано.

— Будешь ты заниматься делом? — спросил Арсений.

— Я сдам экзамен и в университет поступлю, — ответил Николай.

— Можно и без экзамена, поступай слушателем, занимайся финансовым правом, а со временем мы тебя отправим за границу на наш счет...

— Я не хочу! — резко сказал Николай и повернулся.

— Что? — уж кошкой ощетинился Арсений и, не дожидаясь ответа, взвизгнул по-своему, — свинья!

И этот последний визг, один этот звенящий звук огорелышевского голоса, словно пронзил Николая насквозь, и провожал далеко за ворота до самого Бакаловского дома.

На другой день Сухоплатов отказал Николаю от работы. И сразу все рухнуло. Где ему видеть теперь Таню? И сколько бы он дал за то только, чтобы вернуть, ну хоть лето, когда он, и не видя ее, высчитывал день ее возвращения; надеясь, мечтал о свидании. Все кончилось. Ему оставалось выслеживать ее, хорониться под воротами, или под дождем зябнуть у фонаря в переулке, и то, чтобы только мельком взглянуть и уйти. Но судьба решила все посвоему. Случай вывел Николая из его отчаянного унижения.

В полугодовщину какого-то произвола, как гласило воззвание, на сорочины какой-то ходынки — такова уж жизнь наша, наша Россия, буйные ветры гуляют по ней и без ходынки не обходится дело, назначена была студенческая демонстрация. Петр, хоть и вышел из университета и служил в театре на маленьких ролях, а непременно решил идти на эту демонстрацию, Николай сначала не хотел, но потом, как когда-то в крестный ход, и его потянуло. Пошел Николай с Алексеем Алексеевичем только посмотреть, попал в самую толчею и загнали его вместе с другими в манеж, а из манежа в участок, а из участка в тюрьму — в новую тюрьму за заставу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сто усов — сто носов

Николая сунули в камеру.

— Вот вам парашка, а вот кровать! — сказал тюремный надзиратель и, громыхнув ключами, вышел.

И растерянно звякнув, защелкнулся замок двери, замер стук ключей и топот уползающих шагов надзирателя.

Николай остался один.

И стало ему одиноко, — так не чувствовал он себя одиноко ни даже там, в участке, где в тесноте и толкотне, скорчившись, сидел он один в своем порыжелом узком драповом пальто, один не студент среди студентов и слышал, как шептались вокруг, называли его шпионом, и видел, как показывали на него, смотрели злыми глазами, ни дорогой на извозчике об бок с городовым, таким жалким и зябким, опасливо посматривающим на своего соседа, который вот-вот убежит.

Стены белые-белые, от лампы блестят, будто тертым стеклом усыпаны.

Смятый тюфяк и подушка с узкой кровати полезли в глаза, и казалось ему, шевелилось это серое месиво, тряслись лохмотья, как студень, по кусочкам расползались, и лечь было страшно, но он подавил в себе омерзение, повалился, не раздеваясь, и в пальто, и в калошах, и в шапке, и сразу заснул.

Было невыносимо жарко, когда Николай очнулся.

«Да это банный номер!» — решил он вдруг спросонья и обрадовался.

— О. Гавриил, а Гаврила, где ты? — покликал Николай запекшимися губами.

А в камере было тихо и одиноко. Под потолком сторожила брюзжащая лампочка.

Стены белые-белые, от лампы блестят, будто тертым стеклом усыпаны.

Николай снял пальто, калоши и шапку и опять завалился, и только что закрыл глаза, как явь и сон перемешались в его тяжелом сне.

Ему представилась битком набитая площадь, та самая, где остановили казаки демонстрацию. Крик резко раздирал гул и гомон толпы. Какие-то рахитичные большеголовые дети цеплялись скрюченными бледными пальцами за подол женщин и выли, как воют дети, выплакав все свои слезы. А он будто стоит в толпе среди воющих детей и ужаснувшихся женщин, и ждет чего-то, необыкновенного, что должно непременно прийти из-за домов и соборов, и кажется ему, все этого ждут, и дети ждут, и потому воют.

Была облачная лунная ночь. Лунные тучи кутали небо сочащейся зеленью.

Как захотелось ему умереть, сгинуть совсем, не быть на земле, какой желанной представилась ему смерть, уводящая с этой битком набитой площади, тихая среди воя и крика, спокойная, среди тревоги и давки!

И вдруг вся живая движущаяся площадь на минуту словно окоченела, замерли крики, затих вой, и сам он почувствовал, как ноги его будто приросли к земле: то необыкновенное, чего так ждали, что должно было непременно прийти из-за домов и соборов, наконец, наступило. И вот нечеловеческий вопль, как смертельная весть, пронесся из уст в уста и, словно верным серпом обогнув площадь, острым жалом резнул ее всколыхнувшуюся грудь: черные руки, такие длинные, беспомощные, взмахнулись над головами, черный дождь жужжащих казацких нагаек взвизгнул и шумно и дико запел, так поет в раскаленной степи пожар ковыля.

А он будто стоит среди побоища покорно и ждет своей очереди: как хотелось ему умереть, какой желанной представилась ему смерть!

Какой-то здоровый парень-казак, перегнувшись с седла, хлестал по спине полуобнаженную женщину.

И он видит, как от стыда и боли изгибается ее спина, и проступают по телу от хлестких ударов полоски красные, синие, черные, а руки ее отчаянно ломаются в воздухе, словно хватаются за что-то в воздухе.

Это Таня кричит:

«Спаси меня!»

А рядом с ней выбивает горох на игрушечном барабане

о. Глеб, Боголюбовский старец: схима его сбилась набекрень, как казацкая шапка, пьяный он совсем, и губы кровью вымазаны, и на губах улыбка Ники Огорелышева:

«La donna è mobile, gual piumo al vento!»

Николай вскочил как ужаленный.

Форточка двери была открыта, в нее глядел надзиратель, помахивал синей тетрадкой.

— Выписочку, — слащаво повторял надзиратель, — назавтра напишите, выписочку, что надобится в лавку.

Николай подошел к двери, взял тетрадку: что ж ему выписать?

—Чаю и сахару, — подсказал надзиратель.

И когда все было написано, и синяя тетрадка мелькнула в форточке, и форточка двери захлопнулась, Николай опять остался один в своей камере.

Стены белые-белые, от лампы блестят, будто тертым стеклом усыпаны.

Было невыносимо холодно: зуб на зуб не попадал, и он снова надел пальто, калоши и шапку и стал ходить по камере.

В жужжащей тишине слышались ему отдельные слова, обрывки целых фраз, и совсем недавние и какие-то давнишние, забытые. До мельчайших подробностей восстановил он прожитый день, перебрал каждый шаг с самого утра: как встал, и как умылся, и как чай пил, и как вышел из дому, и как встретил на бульваре Алексея Алексеевича и всю демонстрацию до манежа и после манежа в участке, и досадовал, что произошло все так несуразно, и горячился, хотел бы теперь повернуть весь день и по-другому все сделать.

Щелкнул в о л ч о к над форточкой двери, — мелькнул глаз надзирателя и скрылся.

И с залежанного тюфяка и с взбитой комом подушки глянула на Николая какая-то постылость и покорность. И вся жизнь показалась ему такой ненужной, — ни одного белого лучика, — вся жизнь показалась ему неверной, и червями выползали из всех лиц, и таких безупречных, грязь и гадость, и выступали откровенно и нагло позорящие человеческую душу поступки и мысли.

За окном выл ветер и тупо и скучно дышал своим холодом в самое ухо.

«Какие они глупые, сочли меня за шпиона, потому что я не в студенческой шинели, только потому. А Петра, должно быть, не взяли и Алексея Алексеевича тоже. Ну слава Богу, пускай себе на воле ходят!» — Николай снова прилег на кровать и согрелся.

По трубе пар пустили, и стало теплее. Стал Николай дремать и в дрёме казалось ему, будто не пар в трубе, а великан бежал на огромных ногах по потолку, добегал до его изголовья, заглядывал ему в лицо и, ухая, бросался опять в потолок, а за ним другой, а за другим третий. Так и заснул.

И представилось ему, едет он будто в вагоне, и буфера у вагона трутся и все будто приговаривают припев непристойной песни: Сто усов — сто носов! Лавки и полки вагона сплошь кулями заставлены, а в кулях что-то живое ворочается, не то мыши, не то какие-то лягушата поганые, а припев до тошноты изводил: сто усов — сто носов! И он мечется по вагону, как шпареная крыса в мышеловке, а выскочить не может, — не умеет дверь отворить, а кульки уж едва держатся на полках, так и движутся, вот упадут и прямо на него. И только что он подумал о страшных кульках, как холодные стальные лапки впились ему в шею, и что-то железным кулаком ударило его по голове. Попадали кульки — кулек за кульком прямо на него.

С болью раскрыл Николай глаза.

В коридоре тюремный колокол звонил к поверке.

«Сто усов — сто носов!» — повторял Николай, словно пришибленный, повторял под звон колокола.

Надорванно-растянутой, узловатой полосой прошмыгал сонный строй ног мимо камеры.

Загремели ключи, и раскрылась дверь.

Два отекших арестанта, переминаясь и сопя, вошли к нему в камеру, вытащили помойное ведро и, отмахнув руки, потащили вон в коридор.

—В шесть вставать полагается, — сказал надзиратель, поднял кровать к стене, запер ее и вышел.

Николай остался стоять, уж больше нельзя ему лечь, он слышал убегающие шаги, такие большие и твердые, и казалось ему, они могли растоптать его, он слышал звон и стук ключей, и казалось ему, они заставили стоять его, они владели им, как вещью, нет, полнее, чем вещью, и новое чувство — неволя наполнило его сердце.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Приидите ко мне!

Пришибленно долго стоял Николай у запертой привинченной кровати, пришибленный новым неиспытанным чувством неволи. Долго не мог он приладиться.

Меркнул медный свет тюремной ночи.

Подслеповатое иззябшее зимнее утро, проползая по снежным тучам, кутало белой паутиной ржавое окно, а форточка от ветра все вздрагивала.

Николай прочитал тюремные правила, дотронулся до мажущихся стен, потрогал стол и табуретку, заглянул на полку, уставленную казенной посудой, осмотрел икону Спасителя: Приидите ко мне все труждающиися и обремененнии и аз упокою вы! — погладил прошлогоднюю пыльную вербу, — верба словно грозилась из-за иконы, повернулся и стал ходить по камере.

И желая сообразить, как ему быть теперь в этой еще новой жизни своей, он совсем невольно принялся каплю за каплей собирать все пережитое за полтора года своей новой жизни, с того самого дня, как выгнали их из красного флигеля, вспомнил минуту, когда с ожесточением мечтал он о каком-то своеволии, которое непременно рано или поздно придет к нему, и все свои дни, которые так прожил, будто летел над пропастью: терял голову и падал, и валялся в грязи, и захлебывался, но что-то оживляло его и уносило опять дальше над пропастью, а, может быть, никуда и не уносило, а только крутило на одном месте.

Последний день, прожитый в красном флигеле, выступил перед ним.

Николай помнит этот последний день, когда, укладываясь, ссорились, грызлись друг с другом, ломали, коверкали вещи, лишь бы на чем-нибудь сорвать сердце, помнит невыносимое молчание, когда очутились в грязной комнате, пропитанной жильцами, голодом, беднотой, когда очутились в новой своей квартире, в давящей уничижающей тесноте Бакаловского дома. Сидели они на узлах, не раскладывались и голоса не подали, боялись, голос выдал бы плач, от которого душа захлебывалась:

«Почему, почему мы такие...?»

Николай помнит и следующие дни, когда тихонько в дверь нужда постучалась, верная спутница неудачи, — она тебя никогда не забудет. И впустили ее, приняли дырявую, гнилую, рваную с плоским безволосым черепом, с загноившимися мутными от слез глазами. Как не принять! И вот будто в уголку где-то примостилась она зимовать. Разбухшие прелые челюсти ей рот перекосили, и хрипло и гнусаво затянула она свою песню:

«Родненькие, сердечные, есть мне хочется, дайте, голубчики, кусочек, хоть завалящий какой, родненькие!»

А вокруг ее тараканы шуршат, мыши грызутся. Клопы кишат. Кусок за куском летит в ее зловонную пасть, — подлизывает крошки проклятая, а все ей мало, все тянет свою гнусавую песню:

«Родненькие, сердечные, есть мне хочется, дайте, голубчики, кусочек, хоть завалящий какой, родненькие!»

Пришла-таки, приняли они ее, свою страшную гостью, как не принять! Унижала она их, горбила, обливала помоями, насылала болезни, посылала беду, приказывала терпеть, приказывала сжиматься, приказывала лгать. Узнали они ночи без сна за какие-то несчастные копейки, потому что как узнать, будет ли она, эта жаба, сыта, — и за копейку на все согласишься. Дыхание ее выжгло Каиново клеймо на челе: кто нужду терпел, все это знает! Но дух не угасал в них, он жил своей пещерной, скрытной жизнью, гордый, он сулил униженному сердцу власть и царство, богатый, он грезами опьянял голодное сердце, вольный, он тянул из пут на широкий простор, он горел, он разливался

огнями, он манил и под землю и за облака. А душа захлебывалась в плаче:

«Почему, почему мы такие...?»

Николай помнит и ту ночь, когда Александр из тюрьмы воротился, Пасхальную ночь. Ни пасхи, ни кулича у них не было. Сидели они все вместе в полутьме у окна, глядели в ночь и чувствовали, будто сзади висел кто-то, и пошевельнуться боялись. И вдруг ударил колокол, и душа задрожала от боли:

«Зачем, зачем Ты издеваешься так...!»

И бунтовалось сердце, хулило небо, проклинало землю: казалось тогда, не было никому до них дела на целом свете...

Николай помнит день, когда Александр ушел из Бакаловского дома: Александр не мог примириться с их Бакаловской жизнью. Николай помнит его: словно выкованный взгляд, осторожные, верные движения, которые не вскроют ни колебаний, ни раздумья, все верно, к цели, наперекор и прямо, какими угодно путями, и каменная огорелышевская улыбка: — *Все возьму, и то, чего взять нельзя!*

И вспомнив Александра и самые последние дни на воле, Николай почувствовал, как закружились мысли, а сердце переполнилось тихим светом, и тишина сердца вдруг будто громом рассеклась, пламя выбилось из каждой кровинки, загудело, завыло, и стал среди свирепого дыма такой дорогой, такой знакомый образ — Таня.

Посмотрели глаза ее, посмотрели на него, как тогда, темные, в темь его бесприютности и ожесточения, пролили жизнь на его раненое сердце — никого еще так не любил он, как полюбил ее, только отчаянный любит так свою петлю.

И вспомнил он ее первые нечаянные взгляды, такие правдивые, как весенние звезды, обещающие красные дни, а ему такую жизнь огромную, да, жизнь, глуби ее.

«Тебя! Ты мой Бог!» — рванулось сердце и повторял он имя ее, повторял голосом полного сердца ее голос, ее песню, песню песней — «Приди ко мне!» и чувствовал, как билось ее сердце близко, стук в стук с его сердцем.

— А чай в двенадцать, — сказал надзиратель, просовывая в форточку двери кувшин с кипятком и ломоть хлеба.

Николай взял кипяток и хлеб, поставил на стол, и охватила его ненависть: он готов был проломить эти стены, взорвать на воздух эти камни, это железо, эту вооруженную покорную стражу жалких тюремщиков.

Все мысли его будто прыгали на острие ножа, а сердце тихо шептало, все рассказывало свою грустную повесть: отчаянный, он тогда смерти искал, и вдруг протянулись руки к нему нежные, так нежны алые тени вечернего облачка, — это она утолила его первую жажду, это она увела его с бедной дороги, это она бросила ему в его омут купальский венок, чтобы плыл, не тонул.

«А ведь от Сухоплатовых-то тебя выгнали! — сам себя оборвал Николай, — правда, вежливо и с поклонами: нет больше работы и проваливай, а найдется еще, милости просим!» — и вдруг мелькнуло перед ним лицо Александра с его каменной огорелышевской улыбкой: все возьму, и то, чего взять нельзя!

Беззащитно опустился Николай на табуретку. Беззащитными глазами глядел он перед собой: где-то далеко на воле жили какие-то люди, — что ему до людей? — люди о чем-то думали, чего-то желали, за что-то боролись, — что ему до какой-то борьбы? — он все потерял, ему не справиться с Александром, это Александр его с дороги убрал!

И долго, сгорбившись, сидел Николай на табуретке, жалкий, — дай щелчок и скувырнется! — потом поднялся, подошел к двери, надавил кнопку, и слышал, как прозвонил его звонок такой жалкий.

— Что вам? — спросил надзиратель.

— Скоро мне чай принесут?

— Часика через два! — и только: захлопнулась форточка двери.

Николай снова прочитал тюремные правила, дотронулся до мажущихся стен, потрогал стол и табуретку, заглянул на полку, уставленную казенной посудой, осмотрел икону Спасителя: Приидите ко мне все труждаю-

щ и и с я   и   о б р е м е н е н н и и   и   а з   у п о к о ю   в ы ! — погладил прошлогоднюю пыльную вербу, — верба словно грозилась из-за иконы, — повернулся и стал ходить по камере.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Морильня

Николай ходил по камере от окна к двери и от двери к окну. Было пусто на душе, будто стадо прошло через все луга, через все пастбища его расцветшей мечты, утоптало, смутило все, что росло и хотело расти. И в коридоре было пусто и тихо, только звякали шпоры.

Неожиданно, как-то без звона, раскрылась дверь, и в камеру вошел грузный начальник.

На рубцеватом суровом лице старика светились добрые глаза. И когда говорил он, и когда обещал бумагу и чернила, чувствовал Николай, что грань, разделяющая людей на тюремщиков и узников, стерлась совсем.

Ушел начальник, принесли чай из лавки. Попробовал Николай заварить чай в кружке: размешивал, разминал его, но путного ничего не вышло, только ложка, пропитанная щами, распарилась, — кипяток остыл. И все-таки стал он пить противную тепловатую бурду, и опять ненависть охватила его, но не к тюремщику-надзирателю, который так поздно чай принес и который нет-нет да и посматривал в в о л ч о к, а к той решительнице-судьбе, по которой на долю одного присуждены голод, тюрьма, унижение и желания, сжигающие душу, а на долю другого — покой.

И когда отлегло от сердца, стало ему скучно: время пошло через силу, еле-еле — калека вестовой на изломанных костылях. И казалось ему, что живет он, как трава живет на людной улице под водосточной трубой, заметенный, заплеванный, и не знал он, зачем живет, и зачем другие живут, для чего мир, и где Бог, и какой Бог, сотворивший такой мир?

Принесли обед, простылый и невзрачный. Николай отставил тарелку, не притронулся.

Позвякивая кандалами, прошли мимо камеры арестанты.

Шум и пыль пронеслись по их следу, и день уходил за ними.

Будто растопыривая дымные кишащие лапки и помахивая безглазыми головами, наползали в камеру тюремные сумерки. И в сгущающемся мраке поднялось с души его старое наболевшее, он присмирел весь, ушел в себя, словно чья-то предательская рука с гибельной страстью запойного потащила его в глубь видений и невольных кощунств.

И растравляя наболевшее и мучаясь сознанием какой-то вины своей, увидел он собачонку Розика: Розик с расшибленной лапкой служил перед ним, а глаза его плакали. И Машку увидел он, Машку Пашкову: надсаживаясь и сопя, два утрешних отекших арестанта волокли ее за грязный обтрепанный подол, и казалось, была она, такая хрупкая, непосильной тяжестью. Расцарапанными руками судорожно и пугливо прятала Машка истощенную худую грудь, глядела на него помертвевшими от боли глазами, и он будто плюнул в ее помертвевшие зрачки, плюнул от своей невыносимой боли, и ногу занес, чтобы хоть как-нибудь, каблуком стереть этот укор: «Зачем так надругался надо мной?» И мать свою увидел, Вареньку: шатаясь и подпрыгивая, шла Варенька, губы тряслись от слез, а он не протянул ей руку, не приласкал ее, рука его упала тяжелым ударом прямо ей в спину, как тогда, в тот день, как приходил о. Глеб пруд посмотреть. И, как тогда, поднялась Варенька и молча пошла, шла она, молила хоть каплю милосердия. И увидел он Евгения—Женю, на песке будто играют вместе, и почувствовал, как в сжатой горсти захрустел сухой песок. И как когда-то он прицелился и метко пустил песку в раскрытые больные глаза Жени, и видел глаза, такие грустные, беззащитные, и сыпал и сыпал сухим песком в эту беззащитность и грусть. И тут же опять будто Розик с перешибленной лапкой служит, служит и смотрит и плачет молча: «Чем же я-то виноват?»

«Чем Розик виновен? Чем Женя виновен? Чем Машка виновна? За что им такое? В наказание? За какую вину? Варенька виновна перед собой, Варенька покорилась, когда душа ее не хотела покорности, Варенька без любви замуж вышла, но кто отмерил ей сил столько, что не хватило ей уйти из дому, кто виновен в ее вине? Прометей виновен перед Розиком. Но Прометею кто-то вложил желания наполеоновские, а силы дал куриные и Прометей задохнулся от этой несовместимости и ударил подвернувшегося Розика, кто ж виновен в его вине? Ни Варенька, ни Прометей, ни Женя, ни Машка, ни Розик, никто не виновен, я виновен, трижды виновен перед Женей, перед Машкой, перед Варенькой!»

И представилась Николаю душа его, Маргариткой представилась она ему, будто вся в запудренных струпьях и язвах стоит перед ним, стирает пудру, расковыривает струпья, разбереживает язвы, и он клянется всю жизнь ползать червем, все снести без ропота, пройти все муки, лишь бы искупить вину свою.

И вдруг белым светом будто упала пелена на его измученные глаза. Среди белоснежных облаков, воркующих с теплой лазурью, стала Таня, и уж голосом полного сердца повторял он ее имя, ее голос, ее песню, песню песней — «Приди ко мне!» — и чувствовал, как билось ее сердце близко, стук в стук с его сердцем.

Но те, кто так глубоко врезались в душу и жалили его виновное сердце, они продирались сквозь серебро белого света с искаженными от боли ртами, в гноище, в слезах, в нестерпимых муках, и, как Варенька, шептали ему: «Проклятый ты, проклятый!»

— Боже мой, подкрепи меня! — шептал Николай, всматриваясь в глубокий сумрак, из которого выступала одна грозящая верба.

В камере зажгли лампочку.

Долго не успокаивалась лампочка под потолком в своей железной клетке: то будто кивала, то подмигивала, то удивлялась чему-то, и насмехалась, и рыдала тоненькими загнутыми кровавыми язычками.

В коридоре зазвякали шпоры: шла поверка.

— Сто двадцатый, — сказал дежурный и отхлопнулась форточка двери.

Николай бросился к двери, хотел спросить о бумаге и чернилах, которые ему обещал начальник, и еще о многом; будто там, за дверью все знали, но форточка захлопнулась.

— Сто двадцать первый, — донесся голос дежурного.

Вошел надзиратель: отпер кровать, постоял, помялся, будто собираясь сказать о чем-то большом и важном.

— Спокойной ночи! — сказал надзиратель и вышел.

И стало все крепко безответным и скрытным. Стены, казалось, молча, таили в своем каменном сердце какое-то бесповоротное решение неуклонной неведомой судьбы, распределяющей долю и не-долю. И на миг запылавшая мечта: как было бы хорошо, если бы сделал он не так, как сделал, а по-другому, если бы вовремя он догадался, вовремя он спохватился, был бы не такой грубый... эта успокаивающая надежда погасла.

А где-то внизу, на тюремном дворе, громыхали. Казалось ему, там строили плаху и громоздили пытки, там пилили и глухо ударяли молотками.

А когда лег он и закрыл глаза, в дреме представилось ему по-вчерашнему, будто не пар в трубе, а великан бежал на огромных ногах по потолку, добегал до его изголовья, заглядывал ему в лицо и, ухая, бросался опять в потолок, а за ним другой, а за другим третий.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Каменная лягушка

— В семь у нас куб, кипяток несут, а в двенадцать обедать, потом опять куб, так оно и пойдет и пойдет, — сказал как-то Николаю в первые дни тюремный надзиратель, и сказал верно: так оно и пошло.

— Грачев, а Грачев! — кричит чуть свет надтреснутый, усталый голос дежурного, — Лугачев! на работу! Пугачев... черти!

И арестанты несут кипяток.

Серый день струит по капле свой холодный серый свет, и от окна расползается по камере, кажется, входит в жилы, проникает в кровь и холодом точит кровь, и душа бескрылой птицей зябнет.

Николай позвонит и ждет, пока не подойдет надзиратель.

— Ну что, ничего не слышно?

— Ничего.

— А как насчет бумаги?

— Ничего не знаем.

— Мне бумагу еще в первый день обещал начальник!

— Ничего не знаем.

И Николай ходил из угла в угол, от окна к двери, от двери к окну, прислушивался: над головой кто-то мучительно ходит, и по бокам в соседних камерах ходят, и кто-то кашляет, надсаживая хрипящую грудь, а надзиратель беспомощно все ругается на арестантов:

— Лугачев... Грачев... Пугачев... черти!

И все повторяется изо дня в день, с часа на час и только ветер вдруг налетит на окно, затеребит форточку, словно весть подает, но и ветер улетает и лишь скрипят ржавые петли.

И приходит ночь, бессонная ночь и кошмарная, и пытливая.

Да, так оно и пошло, надзиратель был прав.

Николаю хотелось книгу почитать, он уставал от самого себя, но книгу пообещать пообещали, да так и не дали. И был он только с самим собою, только с своими мыслями. И каким жалким и ничтожным казался он самому себе с своими мыслями, как завидовал он тем, кто мог добровольно уединиться и в уединении раскрывать свою душу, не зная ни скуки, ни тяготы, ни утомления.

«Грубая у меня душа и бедная, и нечего мне раскрывать!» — думал Николай о себе с горьким чувством обездоленного, и какое-то безразличие окутывало, точно паутиною, весь мир для него, и все было ему неинтересно, все равно, а тюремщики в эти минуты подавленности казались ему какими-то изнеможенными, больными, через силу, как наказание, исполняющими свои тяжкие обязанности, и

была невозмутимая покорность и готовность всему подчиниться и все исполнить.

По целым часам просиживал Николай на табуретке, по целым часам ходил по камере. В сумеречный час и глубокою ночью легче думалось ему и не было той дневной гнетущей скуки, от которой хоть об стену головой бейся.

Прислушиваясь к себе, он различил в душе своей смутное, скрытое. И сказалось ему то, чего в другое время он так боялся сам себе открыть, чего ввек бы не прошептал и самым тайным голосом.

Ясным становилось ему то, что разбредалось и путалось среди сутолоки жизни, ясным становилась сама сутолока. Тот огонек, который толкает людей к жизни, ярче перед ним вспыхивал.

Будто с разных концов толпами приходили к нему люди, окружали его горящим кольцом, распахивали свою грудь, вынимали сердце.

Одни все болтали всякие глупости, другие беззаботно, не жалея ног, отплясывали, третьи все хмурились, четвертые смеялись, пятые равнодушно посматривали, ровно ничего-то в мире не касалось их, шестые со злобой шипели, седьмые тряслись от страха. И все это были одни лишь маски, за которыми скрывались лица такие несчастные, такие сиротливые, и окаменелые, источенные горем, и изрытые сомнением, и оглушенные неведением, и раскосые от потерянности, и помраченные от беззащитности и растерянные.

«Пойми нас!» — будто говорили они.

Но приходили новые толпы, окружали его смоляным кольцом, распахивали свою грудь, вынимали сердце.

И то, что казалось грехом и преступлением, теряло свой смысл греха и преступления, и то, что слыло красотой и святостью, страшило своей чудовищностью и безобразием, и трусостью, и наглым лицемерием, хаос распускался в созвездия, добро менялось местом со злом, и там, где низвергались боги, взирало око Бога, и там, где возносились славословия, была глухая пустота.

«Пойми нас!» — будто говорили они, не подходившие ни под какие мерки.

И новые толпы, несметные толпы приходили, — горящие сердца их пылали огненными языками.

Он видел издевательства, косность, самообольщения и обольщения, зверство, а над всем одно страдание. Он видел на лицах белизну мучеников, слышал, как трубили трубы справедливости и негодования, а в сердце кишели насекомые среди мелочности и маленького честолюбия. Одни хотели быть искренними, а лгали, и себе и другим, лгали хуже всякого, кого добродетельные клеймят отъявленным негодяем, другие хотели быть чистыми, а чернили тех, кто не подходил к их мерке, к колпаку дурацкому, и коптилось их сердце.

И бездольные — несчастные и одаренные говорили в один голос:

«Пойми нас!»

И как в ту ночь, когда он с неизъяснимой радостью бился о камень, прощался со светом, в его последнюю ночь перед Бакаловской новой жизнью, каменная лягушка, закатившимися каменными белками непроницаемых глаз, ужасом и насмешкою смотрела на него. Каменная лягушка шевелила безобразными перепончатыми лапами, вздувалось ее белое каменное тело, размягчался, разбухал камень, слетала короста, разливалась сеть тончайших жил, алела, и выступали острые сине-грозовые измученные веки измученного человека.

И в затаенной тишине вдруг били тюремные часы — сторожа неволи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рождественская звезда

Первый месяц тяжело в тюрьме, второй легче, — привыкается. Ждал Николай Рождества, думал — к Рождеству выпустят, а вот настал и сочельник, других выпустили, а его оставили.

Крепкие ясные звезды пробились сквозь морозный сумрак Рождественской ночи. Отдохнувшие за пост большие

колокола поднялись со всех колоколен, загудели ко всенощной.

Николай услышал Боголюбовский звон, взобрался на окно, открыл форточку: искал белую Боголюбовскую колокольню, белые башенки, пустырь — огороды и Огорелышевский пруд.

Крепкие ясные звезды вспыхивали, стлали по небу искристые белые пути, и звезда к звезде льнула: слава в вышних Богу! А рогатый месяц, выглянув острым красным рогом, за бойни канул.

И вспомнилось Николаю, как когда-то дома, в сочельник, наголодавшись до звезды, пили они наверху в детской чай с барбарисным вареньем да, опрокинув липкие чашки — ко всенощной без башлыков бегом по белому пруду до самой купальни, и нарочно подставляли морозу щеки: чтобы, как у больших, брови заиндевели, а брови такие тоненькие, индеветь нечему. Вспомнилось Николаю, как от купальни по двору волчатами пробирались они к воротам мимо фабрики, мимо белого Огорелышевского дома: в кабинете у Арсения его будничный зеленый огонек как-то злобно и зорко помигивал. И приходили они в церковь к Покрову, а в церкви еще темно было, только лампада чуть теплилась пред чудотворной иконой Божьей Матери, да одна тоненькая свечка на кануне, и никого еще не было, не звонили. И батюшки еще не было, черный, как нечистый, бродил в пустой церкви пономарь, Матвей Григорьев. Потом битком набивалась церковь. С нами Бог, разумейте языцы! — грянут, бывало, певчие. А Прометею всегда казалось, это один он, Прометей, раб Митрий рявкнул на всю церковь.

И, вспомнив всю рождественскую службу, Николай отчетливо услышал в гуле звонов Покровский звон. Да, у Покрова звонили в самый большой колокол.

«Ты, Гаврила, кильку съел? — Съел, душечка. — А еще съешь? — Съел, душечка!» — вспомнился Николаю и рождественский обед с о. Гавриилом и все, что связано было с о. Гавриилом: баня, низкие души, игра в быки. Вспомнил он и елку у Покровского дьякона Федора Ивановича, единственную елку, на которой он был в детстве.

Дьякон позвал его и Женю на второй день Рождества, а они явились не вдвоем, а вчетвером, и не на второй день, а на шестой. Помнит он, как пришли они вечером к дьякону, дьякон их не ждал, да и сын у него был болен, дьякон говорил шепотом и на цыпочках провел их в залу, где стояла елка, зажег несколько свечей — вот она какая елка! Бабушка сказала, что на елке подарки дают, и он все ждал, что ему дьякон подарит, и даже решил: бусы — их много, и красных, и синих висело на елке. Помнит он, как они молча толкались около елки, все ждали подарков, но дьякон затушил свечи и пришлось домой идти — вот она какая елка!

«Как тогда хорошо было! — подумал Николай и ему было странно и непонятно, как мог он в свою последнюю ночь перед Бакаловской новой жизнью прощаться со светом безрадостным, — нет, тогда все хорошо было!» — и все ему показалось теперь в радостном свете. Он видел всех добрыми, ласковыми, участливыми и слов таких никто никогда не говорил ему, а теперь он слышал их, и ни на ком не помнил зла.

Щелкнул волчок, окрикнул надзиратель:

— Так не полагается, не велено!

И Николай слез с окна, холодом пахнуло на него и стало неприветливо.

«Не велено!»

И вдруг почувствовал он, будто пробуждается от тяжкого сна: пробивая морозные цветы, глядела к нему в окно тихая рождественская звезда.

Сердце его засветилось светом ее, и душой понесся он за тюрьму, за дома к звездам — к рождественской тихой звезде, и там, среди звезд сорвал корону тихого мерцания и бурного пламени, и увенчался светом и пламенем, наполнил грудь до краев весенним запахом, засветил сердце восторгом нечаянных радостей. Накалялись перед ним жаркие зарницы, семицветные зори, скалами застывало время. Но алчущий взор его расплавил камни. И раскинулась вечность. И всякая самость и тварь слились в единую душу. И она была всем, и все одним было, его любовью, его Таней.

И он повторял имя ее, повторял голосом полного сердца, ее голос, песню, песню песней — «Приди ко мне!» — и чувствовал, как билось ее сердце близко, стук в стук с его сердцем.

А полночь черным алмазом ложилась на окно, на узорные морозные цветы, сменялись звезды — прилетали полунощные. Двурогий месяц плыл по небу, и кто-то черный плясал и скакал на месяце, плясал, скакал как победитель.

И в душе его росла его черная тоска.

— Таня! — шептал он, — но в ответ ему никто не откликнулся, — Таня! — шептал он и странной улыбкой горели его губы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Латник

На праздниках в тюрьме бывает особенно тоскливо.

Тоскливо проходили Святки. Николай места не находил себе, вся душа изнывала.

Пользуясь праздничной сонливостью надзирателей, он взбирался на стол, отворял форточку на мороз и так простаивал у окна, глядя на волю. И должно быть, простудился: нет-нет да и принималось трясти его, а ночью нападало мучительное полузабытье.

В полузабытьи мерещились ему всякие страхи: наполнялась камера маленькими насекомыми, юркими, как муравьи, заползали эти муравьи за шею, вползали в рукава, впивались, точили тело, растаскивали тело по мельчайшим кусочкам. Уж, казалось, все было изгрызано и съедено, оставался от него всего один голый скелет, и чувствовал он, как ссыхались и сжимались кости и давили на сердце. Делал он страшные усилия, тряс головой и на минуту пробуждался, но только на минуту, — снова из каких-то совсем незаметных щелей и трещин, сначала в одиночку, потом целыми стаями, выползали эти проклятые муравьи.

Тоскливо проходили Святки и мучительно.

В Крещенский сочельник в положенный час повели

Николая на прогулку, как водили однажды всякий день.

Камеры расположены были полукругом ярусами. Николай сидел на самом верхнем ярусе и до последних ступеней лестницы провожали его одноглазые камеры. В некоторых камерах засветили лампочки, и мутный свет отбрасывал через матовые волчки черные живые тени на решетку коридора: перегибаясь через решетку, живые, тени эти словно хотели спрыгнуть в нижний ярус.

Как на аркане, ходил Николай по кругу на тюремном дворе.

Заходило солнце, золотисто-инеевой крещенский вечер рассыпал по небу холодные красные искры и валили со всех концов алые клубы зимнего дыма.

Зудящее жужжанье телеграфных проволок, уханье ухабов, скрип и скат полозьев, — все это мчалось куда-то, оглашая своим грохотом.

Как пьяный, ходил Николай по кругу на тюремном дворе.

И когда снова сунули его в камеру, захлопнулась дверь, щелкнул замок, стены глянули на него чугунными плитами склепа, и нечем дышать ему стало. А блеснувшая мысль, что это болезнь какая-то, и вот берет его и ему не совладать с ней, отточила все его чувства.

В один миг ожили все его воспоминания, прошла вся его жизнь, а сердце будто подо льдом горело: и стыло и раскалялось.

Хлопнула форточка двери.

— Сто двадцатый, — сказал дежурный и голос его прозвучал будто из страшной дали.

— Сто двадцать первый! — ответил другой голос резко.

Вошел в камеру надзиратель, отпер кровать и Николай, не раздеваясь, повалился, и, кутаясь в одеяло, все не мог согреться. Мысли спутанно шли и хотел он что-то припомнить, зацепиться за что-то, чтобы остановить мысли и успокоиться. Трясло его немилосердно. И было такое ощущение, будто на горячих помочах тянут его куда-то глубоко на дно погреба. И слышал он, как что-то стучало и ходило везде: в висках стучало, в груди стучало, за окном стучало и за стеною, а в глазах мелькали огненные топо-

рики и молоточки, — это они, должно быть, и постукивали. Трясло его немилосердно.

И вдруг резко, словно над ухом, прозвенел в коридоре звонок. Кто-то шарахнулся от двери, шмыгнул по коридору. Где-то щелкнул замок, а за ним другой. И опять стало тихо.

Николай сдернул одеяло и к двери, насторожился.

— Повесили! — шепнул ему кто-то из коридора.

— Кого? — шепотом спросил Николай.

Но ответа ему не было, и хлынула на сердце смертельная тоска.

— Повесили! — крикнул Николай и, схватив табуретку, грохнул табуреткой в лампу.

И звякнула, задребезжала под потолком лампа. Хлынула тьма кромешная.

Скорчившись, с затаенным дыханием слышал Николай, как где-то далеко в коридоре, словно в ответ ему, прозвонил один звонок, и другой, и третий. И опять стало тихо, и тихо и черно.

И вот из черноты из угла выделился блестящий латник. Медленно и упорно подвигался латник к Николаю, и, не дойдя шагу от него, остановился. Латник стоял перед ним с суровым, ужасно знакомым лицом.

Измученными глазами, вытягивая всю душу, латник в упор смотрел на Николая.

И Николай смотрел на латника, не мог оторваться от его ужасно знакомого лица.

Минуту казалось ему, он уж понял что-то, разгадал что-то, узнал его, латника в блестящих медных латах и медном шлеме.

Зашевелился латник, сделал еще один шаг, еще один шаг, и медные латы сдавили сердце и с сдавленным сердцем Николай упал у кровати на асфальтовый пол.

Лежа на полу, забыл он и о том, что повесили кого-то, и о латнике, ему чудилось, вскарабкался он будто на стол, отворил форточку.

В лунной ночи ясно белела белая колокольня Боголюбова монастыря, белели башенки, а за монастырем лежал пустырь-огороды, а за пустырем белый пруд. Над прудом,

будто поднятые вверх черные руки, торчали обрубленные ветелы и никли кустарники в белом серебре. У плотика чернела прорубь, а красный финогеновский флигель был весь в снегу, и сквозь запорошенное окно детской мерцала лампадка.

Выломал он будто решетку, вылез из камеры и стал спускаться по карнизу.

Месяц так близко — месяц такой большой.

Смотрит он на месяц, скользит по карнизу: обрываются руки, выскакивают камни, шелушится штукатурка — вот сорвется!

Уж за сто двадцатый карниз зацепился, а конца краю не видно, и месяц все ближе.

«Да ты вверх лезешь!» — шепнул ему кто-то, как тогда под дверью.

И в самом деле: от Боголюбовской колокольни мелькала лишь белая точка, а пруда и вовсе не было.

И вдруг оборвались руки и, скользнув по воздуху, Николай пальцами впился в кирпичи и на страшной высоте с захолонувшим сердцем повис…

И не бред, это вправду: в Крещенскую ночь в новой тюрьме у заставы на тюремном дворе повесили преступника.

Был час рассвета. И рассвет был лунен, как лунной стала ночь.

Обделав свое дело, пьяный храпел палач в крысьем, без окон, темном карцере.

Из-под подушки красный новенький кафтан его торчал ухом: проиграл палач кафтан, а чуть свет в дорогу опять, и не дадут отыграться.

Вышла из-под пола голодная крыса, оскалила чутко желтые зубы.

Разметался палач, растопырил немытые сальные пальцы.

Снилась ему старуха-мать, с котомкой по полю шла, а он будто, палач Васька Коньков, совсем крохотный, Васька бежит за старухой, хочет за подол схватиться, да ножонками не поспеет, и покликать не может, голос пропал. Потом скрылась мать, остался он один среди поля и стоит он сре-

ди поля, как следует, Васька Коньков, на нем красный новенький кафтан. И взял его страх: нарядили его в красный кафтан палача, чтобы живьем в могилу зарыть...

А на тюремном дворе, где совершилась казнь, неразобранный помост с виселицей к земле пристывал. Большой фонарь на помосте коптел.

От фонаря росла черная тень. И другая черная тень находила на тень фонаря, пропадала к воротам.

Месяц, как голый череп, над головой стоял.

Часовой Яшков на помост поднять глаз не смел: лезли мысли жуткие, жалостные, казалось, и смены не будет.

Вспоминалось Яшкову, как надели на преступника саван и трудно ему было в саване идти до петли: ноги путаются.

«Я, говорит, ничего не вижу!» А Васька Коньков кричит: «Пожалуйте!» «Да я, говорит, идти не могу!»

— Царица небесная! — шепчет Яшков, все слышит голос из-под савана, — Царица небесная, дьяволы мы проклятые, все мы его повесили!

А в сводчатой тюремной мертвецкой коченел теплый труп повешенного преступника. Промерзшие седые доски под ним таяли. Кто-то в подполье острым зубом мертвецкую стену точил. И от того звука в тишине волос дыбом вставал. От того звука непокорное сердце, как нож, заострялось в груди. От того звука с тоски места не стало.

Месяц, как голый череп, над головой стоял.

И конца ночи не было.

И люди понуро спали и спросонья слипшимися губами бормотали молитвы, просили у Бога, чтобы посытнее жить и одиноким не остаться, чтобы всего было вволю.

А там, на небесах, устремляя к Престолу взор, полный слез, Матерь Божия сокрушалась и просила Сына:

— Прости им!

А там, на небесах, была великая тьма.

— Прости им!

А там, на небесах, как некогда в девятый покинутый час, висел Он, распятый, с поникшей главою в терновом венце.

— Прости им!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пожар

В городе шла жизнь своим чередом.

Людям недоставало времени всех своих дел переделать, а дела были все ненужные и неважные, весь смысл которых держался одной минутой.

Все хотели сделать что-то такое, чтобы раз навсегда успокоиться, но пути к своему покою не знали и метались из стороны в сторону, хватаясь то за одно, то за другое. И, кончая одно, видели ничтожность сделанного и начинали другое, а чаще толклись на месте, переворачивая и подправляя одно и то же всю жизнь.

Все, чего хотелось, не исполнялось, а если и приходило, то совсем невзначай, и чаще приходило то, от чего обеими руками открещивались.

Завтрашнего дня не знали.

Казалось, кто-то скрытно изготовлял его, этот завтрашний день, да в потемках и подкидывал его на улицу, а люди поутру от неожиданности, встречая то, что совсем не предполагали встретить, только рты разевали и начинали жизнь по скрытой указке, нелепо, на горе себе.

Сил тратилось пропасть. И всякий по-разному: одни работали, потому что голод этого требовал, работали до одури, а толку не было — голодали по-прежнему и тупели; другие сытые просто излишествовали — обжирались и опивались, празднословили и праздношатались, выдумывали себе заботы и хлопоты, а толку не было, — удовлетворения не испытывали и, обессилев, тупели.

С утра до ночи улицы кишели людом. Сновал всяк туда и сюда за своим делом.

Лица были озабоченные, искаженные, напускные, редко кто улыбался и смеялся, как следует, а больше и улыбались и смеялись деланно, скверно и отвратительно.

Заповеди топтались и средь бела дня и ночью, под призором стен и под открытым небом: насиловали, убивали, грабили, обманывали, растлевали, клеветали.

По мелочам все уж преступили, и преступать нечего было, тайком все нарушили, и пробовать нечего было.

Заповеди и законы стояли чем-то навязчиво-приличным, жизнь же катила своим путем как-то беспастушно и беззаконно.

И, когда разгорались страсти и когда скрыто кипели вожделения, какими смехотворными представлялись все одинокие пожелания и благие россказни обновителей и устроителей скученной своры, имя которой — человеки.

Издалека, из-за стен, окружавших город, доносился голос мудреца и учителя.

Взывал мудрец и учитель.

— Остановитесь! Не делайте!

Но вся городская толкучка по-старому толклась и бежала, подергивая своими маленькими хитрыми ушами, с заплаканным сердцем.

Как остановиться, как не делать? Не остановиться, а мчаться, сломя голову, чтобы жить, иначе разойдутся все дороги, и пути не станет, время станет, смерть пожрет, а смерти не надо!

Куда гнала людей страшная, беспощадная рука, зачем так больно била и мучила и так обидно мало давала ласки, кто знал, кто узнает! А тут дети ручонками вцепились в тебя, кричат от голода: «Папа! папа!» И у соседа тоже дети такие же, и у того, кто помыкает и кровь твою пьет, и у того, кто его кровь пьет. «Господи, только бы день хорошо прошел, да завтра утром проснуться!» А для чего проснуться? Всюду вонь, нечистота, помои, нагая гниль, гниль разукрашенная, и так обидно мало тихих светлых минут, тихих светлых уголков. Остановиться, не делать? — Да ведь это возможно только там и тогда, когда дух твой говорит тебе, что пришло время остановиться и не делать, и страх смерти ушел от тебя, и вся жалость к детям твоим, к дому твоему — их голос, их жалоба стали невнятны.

И вот люди насыщались, чтобы зажаждать еще большей сытости, рожали, чтобы убивать, и убивали, чтобы плодиться.

Казалось, наконец, распояшутся, сбросят с плеч лохмотья и побрякушки, бросятся друг на друга, и закипит свал-

ка, и с перегрызенным горлом и с распоротым животом повалится тело на тело.

Лицемерие подтачивало всякую веру, и напускная святость глаза отводила, чтобы убить веру. И по-другому жизнь идти не могла. Или и вправду нечистый был всюду первым коноводом, как шептали люди простые, немудреные, веровавшие в бесовское повиновение.

По-прежнему Огорелышевский дом стоял такой белый, как сахар, а согретый снежной зимой палисадник перед домом зацвел весной душистыми и красными цветами.

Игнатий Николаевич с головой ушел в благотворительность. Нищих по воскресным дням толпилось около огорелышевских ворот видимо-невидимо. Нищим подавалась медь, и душа пребывала покойной.

Управление фабрикой перешло Семену Арсеньевичу, который еще утонченнее перетасовал дедовский уклад с заморским: фабричных не пороли, как при деде Николае Огорелышеве, но шкуру драли не хуже прежнего, только все чисто и гладко — комар носу не подточит.

Сам же, Арсений Огорелышев, как ни старел, а ухо востро держал, во всякую безделицу встревался и, кажется, ни один волос не падал без его воли и ведома.

Александр Финогенов при Арсении быстро шел в гору. За год вошел к нему в полное доверие, без Александра, кажется, ничего не делалось, ничего не предпринималось, как скажет, так тому и быть, а говорил Александр дельно.

Конечно, по городу не замечали, как Финогенов скрутил Огорелышева, а если и замечали, то заикнуться не смели. И Арсений не говорил себе об этом, боялся: ведь это конец его, смерть. А умирать ему не хотелось. Как ему умирать, когда столько еще надо дел начатых окончить и столько всего задумано, ввек не переделаешь.

Придирался Арсений к Александру, изводил, мучил в свои злые нетерпеливые минуты. С каждым днем чувствовал он, как крепкая ладонь Александра давит ему череп, погружает его куда-то, уж загнала по самую шею, — заливает уши...

А тому словно только этого и надо.

«Давить надо человека, чтобы человеком владеть, ина-

че, не ровен час, этот самый человек, ближний твой, на плечи тебе вскочит!» — так Алексадр Николаю сказал в тюрьме на свидании.

Будничный зеленый огонек теперь до рассвета светился в кабинете Арсения, мигал своим дьявольским глазом, прорезая темь двора.

А на дворе Трезор и Полкан метались на рыкале, лаяли, и выло в ответ им бессонное эхо и кто-то илистой лапой обваливал берега пруда, затягивал тиною дно.

Только вот с прудом и творилось неладное — так по двору думали, — а то все было по-старому, на своем месте.

Стоял красный финогеновский флигель, как стоял, будто кто и жил в нем, только двери были заколочены.

Пришибленно и придавленно шла жизнь на огорелышевском дворе, но как-то стройно по заведению. Одно смущало: на Пасху в ночь сторож, Иван Данилов, своим единственным неокривевшим глазом видел, как барышня Варенька будто стоит на террасе и головой кивает вроде Сёмы-юродивого, и, видев все это, он с перепугу доску выронил и коленку себе отшиб.

Беды ждали.

И напасть пришла.

На Николу в сумерки, когда, по огорелышевскому расписанию, фабричные должны были уж спать, вспыхнули битком набитые фабричные корпуса — спальни, вспыхнули с какой-то неистовой силой: задуванило со всех концов.

Кто не поспел выскочить — и был таков. Детей одних погорело – тьма-тьмущая.

Когда подоспел Александр, только головни пылали, да чадили пережаренные человечьи трупы.

Красный флигель стоял весь обуглившийся, с пробитыми окнами, не красный, черный.

Вовремя Александр не мог приехать: в этот вечер дали ему свидание с Николаем, — Николая отправили по этапу в ссылку.

Приехал Александр такой спокойный и важный, и долго сидел, запершись в кабинете с Арсением, потом с каким-то остервенением выскочил во двор и, прорезая толпу не хуже самого Огорелышева, прилетел на пожарище. Лицо его

было синее от злости, тряслись челюсти, кричал, чтобы головни растаскивали, чтобы все в пруд валили.

И, когда оторопевшие фабричные и пожарные бросились исполнять приказание, вспыхнули дрова и деревья.

Насилу огонь уняли.

А он прошел во флигель и стоял на террасе и смотрел куда-то далеко, и, красный от зарева и пламени, улыбался каменной огорелышевской улыбкой. Как улыбался!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Серый огонь

Было уже к ночи, когда Александр вернулся к себе. Александр жил за Чугунолитейным заводом у Покрова, занимал он дорогую квартиру, для одного слишком просторную.

Спать Александр не мог, ходил по комнатам. На лице его не было каменной улыбки, и стал он каким-то прежним, немного лукавым и милым, и острота глаз притупилась, и были глаза грустные. Он не думал ни о доме, ни о пожаре, ни о Арсении, ни о той постоянной деловой тревоге своей, которая не давала ему покоя и гнула, и гнала, и одарила большой властью, и открыла вперед дорогу к еще большей власти.

Ему вспомнился Николай, свидание с Николаем. Кажется, весь последний год он только и думал о нем, ему слышался его голос той измученной кротости, которая хватает за душу и заставляет вспомнить позабытое, создавать небывалое, как музыка.

Он вспомнил и Петра, и Евгения, и Алексея Алексеевича, вспомнил ночные стояния наверху, мать-пустыню и на минуту горьким чувством захватило сердце, и снова окаменело лицо.

Александр ни в чем не укорял себя, нет, он твердо знал, прошлое кончилось и путь один был. Надо строить жизнь, как устроил жизнь Арсений, надо владеть людьми, как владел людьми Арсений, быть господином на земле, смирять, а не смиряться.

Вдруг Александр вздрогнул и застыл, ровно в страшном испуге.

С портрета глядела Таня: она стояла, крепко сомкнув опущенные руки, венец развевающихся русых волос наклоненной головы полураскрывал лицо ее, и улыбались губы, губя и страдая, и звали притуманенные темные глаза, пели песню, песню песней — «Приди ко мне!»

На стук очнулся Александр. Прасковья-нянька, приютившаяся у Александра, стучала в дверь.

— Батюшка, Александр Елисеевич, а Колюшке чулочки-то и забыли, — шамкала Прасковья тупо-горько сжатыми губами, вспомнив, что не передал Александр чулки Николаю.

— Кланяться тебе велел, — почти закричал Александр, — Прасковье, говорит, кланяйся, слышишь!

— Кто ж его знает, девушка, напущено видно. Спите, батюшка, Христос с вами.

Ушла Прасковья и опять поднялось перед ним прежнее, ночные стояния наверху, мать-пустыня, и опять Таня. Таня уж не стояла перед ним, Таня плыла перед ним и, притупив глаза, манила вослед за собой и сгибала его, трясла лихорадкой. Он тянулся за ней, он вдыхал ее, как полевой цветок.

— Таня... Таня... Таня! — шептал Александр и чувствовал ее всеми чувствами и вдыхал, как полевой цветок: запах раскрывал свое первородное, что приковывает к себе бесконечно дорогим забытым и вновь восставшим.

И с болью рвалось желание, хотелось ему нестерпимо, хотелось ужасно, тотчас же наяву видеть ее и слышать ее...

А была ночь. Темная ночь своей темною грудью уж коснулась земли. Темная ночь задышала на землю, завеяла тишью спящие здания, и зоркие башни томящихся тюрем, и дворцы и монастырские кельи. И в ночи Демон один тосковал с своим демонским сердцем.

«Не услышит, не пронзится стуком сердца моего, сердце рвется, сердце стонет, не услышит!»

В оковах забот застыли люди. И ржавое звяканье отчаянных молитв скорбно ползло ненастным дымом по закопченным крышам к чугунным холодным небесам. Судьба,

кому надо, уж копала могилу и готовила люльки, и золото сыпала, и золото грабила, посылала удачу, болезнь и нужду.

«Не услышит, не пронзится стуком сердца моего, оно рвется, оно стонет, не услышит!»

И шла ночь и прошла полночь. Изнемогая, в предутреннем свете неслось усталое время.

А Ему в этот час незримому одиноко на земле было и холодно. И отчего Он не может молиться родимому брату, но из царства иного? Или проклятие царство Его, Его одинокое царство. Люди, дети и звери мимо проходят — скорчась, со страхом. Раз Он кинулся голубем в волны, в речные волны — там ее встретил...

«Ты сохранила образ мой странный, мой зов в поцелуе?»— тосковал в ночи Демон с своим демонским сердцем.

Краткая встреча, и опять одинок: отшатнулось от Него ее смелое сердце, глухо плакало сердце. Так в страсти, любви к страсти, любви прикасаясь, слышит Он в долгих и редких лобзаньях холод, тоску и измену, и отравляет.

«Ты сохранила образ мой странный, мой зов в поцелуе?» — тосковал в ночи Демон с своим демонским сердцем, сердце Его разрывалось.

Алые ризы утренних зорь загорелись, стало светать, и задымился пурпур на гребнях уплывающей ночи.

«О, люди, вы прильнули устами к пескам пустынь повседневных, ищете звонких ключей в камне истлевшем, вы затаились, молчите в заботах. У меня есть песни!..»

Алые ризы утренних зорь кровью оделись, скоро солнце взойдет. Или проклятие царство Его, одинокое царство его? Словно золото облачных перьев крепким тыном заставило путь. И будет так вечно, вовеки. Так вечно, вовеки, вечно Он будет желать безответным желанием, и томиться. Власть и тоска, беспросветная, и одинокая одинокого темного сердца!

Всю ночь до утра Александр не отходил от портрета. Одна Таня заполняла весь мир для него. Он знает, что жить без нее не может, он умрет без нее. И ничего ему не надо, никакой власти, и готов он смириться, только чтобы быть с нею вместе всегда — вечно, вовеки.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Котик беленький — хвостик серенький

Назначенная в Николин день отправка этапа была отменена. Петр, Евгений и Алексей Алексеевич даром проторчали на вокзале и ничего не дождались, и пожар пропустили, так и не видели пожара.

На следующий день они снова дежурили на вокзале и поздно вечером видели в толпе арестантов Николая, но подойти к нему их не допустили. И они стояли и только смотрели. И тронулся поезд, потух, скрылся из глаз зеленый огонек вагона и замер стук колес, и опустел людный неприветливый вокзал, а они все стояли.

Только когда сторожа принялись подметать платформу, медленно подкатил товарный поезд, они вышли на путь и пошли домой по шпалам.

Шли они угрюмо и молча, было у каждого на душе столько сказать! Как вдруг дорог им стал Николай, как необходим, как близко его почувствовал каждый. Николай был для них чем-то светлым в их сумерках, каким-то вдохновением среди буден, заваливающих своими отупляющими мелочами, Николай был для них той радостью, какая живет у взрослых к подрастающему ребенку, надеждой на какой-то новый, лучший мир, который придет с ним, который он даст им.

Так они в эти минуты чувствовали, таким представлялся для них Николай. И, вспоминая дни, прожитые вместе и те отдельные минуты, которые глубокой бороздой полегли в душе, каждый чувствовал на них его прикосновения.

— Почему судьба у нас отрывает самое дорогое? — заговорил Алексей Алексеевич.

Бешено во весь дух с оглушительным звоном промчался мимо весь трепещущий поезд, земля колебалась.

Молча шли они по шпалам.

Уж забелел Боголюбов монастырь, кончался мост. Надо было спуститься с крутого откоса и подняться на монастырскую гору. И они, как когда-то в дни о. Гавриила, вы-

строились в ряд и разом наперегонки пустились вниз и, не передыхая, вбежали на гору.

Шли по знакомой белой стене. Около каменной лягушки остановились. Казалось, огромные заплеванные лягушачьи бельма, освещенные тихим красным лучом белой башенки, плакали.

— Не зайти ли к старцу? — предложил Евгений, — давно мы не были у старца.

Но час был поздний, привратник Сосок не пропустит, и они решили в другой раз и непременно: о Николае сказать надо старцу, старец так любил Николая.

Пошли ходчее, от дома им недалеко было: жили они вместе, но уж не в Бакаловом доме, а в переулке в доме Соколова.

В позапрошлом году, когда еще Николай был на воле, Евгений женился, родился у него сын, а жена после родов померла. Смерть жены словно прихлопнула его, оробел он, затих как-то, и без того тихий. С утра до позднего вечера просиживал он в Огорелышевском банке, гнулся за работой с постоянной палкой за спиной — постоянными помыканиями и придирками.

Квартиру нанимал Евгений. У Евгения жили Петр и Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич целый день на уроках корпел. Петр, зиму прослуживший в театре, теперь ходил без места и до осени ничего не предвиделось.

— Ну, проводили отшельника? — встретила, поводя табачным носом, Арина Семеновна-Эрих, навещавшая Евгения за его Костей присмотреть.

— Проводили! — махнул рукой Петр, — проводили, Эрих!

Евгений лег спать. Петр и Алексей Алексеевич долго не расходились.

Алексей Алексеевич присаживался несколько раз к пьянино, говорил, будто голос все слышит, и такой, до костей мороз пробирает от звуков, что повивают, растят и снуют этот голос.

Все, и эти книги, бережно расставленные по полкам, книги, которые так любил Николай и которые так дорого

доставались ему, и этот старенький столик, перевезенный сверху из красного флигеля и затем из бакаловского дома в дом Соколова, все напоминало о Николае. И когда, наконец, погасили лампу, сон не приходил, не могли заснуть: было одиноко и жутко сиротливо.

Ворочался Петр, думал о той полосе, по которой идти рука показала, о своем актерстве и театре. И то, что тревожило его, всплывало теперь, будто шальная искра воспламенила круг его мыслей. Непонятным казалось ему, для чего и для кого был театр, и зачем он играл?

Мелькнул битком набитый зрительный зал, скучающие лица, лица, потерявшие всякий образ и подобие Божие, а там на верхах в черноте рой пчелиный. Хлопки, вызовы. И вот ликование всякой бездарности, увенчанной венцом легкого сочувствия, бесшабашного браво и таким еще невинным, горячим восторгом непорочных верящих глаз, для которых все искрится, ибо сами — одна искра. Мгновенный успех, мгновенное царство, дешевое царство.

Тут пошлейшая душа ведет свою роль. А для этого и сочиняется театр — публичный театр увеселений и ходульного нравоучения. И нет нигде такой страшной давки, такого беззастенчивого оголения, как среди своих актеров. И эта косность, избитые приемы, затверженные шаблоны, штампы...

И представилось Петру то, о чем мечталось в жгучие минуты одиночества: исполнит театр свое назначение, дойдет до своей белой вершины, станет великим действием. Театр — обедня, где и актер и зритель сольются в великом акте божественного таинства...

— Господи, сделай так, чтобы я верил, сделай так, Господи, — просил Петр, не веря, что придет что-то лучшее на смену мерзости и запустению, и вдруг ослабел, стал жалким, изолгавшимся, завистливым, как те... его товарищи, и открылась пустота, одни и те же дни, бессмысленные, ненужные...

Вспомнилось Петру, как осенью на репетиции он подвыпил и с расшату попал в купель с водой, которую держали на случай пожара, а на последнем спектакле перед

самым выходом задержался в буфете и набросившемуся антрепренеру кукишем наковырял нос...

Петр сдернул одеяло, приподнялся на кровати. В окно заглядывал голубой ранний рассвет.

Проснувшийся Костя хныкал. Арина Семеновна-Эрих укачивала Костю, напевала старческим усталым полуголосом колыбельную:

Котик серенький,
Хвостик беленький...

Напевала старуха долго все одно и то же. И заснул Костя. Взошло солнце. И ударили в Боголюбовом монастыре в постный колокол. И звонили в Боголюбовом долго все одно и то же, словно Эрих пела:

Котик серенький,
Хвостик беленький...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Эпитафия

Путаная и темная история разыгралась в Боголюбовом монастыре на первые дни Петровок: Боголюбовскому старцу о. Глебу запретили исповедовать.

Пошли по городу суды да ряды.

Верные люди клялись-божились, будто сам Боголюбовский преосвященный о. Евтихий-Каиафа в этом деле кругом беспричинен, а причинное место в синодском указе. Указ вышел по доносу. В доносе говорилось, будто о. Глеб, «главный еретик, богоборец и ругатель, богоборно и злочестиво дерзнул глумиться и кощунствовать над Богом в Троице славимым, поверг Его обвинению и осуждению, а Иисуса Христа уподобил отменнику самодержавной царской власти». Донос исходил от соборного протоиерея о. Семизорова, знаменитого проповедника, миссионера и большого искусника по части прививки оспы: учительствуя в образцовой школе при епархиальном училище, протоиерей прививал оспу так ревностно, что какая-то епархиалка не то родила, не то повесилась. И об этом, где надо было, знали, и все-таки Семизоровскому доносу поверили.

Правда это или нет, только в первую же пятницу духовником назначен был вместо о. Глеба Боголюбовский казначей о. Самсон-Пахма́рный — гладкий, раскаряченный, с обваренным лицом иеромонах, давно зарившийся на эту весьма доходную халтуру.

О боголюбовской истории Петр и Евгений узнали от Арины Семеновны-Эриха: ходила старуха Костю причащать, все и вынюхала. И решили они возможно скорее, не откладывая в долгий ящик, проведать старца. А тут как раз письмо пришло и посылка от Николая, только что окончившего этап и водворившегося в Великом Веснебологе.

В воскресенье Петр и Евгений отправились в Боголюбов к обедне. В собор они не зашли, а прямо в башенку к старцу.

У старца сидел в гостях о. Гавриил и рассказывал что-то о политике, патриотическое. Старец с какой-то бессильной грустью улыбался из своего глубокого кресла, и как обрадовался, когда услышал знакомые голоса, так давно не слышные в его тесной сводчатой келье.

А о. Гавриил, Бог весть когда видевший Финогеновых, но знавший все злоключения их, по сану своему сделал вид, что не узнает старину и стал говорить в нос.

Старец велел послушнику подогреть самовар. И за самоваром пошли расспросы и воспоминания.

Забылся о. Гавриил, забыл свою важность и, напав на свой старый любимый разговор, брал то у Петра, то у Евгения руку, жал суставы и, угадывая по твердости кожи таинственное что-то, блуд какой-то, прикусывал себе губу...

— Похудал, похудал, душечка, — покачивал о. Гавриил своей курчавой головою, — иссосут они, Петечка, тысячи, как пчелы самые голодные.

И вся келья хохотала до упаду.

— Стой, о. Гавриил, стой! — спохватился Петр, — эк ведь, право, главное-то и забыл! — он достал из-под шляпы сверток и стал бережно развертывать.

Скоро в руках его очутилась продолговатая серая коробка из-под конфет, перевязанная крест-накрест тонень-

ким красным шнурком, концы которого сливались в красной бумажной печати, от печати по крышке к краям разбегались бисерные буковки — почерк Николая.

— Эпитафия! — провозгласил Петр, держа перед собой конфетную коробку, как держал когда-то за амвоном тяжелый Апостол.

Притаились. О. Глеб тихо улыбался.

Петр продолжал:

— «Мир тебе, неустрашимая коробка с красной печатью! До последнего дня этапа ты сохранила гордость и неприступность и победно окончила долгий и трудный путь. Что за вкусные сласти несла ты! — «Коробка с печатью»! — гордо говорил я, когда меня потрошили, и мои, переполненные папиросами и карандашами, карманы пустели. Ни один тюремный палец-щелчок не дотронулся до тебя, и с благоговением опускались пред твоей красной печатью начальственные головы. Одних ты испугала, и они притихли, других заставила отдернуть руки прочь, меня же ты обрадовала, и когда щелкнул замок моей камеры, и мы очутились с тобою глаз на глаз, ты распечаталась, и я закурил. Чуть стуча, кто-то ходил в коридоре. Дремал вечно-сонный волчок. Папироса за папиросой — дым на всю тюрьму! А помнишь, с меня стащили брюки, чулки... но к тебе... Довольно было одного моего напоминания: «Коробка с печатью!» — и тебя бережно поставили на зеленое сукно. А меня оставили босым на каменном полу. В камеру тебя, такую маленькую, обеими руками понес сам старший... «Их нет!» — шепнул я, когда мы остались одни, и тотчас ты развернулась и положила мне на стол бумагу и карандаш. Но потом, на свободе, ты тряслась всеми своими нитями и бумагой от хохота над миром, над тем миром, где красная печать ценится выше человека. И горько мне стало за душу человеческую».

О. Гавриил долго, сначала с благоговением, потом кряхтя и сопя, рассматривал коробку, дул на печать и протирал ее пальцем и, окончательно опешенный, прервал наступившее молчание:

— Батюшка, о. Глеб, как же это так, ведь печать-то Ильи Ивановича... их фирмы... их кондитерская...

— Кондитерская! — поднялся общий неумолкаемый хохот.

И долго бы еще кусал себе губы и охал о. Гавриил под заражающий хохот, если бы не старцев послушник: послушник принес тройную трапезу.

И принялись всем собором подкармливать о. Гавриила.

Появившаяся водка быстро иссякла.

— Душечка, душечка, — уж лепетал о. Гавриил, — Илья Иванович достиг, можно сказать... пост... главнокомандующий, у! как пчелы, шмели самые этакие... иссосут!

— Жри, Гавриила, жри!

— Мартын-Задека... Женечка, иссосут, а ты, Петечка, станешь беспокойство испытать, пучок преломи... преломи пучок...

— А ты сам преломил? — поддразнил Евгений.

— Я... я... — разжевывал о. Гавриил, — преломил, душечка, Мартын-Задека, Женечка, а намедни, душечка, из трапезной выхожу, а кормилица ко мне... Дуняшка с предложением. Матушка, говорю ей, не могу я... не вытерпишь: семь вершков.

— Жри, Гаврила, жри!

— Семь вершков, — разжевывал о. Гавриил, — я... я... семь вершков.

О. Глеб, минуту назад такой веселый, сидел среди дыму, духоты и непристойностей, такой утомленный и одинокий.

— И стало мне горько за душу человеческую... — явственно прозвучал вдруг его кроткий, глубокий голос.

И вмиг рассеялся шум, только серый день глядел в окошко, да, наклонившись всем туловищем к тарелкам, сладко посапывал о. Гавриил.

— И разве знает человек, — продолжал старец, — за что человека гонит, но гонит... до самой смерти, и душа его каменеет, и нет тепла в ней, нет света, задыхается, чует свою гибель, и гонит... А по-другому ему не дано жить.

— О. Глеб, — прервал Петр, — ну какая это жизнь... родишься на свет, с пеленок словно ошпарят глаза тебе, а потом идешь без дороги под пинками... и куда идти!..

Старец ласково взял Петра за руку и снова стал таким безмятежным, как ребенок. Старец рассказал о боголюбовской истории, о той беде, которая стряслась над ним. Старец видел в беде своей перст Божий, избрание: приходит беда не карой, а испытанием, и только она раскрывает человеку затемненные глаза, погруженные в мимолетное и близкое, а со скорбью крылья растут и подымают на выси, откуда невидное видишь и то видишь, что подлинно мечет и гнет человека, — не кулак брата твоего, не меч ближнего твоего, а долю, тайной нареченную.

— Прими ее кротко, всем сердцем, всю до конца, благослови ее и увидишь путь!

Проснувшийся о. Гавриил бессмысленно уставился в окрошку и, растягивая слова, укорял кого-то:

— Семь вершков... семь вершков! — и, укоряя, твердил, покачивая кудрявой головой, — преломи, преломи!

Так много припомнилось и так много забылось.

Уж кончилась вечерня, уж привратник о. Алфей-Сосок, гремя ключами, прошел к воротам, а келья отверженного старца не унималась. И часы били, — гости не замечали боя, и заходило солнце, — гости не видели заката.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Mapá

В Великом Веснебологе, где волей-неволей, а пришлось Николаю начинать новую жизнь, в древнем суровом городе преполовилось лето. Пустяки, всего месяц прошел веснебологской жизни, а было так, будто каждый новый день вколачивал гвоздь в дверь его дома, заколачивал, ровнял ее со стеной, и чем больше гвоздей уходило, тем жарче разгоралось желание уйти из дому, а как уйти?

Древний белый собор, опоясанный белой зубчатой стеной в темных прогалинах каменных мешков, с колокольней, увенчанной тусклым, мягко-играющим золотом, гремящей в праздники своим красным звоном, такой одино-

кий и в своем одиночестве гордый и несравненный, стоял, как стоял еще при Грозном, поверх скученных низких домиков и всякого громоздкого черного жилья, и виден был со всех концов, покуда глаз хватал. И из окна мезонина с пустынной окрайны, где поселился Николай, и оттуда был виден древний собор.

А старые березы с ветвями-крыльями, поникшими в густую старую крапиву, огненно-малиновые собаки репейника, вздрагивающая холодная река, все жалось, ползло, подплывало к крепкой стене, выдержавшей стойко бунташное время — мятежный год.

Николай попал в среду таких же силой оторванных, прошедших через тюрьму, ссыльных и невольно должен был соединять жизнь свою с их жизнью.

Ссыльные приняли его сердечно и участливо, такой встречи он и не думал найти, даже неловко было. Он ничего не сделал и ничем не заслужил их участие. И это подняло ему дух.

«Нет, — думал он, — есть еще Бог, жив Бог в сердце человеческом, и человек не потерян».

Подлинно, что-то новое начиналось в душе его, и вся огорелышевщина шелухой отпадала. Но пришел завтрашний день, будни — беспощадные будни, сдувающие лепестки с нежного цвета и разрушающие самое милое лицо. Из-за сердечности и участия глянуло вдруг иссушенное лицо сурового устава: оно не грело, а приневоливало, не радовало, а сковывало сердце.

Чем больше знакомился Николай с своими товарищами, тем яснее видел, что люди эти, издерганные и загнанные, устали друг от друга, окружили себя сектантской стеной нетерпимости и взаимного подозрения, и, как все, полны человеческих слабостей, лишь скрытых подчас теми высокими и самоотверженными готовностями, о которых мечтаешь в свои жгучие благородные минуты, но, главное, все очень уж скучные в обиходе житейском, не у дел, без дела. Конечно, были и исключения, но общее впечатление от товарищей осталось у Николая прежде всего как от чего-то очень скучного.

И пошли будни, медленно, изо дня в день без всякой

перемены, мучительные в своем однообразии, — полонное терпение.

Против бойниц древнего собора, построенных еще Грозным, стоял покосившийся простой деревянный домик, и в этом домике — колонии ссыльных вершились всякие судьбы.

Ссыльных в Великом Веснебологе было человек до пятидесяти. Больше держать в городе запрещалось, и вновь приезжающим указаны были уезды, глухие и замкнутые.

Пятьдесят человек без того дела, которым жили на воле, без дела и без средств к жизни. Какая-нибудь грошовая работа и тупая, отупляющая скука или ожидание работы и гнетущая праздность и озлобление. И одни и те же люди — товарищи по беде, неизменно одни и те же лица, как навязчивые призраки, и по улицам и в домах.

Так как каждый цеплялся за свою петлю — за убеждение свое и разжигал его воспоминанием и засвечал ему царский самодержавный венец, то, сходясь друг с другом, ссыльные начинали всегда один и тот же разговор, а с разговором выходили одни и те же споры. Каждый слушал только себя, и, подхватив какое-нибудь слово своего противника, выворачивал, мял это слово, приплетал к нему целую историю и уж в таком виде бросал назад, до личных оскорблений.

Из пятидесяти выдвигались вожаки: вожаки притягивали к себе более податливых и слабых и те поддакивали им, гикали сплоченной слепой оравой.

Каждое собрание ссыльных казалось собранием злейших врагов. И в конце всяких споров редко не возводили друг против друга самые тяжкие обвинения и прибегали к самым последним издевательствам. Со скуки и на стену полезешь!

Немалый раздор кипел около ссыльной кассы.

Надо было устав положить, а как его положить, чтобы все довольны остались и все было бы по справедливости? Собирались, толковали-перетолковывали, а в заключение торжествовали самые полицейские меры: всякие налоги и надзор.

И опять подымалась ссора и озлобление. Нередко при-

бегали к товарищескому суду. Судили за все, за что только ни вздумается, за всякие пустяки, но первым обвинением всегда являлось подозрение в предательстве.

Предпринимались расследования, возникали комиссии. Одна комиссия сменялась другою. Велся самый настоящий судебный процесс.

Скрытая надоедливость друг другом и тягота близости, в которую насильно втиснуты были несколько жизней, точили скуку. И с каким нетерпением ждали часа, когда снимут, наконец, запрет, и дорога ляжет скатертью.

И каким дорогим и соблазнительным казался вокзал, а те, кого принимал он на свои рельсы, какими счастливыми! И все бы забыл, только бы вон, вон из этой взаимной травли, скуки и ненужных веснебологских дней — полонного терпения.

Николай давал себе зарок жить отдельно, не встреваться ни в какие истории, и не мог выдержать. Нет-нет да и ввернется. Да и трудно было, как-то само собой думалось об общих интересах и о тех событиях, которые произошли с кем-то из товарищей, и, не желая вовсе, становился он то на одну, то на другую сторону. Втюрился, наконец, в какую-то историю сплетническую и нехорошую, и уже всякий зарок пропал.

Оставаясь один, Николай прислушивался к самому себе, ждал нового голоса, который должен был вырасти в этом изводящем подневолье и путанице, и ничего не слышал, — было печально на душе и затаенно. И угнетало предчувствие новых бед и горьких падений.

В покосившемся домике — колонии ссыльных сквозь задернутые белые занавески помигивал зеленый бледный огонек. В домике спорили и решали. В домике в вечерние часы находилось и свое дело и свой путь, своя жизнь и своя смерть.

И приходила не темная, беспокойная, белая — медная северная ночь.

Упоенное зорями небо, казалось, подымало из речной глуби белые ограды, ставило их круг земли Веснебологской. Белый без света выходил месяц, тянулся, как калека, к крохотной одинокой звездочке.

И зоркие птицы, как черные молнии, молча летели еще дальше на север.

И из дневного гомона, дневной суеты, дневного преступления, расстилавшихся над городом, вставала Мара́ — бессмертная, бездольная, проклятая от рождения: корчились все ее члены, перевитые, будто шелковинками, красными нитями незаживающих ран, а заплаканный рот судорожно кривился, и вылетали мучительные вопли из сдавленного горла.

Выкрикивала Мара́ безответные обиды, и по миру пущенные слезы, и слезы, тайком пролитые, и слезы, проглоченные под улыбкою, бесприютная, бездольная, отчаявшаяся от рождения.

И казалось, растворялись резные ворота белого Веснебологского собора, выходили в чешуйчатых кольчугах воины, белоснежная рында, парчовое боярство, монахи-опричники и красный палач, а над лесом мечей и топоров сиял драгоценный царский крест Грозного.

В ужасе кривился заплаканный рот бесприютной Мары, рвался из горла убитый хрип. Проклинала Мара грозного царя, проклинала его слуг-чернецов, проклинала красного палача, и мать свою, что зачала и вскормила ее на муку и поругание.

Захлопывались бесшумно резные ворота, подымалось шествие вверх по глубокой реке. Багровел ночной медный свет, заливался небосклон алою кровью.

И подымалось огромное нестерпимо-яркое солнце, неустанное полунощное над спящей землей.

Николай долго не мог привыкнуть к белым северным ночам, не спал целые ночи.

И жгучие желания подымались в его бессонном сердце.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Суд

Сидеть у окна по ночам, — долго не высидишь, и Николай с утра до позднего вечера шатался по городу. Захо-

дил то к одному, то к другому товарищу, ходил на рефераты, на собрания, участвовал в прогулках за город, — всюду и везде совал нос, слушал и присматривался, вступал в разговоры, морочил для смеха.

Вспомнилась как-то Палагея Семеновна Красавина, приятельница Вареньки, вспомнилась веселая Огорелышевщина и как некролог Палагеи Семеновны писали, схватился Николай за некрологи, и кому-кому только не написал сгоряча!

Ударил некролог по больному месту, и среди ссыльных поднялась целая буря. Собирались и толковали, толковали и обсуждали, пока не пришли, наконец, к единогласному решению.

В первую субботу вечером назначен был суд над Николаем.

Просторная комната колонии, где обычно жили сообща несколько товарищей ссыльных и где находили приют все вновь приезжающие ссыльные, в субботу была переполнена, — сидели и вокруг стола, сидели и на кроватях.

Председателем выбрали ссыльного адвоката Брызгина.

Аккуратно одетый, беленький, покачиваясь на тоненьких ножках, Брызгин говорил не особенно бойко, пересыпая речь свою затасканными остротами и косясь на плохо занавешенные окна.

Прежде чем разбирать вопрос о Финогенове и о его выходках, Брызгин предложил решить собранию: ехать ли всей колонией вслед за высылаемым в уезд товарищем Щукиным или просто выразить губернатору протест.

Щукин, чудаковатый студент, сидел в углу, не выпуская изо рта папиросы, угрюмый и взлохмаченный.

Сначала разделились на голоса, потом перемешались.

Попробовали поднимать руки, но когда пересчитали, оказалось, рук больше, чем присутствующих: не разбирая, одни и те же поднимали и за и против.

Поднялся шум. Говорили зараз. Кричали:

— Едем, едем!

— Не смеет так поступать!

— Позвольте, я был в Сибири!

— Наплевать мне на всех!

— Тише! — прикладывал к губам руку Брызгин и поднимался на цыпочки, лицо его вздрагивало и покрывалось красными пятнами.

Когда же вдоволь накричались, и кое-кто успел высказать и не без подробностей свое мнение, и вопрос казался исчерпанным, заскрипел стул Переплетчикова.

Переплетчиков, известный своей статьей о буржуазности Пушкина и слывший оратором, ни слова не проронил во время последней щеголеватой речи своего противника Андрея Андреевича Курбатова и теперь готовился разнести его вдребезги.

Несколько лиц, плотно окружавших стул Переплетчикова, одобрительно зашептались.

— Соглашаясь с мнением Андрея Андреевича, — начал Переплетчиков, растягивая и подсобляя выпученными глазами, — я, господа, так сказать или вообще, выражаясь яснее и говоря проще, хотел бы выяснить и до некоторой степени развить немаловажный или не менее существенный вопрос, поднятый и затронутый Андреем Андреевичем приблизительно до некоторой степени...

Оказалось, что Переплетчиков хорошенько не понял, против кого протестовать: против ли Щукина или против постановления губернатора, и вся его длинная, путаная речь свелась к защите Щукина против губернатора.

Опять разделились на голоса. Опять подсчитывали руки. Опять говорили зараз. И, наконец, решено было выбрать комиссию.

Долго выбирали комиссию и, когда все дело уладилось, и все согласились, запротестовал Рывкин.

Размахивая руками, будто было их у него не две, а по крайней мере целых три, Рывкин говорил против всего и всех вообще: Рывкин слыл за анархиста.

После шумного перерыва обратились к делу Финогенова.

Председательствовал на этот раз редкий посетитель собраний Корюхин, здоровенный малый, бритый, как актер, с трагической морщиной, резко вырисовывающейся из-под нависшей на лоб густой гривы. Пришел Корюхин на собрание отчасти из любопытства, отчасти и потому, что не-

которые подробности некролога, за который обвиняли Финогенова, близко его касались.

Насмешливо улыбаясь, развернул Корюхин свиток, испещренный затейливыми строчками с черным крестом вверху — некролог Ивану Адриановичу Дееву.

— «Иван Адрианович Деев!» — провозгласил Корюхин, обводя присмиревшую публику деланно страшными стальными глазами, и начал некролог, — «Деев умер! Деев Иван Адрианович... «Деев, пиши!» — не раз говаривал прикованный к постели злым недугом Корюхин. И Деев писал, в записную книжку записывал. Как сейчас вижу его вытянутые тонкие ноги, розовую сорочку и темно-желтые ботинки, вижу лицо его, издали напоминавшее портрет Канта... с бородою. Он не любил ничего неясного и неопределенного. «Пардон-с, пожалуйста! — говорил покойный, морщась и прижимая левый кулак к груди, когда заходила речь о постулировании абсолютного, — все это бессодержательные слова, Leere Wörter!» И тут же приводил какое-нибудь латинское изречение, украшая его излюбленным всеми философами сравнением: о ванне и выплеснутом ребенке... Помню нашу встречу: покойный лежал на диване в ожидании чаю; в руках его была книга... кажется, он не спал. Помню незабвенные прогулки у стен древнего собора: покойный так настойчиво требовал признания бытия дьявола. Наверно, тут-то и созрела его знаменитая работа: Так что же это такое, черт возьми? Обладая даром ясновидения, покойный как-то поздним вечером, не дойдя до Золотого Якоря, споткнулся и упал. А когда затворилась дверь отдельного кабинета, попросил чаю стакан без лимона. Отличаясь трудолюбием, покойный тихо скончался за переводом с немецкого».

Корюхин свернул свиток, поправил пенсне и отошел в сторону.

Поднялся Катинов, игравший роль прокурора.

Остролицый, будто высеченный весь из камня, Катинов начал свою речь резко, словно только что нанес ему кто-то смертельную обиду. Он подчеркивал лживость, оскорбительность и глумление некролога, разбирал каждое слово,

везде улавливал намеки на интимности Деева, — человека, достойного всякого уважения.

— Финогенов, — воскликнул Катинов, — вошь, загнездившаяся в великом скованном теле России. И тем, кто подхлестывает, кто душит, кто изо дня в день заточает, этим висельникам, друзьям Огорелышевых, приятелям всемогущего князя, все это на руку, их она не тронет, гадкая, маленькая вошь. Финогенов носится с самим собой, Финогенов ковыряет, выковыривает всякую нечистоту и сор, гадкая, маленькая вошь...

Закончил Катинов призывом к заветам великих борцов, бросивших вызов произволу:

— Их имена стоят, будут стоять кровавым укором, их голос услышите в затрепетавшем сердце. Слушайте: идите за ними, как мстители, радостно, идите на казнь!

Несколько лиц, окружавших Катинова, зааплодировали.

— Пережиток! — буркнул молчавший чудаковатый Щукин.

— Герои и толпа! — крикнул Переплетчиков и победоносно и презрительно.

А Катинов стоял бледный, казалось, упадет он от душившего его негодования. И ясно было, что не в Финогенове, не в некрологе был источник его негодования, а в его полной одинокости среди своих, среди товарищей и в бессилии его всколыхнувшегося сердца. Финогенов был для него тем же, чем Розик для Прометея, не больше.

Курбатов самодовольно улыбался.

Выступила комиссия.

Веснебологский старожило Скопцов, промытарившийся по нескольку лет чуть ли не в каждом уезде, исхудалый, в темных очках, ощеривающийся, как скелет. Молодой литератор Хоботов, напоминавший не Мефистофеля, а самого обыкновенного козла, известный своими статьями по всем вопросам, а главное своим неподражаемым чтением. Надушенный мыльными духами, Неволин, полжизни промыкавшийся в ссылке по отдаленнейшим городам и весям, и полжизни отдававший, лишь бы походить на что-нибудь странное и необыкновенное, такой добрый, и мягкий и румяный. Иван Авилович Пупко, тихий, маленький, сгорб-

ленный, с вечно подвязанным горлом и постоянно в непромокаемом резиновом плаще. И наконец, старичок-статистик Воронов.

С выступлением комиссии и *речей* ее в комнату вошел Николай и, спотыкаясь о груду калош, тихонько пробрался в угол к молчаливым колонистам, жавшимся по стенке.

Сквозь непотухающе-точащий шум и табачный дым доносилось до Николая как-то само собой вылетающее слово Хоботова.

Размахивая правой рукой и словно покачивая из стороны в сторону своим огромным языком, Хоботов громил метафизику, как *надстройку* буржуазии, а Николая как психологический тип вырождения, затем ударился в модного немецкого философа, процитировал монолог из своей готовящейся к печати социальной драмы, обозвал шарлатанами нескольких поэтов, которых принято было честить шарлатанами, похвалил писателя, которого все хвалили и, перебрав уйму книг и бегло пересказав уйму всевозможных теорий, Хоботов ринулся вперед, взмахнул руками и вскрикнул, как только мог, убедительно и громогласно:

— Рабочие должны быть жадны!!!

За несмолкавшим шумом, а шум поднялся одобрительный и восторженный, едва можно было разобрать Скопцова. Задыхаясь, делал Скопцов от себя *несколько незначительных дополнений* таким глухим голосом, словно слова его мягкими кусками вываливались из его прокуренного рта.

Неволин, выступивший за Скопцовым, приятно улыбался и, когда немного поутихло, пустился не без нежности, *по мере возможности*, описывать всевозможные финогеновские истории и вдруг потупился и остановился.

Неволина сменил старичок Воронов.

Проникновенно всматриваясь через пенсне на публику и скорбно опуская губы, Воронов сообщил о невозможности комиссии расследовать психологию товарища Финогенова: по его мнению, Финогенов нехороший...

Наконец, шепотком и робея заговорил Иван Авилыч Пупко.

С Финогеновым Пупко познакомился в день его приезда в Веснеболог. Финогенов, как сам рассказывал, продавал мыло, которое даром получал от своего брата.

— А когда касса обложила налогом мыло, Финогенов не подчинился, — сказал Иван Авилыч и поперхнулся.

И поднялся заражающий хохот.

Корюхин, встряхивая всей своей гривой и хватаясь за живот, хохотал своим ребячески-беспечным, раскатистым смехом.

Против Корюхина стоял Деев — виновник некролога — Деев в своей неизменной розовой сорочке и темно-желтых ботинках и, прижимая левый кулак к груди, доказывал что-то доктору с голубыми растерянными глазами...

И опять зашумели:

— Не подавать руки!

— Исключить из колонии!

— Это все равно, как вместе с водой выплеснуть ребенка! — выкрикивал Деев.

Взлохмаченный Рывкин лез на стену; он что-то кричал своим завывающим голосом, а руки выделывали в воздухе всевозможные антраша.

Николай протолкался к Катинову.

— Послушайте, — Николай дотронулся до его плеча, — пойдемте, тут мы с вами лишние!

Катинов резко обернулся.

И они стояли друг против друга. И комната, казалось, уж не шумела больше, все ждали.

Вдруг Катинов откинул голову и со всего размаха ударил Николая.

И в ответ загремел барабанящий хохот, и снова крики.

— Так ему и надо!

— Огорелышевец!

— Вот так Катинов!

Николай минуту стоял, как очумелый, и вот снова увидел Катинова: лицо Катинова болело злобой, как у Огорелышева. Николаю захотелось плюнуть ему в лицо.

«Нет, — спохватился он, — слишком много чести!» — и пошел к двери, а что-то липким ртом будто припадало к его сердцу, горечь ела его расходившееся сердце.

Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравной борьбе...

— донеслась вдогонку песня из домика колонии.

«А ты умереть можешь? — спросил себя Николай, и подумав, ответил: — А они могут... Катинов и Рывкин и Хоботов, — и опять подумал, — нет, Рывкин и Хоботов, может, и не умрут, духа не хватит, а вот Катинов... Но ты-то можешь? Ты можешь решиться? У тебя хватит духа? Есть у тебя ну хоть что-нибудь, за что ты умереть готов?»

А кругом шумно отцветала ясная прощально-ясная, осенняя ночь. И будто в ответ шуршала листва в опустелых садах, падали звезды, кружась и летая, как листья.

Родину-мать вы спасайте
Честь и свободу свою...

— доносилась вдогонку песня из домика колонии.

Вдруг ударило в душу:

«Умереть!» — и Николай уж не мог ровно идти, бежать стал. Он добежал до дома, вбежал на лестницу, захлопнул дверь, защелкнул задвижкой.

Звездный свет играл на стеклах.

Николай задернул занавеску, зажег свечку, затаился.

Одинокая свечка насмешливо глядела.

Глаза упади на стол: на столе письмо, — знакомый почерк.

— Таня! — и вздрогнув всем телом, Николай смертельно улыбнулся.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Расправа

Не чаял Николай, не думал, что Таня вспомнит о нем, приедет к нему. Ни строчки ни разу не получил он от нее ни в тюрьму, ни сюда, в Веснеболог, думал, навсегда уж прошло, кануло все. А вот и приехала. Как он обрадовался!

«Не радуйся, не радуйся! — выстукивало сердце, — больше не твоя она, не твоя: она Александра любит, при-

ехала об этом сказать тебе. Она не любит тебя и лгать не хочет!»

— Таня, это правда? — чуть слышно спросил Николай, не договорив своего вопроса.

— Да, правда! — сказала Таня, без слов поняв его, и поднялась точь-в-точь как на портрете у Александра, — ну что же я могу сделать с собой, я только верю вам, как первому, как близкому.

— Стало быть, так! — Николай тоже встал и снова сел, — ничего не поделаешь!

— Я вот вам правду говорю, вам одному всю мою правду, и приехала сюда за этим. А вы мне разве говорили тогда по правде? Зачем вы меня обманывали?

— Я вас...?

— А эта в Бакаловском доме?

— Машка! Я никогда не любил.

— Да вы меня-то любили ли? — Таня вдруг постарела, — как-то вечером зашла она ко мне, забитая такая, помочь просила... «Ребенок, говорит, был, да помер». А сама вся трясется, еле на ногах стоит, пьяная... Почему вы о ней не сказали мне?

— Да просто она для меня ничего не значила! — Николай поднялся и так остался стоять.

— Думаете, я могла бы забыть? Никогда не забыла бы! — Таня стиснула кулаки.

— Она умерла, — сказал Николай и опять ему показалось, что Таня по-прежнему любит его.

«Нет, нисколько не любит, — выговаривало сердце, — если бы она любила, не рвалась бы так домой: завтра ведь уедет, твердо сказала, уедет непременно. Да и жить ей тут неудобно!»

Таня поместилась в одном доме с Николаем — комната ее была внизу, — квартира общая, общий ход. Комната не понравилась Тане. И квартирная хозяйка как-то все высматривала и поглядывала подозрительно.

Вечером долго не расходились. Николай все рассказал о себе, ничего не утаил от Тани. И незаметно вырастало доверие. Таня сидела с ним рядом на диване. И снова она ему все сказала. Она выйдет замуж за Александра. Она поми-

рит его с братом, и когда-нибудь он приедет к ним, как в свой дом. И как легко ей теперь, а то она все мучилась.

И Николай соглашался: он все готов сделать для ее счастья, так он любит ее, одну ее, только одну ее!

Было уж за полночь, когда Таня пошла вниз, в свою комнату. Николай проводил ее до дверей и, оставшись один, долго сидел, слышал, как Таня задернула гардины, как стул переставила, как задула, наконец, лампу. И он сам погасил у себя свет и, не раздеваясь, лег.

На дворе дождик шел. Осенний ветер скрипел ставнями, не баюкал. Осенний ветер шумом своим не баюкал, мучил, пробуждал в сердце похороненное, будто могилы раскрывал давным-давно сровнявшиеся.

Николай вскочил с широко раскрытыми глазами, насторожился: ему показалось, слышит он голос Тани, — оттуда из низу тянулся ее голос, как бред, и светляками мигало ее тревожное дыхание в безмолвии ночи, все наполняя собою, всю его душу жаждущую, все его сердце, рвущееся и нелюбимое к ней одной любимой.

И уж вспоминается ему, как когда-то Таня подходила к нему, и они сидели рядом, он брал ее за руку и чувствовал теплоту ее тела, слышал стук ее сердца.

«Нет, она уж никогда не подойдет ко мне!» — ударило в душу.

Николай долго искал спичек, чиркал, — спички ломались, и, когда, наконец, вспыхнул голубоватый огонек, он закурил и увидел свои пальцы, бледные и заостренные, как зубья, а в зеркале мелькнуло лицо его — голова в спутанных, извивающихся змейками волосах, повисшие усы и потемневшие, провалившиеся от бессонниц глаза.

«Приехала правду сказать, проститься... Лучше бы не знать ему никакой правды. Ну, пусть бы оставалось так, без правды, — замолил в душе его безнадежный голос, — не знать бы ничего, и ждать и надеяться, а, может быть, забыть. А теперь поздно, уж поздно!»

«Барыня-то у вас какая красавушка!» — так квартирная хозяйка сказала Николаю в день приезда Тани.

— Красавушка! — повторяет Николай слова хозяйки, и видит Таню: Таня будто подходит к нему, всматривается,

протягивает руку, и видит он глаза ее — два хищных зверька в засаде, и чувствует ее горячую ладонь. Николай чувствует ее с болью, как свое нераздельное и вот отрываемое, и проходят перед ним дни без времени с жаждой любви, опьяненные жаждою.

«Приехала правду сказать, проститься!» — подымается снова в душе его безнадежный голос, и отчаяние замораживает всю его память, и земля выскальзывает перед ним, и он висит будто в воздухе среди пустынного затишья.

На минуту Николай очумел, как тогда после Катинова, после пощечины и вдруг опять услышал голос Тани — тянулся ее голос, как бред, и светляками мигало ее тревожное дыхание в безмолвии ночи, все наполняя собою, всю его душу жаждущую, все его сердце рвущееся, нелюбимое к ней одной любимой. И с ревом кровь хлестала по его жилам, секла каждый нерв, кутала плечи в горящую ткань.

«Нет, она уж никогда не подойдет ко мне!» — ударило в душу, подняло его на ноги.

Николай зажег свечку — нестерпимо яркую свечку, и пошел к двери, к лестнице вниз к Тане.

Осенний ветер шумел за окном.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Куда ветер гонит

Со свечкой, стараясь не стукнуть, не дыша, спустился Николай вниз к Тане, тихонько раздвинул портьеры и вошел в ее комнату.

Брошенная на стул, смятая белая кофточка с длинными черными шнурами впивалась в глаза и тянула. Он прикоснулся к шелковой кофточке, как к живому телу.

Таня, вздрогнув, открыла глаза, подобралась.

— Таня, не бойтесь, это я, это я! — повторял Николай и силился что-то вспомнить, что-то разглядеть, что-то уловить, и видел глаза ее, напряженно всматривающиеся, нет, как у Розика.

— Таня, не бойтесь, это я, это я! — пресекался его голос, туманилось у него в глазах.

И тихий стон ее на минуту оглушил его. Словно два взъерошенных зверька выскочили из ее больших глаз. А дразнящие тени на ее груди потянули его за собой и все слова и все мысли вдруг умерли.

Николай делал то, на что его толкало, и не было мысли противиться завладевшей им силою, ни мысли, ни желания, и будто сквозь сон, чувствовал он, как что-то крепко сдавило его и слышал, как опрокинулось что-то, переломилось, как что-то жалобно хрустнуло, — хруст пронзил его мозг, разорвал мякоть и звенел мертвым звоном в пустых костях.

Рев взбешенного зверя, жалоба обиженного ребенка, вопль исступленной матери, и даль бездонно-черная в спешащих огоньках-снопах, и нежно-стелющаяся тишина, и баю-бай укачивающей колыбельной песни...

Непотушенная свечка, нагоревшая, словно вбирая кровь, пылала. Колебались портьеры, — там за дверью будто кто-то двигал портьерами.

И Николай уж снова стоял перед Таней, а с белой кровати смотрели на него глаза, ее глаза и две слезинки дрожали у полураскрытых ее губ, да разметавшиеся волосы перьями сухо чернели.

Свечка, словно вбирая кровь, пылала.

И ожили все слова, ожили все мысли. Все, сделанное им минуту назад, стало ясным. Поправить? — не поправишь. Уйти? — некуда уйти. И эта непоправимость, эта невозможность закружила Николая.

Все предметы стали вдруг подходить и заходить перед ним, сплываться и сжиматься. Вот умывальник вошел в кровать и расползлись по полу ножки стула и вдруг стянулись в душный тесный круг, все закружилось...

Упал он к кровати и казалось ему, будто ползет он по нестерпимо зеленому лугу через груды живых тел...

Темный обморочный сон сковал Николая.

И видения одно за другим проносились в душе его, как живое и с болью живою.

Представилось ему, будто вбежал он в огромный дом. Нет конца комнатам. Какие-то оборванные люди сидят на сундуках, как погорельцы на спасенном добре. В широкое

окно тянется золотой луч, но они не видят солнца, посиневшими руками впились в сундуки, и тупой страх тянет их веки к земле. Вдруг погас свет. И он уж не в комнате с широким окном, а в тесной каморке. Тихо отворилась дверь. Тихо с тяжелыми котомками будто входят странники в запыленных армяках, окружают его. А где-то за стеною шум водопада и ветреный шорох летающих осенних листьев. Стены сжимаются, потолок все ниже, и теснее сходятся странники. Да это он наверху в детской в красном флигеле, вон и зеркало.

«Колюшка-то помер!» — явственно донесся знакомый голос из низу с лестницы, голос покойницы бабушки Анны Ивановны.

«Бабушка, а бабушка, о сером волке сказку скажи!» — будто кличет он в отчаянии и знает, что поздно теперь, ничего не поправишь, да и бабушка не слышит его.

И представляется ему, будто идет он по черной степи. Изредка попадаются ему худые, изогнутые деревца, свернувшиеся листочки на изъеденных лишаями ветках. И небо такое черное. Трудно идти, но он идет: он должен яму выкопать — могилу себе.

«Вот тут! — говорит ему кто-то на ухо, — место тебе будет покойное, царское!»

И он принимается яму копать, покорно, без жалобы. А жить-то как ему хочется! Руками разрывает он землю — могилу себе. И вдруг все изменилось: небо из черного стало сине-белое, степь весенняя. И он чувствует, как легкие крылья поднимают его, несут по теплой волне над землей, над весенней степью.

Что ж нам делать,
Как нам быть,
Как латинский порешить?

— обрезал несуразный Прометеев голос, Прометей пел.

Прометей голый, Прометей весь густо вымазанный йодом, с бинтами по всему телу, скаля зубы, пел, головой помахивал. А кругом плащаницы свечи горят и пусто, ни души в церкви. Вдруг Прометей выпрямился, обвел безумными глазами вокруг церкви, присел на корточки, и,

как ужаленный, подпрыгнул и, весь извиваясь, сорвал бахрому с плащаницы, разорвал бархат, сцарапал изображение, сшиб подсвечники. Летели свечи, загорались иконы, трещал иконостас. Вой, визг, взрыв зачинающего пожара и среди гула и шума шепот, его собственный шепот:

« Таня, не бойтесь, это я, это я!»

И подымается душная, грозная ночь. Только они одни, будто он и Таня, одни наверху в детской. Уверенно теплится лампадка перед Трифоном Мучеником, жарко пылает крещенская свечка. Они жмутся друг к другу. А гроза идет, вот разразится прямо над крышей, похоронит весь дом. Они жмутся друг к другу.

«Таня, не бойтесь, это я, это я!»

И вдруг раскололось над домом, запрыгали окна, вытянулись лица...

«Сорок девять! сорок девять!» — подхватил хор глухих сиплых голосов: это пели все сорок девять товарищей ссыльных.

И он уж стоит будто на откосе железнодорожного полотна, а они, все сорок десять товарищей – ссыльных, будто внизу под окном семенят на одном месте, держатся за руки, топчут что-то красное, вязкое, хлюпающее, мясо какое-то. И вдруг в глазах у него потемнело: кто-то ловко накинул ему петлю на шею и потянул. И уж ведут его в башню, белую, без единого окошечка, и он знает, что приговор подписан, и с часу на час наступит смерть. Он лежит на нарах в грязной камере, и ждет, когда придут за ним и поведут на казнь. И вот с визгом растворилась чугунная дверь. Два человека, один в черном, другой в красном плаще и черных полумасках, с тонкими, золотыми шпагами на бедрах, вошли в камеру и, молча, взяв его под руки, вывели на волю. И там, на воле, долго шли они по незнакомым узким улицам, завертывали в переулки, упирались в тупики, снова возвращались, пока не выбрались на людную широкую площадь. Толпа запрудила все проходы. Надорванно заливался колокольчик остановившейся конки. Кондуктор, морща желтое лицо и наседая грудью, вертел тормоз, сам заливался мелким гаденьким смехом. Небо ярко-синее над пестрой толпой куталось в блестящую сеть

весеннего солнца и, казалось, спускалось все ниже, совсем над площадью. Он просто мог бы достать пальцем до неба, когда стал на высокий помост и глянул поверх кишевшей толпы, но палач ударил его кулаком по шее, и голова его упала на грудь. А прямо перед ним, у столба на краю помоста, прихлопывая в ладоши, плясала растерзанная, с оборванной петлей на шее полунагая женщина: измученное лицо ее в слезах надрывалось, от боли глаза то на лоб выскакивали, то вваливались, как у похолодевшего трупа, — Таня плясала...

Но тут видения, в миг пронесшиеся в душе, сожгли ему всю душу, и темная пелена упала на его глаза.

Выгоревшая свечка вздыхала, голубой огонек чуть жил.

Закусив конец половика, лежал Николай в обморочном сне на полу у Таниной кровати, а по стене, как разбитые мельничные крылья, шарахаясь, ходили наливающиеся ночные тени. С открытыми остановившимися глазами лежала Таня, не шелохнулась.

И была долгая ночь, запретила она, безответная, всем беззвездным шорохам и одиноким стукам врываться, гулять по дому, караулила она окно, поруганное сердце и другое сердце, исступленное от жажды и отчаяния.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Мертвая петля

На другой день Таня уехала от Николая. Куда? Зачем уехала? Домой? К Александру? Ни слова она ему не сказала, не простилась, не взглянула на него — так и уехала. Лучше бы ему и не просыпаться, и зачем он проснулся после своей непоправимой ночи.

Падали последние, красные листья. Сгорали осенние красные зори. Туманы, кутая берег, как стена, подымались над рекою. В последний раз отплывая, ревели пароходы, прощальный их голос разрезал холодный воздух. И прошла осень. Ветрено-шумно хлопьями полетел снег на землю. В долгие ночи металась под крышами вьюга, ковала

стужу. И в дыме ходила по звездам костлявая луна, улыбалась скорбной улыбкой.

По временам, казалось Николаю, он просто с ума сходит.

Обычно, как только смеркалось, выходил Николай на улицу и, пробираясь среди старых домов, шел на безлюдье, в поле. Если случалось встретить кого из товарищей, он сжимался весь, будто жестокий удар готовился на его голову. Такими страшными стали казаться ему самые безобидные люди.

По улицам в час его скитаний зажигали фонари. И он, встречая седое хилое пламя, всматривался, как в пылающую свечку своей непоправимой ночи.

«Ты помнишь?.. Ты помнишь ту ночь, ее не вернуть!» — гудел ветер.

А там, в белом поле, среди пушистых раскинутых снегов и во мраке и среди зелени, — и темною ночью, и в лунную ночь Николай с стиснутыми зубами не покорно просил, а требовал, настаивал еще раз увидеть ее.

И казалось, совершалось чудо.

Не раз, проходя по бульвару, он будто видел Таню: она была такой неподдельной, лицо ее, тело ее — все в ней являлось ярко, резко. И он пускался бежать за ней, но она далеко мелькала по дорожкам. Выбившись из сил, он садился, и она садилась на скамейке против, но стоило ему подняться, как она подымалась и уходила.

В поздний час возвращался Николай к себе домой, запирал дверь, задергивал занавески и сидел без огня. Ему даже свет страшен стал.

А когда среди давящей ночной тишины он забывался, снились ему изводящие сны.

То казалось ему, будто кто-то входит к нему в комнату, раздевает его донага, уносит одежду и, оставив его нагишом, выходит из комнаты, и уж снова возвращается и медленно, не спеша, принимается выносить одну вещь за другой, а вещей будто полна комната. И он лежит на голом полу голый, видит все, а сделать ничего не может, и подняться с пола не может. Он тогда только подымется, когда вор перетаскает все вещи, а когда этот вор перетаскает..?

И так до рассвета.

Или представлялось ему, будто сидит он в своей комнате, и вот приотворяется дверь, и в каком-то странном стрекочущем свете заглядывает к нему с лестницы старая-престарая старуха. Синие губы ее вздрагивают, слезятся гноящиеся глаза, и трясущаяся рука, привычно корчась, тянется за милостыней. И он будто вынимает из кошелька деньги, потряхивает ими, но давать ничего не дает. Загнанная бесприютная нищенка опускает пустую руку и, постояв минуту, опять протягивает.

И так до рассвета.

Наступал день, мучил несносными тягучими часами и в каких-то мучительных потугах превращался в ночь.

Для Николая уж не было на свете ни одного лица, ни одного предмета, на чем бы глаз ему успокоить. Даже дети, эти единственно милые и чистые незабудки, даже дети, детские личики казались ему в песьих стальных намордниках, и скалили на него из-за проволоки свои молочные острые зубки.

По временам казалось Николаю, он просто с ума сходит.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Гарь

За городом по большой Веснебологской дороге, прикрытая частым леском, раскинулась целая усадьба с огромным каменным домом — желтый дом.

Окна с железной решеткой, окна, унизанные истощенно-ободранными полускелетами, полутелами, понурые лица бритых голов, сдавленный смех, и дьявольская улыбка, обвивающаяся змеей вокруг смертельно белых губ, остановившийся долгий, изнуряющий взор, и такая открытость, такая беззаботная уверенность, как у ребят малых. Сап, уличная брань, тихая молитва и горький стон. А там за дверью в палатах увязающий в нерасходящейся мгле, измученный желтоватый свет, пробитые ступени каменных лестниц, и жуткая темь углов, куда уходят и где таятся

такие слова сердца, такие думы, загадки и разгадки — сама судьба с ее долею и не-долей.

Шорник Калачев, когда-то живший с Николаем у одной квартирной хозяйки, отправленный в ссылку в уезд, сошел с ума. Утром в Рождественский сочельник Николай получил извещение о Калачеве и отправился за город в больницу повидать своего соседа.

Вьюжный день свистел за дверью и засыпал окна.

В переполненной приемной жутко горела неяркая лампочка.

Николаю долго пришлось ждать в приемной. Наконец привезли Калачева.

Места живого не было на больном: перерезанные веревками руки, красно-водянистые лепешки отмороженных ушей, багровые подтеки и ссадины на лбу, перегрызенные запекшиеся губы, клочья длинной рыжей бороды, примерзшей к тулупу. Мелкими мурашками разбегался озноб по его телу и, собираясь в огромный муравейник, словно кулаком ударял по шее и подкашивал ему ноги. А налитые кровью глаза его с черными подглазницами выпирались неумолимым безответным вопросом.

Николай всматривался в Калачева и казалось, это в Калачеве, не за дверью, выла вьюга. Трудно было узнать Калачева.

Пришел доктор, и публику из приемной удалили. Вышел и Николай и толкался у дверей, ждал, когда поведут Калачева.

Чуть внятно доносились из приемной распоряжения и опросы, да в валенках служитель шмыгал со связкою ключей, как тюремный надзиратель. Вдруг нечеловеческий крик прорезал стену и в приемной поднялся шум и возня.

Трое служителей, шмыгая валенками, пробежали мимо Николая. Сгорбившись, вышли из приемной два городовых.

— Не полагается! — сказал городовой Николаю, — не полагается тут: уходите!

Делать нечего, Николай хотел было идти, но в это время веснушчатый плюгавый человечек в огромной ушанке с болтающимися концами пронырливо выглянул из чуть

приотворенной двери, и униженно закивал головой.

«Господи, да это Павлушкин!» — обрадовался Николай, и вспомнилось ему, как однажды он вышвырнул за дверь это жалкое тельце наблюдающего.

Павлушкин охотно принялся рассказывать Николаю о Калачеве. Калачева везли из уезда без передышки пять суток, больше тысячи верст отмахали в метель, перекидывали с санок на санки, — торопились поспеть к празднику.

— Очень вел себя беспокойно, бунтовался, две рубахи на себе разодрал, уряднику самоваром голову прошиб. А чем же мы-то виноваты? — Павлушкин виновато семенил около Николая.

Дверь распахнулась, и все притихло.

В длинной белой рубахе, как в саване, пронесли Калачева. Ни лица, ни глаз не было видно, только над бровями мертвел черный упорный шрам.

Где-то наверху гнусаво пропел тяжелый замок. И слышно было, как волокли по лестнице затихшую, грузную ношу.

А круг безумных теней, увязая в желтоватой мгле, трепетал: вот займется, вспыхнет искрами, бросится на стены и дальше полем к городу, обоймет, вопьется в город, взорвет все камни, обуглит здания и дальше, пока не разлетится земля. Но безумный круг безумных теней расползся в желтоватой мгле, незаметно вышли люди и затаились больные в палатах и одиночных кельях.

Николай вышел из желтого дома и пошел по полю в город.

Белый сыпучий снег столбы крутил, в белых сыпучих столбах ветер пел.

Николай прокладывал путь по сугробам, а сзади налетала вьюга, осыпала снегом. Так бы и идти ему все по полю, никогда не возвращаться домой. И пусть метель придушит его! Он не властен перевернуть по-своему, в нем самом все перевертывается.

— Пусть бы сразу конец! — шептал он, и хотел не думать, забыть и знал всю бессмыслицу желаний своих: разве мог он забыть и не думать?

Белый сыпучий снег столбы крутил, в белых сыпучих столбах ветер пел.

Перебрал он все старое, в каждый прошлый уголок заглянул. И кончилось поле, вошел он в город.

По случаю наступающего праздника по улицам было большое движение. Подлетая и бухая об ухабы, катили санки. Толкаясь и перегоняя друг друга, неслись пешеходы по тротуарам. В магазинах зажигали огни.

И ясно вспомнился Николаю шорник Калачев и вся жизнь его и все рассказы его, и, вспоминая Калачева, Николай невольно к себе переходил, к своим мыслям о своей жизни.

Видел он предпраздничные огоньки, и ни один из них, казалось ему, не хотел приютить его.

«Жил себе человек, — думал Николай — жил тихо, смирно: что велят, рад-радехонек, все исполнит. И вдруг ударила его вся эта толкотня и сутолка, хлестнул по глазам тот вон свет в каменном доме, рванул за живое какой-то хозяйский упрек. «А чем я хуже? Не мразь я какая, которую, кому не лень, топтать волен, не кобыла, которую лупи, сколько влезет, все стерпит. Я гну для тебя, подлеца, спину, потому что жрать хочу, но гнуть себя не позволю. А если лебезить задумаешь, обещаниями глотку заткнуть, рай свой, солнце свое, свет свой посулишь, не верю тебе, не верю!» И пошло: сначала грубое слово, слово за слово, а потом в тюрьму посадили. Жил себе человек. Зачат безжеланный, на свет появился обузой. Кем посеян? Зачем свет увидел? На что вырос? Любил... все отдал бы за одну минуту, только бы одну минуту быть с нею. Верил... и как надругался над своей верою. Мечтал о какой-то огромной жизни, которая непременно должна была наступить, и вот она: буря и вой, нет покоя. Братья мои, сестры мои!»

— Гей! сторонись! — заорал кучер.

Николай шарахнулся в сторону: мимо него промчались санки, — тьма колких, грязных снежинок ударила ему прямо в лицо.

И шел он сгорбившись. Забравшиеся за ворот снежинки морозили спину. Толкались прохожие, все куда-то спешили, перегоняли друг друга. В магазинах ярко огни горели.

— Братья мои, сестры мои! — шептал он.

А небо было черным, крутился дикий, бешеный столб, рассыпался сверкающими снежинками и вновь вырастал и крутился. И гудела телеграфная проволока.

— Братья мои, сестры мои! — шептал он, и тоска упала на сердце, тоска росла.

«Надеть бы ему шапку-невидимку, мигом перелететь туда в свой родной город, стать на пороге и дожидаться: скоро ко всенощной ударят, Таня выйдет из дому ко всенощной, нарядная! Да не достать ему шапки-невидимки: таким, как он, она не дастся, ведь он сгорбился, смирился и не уйти ему отсюда, дальше желтого дома никуда не уйти, дальше уж страшно станет. Катинов не согнулся, Катинов убежал из ссылки, а с ним и другие ушли, а с ними и другие уйдут, а он тут так и захряснет. Катинов тогда ударил его, а он ничего не ответил. А почему не ответил? Ведь вовсе не потому, что хотел этим свое какое-то высшее презрение показать, неправда это, а просто побоялся. И Катинов был прав, и Катинов вправе был и не один раз ударить его. Нет, теперь и шапка-невидимка ему не поможет. Ну, если бы даже он и достал ее, что толку! Увидит он Таню. Да как он посмотрит-то на нее? После всего, что было, как он встретит ее?»

— Братья мои, сестры мои!

Николай шел сгорбившись. Душа его изнывала в тоске.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Дева днесь

Был поздний вечер, темно и снежно, едва пролез Николай к двери своего дома. Зажег лампу. Пусто было в комнате и невыносимо постыло. Грубо сжимали облезлые стены, давил низкий с отставшей прокопченной бумагой паутинный потолок, и щурилось обидчиво, издевалось пестрое пятно на абажуре — старая почтовая марка.

В церквах ударили ко всенощной.

И услышал Николай, будто запел кто-то рождественскую песню, — ясно зазвучал далекий родной голос:

Дева днесь Пресущественного рождает
И земля вертеп Неприступному приносит...

И увидел он из окна Таню: вся в огнях, в свечках мелькнула она перед ним, как зажженная елка, и вдруг стала искоркой и отодвинулась, и, отодвинувшись, превратилась в горящую кровинку, и, став горящей кровинкой, поплыла, рассекла страшную даль, а все плыла и, кажется, приходила минута, когда должна была погаснуть, но жила, виделась, раздвигала новые дали над гранями и поясами над морем, ветром и зноем, над светилами, солнцем и звездами, над землей высоко, вездесущая, всенаполняющая.

Второй звон зазвонили.

Погасло за окном. И одна чернота вьюжного вечера глядела в окно.

Николай прислонился к печке: откуда-то из углов шло бормотанье. Но кто это там бормотал, что бормотало, он не мог различить, и весь напрягался, — все в нем тянулось понять этот шум.

А оно ползло, сновало, тоненькими-тоненькими голосками пело, подлетало, дразнило, жалило.

Вдруг острой судорогой передернуло лицо его: кто-то будто холодными пальцами провел по спине.

«И никому ты не нужен, никому нет дела до тебя, слышишь, нет никакого дела! — стонали в клубок спутанные мысли, — и умрешь так же, как умирает отставшая заблудившаяся собака, без крова, без крова, безнадежно. Будет изо дня в день, ночь и день ускользать земля с тобой, с твоим трупом по безмерным пространствам, будут матери детей рожать, пойдут, разбредутся сыны по всем ветрам, покроют землю до последнего уголка. И те, кто заревом пройдет по земле, и те, кто зарею наполнит дали, они напоят землю своим горячим сердцем. Смеется ли кто над горем и над тем, что проползает в сердце грехом, над сердцем, над догадками человека о судьбе своей, или тяжкой скорбью перевивает свое великое божеское сердце, — тебе все равно. И вот солнце померкнет, звезды чернее ночи выглянут с черного неба. Из звездных очей заструится алый свет, — кровь детей, кровь мучеников, кровь всех, кто одиноко, забившись в четыре стены, этим голым сте-

нам свою скорбь отдает, глухим стенам исповедуется, бьется безответно, молит безответно. Радуйся! Радуйся! И твои желания замеревшие, забытые, развернутся тогда своим цветом, ты восстанешь, ты пойдешь по земле и будет тебе, как во сне: отдаленности приблизятся, близь уйдет в даль, предстанут сонмы существ, тьмы жизней, все знание, синие, златогрудые грозы раскроют небо и высоко над землею, над морем, ветром и зноем, над светилами, солнцем и звездами, над гранями и полосами, над землею высоко станет она вся в огнях, в свечечках, как зажженная елка, вездесущая, всенаполняющая».

Дева днесь Пресущественного рождает
И земля вертеп Неприступному приносит...

Застыл Николай, не смел оглянуться: чувствовал, будто стоял кто-то за спиною и дышал иссушающим холодом:

«Не бойся, это я, я спасу тебя!»

Внизу у хозяйки пробила полночь. Метель на воле перебесилась. Всему покой пришел. И Николай заснул.

И во сне в эту ночь Николай долго вертелся волчком, вертелся в черноте и дыме, пока не стал пригреваться, а как согрелся, и успокоился. И представилось ему, будто совсем он маленький, вскакивает он будто с горячей постели, накидывает на плечи одеяло, да и к окошку. А в окне чуть маленький светик: еще очень рано. И, кутаясь в одеяло, он таращит глаза: не просмотреть бы волков, как пойдут волки по пруду со звездой путешествовать? А по пруду не волки, по пруду Арсений Огорелышев идет и так медленно, едва передвигает ноги, и такой мохнатый, как волк.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Оракул

У полузамершего окна просидел Николай сумеречные зимние дни, как приговоренный, день казни которого откладывается.

И только когда смеркалось, выходил Николай на улицу

и ходил без цели, не глядя: ждать нечего было. И так же медленно возвращался он домой, затаив в себе, в сердце своем какое-то тяжкое оскорбление. Обломки воспоминаний, обломки мыслей, такие острые и горькие, — кто-то словно обухом ударял его по темени, а не убивал. И до глубокой ночи Николай оставался один в темноте. Тянулись часы, будто в часах какие-то насекомые гнездо себе свили, плодились там, засоряли механизм. В душе его разверзалась пропасть, а он, как птица, вился в тяжелой туче, и безнадежность хватала и тащила его в эту пропасть: ждать нечего было.

Мучительно проходили дни.

И вот стала зима увядать. Пожелтели дороги, почернели дома: оттаивая, вглядывались дома в зашумевшие улицы. Стены комнаты еще больше сузились, еще теснее стало в комнате. И вот рамы вон и все ожило: вот распахнется дверь, придет кто-то такой желанный и выведет на волю в вольное поле. Дымилось малиново-морозное солнце, по утрам лежал жесткий снег, да надолго ль? Весенняя черная туча съедала снег. Увядала зима.

Николай чувствовал, как и в нем словно тает что-то, а растет другое и тянет куда-то.

В Благовещение забрел Николай на вокзал. На вокзале не был он с осени, с отъезда Тани.

Все ему припомнилось, как Таня в вагон вошла, как он насильно обнял ее, и поцелуй его был такой, как к покойнику в последний раз, когда уж крышку принесли и вот сейчас закроют гроб. Огоньки последнего вагона потухали, а виделись другие огоньки... и платформа опустела, а все виделись огоньки.

И когда капля за каплей собралось все бывшее в его памяти и ледяной корой сдавило сердце, вдруг надежда поднялась в душе: непременно еще раз увидеть ее и рассказать ей обо всем. И в сердце решилось бесповоротно: завтра же он уйдет из Веснеболога, все сделает, а будет там, дома.

Свистели паровозы. Свистки, будто скрываясь и дразня, звали его. А перед глазами убегали рельсы.

Огоньки последнего вагона потухли, опустела платформа, и Николай ушел.

И всю дорогу он уж об одном думал, как завтра уйдет он из Веснеболога, а послезавтра будет дома. И всю ночь до рассвета думал, пока чья-то тяжелая ладонь не прихлопнула веки ему.

С болью продрал Николай глаза.

Золотое, прощальное зимнее утро горело.

Страшно ему было вспомнить весь свой сон до конца, слишком уж ярко.

А снилось ему, будто вошел царь Соломон и Мартын Задека, такие, как рисуются в оракулах, и подает будто ему Мартын Задека замуслеванный вощаной катушек: этот катушек над кружками надо подбрасывать, чтобы по цифре, на которую упадет катушек, судьбу узнать. Подает ему будто Мартын Задека катушек, царь Соломон оракул раскрыл. Взял он у Задеки катушек, стал подбрасывать, и вдруг видит, не катушек вощаной он подбрасывает и не простой шарик, а теплый розовый шарик. И где-то в душе сознает, что это живое что-то... Танино, а сам все подбрасывает, так подбрасывает, от крови пальцы слипаются.

Поднялся Николай проворно, оделся, попросил чаю.

Был он каким-то желтым и квелым, чувствовал все свое тело, а руки как обузу.

И когда хозяйка принесла чаю, забыл он о чае, стал собираться. Хорошенько не знал он, как все это выйдет, знал одно — сегодня же непременно уйдет.

Снял Николай со стенки фотографию. На фотографии изображен был Огорелышевский пруд зимним полднем: за деревьями едва виднелся красный флигель, все было в инее, ледоколы, коловшие лед на пруду, покинув лошадей, ушли в трактир, к лошадиным мордам привешены мешки с овсом, сани с наколотым льдом, по льду следы. Спрятал Николай фотографию в карман, стал шарить в шкапу, — пальцы бегали между книг, книги валились, — остановился на полотенце: Варенька вышивала. Крестиком красной ниткой тянулся ряд взъерошенных красных петухов по краям полотенца. И полотенце сунул Николай в карман.

Больше ему ничего не надо, больше он ничего не возьмет.

— Ну, прощай, комната, прощай, окно, прощайте!

После обеда Николай ушел из дому, будто погулять, и уж больше не вернулся.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

До́ма

Поезд опоздал. И извозчик попался скверный. А Николаю хотелось как можно скорее. Вез извозчик утомительно долго.

Шли дома и церкви, шли, встречая и провожая, будто кладбище с стертыми, но еще живыми надписями на крестах и памятниках. И сумрак, сливая крыши, растягивал их в одну серую надгробную плиту.

Падал снег, падал синими гвоздиками на мостовую, таял на камнях.

И наперекор неукротимому шепоту, что по капле вливался и возмущал его душу, наперекор невнятной тревоге, что собиралась где-то под сердцем, наперекор беде, что следила из-за каждого угла, из каждых ворот, в душе его рвалось что-то уцепиться за стойкое — за надежду свою, не покидавшую его.

«Не все еще пропало!» – плыли, как плывет воск, воркуньи мысли и огнистая полоска живой крови волной завивалась под сердцем.

Увидел Николай церковь Покрова такую старую, все ту же, только купол как будто позолотили.

«Прийти, как прежде, ко всенощной, стать на клиросе!..»— подумал Николай и зажмурился, представляя себе все, все как было прежде.

«Дом Братьев Огорелышевых» — мелькнула надворотная надпись.

Николай привскочил, острою горечью облилось его сердце и, с болью всколыхнувшись, крепко впилось в грудь: было оно как засыхающий комок крови, и жизнь его, изнывая, цеплялась из темной пропасти за паутинную лестницу на волю.

— Скорей погоняй! — закричал Николай извозчику.

Но извозчик, как ни стегал лошадь, едва двигался.

Уж фонари зажигали, когда подъехал Николай к дому Соколова, где жил Евгений. Расплатившись с извозчиком, минуту стоял он столбом, прежде чем решился позвонить.

«А ну как, — подумал он, — и тут не примут!»

Так загнали, так легли на него клеймом все его прошлые каиновы дни веснебологские.

Евгений только что вернулся из банка. Евгений не ожидал гостя и как обрадовался!

— Эрих, накрывай на стол, — суетился Евгений, — ты есть хочешь?

Арина Семеновна-Эрих с очками на лбу поставила тарелки, принесла обед, потом Костю вынесла.

Костя оказался веселый, оттопыривал губки и улыбался Николаю, как улыбаются только дети, для которых страшное совсем не страшно.

Николай взял его на руки, делал козу и сороку, животик грел...

Уселись за самовар. За чаем Евгений рассказывал о своей службе — о банке Огорелышевском.

— Ну, а сам-то как, Арсений Николаевич? — перебил Николай.

— По-прежнему, все для острастки ругается.

— А ты?

— Я ничего.

— Ничего! — и показалось Николаю, будто хлестнул его кто-то больно по спине, встал он из-за стола и пошел ходить по комнате.

— Садись, — остановил Евгений, — еще уронишь чего!

«Вот до чего согнуться можно! — думал Николай, — нет, он не позволит, нет, не позволит он так издеваться!»

Евгений зажег лампу, стало теплее. Николай перестал ходить, сел к самовару.

— Наш дом ломают, после Пасхи и пруд засыплют, — сказал Евгений.

— Как! И дом ломают? — Николай не хотел верить.

— После пожара дом почернел, обуглился, стал рассыпаться, ну и решили сломать, новый выстроить, бесплатные квартиры.

— Для нас! — подмигнул Николай, и опять было встал, но в эту минуту, надсаживаясь, задребезжал звонок.

Петр и Алексей Алексеевич вошли в комнату.

— Удрал? — Ловко!

— А нас словно гонит что-то, едва дух переводим.

— Ну, как ты, как теперь?

Говорили сразу, долго не могли успокоиться.

Николай смотрел то на Петра, то на Алексея Алексеевича: как они изменились! И стало ему стыдно за себя.

«Вот она беда-то у кого настоящая!» — подумал он.

Появились на столе водка, пиво и красное вино.

— Это для тебя красного купил, ты любишь! — Евгений откупоривал бутылки.

И опять зашумели, даже Костя проснулся.

— Места настоящего нет, — говорил Петр, — а впрочем, что место... Придет весна, уйду я из этого проклятого города...

— О. Глеба на покой уволили. В затворе старец и принимать ему никого не велено.

— Твою коробку с эпитафией отобрали, Каиафа у себя поставил... в киот.

— Сломали качели.

— Все сломают! — ударил Петр кулаком об стол.

Николай мало говорил, больше слушал. Рассказывал Николай о себе, но ни словом не коснулся самого главного, больше рассказывал так о ссылке и товарищах-ссыльных, о том, как отупляет и калечит подневолье. Потом пошла философия.

Алексей Алексеевич больше всех горячился:

— Мечтать устроить жизнь лучше и свободнее... А какую волю дать невольной душе?

Петр свое говорил:

— Поступил я к приятелю в театр, милее он милого, а то, что ты жрать хочешь и, не жравши, играть не можешь, этого он никогда не поймет... не заметит, некогда ему, понимаешь... И сидишь так ночью после спектакля и думаешь: как это он там у себя ест, непременно почему-то думаешь, что ест, и кишки у тебя все переворачиваются, а от холода и тупой злобы дрожь трясет...

— Главное тут не борьба, не свобода, а во имя чего борются, во имя чего борьба ведется?

— Хочешь, я сию минуту, — наступал Петр, — хочешь, я влезу на шкап и вниз головой, и не расшибусь.

Вспоминали огорелышевские проделки, о. Гавриила, Боголюбского старца. Старца решили непременно проведать завтра же: Петр пойдет с Николаем.

— То-то старец обрадуется!

В бутылках оставалось на донышке. Шум стоял, как когда-то в пивной у Гарибальди.

— Да провалится вся земля с ее утробой! — Петр влез на шкап и приноравливался проделать свой головоломный фокус: броситься вниз головой и не расшибиться.

Евгений сидел молчаливый и грустный.

Николай тоже молчал, Николай чувствовал, что трясет его, чувствовал, как где-то в сердце ломают что-то...

Алексей Алексеевич уселся за пьянино, стал играть.

Слушал Николай музыку. Ложились звуки на сердце, и был на сердце живой костер.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Мать сыра-земля

Когда задули свет, и все повалились, и сон плотно сомкнул отяжелевшие пьяные веки, представилось Николаю, будто снова играет кто-то на пьянино.

И среди звуков, в музыке стала Она перед ним, пела Она свою песню, песню песней.

«Земля обетованная! Крылья мои белые, тяжелые вы в слипшихся комках кровавой грязи! Земля обетованная!»

И поднялась буря голосов, слетелись вихри звуков, зажурчали шепоты, покатились волны слов, встали валы грозных проклятий, выбил фонтан криков, попадали капли упреков, загудели, завыли водопады победоносных гимнов, забарабанили боевые кличи, и схватилось причитанье-ропот с разгульной песней, и потонул в плаче бессильный скрежет. Там загорались голоса, как праздник, — кричали

камни. Там голос, как сухой ковыль, шумел простором. Беззвучный плач на заре певучей! Воспоминание в разгаре желанного беспамятства! Глухой укор в миг наслаждения! Там темный голос, совсем чужой, выл, как царь-колокол. Был голос-мать, и голос-брат, и голос-друг и голос-враг, и голос-недруг и голос-раб... Падали звезды.

И вдруг трепет взвившихся крыльев, разорванное небо, ужас метнувшихся звезд...

А из разбитого отчаявшегося сердца крестный вопль:

«Мать-сыра земля, я — сын твой, за что ты покинула меня!»

И видел Ее в грязи, бесприютную, заплеванную. Видел Ее, отдавалась Она на глазах толпы. Видел Ее пьяную и убогую. Раздутая, стоя, плыла Она по пруду. Посиневшая, с высунутым языком, висела Она на крюку. И визжала. Она, покрытая язвами, кричала Она ошпаренная. И плакала опозоренная. Глаза Ее, стон Ее о милости...

У нашего кабака
Была яма глубока...

— задрал чей-то визгливый, резкий, как красный кумач, бабий голос кабацкую песню.

И схватились, слипаясь членами, уроды, чудовища — люди и звери, звери и люди, и понеслись в ужасном хороводе. И поднялась свалка между людьми и зверями. Месились тела, как тесто, хлюпало мясо, — они крутились, они выворачивались, они ползали, они заползали друг в друга, они разрывали, они истязали друг друга и визжали, и выли.

А из разбитого отчаявшегося сердца крестный вопль:

«Мать-сыра земля, я — сын твой, за что ты покинула меня!»

А над воем, над воплем Ее песня, пела Она свою песню, песню песней.

«Земля обетованная! Крылья мои белые, тяжелые вы в слипшихся комках кровавой грязи! Земля обетованная!»

«Ой, Господи, — будто шепчет Евгений, — дернемте, ребята, по последней!»

Николай просыпается, сердце холодеет. В комнате тихо,

все спят, из детской Арина Семеновна-Э р и х похрапывает. И опять Николай засыпает, но убитым беспамятным сном.

А на воле весенняя ночь черными теплыми тучами кутала землю, таял снег.

Огорелышевские плотники разобрали верх красного Финогеновского флигеля и одна труба, облупленная, с высовывающимися закопченными кирпичами и какая-то длинная, торчала, как виселица-крест. А кругом у террасы и далеко по саду валялись отодранные с искривленными гвоздями доски и щепки, трухлявые столбы и стропила. И лежал мертвым лебедем белый пруд.

Засвистел на дворе фабричный свисток, долгий, словно со сна встрепенувшийся.

И вздохнула матово-зеленая лампа в белом доме Огорелышевых у Арсения.

Вздрагивая, встал из-за стола Арсений, пошел в спальню, весь сгорбленный, и вдруг схватившись от подкатившего удушья за стул, злой на боль, на утомление, на краткость часов, пережидая боль, с горечью думает о ненужности дел.

В щелястых бараках, несладко потягиваясь и озлобленно раздирая рты судорожной зевотой, молчком и ругаясь, подымаются фабричные. Осоловелые недоспавшие фабричные дети тычутся по углам, и от подзатыльников и щипков хнычут. Распластавшиеся по нарам и койкам, женщины и девушки с полуразинутыми ртами борются с одолевающим искушением ночи и с замеревшим сердцем опускают горячие ноги на холодный, липкий, захарканный пол, наскоро запахивая, и стягивая взбунтовавшуюся грудь.

Сменяется ночной сторож Иван Данилов и, обессиленный бессонной ночью, сквернословя и непотребствуя, как Аверьяныч, валится в угол сторожки, а на его место становится дворник Егор-С м е х о т а.

И гудит Боголюбовский колокол к заутрене.

Тянутся к монастырю вереницы порченых, расслабленных, помутившихся в уме и бесноватых с мертвенно-изможденными лицами, измученные и голодные, у одних закушенные языки, — у других губы растрескавшиеся, си-

ние, без кровинки, с застывшею странной улыбкой, и воют и беснуются без своего старца.

И блекнет красный огонек в окне белой башенки у запрещенного старца над каменной лягушкой.

Два худосочных шпиона, переодетые рабочими, кисло озираясь, толкутся у красных Огорелышевских ворот, поджидая работы. Какой-то деревенский парень, повязанный красным шерстяным шарфом, переминаясь, свертывает цигарку, тоже наниматься пришел.

А по дорожке, на той стороне Огорелышевского сада, ходил кто-то в драповом пальто, насмешливо улыбаясь тонкими птичьими губами, такой спокойный и равнодушный и ничему не удивляющийся.

Кто он — демон, один ли из бесов или просто бесенок, само Горе-Злосчастие или Плямка? И демон, и бес, и бесенок, Плямка, он ходил по дорожке, словно поджидал кого-то на свидание.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Голыш-камень

Когда Арина Семеновна-Эрих разбудила Петра и Николая, Евгений ушел на службу. Собираться им было недолго: Николай выпил горячего чаю, Петр пива, и готово.

В Боголюбовом монастыре перезванивали к средней обедне.

Шли они по нелюдным улицам с низкими, придавленными домами, захватывали огороды и пустыри, сворачивали на бульвары по кривым переулкам.

Дворники подскребали тротуары.

Какие-то оборванные гимназисты окружили лоток с гречниками и, целясь широким коротким ножом, азартно рассекали румяные толкачики-гречники.

Где-то за вокзалом гудела роща весенним гудом.

— Дом ломают? — спросил Николай.

— Да уж, верно, сломали, — Петр задыхался.

Проехал водовоз на колесах.

— Водовоз всегда первый на колесах. Бывало, как ждешь водовоза!

Прогнали в участок партию беспаспортных из ночлежного дома. Сбоку шагал городовой с книгой под мышкой.

— На таких книгах и переплет паскудный: зеленые жиденькие разводы.

— А тебе что ж, сафьяновый надо?

Что в голову приходило, то и говорилось: о самом главном Николай все не решался спросить.

Черномазый мальчишка пронес огромный золотой калач — вывеску.

Какая-то женщина в одном платье, едва держась на ногах, семенила по тротуару с угрожающим в пространство кулаком.

У разносчика рассыпалось мыло: ярко-желтые, как жир вареной осетрины, куски-кубики завалили весь тупик — измазанную стену.

— Я, Петр, словно в первый раз на мир гляжу, все для меня ярко и ново, все вижу. Это оттого, что я взаперти просидел столько!

Поравнялись проститутки: шли они на освидетельствование, шли своей отчаянной походкой, заразу несли, выгибали стан.

— Посмотри, как они ходят, — Петр дернул Николая за руку, — один приятель рассказывал, будто всякий раз мурашки у него по спине бегают, когда их видит...

Вдруг Николай остановился: то, что скрытно горело в нем, выбилось острым языком:

— Где Таня? — спросил он шепотом.

А Петр словно и не слышит.

— Где Таня, ты помнишь Таню? — повторил Николай.

— Таня отравилась... Говорят, какой-то подлец... По городу много слухов. Называли и Александра... — Петр говорил как о чем-то очень известном.

— Что ты, что ты? — Николай схватился за Петра.

— Называли Александра, будто Александр...

— Неправда! неправда! — Николай задохнулся.

— Толковали о свадьбе, Александр и мне говорил, что

женится. Осенью... в октябре назначена была свадьба и вдруг... отравилась.

Николай чувствовал, как холодеет сердце: так перед смертью холодеет сердце.

В это время поравнялся Сёма-юродивый, и, потряхивая головой своей барабаном с бубенцами, пристально заглянул в глаза и Николаю и Петру поочередно и, отшатнувшись, плюнул прямо в лицо Николаю, плюнул и с гоготом, с площадною руганью, проклятиями бросился в сторону.

Петр бросился за Сёмой.

— Оставь! оставь его! — закричал Николай, но Петр не унимался.

С перекрестка, ускоряя шаг, подходил городовой, держа наготове свисток.

Окна усеялись любопытными.

Няньки остановили колясочки. Высыпали из ворот дворники и кухарки.

— Го, го, го... — звенел безумный хохот Сёмы под звон бубенцов.

— Сёма прав, не надо! — уговаривал Николай Петра.

— Прав?! — передразнил Петр и долго не мог успокоиться.

Шли они молча, шли скорым шагом, словно торопились не опоздать.

— У Александра такая улыбка огорелышевская, совсем Огорелышев. Арсений стар уж, путает и хорохорится. Александр правая рука, Александр все...

— Я пойду к Александру, — твердо сказал Николай.

— Забыл он, как все мы вместе жили. Вон Евгений, — Петр тряхнул трехрублевкой, — последнее отдал, а Александру... Александру некогда. После пожара закаменел весь. Ходит слух, что все это его рук дело, будто он и пожар устроил. От него всего можно ждать. В один прекрасный день Арсения астма задушит...

— Кто задушит? — переспросил Николай.

— Астма... Болен старик, задыхается. Ну и скажут на астму и дело с концом. Может, из-за него и Таня отравилась.

— Я пойду к Александру, — твердо сказал Николай.

Петр ничего не ответил, глядел куда-то поверх крыш в черную даль, словно дни считал, когда придет положенный ему срок...

— Только вот весна придет, уйду я из этого проклятого города!

Молча входили в монастырские ворота.

— Реставрация, — Петр скривил рот, указывая на стену.

И в самом деле, не было зеленого черта с хохочущими глазками, не было грешников, тешащих черта, какие-то зеленые жиденькие разводы, как на переплете полицейской книги, заслоняли лик Князя мира сего.

Подымаясь по лестнице в белую башенку старца, Николай вдруг почувствовал жуть, как тогда в первый раз.

У самой двери незнакомый монах загородил дорогу.

— Не принимают, — дерзко сказал монах.

— Не принимают! — Петр грубо толкнул монаха.

И они вошли в келью.

Старец хотел приподняться, поздороваться, сказать что-то, и только крупные слезы покатились из его багровых ям по впалым щекам.

— Не принимают! — ворчал Петр, все еще не приходя в себя.

— Колюшка! — сказал, наконец, старец, — вот и опять вижу тебя! — и шептал что-то, звал кого-то, должно быть, послушника, звал какого-то о. Мефодия, хотел, должно быть, гостей угостить, но никто не пришел, никто ему не отзывался.

В келье было тихо, только каждую секунду пели часы на колокольне.

— Пришел я к вам, о. Глеб, — начал Николай и остановился, холод до самых костей охватывал его, — прежде ничего подобного я не чувствовал, прежде все легко шло, легко сносилось, легко принималось.

Старец задумался. Скорбью дышало лицо его, и вдруг улыбнулся.

— А помнишь, Коля, как ты в табак бабушке одеколону подливал? Перец-то ей за духи сходил. Помнишь, ты мне рассказывал?

— Чудо с табаком! — попробовал было и Николай улыбнуться, но вместо улыбки судорога скривила губы: нет, он не верит ни в какое чудо, да и чудо уж никакое не поможет — из гробов покойники не встают, Таня больше не встанет.

— Придет весна, упадут на могилах кресты, — снова заговорил старец, — кресты уж падают, птицы летят, несут цветы и песни, все обновляется, все восстает из гробов, выходит на свет.

Сидел Петр как смерть бледный, красные пятна вспыхивали на щеках: никуда он не уйдет из этого города: дни его сочтены, с весною кончится ему срок.

А старец говорил о вере, по которой чудо совершается и творятся дела, о крови, через которую перейти суждено, о заповеди своей: вольно и кротко все принять, всю судьбу — всякую не-долю и благословить ее всю до конца.

— Горе, горе тому, кто, перейдя через кровь, не благословит судьбу свою, ибо много званых, мало избранных!

Николай незаметно для себя поднялся, походил по келье и, стоя у окна, заглянул вниз: между рам синело разбитое стекло и блестел острый голыш.

И стала перед ним та ночь, когда Александра в тюрьму увезли, вспомнилась ночь со всеми проклятиями, какими проклинал он тогда мир, себя, всех людей, со всем отчаянием, повернувшим руку бросить камень в красный огонек лампадки, потушить огонек.

«Пропал, — ясно подумал Николай, — все пропало!» — и потянуло его пробить раму, да вниз головой под обрыв на *каменную лягушку*.

Старец вдруг поднялся и, простирая к Николаю руки, задрожал весь, готовый упасть на землю.

— Простите меня, — простонал старец и больше не сказал ни слова.

Видно было, что глубокое забытье нашло на него, сидел он неподвижно и дышал ровно.

Несколько раз заглядывавший в дверь монах, приставленный надзирать за старцем, вошел в келью и бесцеремонно уселся к столу.

Петр и Николай, не прощаясь, потихоньку вышли. Вышел за ними и монах.

И когда замер последний отстук последних шагов, и каменная лестница помертвела, старец очнулся, прополз к окну, растворил окно и, нащупав голыш, вынул камень, и, перебирая губами, горящими от слез, прижимал этот камень к своему сердцу, камень отчаяния, камень горя, камень перемучившегося, исстрадавшегося человеческого сердца.

Крупные слезы катились из его багровых, рыдающих ям, перегоравших в ясные, лучистые видящие глаза, и душа его, избранная из душ человеческих, расставаясь с своим истерзанным телом, тихо отходила от земли.

— Да будет воля Твоя!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Дом ломают

На колокольне часы пробили полдень, когда Петр и Николай выходили из монастырских ворот.

Казалось, из проглянувшего солнца высекал бой свои теплые звуки. Так все горело на талом снеге.

Петру надо было на репетицию, и он повернул в сторону к театру.

И когда Николай остался один, охватило его беспокойство, тьма голосов наперебой заговорили в душе.

Почему он на могилу к Вареньке не зашел? Зачем Петр оставил его одного. Почему он старцу всего не сказал, а ведь только одному старцу он и мог бы все сказать? Почему у старца прощенья не попросил? Почему старец у них прощенье просил? Почему Александра подозревают в том, в чем Александр совсем не виновен, в том, что сделал он, Николай? Таня отравилась! Таня отравилась? Где она? где Таня? Почему на него так смотрят? Зачем он еще ходит по земле? И куда он идет? Где Таня? Где Александр?

«Дом ломают!» — вспомнил вдруг Николай и повернул в сторону, по направлению к дому Огорелышевых.

Был яркий весенний день, — согреваясь, земля будто выперлась от тепла своего, от радости, что вот снова с весною открыта жизнь: иди, куда хочешь, бери, чего хочешь.

Обогнал Николай солдат с музыкой: звуки меди подымали его над землей, вливались в него, сделали его самого звучащей медью. И звеня, он побежал по улице и летел, будто на крыльях. И грохнулся бы о тумбу, если бы не чья-то рука, крепко впившаяся ему в грудь.

Какой-то господин в драповом пальто, насмешливо улыбаясь тонкими птичьими губами, пристально глядел Николаю в глаза.

Николай рванулся, высвободился и, боясь оглянуться, пошел шагом.

Шел Николай так долго, кружил, не замечая улиц, пока не поравнялся с знакомым Бакаловским домом, с черной доской на воротах, сплошь измелованной фамилиями жильцов. Вошел во двор.

На дворе на солнышке сидели в кружок ребятишки — девочки в кумачных платочках. Взлохмаченный, без картуза, спившийся старик регент, размахивая руками, управлял хором.

Как у наших у ворот
Стоит девок хоровод...

— пели девочки тоненькими и какими-то обласканными голосами.

Вдруг регент остановил хор, напыжил седые усы и, скорчившись в три погибели, как бы изображая страшного сыщика, зашипел перегорелой октавой:

— Откуда ни возьмись ноздря... — и, выпрямившись, хватая Николая за грудь, закричал прямо ему в лицо: — Ты ж убил человека!!

Николай остолбенел.

— Тебе Таньку? — зашептал регент, насмешливо улыбаясь, — нет твоей Таньки, Танька тю-тю!

Заглянувший в калитку Бакаловский дворник Степан, вызывавший когда-то Машку, сделал скребком какой-то ружейный прием, будто отдавал Николаю честь.

Как у наших у ворот
Стоит девок хоровод...

— снова запели девочки тоненькими и какими-то обласканными голосами.

Боясь оглянуться, Николай вышел из Бакаловских ворот и пошел, ускоря шаг.

Мелькнул красный огорелышевский забор, густо утыканный изогнутыми, ржавыми костылями, мелькнули красные скрипучие ворота. Ровно сквозь сон, слышал Николай, как отдирали доски с красного флигеля, как визжали непокорные гвозди, и что-то трещало и ломалось.

Да это в сердце у него ломали!

Вдруг из переулка камнем пересек ему дорогу весь запыхавшийся золоторотец.

Прижимая руку к груди, метался золоторотец, как ошпаренная крыса. С обезображенного лица его рвались глаза.

Видел Николай, как выворачивались глаза от ужаса и перекипали в каком-то черном огне неминуемой беды, рвались от беды.

Озверелая толпа гналась за вором:

— Держи его! держи его! держи!

К конце прицепили лошадей. Мальчики-форейторы, подпрыгивая, махая длинными рукавами, будто обрубками крыльев, свистели, а лошади из сил выбивались, не могли тронуться.

Толпа запрудила все проходы. Надорванно заливался колокольчик конки. Кондуктор, морща желтое лицо и наседая грудью, вертел тормоз, сам заливался мелким гаденьким смехом.

Небо ярко-синее над пестрой толпой куталось в блестящую сеть весеннего солнца и, казалось, спускалось все ниже, совсем над улицей.

— Держи его! держи его! держи! — гикала озверелая толпа.

Николай бросился через проходной двор: едва дух переводил, словно не золоторотца, а его ловили. Подкашивались ноги, сох рот.

«Дом Братьев Огорелышевых», — метко

стрельнуло прямо ему в глаза, и он, не раздумывая, повернул в калитку, спустился к белому Огорелышевскому дому и прямо к парадному ходу. Рванул за бронзовую пасть-колокольчик, и слышал, как прокричал звонок за дубовой крепкой дверью.

Кузьма — белый дворник открыл ему дверь.

— Не принимают! — нагло сказал Кузьма, не хуже монаха у старца, но, оглянув Николая, вдруг просиял весь, — Николай Елисеевич, неужто это вы? К дяденьке навестить?

— Дома, не уехал еще?

— Дома-с, дома-с, пожалуйте... А у нас, Николай Елисеевич, Трифон помер! Песню-то еще играть заставляли: «Сто усов, — сто носов...» А дяденька хворые стали, бывалочи летают...

Кузьма пошел доложить. Николай ходил по коридору. Приторно пахло цветами.

В конторе скрипело перо, и на разные лады выщелкивали счеты припев непристойной песни:

Сто усов —
Сто носов...

На матовом стекле двери конторы по-прежнему стояла черная лепная надпись: чортора вместо конторы, — давнишняя финогеновская проделка.

Заглянул Николай в библиотеку. Завешанные зелеными шторами, стояли по-прежнему полки и шкапы, битком набитые книгами. Отдернул было занавеску, хотел посмотреть книги и отскочил.

— Держи, держи! — послышалось ему в хрипе старых часов.

— Пожалуйте, — Кузьма осклаблялся, — сердитые они, ужасть!

Медленно поднимался Николай по знакомой лестнице, так медленно, словно кто-то тянул его за ноги со ступенек вниз к двери. Задевал прутья ковра, цеплялся за перила.

«Цепочки-то на лампах вовсе не золотые, — подумал он, — а медные, и цена им грош!»

Сто усов —
Сто носов...

— выщелкивали ему вдогонку из конторы счеты припев непристойной песни.

Приторно пахло цветами. Весь зал был в живых цветах, словно был в доме покойник. Запах мутил.

На площадке лестницы забилось сердце: зачем он попал к Огорелышевым, и на что ему видеть Арсения?

«Дом ломают!» — вспомнил вдруг Николай и ему стало ясно, зачем ему понадобился Арсений: сейчас он объяснится с Арсением, ведь это же невозможно, чтобы их дом сломали!

А почему невозможно? Но это уж как-то само собой решилось, и Николай крепко дернул за ручку двери к Арсению в кабинет и вдруг приподнялся на цыпочки, оробел, как в детстве.

— Можно? — упавшим хриплым голосом спросил Николай.

Но ответа не было.

— Можно? — спросил Николай, зуб на зуб не попадал у него.

Но ответа опять не было.

— Можно? — спросил Николай в третий раз и, не дожидаясь ответа, грубо толкнул дверь.

Арсений сидел у своего письменного стола, высоко по-американски задрав на стол ноги, нетерпеливо покосился из-под пенсне на гостя, и на желтой его морщинистой шее задергался мускул.

— Тебе чего? — взвизгнул Арсений, как ощетинившаяся кошка.

Отвратительный кошачий визг — огорелышевский звенящий, уничтожающий звук на минуту остановил Николая.

И они напряженно смотрели друг на друга.

Вдруг Арсений забеспокоился, рука его, как мышь, проворно скользнула к звонку.

— Вот эта самая фотография! — Николай вынул из кармана фотографию Огорелышевского пруда, ту самую, которую захватил с собой из Веснеболога: пруд в зимний

инеевый полдень, — и загородил звонок. А в окно, прямо перед Николаем, тянулся двор, и поверх нагих деревьев торчала облупленная черная труба флигеля.

И защемило у него на сердце, будто все эти черные кирпичи рухнули ему на сердце.

Старик нетерпеливо вертел перед собой фотографию: пенсне то и дело спадало.

И защемило у Николая на сердце от острейшей скорби: все нити сердца расщепились и заострились, и стало сердце кровавым ежом. Дрожь ударила его с головы до ног, он повернулся, хотел вырвать у Арсения фотографию, протянул руки, и руки его сами собой опустились на плечи Арсения, проворно обвились вокруг шеи и, крепко сомкнувшись, стали душить, и крепкие, мяли какое-то мясо, ломали какой-то упорный металлический стержень, какой-то костлявый хрящ...

В этом стержне, в этом хряще, — надо сломать его! — вся боль хоронилась и скорбь — надо сломать его! — деревья больше не покроются листьями, белый пруд никогда не оттает, седой теплый дым не поднимется из черной трубы — надо сломать его! — Таня не вернется, Таня никогда уж не вернется... беспросветно!

— Беспросветно!

Николай навалился всей грудью на старика и душил его уж задохнувшегося.

Старик, изогнув длинную морщинистую шею, глядел, как тогда Розик глядел с перебитой лапкой, словно спрашивал: «ну в чем же я-то виновен?» — и сладкая толстая слюня с кровью ползла из его разинутого прокопченного табаком рта.

Кто-то, не спеша, прошел мимо двери, шаги прошмыгали спокойно.

Николай высвободил руки. Не оглядываясь, вышел он из комнаты, притворил за собой дверь и к лестнице.

Приторно пахло цветами.

«Кровью!» — подумал Николай и невольно посмотрел себе на руки: руки его были чистые, без пятнышка, только жилы напружились.

На лестнице он никого не встретил, и в прихожей ни

души не было — Кузьма лампы чистил и, должно быть, наверх пошел за лампами, и в конторе было тихо, счеты не щелкали.

Так незаметно Николай вышел на волю, не таясь, обогнул белый Огорелышевский дом, стал подыматься к белым воротам.

Какой-то господин в драповом пальто с белым свертком в руках мешкал у калитки, словно поджидал Николая.

«В конфетной коробке огорелышевскую душу несет!» — мелькнуло у Николая, он прибавил шагу и, столкнувшись с незнакомцем, узнал в нем того самого господина, которого уж раз встретил на улице.

Незнакомец вежливо приподнял шляпу, птичьи тонкие губы его насмешливо улыбались.

В другое бы время Николай просто бросился на него или толкнул бы его, но теперь ему было как-то все равно, какая-то непреоборимая лень опускала ему руки.

И он шел так, ослабевая, с остановившимся взглядом куда-то за дома, за фабрики, словно искал, где бы можно было лечь и заснуть крепко-крепко. Слышал он сзади себя шаги и знал, что тот господин в драповом пальто идет за ним, не упускает из глаз, следит за ним, но обернуться охоты не было, было все равно.

— Господин Финогенов! — покликал таинственный провожатый: теноористо-прожиженный голос его крючком зацепил Николая.

Николай приостановился.

— Прошу извинить, мы с вами немного знакомы, соседи, — господин в драповом пальто изысканно приподнял шляпу, — Плямка, моя фамилия Плямка, у Бакалова на пятом этаже комнату снимал, номер сто двадцать первый, а вы, господин Финогенов, в сто двадцатом, конечно!

И Плямка пошел с Николаем плечо в плечо.

— Что вам от меня надо? — спросил Николай, не вытерпев: как ни все равно ему было, а назойливость начинала и его выводить из терпения.

— Вы, конечно, из газет знаете, нашего князя убили?

— Удушили?

— Нет-с, что вы. Такую птицу голыми руками взять не-

возможно, это не старик, которого комар затопчет. Я вот всю ночь поджидал вас, кое-что передать имею... Вы, кажется, знавали Катинова? — Плямка прищурился.

— Катинова? Как же!

— Катинов и убил.

— Катинов?

— Вчера утром на площади. Конечно, зря убил. Катинова повесят! — Плямка тянул Николая по каким-то незнакомым улицам чрез проходные дворы, — сначала выбор у них пал на вашего дядюшку, Арсения Николаевича Огорелышева, — рассказывал Плямка, — потом решили оставить его в покое: не стоит марать рук. Раньше это имело бы смысл, но теперь... ваш братец Александр Елисеевич и тот поважнее. Впрочем, и князя зря и совсем даже зря на тот свет отправили. Если что и делал князь, так все под дудочку того же Арсения Николаевича. Лично я ценю только крупное, а пустяки эти — ерунда. В древности пророки огонь низводили с неба, ну нас на это не хватит, мы измельчали, огня нам не свести... не только там на когонибудь, а так, ну хоть на папироску. Для таких вещей, кроме великой веры, надобно и еще кое-что, а у нас ни веры, ни твердости, ничего, так, червячки... воробьев пугать!

— Какие червячки?

— Да обыкновенные, крохотные, навозные черви... так и кишат... беспросветно...

— Беспросветно! — повторил Николай, — беспросветно! — и услышал, как ударили в Боголюбовом монастыре в большой колокол, помолчали и опять ударили, помолчали и опять ударили. Так звонят в церквах, когда помрет священник.

— Старец помер! — сказал Плямка: птичьи тонкие губы его улыбались.

И словно мгла рассеялась перед Николаем. Кругом на улице на крик кричали, неугомонно шумели, немилосердно стучали, и каждый звук был отдельным, каждый звук выходил, как в рупор, с того света. И хотелось бежать, вернуться, поправить, спасти. А куда бежать? Куда вернуться? Что поправить? Кого спасти?

Николай рванулся от Плямки и побежал куда глаза глядят.

Мимо мчался легковой извозчик, Николай бросился за извозчиком, летел сломя голову. Уж схватился он за спинку санок, занес было ногу... но извозчик с остервенением хлестнул лошадь и пропал из глаз.

И снова ударили в Боголюбовом монастыре. Пел колокол о великой скорби и словно рвался похоронный звон от давивших слез, колокола перезванивали.

«Боже мой! Боже мой, почто Ты меня оставил!»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Много званых, мало избранных

Вся монастырская площадь была битком набита.

Весть о кончине Боголюбовского старца о. Глеба вмиг облетела весь город. Народ валом валил: обступили ограду, унизали стены.

Красный огонек в белой башенке не светил больше.

С гиканьем, упиваясь, издевались богомольцы над огромной каменной лягушкой — дьяволом у подножия башенки: топтали ее, плевали в закатившиеся каменные белки непроницаемых глаз и, ревнуя, тут же и непотребствовали на нее.

Монахи, как стража, охраняли вход: не велено было пускать в ограду.

И полицейские, конные и пешие, жандармы, солдаты глухой стеной застенили ворота.

А толпа росла и шумела, как на огромном пожаре, и выли, кликали, визжали бесноватые.

И под вырастающую тоску бесноватого воя хотелось самому выть и ломаться, биться о землю, ползти, грызть камни, царапать себе лицо, кусать руки...

Николай, пробравшийся к самому входу, грудь о грудь с лошадьми и шашками, чувствовал страшную пустоту: она залегла, как туча, между ним и шашками, между ним и лошадьми, между ним и всей этой толпой, и, сдавливаемый со всех сторон, он вертелся, как подколотый вьюн.

Слышал он хлест нагайки за спиной, а все втирался в толпу. И жгла жажда до неистовства, выворачивала ему все внутренности.

Николай хотел бы остановиться, хотел бы схватить чью-нибудь руку и держаться, или грохнуться оземь да так, чтобы уж навсегда. Но никого не было, ни одного живого лица, одна жуткая пустота, жуть.

Вот он убил старика, ну и что ж? Через кровь перешел, ну и что ж? Прими теперь вольно судьбу свою, благослови ее всю до конца, и получишь власть над бесами! А на что она ему, эта власть? И бесы не помогут ему!

— У-у! — вырвался его отчаянный вопль: огненный язык палил все слова, и не было больше слов на языке.

Николая стали теснить и скоро он очутился на самом конце площади и уж не пошел назад, он пошел так, куда глаза глядят.

И пришел он к Александру: ведь он с утра собирался к Александру!

Опоздай он на минуту, и не застал бы Александра: Александр стоял на пороге, торопился куда-то из дому.

И они стояли молча, глядели друг на друга.

Вдруг Александр обнял Николая и крепко поцеловал.

— Ты убил? — спросил он шепотом.

— Ее, ее! — ответил Николай одними губами, не было у него больше слов на языке.

Но Александр уж быстро по-огорелышевски шмыгал по лестнице вниз из дому.

Бритый лакей провел Николая в приемную.

Николай уселся в креслю и опять почувствовал, как непреоборимая лень опускает ему руки.

Смеркалось. В приемной зажгли лампы.

Огромный письмоводитель с бельмом на глазу муслил языком конверты, прихлопывал конверты широкой ладонью и что-то все приговаривал.

И на минуту представилось Николаю, будто лежит он в гостиной на полу под диваном и смотрит сквозь пустую звездочку, прожженную папиросой на оборке дивана. И вдруг совсем неслышно появилась Прасковья, несла старуха поднос с чаем.

— Прасковья! — поздоровался Николай, но не мог подняться к старухе.

Нянька по-прежнему начала о Мите — о Прометее, как погиб раб Митрий.

— Митя в пруду потонул! — повторяла Прасковья и плакала сморщенными, добрыми исхлестанными глазами, — а когда вы, батюшка, были совсем маленькими, встретили мы на дворе дяденьку Арсения Николаевича, и так вы, батюшка, кулачки сжали на дяденьку...

И под разговор Прасковьи Николай на минуту забылся.

«Хочешь, я сию минуту влезу на шкап и оттуда вниз головой брошусь, хочешь?» — услышал в забытьи голос Петра. А Плямка свое будто тянет: «Пророки огонь низводили... ну, а мы и на папиросу искорки не достанем, червячки... воробьев пугать!»

— Да жить-то мне незачем, батюшка, закопытили... будет уж, — плакала Прасковья сморщенными добрыми исхлестанными глазами.

— Плямка! Плямка! — затрещал телефон и где-то на весь дом зазвонили и захлопали...

Хлопали дверьми и шумели.

Николай вскочил с кресла, насторожился.

Письмоводитель на цыпочках вышел. Ушла с подносом Прасковья.

Высунулся было в дверь бритый лакей, посмотрел на Николая и снова плотно притворил дверь, нет, не притворил, а запер дверь на ключ.

И настала тишина в доме, только где-то за дверью, за стеною, где-то в коридоре шаги, только шаги: взад и вперед, взад и вперед... ходил кто-то, словно на часах по-солдатски.

«Сейчас арестуют!» — понял Николай и твердо пошел прямо к окну, растворил широкое окно, влез на подоконник и стал спускаться по карнизу, и спустившись до нижнего этажа, спрыгнул на землю и пустился бежать.

И бежал он по улице, сам не зная куда, не разбирая дороги. Одна была мысль: уйти, скрыться из глаз.

И вдруг его крепко ударило что-то по плечу, и он лицом упал на мостовую и, обороняясь, подобрался весь, но ло-

шадиные копыта с треском подбросили его под колеса, и он завертелся на месте, как вьюн, как подколотый вьюн. И в тот же миг, будто острый кусок льда со свистом лизнул его шею, и черно-красный большой свет густыми брызгами взметнулся перед глазами, и щемящая сухая боль и что-то до приторности сладкое загрызло где-то в глубине рта — беспощадные клещи сдавили ему череп и поволокли его по гвоздям через огонь и лед, через лед и огонь, через тьму...

Со сломанными ногами и пробитым черепом подняли Николая с мостовой из-под кареты.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В девятый час

Весенняя была ночь, звездная, шумно-весенняя.

Вокруг Боголюбова монастыря, как одна свеча, горели свечи — не расходился народ. Как половодье, шел народ, гудел. Сбили полицейских, сбили лошадей, разогнали монахов, проломили двери, ворвались в ограду.

Ужас и отчаяние рвались в крике бесноватых.

Бесноватые расползлись по кладбищу, унизали кресты, забирались в склепы, разрывали могилы, бесноватые, порченные с закушенными от боли языками, в разодранных одеждах.

Какая-то женщина в венце развевающихся русых волос, полуобнаженная, крепко сомкнув опущенные руки, кричала:

— Глеб, Глеб, не мучь меня! Выйду, выйду... А куда я из тебя выйду?

А с кладбища надрывался вопль:

— Не пойду, не пойду...

Юродивый Сёма, потряхивая головой барабаном, звенел бубенцами.

И кто-то, попирая каменную лягушку у белой башенки старца, взывал:

— Пропал я, пропал... Он мучит, сжигает меня! Выйду, выйду!

Каменная лягушка шевелила безобразными перепончатыми лапами, — вздувалось ее белое каменное тело, размягчался камень, разбухал, слетала короста, разливалась сеть тончайших жил, алела, и выступали острые сине-грозные измученные веки измученного человека.

Каменщики разобрали стену Огорелышевского склепа. Улыбались в гробах черепа своей костяной улыбкой, поджидали родного сына и брата. А из глуби оживающей земли уж ползли белые черви, загребали мохнатыми цепкими ножками.

О. Иосиф-Блоха начищал огорелышевские лампадки.

Весенняя была ночь, звездная, шумно-весенняя.

На Огорелышевском дворе не расходился народ. Запрудили весь двор любопытные.

И трещал ломкий лед на пруду, притоптывался сапогами грунт сломанного красного флигеля, и три длинных облупленных прокопченных трубы с высовывающимися кирпичами торчали, как три креста-виселицы.

Подъезжали кареты к освещенному белому дому.

Опущенные белые занавесы в освещенных окнах вздувались.

Лежал Огорелышев в крепкой дубовой колоде — в золотом гробе, глаза были плотно сжаты, а губы нетерпеливо скривились.

Приторно пахло цветами.

И был вокруг гомон, как на свадьбу.

В сводчатой тюремной мертвецкой костенел обезображенный труп Финогенова: с лица была содрана кожа — чернело лицо и по-волчьи скалились зубы.

Жутко было в тюремной мертвецкой.

Далеко от Камушка до Чугунолитейного завода и от Колобовского сада до Синички, и от Синички через пустырь-огороды до Боголюбова монастыря, и от монастыря до новой тюрьмы, и дальше за заставу разливалось зарево.

А над заревом глядели весенние чистые звезды.

А там, за звездами, на небесах, устремляя к Престолу взор, полный слез, Матерь Божия сокрушалась и просила Сына:

— Прости им!

А там, на небесах, была великая тьма.

— Прости им!

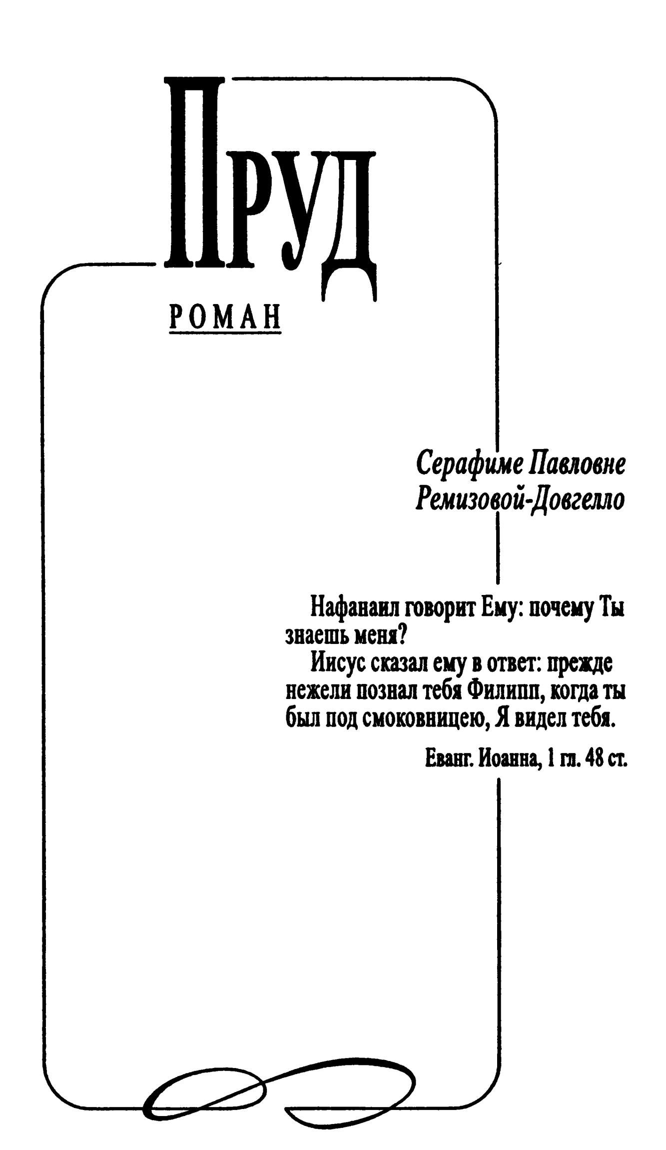
А там, на небесах, как некогда в девятый покинутый час, висел Он, распятый, с поникшей главой в терновом венце.

— Прости им.

КОНЕЦ

1902—1903
1911
Париж

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ



Пруд

РОМАН

Серафиме Павловне
Ремизовой-Довгелло

Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня?
Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели познал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя.

Еванг. Иоанна, 1 гл. 48 ст.

Часть первая

I

От Камушка до Сахарного завода и от Воронинского сада до Синички тянется огромный двор, огороженный высоким, красным забором, часто утыканным изогнутыми, ржавыми костылями. К Синичке примыкает пруд, густо заросший со всех краев старыми деревьями, на конце которого шипит и трясется бумагопрядильная фабрика с черной, закопченной трубой, а немного дальше, миновав оранжерею и цветник, выглядывает исподлобья неуклюжий белый дом.

Дом братьев Огорелышевых.

На противоположной стороне — красный флигель с мезонином...

А там от него вдоль двора фабричные спальни, дрова, амбары.

Еще не померкла тень деда, Павла, и много кругом живет темных историй.

Скрюченный кощей, без всякой растительности на морщинистом лице, с лукаво-острыми глазками, наводил он на всякого, с кем сталкивался, неимоверный ужас. Город же крепко держался своего головы, гордясь умом и упорством, с которыми вел тот свою линию, выдвигая и охраняя купечество. Все ходили пришибленные и запуганные, за завтрашний же день не боялись: не выдаст. В семейной жизни слыл столпом. Женился рано, без любви, только потому, что Серафима была затворницей, в монастырь идти собиралась: красавица со скитской поволокой темных, глубоких глаз подвижницы, с тонким разрезом губ сладостно-тихо улыбающейся мученицы. Скоро она надоела ему и принуждена была хорониться в детской, вынося смиренно свою жизнь.

«Серафима, угодница Божья, — приступал, бывало, старик, — на кухне там девочка стоит одна, зябленькая, сироточка...

Пригрей ты ее, ножки ты ее худенькие обмой, грудочки приласкай, хе-хе-хе»...

А сам трясется весь, губа ходуном ходит, отмачивается.

Нищенку после омовения вводили в кабинет, да в стороны шарахались от крика беспомощного, наполнявшего весь дом...

После его смерти дело и капиталы перешли к сыновьям, из которых быстрее всех выдвинулся старший. В центре города открылся банк, на Кавказе — керосинное дело, в Средней Азии — хлопок, — и везде во главе стоял Алексей. Скоро выбрали его председателем биржевого комитета, и с этих пор началась его настоящая деятельность и та слава, которая увековечила имя Огорелышевых. Стал известен на всю Россию. Проводил и останавливал законы. И этого маленького и юркого человека, окончившего какой-то немецкий пансион, слушались, ненавидели и льстили.

В детстве его баловали, Ленечку к ранней обедне не будили, Ленечке покушать давалось самое лучшее.

«Икорку-то Ленечке оставьте!» — ныла мать, перенесшая свои васильковые слезы с Лучезарного Жениха на первенца.

Сгорбленный, с сведенными крючковатыми руками, заросший неряшливо подстриженной, колючей бородой, он не ходил, а странно шмыгал, будто ноги были сами собой, чем-то слабым, земным и ничтожным, за плечами же развевались тончайшие крылья, неутомимо рассекавшие воздух.

«Антихрист, честное слово! — говаривали фабричные, — и ходить-то путно не может, летает дьявол, сатана рогатая».

Правда, что-то шипело, когда он шел, а глаза серые, непроницаемые, кололи пронырливыми остриями, которые, вонзаясь, выворачивали и расцарапывали всю душу.

Возиться с фабрикой Алексею не было времени, и все управление понемногу перешло в руки второго, Игнатия, который всю свою молодость прожил в Англии, знакомясь и изучая тамошние порядки.

Когда-то красавец и теперь ничему не удивлявшийся седой Дон-Жуан с грустящими губами — тенью неутоленных поцелуев, — оставался он холостяком, развлекаясь садоводством и благотворительностью. Управление фабрикой занимало так мало времени: все было налажено и круто втиснуто в крепкие рамки.

Третий — Николай, восхищавший весь город своей утонченностью и приятностью, рано женился на миллионерше Ворониной, числился директором множества фабрик и, ровно ничего не делая, вечно был занят.

Когда о чем-нибудь его просили, он морщился и, изящно отмахиваясь обеими руками, говорил своим милым голосом: «Ах, право, мне некогда: сегодня опять ехать усмирять этих негодяев, потом на вечер к князю»... Но больше знали и больше ценили Николая за границей, где славился он величайшим ценителем и покровителем тайных и запретных притонов...

Всех их объединяла одна черта, выражавшаяся наиболее ярко в старшем: где-то в окаменевшей улыбке хоронилось затаенное желание взять, достать что-нибудь только потому, что так нельзя этого взять, преступно.

Попадется ему человек, обретший в жизни благовещение, и вот загорается, закипает в нем желание умертвить мечту человека.

Так разрушались жизни, загонялись жизни в подполья, калечились.

Единственную сестру свою Вареньку, двойника матери, по общему решению насильно замуж выдали.

Варенька воспитывалась дома. Ходили учителя. Девочка росла смышленая и пытливая; глядели за ней мало. Ходила она по субботам в приходскую церковь к Грузинской, но были и еще какие-то знакомства, о которых знала одна нянька. Братья с ней не разговаривали, да и она избегала их.

Как-то на первые заморозки, в светлую звездную ночь, в доме необычайно засуетились, а потом жутко примолкли. Варенька сидела в кабинете брата, Алексей допрашивал. Он метался, как ужаленный, топал ногами и, подбегая к столу, нервно тыкал в сверток с книгами, только что отобранный у нее. Варенька упорно молчала, мертвела, и темные глаза заволакивались темной, безмолвной слезою.

«Так пошла вон!» — закричал вдруг взбесившийся голос и, разбившись на тысячу режущих криков, рассек трепетавшее затишье и ожиданье комнат.

Через неделю объявлена была свадьба.

Почему Варенька на улицу не сбежала, почему не задушила себя, зачем накануне долгую ночь по сугробам бродила, заглядывала в дымящую черную прорубь, зачем взяла на себя крест своей матери...

«Господи, подкрепи меня!»

Покорилась, пошла под венец.

«Не бывать барышне нашей счастья в замужестве, — охали по двору, — лошадь не повезла».

Началась жизнь с чужим у чужих в темном, облупляющемся доме за рекой.

Елисей Финогенов, крутой и тяжелый, старше Вареньки лет на двадцать, вдовец с кучей полувзрослых детей, жену держал строго.

«Пожили бы вы, как я жил, — ворчал он, — погнули б хребты, не то бы заговорили: театры-то эти выбросили бы из головы. Одни траты, а копейка с ветру в карман не валится».

Жизнь его была нелегкая. Изголодавшийся мужик-отец привел в город своего Елеську, почерневшего и шелудивого от серой, деревенской нужды, и определил в лавку Толокова мальчишкой. Елеська рос, за кипятком бегал, тычки получал, ситцы таскал, даже кровь носом хлестала. А выровнялся и сметливым оказался. Хозяин без него и шагу не ступит: счета какие-то выдумал, прибыльные. На пятнадцатом году произвели в приказчики. Прибаутчиком да насмешником слыл и на гармонике играл и песни пел: голос нежный, так в душу и просится. Хозяйке-старухе очень по душе пришелся за набожность. Скоро повысили в главные. Теперь Елисей разъезжал за товарами, бывал и за границей. Как-то вернулся домой да не один, а с женой, немкой. Умер Толоков. До наследников все хозяйство перешло в его руки; пожил несколько лет управляющим, там отошел и свое дело открыл.

Хаживал на биржу, понравился Алексею.

«Елисей — человек верный, — говорил тот, — без мыла куда хошь влезет».

Немка зачахла, не вынесла.

Когда отдали Вареньку, он поднимался все выше и выше вровень с Огорелышевыми. И все было хорошо, одно мучило: дети не в отца пошли. Хоть и пристроил их по лавкам, да толку мало. Дочь Ефросинью замуж выдал, и тоже неудачно.

Пять лет прожила Варенька в доме. Никто у них не бывал, и они никуда не выезжали, кроме ярмарки, да к Огорелышевым в праздник.

Что за эти годы вытерпела, какие рождались и умирали думы в ее изболевшем сердце, — она никому не сказала. Целыми днями молча ходила по высоким, холодящим комнатам, а вечер придет, сядет в углу где-нибудь и слушает: в детской колыбельки поскрипывают, баюкают — в приказчичьей — гармоника, едва слышная; кажется, звуки через пол проползают; на половине других детей — смех, сдавленные выкрики и говор частый, слитный.

Золотой крест матери вырастал в крест-виселицу. Чьи-то руки пригвождали к кресту... и упиралась она, рвалась.

Бунтовалось сердце.

Растоптать бы тогда крест матери...

Измучается, истерзается, да, обессиленная, тихая от грызущей тоски, с отчаяния к мужу пойдет...

Чуял ли он беду в ее порывистых ласках, в этих отчаянных поцелуях, в этом опаляющем дыхании?

Любил ее.

«Я с тобой!» — вот и все.

Как-то старший пасынок, Василий, давно ухаживавший за Варенькой, посягнул...

Собрала детей и, не дожидаясь мужа, прямо к братьям.

Веселая ночь была, звездная, шумно-весенняя.

Засуетились по дому, молчание наступило страшнее т о г о. Кричали. А вышли оба безмолвные. Темные глаза ее, казалось, поседели, а Алексей синий, мертвецом выглядит, и шея завязана носовым платком... Душили, что ли, друг друга? — Бог знает.

Лето прожила на даче, а к зиме во флигель переехала.

Положили выдавать ей на жизнь какую-то сумму, а приданое в дело отобрали.

Очень огорчился Елисей, умолял вернуться, в ноги ей кланялся, но так и уехал ни с чем.

Варенька сразу затихла: бросилась — дух захватило. Там, в ее желаниях — этой пучине извивающихся рук — оборвалось что-то, что-то смешалось и кануло. Оставались жалобы, воздух жалоб, переполнивший все сердце, и больное, бледное, «хочу» тихо плакало.

Фабричный свисток да колокольный звон Андрониева монастыря, возвышавшегося за пустырем и Синичкой, сторожили ее жизнь.

Изредка ходила в гости, в театр, а большую часть оставалась одна с детьми. Их было четверо, все мальчики: Саша, Петя, Женя и последыш — Коля, все погодки.

Братья Вареньки заходили к ней только в именины, а Николай за недосугом коробку конфет присылал.

Гостей не бывало, кроме забегавшей Палагеи Семеновны, какой-то дальней родственницы Огорелышевых.

Когда дети чуть подросли, открылись перед ними улица и двор с их обостренной борьбой за нищенскую жизнь, с безобразным разгулом, со смертью увечной, беспощадною.

Старики-фабричные любили Вареньку, и это передавалось молодым, а по ней и детям честь шла.

И дети очень любили их. Тянула та ласковость, с которой обходились с ними все эти люди.

Бегали в сторожку, каморки, будку и там пили чай жиденький

вприкуску и ели картошку и тюрю с мелко накрошенным луком. Фабричные дети водились с ними: дрались и играли, рассказывали о пинках и оплеухах, и как их штрафуют и порют.

Племянники не иначе называли своих дядей, как хозяева, и повторяли фабричные прозвища: «Алешка-антихрист», «Игнатка-англичанин-змея», «Миколка-скусный». Стариков же, всех этих Никифоров, Демьянов, Иванов, величали дяденьками и дедушками

II

Зимние сумерки снежные, тихие...

Они видятся маленькому курносенькому Коле сквозь пустую звездочку, прожженную папиросой на оборке дивана.

Он лежит на полу под диваном, скорчившись и неловко, как связанные телята на возу-лотке, когда везут их на бойню за Андрониев монастырь. Каждый день медленно и томительно тянутся такие возы мимо дома, и всегда он бежит смотреть на болтающиеся языки и мягкое, полуживое, вздрагивающее тело.

Над головой вплотную спускается сиденье дивана, тяжелое и темное, в паутине; если оно провалится, то и тельце его расплющится, как лягушка, которую раздавил как-то дворник Кузьма своим огромным, явлочным сапогом.

Пыль забирается в нос, душит, а глазам так больно.

Над ним сидит его крестная, Палагея Семеновна и мать. Палагея Семеновна болтает ногой и, захлебываясь, рассказывает.

Она после долгого перерыва беременна и боится, как бы не повредить; Сергей Аркадьевич, доктор, сказал, роды будут тяжелые, пожалуй, операция.

Страшно захотелось Коле чихнуть, даже глаза закололо, а по всему лицу забегали мелкие, щекочущие мурашки. И хорошо бы покашлять громко и несколько раз!

— Покойный Елисей Федорович, — звенит голос Палагеи Семеновны, — после вашего развода, Варенька, сошелся с горничной Сашей; ну, помнишь, такая тощая с ямкой между бровями; так вот, теперь с ней живет Василий. Просто ужас, ужас.

Да, вчера А. рассказывал удивительные вещи: от вашего наследства, кажется, ничего не останется: дом продают, страшно кутят, в магазине никогда не видно. Я не могу представить, как ты могла прожить с ними. А Фроню, знаешь, говорят, на бульваре видели с кавалерами... Да-да, с кавалерами. Прямо неприлично.

Крестная зашептала.

Коля перестает дышать.

— Выкидыш... вытравляли... до желтого билета.

Больше не разбирает.

Ножки стола и кресел покрываются чем-то черным, словно копотью, и толстеют. Ковер разбух и зашаршавился, будто мясистая шкура какого-то невиданного зверя на ярко раскрашенных картинах.

Сморкаются.

Запахло духами.

Ставят на стол лампу.

Это — Маша, горничная, высокая и красивая, с завитками на лбу.

— Готов ли чай? — говорит мать. — Поторопись, пожалуйста.

Коля осторожно перевертывается, учащенно дышит. Левая нога у него затекла, в ней будто песок, и она кажется такой огромной, чужой.

Цветы на ковре сразу стали яркими и большими, медные ножки кресел, словно подсвечники или пожарные каски.

Маша уходит.

У нее новые ботинки на высоких каблуках, а не стучат, — это Филиппок ей сделал. Со временем и у Коли такие сапоги будут, теперь же у него тяжелые и скрипучие.

Палагея Семеновна опять затараторила, словно чему-то обрадовалась.

Шелковые юбки зашуршали

— Вчера у Л. был А. С., мы были поражены: никто не мог ожидать. П. П. на прошлой пятнице прозрачно намекнул при всех, что их отношения для него не тайна. А Лизочка, право, такая наивная! Ну, представь, Варенька, ведь это ужасный человек: К. А., О. М., Е. И. и теперь Лизочка. Право, как-то...

Да! на рожденье Тани, Н. П. взял Катю на руки и при всех, — мы только что вышли из залы, они фокусника приглашали, чудный фокусник, — понимаешь, при всех, показывает на А. Е.: «Смотри, — говорит, — Катя, вон твой настоящий папа». Бедненькая Ксенечка не знала, что делать. А. Е. побледнел, как полотно. Словом, сплошная нетактичность. Мы просто не знали, куда деваться... Да!

Опять шепчет.

— К. Ф... каф... аф...

Коля напрягается что есть силы, а понять ничего не может. Он устал, в спину что-то колет, словно булавкой.

Среди груды имен и мудреных слов вытягиваются заглавные буквы — инициалы знакомых в длинные уродливые завитки, туманно-огненные. Они прыгают и звенят.

Он привык к ним, слышит с осени, когда впервые залез под диван и навострил уши.

С нынешнего лета началась для Коли новая жизнь. Раньше он был не таким: уж стал вспоминать что-то хорошее, что было когда-то третьего года, стал скучать.

Весной умер отец. Коля помнит большого человека, непременно в майской белой паре, с драгоценным перстнем на волосатом пальце. Черные, большие усы, колкие, когда целовался в губы и лоб. Приезжал он по воскресеньям, обедал, и всегда была лапша и черная каша. Когда выходили из-за стола, в кухне уж поджидал кучер, Гаврило, и долго катал детей с нянькой по городу.

Теперь он знал много разных сказок...

Вечерами дети торчали за воротами, куда выходили посидеть фабричные.

Шустрый и пронырливый, он быстро развивался. Ему шел восьмой год, а близорукие темные глазенки, как жучки, таращились и искали, высматривали.

Падок он был на всякий рассказ и прилипчив ко всякому.

Дети рано начали купаться. Плавать учила Маша. И, научившись, Коля долгое время притворялся неумелым: ему было непонятно приятно, когда Маша брала его на руки и, прижимая к груди, улыбалась розовой улыбкой созревшей девушки.

Среди игр, в которых он занимал особенное место, отличаясь озорством и плутнями, была одна игра запретная, разыгрывавшаяся за дровами у забора Воронинского сада, да на покатой, зазеленевшей мягкой крыше курятника — местах, скрытых от взрослых.

Называлась игра «Стручки продавать».

Вдруг Коля застыл, сердечко камушком сжалось: уронили что-то.

— Excusez-moi, не беспокойся, оставь, Варенька, я — сама! — рука Палагеи Семеновны, пухлая в кольцах, шмыгнула около самого носа Коли.

Нашла, слава Богу!

Коля сопит, не может удержаться. По телу разливается что-то горяче-колкое.

— Чтой-то у вас, крысы?

— Нет, должно быть Наумка, он вечно тут трется.

В зале застучали блюдцами.

— Варвара Павловна, чай готов!

Уходят...

Коля приподнимает оборку, насторожился...

Вдруг шорох. Будто и еще кто-то... кто-то встал и...

Юркнул обратно.

Мешают сахар. Упала ложка.

— Дама будет.

— Понимаешь, Варенька, — снова понеслась Палагея Семеновна, — это Бог знать что, просто невероятно...

Коля прополз до дверей и пустился.

Высокий темный киот, освещенный красной лампадкой, строго провожает его всеми ликами и гневными и скорбящими.

Они все понимают.

Нервно цепляясь за перила, подымается он наверх в детскую и прямо на няньку.

— Где это ты, Колюшка, пропадал? — спрашивает Прасковья, зорко всматриваясь через огромные медные очки; она сидит у стола, где обыкновенно Саша и Петя учат уроки, и штопает рваные чулки. — Ишь, завозил курточку-то, быдто мешки таскал. Дай-ка я тебя, девушка, почищу!

— Так, няня, живот у меня.

— Покушал, знать, лишнего, он у тебя... Горчичнику поставим...

Коля прилег на Сашину кровать и зажмурился.

— Или бутылку. Поветрие нонче ходит: напущено, знать, нечистым, согрешишь грешный.

Кто-то зашмыгал по лестнице.

Больше зажмурился.

— Колечка, — с ласкающей оттяжкой по-детски зовет Маша, — Колечка, чай кушать ступайте!

Коля обрадовался, вскочил, но супится: неловко ему.

А Маша подходит к няньке, будто на работу посмотреть и... ам! — поймала Колю, затеребила, зацеловала сладко-сладко и в носик, и в ушко, и в глазки.

— Красавчик ты мой, речистый ты мой, ма-а-ленький!

— Ну чего, лупоглазая, чего развозилась, — ворчит Прасковья, — мальчик хворый: что ни час, новая болесть открывается, а она лезет. Да и под руку толкаешь...

А Маша смеется, будто и знает что, да не скажет.

— Ужинать-то скоро? Всю-то, девушка, разломило, поясница

гудет... И когда этот колокольчик, прости Господи, сгинет!.. Пойти, перекусить, что ли.

Нянька и Маша уходят.

* * *

Коля вытягивает ручонки и идет в смежную длинную, низкую комнату, где стоят кроватки детей, и спит Прасковья.

Темно. Чуть живет изнывающий мутный луч перед образом Трифона Мученика.

Коле не так чтобы очень уж страшно...

В всматривающихся глазах, не потухая, плывет глубокий, лиловый кружок с серо-серебряным ободком. На что-то натыкается. Сердечко заколотилось...

— Господи Владыко, что ты, Коко, неосторожный какой!

Анна Ивановна — «бабушка» из богадельни — расстелилась на полу вздремнуть до ужина.

— Бабушка!

— У, вертопрах, — охает бабушка, — все-то ноги отдавил... И куда это ты запропастился: днем с огнем не сыщешь. Ходила на пруд, — все дети развлекаются, горку строят, а его нет как нет.

— Бабушка, — подлащивается Коля, — дай, бабушка, мне понюхать табачку немножечко?

— Изволь, душа моя, изволь. Бахрамеевский, свежий. Всех старух намедни потчевала, даже сам Александр Петрович — отважный — отведали.

— А я тебе, бабушка, духов подолью!

Хватает табакерку и опрометью бежит вниз через кухню в столовую и трясется весь: вот расхохочется; глазенки прелукавые. Там влезает на шкап, достает из стеклянного буфета толченого перцу, подсыпает в табакерку, потом плюет и размешивает.

Теперь строит кислую рожицу и медленно идет в зал.

* * *

— Жарок небольшой есть, — говорит Палагея Семеновна, — покажи, Коля, язычок. И, какой красный!

— Завтра дома посидишь, — замечает мать, — к Василию Егоровичу можно и не ходить, да и Женя поотдохнет немного.

— А мой-то, мой-то! Представь, Варенька, третью неделю не выходит. Был Поморцев, говорит: коклюш. Удивительный доктор! Да! напомни мне, Варенька, сказать что-то...

С тех пор как на третьем году была у Коли скарлатина с во-

дянкой да вскоре затем корь, — он не хворал ни разу. Вообще, дети отличались крепким здоровьем, несмотря на все рискованные проделки: ели снег, глотали больших мух, выбегали в одних рубашках в холодные сени, тонули в прорубях. Больными же притворялись часто: одни — не ходить в гимназию, другие — к дьякону. Исключением был Женя, который после всех болезней Коли получил еще дифтерит и одно время ослеп, потом оправился, но прихварывал. Болели у него глаза, и не глаза верней, а где-то над бровями: схватит и мучает, — свету тогда не видит и плачет убито, как только плачут безответные дети. И лунатик он был: по ночам проделывал диковинные вещи. Водила его Прасковья в монастырь к схимнику о. Глебу, — будто и полегчало. Глаза у него такие были грустные, забиякой не слыл, а все же разойдется — маху не даст.

«Кто ж их разберет, — говорила Прасковья, — все они на одну колодку, — разбойники сущие...»

В сенях, на черном ходе, вдруг закричали, потом сразу притихнули и снова. Что-то шлепалось и кувыркалось.

— Опять подрались, — встает мать, — сладу с ними нет.

Палагея Семеновна самодовольно улыбается, опустила глаза на блюдечко, вылизывает ложкой последние ягодки.

Коля надулся: и на пруд не ходил, да и горчичник впереди... горчичник больно щиплется! Исподлобья следит за Палагеей Семеновной, начинает злорадствовать — вымещает.

Летом привела она своего Ванечку. Они взяли, да обмазали его навозом, накормили куриным пометом, а потом затащили в лодку и волнение устроили. Гувернантка так и ахнула, поволокла к «мамочке», а он ей бух самое нехорошее слово.

«К таким уличным мальчишкам нельзя благородного пускать!» — возмущалась после Палагея Семеновна.

«Я к тебе, Варенька, чаще буду, я займусь их воспитанием. Посмотри, мой какой: просто пая».

— И не нуждаемся, — говорит себе Коля, вспоминая историю с Ванечкой, — а с Ванечкой мы и не то еще... фискала!

Гуськом, пинкаясь, входят остальные. Раскрасневшиеся, с царапинами и линяющими синяками на скулах и под глазами. В подштопанных и заплатанных курточках.

Саша — рослый и остролицый, с длинными руками, лобастый, как Коля; глаза продувные, с поволокой матери.

Петя — губошлеп; розовенькая мордочка с певучими глазками.

Оба большатся. Женю и Колю пренебрежительно честят мелюзгой.

— Как твои успехи, Саша? — жеманно подобрав губы, спрашивает Палагея Семеновна.

— Ничего, — резко отвечает Саша, — четверку по-латински схватил, extemporale писали, пять страниц.

— Вот как! У вас новый директор?

Саша речисто и бойко рассказывает — сочиняет: будто во время уроков новый директор садится у классной двери и следит в подзорную трубку через матовое окошко; вот сегодня Саше случилось выйти, и он наткнулся, причем директор очень смутился, спросил фамилию и потрепал по головке; с учителями директор разговаривает не иначе как по-гречески, только на совете изредка по-латински, слова два...

Начинает захлебываться, беспокойно вертит руками, ударяет по столу, теребит ремень и загрызает ногти.

— В восьмом классе показывали яйцо страуса в шестьдесят пудов. Петр Васильевич, физик, едва дотащил. Во какое!

— Ай, ай, ай!

Петя ни слова.

Входя, он бросил Коле «кузит — музит — бук — сосал», сострoив перед самым его носом фигурку: пригнул пальцы к ладошкам, большие оттопырил рогами и скоро-скоро зашмыгал мусылышками.

Он мечтает. Влюблен в пятнадцатилетнюю гимназистку, серенькую и пухленькую, исподтишка кокетничающую с мальчишками за всенощной.

Каждый раз, когда гимназистка выходит из церкви, они с фырканьем кидаются в нее воском, норовя прямо в глаза.

Сегодня в кармане нашел обрывышек бумажки, на котором мелким стоячим почерком, почему-то очень напоминающим руку Саши, было написано: «Милый Петя, я тебя очень люблю. Варечка».

Женя налил полное блюдце, уткнулся, дует и тянет.

Палагея Семеновна идет к роялю. На пюпитре появляются истрепанные, замуслеванные «Гусельки».

Начинается «Ах, попалась, птичка, стой...», «Что ты спишь, мужичок...»

В детские голоса врывается истошный голос Палагеи Семеновны; она закатывает глаза, томно ударяя о клавиши.

Из всех выделяется Петя: нежно-молитвенный дискант, а глаза голубеют и льются. В гимназии — певчим, этим только и берет, а то — беда.

Саша басит, оттягивает катушкой губы, как протодьякон.

Женя подтягивает пресекшимся, бесцветным голоском, застенчиво.

Коля ни звука. Сидит и упорно молчит: он должен казаться больным... и горку без него состроили... горчичник.

У него женское контральто, «орало-мученик», как окрестил лечивший его доктор. И постоянно мурлычет, напевает какую-то бесконечную песню, а вот, — ни гу-гу.

— И не буду, и не стану, — мучается Коля, — сами-то вы...

А петь так хочется: встал бы вот и громко-громко. Слезы подступают и идут, идут... Вдруг вспоминает о табакерке и наверх...

Капля дождевая
Говорит другим:
Что мы здесь в окошко
Громко так стучим?

* * *

— Подлил, бабушка, много подлил: через край полилось!

— Ах, Коко, Коко, — встречает бабушка, — а мне и невдомек. Все мышиные норки перебрала, думаю себе, не обронила ли грешным делом... Ну, merci тебе. И чудесный же ты у меня, Колюшка, курнопятка ты проворная.

Часто Коля пользуется забывчивостью бабушки: возьмет вот так табакерку и спрячет, а сам ходит около, смотрит, как та томится, да, насмотревшись, вдруг, будто случайно, и находит...

Возвращается в зал.

А там уж начали новую из новой, в первый раз принесенной, тетрадки: «Грустила зеленая ива, грустила Бог знает о чем...»

Коле стало жалко Палагею Семеновну.

— Операция! — вспоминается ему, — знать, кишка какая...

Молчавшая мать встала и быстро пошла в спальню...

Повторили. И еще раз повторили.

Палагея Семеновна собирается домой.

III

Вечер. Чуть внятны напевы ворчливого ветра.

Саша и Петя учат уроки. Скрипит перо. Мерное бормотанье.

Женя и Коля лежат с бабушкой, тут же лежит окотившаяся на днях Маруська с шестью котятками, и шелудивый Наумка.

— Бабушка, первый декабрь! Наумка именинник!

Бабушка гладит по брюшку кошку и творит молитву.

— Что ты, нагрешник: тварь — пар. А его, паскудника, надо политанью вымазать; истаскался весь шатамши.

Женя дремлет.

Котятки перебирают лапками, сосут.

Наумка запевает.

Начинается длинная сказка.

— Про Ивана-царевича? — перебивает Коля бабушкино «жил-был в тридевятом царстве, в подсолнушном государстве».

— Про него самого, душа моя, про царевича и серого волка.

И видится серый волк, видится так ясно волчья, шаршавая мордочка. Вот входит волк к Ивану-царевичу: весь хвост в жемчугах, улыбается, язык-то красный и острый страшно, глаза горят. «Ну, — говорит, — спас я тебя, выручил, — живи и царствуй; а наград твоих не нужно мне, пойду в дремучий лес». — «Спасибо, — отвечает Иван-царевич, — спасибо тебе, серый волк, вовек не забуду: не случись тебя, — лежать бы мне на сырой земле».

Мед вкусный-превкусный — соты-меды, а в рот не попало...

— Буду большим, — думает Коля, — богатырем стану.

Зажигается свечка.

Входят Саша и Петя. Уроков они не выучили, но тетрадки побросали в лысые ранцы, будто все в исправности.

На столе появляется старое евангелие в черном кожаном переплете с оборванными застежками.

— О страстях Господних!

Бабушка начинает нараспев, медленно...

—И поем Петра и оба сына Заведеева, начат скорбети и тужити.

Тогда глагола им Иисус: прискорбна есть душа моя до смерти: подождите зде и бдите со мною.

И пришед мало, паде на лице своем, моляся и глаголя: Отче мой, аще возможно есть, да мимоидет от мене чаша сия; обаче не якоже аз хощу, но якоже ты.

И помяну Петр глагол Иисуса, реченный ему, яко прежде даже петель не возгласит, три краты отвержешися мене: и изшед вон плакася горько.

Бабушка молитвенно замолкает.

Присоседившиеся к ней мальчики замерли.

Слышно баюканье ветра, и не потухает горькое слово.

Горько так.

— Будь я Петром, никогда б не отрекся...

— Господи, если б Христос пришел...

— И поскорее бы Пасха...
— А там и распустят...
— Двенадцать евангелиев...
Женя прижимается к бабушке, тычется головой к коленям, а над ним шевелятся концы коричневого, горошком платка.
Стук-стук в окно.
— Ангел!

Богородице Дево, радуйся.
Благодатная Марие, Господь с Тобою...

Пропели, никто не трогается с места.
— А отчего звезды падают? — спрашивает Коля.
— Ангелы незримые... ангелы падшие... — и вдруг бабушка оживляется: — Саня, — умиленно говорит она, — душа моя, принеси и почитай моего любимого Пушкина. Что-нибудь чудесное...
Саша приносит изодранную «Капитанскую дочку», откашливается и начинает.
Под конец, на месте: «Прощайте, Марья Ивановна! — Прощайте, Петр Андреевич!» — бабушка с Петей тихонько плачут.
В прошлую субботу за всенощной Петя подбросил Варечке записку, на которой стояло его собственное стихотворение:

Ваши очи страстны.
А коса — руно.
Разве вы не властны
Ялику сбить дно?

Наутро за обедней, проходя мимо с кружкой, он, полный ожидания, взглянул... Та прыснула, и только.
— В Сашу влюбилась... А зачем на Воздвиженье смотрела на меня? И письмо это. Знаю, какая...
— Э-х, душа моя, — говорит растроганная бабушка, — какая я была! Лицо лосное, польское, — сам граф Паскевич Иван Федорович...
Пускается в воспоминания, рассказывает о крепостном времени, потом незаметно переходит к богадельне.
— Бабушка, а бабушка! — лукаво прерывает Коля.
— Что тебе, дружок?
— А все же мы тебя, бабушка, из членов Святейшего Синода...
— Вычеркнем, вычеркнем! — загалдели остальные.
— Не имеешь права. Будет. Времена не те...
В чем дело — сообразить не может. Чувствует какую-то насмешку и, пригорюнившись, замолкает.

— Ну, ладно, — сдаются дети, — подождем... пока.

— Ах, Коко, Коко, и всегда-то ты озорной был, задира сущая...

Кормилку твою первую вытурили, с желтым билетом объявилась: гулящая. Поступила Евгения и жизни невзвидела. Бывало, ревмя ревет: все норовишь соски поискусать; как вцепишься, — ни за какие блага оторвать невозможно. А как стал ножками ходить, — годочку тебе не было, — жили на даче, и повадился ты на «кругу» целоваться. Как сейчас помню, Колюшка, впился ты губками в Валю, насилу оттащили, а носик-то ей и перекусил. Потом и себя изуродовал: Господь Бог наказал. Варим мы крыжовник с покойницей Настасьей, царство ей небесное, обходительная, чудесная была женщина, мамашу выходила, ну, и слышим крик. Побежали наверх, а ты, Колюшка, лежишь, закатился, синий весь, а кровь так и хлещет, тут же и печка. Залез ты на комод, да и сковырнулся прямо на печку окаянную. С того самого времени ты и курносый.

Бьет восемь.

Вскакивают и под часы: подпрыгивают, топочут, стучат, кричат — «мышей топчут».

— Ну, Коко, похвальный лист тебе, — одобряет бабушка, — удружил: табак чудесный вышел, так и дерет.

Тянутся с щепотками, нюхают, чихают и вниз.

На лестнице сцепились. Коля дал тумака за «кузит — музит», Петя оскользнулся, задел Женю, Саша захотел пофорсить — взять всех на левую — ударил Колю под живот, тот задохнулся, укусил его за палец.

С покрасневшими глазами, дуясь, толкутся в кухне.

— Оглашенные вы, и лицемерные, — ворчит Прасковья, — не будет вам ужотко гостинцев. Только мамашино здоровье расстраиваете.

Степанида, иконописная кухарка, повязанная по-староверски темным платком, изловила здоровенную рыжую крысу-матку.

Начинается расправа.

Мышеловку ставят на табуретку. Потихоньку льют кипяток. Крыса визжит и мечется. Льют, льют, льют... С хвоста слезает шкурка; хвост стал розовым и нежным, дрыгает. Дается отдых; крысу тыкают лучинками, поганым ножом. Снова появляется кипяток, снова льют, норовя на глаза. Крыса, нервно и судорожно умываясь лапкой, кричит, как человек.

Шелудивый Наумка, курлыча, трется с возбужденными, злыми глазами...

— Ха-ха-ха...

Переходят в столовую.

Ужинают нехотя, едят — давятся, но наверх не идут.

Лазают за занавеску на кровать Маши, рассматривают ярко намалеванные картинки: «Священное коронование», подделывают хвостики и рожки, и, только после долгих уговариваний, угроз Прасковьи, Степаниды, бабушки, — отправляются.

Сначала подходят к спальне прощаться. Стучат...

— Тише, вы, — останавливает нянька, — мамаша заперлись: нездоровы... У, неугомонные! — и когда-то вас Господь на ум-разум наставит!

Долго и шумно укладываются: ждут «гостинцев». И мало-помалу затихают.

* * *

Из кухни доносится чавканье.

— Наездился он на мене, — рассказывает Степанида, — рожать Филиппка время пришло, — бросил постылый: со стервой-сукой своей связался.

И не шляйся ты, хухора, с журавлевским приказчиком, – поучает Машу, — не висни ты у него на шее: он те подол задерет, загадит всю и кинет опосля. Куда брюхатой?

— А Юдишна говорит, околдовали вы, Анна Ивановна, старичка отважного: неспроста промеж вас увивается. Кабы смотритель...

— Хи-хи-хи...

Коля ждет: бабушке постелил – под засаленный, просетившийся, ватный подстильник полена положил; и сделал все это аккуратно и чисто, – совсем незаметно.

Начинают перемывать посуду.

Лампы гасят.

Шлепают по лестнице — идут наверх.

Коля завернулся с головкой, только носик торчит.

Нянька тычется по углам, шарит:

— Куда это я, девушка, ватошную вещь задевала, — не сыщешь.

Коля смеется, не открывая рта.

— Колюшка — молодец у меня, лучше всех детей: и постель постелил и вродеколону в табак налил.

— Мочи моей нету, девушка, измаялась, измаялась я: день-то-деньской шатамши, ноги отваливаются.

Почесываются.

— Господи, Владыко!

— Митя-то сызнова, девушка, в золоторотцах. С трактира погнали: запой, знать.

— Напущено.

Бабушка всунула голову в ворот рубашки, засветила там огарок и ищется. Коза ряженая.

— Спрашивала я батюшку, отца-то Глеба, — молитву дал. Знать, Богу уж так угодно... Э-эх, девушка; по пятому годочку в трактире-то; несмышленого, махонького определила; думашь, девушка, должность чистая, а вот подижь ты, — может, и напущено. Сердце матери изболелось, глядемши... Закопытили его, сердешного...

Тихо, только часы ходят.

Начинают молиться.

— Скорбящая Матерь Божия, Грузинская...

— Троеручица, Владычица моя матушка...

— Горы Афонские, согрешил вечеславный....

— Богородица, присно Дева...

— Окаянная... Словом еже делом, помыслом нескверным...

— Митрия, раба Твоего...

— И от блуда всякого сохрани и помилуй...

— Беззаконная...

Коле вспоминается этот Митя, длинный и серый, с крысьими хвостиками-усами, в коричневой визитке, штиблетах без стука. Коля проходил через кухню, и он встал: «Здравствуйте-с, барин!» — и низко поклонился.

— Аминь.

— От лукавого...

Бабушка опускается на постель.

— Чтоб тебе! — вырывается вдруг ее сдавленно-негодующий вопль, — курносая пятка, курнофейка окаянная, уродина паршивая, скажу мамаше. На старости лет... Господи...

Шлепаются полена.

Отчаянно раздирая красненький ротик, пищит придавленный котенок.

— Оглашенные! — ворчит Прасковья.

Монотонный свист и колыхающийся храп покрывают комнату, и комната засыпает.

IV

Не спится Коле, ерзает, разбегаются мысли.

Обидел Коля бабушку, ни за что обидел. Лежит она теперь с

скорбно-сложенным ртом., снятся ей проклятые полена, падающие, как крышка гроба с черными гвоздями.

— Митю закопытили...

И няньку копытили век вечный.

«Пороли нас больно на конюшне, девушка, лупили за всякую малость...»

— А горчичник-то и забыли! — отлегло на сердце.

Мутно-кровавый глаз лампадки хмуро защурился.

— У-у... втуу-втуу...— завыло где-то.

И вместе с воем приползло тайное, что дом окутывало, — замелькала тайная жизнь матери.

«Барышня несчастная...»

«Заперлись: нездоровы...»

«За сороковкой барыне..»

«Цыц ты, кудластый, чего галдишь, дети услышат, мало што...»

— Это для мамы...

Пьяницы не гниют, а только чернеют. Как уголь. Дядя Самсон почернел как!

И почему в театр не поехала?

Портниха Даша на Машу похожа.

Разоделась и не поехала. Напудренная, в брошке бриллиантовой.

У мамы книг много, какие-то журналы... скучные...

— Варенька, Варенька, подумай только, что про тебя скажут. Нельзя ехать с З., и так уж говорят. Ведь я должна предупредить тебя: послушай, Варенька, если хочешь сохранить свое доброе имя...

И представляется, лежит Коля в гостиной на полу под диваном, неловко ему, и весь он скорчился. Пыль душит, а голос Палагеи Семеновны острыми иголками колет прямо в грудку, и плачет мать так жалостно...

Вот выскакивает он из-под дивана, бросается на Палагею Семеновну, цапается ручонками за платье, взбирается к ней на колени и грызет ей горло. А подбородок у нее трясется-перекатывается, мягкий и жирный, как индюшка. К губам пристает липкое, соленое, и красные пятна, густые пятна выплывают из всех углов, плывут на него... И хочется орать во все горло, разбить новый колпак, разодрать альбом, «Ниву», исковеркать стол, скатерть, но Палагея Семеновна, черная, поднимается на цыпочки, растет, вырастает, упирается головой в потолок и скалит оттуда страшные, острые зубы...

Коля свернулся в клубочек, кружится, мечется. Как крыса... Хочется проскользнуть в спальню... А ноги к земле прирастают... Цап!..

— Няня! няня!!!

— У-у... втуу-втуу...

Сердечко перестукивает. Губки вздрагивают.

— Когда буду большим, я все буду... пускай и мама все делает... Николай, угодник Божий! Большим буду... Завтра... завтра... Серым волком буду...

— Дуу-доон — Дуу-доон — Дуу-доон.

От звона вздрогнули стекла и зазудели.

— Не-ет — не-ет — не-еет, — заскрипели часы.

Засвистел свисток на фабрике долгий, со сна встрепенувшийся.

Вдруг вспомнился Коле мальчишка Егорка, попавший в маховое колесо...

Встал перед глазами, как тогда... извивался.

Подлетая-улетая, мелькал-пропадал Егорка на маховом колесе, как красный кусок сырой говядины... синие сплющенные лепешечками пальцы хватались за воздух; синие, красные, черные, желтые, серые дранки отщеплялись от тела... медный изогнутый крестик...

— А! а! ах!!! — Душат... ушат.. — заорала Прасковья не своим голосом: снились ей черти.

«Ходят они по ночам за мной: быдто этак комната, спальня, а они черненькие, в курточках крадутся...»

Кто-то провел по одеялу руками.

Коля немеет.

Это — Женя.

Женя постоял-постоял и пошел от него.

«Порченый!»

«Порченая девочка подняла за обедней подол, да в крест...»

Кощунствует...

И хочет остановиться, да не может. Все новые кощунства осаждают его.

Вдруг заметался: — Господи, прости меня! За «слава в вышних Богу» в другом приделе с Ваней Финиковым подрался, на престол садился, на мехах в алтаре чертиков рисовал, «стручки продавал»...

— Пи-и... пи-пи! — мяу-мяу... — запищали неистово котятки.

Подняли с постели бабушку.

— Окаянные! треклятые! — застонала бабушка.

Она отдирает от рубашки и от волос вцепившихся котят. Вытянулась костлявая, взлохмаченная. Седой, трясущийся хвостик на острой бороде. Выпученные, бледные глаза. Баба-Яга.

Зажмурился Коля, не шелохнется. Подушка — огонь — горячая.

Кто-то темный, огромный плывмя плывет...

— Баба-Яга.

— Ангел Хранитель! — скрестил кулачки, прижимает, — Ангел Хранитель...

— Дуу-доон. — Дуу-доон... Дон... Дон.

Жужжанье и шипенье монотонного храпа проникает в комнату.

* * *

Мать задула свечку и, шатаясь, повалилась на кровать, полураздетая, с назойливо-подплясывающими острыми, зеленоватыми крестиками в глубине воспаленного мозга. Заломила руки, разметалась. И ослабевшая свинцовая голова ее и переизнывшее, изъеденное сердце погрузились в чадный сон неминуемых бед и дразнящего несбыточья.

Вздохнула матово-зеленая лампа в Огорелышевском белом доме, задрожала и померкла. Навстречу ей зазмеился желтый огонек, поиграл и уполз.

Нервно вздрагивая, в мути табаку и утомления, озлобляясь на краткость жизненных часов, идет Алексей в спальню, где лежит болезненная жена, и болезненно-тяжкое дыхание тянется вокруг спящей.

И ему вспоминается, как в припадке женщина ест нечистоты, и он дрожит, поймав вдруг свою тень-образ в высоком, закачавшемся трюмо... И какая-то горечь пьет сердце.

На заплесненно-гноящихся, спертых спальнях и в душных каморках, несладко потягиваясь и озлобленно раздирая рты судорожной зевотой, крестясь и ругаясь, подымаются фабричные.

Осоловелые дети тычутся и от подзатыльников и щипков хнычут.

Сладострастно распластавшиеся с полуразинутыми слипающимися ртами, женщины и девушки упорно борются с одолевающим искушением ужасной ночи и с замеревшим сердцем опускают горячие, голые ноги на липкий, захарканный, загаженный пол, наскоро запахивая, стягивая взбунтовавшиеся груди.

Сменяется ночной сторож Аверьяныч и, обессиленный болями, с пеной на подгнивающих губах, сквернословя и непотребствуя, валится в угол сторожки.

Тянутся в Андрониев монастырь вереницы порченых и бесноватых с мертвенно-изможденными лицами, измученные и голодные, с закушенными языками, с губами растрескавшимися, синими без кровинки.

И о. Глеба, укрощающего бесов, ослепленного, с печатью остывших бурь пучины греховной, ведет под руку из белой башенки дылда-послушник, отплевывающийся от сивушной перегари вчерашних попоек.

И в сером промозглом, заиндевевшем склепе Огорелышевых последний червяк слепо грызет и точит последнюю живую кость деда.

А там, за вьюжным, беззвездным небом, нехотя пробуждается серое, старушечье утро и сдавленным, озябшим криком тупо кричит в петухе, очхнувшемся на самой верхней жерди.

А там, на скользкой горке запорошенного пруда, крохотный бесенок с ликом постника неподкупной и негодующей человеческой честности, по-кошачьи длинно вытянув копыто, горько и криво смеется закрытыми губами.

Кружится-крутится, падает снег, кружится, падает старый, темный снег на темную, в яви полусонную, уродливо-кошмарную жизнь... непонятную.

V

Как пришла весна, пришла громкая с ручьями пенными, певучими, с небом голубым ласковым, с солнцем смеющимся; как почернел сад, раструхлявились гнезда, и пруд стал серым, болезненным — всеми лежал покинутый, с одинокими, забытыми льдинами, с проломленным глазом — прорубью; как запел монастырский колокол звонче и переливчатей о полдне и полночи, — тогда целыми днями, только придут дети из училища, сейчас же на двор: колют, рубят, метут, чтобы к Пасхе ни одной снежинки не держалось.

А вечерами идет игра в «священники большие и маленькие»: сооружают из столов и стульев престол и царские двери, облачаются в цветные платки и разные тряпки, служат всенощную, обедню; в «маленьких же священниках» все дело просто в деревянных кубиках: из кубиков строят церковь со всеми приделами,

теплыми и холодным, как у Грузинской, и они же представляют священника и дьякона.

Не пропускали ни одной службы.

Иногда так не хотелось, особенно к ранней обедне.

— Дрыхалы, оглашенные, — подымает Прасковья, — не добудишься, быдто напущено.

А еще только перезванивают: не начинались часы.

Когда же возвращались из церкви, то, при всех увертках, не могли миновать Алексея: он уже встал, сидел в кабинете, и в окно ему видно было, кто по двору шел. Подзывал, придирался, выговаривал.

Особенно попадало на Страстной.

Но как хорошо тогда было!

Пономарь Матвей Григорьев, черный, как нечистый, то и дело выходил на церковный двор.

— Олаборники, — брюзжит, — батюшка увидит.

Батюшка увидит... да он такой старый, едва ноги передвигает, пойдет он смотреть!

Пономарь скрывается:

— Останавливай — не останавливай — ничем не проймешь.

На церковном дворе стояла нежилая будка. Когда перестраивали церковь, иконописцы изобразили на потолке этой будки соблазнительную картину. И тут-то под сенью непонятного еще, притягивающего соблазна, творилось нечто, уму непостижимое.

Приедалась будка, — вламывались в церковь.

И церковь оживала.

Ване Финикову, сыну просвирни, Агафьи Михайловны, читавшему в первый раз на амвоне «слава в вышних Богу» и облеченному по сему случаю в семинарскую длинную чуйку, пришпилили сзади оттопыривающийся, фланелевый хвостик.

На Вербное, во время раздачи вербы, хлестались не только друг с другом, но и с посторонними, взрослыми.

— Верба хлес — бей до слез!

В Великую Среду за пением «Сеченная сечется» Коля такое сотворил — до батюшки дошло... Сырая шляпа Финикова по рукам ходила. Охали, ахали.

— Ах ты, дьявольский сынок, не будет тебе ужотко причастия, — пугал батюшка.

Коля стоял у Креста на коленях и, выкладывая положенные сорок поклонов, еле удерживал слезы и от стыда и от душившего хохота.

Но, не сделав и десятка поклонов, улизнул от Креста.

Всю остальную службу на глазах в алтаре, делая вид, что мо-

лится, он страшно скучал. Саша, Петя и Женя возились на колокольне.

И вот совсем не по уставу зазвонил неумело и срыву большой колокол, и полная церковь напуганным стадом шарахнулась к паперти.

— Дойдет до благочинного, — ни черта путного, олаборники!

На двенадцать евангелиев, выходя с горящими свечами, тушили огни у прохожих.

— Душа моя, Коко, — наставляла после бабушка, — Бог тебя накажет. Да нешто в законе Божьем это сказано? — Иуда ты и Варфоломей Искариот, помолись ангелу своему и покайся. Ни росту, ничего не даст тебе Владыко Господь, и останешься ты курносым до скончания веков...

И наступил Светлый День.

Словно выросли, преобразились. И плохенькие одежонки выглянули новыми и нарядными. В заутрене вся жизнь была, ждали годом и, что бы ни делали, помнили: вот Пасха, Пасха придет!

На паперти жгучий стыд заливает сердце и личико Коли: со всех сторон тянутся дрожащие руки, и провалившиеся рты гнусят: «Колечка, дай копеечку! Колечка, Христос воскресе»! И навязчиво идет запах гнили и промозглого немытого тела, и все эти лохмотья вздрагивают от утренника.

— А я вон, нарядный, иду разговляться! — и жутко представить ему, что они такие: нет дома у них, нет пасхи белой с крестами и яркими цветами; и все же представляет до боли ярко и тут же рядом видит себя в нищенской рвани без дома, без пасхи.

— Неужто это будет когда? — Страшно.

Он вынимает из курточки все свои новенькие копейки, подаренные и украденные, и сует в заскорузлые, посиневшие руки, ловящие руки. А копеек так мало.

И мглистое, сероватое утро с собирающимся снегом перекликается одиноким перекликом запоздалых, растянутых обеден.

* * *

Прямо из церкви шли поздравлять дядю.

С замиранием сердца, со страхом до потери голоса вступали в белый дом.

Еще на Прощеное воскресенье, когда, бухаясь в ноги, положенно приговаривали: «Простите меня, дядюшка, ради Христа!» — была большая проборка.

Теперь, когда, робко прокравшись по парадной лестнице, во-

шли в кабинет, и каждый еле слышно произнес затверженное: «Поздравляю вас, дядюшка, Христос воскресе!»

— Болваны, — не глядя, рычал Алексей, — чаще драть вас, — вот что! И ты! и ты! — лентяи, дармоеды. Тебя, Петька, выдеру, призову рабочих и выдеру: ты у меня забудешь трубку! А ты, курносая гадина, чего рот разинул? И ты, дурак, туда же.

Жмутся, ежатся, молча опустив осоловелые глазенки.

— Ну, марш, отправляйтесь!

Кубарем скатываются с лестницы и бегут вприпрыжку по двору наверх, где ждала-дожидалась бабушка, Маша, нянька.

Особенно Коля не любил Алексея: обидел тот его совсем крохотного.

Вела его Прасковья по двору гулять, встретился дядя. Коля и протяни ему ручонку...

«Ты, мальчишка, смеешь мне руку совать! Забываешь, кто ты: на наш счет живешь!» — затрясся дядя, а голос издавал странные звуки: казалось, кошка, кошке долго и пристально наглядевшись в глаза, отпрыгнула вдруг, ощетинилась и взвизгнула.

И у Коли тогда задрожали губки, и кусать, рвать хотелось неистово, бешено...

Славят Христа на весь дом, христосуются, а с Машей несчетно раз.

После вечерни приходят батюшки.

Матвей Григорьев, едва держась на ногах, толкует каждому, будто «пупок у его не на животе, а на спине, этак!» — и, странно изгибаясь, не открывая рта, посмеивается.

За закуской батюшка пробирает Петю за трубку, хотя трубка — общая.

Курили до зеленых кругов и тошноты.

Так как на копейки съедалось в стаканчиках мороженое и покупались «грешники», то приходилось курить тот табак, которым перекладывалось зимнее платье.

Оканчивается миром.

— Ну, Христос с вами, — гладит батюшка по головке, — Пресвятая Владычица Грузинская, — малыши вы махонькие, неразумные.

Мать беззвучно плачет, загрызает ногти, мясо у ногтей. Жалуется.

— Ах, Господи, Господи! Потерпите... Варвара Павловна.... Христос... Несите крест...

— Да они, они... они... жизнь мою... я...

Под ночь бывало грустно: прошел Светлый день.

— Если б всегда была Пасха!

— Должно быть, в раю только.

— И умереть, говорят, на Пасху хорошо, прямо в праведники. Дедушка на третий день издох...

— Экзамены скоро.

А в крышу постукивают мутно-зеленые капли первого теплого дождя, красящего сухую, седую траву и черный пруд.

Дьявол, пролежавший всю ночь в грязной канаве, забрался теперь в купальню и, сладострастно хихикая, зализывал вскрывшиеся, теплые раны.

И лягушки, выпучив сонные бельма и растаращив лапки, бестолково заквакали.

И стала земля расправляться и тучнеть, и все семена жизни зреть стали, наливаться, изнемогая, задыхаясь в любовной жажде.

Зарею нежные травинки, голубые первые подснежники, как хор девушек-девственниц с тайно подступающим красным зноем, — благовестницы грядущих невест, взглянули на восходящее солнце, на Христа воскресшего.

VI

Алый и белый дождь осыпающихся вишен и яблонь.

Замирающий воскресный трезвон.

— Эй, плотнички лихие, работай!

И, наслаждаясь, налегают на тяжелые лопаты, и тугая земля ломается.

Рубашки и штаны испачканы, руки грязные, темные. С самого утра на огороде перед домом копаются. Чертенята маленькие.

Прошли экзамены.

Перешел и Петя, а Женя и Коля поступили в гимназию.

— Как стемнеется, за досками пойдемте: шалаш надо, без шалаша нельзя, — Саша, как заправский землекоп, поплевывает на руки, — или берлогу выкопаем в двадцать сажен, чай пить будем, кровать поставим. У Захаровых вон берлога в пятьсот сажен; Васька говорит, музыка играет.

— И глубже выроем, свой пруд выроем!

— А на той стороне кизельник зацвел.

— Пожрём.

«Та» сторона — часть сада к Синичке. Там растут старые яб-

лони и «кизельник». Невзирая на бдительный надзор, к Ильину дню — ни яблочка, ни ягодки. Шелушат по ночам, а чтобы запугать сторожей, хлопают в ладоши, будто лешие.

«И сад и пруд — проклятые, — идет молва, — нечистый ходит. Намедни пошел в караул Егор-смехота, а из пруда — рожа, да как загогочет — инда яблоки попадали. Подобрал полы, да лататы. Душка-Анисья богоявленской кропила, насилу отходился. А Егор-то ведь во, — смехота!»

Когда же ловили, приходилось плохо. Да им как с гуся вода...

— Палевый вчера улетел, — говорит Коля, — остался один чернопегий. И подсеву нет.

Он работает лениво и не так пачкается, как другие.

Голуби — общие, но Коля чувствует к ним особенную нежность: и тайники и приманки выдумывает, и чтобы потеплее было. Петя гоняет: залезет с шестом на крышу и посвистывает.

В праздничный день обычно отправлялись дети с голубями на птичий базар. На базаре торговались и обменивались или просто слонялись, вступая с торговцами в препирательства, задирая бахвальством и плутнями.

К голубям пристрастил детей старичок-приказчик.

Жил старичок на дворе на покое, дела у него хозяйского не было, разве вечером когда сразится в шашки с самим Огорелышевым и только. Все же остальное время проводил он с птичками. Занимали птички всю его квартиру, чахли и гадили, а петь не пели.

Дети часто забегали к нему, любопытствовали, а он медленно, отщипывая то и дело понюшку, рассказывал о каждой породе, представлял голоса, ставил примерные силки и западни и нередко случал пичужек в надежде иметь яички.

Уж очень хотелось старику маленьких птенчиков повидать, выходить птичек: авось запоют!

Без озорства и тут не обходилось: к великому огорчению птицелова птички как-то сами собой открывали клетки и, несмотря на двойные рамы никогда не отворяемых окон, вылетали на волю.

А какая у них голубятня была! Теперь совсем уж не то...

Пронюхала про голубей Палагея Семеновна.

Занегодовала:

«Варенька, Варенька, да они ведь у тебя голубятники, это невозможно».

И Бог знает, с какими целями, вызвалась посмотреть голубятню.

Высоко задирая юбки, взобралась по трясущейся крутой ле-

стнице к слуховому окошку мезонина и, наступая на теплый помет, готовилась наставлять...

Но детей на голубятне не оказалось, да не только детей, и лестницы.

Поморили они ее, набралась вдосталь.

Была после потасовка немалая. А голубятню сломали.

* * *

Солнце, между тем, осмотрев все закоулки двора и тинистый берег, идет на самую середку пруда греть старых усатых сазанов, ледяные ключи палить.

Бросают лопаты и обедать.

Приходит Филиппок, коренастый, черномазый, взъерошенный мальчишка-сапожник.

Филиппок был искусник немалый: мастерил из кожи разное оружие, ордена и медали.

Начинаются разбойничьи игры. Русско-турецкая война.

Что ни попадет под руку, — летит вверх тормашками: стекла и куры, скамейки, цветы, дрова, собаки, лопаты, цыплята.

Глядишь, там кто-то и в пруду бултыхается.

Не ходят, а носятся в бумажных и кожаных орденах, с подбитыми глазами, исцарапанные.

— Вольница, — удержу на вас никакого нет, — оглашенные.

Вот будто город в огне. Осажденные, озверелые от голода и тревог, рвутся под бьющей бедой в стенаньях, в проклятьях.

Толпы тонут в волнах; а над головой свистящие пули — отходные молитвы.

Бегут, бегут... По пятам черный дым и адский грохот. Впереди кругом топь крови.

Вот лопнет сердце, вот дух захватит.

Ну, еще, еще!

И крик взрывает сад, и из трубы, выпыхивающей клубы седого дыма, кричит навстречу неумолимо-резкий, страшный крик: бей! бей! бей!

— Дяденьке пожалимся! — и острые пальцы управляющего вдруг вонзаются в ухо и больно выворачивают мягкий хрящ.

— Андрей-воробей! Андрей-воробей! — запевается хором; хор кружится, и проворные руки то и дело салят дьявольскую фигуру с крючковатым носом, на котором торчит сухой конский волос.

Согнувшись, проходит управляющий к фабричному корпусу, наводя страх и порядок.

«Со свету сжил, дьявол, — роптали по двору, — лизун огорелышевский, шпион, подхвостник. Найдет на тебя полоса, хлебнешь из пруда...»

Идут в купальню. До дрожи, тошноты ныряют и плавают. Ни одного сухого местечка. Одежа свертывается, как выполощенное белье.

Теперь на навоз, на ту сторону. Навоз разрывают, выкапывают белых жирных червей и, набрав полные горсти, раздавливают по дорожкам...

А когда пресыщаются, начинается ловля лягушек. Наводняют полную кадушку под желобом и, вытаскивая по одной, истязают-потешаются: отрывают лапки, выкалывают глаза, распарывают брюшко, чтобы кишки поглядеть.

Квакают-квакают лягушки во всю глотку.

— Ай! нагрешники! — спохватывается Степанида. — Всю-то мне воду опоганили.

Долго возится с кадушкой, вылавливая левой рукой скользкие внутренности и лапки.

Все пальцы у детей обрастали за лето бородавками, возникновение которых приписывалось лягушкам.

«Это от ихних соков поганых», — объясняла Прасковья.

Зато большое было удовольствие, когда после каникул принимались за сведение бородавок.

Мазали пальцы теплыми куриными кишками, кишки зарывались в землю, — так сводились бородавки.

Бросают лягушек. Отправляются на качели.

Выпачканные червями и лягушачьими внутренностями, липкие, качаются-подмахивают до замирания сердца, взлетают за фонарь до маковки березы, — вот, вот перелетит доска за перекладину...

Потом лазают по качельным канатам, жмурясь и вздрагивая от наслаждения сжимать ногами упругую, щекочущую веревку.

И, добираясь до самого края, вверху у колец задерживаются, как маленькие обезьянки.

Вечереет. Раскаляются за монастырем закатные тучи. Черные, длинные тени плывут по пруду, купаясь в бьющемся, кипящем золоте.

Подымаются сложенные за террасой шесты, обитые вверху тряпками — знамена и хоругви, — трогается торжественный крестный ход: избиение младенцев.

Сажей и кирпичом вымазанные лица и руки. Коля на длиннейших ходулях в белой простыне. А жертва уж и мечется и визжит...

— Машка Пашкова — Машка Пашкова... — монотонно, речитативом поет хор, преследуя, гоняясь за девочкой.

— Шран-трибер-питакэ... Машка Пашкова — Машка Пашкова...

Затравленная девочка камушком влетала в каморку, забиралась в колени к отцу и дрожала, как листик.

Отца Машки дети боялись.

Трезвый не страшен, но когда наступал запой, Павел Пашков свирепел.

Бледный, со впалою грудью, бегал слесарь с ножом по двору, искал зарезать детей.

Дети в такие дни прятались в самые засадные места и только когда Пашков, обессилев, валился где-нибудь у помойки с окровавленными руками, с слипшеюся прядью бурых волос на закопченной голове, — они выходили из нор.

Машка Пашкова — Машка Пашкова...

В заключение — бабки. Бабки-салки, кон за кон, ездоки, плоцки... И переменная драка. Тут каждый друг перед другом соперничал. Лупили друг друга чем ни попало.

Бьет восемь.

В сад выходит дядя Игнатий с книжкой и биноклем.

Хоронясь, забираются под террасу и на корточках в темноте и сырости слушают Филиппка.

По описании мастерской и хозяина рассказывается вечно одна и та же сказка о «семивинтовом зеркальце».

Другой Филиппок не знает.

Непечатная сказка, такая забористая, и слушать ее, хоть сто раз прослушаешь — никогда не надоест.

Спадает жара.

Убирается Филиппок восвояси.

Выходит ночь, идет ночь в черном саване, в полыхающих зарницах, молодых звездочках.

VII

Черный свет пробирается сквозь стекла закрытых окон, ползет в детскую.

Нагорая, колыхаясь, плывет перед образом Трифона Мученика крещенская свеча.

Где-то за потолком, высоко над крышей, в бездне черных

дрожащих капель ворчит и катается страх — страшное, безглазое чудовище.

Мучается, стонет Петя. Голова забинтована тяжелым бинтом.

Женя, уткнувшись лицом в подушку, плачет темным плачем, больной жалобой.

Входит и уходит нянька. Поджатые, поблекшие губы шепчут...

— Господи, Господи!

В спальне внизу хлопает форточка. Хлопнет, подождет, хлопнет...

Сжавшись, сидит у окна Коля.

Вздрагивают до крови искусанные губы. Сухо и горько горят темные глаза в выжженных слезах.

Над монастырем распахивается и мгновенно закрывается ярко-белая, белая пасть.

Пороли Колю, больно пороли в спальне, перед киотом.

Взяли они его обманом. Позвала нянька новые штаны померить. Поверил Коля, быстро стащил свои старенькие... И началось.

Держал Кузьма, стегала ремешком Прасковья.

— Не будешь?

— Буду.

Где-то в сердце на самом дне бурлит и не может подняться олово слезное.

— Ой! — вскрикнул Петя, заерзал, стих.

И встал среди затишья печной и душный прожитый день.

Никогда еще не дрались так, как этим вечером.

В свалке Коля хватил Петю свинчаткой. У Пети от боли глаза закатились, брызнули слезы вперегонку с кровью.

На песке лужа, как пролитая красная краска.

— Свинчаткой прямо по голове так и попал, тяжелая... Вот тебе! — мучается Коля.

Белые стрелки заборроздили темь.

И сорвалась гора чугуна, рассекла полнеба, грохнулась, раскатилась над головой и разбежалась тьмой глухо-звучащих, железных шариков...

Зачем он обидел Женю, разве не знал, что у Жени глаза больные?

Заплакал.

— Горсть песку... Песку, да в глаза... А Женя говорит: «Я тебя, Коля, — говорит, — дразнить не буду», — говорит...

Коля потихоньку приотворяет окно.

Высовывается...

— Пускай меня гром разразит! — надрывается сердечко.

Тянется...

— Исш-и-и-и... сс-ссш... — шепчутся, свистят в ответ листья.

Перестает дождь...

Вдруг онемел от отчаяния и, закусив судорожно палец, зубами крепко, крепко сжал его...

— Уф!

И какая-то огромная, черная свинчатка ударяется ему в грудь: красный, заревной свет хлещет по ногам, хлещет по лицу и идет, уходит в голову и там крутится, и потом расплывается легко и мягко.

Коля валится без памяти.

Кропя богоявленской водой, нянька и Саша берут на руки полуживое тельце Коли и несут на кроватку.

По полу дорожка густо-красных капелек.

Тикают, ходят часы.

И кто-то маленьким пальцем все стучит, стучит в разбитое окно.

VIII

Женю и Колю перевели из гимназии в коммерческое.

Несколько лет назад по мысли Алексея было основано это образцовое училище, за что получил он какие-то важные звезды. Старались друзья, над которыми тот втайне немало смеялся.

Первым другом Алексея слыл князь, большой покровитель Огорелышевых.

А про князя молва ходила, будто он все может.

Да и князь не раз хвастал, что город — его город, а кто перечить станет, того с земли сотрет — мокрого места не останется.

Женя числился на стипендии, за Колю платил дядя Николай Павлович.

Не давался детям русский диктант: ошибка на ошибке.

Большая была нахлобучка от дяди. Велено было дома диктанты писать. Петя, бравший из библиотеки романы, диктовал, выбирая самые отборные места. Как-то случайно попался Толстой. Учитель, проверявший домашние работы, доложил совету. Поведение сбавили.

Теперь, хотя и перевели обоих в третий класс, но с большим предупреждением.

Коле наступало одиннадцать.

Лето принесло новую жизнь.

Сеня, сын Алексея, закончил свое образование, прицепил к жилетке золотую медаль и задумался о развлечениях.

Пока что остановился на кеглях: плотники соорудили помещение за сараем, недалеко от дров.

К великому неудовольствию отца и дядюшки-англичанина Сеня сблизился с двоюродными братьями.

А раньше Сенька-гордецов, как прозвали мальчишку фабричные, пробегал по двору, не ломая ни перед кем шапки.

* * *

Кегельбан открывается вечером.

Женя и Коля ставят кегли, Сеня, Саша и Петя играют.

Первые партии проходят подсухую: увлекает новость. Но, когда постиглась тайна, заскучали. Появилась корзина пива, а за пивом шампанское.

По окончании игры забирают кульки, перелезают через забор в Воронинский сад.

Другая игра: заговаривают, подсаживаются, подпаивают...

Все та же Варечка, гимназистка, в которую когда-то был влюблен Петя, и ее две подруги: Сашенька и Верочка.

Сеня и Саша, урывками Петя — играют главную роль. Женя и Коля, семеня вокруг старших, надоедают, мешают.

Кроме любопытства Колю мучает ревность. Целая тетрадь дневника исписана горькою жалобой, и каждая страничка посвящена Верочке, и нет строчки без ее имени, дорогого и страшного, первого имени. И никакого-то внимания...

Если приезжают из имения дети Николая Павловича, барышни не появляются, но Финогеновы и Сеня не пропускают часа и вторгаются в сад.

Дух поднимается.

Начинают стихами Пушкина, декламируют на весь сад, во все горло; потом, когда показываются бонны, гувернантки, тетка, Палагея Семеновна, приятельница тетки, и дети с голыми ляжками, — книга складывается, трогается процессия.

Впереди Коля — на голове красный кувшин с квасом, за ним Сеня, Саша, Петя, заключает Женя с шестом-пикою, на маковке которой трясется червивая, дохлая курица. Вид нагло-дерзкий, не кланяются.

Охи и ахи. Кто ж их знает?

И в ужасе бонны тащили детей в комнаты, а то не ровен час; от одного вида Огорелышевцев дети могли испортиться.

* * *

— Вот, что, Семен, — грыз ногти Алексей, — предупреждаю тебя: до добра это не доведет, — не связывайся, понимаешь, еще и не тому научат...

Несколько вечеров придумывали мщение: никто другой, как Палагея Семеновна насплетничала. Думали, думали, — написали ей некролог, положили в огромаднейший конверт, запечатали пятачком и отослали с Кузьмой.

Некролог открывался колокольчиком. Колокольчик-сплетня.

Очень обиделась, а виду не подавала: не будь там Сени...

У Финогеновых же с тех пор ни разу ноги ее не было.

* * *

Вечер обычно заканчивался несуразно весело, по-Огорелышевски.

Выходят из главных ворот, идут посередке улицы. Сеня и Саша басами читают паремии, которые заключаются хором — общим выкриком последнего слова:

«И приложатся ему... лета живота-а-а!!!»

Остановить никто не решается: ни городовые, ни околодочные.

— Огорелышевцы! свяжешься, — нагорит еще.

Так, обогнув Синичку, доходят до красных ворот Финогеновых.

Тут рассаживаются на лавочку. Выходят фабричные.

И начинаются россказни о житии дедушки и дядюшек. А от них — за сказки.

— Покойный дедушка ваш, хрену ему... — приступает кузнец Иван Данилов, — перед кончиной живота своего призвал меня и говорит: «Сын ты сучий, отлупи ты, говорит, мне напоследях какой ни на есть охальный рассказ, али повесть матерную!» — а сам едва дыхает, расцарапый ему кошка... Так-то вот. Ну, о пчеле, что ли?

— О пчеле! о пчеле! — от нетерпения трясется вся лавочка.

И сказка начинается.

— Жила-была пчела. У пчелы было три улья. Д-да. В одном улье спала. В другом . . . . . В третьем мед таскала. А как выпустит жало со свинячье кало...

И пойдет, инда жарко станет.

Кузнеца сменяет городовой Максимчук малороссийскими, а в заключение ночной сторож Аверьяныч, расползающийся старикашка с трясущимися ногами, умиленно и благодушно, как молитву какую, изрыгает сквернословие-прибаутки.

И чутко глядит монастырь белыми башенками. Выплывает из-за колокольни теплая луна — без стыда в своей наготе; и в тишине ее хода поют одинокие, седые часы; и где-то за прудом громыхает чугунная доска, и где-то за прудом Трезор и Полкан мечутся на рыкале.

Сам черт заслушался! вон он, ленивый, раскинул синие крылья, темные во млеющих звездочках от края до края по тихому небу.

IX

На крутом обрывистом холме, окруженный крепкой белою стеной, стоял Андрониев монастырь.

Там не было камня, не затаившего в себе следов далеких времен.

Вон к подножию остроконечной башенки с резным оконцем, где некогда стонал застенок, — теперь келья схимника о. Глеба, — лезет, упирается каменная огромная лягушка, растаращив безобразные лапы — дьявол, проклятый св. Андроником.

Когда толпа окружает лягушку, сколько ртов плюют, норовя в самую морду.

Бедный человек!

Бедное лицо, оплеванное человеком!

А вон на золотом шпице петушок с отсеченным клювом, ржавый петушок, прокричавший хулу... А вон заклятый пужной колокол с вырванным сердцем — черным языком, а вон след... следы нестираемых пятен.

Тени и призраки казней.

Тени погибших желаний, задавленной воли... непреклонной воли, видений... бесов и ангелов.

Монастырь — первоклассный: мощи под спудом, архиерей, огромные вклады.

Братии немного. Поигрывают, попивают, заводят шашни, путаются.

Эконом ворует, казначей ужуливает. Речи и помыслы — «кружка», «халтура», «проценты», «лампадка». Много из-за этого ссоры, много и драки и побоев.

Ворота запираются в девять. Привратник — кривой монашек «Сосок». За каждый неурочный час берет по таксе.

Покойники смирные, лежат себе под крестами и памятниками, разлагаются, гниют и истлевают; правда, о. Никодим-«Гнида» рассказывал за иермосами, будто сам дед частенько выходит из склепа белый и с ножом бегает...

Ну, то Огорелышев!

И все хорошо, благолепно, как по уставу писано.

* * *

Когда уехал за границу Сеня, а с ним навсегда закрылся кегельбан, навсегда прекратились посещения Воронинского сада, — участились походы на монастырь.

Из всей братии полюбились двое: иеромонах о. Иосиф-«Блоха» и иеродиакон о. Гавриил-«Дубовые кирлы».

О. Иосиф — черный и пронырливый, продувной и нахальный — приманил лакомствами и сальностью.

На первый Спас к меду и огурцам поднес такой наливки — кагор, пиво, запеканка: все вместе, — Коля ползком выполз, да и остальные нетверды были.

Рассчитывал на огорелышевскую лампадку.

Навязался к Финогеновым и повадился. Приходил не один, приводил подручных, чаще о. Михаила-«Шагало» — мешковатого, тупого, волосатого иеродиакона. Приводил с одной целью потрунить и поскалить зубы.

Бывало, выпьют самовар, выпьют другой — пьют на спор, кто больше.

Седьмой пот пробивать начнет.

— Достаточно, — отмахивается о. Михаил, опрокинув и крепко облапив стакан, — достаточно: неспособен...

— Неспособен, говоришь, — подхватывает Оська, — а пололка!?

— Чего пололка!?

Оська фыркает:

— Неспособен... ай да неспособен! — и говорком: — Вся капуста на огороде вытоптана, с Аниской знать...

О. Гавриил — тучный и красный, писклявая фистула, добродушие необыкновенное и непроходимая глупость, — взял своею потешностью.

Келья его — жилой сарай: сломанная клетка, облепленная жирным пометом; продырявленные ширмы и засиженная мухами, в масляных пятнах, занавеска; истоптанные штиблеты и ры-

жие, промякшие от бессменной носки, сапоги; заржавленные перья; изгрызанные побуренные зубочистки; лоскутья, тряпки-рясы, худое белье; часы без стрелок; ножи без рукоятки; рукоятки без клинка.

Ничем не гнушался.

Всякое воскресенье, всякий праздник обедает у Финогеновых.

Ест удивительно помногу. Выпивает. После третьей лицо вспыхивает таким жаром, — сало проступает. Не доев своей тарелки, сливает остатки из других. Если ему мешают, обижается.

— Я тебя, — пищит, оттягивая слова, — я тебя, душечка, объел, я тебя, Сашечка, объел?

А дети хором в ответ:

— Ты меня не объел! Ты меня не объел!

— Я тебя, Колечка, объел? — не унимается о. Гавриил и, увешанный прилипшей к бороде капустой, хлебными крошками, соловея, растопыривает жирные пальцы над своей, над чужими тарелками: — У-у, пчелочка-заноза Колечка! пожрут они, тысячи... Мартын — Задека — Женечка... Я тебя объел, я тебя?..

— Ты меня не объел! Ты меня не объел!

Несмотря на то, что возраст детей не ахти какой, — старшему Саше минуло пятнадцать, о. Гавриил не на шутку беспокоился.

О. Гавриилу мерещилися женщины, тысячи, миллионы женщин, которые пожрут и иссосут... которые уж пожирают и сосут детей.

На ужин уносит с собой полный судок, куда сливается ботвинья и суп, где торчит обглоданная ножка курицы и мокнут разбухшие куски черного хлеба.

По понедельникам через неделю ходят в баню.

Берется номер. И творится там нечто невероятное...

Моются час, моются другой. За дверью начинают просить, угрожать: требуют очистить номер.

Не тут-то было!

О. Гавриил выскакивает нагишом и, извиняясь перед ожидающими, что является без галстука, просит повременить.

Проходит долгий томительный час.

Стучат.

— Деточки не готовы еще! — отвечает писклявый голосок.

Тогда хозяин, все незанятые банщики, дворник, извозчик со двора и кто-нибудь из публики, — всем собором вторгаются в номер, и номер с хохотом, бранью, насмешкой, смешками, наконец, очищается.

И так каждый, каждый раз.

После бани — игра в быки.

С визгом и криком враз бросаются на о. Гавриила, а тот, нагнув голову и раскорячив ноги, машет, размахивает руками, будто рогами. Пока не грохнется, тяжело дыша, его грузное тело, и не одна нога пнет и топнет в медленно подымающийся мягкий живот...

Как-то разыгрались, а все хотелось еще и побольше. Случилась в детской Прасковья. Не мигнув, бросились, сорвали с нее юбку, кофточку. К о. Гавриилу, — и с ним то же. Погасили свечку, заперли. Да вниз.

— Батюшка, — плачущим голосом, корчась в одном углу, просила Прасковья, — о. Гавриил, пройдись ты маленько, ноги у тебя затекут... не гляжу я.

— Матушка, — пищал в другом углу, отдуваясь и крепко сжимая ноги, о. Гавриил, — Прасковья Семеновна, пройдись ты сама... У! пчелочка-заноза, Задека, Сашечка...

Битый час высидели, поплакались.

Было и повторение. Только вместо няньки сидела нагишом горничная Маша.

* * *

И в самом монастыре без озорства не проходило дня.

О. Геннадию — «Курья шейка» подали на обедню поминальную записку с новопреставленными, имена которых по необычайности нелегко было прочесть. Иеродиакон путался, перевирал, запинался. А о здравии стоял: болярин Каин.

Преосвященный о. Григорий «Хрипун» очень пенял потом своим вставным серебряным горлом и строго наказывал: не читать впредь таких несообразностей.

В наказание лишили о. Геннадия на воскресенье служебной кружки.

И все эти ухарства и проделки сходили ни за что.

Дети часто по неделям живали в кельях, ставя вверх дном все то внешнее благолепие, каким держался монастырь.

И братия как-то шалела, откалывая коленце одно другого чище.

Хохот звонил звончее печальных колоколов, и заунывное пение терялось в смехе и звонких песнях.

На площадке у собора по вечерам играли в бабки, за «палочкой-выручалочкой» прятались в склепах, таскали кости и черепа покойников.

Был в монастыре малюсенький, безобидный иеромонашек о. Алипий-«Сопля». Заплывшее жиром лицо, подслеповатые гла-

за, грива волос на толкачике-голове, и бородища по пояс. Ничего его так не занимало, как бабы. При одном упоминании пьянел. А когда принимался рассказывать свои истории — захлебывался и хихикал странно горлом, акая. Руки у него мокли. А лицо горело-лоснилось в каких-то отвратительных пятнах. Пить не пил, но и не отказывался. Хмелел с первой.

На именинах о. Гавриила большое было угощение. Главное — перцовка, специально настоянная и предназначенная, как говорил именинник, для низких душ.

Мгновенья не прошло, залепетал о. Алипий и с ног.

Сонного иеромонаха положили за занавеску. И заработали ножницы. Пока не остался жалкий козий хвостик на месте бороды...

Наутро в церкви не смеялись, не хохотали, а стоном стон стоял. Петь не могли.

— Убирайся вон, — хрипел преосвященный на беспомощно потягивающего свою бороденку о. Алипия, — убирайся, пока не зарастет... — Беспокоите вы меня.

* * *

Вскоре пожелал познакомиться с детьми о. Глеб.

Дети избегали схимника.

Белый крест и белые письмена — «святый Боже» — глубоко спущенной на глаза схимы — мертвые кости поверх черной гробовой крышки, и багровые ямы — взор черной тьмы — провалившиеся глаза, и странно-белое лицо мученика, и резкие, острые морщины от заострившегося тонкого носа к углам заплаканного рта, и то, что вздрагивали скулы, и то, что сводились пальцы, и то, что руки вдруг ловили что-то около носа, ловили невидимое, каких-то мух, и сокрушающая сила — удары молотов — в безбрежно-тихом, скорбящем шепоте, когда произносил молитву — заклятие бесам, — ужасало и отпугивало.

И дети уперлись. Согласились только потом, но чтобы непременно с о. Гавриилом.

День пролетел невыразимо занято. Утром приехал к о. Гавриилу канонарх из Лавры Яшка-«Слон», известный непомерной огромностью всех своих членов.

— Низкая душа, — таинственно рекомендовал о. Гавриил гостя, — хобот — уму непостижимо, от обера, душечка, есть воспрещение ему сноситься...

«Слон», нахлеставшийся перцовкой, валялся в беспамятстве за занавеской.

Тотчас же все сосредоточилось на спящем.

Надо было во что бы то ни стало добраться до хобота.

С помощью о. Гавриила «Слона» обнажили, и началась «разборка планов».

Сонный визжал, григотал, захлебывался.

Протрезвили канонарха. «Слона» вогнали в краску.

— Низкая душа, — бормотал запыхавшийся о. Гавриил, — деточкам в удовольствие...

Ушел канонарх.

Садилось солнце.

Вдруг спохватились.

И страсть не хотелось идти, да неловко.

И вот вошли они в башенку после вечерни.

Гомон на угомон шел. На лестнице уж поджидала ночь.

Вошли они, скорчившись, дикими, голоса потеряли.

Молча подошли под благословение.

Старец благословил. Благословил и засуетился, будто оробел не меньше.

О. Гавриил скрылся самовар ставить.

Никто не сказал ни единого слова.

Тесная келья была полна странных, таких отчуждающих призраков, заглушающих слово — борьба, крик легионов. Тесная келья — пустыня: она не отзовется и не спросит.

— Батюшка! — просунулось красное лицо о. Гавриила в узкую дверь кельи, — о. Глеб! да он у вас, батюшка, с течью...

— Тащи свой! — замахал старец руками, – тащи, пузатый!

И сразу стало легко, будто так давно, так близко знали и видели друг друга. Что-то верное скользнуло, обняло и согрело.

Пошли дети ходить по келье, пошли копаться в книгах, трогать все, что ни попадет под руку. Залезли на окно, заспорили:

— Нет, вон он Сахарный завод...

— Фабрика!

— А там «антихрист» в банке, а там вон...

Старец сидел в кресле, о чем-то думал. Был он теперь обыкновенным, своим, тем, о чем так вспоминают после, когда уж вернуть невозможно.

И когда о. Гавриил и его пузатый самовар, пыхтя и отдуваясь, наполнили келью, и когда бронза будто расплавилась под проникшим густым, прощальным лучом, и дети закрыли грудью весь стол, — погас взор черной тьмы на лице старца, и засветились тихие глаза, перегорюнившиеся...

— И ему на покой надо, и ему ночь ночевать положено, ему, бесприютному, отдающему кровь и сердце свое. Так-то, деточки, лучи вы мои красные! — промолвил старец.

Дети, сопя и кроша, отхлебывали свои стаканы.

Обжигались.

Обжигались потому, что беспечность куда-то вдруг исчезла, раскрылось что-то, какой-то грех, раскрылось что-то, чего нельзя делать.

— Обидели мы его, — пронеслось у каждого. И стало неловко каждому, и стало сердце полно горечью, и сожаление врезалось в непоправимое, и стало сердце полно плачами.

— Отец-то Алипий где теперь?

Затаились.

— В Андреевский, батюшка, в Андреевский определился. А намедни, батюшка, Алипка у Мишки-«Шагалы» был, говорит, богатейший монастырь, процентов, говорит, куда!

— Да, — задумался старец, – горько мне порой, так горько...

Женя тихо заплакал.

— Мамаша-то ваша, здорова?

— Ничего, — не сразу ответил Саша, ответил затихшим голосом, — иногда... ничего... хворает.

Уткнулись в стаканы.

— А в гимназии-то у вас... вы в каком классе?

— Я в пятом!

— Я в четвертом!

— Я в третьем!

— И я... не в гимназии, а в коммерческом!

Так, перебивая друг друга, начали рассказывать, как там в училище.

— У нас был учитель математики Сергей Александрович — «Козел», — сказал о. Глеб.

— А у нас «Сыч»!

— А у нас «Аптекарь»!

— А у нас «Стекольщик»!

— А у нас «Клюква»!

От учителей перешли к отметкам, к плутням и, увлекшись, дошли до споров, до драки.

И было так, будто не в келье, а в училище в излюбленном месте за переменой сидели, только куда здесь вольнее: не остановит звонок, не поймает надзиратель.

Дохнул уж синий вечер влажным дыханием в открытое окно башенки, и напряженно слушавший о. Гавриил не выдержал, храпеть стал.

А все видели, все говорили, рассказывали, быть может, в первый раз так прямо от полного сердца.

И ночь, забившаяся днем в башне, спустилась с лестницы,

пошла по кладбищу, по крестам, по плитам, за ограду, в город, в поле...

— Ну, спите-ка хорошенько, — прощался старец, — сердечки-то у вас хорошие... не согретые...

О. Гавриил со сна заторопился: требник еще читать.

— У меня, у меня, батюшка, деточки у меня заночуют.

И когда, расстелившись в келье у о. Гавриила, проболтали, прохохотали долгий час, подошел к изголовью, пришел тихий сон, не страшный, пришло тепло, Пасха, и нежною рукой до несогретых дотронулась и стала греть, отогревать стала...

X

Тяжелая, полная случайностей жизнь выпала на долю о. Глеба.

Когда умер его отец — разорившийся, когда-то богатый помещик и под старость смотритель Воронинской богадельни, — остался он с матерью.

Комната в бесплатных квартирах при богадельне. Дни напролет согнувшаяся над столом мать. На столе вороха пряжи, неподрубленных платков.

И тут же гимназист с растаращенными руками, растягивающими пряжу. Ему пятнадцать лет.

Мать слабым, слезливым голосом вспоминает о прошлом, вспоминает о достатках, вспоминает о почете, — и все потопает в дрязгах нищенской, настоящей жизни.

Потом «уроки», унижения.

Нахлынуло, закипело: — Нельзя так жить, нельзя жить! — выбивало сердце рвущим стуком.

И свет, этот детский свет, медленно меркнул и гас.

После первого выпускного экзамена исключили.

Волчий билет не помещал для горшей, быть может, обиды, праздновать окончание.

Первая пьяная ночь. Наутро изгнание из бесплатных...

Помутневшие глаза, хворость и обида подтачивали и доконали мать.

Жизнь пошла тупо.

За стенок крики и кашли, кашли и стоны, стоны и слезы, слезы и ругань.

Будто шел все куда-то по тесному, промокшему банному коридору: редкие, выгорающие лампочки, спертый пар, поплески-

ванье глухо сбегающей воды с некрасивых, измученных, выцветших тел. А там...

Да есть ли она, есть ли дверь наружу?

Он был тем, кого одни любят, другие ненавидят. Равнодушия нет. Резкие переходы путают и мутят: не знал, как ступить. А там...

Да есть ли она, есть ли дверь наружу?

Как-то приехал родственник по делам отца.

Отыскали его, приютили. И открылся ему новый мир. Пришла любовь, повернул ветер на свадьбу, на счастье.

И все бы пошло по-хорошему, да случился грех.

Еще не старая мать, принявшая близко к сердцу судьбу своего погибающего родственника, так к нему привязалась — сказать себе не смела: подлинно ли тут одно сострадание.

И произошло то, что накануне новой жизни дочери мать готовилась стать от него матерью...

А у него — внешне веселые дни, дни надрывающихся секунд долгих, тянущихся червем.

Этот беззаботный хохот, словно вся жизнь — копейка, а может быть храм, этот призыв на какой-то безумный пир, этот намек на какие-то такие ласки, что ужас — мор, пожар, потоп, смерч разодрали бы на себе траур, раскололи бы царский литой венец и придушили бы гром, это живое и трепетное глубин жизни — первородное сердце — полосовалось мелкими искривленными ножичками.

И полыхавшая в нем любовь, и любовь тихих, уверенных вздохов отдающейся девушки, и любовь темных, глухих желаний последних дней матери.

Тайна бунтовалась, тайна не хотела больше жить взаперти, — легла она тяжелым камнем, зачернила черной каплей грозовых предвещаний глубь края неба, зарю счастья.

И снег, этот снег, вздыхал, угасая...

Позднею ночью он с отцом невесты возвратился домой.

В доме справлялся девичник.

И, ступив на порог, они в ужасе замерли.

В освещенном зале на столе лежало-копошилось отвратительно безглазое что-то, вязкое что-то, каша запекшейся крови, кусочки мяса.

И это мясо — тело такой красавицы, задыхавшейся от ожиданья невесты!

Одна из подруг открыла ей тайну ее матери, рассказала о женихе, о их связи. И она не вынесла, вышла на улицу, легла под поезд.

И рядом с дочерью мать умирала.

Стало ему жутко легко: казалось, железный багор, вонзившийся в шею, превратился в мягкую, горящую ленту, и лента опутала замерзшую грудь, и, страшно натянувшись, вдруг дернула и понеслась.

И он, каменея, куда-то несся, кружился.

С каждым кругом круг расширялся, и левое бежало к правому, и правое погружалось в левое, ни конца, ни начала.

Лазурно-небесные дали, тихо-текучие воды, благовонные воды покоя и мира.

Моя матерь, Владычица!

Ты одна во всем мире — песчинке, безумно летящей вкруг солнца, в шаре гигантском, прорезанном темной непонятной тоскою, Ты одна — Тебе несу мое сердце, от муки затихшее, от жажды завядшее...

Много кануло дней и ночей холодных, беззвездных.

Много черных слов прошло сквозь мое сердце.

Каждое слово, вонзаясь, разрывало его теплое тело, каждое слово свивало паутинно-душные нити, тесно давившие нежную грудь цветущих желаний.

Все они шли, сеяли раны и боль, шли, разрушали преграды, отделявшие теми от светов, пеплом крыли память о дальнем, минувшем, когда ребенком грезил о мирах золотых и о сказочном рае, грезил и ждал...

Вернуть, вернуть бы эти мгновенья, понестись бы на крыльях без тоски, без оглядки по полям, по лесам...

Сны подползали, приводили с собой мертвецов, приводили врагов, горевали, сулили: то окружат серой, безмолвной толпою, то чуть внятно бормочут.

Заняли двери: не уйти, не вернуться.

За обидой ложились обиды, нарастали, затопляли всю душу, — ни одно солнышко не взошло, не осияло.

А горечь перегорала, оседала на ранах, руки тянулись, руки искали...

— О, отпусти Ты меня, отпусти на волю! — кричало сердце.

И люди мелькали, глухие, несчастные люди.

Слепые — не видят друг друга.

И тоска пеленала, пела мне темные песни.

Вернуть, вернуть бы эти мгновенья, понестись бы на крыльях без тоски, без оглядки по полям, по лесам...

Матерь моя!

К Тебе — простертые руки...

Тебе — мое сердце.

Там, где зори жемчуг рос рассыпают и вкрапляют красные камни в лучи, там светится сердце.

Твое сердце.

Твое сердце — шепот лобзаний.

Подыми, подыми!

Сокрой покровом нетленным, белым, как снег родимой зимы, утиши мои вопли рокотом ласковым взоров пречистых, обвей изболевшую, изглоданную мою душу.

Матерь моя.

* * *

На Покрова, в слякотно-слезящийся вечер, пришедшие на дикие крики увидели его бьющимся, извивающимся от саднящей, жгучей боли.

И на грязном, щебнистом дворе отравленный он бился в изодранном белье, бился, загрызая известку.

Отходили.

И смерть — желанная — принесла жизнь, а жизнь — испытание.

Он бросился, бросился с головой, чтобы не слышать неизмененный, все один и тот же голос, который ясно звучал, как только оставался сам с собой. А голос этот был страшным молчанием, которым плотно облеклась вся душа, дрожащая из пасти тяжких ран.

Надо было оставить себя, надо было уйти в другую жизнь, надо было отдать всего себя, отдать другому, для другого... надо было замереть на краю пропасти...

И пришли новые беды, не замедлили.

Несколько лет не слышно о нем, потом находят его в отдаленной северной пустыне.

Говорят о дурной болезни, которой он захворал и лишился глаз...

Говорят о тяжком преступлении, в котором его обвинили, и ослепили...

Из пустыни он перешел в Андрониев. Тут-то и прошла молва, будто бесы повинуются ему.

XI

Детям очень хотелось, чтобы о. Глеб пришел когда-нибудь пруд посмотреть.

Уж назначен был день. Да все несуразно пошло.

Утром вызывали мать в дом к братьям. Делалось это нередко, и вызывалась она для того же самого, для чего ловились дети по субботам и после ранней обедни.

С каждым годом Варенька опускалась все ниже и ниже.

Спальня ее обратилась в грязный номер грязной гостиницы с больным бездомным гостем: все было не на своем месте, все было заставлено и раскидано, — закупоренные окна, пыль, сор, духота. За порог спальни ничья нога не переступала.

Вино покупалось открыто, покупалось в больших размерах: пили монахи.

Возвратясь от братьев, Варенька заперлась...

А когда, спустя глухой час, она вышла в зал полураздетая, красная, наткнулась прямо на Алексея Алексеевича — так все звали гимназиста, одноклассника Саши.

— Вам что? — спросила она, не узнав мальчика.

— Я к Саше, — отвечал тот, странно смутившись.

— Шляются тут... всякие... украдут еще... — она круто повернулась, заложила руки назад, и пошла...

Ошарашенный гимназист поплелся домой.

С Финогеновыми Алексей Алексеевич был знаком очень давно. Когда-то еще в приготовительном классе вместе с Сашей дергали они в звонки или, намелив ладошку и два пальца и сделав плевками глаза и нос, припечатывали чертей на спины прохожим. Списывали друг у друга задачи, extemporale, переводы.

И по житью, и по обличью он мало чем отличался от Финогеновых: вечно продранные локти, и заплаты – глаза вдоль сиденья, и беспризорность, и то, что где-то рядом живут такие люди, которые все могут, а ты... и это «могут» нет-нет, да на тебе и покажут...

Раньше приходил он только по делу: за уроками. А с некоторых пор стал заходить так; жил недалеко от монастыря, по соседству.

Палагея Семеновна после некролога даже в именины не показалась. Рояль некоторое время не открывался.

Оказалось, Алексей Алексеевич играет.

Вот и музыка пошла.

Знал он для своих лет много, знал то, чего не знали Финогеновы: читал книги.

Книги появились и у Саши.

* * *

Когда дети пришли из монастыря и узнали от Прасковьи, как Варвара Павловна выгнала Алексея Алексеевича, и как тот ушел, — огорчениям и досаде конца не было.

За обедом излили злобу: они, один за другим, подталкивали проходившую по столовой мать, подталкивали с каждым толчком сильнее и грубей, подталкивали с каждым прикосновением больнее и жестче.

И та, едва держась на ногах, шарахалась из стороны в сторону, вперед и назад, вправо и влево.

И полон рот ее дрожал в слезах, и посиневшие губы дергались; и рвалась, скрежетала ругань и проклятия.

— Проклятые! Проклятые!

В прихожей она оступилась и, не удержав равновесия, ткнулась животом оземь.

Вдруг встала, будто опомнилась, и пошла, пошла с закрытыми глазами, молча, в спальню.

Щелкнул замок...

— Проклятые! Проклятые!

И дом притаился.

Уж прошло шесть и пробило семь, а о. Глеба все не было... И стало так жутко, и страшно сердцу, страшнее всякой боли, страшней самой горькой обиды.

— Батюшка, благословите! — послышалось, наконец, обычное монастырское приветствие о. Гавриила.

И старец переступил порог.

Весь дом на ноги поднялся.

Мать вышла нетвердо; прерываясь, с надтреснутым хохотом, выскакивали у нее слова.

Дети от стыда чуть не плакали: очень было заметно, а так не хотелось этого, так не хотелось...

Сели чай пить на террасе.

Был теплый, слегка затуманивающийся вечер конца весны. На пруду лягушки, будто рыдая, квакали.

Один о. Гавриил казался невозмутимым и благодушным; старался занимать о. Глеба.

И разговор о. Гавриилом начался. Сначала рассказал он о том, как о. Платон-«Навозник» и о. Авель-«Козье вымя» во время обедни вцепились друг другу в лохмы за кружку, потом перешел к жизни «низких душ».

— В келье Пирского, батюшка, родила на утрене, извините за выражение, его Манька, батюшка, двоешку.

Старец, не проронивший ни одного слова, казалось, впивавший все невзгоды комнат, вдруг повеселел.

— Вот и хорошо, — сказал он, — вот и у нас ребеночек родился: это Христос посетил наш мрачный храм, наш мертвый дом...

— Батюшка, — заволновался о. Гавриил, — а ну как до «Хрипуна»... до преосвященного дойдет?

— Да, — осунулся старец, — дойдет. Расскажут. Послушника выгонят...

И старец замолк.

И в ту же минуту каждый прочел в своем сердце горький упрек, каждый обвинил себя в своей и чужой вине и в вине целого мира перед самим собой.

И острием острейшим входил этот упрек, входило то обвинение, и уходили вместе глубоко, глубже в сердце.

Стало пусто, невыносимо, жить не хотелось, и все голоса, дотоле громкие и внятные, замолкли...

— Ну, а пруд-то посмотреть? — очнулся старец.

И тотчас все, с матерью и о. Гавриилом, дружно повскакали, схватили под руку о. Глеба и, чуть не бегом, прямо в сад.

И там пространно затараторили — рассказывать стали о яблоках и «кизельнике», и как они их воруют, сшибают, рвут, трясут.

Затащили в купальню и, совсем забыв, что старец ничего не видит, проделывали разные фокусы и диковинки.

— О. Глеб, а о. Глеб, а я-то как, посмотрите, о. Глеб, я на одной ручке!

— А я на спинке!

— Сидя!

— Лягушкой!

— По-бабьи!

— Рыбой!

— С головкой вниз!

— Ногами вверх!

И долго бы еще ныряли и проказили, — Прасковья помешала: ужинать готово.

Мать совсем уж оправилась.

И когда сели за стол, было страшно шумно и весело.

Старец хохотал раскатисто и беззаботно, как хохотали Саша, Петя, Женя и Коля.

После третьей о. Гавриил пустил себе в жирный суп огромный кусок икры, стараясь щегольнуть перед о. Глебом своею светскостью, но, забывшись, стал есть руками.

— Ты, Гаврила, кильку съел? — поддразнивали дети.

— Съел, душечка, съел.

— А еще съешь?

— Съел, душечка, съел.

Так до бесконечности.

Далеко за полночь увез старец нагруженного о. Гавриила, на которого кроме прочих бед напала еще безудержная икота.

И он икал, будто квакал.

И от хохота никому спать не хотелось.

А рассвет, засинив белые занавески детской, не спросил: что ты сделал? зачем сделал? – не заглянул тем страшным, искаженным лицом, от которого бежать бы, бежать на край света...

XII

На Иванов день минуло Коле тринадцать.

До той поры не прочитавший ни одной строчки и презиравший книгу, Коля случайно наткнулся на Достоевского.

И Достоевский был первым, который тронул его.

Строчки горели, закипали слезы.

Эпизод из «Мертвого дома» навел на мысль об устройстве театра.

Когда-то давно, всего один раз возили детей на «Конька-Горбунка», и с тех пор разыгрывались оттуда разные сцены: изображалось с помощью тряпок, служивших ризами для игры в «большие священники», желтое поле, и кто-нибудь ржал и прыгал коньком, и жестикулируя, как в балете, являлся Иванушка, вымазанный сажей, будто в процессиях «избиения младенцев».

Теперь решено было устроить настоящий театр и играть все.

С матери взяли подписку: она мешать им не будет, а они не будут просить денег.

Пошли собрания.

Происходили собрания наверху ночью и страшно тайно: боялись недоразумений со стороны матери. Обыкновенно снимали внизу сапоги и на цыпочках пробирались по лестнице. А там уж кипел самовар, и, открещивая окна и углы, укладывалась на ночлег Прасковья.

За чаем под тук и стрекотню разгарной летней ночи уносились Бог весть куда: чего-чего только не выдумывали, каких таких театров не воздвигали. Говорили наперерыв, задыхались от клокочущегося нетерпения.

Больше всех горячился Петя.

Решили играть до 16 августа, непременно до этого ненавистного дня, за спиной которого торчит гимназия со своим отвратительным казенным лицом в двойках, с вечно шмыгающими, скучными и злыми классными наставниками.

По постройке театра большое участие принял о. Гавриил, натащивший всякого хламу из своего свинушника-кельи.

Доски скрадены были ночью из плотницкой. Красть помогали фабричные, не меньше детей ждавшие представления.

Работали с опаской, стараясь лишний раз не стукнуть, не поднять голоса.

И вот после долгих трудов сцена готова.

На площадке перед террасой, под качелями, будто на корточках примостилось какое-то первобытное строение — шалаш, какой-то дешевый сахарный домик, а на перекладине качельных столбов взвилась огромная афиша, изображающая зеленого черта с хохочущими глазками.

Всю ночь накануне держали караул: управляющий Андрей-«воробей» грозил «убрать шалашную постройку», а дядя Игнатий, проходя по саду, остановился и подозрительно наводил бинокль.

Хорошая была ночь, теплая, без облачка; продежурили ночь безропотно и, как на грех, к утру застлалось небо, и накрапывающий сонный дождик серыми каплями-лапками пополз по крыше и, проползая под доски, ползал там по липким, мажущимся стенкам трясущихся кулис.

Чуть не плакали от огорчения, молились Богу, чтобы прояснилось.

Передрались друг с другом от отчаяния.

Иссякнул дождик к вечеру. Побежали тучки, крохотные, ясные, принесли с собою вечернюю синь с талыми звездочками.

Заиграла музыка, — Алексей Алексеевич из кожи лез.

Хлынула народу тьма-тьмущая: фабричные, плотники, пололки с огорода, их знакомые и знакомых знакомые и знакомых приятели.

Явился городовой Максимчук «в наряд».

Наряженный в голубую ленту и небывало высокую звезду из черного сафьяна, начальственно расхаживал он по рядам, пошелушивая подсолнухи и непечатно «балакая» с публикой.

О. Гавриил важно расселся в первом ряду, нацепив на нос для торжества такого пенсне без стекол.

Он что-то без умолку болтал совсем непонятное, будто по-

французски и наблюдал за матерью, которая полдня, запершись, просидела в спальне.

* * *

Занавес медленно отдергивается.

Боже мой, сколько раз замирает и отлегает на сердце, сколько волнения, как на экзаменах...

И какая безумная радость от этих встрепенувшихся хохотов, от всех лиц, искаженных гримасами, и этих прыскающих присмешек, и гудящих, визжащих восклицаний и криков одобрения.

У *старухи*-Коли выпотрошился живот.

Спившийся *певчий*-Петя икал, как по-настоящему, должно быть, и от пива настоящего.

— Ха-ха-ха... хо-хо-хо... го-го-го... хе-хе-хе... хи-хи-хи...

Снова заиграла музыка.

Вышел Петя — запел своим чистым тревожным голосом, и звуки подкатились к деревьям, окунулись в созревшей листве и поплыли по пруду...

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

И опять стало жутко, задрожали коленки.

Новая сцена.

Следователь-Саша: Подать сюда Ивана Ананьева!

Купец-Женя: Ваше благородие, ежели я вымазал горчицей лицо мальчишки, так я, провалиться мне, ей-Богу...

Будочник-Петя: Иван Ананьев, к барину! Слышь, ты!

Из дверей выскакивает, как только можно было изодранный, в опорках на босу ногу, с подбитым глазом *Сапожник*-Коля.

Нахально озирается, потом, преглупо улыбаясь, переминается, хочет сказать что-то, разевает рот...

— Это еще что за новости, — раздается вдруг крикливый голос, — вон! — и среди дрогнувших голов мелькнула и повисла скрюченная рука дяди Алексея, — вон!

И, как один человек, пошла толпа, повалила толпа, как дым, бездушно и вязко; а скрюченная рука Огорелышева, не дрогнув, нависла, давила, и крик этот жил, хлестал по голой шее, по лицу, и что-то едкой пылью-жгутиком больно подгоняло вон, вон, вон...

О. Гавриил бросился на террасу, туркнулся в дверь — заперто, к окну — слава Богу! полез через окно и застрял...

— Подожжете еще... никаких театров в нашем доме... Примите это к сведению! — Алексей выкрикнул все это скороговоркой и, вздрагивая плечами, повернулся...

— У Достоевского вон на каторге... театр устраивали... — Коля не мог докончить: крепкая пощечина хлестнула задорно-звонко по вымазанному лицу; смятый рыжий картуз глухо шлепнулся на подмостки.

— Мерзавец! — плюнул дядя.

— И не посмеешь и... и... — тогда закричал Коля на страшно высокой ноте, закричал... захлебнулся.

Сухие слезы брызнули из его раскрытых глаз и, смешавшись с густым плевком, стали расползаться, разъедая краску.

— Свинья! — и, круто повернувшись, зашмыгал-полетел Алексей, и лицо его, улыбаясь шипящим, сухим ртом, болело от злобы.

Умереть?

Нет — нет — нет, сердце разорвать, сердце разорвать...

И рыдало оплеванное заостренное сердце...

О. Гавриила, кричавшего на манер свиньи, высвободили из окна с помощью Кузьмы, городового, Степаниды, няньки и Маши. Рясу позабыл, куда там! — так пятки и засверкали.

* * *

Сидели наверху вкруг самовара, как всегда.

Приготовленные к подношению дубовые венки обиженно глядели со стен детской.

Алексей Алексеевич взволнованно взад и вперед ходил по комнате.

Храпела нянька.

— Уж зимой непременно устроим. Здесь устроим или в зале...

— А на будущий год можно и занавесь такую повесить, настоящую.

— Все играть будем...

Алексей Алексеевич взволнованно взад и вперед ходил по комнате.

Зеленый черт, теперь ночной черный, зажег зелеными огнями хохочущие глазки и, извивая длинный хвост, принялся в неописуемом восторге раскачиваться на влажной перекладине.

А на него шла Осень-красавица, — последние дни — упоенье несказанное — Осень, рассыпающая тьмы путей – говорливых

звезд, Осень, поднимающая золотые хоругви, заставляя зеленый пруд.

— Пожар какой, пожар пущу! — горело, раздувалось детское сердце в пожаре лютом.

XIII

Ранним утром, чуть еще брезжут осенние будни и редко ударяют к «средней обедне», Женя и Коля отправляются в училище.

Слякотное небо, слякотные улицы, поскрипывая, раздирают мутные от лихорадок и тифа глаза; к папертям подносят покойников бедных с колыхающимся желтым казенным покровом вдоль дощатых дешевых гробов и пахнет перегорелым ладаном и гниющей, заразной сыростью, и стаи ворон, каркая, кружатся и перелетают, перелетают и кружатся...

Таким отдаленным казалось тогда то будущее, что непременно придет своевольное и огромное, то будущее, которого хотелось, о котором всякий час и день смутно, но с таким жаром мечтали дети.

Уроки тянутся надоедливо, — все придирается и изводит: батюшка обличает Финогеновых, позорящих дом, благочестие коего засвидетельствовано многими христианскими добродетелями, русский учитель вылавливает в сочинениях вольнодумства и горько стыдит за безграмотность.

Перед партой постоянно хранится книга и с каждой переменой убывают правые страницы, как с каждой четвертью убавляются баллы по поведению.

Нередко наезжает в училище дядя Алексей, и приезд его — самая тягчайшая минута и без того обузной классной жизни. Приходится забираться в самые тайные места и там высиживаться. А то позовет, придерется и для «острастки» выговорит.

Наступало воскресенье.

До ранней шла спешка: подчищались, вымарывались да подправлялись колы и двойки.

Всякий раз Игнатий просматривает балльники и всегда остается недовольным. Глядя куда-то в сторону, он сухо говорит о лени и шалопайстве, о том, что вот Сеня меньше пятерки никогда не получал, что надо учиться хорошо, потому что средств к жизни никаких нет, что живут они на чужой счет, что со временем, если только их не исключат, все равно придется взять из училища и отдать в сапожники...

Дома после долго и кропотливо восстановляются отметки:

выводятся колы и двойки с росчерками и замысловатыми завитушками грека, русского, историка, физика.

И комнаты тряслись от хохота.

* * *

В доме произошли большие перемены.

На Воздвиженье умерла бабушка, умерла одна, забытая, в палате для слабых. Извещение о смерти пришло много спустя после похорон.

А еще летом, предчувствуя конец свой, она спрашивала детей: придут ли дети на отпевание, принесут ли цветочков?

«И ты, Колюшка, — выделяла бабушка, — придешь, вспомнишь ли, как старуху обижал да обманывал? А мне и хорошо будет, светло из гроба смотреть... сердцу весело».

Издох Наумка.

Вырыли дети ямку, положили кота в ящик, убрали усатую мордочку последними цветами — осенними астрами и зарыли под вербой около террасы.

На качельном столбе выцарапал Коля эпитафию: «Наумка — мой ровесник, скончался 25-го сентября».

О. Иосиф-«Блоха» добился-таки лампадки и единственный раз в году, когда для приличия Алексей причащался, удостоивался поднести ему просфору.

О. Гавриил-«Дубовые кирлы» в сане иеромонаха вместе с преосвященным «Хрипуном» перешел в лавру и больше не бывал у Феногеновых.

Сапожника Филиппка, Степанидина сына, засадили в острог.

Умер и ночной сторож Аверьяныч. Нашли Аверьяныча в сторожке с тряпкой в беззубом рте и окоченевшего.

На его место поставили кузнеца Ивана Данилова, окривевшего от искры на правый глаз.

Наконец, разочли горничную Машу: «путаться стала».

Уходя, Маша на весь дом плакала: уходить не хотелось. И всем было горько: так бы, кажется, уцепился за ее белую юбку в маленьких голубеньких цветочках и никогда и никуда не отпустил бы от себя.

«Погибла, девка, погибла — таковская! — ворчала Прасковья, а трясущаяся рука совала в горячую руку «пропащей» отложенный большой рубль, — заходи когда, чего там: все мы... таковские».

Машу заменил Митя, сын Прасковьи, окрещенный в первый же день Прометеем. Прометея поместили в детской, а Прасковью перевели в столовую за занавеску.

* * *

Вечерами Петя по-прежнему диктовал Жене и Коле. Тут же с пером в руке усаживался Прометей. наловчившийся в какой-нибудь месяц до золотой медали, как сам хвастал.

В известные сроки Прометей запивает.

Пьяный, он долго и однообразно играет на гармоньи. А когда начинает темнеть, странное беспокойство охватывает его; он поминутно вскакивает: — и все порывается куда-то домой, тянется весь, пока не выронит гармоньи и не выскочит на улицу. И только к утру возвращается. Нагишом. Всякий раз ему отказывают и снова принимают, голодного и темного.

Носит Прометей тужурку с серебряными пуговицами, переделанную из изодранной гимназической шинели, а на ногах шмыгают резиновые калоши.

В праздники же надевает коричневую визитку и штиблеты без стука.

— Как у настоящего солитера! — вертится Прометей, охорашиваясь перед зеркалом, — пройтись теперь, да девчонку грудастую подцепить, эх ты!

И, смакуя предстоящее наслаждение, пускается описывать приключения своей трактирной жизни. Восторгается, вспоминая гостей, которые хорошо на чай давали. «Не то, что шпульник какой: натрескается, набегаешь все ноги из-за него, а он тебе еще в морду!»

Потом ударяется в воспоминания из своего жития в Зоологическом Саду, где занимал он какую-то нечистую тяжелую должность при слоне... во время случки.

Голоса у него отродясь никакого не было, но согласиться с этим — лучше умереть, один конец, и, вытягивая длинно губы и приседая, Прометей пел:

— Ну-ка, послушайте, — бывало, останавливает он каждого, — как, а?.. Не хуже твово Шаховцова вывел, ловко?

— Прометей, а Прометей! — приступает, лукаво ощериваясь, Коля, — хвати, Прометей, многолетие с перекатами!

И Прометей принимался орать, — орал во всю мочь, орал до хрипоты, до удушья, пока не засаднит горло.

Когда приходит Алексей Алексеевич, начинаются разговоры.

Прометей, изгибаясь, таинственно выспрашивает: не грянет ли сызнова русско-турецкая война, и не объявился ли где Наполеон Бонапарт?

Над его кроватью висели раскрашенные портреты во весь рост Скобелева и Наполеона.

— Какая еще тут война?! — огорашивает Алексей Алексеевич, — голод, люди мрут... Людей насилуют, людей давят. Безобразие...

— И жить не стоит, коли так, — примолкает Прометей.

И вся его истощенная фигурка, жаждущая отличиться, горбится больно, и он идет к столу, отыскивает клочок бумажки и с каким-то отчаянием своим красивым почерком выводит подпись с завитушками: «генерал-лейтенант, генерал от инфантерии, наказный атаман Войска Донского, генералиссимус Дмитрий — Прометей Мирский...»

* * *

В душе Саши произошел резкий перелом: из болтуна превратился он в замкнутого и скрытного. Всех избегать стал, уединяться: сядет и сидит — читает, а потом молиться примется.

С какого-то вечера начались в доме беседы.

Тихим, изболевшимся голосом необыкновенно увлекательно рассказывал Саша о подвижнической жизни, проповеди, о мучениках, о ските, о монастыре, и виделся старый монастырь где-то в дремучем лесу, на дне «светлого озера», и из пекла страдания выплывали омытые огнем осиянные лики.

— А как насчет военных действий? — не раз перебивал Прометей, прислушиваясь к рассказам.

Алексей Алексеевич, ехидно улыбаясь, подносил самые отборные факты из очертевших буден и, горячась, огульно выбранивал всех и вся...

— «Благочестивейшего Самодержавнейшего...» в монастырь идти хотите? душу спасти хотите? а под носом вешать будут... Благословите их! Хо, хо! лучше запритесь в нужник...

Скоро верх обратился в моленную. Саша сшил себе что-то вроде подрясника из халата, перешедшего вместе с старым бельем от дядей. Начались службы.

За акафистами, вечерней и повечериями выстаивали до глубокой ночи, выбивая поклоны и мучая себя всевозможными лишениями.

И так все шло, разрастаясь и углубляясь, с Рождества вплоть до пятой недели Великого поста, пока на стоянии Марии Египетской после канона за сенаксарем Коля не выкинул одну штуку: позванивая маленьким колокольчиком и строясь приходским старостой, прошелся он с тарелкой, а сзади семенил Женя с блюдечком, будто с кружкой.

И это было тем плевком, что навсегда пятнит незапятнанное, было скользнувшей улыбкой, что поражает смертельнее заостреннейшего ножа, было тем молчанием, которым решается жизнь и смерть.

Что-то хрупнуло и потонуло в сверкающем хохоте.

Незаметно перешли к игре, развлечению: распевали на разные гла́сы иермосы, представляли знакомых дьяконов и священников.

А тут весна, рамы — вон. Подкралась весна, зашептала сладко, засулила ярую жизнь. Пойдешь за ней — выпьешь ярь до дна из теплых рук. Ишь, какая туча синяя да большущая за монастырем полегла, раздавит она белую колокольню, белые башенки!

— Поповство, — ворчал не хуже няньки Алексей Алексеевич, — не люблю я этого фарисейства. Давно бы бросить пора...

По случаю поздней Пасхи экзамены начались у всех рано.

Прометей ушел весь с головой в жизнь гимназистов и не меньше их тревожился.

Ура, латинский порешили!
Геометрия дрянная
Лезет в голову весь день

— распевал он собственный стих на манеру: «Ура, Пешков, тебе награда за дальний путь твой предстоит».

Потянуло Пасхой.

С Чистого понедельника началось лепление огромнейшей свечи из маленьких свечек и огарков; свеча предназначалась для крестного хода, чтобы почудней было.

На утрене в Великую субботу Петя в первый раз особенным распевом читал: «Иезекиилево чтение», а за обедней пел по-театральному: «Воскресни Боже, суди земли».

Тут было весело — хорошо, так разыгрались, столько вспыхнуло живым огнем затей-проказ в этот год, в такие дни... в дни последние...

XIV

В девять ударили к Страстям.

И стало так грустно, словно уходил кто-то, дорогой бесконечно.

Ох, этот звон погребальный — над всем домом пропел ты свою страшную песню, пропел над Пасхой, над Христом... невоскресшим...

С обеда все отдыхали. И сквозь незадернутые занавески засматривало солнце и, насмотревшись, закатилось. Прошлись мимо, повернулись тучки и уплыли. Нашли сумерки, вечер пришел и глянул, чуть говорливый, бледный, в дом.

Прикурнувшему Коле показалось, вошел в комнату старик-нищий, сгорбился весь страшно и стал перед кроватью. Очень старик на покойника Аверьяныча похож, и штаны такие же старые, мышиные...

Что это он глядит так?

Что собирается сделать?

— Чего тебе нужно?

— Кто ты?!

Тут захолонуло от ужаса на сердце, руки одеревенели, и мысли помутнелись.

Коля шел по деревне, — должно быть, это и есть деревня: белая церковка и две неровные, покатые стены почернелых изб.

Огромная толпа мужиков и баб, толкаясь, обгоняла его.

Но было тихо.

Необыкновенно красное солнце медленно заходило за колокольню, и ярко-зеленые тучи невиданных форм мчались по небу.

Расталкивая толпу, оступаясь и прихрамывая, пронеслась мимо баба в растрепанном красном платке. Над ее головой горел острый кухонный нож.

И толпа, обезумев, бросилась за ней.

Коля шарахнулся в сторону.

Кинулся к избе.

Стукнул в избу.

Открыл дверь и будто очнулся.

— Завтра Пасха, — метались ужаснувшиеся мысли, — почему я сюда? зачем?..

И почудилось ему, вошел старик-нищий, бормоча и нащупывая стены.

И не Аверьяныч, совсем это не он; вон на волосатой руке, как у отца, перстень заиграл, вон усы защетинились, вон...

— Пожар! пожар! пожар!!!

Коля вскочил из угла да к окну.

Высунул голову...

Черные тучи, черный подожженный океан дымился со всех концов.

Небо падало.

— Пожар! пожар! пожар!!!

И вдруг над самой головой вспыхнул острый кухонный нож.

И тотчас снопы искр пробили кромешную тьму, красный крик разодрал горло и впился горящими ртами в живое тело, его тело, подмятое, извивающееся в костлявых руках старика-нищего, старика-отца...

В Андрониеве звонили к Страстям.

И было так горько, словно уходил кто-то, дорогой бесконечно.

Ох, этот звон погребальный — над всем домом пропел ты свою страшную песню, пропел над Пасхой, над Христом... невоскресшим...

Коля заторопился одеваться: все уж на ногах были.

Тоска заливала сердце.

Скоро дом и опустел.

Забрали куличи, пасхи, забрали Прометея и Степаниду и пошли.

В кабинете Алексея буднично зеленый огонек мигал.

А пруд был черный-черный...

Недомогавшая нянька осталась дом караулить.

Она прошла в зал, зажгла лампадку, туркнулась к запертой матери, перекрестила двери и окна и углы холодные.

Ей все чудилось: ходит кто-то по чердаку, лезет, шарит по террасе, ногой топает.

Измаялась вся, пошла наверх и там прилегла до звона на кровать Мити.

* * *

Мать, проведшая чадно целую неделю, лежала теперь, не шелохнувшись, в смертельном ужасе вниз головой.

На ней лежал, так казалось ей, много больше ее роста деревянный темный крест, обшитый неровной, зазубренной жестью, и тяжесть креста, наседая, приплюскивала ее тело, и острый гвоздь креста ходил и царапал темя.

Монах с красивым лицом и рассеченной бровью, из которой тихо капля за каплей сочилась густая темная кровь, монах в ярко-зеленой шуршащей, шелковой рясе, минуту назад мирно державший этот черный крест, вдруг изогнулся весь и бросился на Вареньку.

И они бегали по комнате, и монах пропадал и появлялся, и настигал и хватал ее.

Глядела на них тишина присмиревшая.

Наконец, обессиленная, измученная, перепуганная, бросилась она в гардероб, забилась в платья...

Но костлявая рука нащупала, вцепилась, схватила ее там и, вытащив вон, кинула ничком на кровать.

И тогда хрустнула ее спина под навалившейся тяжестью черного креста...

Монах беззаботно расхаживал по комнате, напевая старческим дребезжащим татарским голосом:

Ты барыня-барыня,
Сударыня-барыня.

И мотив казался страшно знакомым и страшно близким, и в странном сочетании слов слышалось тысяча понятных, тысяча близких, тысяча верных, тысяча родных, ах! родных сочетаний.

Надо что-то вспомнить, надо что-то сделать, непременно сделать, тогда уйдет монах, унесет крест.

Гвоздь, медленно вонзавшийся в темя, вдруг резанул что-то мягкое, живое и, скрипнув, пошел по мягкому, живому.

От невыносимой боли защемило сердце.

Черная вода, черные искры прыснули из глаз.

Варенька стиснулась в комок, уперлась... да к двери.

Уйдет монах, унесет крест.

А он стоит, раскинул руки. И руки длинные, как крест, такие длинные, такие длинные до окна и от окна в огород, и до печки и от печки в кухню.

Ты барыня-барыня,
Сударыня-барыня.

Нагоревший фитиль — красный камень — предсмертно издыхал.

Судорожно выдернула шпильку, стряхнула нагар.

Посветлело.

Стало светлее — страшней.

По углам копошилось, липло, шуршало, всю душу тянуло, всю душу тащило с корнем, тащило с кровью, с мясом, с мозгом...

— Куда, куда ты?

— Туда.

Гвоздь, врезавшийся в мозг, переломился.

Гвоздь переломился.

Хлестнула угарная волна. Стала хлестать по глазам, по глазам, по лицу.

А мимо летели, кружились, кричали, визжали беспокойные искры, мимолетные искры, ядовитые, злые...

Щипало... всю, всю.

Не осталось ни одного живого места.

Минуту она стояла посреди комнаты в этой угарной волне недвижимая.

Вдруг схватила какую-то тряпку, потом панталоны, мигом, как кошка, вскарабкалась на гардероб, нащупала крюк.

— Здесь, здесь... так...

Спешила, страшно спешила.

— Скорее, скорее... уйдет, унесет.

— *Я* уйду!

— А! а! ах!!! — Душат... ушат! — застонал, заорал кто-то старческим голосом и там наверху, и тут внизу.

Опять, опять... слабее, тише...

Вдруг что-то оборвалось, глухо раскатилось и ударилось прямо в стены, в дом, — и, вздрогнув, задребезжали окна.

И тьмы голосов кричали, кричали:

— Дуу-доон, — Дуу-доон — Дуу-доон... Дон! Дон! дон!

* * *

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех
Живот даровав.

Женя и Коля с новыми белыми с густой позолотой свечами идут перед батюшкой в золотой кованой ризе, и сияют их лица, и сливаются сердца с сердцем напевов, всколыхнувших темную темь храма.

И кто это там посреди нищей толпы, кто это там в светлых одеждах на понурые головы возлагает руки свои, чей это голос, из скорбей выплывающий, над всеми звучит голосами:

Мир вам.

XV

В дом к Огорелышевым дети не зашли: завтра успеется, да и служба затянулась до рассвета.

Ишь, заря заиграла, и сад и пруд затучнелись голубым дыханием, будто захотелось им еще понежиться в теплом сне, не знать пробуждения, не знать....

Распевая по двору, шумно вломились в дом.

Замки оборвали, — не достучались няньки: няньку ночью схватили душить черти, — подняться мочи не стало.

Всем собором с Прометеем подступили дети к двери спальни.

Туркнулись, — заперто.

Постучались еще и еще раз, — ни звука.

Стучали, стучали.

Было тихо за дверью, так тихо.

И стало всем страшно.

Они закричали в один голос, закричали не своими голосами, чтобы непременно отперла дверь, непременно...

— Мама, отопри нам, мама!!

И кричали, надсаживались, колотили и руками и ногами в дверь спальни.

И стало всем страшно.

Наконец, упираясь друг в дружку, сжались, стиснулись, надавили на дверь.

И тогда хрупнуло что-то и, судорожно звякнув, отлетело.

Хряснула дверь спальни.

Петли, как оковы, со звоном упали...

Споткнулись, за порог зацепились, под обухом приросли к месту.

Мать в одной сорочке... мать на крюку под потолком... мать побагровевшая с длинным красным языком из черного запекшегося рта.

Закровенившиеся огромные белки в упор...

Скрюченные пальцы на заострившихся ногах...

И острые синие ногти...

Густые проснувшиеся лучи лезли в окно, ползли по комнате, красили алым сорочку и ослепительно больно горели на опорожненной пустой четверти, валявшейся на ковре у кровати.

Дети стояли, как вкопанные, с пригнутыми шеями, с застывшим взмахом. Тупо.

— Уфф-а? — и, задрожав всем, всем телом до последних дрожей, Женя закусил курточку Коли.

Тогда Саша и Петя бросились к матери.

Набросились на нее, — спасти хотели! — схватились за ноги, — спасти хотели! — повисли на ногах, — спасти хотели! — и, повисая, откачнулись, раскачались — раскачались и полетели...

И летали, как на гигантских качелях.

И вышибло крюк, оборвалась петля.

Громом грохнулся на пол труп.

Мертвец, полуживой и живой барахтались. Сделать что-то хотели, поправить что-то хотели, спасти хотели... и царапали, мяли друг друга с запыхавшимся обморочным сапом.

Терлись спина и спина, терлись живот и живот, терлись грудь и грудь.

Крошащаяся известка, сухая душная пыль, погребая, падала.

Прибежавшая на суматоху Степанида и приползшая сверху нянька кричали озверелыми голосами:

— Караул! караул! батюшки, помогите!

— Караул! караул! караул! — кричало в ответ благим матом где-то далеко за двором, за прудом.

Повскакали фабричные.

И комната наполнилась, комната битком набилась суетящимся народом и тупым криком.

Тут выволокли труп на двор и с гиканьем принялись качать — подкидывать удавленника, будто утопленницу.

Дом шарили, по чердаку рыскали, под террасу засматривали, искали вора.

Иван Данилов видел....

На огороде с отдавленными хвостами Розик и Мальчик выли.

Нянька сердцем плакала.

XVI

Желтый со стиснутыми зубами застыл Светлый день.

Колокола орали.

Подпил двор, разгулялся.

Фабричные гурьбой пошли.

Шатались-шатались, — пристанища нет нигде.

Задевали.

Раз сто подрались.

Павел Пашков, отец Машки, над которой дети так издевались когда-то, растрепанный, с слипшимися волосами, озлобленный и пьяный, с ножом бегал, зарезать стращал.

После обеда спать не полегли, в орлянку заиграли.

Разгорячились.

За сердце схватило.

Стенка на стенку пошла...

Загалдели.

Прилетевший унимать драку, врезался Алексей в толпу.

Крякнув, осела толпа.

Да Павел Пашков на дороге:

— Стой! — волком завыл: дождался бедняга.

И, тотчас хлюпнув, что-то тяжело ткнулось в вязкую землю.
На земле ничком Алексей лежал.
С пробитым черепом давил его Павел Пашков.
И кровь хлестала, брызгала, липкая.
С огромным поленом Андрей еле дух переводил: спас хозяина.
И кровь хлестала, брызгала, липкая.
Тогда заревела взбешенно зловещим ревом толпа.
Закипела, пошла, понеслась.
Мяла, давила, росла.
— Бей! бей! бей! бей!
Все свои руки в мозолях, все свои руки в копоти она подымала.
Голубой воздух зачернился.
— У-у-у...
Усталые глаза напоились жизнью.
Темным окном свет свой прозрели.
— Бей Огорелышевых! бей отродье поганое! бей его!
Надругались, напотешились над ругательством, над своим позором...
По косточкам мясо живьем разнимали...
— У-у-у...
Вытягивали жилу за жилой, за каждую слезу, — как много слез в камни ушло, прудом выпито, разъелось дымом, пошло по миру.
Прогнили стены от умирающих вздохов.
Каждый день...
Ночь и день...
Ночь и день...
— Бей! бей! бей! бей!
— Тащи Игнатку!
— Лупи его, лупи змею!
— Скус-ного!
— У-у-у...
— Антихриста!
— У-у-у...
Фабричный свисток на крик свистал.
И в миг загремело, и в миг застучало, зазвенело, забило, затопало.
Лязгало, бухало, орало, орало...
И вопли баб рассекали детский крик, и писк резал крики, и гогот разрывал и тушил стон, и лошадиные морды, фыркая, бешено ржали.

Пруд взволновался, пруд глотал, хохотал, хохотал, хохотал...

* * *

Христос Воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех
Живот даровав.

— Вы, ты, ты, — взвизгнул Алексей, вбежавший в зал бледный, испачканный кровью и грязью, — вы на моем дворе! специалисты! на дворе, а! бунт, специалисты! мать из-за вас! довели! И я, да, довели!

Дядя хлопнул дверью.

Хлопнул дверью, выбежал вон.

Было тихо, так тихо в доме.

Бледно-красный свет свечей горел и дымился душным огнем.

И румяно-белые шторы, алея, гасли.

Метались.

О. Глеб, служивший панихиду, вдруг выронил свечку и, простирая посиневшие руки, упал у гроба.

Извивалось в корчах все его тело, пальцы мышами бегали, ловя что-то на полу.

Серая пена колотила-билась на страшном скошенном лице.

Метались.

И когда, отдышавшись, ушел о. Глеб к себе в монастырь, когда нагрянула она нежданная, костлявая ночь, и костром запылало навсегда утерянное, — наполнились комнаты страхами.

Поочередно читалась псалтирь.

Схваченные тугим обручем ужаса, дети стояли у гроба.

Стояли не шелохнувшись, не оглядываясь.

Там в раскрытой спальне явственно копошилось что-то.

Сновали тени — желанья несказанные, жизнь не изжитая...

И кто-то подходил и стоял за спиной близко.

И руки простирал длинные-длинные крестом за белый саван... за белый саван в сад.

Вата в гробу подымалась...

Подымалось холодное спеленутое тело...

И давила серде тоска смертельная, а сердце бесслезно плакало.

Нет, не приходил Тот, светлый и радостный, не говорил скорбящему миру:

М и р   в а м.

XVII

Унесли гроб.

Забили его черными гвоздями.

Под материнское сердце положили в вымерзший склеп.

На поминках дети напились до бесчувствия.

И пошла жизнь своим чередом от дня до ночи и от ночи до дня.

Каждое утро приходил теперь управляющий, Андрей, и отдавал приказания; его и слушаться велели.

Вернувшийся из-за границы Сеня и не подумал восстановить связи с двоюродными братьями.

Назначенный директором Огорелышевского банка, был он занят своим положением.

«А мало ли что было, кто не грешен!»

Саша в университет поступил, и целыми днями пропадал у Алексея Алексеевича. Сошелся он с его братом Сергеем, у которого свой кружок был.

Коле очень хотелось попасть хоть один разок на собрание, но Саша и слышать не хотел: такой тайной облечен был этот кружок.

Пете уж семнадцатый шел, а гимназии конца краю не видно было: оставался он на второй год чуть ли не в каждом классе.

Петя, Женя и Коля тесней зажили.

Ходили они на богомолье за много верст от дома и всегда с Прометеем, нагруженным мешком сухарей и бутылкой за пазухой.

Глядело небо на них открытое, лес листвой шелестел, царапал ветками, ноги корнями трудил, а поле колыхалось — дивилось цветами и травами, веяло веяньем песенным, смеялось и плакало.

Да так смеялось, да так плакало, лег бы на эту душистую землю, обнял бы ее всем своим телом и никогда и никуда не отпустил от себя.

Полные хвороста овраги ночлег готовили. Проливной дождь спины сек, солнце палило кожу, покрывало потом и пылью загорелые лица.

А кругом — круг дали незатоптанной, беспроторной, широкой.

Да такой широкой, ни глазом, ни ухом, и хотел бы обнять, — не обнимешь.

В монастыре у о. Никиты останавливались. О. Никита-«Глист» когда-то жил в Андрониеве.

Тощий, с голым черепом. Узенькая трясущаяся седая бороденка. Вытаращенные мутные глаза. Неистощимо болтлив. А врет необычайно.

Келья крохотная в перегородочках. Над трапезным столом ярко намалеванная картинка «Блуд», изображающая жирную с огромными грудями женщину в кумачном сарафане, у которой вместо ног — чешуйчатые желтые лапки.

И этот «Блуд» был поджигающей искоркой для воспоминаний и рассказов вообще.

Поглаживая одной рукой бороденку и размахивая другой, упившийся о. Никита приходил в неописуемый азарт и в заключение всякий раз ронял рюмку. Глупозабавный стон разбитого стекла покрывался хохотом, и хохот разлетался далеко за ограду.

— Монах — дурак! — Монах — дурак! — бессмысленно высвистывал скворец, выпрыгивая из-за перегородки.

Финогеновы принимались приветливо. Подростков братия особенно любила. Кругом глушь, о жилье и помину нет. Зимой белый снег да черные деревья, да колокола.

Устав — скитский: женщины в монастырь доступа не имели, за исключением каких-нибудь двух-трех праздников.

В монастыре много жило мальчиков-монашков, составлявших удивительно стройный хор...

— Есть у нас Сарра, — ухмыляясь, подмигивал о. Никита, — бестия... Да. Голос херувиму подобен, а лик блудницы... Иероним с Нафанаилом из-за мальчонка намедни поцапались... Хе-хе-хе...

Прискучивал монастырь, сосало под ложечкой, — домой возвращались.

Настигни ночь — долго в дверь приходилось стучаться.

— Кто вас разберет, девушка? — спросонья встречала Прасковья, высовываясь головой в форточку, — может, вы и воры, аль разбойники...

— Маменька, отопри Христа ради, — просил Прометей, — голубушка, жрать больно хочется!

— Мало што. И кто об этакую пору шатается? Слава Богу, не постоялый двор! Прими, девушка, копеечку и иди подобру-поздорову.

Только когда подходил Прометей к самому носу матери и на-

чинал вертеть лицом и ощериваться, — нянька узнавала и шла отпирать...

Проспавшись, с утра садились играть в «Короли».

Вместо бабушки Анны Ивановны постоянным жильцом была Арина Семеновна-«Эрих», сестра Прасковьи.

В очках, беззубая, поводила она табачным носом, выискивая всюду и везде одни непорядки. Нюхала здорово.

За картами плутуют, задирают, ссорятся.

— Институтка, — подтрунивает Прометей над теткой, — подвали, брат!

— Шестерка, — шипит Эрих.

Последним чином всегда остается Прасковья, над которой долго и много смеются.

Убито вздыхая, огорченная, садится она за штопанье, а штопанья с каждой стиркой прибавляется корзина за корзиной.

Вечерами отправляются в церковь к храмовому празднику.

Там время проходит весело: с усилием протолкавшись сквозь давку к амвону, возвращаются к паперти и, измученные, толкутся опять к амвону.

Стараются давить на ноги и пихать кулаками под что ни попало. Переругиваются.

— Бешеные! — огрызаются молящиеся.

По четвергам и понедельникам ходили на бульвар музыку слушать.

Приходили туда спозаранку, когда, кроме одиноких пар да ребятишек, копошащихся в грязновато-сером сыром песку, никого не было.

И только когда скрывалось за дома солнце, набиралась публика; все аллеи затоплялись, и двигались, и двигались гуляющие куриным шагом, пыльной стеной взад и вперед.

А ночь зажигала по мостовым каплей своих светильников-звезд тусклые фонари и пластом залегала над дремлющим днем, отравленная и непокойная.

Все перемешивается, срастается в шумяще-крикливое, расползающееся тело.

Мальчишки, унизывающие все выступы и карнизы эстрады, гикают и свистят.

Шныряют назойливые бутоньерки.

Цветы, мыло, пот, незалеченная болезнь, все это кутает смеркающийся бульвар.

Внимательно слушавшие музыку, выбираются теперь Финогеновы на главную аллею и принимаются упорно приставать, не пропуская ни одной женщины.

Короткие и изодранные их шинели бархатит сгущающаяся тьма — эта баловница из баловниц и потворница из потворниц.

Завязывается множество мгновенных знакомств и все с такими красивыми, с такими хорошими и так просто, легко, без стеснения и без приличий...

Последний музыкальный номер: «железная дорога».

И сколько треска и звона и хлопанья!

Всей гурьбой, озираясь, направляются в пивную. И там, отпивая жиденькое дешевое пиво, едят сухарики, воблу и всякую гадость.

Пивную запирают.

Уходить, — а куда пойдешь в эту ночь?

И нехотя и медленно плетутся домой. И поют, орут на всю улицу, пристают, останавливают прохожих женщин.

От одного бульвара дорога к веселым домам повертывает. И они повертывали.

В дорогие не решались... Выбирали который похуже.

Войти в дома ухитрялись всякими манерами: то с видом донельзя пьяных, а то будто и по-настоящему...

И хохочут, насмехаются женщины над напускным ухарством, над смущением, невольно пробивающимся на вспыхивающих еще детских щеках, и только один Прометей, раскуривая папироску, с сознанием собственного достоинства, как заправский гость, как у себя дома, расхаживает по залам.

Скрипач настраивает скрипку, играть пробует.

И сколько тоски, боли в этих звуках, увязающих в спертом дыхании завтрашней смерти.

Земля обетованная!

Крылья мои белые, тяжелые вы в слипшихся комках кровавой грязи...

Земля обетованная...

....

Если силой не выпроваживают, то все равно уходить приходится.

И прыщеватый вышибало с обидной ужимкой мелует на спине каждого непрошеного серый крестик в знак позора и презрения.

И вот позднею ночью с надорванным и неутоленным желанием чего-то хорошего и страшно привлекательного, что вот совсем подходило и миновало, с желанием любви и ласки, они не могут замкнуть глаз, и этот позорный крестик жжет спину.

А утро пасмурное и ясное утро сулит ту же старую жизнь.

И таким отдаленным, таким недосягаемым встает будущее, непременно своевольное и огромное, которого так хотят, так ждут...

XVIII

Ее звали Маргариткой.

Было ли это крещеным именем или прозвищем того дома, где жила Маргаритка, но так величали ее и Аграфена Ананиевна — хозяйка с деревянно-одутловатым лицом и чрезмерно полным бюстом, и товарки, начиная с малюсенькой Кати и кончая великаншей Пашей, даже вышибало Василий, отправляя свою ночную службу, тенорком покрикивал:

«Маргаритка, брысь ты, сукина чертовка, брысь говорю, рожу раскрою, Маргаритка!»

С тех самых пор, как начала она помнить себя, лишь одно знала: во что бы то ни стало нужно бегать за прохожими и приставать подать ради Христа копеечку.

Пока в кулачке не наберется двугривенный.

И все ее маленькое, худенькое тельце ежедневно прихлопывалось одним единственным желанием, одиноко впивающеюся, неразделенною мыслью.

Прихлопывалось со всех сторон, прихлопывалось непременно с утра до поздней ночи и ночью в детском, зябком и голодном сне нищенки.

Как-то присмиревшим темным осенним вечером попался на дороге старичок один с большим зонтиком, затащил девочку за кузницу...

— . . . . подтер тряпкой и вот что дал! — рассказывала после девочка, показывая новенький золотой детям-нищим, с завистью топотавшимся вокруг нее.

За золотым бумажка, за бумажкой — гривенник, а там и в часть взяли.

В части билет выдали.

Так и пошло.

Пятнадцати не было, встретилась она с Аграфеной Ананиевной.

Хозяйка то и знай похваливает Маргаритку и за проворство и за лакомства, какие та гостям дать могла.

— Из всех девушек, — рекомендовала она своим приторным голосом, клокотавшим площадной руганью, — Маргаритка у

меня — чистая, ласковая, сахарная и по-французскому может...

— *Камàн савàл**, Аграфена Ананиевна! — подтверждала Маргаритка, появляясь невинная с павлиньим хвостом.

— *Мирсити***, го-го-го! — одобряла хозяйка, рвотно кривя свои синие губы.

* * *

Когда Коля в своей драной шинелишке с вытертыми золотыми пуговицами, посреди которых от носки маслом расходились кирпичные, ржавые пятна, пробирается по переулку и затаенно, будто мимоходом, занятый очень серьезным и важным делом, посматривает на окна двухэтажного дома, выделанного разноцветными камушками под мозаику, — в домах растворяют ставни.

В одном из верхних высоких окон появляется Маргаритка — такая маленькая, остроглазая, с розовым, вздернутым носиком и низко спущенной на белый лоб холкой темных душистых волос.

Она скалит свои острые, кошачьи зубки, глядя куда-то поверх низкой, угольной крыши дешевого, противоположного дома.

Крохотные напудренные грудки выходят из широко вырезанного ворота и, как две глыбки, тают под закатным лучом золотым, малиновым, и кажется, это руки осовевшего солнца богатые, баюкая, бродят по ним.

И таким ничтожным представляется он самому себе, таким гадким и, горбясь, унижая себя и надругиваясь, медленно и както очень скоро проходит весь длинный переулок, бездомный, дорогой... и, поравнявшись с последним красным солдатским домом, возвращается, теперь поспешно и как-то очень, очень долго.

Маргаритка и заметить может...

Ему вспоминается всякий раз, как, проходя вот так же, повстречался какой-то монах, зорко засматривающий в верхние окна, и как Маргаритка, заметив монаха, визгливо затянула кабацкую песню:

Луче в мори утопиться
Чем попа карявава любить...

Монах, наклонившись на бок и размахнув руками, пустился улепетывать.

---

* Comment ça va — как поживаете (искаж. *фр.*). — *Ред.*

** Merci — спасибо (искаж. *фр.*). — *Ред.*

«А ты чего, грифель?» — крикнула тогда Маргаритка прикованно-стоявшему Коле.

Маргаритка и заметить может...

И страшно: она посмеется над ним, оскорбит... оскорбит себя.

....

Иногда она сидит бледная и такая грустная.

Кажется, живые глаза над своим гробом плачут.

Подойти бы приласкать тогда...

Подойти бы...

Но пробраться в дом никакой не было возможности, дом был дорогой и недоступный.

Как-то сунулись всем кагалом и тотчас полетели с лестницы.

«Всякая сволочь туда же, — кричал вдогонку вышибало Василий, стукнув Прометея в загорбок, — я вам, паршивцы, сволочь!»

И жгла недоступность.

Огненно-красным кольцом окруженный образ непорочный, из ада звал к себе, рассекал с головы до пят и кликал, тянул и рвал на наслаждение, на гибель, на победу, в пропасть, в пожар, к причащению.

И Коля ходит по переулку под окнами дома и, стиснув зубы, думает крепко.

Темнеет.

Скрипач настраивает скрипку, играть пробует.

Земля обетованная!

Крылья мои белые, тяжелые вы в слипшихся комках кровавой грязи...

Земля обетованная...

Крылья мои белые, живые вы, унесите меня!

* * *

Возвращается Коля изнеможенный, издерганный и, путаясь, помногу рассказывает, как задачу ученику решить не мог, рассказывает, как на уроке вином красным угощали... выдумывает небылицы, но правды... о правде сердце горит...

Земля обетованная!

XIX

Нередко по вечерам выходят дети за ворота, на лавочку посидеть.

Круг фабричных не тот.

Это новые все, не знавшие ни матери, ни их детства.

После бунта двор подчистился.

Старики перемерли. Ну Иван Данилов не в счет: занедужился кузнец, ослаб: за сказку примется, плетет, плетет, да так и не кончит.

Один Максимчук, получивший и в самом деле с блюдечко серебряную медаль, по-прежнему неистощим, как во дни Аверьяныча.

Разговоры вертятся обычно около дома и фабрики.

Но странно: теперь, когда все подвыросли, незаметно встала глухая стена и отделила детей от этих замученных трудом людей.

Горько, бесконечно горько становилось, когда увлекшегося жалобой вдруг грубо осаживали его товарищи, и тот виновато примолкал, а в вспыхнувшей злой улыбке горькое слово горело: огорелышевское отродье, одна цена.

— Огорелышевское отродье...

—Яблоко от яблони недалеко падает...

Ты выйди нежданно за ворота и услышишь.

Как кипятком ошпарит.

Часто слышали дети.

И Прохор, бравший одно время книжки у Саши, умный и развитой рабочий, уходил в себя, таился и, когда кто-нибудь из детей заговаривал с ним, отмалчивался

— Чего попусту языком молоть?

А в своем кругу, захлебываясь, не умолкал, рассказывал, излохмаченный, прокопченный, с горящими глазами, готовый и в огонь и в воду за свое дело.

Интересное и живое билось в этих вывертах — словах-огоньках. И синие жилы на черных руках Прохора наливались кровью.

И забитые, робкие головы других выпрямлялись.

И летели искры под грунт белого крепкого дома, под фабричный корпус и там таились, ждали, невидимкою жили... чтоб разрушить, не оставить камня на камне.

— Барин, а весь зад наружи...

— Без сапог, да в шляпе.

— Тоже господа — голоштанники!

Ты подвернись под сердитую руку и услышишь.

Как ножом полоснет.

Часто слышали дети.

И горечь закипала на сердце.

Зачем эти стены, кто их вывел, кто отделил ими голос от голоса, сердце от сердца.

Проклятые стены!

Но по старой ли памяти или оттого, что уж деться некуда было, только нередко по вечерам выходят дети за ворота, на лавочку посидеть.

А после наверх в «короли» садятся играть или так слоняются без всякого дела, придираясь и раздражая друг друга.

Прометей зеленел и озлоблялся: ни войны, ни жизни настоящей, а тут еще фабричные... Поколачивали, был грех.

* * *

После вечерних скитаний, когда впереди ничего не предстояло, любил Коля оставаться один в саду около пруда.

Тяжелое смутное чувство, растравляемое просыпающимися мыслями, заразною пылью точило сердце.

Вот ему минет семнадцать. Училище кончит. Сядет за конторку в Огорелышевском банке. Глаза в графленую бумагу вопьются, выльются, и свет их загаснет. В мелкие буковки, в цифры, совсем ему ненужные, этот свет обратится.

И мелкие буковки, цифры, совсем ему ненужные, уж, кажется, сливаются, и бумага топорщится, твердеет, из белой в черную переходит.

Черные огромные клещи голову закусывают...

Это то, что будет, — он ясно видел, больно чувствовал.

А разве этого хочет?

И почему он должен считать на счетах и вечно сидеть за конторкой?

Почему он должен?

Коля пробовал латинский и греческий, лишь бы избавиться от этой ожидавшей его каторги. Ночей не досыпал. Сразу все хотел. Да так надорвался — плюнул, забросил учебники.

Да, сядет за конторку в Огорелышевском банке. Глаза в бумагу вопьются, выльются, загаснет их свет...

Пруд молчал. Стыло молчание на страшной невозмутимой глади.

И с илистого дна, из ледяных ключей вставал образ женщины, такой горячий и близкий и темный, темный, как эти тени уснувших рыб в солнечный день.

И сверкали острые, кошачьи зубки — зарябившиеся струйки под поцелуем лунным, и милые уста зацветали ласковым словом, кликали...

А там ночью, когда замирали вечерние гулы, прибегала в сад Машка — Машка Пашкова, тоненькая, беленькая, с туго стянутой игрушечной грудкой.

— Николай Елисеевич, можно походить с вами? — просилась девушка, и горели ее глазки, и голосок задыхался.

И Коля ходил с Машкой вкруг пруда и, когда та ластилась, закрывал глаза, и искал рук других, проворных и маленьких рук Маргаритки... и, нагибаясь, целовал руки Машки, большие и жесткие.

— Гляньте-ка, звезды-то какие! — таращила девушка удивленные глазки, заволакивающиеся влажной шелковинкой влюбленного сердца.

И она что-то щебетала, и жизнь входила в ее детскую, надорванную душу, и она жила, как во сне желанном.

— У «душки»-Анисьи коровушка отелилась, теленочек маленький... А дяденька Афанасий, покойник, сказывал, будто рыбы — с усами бывают, сам, говорит, видел.

Коля, не отвечая, прижимал ее вздрагивающее тельце, прижимал крепко, все крепче.

— Тоже... и... китов ус...— и голос Машки пресекался.

* * *

Как-то последним летним закатом после Ильина дня, когда, по поверью, олень мочится в воду, и оттого вода холоднеет, а лягушки на дно спать ныряют, было прощально тихо, прощально горько в разросшемся, густом, поникшем в рдении над прудом саду.

Листья желтели.

Падали листья без стона, без жалобы.

За плотиком поспевала дикая малина, у купальни барбарис весь завешивался рубинной бахромой, и рябина у беседки верх опоясывалась крупными кораллами.

Прибежавшая в сад Машка, сначала такая радостная, вдруг присмирела и хоронилась пугливо, она чувствовала крылья, трепетавшие у Коли, трепетавшие и готовые улететь, унести ее.

И она схватилась за него, повисла вся.

И они ходили вкруг пруда, вкруг пруда.

И ходили долго, много, горячо прижимая друг к другу одинокие, родные сердца...

И сердце их билось — вырывалось, как отрытый заваленный ключ, и сердце их шепталось веще говором звезд осенних, сердце, перемучившееся тяжкой недетской мукой.

Кто ты?

Все равно, лишь бы жить... жить...

Любите же меня, любите!

Любуйтесь на красу прощальных взоров.

Вся кровь моя при первой встрече, при легком дуновенье смертельной стужи щитом багряным покрыла грудь мою.

Я золотом и тусклым серебром устлала все дороги.

В моих глазах последний жаркий трепет заблистал.

Я ухожу от вас...

Любите же меня, любите!

На небе зори яркие уж зиму возвещают, и слезы, не иссякая, льются из мутной тучи.

Настало время уйти от вас...

Но пусть же мой прощальный взор, и жажды и забвенья полный, безумьем пышет...

Пусть красота идет аккордов грустных земле холодной, цветам увядшим!

Любите же меня, любите!

XX

Осени поздней переменно-дождливые дни.

Поздней осени плачи.

Груды ленивых, прогорклых листьев по дорожкам вкруг пруда.

Паутина замерзла.

Подмерзла калина.

В комнатах вставлены серые, скучные рамы.

Окна заложены ватой.

Запах замазки и дыма.

Топятся печи.

Осеннее утро залезает за ворот и холодными пальцами водит по горячей спине...

В училище сумрачно тянется час.

И сипло кричит прозябший за ночь звонок перемену.

Коля и Женя перешли этим летом в специальный бухгалтерский класс. Им, как старшим, разрешается не выходить на перемене в зал. В классе обычно идет разговор о ночных похождениях; учатся все богатые и состоятельные: дети купцов и фабрикантов.

— Маргаритка, — донесся как-то до Коли перегорелый голос Семенова — «Совы», белобрысого купчика, — знаю! — Сволочь, кожа желтая, в рублевом...

Вошел учитель.

«Сова» зашептал на ухо своему соседу, и лошадиное нечистое лицо товарища затряслось и вспотело...

И загорелись классные стены от нетерпения.

И хотелось сейчас же бежать туда, видеть ее.

А час тянулся.

* * *

Была суббота.

Суетливые сумерки липли к щекам и глазам уличною грязью.

Застрявшее в переулке мутное ненастье лежало безгрезным водянистым сном. Нехотя растворились ставни в домах.

В угольном доме в черном окне масляным пятном прыгая-расплывался подозрительный свет.

Коля пробрался к дому.

Конфузливо спросил Маргаритку.

Сказали подождать.

Вышибало Яков, заспанный и обрюзглый от бессонной жизни, поплевывая, чистил ботинки.

Перечистил одни, перечистил другие, сколько было пар — все кончил, отнес. За юбки принялся.

Наконец, вышла горничная, повела в спальню...

Переступил порог.

Маргаритка стояла перед зеркалом в кружевных панталонах, причесывалась.

— Вам что нужно? — не оборачиваясь, спросила она с полным ртом шпилек.

Коля стоял и молчал, стоял и смотрел... и смотрел...

Только ручки одни проворные мелькали в глазах.

Обо мне ты не-е мечтай...

Запела тихо и, закрутив косу, подергала плечом, и опять распустила волосы.

На са́мой макушке белое пятно - лысина — пластырем лежала... Этот пластырь лез теперь в влюбленные глаза.

— Ну? — вдруг обернулась.

— Я к вам.

Коля сказал это резко и твердо, резко и твердо сделал шаг...

Еще и еще.

Вытаращила красные запудренные глаза.

— Деньги вперед! — сухо сказала.

— Я не затем, я...

— Деньги вперед! — вдруг закричала Маргаритка, и хрип тащил из ее горла крики, — вы... хозяйку подводите, оборванцы! Встать по-людски не дадут, жить не дают, жить – не дают.

Задохнулась.

А у него горло свинцом налилось.

И озноб сморщил кожу и сдавил льдом раскрытое сердце.

Раскрытое сердце от боли вскрикнуло.

Бросился, обнял, впился в плечи...

И целовал, целовал бесконечно.

Плесень, соль, слизь мазали губы, душный мутил запах.

— Дорогое, бесценное!

Незабеленные раны сочились; казалось, мясо распадалось, отваливалось кусками.

— Дорогое, бесценное!

— Вон! вон!!! — взвизгнула, задрожав, вся возмущенная женщина и, отпихнув кулаком, сжалась и затихла, как дитя беззащитное.

А он, не смея взглянуть, медленно вышел...

Моросил мелкий дождик.

Всхлипывало месиво грязи.

Разлагались нечистоты.

И пламя фонарей под щипками чьих-то злющих пальцев ширялось по ветру.

И было жгуче-мутно.

Вспомнилась Машка.

— Машка, как она тебя любит!

И два женских образа, шепча, сливались во единый — одно тело, тело покрывалось струпьями, назревающими, сине-красными, и пыхало запахом мази и гниения.

Сердце прогнивало до пустых жил.

* * *

— Маргаритка, — рассказывал как-то на перемене «Сова» отдувавшемуся соседу Прохорову, — сволочь: Кукина болезнью наградила, сволочь...

Коля зажал уши и, не сказавшись, вышел из класса.

Плелся домой.

Казалось ему, заболевала улица.

А на губах ныло.

Огромная язва выплывала из мглы туманно-холодящего полдня, сине-белая, синяя...

И по пятам гналась гнусавая музыка.

И у плетущихся ломовых в телегах между колес и грязью явственно копошилось что-то и пело горькую пьяную песню веселых домов.

Было мутно.

Сердце прогнивало до пустых жил.

XXI

Последний выпускной экзамен, русский, пронесся градовой тучей, но беда миновала.

И Женя, и Коля с пустыми аттестатами, лишенные за неблагонадежное поведение звания «кандидатов коммерции», пришли домой, вошли наверх, что-то сделать хотели, кому-то рассказать, и ничего не сделали, никому не рассказали.

Даже обидно стало: и ждать-то больше нечего.

А потом из глубины ночи выплыло одно слово, выплыло и остановилось перед испуганным лицом...

— Нет, — нет, — нет... — спохватился Коля.

* * *

Спустя несколько дней Женя напялил изодранную курточку, снял с форменного картуза герб и пошел в Банк.

И там томительно-неловко ожидал дядю, толкаясь в приемной.

Наконец, приехал Алексей, выругался «для острастки» и велел всякий день приходить Жене вон в ту комнату с ярлычком...

И пошла с этого дня служба.

А Коля ступал к роскошному подъезду старинного дома с колоннами в Воронинском саду.

Лакей провел в классную.

Коля сел к окну и ждал.

Ждал.

И, горячась, доказывал себе, что глупо вести себя так, что уж не маленький, и робеть нечего; а чувствовал, что с каждой минутой робеет больше и больше, сжимается, становится маленьким-маленьким.

Потом встал, походил по комнате.

Не раз и не два ловил себя, что ходит на цыпочках, и злился. Принялся велосипед ковырять. Отвинтил колесико...

— А, — ты что? — послышался голос дяди Николая.

Коля вздрогнул.

— Благодарю вас, — начал Коля сипло, невнятно и остановился, потом едва-едва: — благодарю вас, дядюшка... — и опять остановился.

— Что собираешься делать?

Коля молчал, теребил ремень.

— Если ты рассчитываешь поступить в высшее учебное заведение... то не забывай, средств нет. Да, я понимаю, мои дети, да, они могут, но тебе с ними равняться смешно!

Коля покраснел, захолодел, руки было упали...

Вдруг что-то большое и непонятное чугуном загремело в ушах, подкатилось к ногам лестницей, и поднялась лестница от сердца вверх.

— Я латинский прошел, — проговорил он не своим, режущим голосом и облизнулся от удавшейся лжи.

Дядя мягко прошелся по комнате, поправил в петлице молочную ветку туберозы...

La donna è mobile
Qual piumo al vento...

— Как знаешь.

Коля выскочил на улицу.

Какая-то радость до крови кусала сердце, и тьмы казней бледных и мучительных подбрасывали нежданно под ноги свои кривые мучительные пытки.

И хотелось мучить, казнить насмерть.

Прошла неделя, прошла другая — никто ничего не говорил, никто не назначал часа, не приказывал являться ни в Биржу, ни в Банк...

* * *

Пришла зима — подарила.

Через управляющего Андрея позвали детей на вечер в дом к Огорелышевым: Алексей справлял серебряную свадьбу.

Сначала уперлись, потом раздумались — поддались и пошли.

И в первый-то раз так близко перед глазами зашумел огромный зал, запестрелся платьями, цветами и лицами.

Пышные шлейфы овеяли музыкой, обняли ноги.

Дети прижались друг к другу, пристыли.

Странным светом горели тяжелые люстры.

Из целого сада цветов выплывали подхватывающие звуки и, о чем-то напоминая, призывая куда-то, обещали…

Сердце колотилось.

— Вон, это — Полинька, двоюродная сестра, посмотри, какая красивая!

— А Кукин-то…

— Наш директор…

И много, много мелькнуло еще лиц, таких важных и так близко теперь.

Вдруг танцы остановились.

Зал затеснился; расступались и кланялись.

Мимо прошел высокий, на голову выше присутствующих, генерал, мутно обводя глазами и улыбаясь вылощенным ртом — сам князь.

Рядом с князем шмыгал Алексей, подобострастно заглядывая и уж слишком уверенно хихикая.

— Финогенов! — хлопнул по плечу Колю товарищ по училищу, Корзинкин, раскрасневшийся и запыхавшийся, — ты как сюда попал!

И стало вдруг обидно до слез и от обиды хотелось выкинуть такую штучку, чтобы весь этот зал, этот князь в тартарары повалились.

Дети прижались друг к другу, пристыли.

Никто из них не умел танцевать.

Были они дикие и оборванные, и от пиджаков и мундиров несло подгорелым стеарином.

Никто с ними не здоровался, но, казалось, все знали и чувствовали их, как что-то чужое и ненужное, хуже — отвратительное.

Никто ничем не угощал.

А из соседних комнат проникали звоны хрусталя и тарелок, и вышибались пробки, и что-то, пенясь, журчало.

Двоюродный брат, Дим, сын дяди Николая, в новенькой путейской форме, сам какой-то весь новенький, взмахнув руками, громко прокричал что-то…

И понесся, полетел за ним зал.

Пьяные звуки кружились, стучали.

И лететь бы за ними, лететь вечно…

И те женщины, которых дети встречали и знали, преображались в красавиц, в этих чистых и белых сестер и знакомых.

Да, любить таких вот и жить не в грязи, а так вот…

И минуту, забывая свой дом, жили этой жизнью и, обданные горячим паром духов и красивого тела, чувствовали свою красоту, и на сердце таяло.

— Отправляйтесь-ка вы лучше по домам! — ударил знакомый жуткий голос дяди.

И они молча, гуськом, спотыкаясь о ковры и проталкиваясь между лакеев, которые, казалось, пронзали их насмешливыми глазами и знали... вышли они из дому.

И молча неровно шли по двору, не глядя друг на друга...

Потому что глядеть нехорошо было.

Вид делали, строились, что ничего-то такого не произошло, чего бы стыдиться, и отчего мучиться надо было.

А на живом месте раскрывались раны и ныли тупою болью.

Саша и Женя, Петя и Коля, все одно чувство несмутно чувствовали.

И взошли наверх и, не глядя на Прометея, который почему-то нарядился празднично в свою «солитерскую» визитку, разделись и легли в кровать.

И тотчас притворились спящими и не спали, не могли спать.

Казалось, кто-то высоко подымал их до самого неба, и там над землею они качались.

И было страшно подумать, страшно вздохнуть, страшно взглянуть в свою душу...

Потому что глядеть нехорошо было.

А утро морозное, утро крепкое золотом-хохотом пылало и нанизывало белой рукой расцвеченный жемчуг на окна.

XXII

Саша успешно переходил с курса на курс; университетские дела не увлекали, не увлекала и наука.

Тянуло к резким ударам, ударам плашмя, выворачивающим целину, а остальное, думал он, не больше, как замазка, а всякий иной шаг — царапина.

Для тех, кто знал Сашу еще гимназистом, этот переход из смиренника-монаха в монаха-революционера казался невероятным. Расточить жизнь; ступить гулко по земле, бросить вызов, дерзнуть, сгореть — все это создало у него целую систему действий во имя какой-то новой жизни, которая должна взойти на этом огне и крови... на жертве.

И так жил он, углубляя и развивая свою думу, и был уж на краю последней ступени. С которой смерть видится, и не боялся смерти. Искал ее.

Общие черты его лица остались те же, только более углубились и возмужали: заостренность отточилась, и глаза подернулись сталью, заковались; темные усы и борода выдвинули скулы, а на лбу обозначились впадины, губы же по-прежнему не сжимались плотно и, скрывающиеся частью под усами, обманывали наружность.

Если бы спросить его, что греет в нем его душу и синит его мысли, он ответил бы твердо: нет примирения.

И во имя непримиримости он подавлял в себе чувства, но чувства не хотели смиряться и кричали и, онемев, царапали сердце.

С глубокой горечью обманувшегося прекратил он всякие общения с о. Глебом, и все греющие лучи-мысли старца представлялись ему теперь засоренными источниками, мутным светом сквозь снежное небо.

Люди, с которыми он имел дело, топорщились быть большими и вершащими судьбы, подпевали и пересказывали его слова и топтались на месте в трескотне пожеланий. Он презирал их, но держался за них как за силу, без которой обойтись невозможно было.

Стал он так думать только в последнее время, а раньше верил всем сердцем, все сердце готов был раскрыть им.

И точил сердце червяк маленький, тщедушный, а живучий, как самое гадкое из всех насекомых.

Правда, были друзья, скорее, один друг — это Сергей, брат Алексея Алексеевича, с которым он всю кашу заварил и дошел рука об руку до той точки, откуда, как казалось, открывался один путь — путь в без-примирение.

Ступить гулко по земле, бросить вызов, дерзнуть, сгореть — расточить жизнь…

И шли дни кипуче — прямо до ожесточения, вспыхивая то радостью от правоты, то режущим мучительным гнетом тоски исподних заваленных сомнений.

Петя не румяный, как раньше, побледневший, потягивал свои рыжеватые усы, совсем равнодушный к увлечениям Саши.

По целым часам просиживал он у окна за стаканом пива и все думал о чем-то, глядя за монастырь, за белые башенки.

И казалось, сидеть бы ему так, сидеть всю жизнь, гадать и загадывать…

А когда подымался между братьями спор, он ни с кем не соглашался, но и своей отповеди не давал.

Во всех его ответах звучало тысяча правд, и все они, как лис-

точки на ветке, жили на одной правде, но имя ее он не умел высказать, и, путаясь, мучился.

И, измученный, принимался за рояль.

Пел.

Пел так чисто и ярко, до слез и восторга.

И, напевшись вдосталь, шел наверх, садился у окна за пиво и молча просиживал часы, день, день и вечер, вечер…

* * *

День роспуска на Святую был в этот год редким днем в жизни Пети: до экзамена его допустили, и пришел конец его долголетнего гимназического мытарства.

Целых двенадцать лет таскал он ранец, двенадцать лет долбила, долбила проклятая гимназия.

Хуже тюрьмы.

По давно данному обещанию была всеобщая попойка и, по обещанию же, торжественно Петя лег посередь улицы в лужу, бултыхаясь, грязнил и мазал проклятую шинель.

А Прометей, коноводясь и развертываясь, накачался до такой одури, — сряду два дня без просыпу спал и, очухавшись только на третье утро, совсем обалдел и никак не мог отчета себе дать, где он, и кто вокруг него, и как зовут его: только одну Эрих, ненавистную тетку, он чувствовал и морщился, моргал, как от какого-то света яркого.

— Очхнись, полоумный! — усовещевала Эрих, — мать родную не узнать! — нечистому, видно, и душу-то свою собачью пропил.

— Господи, никаких концов не найти!

— Насосался!

— Напущено, девушка, — горевала Прасковья, — и молитва не помогает.

И долго-долго возились с помутневшим человеком, щипали и щекотали его, легонько перышком в носу шевелили, горчицей мазали, пока он не сорвался из комнаты вон на воздух.

И там метался, как ошалелый, и не мог прийти в себя, успокоиться. И вдруг схватил полено и с какой-то тупой радостью ударил в подвернувшуюся собачонку, будто в ней его тревога, все безумие хоронилось. С перешибленной лапкой, визжала собачонка.

Прометей отдышался.

Подняли собачонку, пустили в дом.

Лежала она у Саши на диване, подвернув перешибленную лапку, и плакала этими невыносимыми слезами, молча.

И Прасковья плакала:

— Молитва не помогает!..

А Прометей все заглядывал в комнату и виновато справлялся у Саши, не прикажет ли тот пройти куда или сделать чего?

И во всем доме было нехорошо, все тяжело помалкивали, будто на сердце у каждого лежали такие собачонки с перешибленными лапками и плакали этими невыносимыми слезами, молча.

Вот и всегда так, со смерти матери, как подходила Святая, наполняло дом что-то черное и гнало из комнаты в комнату вон из дому.

И бродили дети по комнатам и по двору и по саду, нигде не находя себе места.

На дворе дрова лежали по-прежнему и ходила фабрика и сновали рабочие, злые и жалкие, а сад просыпался и пруд оттаивал и, оттаивая, знал что-то, он знал их маленькими и мать их знал, и знал то, что завтра будет.

Вот и всегда так, со смерти матери, каждый чувствовал это, и чувство это сгущалось и темнее и темнее заволакивало душу.

Коля, измытарившийся за год, жил бестолочно, ровно ни на чем не удерживаясь.

Все расползалось и ускальзывало... дразнило и не давалось.

Как на грех, Машка забрюхатела и чуть не померла. А умри она, пожалуй, гора бы с плеч! Вынесла. Оправилась.

Согнали ее с фабрики. На квартиру перебралась и промышляла чем-то, добывая себе на пропитание и жизнь каторжную.

Много было столкновений с Огорелышевыми, но больше всего влетало теперь Жене, которому волей-неволей приходилось на глаза попадаться, и молча отдувался Женя за себя и за братьев.

А на дно их сердца камушек за камушком падал и устилал дно каменной корой, болело сердце от обиды и бессилия.

XXIII

Приснилось Коле, сидит он будто наверху, в окно смотрит.

Весь пустырь под монастырем распахан. На дальней гряде разрывает ворона черный ком. И клюв черный и перья черные, а глаза красные. Почему у вороны глаза красные?

В дверь входит девочка. Белый платочек в руках комкает. Безглазая. Хочет девочка в беленький платок душу положить.

Безглазая. И убежать бы, да ноги не слушаются. И от ужаса расщепляется сердце на мелкие щепки…

Перед кроватью стоял Саша, говорил что-то, но что, Коля разобрать не мог.

Осколки сна немо с болью таяли, и подплывала к сердцу радость, что так счастливо опасность канула.

— Вставай! вставай! в Андрониев пойдем, к обедне.

И комната в ярко-желтых лучах, льющихся золотой густотой на сонные предметы, показалась особенной, золотой, и голубой дым папиросы, увязая, цапался и, обессиленный, сдаваясь, таял.

Посередь комнаты, уткнувшись в сапог и подобрав согнутые ноги к подбородку, валялся Прометей, поскрипывая зубами.

Коле вдруг вспомнился прошедший вечер, вспомнилась пивная, в пивной драка…

Зарезало в глазах, и опять повалился.

— Да ты поскорей! — заторопил Саша, и то особенное, что прозвучало в голосе брата, вывело Колю на свет Божий.

Проворно оделся, и они вышли.

Несмотря на раннее время, летне парило. Даже в низких местах как-то сразу истлел снег, а лед, до крайности напряженный, лопнул, и серый слой воды поплыл по реке, и пошла река.

В Андрониеве звонили к обедне, нарядно звонили, как только звонят на пасхальной неделе.

И под этот звон утренний доносил ветер чуть внятный далекий шум и бурленье воды.

Монастырь стоял весь белый, весь в солнце, и жарко горели золотые шпицы круглых башенок.

Идти было легко; влажная теплая земля не трудила ног, а изгибалась воздушно, и хотелось попирать ее, попирать все глубже.

На откосе к реке зеленела травка тоненькая, светлая.

— Вон и одуванчик! — крикнул Коля и мигом спустился вниз, сорвал цветок и так весь ушел в него, ласкся, голубя и радуясь этому солнцу, земле и цветку первому.

Вдруг опять встало вчерашнее, зацепило, и отделаться не было сил.

Выронил цветок.

Шли молча.

Коля восстановлял подробность за подробностью, приближал эту мерзость к самым глазам, вдыхал ее, отвращался и опять лез на нее… но взглянуть поглубже, чтобы отойти прочь, было страшно… и путался неоплаченный счет, драка, и какие-то плевки и харкотина покрывали все.

Саша цеплялся за последнюю гнилую нить, обрывался и падал.

Одного желая, одного искал — выместить свою злобу, расплатиться с кем-то за эти ночи, от которых сердце лопалось, за то свое дело, которое совершить хотел; и для чего, для кого столько убито сил?..

Дальше нельзя, нельзя... все нити подгнили.

А ждать-то как...

Нет, он непременно пойдет, скажет им всю правду, все выложит прямо в глаза, — пускай делают, как знают.

Воскресения день!
И просветимся людие
И друг друга обымем...

— вырвалось пение из раскрытых окон собора, когда, поднявшись по лестнице на монастырскую гору, вошли в ограду.

В соборе стояла давка, еле на паперть пробрались.

От свечей и ладону душно стало. Но пение и то чувство, которое жило вокруг, были такими легкими и особенными, как бывает только на пасхальной неделе.

Потолкались и вышли на кладбище.

— А помнишь, Саша, наши службы? Мы бы тогда все молебны с акафистами выстояли.

Саша горько и злобно засмеялся.

— Ты уж совсем не веришь? — спросил вдруг Коля.

— Нет, — резко ответил Саша.

Подошли к склепу, сели на ступеньки.

Красный огонек поглядывал на них сквозь матовое стекло.

— А как же Глеб?

— Игра и дешевая: и почему бы я верил? — это и у меня есть и у тех...

— Любви нет, любовь сон... Впрочем, я не то хотел, я насчет Глеба... — прервал Коля и чувствовал, как что-то мучительно-страшное подходит к его душе, что-то, чего душа еще не может сказать.

— Дан-дан! — Дара-дан-дан! дан! Дуу-доон — Дуу-доон... — зазвонили шумно во все колокола.

Тронулся крестный ход с артосом.

Саша и Коля дошли в хвосте до башенки и, покинув процессию, стали взбираться по каменной холодной лестнице.

У самой двери Коля повернул назад.

— Я не могу, — сказал он тихо с усилием, будто останавливая другое слово, которое билось на языке и рвалось сказаться...

* * *

О. Глеб обрадовался гостю, похристосовался. Но был чем-то расстроен, или так уж изменился: губы, совсем сохлые, вздрагивали, и щеки потемнели, словно у мертвого.

Улыбался, но лежала на улыбке едкая горечь.

Пирский, послушник старца, принес чаю и пасхи.

Христос Воскресе из мертвых... —

донеслось пение в башенку, — должно быть, крестный ход возвращался обратно.

Саша сразу заговорил о себе, рассказал об экзаменах, которые хорошо кончились, об университете, с которым он расстался, и, рассказывая так, он подходил к чему-то важному для себя, для чего, собственно, и пришел к старцу, но сказать не решался.

— А чем жить будешь, Саша? — спросил о. Глеб.

Ответил не сразу:

— Надо... надо новое создать, большое и крепкое, нерушимое навек.

— Навек из крови?

Саша хотел что-то возразить и задумался.

— Не верю я в них, — сказал он глухим голосом, — потому что... — и вдруг загорячился, — понимаете, только резкое разрушение, кровавый неминуемый бич, творит мечту в человеке. А они смерти боятся, любят свою жалкую жизнь, скучную, ведь задохнуться можно... С ними не выстроить... Они этой вашей любовью прогнили. Николай говорит: «любовь — сон», хорошо, пускай будет так, но к чему она?

Если она – сон, то сон этот для тысячи грезится мутно или совсем не грезится, и люди костенеют в этой изморози, глаза у них опускаются, сонные, они кутаются, зябнут и идут шажком и топчут полегоньку друг друга — эти братья милосердия — топнет, а сам посмотрит, не больно ли... А надо подойти и... вот так! — Саша сделал такой жест, будто ножом ударил.

О. Глеб привстал с кресла. Мускулы задергались на его лице, и руки принялись ловить что-то.

— Душа-то твоя... — едва проговорил он,

— Душа! — захохотал Саша, — песчаная, выветрившаяся, туда и дорога ей, пускай останется одна, но такая... Ты возненавидь всем сердцем твоим, возненавидь крепко, и придет любовь... Не хочу я, чтобы мою душу убивали, и не отдам я моего духа, я не отдам даром! — и, страшно побледнев, застыл весь, глядя в упор на старца.

О. Глеб запечалился, губы вздрагивали.

— Вот, Саша, думаю я, во имя правды мучают, за правду мучают. А правда и там, правда и тут. Привели блудницу ко Христу, привели, потому что закон говорил, и ушла блудница непорочною... Тесно, жутко, странно жить на земле. Ты говоришь: возненавидь, и придет любовь...

— А, может быть, Христа и вовсе не было? — подсмеялся Саша.

— Ты говоришь, надо новое создать, большое и крепкое, навек нерушимое... «Иисус же ста пред игемоном: и вопроси его игемон, глаголя: ты ли еси Царь Иудейский; Иисус же рече ему: ты глаголеши». Понимаешь, Саша?.. и если не полюбишь врага, нелюбовью измучаешься... а что твой нож и твоя кровь, ты послушай меня...

— Не могу я простить, — заерзал Саша.

— Ведь враг – не весь твой враг. Подойди к нему, загляни в глаза: глаза горюют. А ненависть не зальет и не ракроет тебе этой горечи. Жгучий стыд, что вот он, родной тебе, такой вот... Нет, ты подойди к нему, загляни в глаза...

— А он захочет?.. Да он тебя ножом пырнет. Ха, ха, ха. Он с тебя шкуру будет драть, а ты с губами потянешься, ха, ха, ха...

— Я знаю, слушай, Саша, но ведь есть путь...

— Я подходил, – с горечью перебил Саша, — я подходил, руки мои протягивал, а они загорались от обиды: никто их не принял...

И, когда проговорил он эти последние слова, вдруг стало ему ясно, что говорить больше не стоит, что старец ничего не знает, а так играет в блаженного, увертывается, виляет, лжет перед ним.

— Заповедь: убий! — вот она заповедь! — он встал и твердо заходил по келье, — за зло — тысячекратным злом... да, кровь, и если я не пролью крови, так мою прольют, да не только мою...

— Согрейте сердце! согрейте сердце! — простонал старец.

Гадок, омерзителен стал для Саши этот схимник, который схимой прикрыл прогнившие глаза; и чудился запах, он шел по келье, проникал через платье в кожу и сосал сердце. И так захотелось обидеть, уничтожить этого старого лгуна, прожившего все свои силы, и хотелось крикнуть в лицо самое тяжкое оскорбление, такую какую-нибудь обиду горькую, чтобы прожгла она всю эту показную святость заклинателя бесов. И, мысленно понося и издеваясь, он злорадствовал.

— Саша! — протянул старец дрожащие руки, — Саша!

Саша стиснул зубы от горечи, а сердце, сердце готово было...

В монастыре ударили к вечерне.

Вспомнилось Саше, что к четырем он должен поспеть, чтобы всех застать и навсегда уж покончить со всякими делами. Заторопился.

Одна мысль разрывала другую и, разорванные, они вновь бросались друг на дружку, и был ад криков в его душе.

И проклинал старца, себя и весь мир; он не сказал чего хотел, и зачем пришел, зачем это все…

Не приняв благословения и не поцеловав руки, вышел из кельи.

Старец сполз с лестницы и долгим взором сердца глядел вослед ему, и губы что-то горько перебирали, — молился, и рука крестила — молился, и рука крестила неясно-дальнее, что наступало на человека.

XXIV

Непонятное одиночество давило Колю: сам себе представлялся он смертью, мыкающейся посреди всеобщего воскресения.

Так кругом и небо, и люди жили.

И, силясь не глядеть, он провожал всякий крик и всякое живое существо и думал, не разбирая дум, о чем-то жутком, что вот наступит, и тогда он погибнет.

Очнулся.

Увидел грязный знакомый трехэтажный дом с черной сплошь измелованной доской на воротах, позвонил.

Вышел дворник.

Коля стоял и смотрел, удивленный, смотрел на его рыжие засаленные усы и на мелкие потные рябины.

— Вам Машку? — спросил дворник.

— Машку!.. да, да, вызови Машку.

Дожидался. Дожидаясь, разбирал фамилии жильцов. Одна фамилия застряла в мозгу. Машинально повторял ее.

— Плямка — Плямка — Плямка…

И, повторяя, осматривался, будто внезапно разбуженный, ничего уж не понимая.

Наконец, запыхавшаяся девушка в драповой кофточке сбежала с лестницы, и на исхудалом болезненном ее личике засветилась улыбка.

И она пошла за ним.

Как пчела, налетела эта проклятая «Плямка» и жужжала в мозгу.

— Куда вы? куда вы? — крикнула Машка.

Но он ничего не слыхал, ноги сами собой шли.

И они плутали из переулка в переулок, с улицы на улицу, пока не поравнялись с подвальной пивной.

Вошли в пивную.

Пивник — «Гарибальди» — лысый, в очках, с крошечной бородкой колышком, без усов и со скошенным на сторону носом, лукаво улыбнулся гостям.

В пивной было жарко.

Отдышавшиеся тяжелые мухи полусонно перелетали по стаканам. И пиво казалось тягуче-приторным.

— Самую новейшую откупорил-с, — утешал «Гарибальди» какого-то оболваненного гостя, и при этом нехорошо улыбался.

А Коле казалось, это он над ним смеется, да и как не смеяться лысому: вчерашнюю-то ночь перед ним выворачивали...

Машка сидела одетая, конфузилась; из-под платка выбилась светлая прядь волос, а лицо закраснелось. Несколько раз порывалась она вытереть себе пот со лба, да платок забыла, а тяжелый драповый рукав шерстил.

Набирались гости, занимали липкие столики.

Пробки наперебой били.

— Не знаю, что делать, — нагнулся Коля к самому лицу девушки, — слышишь, уеду я, тяжело мне так сейчас, свету не вижу.

Машка ничего не сказала, испуганно захлопала покрасневшими глазами, а веки пухнуть стали, губы вздрогнули.

— С другими ходишь... да?

— Хожу, — едва слышно ответила и закрылась руками.

— И не захворала?

— Н-нет... еще...

— С кем?

— Да с вашими... с городовым... Сами вы виноваты, помните, как переехала я, написала письмо вам, а сама ночи не спала, все ждала вас. И измучилась вся, ждамши, думала, не увижу уж. А вы и пришли вечером, поздно, и с вами этот длинный... Поняла я тогда сразу, чего хотите. И горько и обидно мне было, так бы всю грудь разорвала себе.

Коля сморщился.

— Уйду я, — сказал он сухим голосом.

— Бог с вами! — Машка сжалась, ушла вся в свою кофточку, только худенькое личико еще больше зарделось.

Подали свежую бутылку.

Коля наливал Машке и, не дожидаясь ее, пил.

Не смотрел на нее, не думал, ни о чем не думал.

— Плямка, — сказал кто-то, — ты и есть эта самая Плямка, паршивая...

Машка утерлась рукавом и залпом хватила стакан.

— Навсегда? — спросила она резко, будто перерожденная.

— Навсегда.

И он хотел сказать ей еще что-то, но мысли безалаберно мчались, и одна мысль била другую, а расплывающиеся звуки хмельных голосов сновали где-то так далеко...

А это «навсегда» выстукивало у ней в сердце, выстукивало твердо, без пощады.

Она не плакала, лицо состарилось, яркие красные пятна вспухли на щеках, а губы дрожали. Стояли глаза над пропастью, ужаснувшиеся. А это «навсегда» уж резало сердце, но крови не было, сухо резало.

Острая мысль о завтра рассекла ее с головы до ног, и стало ясно, что там ничего-то нет, ни единого самого малого светика.

Кофточка на ней затопорщилась, будто лопнул тугой неуклюжий футляр.

Машка вскочила, схватила порожний стакан и хряснула им прямо в лицо Коле.

И стакан, ударившись по губам, разлетелся вдребезги.

Коля видел лицо большое и страшное, оно мелькнуло на минуту перед ним, как шар-молния. Веки от боли захлопнулись.

Машка всем телом навалилась на него и била кулаком по глазам, по этим темным глазам, скрывающим всю жизнь ее, всю тоску, все — переболевшего сердца.

И жгло ему щеки и губы и, царапаясь, ползло по щекам, губам.

— Хо, хо, хо!

— Ой да бабенка!

Гоготали вокруг голоса, и огромные красные рты раздирались от хохота.

«Гарибальди» подошел к гуслям, поправил очки, улыбнулся, взмахнул рукой.

И запели гусли широкую заунывную песню, они пели, вили, — пелась песня, плакала...

— Мать-земля, я — сын твой, не покинь меня...

Коля вырвался из рук Машки и, размахнувшись, шваркнул ее оземь...

Медленно поднялась девушка, харкнула кровью и затихла.

Капали на стол капельки, горячие, горькие, и расплывались в пролитом пиве.

В монастыре ударили к вечерне.

— С-сукина манишка! — дубастил чей-то барабанный голос, разбивая песню.

— Та-та-та-бух! — стучали кулаками.

Капали капельки крови горячие, горькие...

— Мать-земля, я сын — твой, не покинь меня... — дрожала струна.

У нашего кабака
Была яма глубока.

— задрал вдруг чей-то кумачный бабий голос.

Показалось Коле, что закрыты все двери, забиты совсем, навсегда, и выйти нельзя...

Навсегда.

А там внутри чья-то железная рука, защемив тугими железными пальцами сердце, выжимала кровь сердца.

Дух перехватило.

И, проскрипев что-то неясное странным, страшным зеленоватым голосом, он уткнулся в колени Машки и так застыл, весь дрожа и задыхаясь.

— Оставьте, неприлично-с тут... — отстраняла девушка.

Как во этой-то во яме
Завелися крысы-мыши,
А крысиный господин
По канату выходил.

— Кой черт, кобылья вонючка, посмел ты во гусли петь, а? Государственными законными правами, слышь, лысый.

— Плямка-сволочь!!

— Лексеев, отступись... Лексеев...

— Уж сколько раз я зарекался... — тянул наперекор всяким звукам одинокий мутный голос, и чьи-то руки бултыхались в табачном дыму.

А едкая горечь, выползая из углов, ползла по полу и подползала к сердцу, впивалась и отпивалась...

Какие-то голые уроды, киша под лавками, вдруг выскакивали к столам и, взявшись за руки, вертелись в ужасном хороводе.

И хоровод рос, сползался, сливался, — прыгал, прыгал, — взлетал под потолок огромным грузным телом, расплывался по полу тягучим тухлым тестом, — прыгал, прыгал, — и, закрутившись зубастым винтом, вертелся — не хоровод, не тело, а тошнотворная, гадкая...

— Плямка...
— Колюшка, голубчик, дай помогу... вот так...
— Плямка...
«Гарибальди» улыбался.

XXV

Коля глубоко дышал, вдыхая теплоту вечернюю.

Веял вечер весенний, голубыми вóздухами любовно пеленал красную землю.

Тысячи толкачиков толклись, теребя долгий ласковый луч, уходящий, засыпающий на ночь.

Коля дошел до монастыря и повернул на широкую улицу с чахлым, теперь нарядным, бульваром и медленно пошел по боковой аллее, хоронясь и надвигая на глаза шляпу.

Щеки саднило, а прикушенный язык то и дело лизал кусочек отсеченной, мешающей губы.

Спина и ноги ныли, и голова тяжелела, будто он нес на плечах тяжелый пуд.

Он перед кем-то оправдывался и, оправдываясь, залезал в такие дебри, откуда выхода уж никакого не было... Травил себя, потому что и в пивной, и когда прощался с Машкой, лгал, лгал и себе, лгал и ей...

— Я уйду.

Оборвались мысли.

Вышел на главную, но, и шагу не сделав, повернул в сторону.

Прямо навстречу шел Алексей Алексеевич.

Очень неловко стало, хватился застегиваться, но неровно пришитая пуговица только отдула полу, бросил пуговицу. Да и поздно.

Поравнялись.

Взглянули друг на друга. Не поздоровались.

Пошли рядом.

— Что случилось? — испугался Коля: вид у Алексея Алексеевича показался ему донельзя странным, руки болтались, как плети.

Но тот ничего не ответил.

Так шли они молча, не глядя друг на друга, и не расходились, словно кто-то третий шел с ними, сковывая своими руками их руки.

— Сергей — брат зарезался, — проговорил вдруг Алексей Алексеевич и улыбнулся, — в отхожем месте перочинным ножичком.

Коля оступился.

Что-то хотел сказать, но слова захрясли, все холодные, как ледяшки.

— Крови так пустяки, — на ладошке унесешь.. — продолжал спутник и, согнув руку совочком, понес ее перед собой, не разжимая пальцев.

И опять пошли молча. Шли неровно, то торопясь, то замедляя.

От моста бежать пустились.

Все нарастающая вода клокотала, подплывала Синичка к пруду..

Мелькнул красный забор.

— Почему это ворота отворены? — крикнуло что-то и кошкой царапалось в сердце.

Добежали до дому.

На сыром дворе перекрестные следы от колес.

Вломились на черный ход.

Голос Пети каплей долбил.

— Известное дело, из тюрьмы в крепость... — обдал Прометей.

На кухонном столе горой подымались подушки и одеяло Саши.

— Братца вашего, так ей-Богу, один грех на Пасху... — виновато обернулся к Коле городовой Максимчук.

— Ваша милость, никто другой! — ворчала Эрих, поводя носом и косясь почему-то на Прометея, — всех вас повесить мало.

— Сгноят, известное дело... — отплевывался от папироски Прометей, и вдруг, засучив руки, заорал во все горло: — шпульники вы проклятые, доберутся до вас, доберутся до окаянных, просить будете, н-нет, не будет пощады, шилом пупок проколют, выворотят брюхо...

— Я тебе говорю, чтобы ты подушку сейчас же отправил, я тебе говорю... — приказывал Петя городовому, уши у него страшно горели.

Лисенок, собачка Саши, заглядывая в глаза, служил, а глаза плакали этими невыносимыми слезами, молча.

И, насторожив уши, взволнованно слушал кургузый Розик.

Коля принялся расспрашивать, но никакого толку не мог добиться: говорили все зараз, кричали, и одно понял: какой-нибудь час назад вернулся Саша, и его взяли...

Женя ходил из угла в угол, — бровь у него дергалась:

— Черт знает что — черти...

Прасковья плакала:

— Сашечка... Сашечка... Светло Христово Воскресение... мамаша-то, кабы знала, девушка, мамаша-то видит все... Сашечка, яко разбойник...

— Маво сызнова по статье законов... Филиппок-то говорит мне: мамынька...

— Я тебе говорю, чтобы ты сейчас же нес, слышишь...

— Мамынька, сердечная...

— Дерьмо ты, шпульник, черт...

— Перочинным ножичком... крови так пустяки — на ладошке унесешь...

Коля бросился из дому, через двор, за ворота, на улицу; что-то гнало идти, идти без оглядки куда глаза глядят.

Чувствовал, как ноги несут куда-то, и слышал все, не проронил ни одного звука; шумела тревожно жизнь, и слышал каждую жизнь.

Свистки на железной дороге и звон часов, и дребезжание пролеток, и гул отдаленных колоколов были не как всегда, не как всякий день.

Все вокруг навязчиво лезло, что-то пряча, что-то скрывая, отнимая, отщипывая кусок за куском.

На запотевших окнах какого-то освещенного дома, под едва слышную музыку, прыгали тени.

Остановился.

— Тут веселятся, — подумал, — они не знают. Они не знают.

Тени, прыгая, зачертили страшные слова.

Он видел ясно: люди плясали, а тени их плакали.

Вдруг стрекозами выпорхнули одна за другой все до единой мысли, скучились, зацепились, и упал нож огромный, острый и рассек их...

Глухая тоска безответно, тупо хлынула, как кровь из глубокой смертельной раны.

Если бы можно было сразу выкрикнуть всю эту боль невыносимую, задавить в себе эту тоску... Бежал, куда глаза глядят, не чувствовал под собой ног.

Цапаясь, падая, вскарабкался на монастырскую гору.

Но сил больше не стало, повалился на землю, на холодную траву.

Тоска не отхлынула, наводняла тоска пустое сердце.

Меркло зеленоватое затихшее небо. Зеленый месяц тихо взбирался на ограду вверх к колокольне.

Гудела, плескалась высоко поднявшаяся река, гудела, ворчала, выводила одно и то же, одно и то же.

Поднявшиеся слезы теснили грудь, душили горло; что-то холодное царапало ссадины, врезалось в мясо.

Закусил от крика землю.

— И — себе, и им — и себе, и им! — разрывалось сердце, черно-синее сердце, и кровь вскипала, и каждая капля крови, испаряясь, ложилась иглой на сердце, и их было тысячи тысяч, и каждая колола сердце...

И, чернея от боли, сердце мстило:

— И себе, и им — и себе, и им!

Громоздились плахи за плахами, щелкали пытки страшными зубами...

Сгорбившись, прошел Алексей Алексеевич, неся перед собой согнутую «совочком» темную руку, зеленый, улыбаясь...

Коля поднялся на руки, минуту каменел так от блеснувшей ужасной мысли: догнать и...

Вдруг со страшной высоты грохнулись на него тысячи колоколов и, придавив к земле, расплющили мозг.

— Дуу-доон! — Дуу-доон! — били часы, и каждый выбиваемый час бил по обнаженному.

* * *

Медленно поднялся Коля с земли.

Окутала мир страшная тишина: река не бурлила, не росла трава, и часы не ходили.

Медленно пошел к ограде, к башенке.

Плакало сердце, тихо, как плачут одинокие, у которых отнимают последнее, как плачут оклеветанные, как плачут бессильные перед тем, что кто-то крутит и вертит миром и не слышит и слышать не хочет...

Каменная лягушка шевелила безобразными перепончатыми лапами.

Вздувалось ее белое брюхо.

И он вспрыгнул на ее живую спину и, обняв полукруг башенки, ударился.

Град белых острых искр, взорвав тьму, разлился в глазах.

И с безумной радостью он бился лбом, бился крепко, больно, больно, больно...

Казалось ему, прощается он со светом, надругавшимся над ним, над его детским сердцем, прощается со светом, искровянившим его тело, исполосовавшим всю его душу, прощается с теми, кого так крепко... кого не любил вовсе, и просит простить и бьет, бьет, бьет себя за слезы их...

И раскрывалась под ним изъеденная красная пасть лягушки и короста, шелуха слетали с лягушачьего лица, и окрылялся камень... Вот взовьется...

Встревоженные стрижи закрестились крылами, зазвенели, перечося молитвы тихие.

И вспомнился старец.

Красный огонек теплился в окне башенки.

А над ней улыбался месяц искаженно-зеленой улыбкой.

Коля отступил на шаг, отступил и, пораженный, остановился.

Окаменел весь.

Смотрел пристально, смотрел долго-долго.

Припоминал...

Вдруг перехватило дыхание.

Он быстро нагнулся, пошарил по земле, нащупал голыш... вздрогнул кровавой дрожью, прицелился, развернулся...

И камень свистнул.

Жалобный стон прозвякнул в окошке.

Раскатился.

Огонек метнулся.

Затрепетал.

Огонек заплакал.

— Ха, ха!

И загас.

Ночь.

* * *

В доме Огорелышевых отдавалось приказание, чтобы духу Финогеновых не было на дворе.

— Тебя еще заберут...

И люди шли исполнять приказание.

А Бес, неприкрашенный, худой, сидел на гвозде затопленного забора, отделявшего Синичку от пруда, и, курлыкая, грыз копыто, голодный Бес, испачканный плевками, кровью, а людям, таким жалким и доверчивым, казалось: это половодье гремит, волны ворчат...

Эх, ты, гордый человек!

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Часть вторая

I

Николая сунули в камеру.

— Вот вам парашка, а вот кровать!

— Тррп-зз-трр... — растерянно затрепетал замок.

И сначала загремел, потом... а вот и совсем замер звон стукающих ключей и топот уползающих шагов.

И стало одиноко, как никогда еще.

Ни там, в участке, где в тесноте и толкотне, скорчившись, забивался в угол под пеклом взглядов, ни дорогой об бок с городовым, таким жалким и зябким...

Белые-белые стены.

Тертым стеклом усыпаны.

И что-то, будто грязное, серое тело, чуть прикрытое лохмотьями, распластанное на кровати, полезло в глаза.

Лечь не смел.

Казалось, от его взгляда зашевелилось это месиво, затряслось, как студень, и начало медленно по кусочкам расползаться и растекаться.

Преодолел омерзение, повалился.

Было невыносимо жарко, когда очнулся.

Да это номер, решил вдруг спросонья и обрадовался.

— О. Гавриил, а Гаврила — ты? — покликал запекшимися губами.

А было так тихо и одиноко.

Под потолком мутно-брюзжащая лампочка сторожила.

Белые-белые стены.

Тертым стеклом усыпаны.

Снял шубу, калоши, шапку.

И только что закрыл глаза, как развернулась битком набитая площадь. И много мелькающих лиц болезненных в искаженных сморщенных чертах.

Крик резко раздирал гул и гомон; какие-то рахитичные дети, цепляясь тонкими бледными пальцами за подол женщин, выли.

Предчувствие давило сердце. Ждали чего-то, что должно было непременно прийти из-за домов и соборов.

Лунные тучи кутали небо сочащейся зеленью.

И оно уж шло.

Разрывалось сердце.

Хотел бы умереть тогда, такой желанной являлась смерть.

Вдруг окоченела толпа, замерла, приросла к земле.

Но один миг — и все изменилось.

Нечеловеческий вопль, как смертельная весть, понесся из уст в уста и ярким серпом стянул толпу и острым жалом проткнул всколыхнувшуюся темную грудь.

Черные, такие длинные, руки взмахнулись над головой.

Черный дождь жужжащих бичей взвизгнул и дико запел, как поет в раскаленной степи пожар ковыля.

Здания рушились, разверзалась земля.

Он стоял среди гибели, ничего не чувствовал, одно знал, скоро и его очередь.

Какой-то рослый, здоровый парень, перегнувшись с седла, хлестал полуобнаженную женщину.

Видел, как от стыда и боли извивалась спина, как, проступая, надувались по ней полоски красные, синие, черные.

А руки отчаянно ломались в воздухе, хватались за что-то предсмертной мольбой:

— Спаси меня!

— Та, та-та-та т... — выбивал скороговоркой на игрушечном барабане о. Глеб.

О. Глеб со сбитой на сторону схимой, совсем пьяный, а губы кровью вымазаны и на губах улыбка разлившейся похоти.

Вскочил, как ужаленный.

В открытую форточку двери глядело лицо надзирателя и мелькала синенькая тетрадка.

— Выписочку, — говорил слащавый голос, — на завтра напишите.

Было невыносимо холодно.

Зуб на зуб не попадал.

Опять оделся, ходить стал.

В жужжащей тишине пулями носились слова, обрывки фраз, слова.

До мельчайших подробностей восстановил прожитый день.

Досадовал и горячился и ужасался, хотелось повернуть что-то, сделать не так.

И все повторялось и повторялось.

Щелкнул волчок.

С залежанного тюфяка и со взбитой комом подушки глянула теперь постылость и покорность.

Такой ненужной и мелкой мелькнула жизнь.

Ни одного белого луча, все ползло и было неправым и лживым.

Как черви, выползала из всех лиц, на вид безупречных, грязь и гадость.

Полезли позорящие человеческую душу поступки, мысли, движения.

Закрыл глаза.

Выл ветер, высокую выводил ноту, выл тупо и скучно, дыша в самое ухо.

По трубе пар пустили.

Казалось, бежал кто-то на огромных ногах, добегал до изголовья, заглядывал в лицо и, ухая, бросался прямо в кровать.

А за ним другой, а за другим третий...

От толчков все тело заныло.

И представилось, едет он будто в вагоне, а буфера в такт железно-сухо трутся и приговаривают что-то, какой-то глупый дурацкий припев:

Сто усов —
Сто носов.

Лавки и полки сплошь кулями заставлены.

И напал страх, потому что в кулях что-то живое ворочалось, не то крысы, не то какие-то лягушата поганые, а этот припев до тошноты изводил.

Метался по вагону, не умел отворить дверь.

Вдруг будто град осколков впился стальными лапками глубоко в шею, а железный кулак ударил по голове, подкосил и начал бить...

С болью раскрыл глаза.

В коридоре тюремный колокол звонит к поверке.

Надорванно-растянутой, узловатой полосой прошмыгал сонный строй ног.

Загремели ключи.

Срыву рванулась дверь.

Два отекших арестанта, переминаясь и сопя, вошли в камеру, вытащили ведро из судна и, отмахнув руки, потащили вон.

— В шесть вставать полагается, — сказал надзиратель и, приперев кровать к стене, вышел.

Николай слышал убегающие шаги, такие большие и твердые, которые, казалось, могли растоптать его, слышал звон и стук ключей, которые держали его и владели им, как вещью, нет, крепче, чем вещью, — и новое, яркое чувство наполнило сердце.

Неволя...

II

Мелькнул медный тусклый свет тюремной ночи.

Подслеповато-иззябшее утро, проползая по снежным тучам, кутало сухой паутиной ржавое окно.

Худо прикрепленная форточка вздрагивала нервно и, вздрагивая, скрипела.

Николай оглянул свое новое жилище холодное, неприветное.

Прочитал правила, дотронулся до мажущихся стен, потрогал стол и табуретку, заглянул на полку, уставленную казенной посудой, осмотрел иконку Спасителя, за которой розгой грозилась прошлогодняя пыльная верба — —

Приидите ко мне все труждающиися
и обремененнии и аз упокою вы!

повернулся и стал ходить...

И, желая что-то сообразить и к чему-то приготовиться, неслышно для себя принялся каплю за каплей собирать все годы, которые прожил в ожидании какой-то огромности и своеволия, прожил будто в полете над страшною пропастью: срывался и терял голову, грудью о камни бился, валялся ничком в грязи, захлебывался, но что-то подымало, оживляло, уносило дальше, а может быть, не уносило, только крутило на одном месте.

Выгнали их из дому.

Помнит день, когда уезжали.

Ссорились, грызлись друг с другом, ломали, коверкали вещи, заносились, вызывали, всех и вся оболгали, лишь бы на чем-нибудь сорвать сердце.

Потом это невыносимое молчание, когда очутились в грязной комнате, пропитанной жильцами, голодом, беднотой, когда очутились в давящей унижающей тесноте.

Сидели на узлах, ни слова не проронили, голоса не подали, боялись, он выдал бы плач, от которого душа захлебывалась:

— Почему, почему мы такие...?

Потом тихонько в дверь нужда постучалась — верная спутница, не забыла.

Будто в уголку где-то зимовать примостилась, дырявая, гнилая, рваная вся, с плоским безволосым черепом, с загноившимися мутными от слез глазами...

Разбухшие от цинги прелые челюсти рот перекосили, а изо рта хриплый и гнусавый крик:

— Есть! Есть! Есть!

Вокруг тараканы шуршат, грызутся мыши, клопы кишат.

Кусок за куском летит в зловонную пасть — подлизывает крошки, а все ей мало.

— Жрать! жрать! жрать!

Приняли они страшную гостью.

Унижала их, горбила, обливала помоями, насылала болезни и беды, приказывала терпеть, приказывала сжиматься, приказывала лгать...

Узнали они ночи без сна за какой-то грош, а потому за грош, что не знали, будет ли вон эта жаба сыта?

Дыхание ее выжгло клеймо на лбу.

А дух жил пещерной, скрытной жизнью, гордый — внушал сердцу бунт и царство, богатый — опьянял сердце грезами, вольный — рвался из пут на широкий простор, горел, разливался, буравил землю, рвал небо.

И душа надрывалась, захлебывалась в плаче:

— Почему, почему мы такие...?

Помнит эту страшную ночь, когда Александр из тюрьмы воротился... пасхальную ночь.

Ни пасхи, ни кулича не было.

Сидели все вместе в полутьме у раскрытого единственного окна, глядели в черную ночь — в душу себе, и пошевельнуться не смели, чувствовали, что сзади кто-то висел, не мать ли висела...

И вдруг колокол.

Они вскрикнули от боли и отчаяния:

— Зачем, зачем Ты издеваешься так...!

Бунтовалось сердце, бросало в небо беспощадную хулу и проклинало землю и, проклиная, плакало одинокое, рыдало горю своему, до которого нет никому дела на целом свете...

Вскоре Александр оставил их.

Должно быть, там, в тюрьме, хрустнуло что-то, и родилась другая мысль, — вскормили мысль стены, взлелеяла неволя, окрылила злоба дьявольскими крыльями.

Помнит этот закованный взгляд, осторожные, верные движения, которые не вскроют ни одного раздумья, не обнаружат ни одной полоски.

Все встали, верно, к цели, наперекор и прямо, какими угодно путями.

И на лице каменная улыбка:

— Все возьму, и то, чего взять нельзя.

Побратался с Огорелышевыми...

Хотел власти.

— А еще, еще чего? — заметался Николай.

Вдруг закружились мысли, сердце переполнилось тихим светом, но тишина громом рассеклась, выбилось пламя из каждой кровинки, загудело, завыло, и встал среди свирепого дыма преображенный образ женщины.

Посмотрели глаза, посмотрели, как тогда, темные, в темь одиночества и бесприютности, темные, но краше и ярче всех цветов и всякой песни.

Согрели, пролили жизнь на измученное сердце.

Никогда еще не любил так, — любил, как отчаянный свою петлю.

Первые поджигающие взоры, нечаянные, такие правдивые, как сердце чистое — звезды весенние, что обещают красные дни и солнышко.

— А мне, — закричало сердце, — такую жизнь... да, жизнь, глуби ее, тебя, — ты, Бог мой!

И, повторяя имя, повторял голосом забывшегося, вознесенного сердца этот голос, эту музыку, эту песню —

Песнь песней:

— Приди ко мне!

И чувствовал до ужаса близко всю ее; чувствовал, как билось ее сердце, как обнимались души и улетали...

Стукнула форточка двери.

— А чай в двенадцать, — резко прервал надзиратель, просовывая кувшин с кипятком и ломоть хлеба.

Сдавило грудь.

Проломить бы эти стены, взорвать бы на воздух эту крепость, эти камни, это железо, этих вооруженных, покорных людей — вечную стражу вечных стен!

Все мысли прыгали на острие ножа.

Пришел голодный, — рвалось — рассказывало сердце, — пришел изнемогающий, отчаянный, смерти хотел, смерти искал.

Клятву давал разбить грудь, только не жить так.

И был один путь...

А вдруг простерлись руки, протянулись к тебе, как алые тени вечернего облачка.

Она утолила твою первую жажду, Она сбила тебя с твоей дороги, Она бросила венчальный венок в твой темный омут, чтобы крутился и плыл, и ты плыл вечно, вечно — один миг.

Ты любил ее.

Но должен был уйти...

— Выгнали, — захохотал кто-то, — тебя выгнали, слышиишь!

И представилась ему вся эта гнусная сцена с ее отцом...

— А какую тогда роль ты играл?

— Все возьму, — зашептала каменная улыбка на бесстрашном лице родного брата.

Последние капли жизни на мгновение иссякли.

Опустился на табуретку.

Беззащитным взглядом искал перед собой.

Где-то далеко жили какие-то люди, люди о чем-то думали, чего-то желали, люди за что-то боролись...

Николай надавил кнопку.

— Скоро чай-то? — спросил раздраженно.

— Часика через два.

— А!

Прочитал правила, дотронулся до мажущихся стен, потрогал стол и табуретку, заглянул на полку, уставленную казенной посудой, осмотрел иконку Спасителя, за которой розгой грозилась прошлогодняя пыльная верба —

Приидите ко мне все труждающиися
и обремененнии и аз упокою вы!

повернулся и стал ходить...

— Не вернется... не вернется, — напел темным голосом чужой, нелюдимый голос.

Будто чумное стадо прошло через все луга, через все пастбища его расцветшей мечты, утоптало, смутило все, что росло, хотело расти.

В коридоре так тихо стало, словно лилась с коридором его душа, только неумолимые шпоры одни мерно звякали:

— Не вернется… не вернется…

Бесшумно распахнулась дверь.

Вошел грузный начальник.

На рубцеватом суровом лице светились добрые глаза.

И, когда говорил начальник и когда обещал, чувствовалось что-то родное, и все грани, раскалывающие людей на врагов и не-врагов, казались такими ненужными, неважными и призрачными...

— Тррп-зз-трр… — робко затрепетал жестокий замок.

Бумагу пообещали к вечеру, — обрадовался Николай.

Теперь принесли чай, но кипяток уж остыл.

Попробовал заварить в кружку. Размешивал, разминал. Только ложка, пропитанная щами, распарилась.

Пил противную тепловатую бурду. И мир угасал.

Охватывала ненависть.

Ненависть не к этому начальнику, который только обещаниями кормить может, не к солдату, который тупо караулит и следит за каждым твоим движением, а к тому непонятному произволу, по которому на твою долю голод выпадает и унижения и такие желания, которые сжигают всю твою душу и не дают ей покоя.

С остервенением, с закипающей кровью пытал судьбу.

Видел издевательства, косность, самообольщения и обольщения, зверство, а над всем одно… одно страдание.

Видел, как что-то пречистым таяло на лицах в ангельском умилении, как трубили трубы справедливости и негодования, а в сердце какие-то паразитические насекомые гадили и кишели и безгранично царили в своем царстве мелочности, честолюбия.

Люди хотели быть искренними, а лгали, нахально лгали, и себе и другим, лгали хуже всякого, кого добродетельные клеймили отъявленным негодяем.

Люди хотели быть чистыми, а чернили тех, кто не подходил к их мерке, к дурацкому колпаку внешних заповедей; и коптилось людское сердце.

И для чего жил мир, и на чью потеху прыгал одинокий человек… на потеху? — на слезы и страдание себе и тебе, тебе и себе, враг и не-враг.

Какой твой Бог, кому подобие его, кому образ?

Спихнуть этот произвол — этот мудрый порядок безумно-

го — слишком расчетливого мозга, потушить ли в своих глазах этот свет — грязь, сладость... не грязь, не сладость, нет, не то... — бросалось сердце из горячего пара в студеный ледник.

Бросалось без устали, без передышки, — ответа нигде ему нет.

Закатившимися каменными белками, ужасом и насмешкой смотрел, не глядя, древний, источенный алкающими прикосновениями, неподвижный сфинкс.

И по мере того, как всматривался он в чудовище и копался в душе, камень размягчался, разбухал, белел, разливалась сеть тончайших нервов, алела, и выступали острые сине-грозовые ресницы, и шевелились сомкнутые губы, кровь играла...

И снова камень, опять этот ужас, опять насмешка...

— Жертвы тебе, жертвы! — задыхалось сердце.

Разлившаяся желчь, как камень, затвердела и запрудила живую кровь.

Скучно... так скучно...

И время пошло через силу, еле-еле — калека вестовой на изломанных костылях.

Жил, как живет трава на людной улице под водосточной трубой, заметенный, заплеванный, не знал, зачем живет, зачем другие живут, для чего мир, где Бог, какой Бог...

Принесли обед.

Николай не дотронулся: стыдно свиньям дать.

Ждал вечера.

Позвякивая кандалами, прошли арестанты. Шум и пыль пронеслись по их следу, а за ними уходил день.

Растопыривая дымные, кишащие лапки, поматывая безглазыми, безобразными головами, ползли тюремные сумерки.

Проползали в камеру, подползали к сердцу, вонзали свои тупые вороньи клювы, лизали шаршавыми гадовыми языками, пока не вскрылись раны, не потекла густая отравленная кровь. —

И вот в мутно-пушном, все сгущающемся свете зашипел изводящий голос.

А чья-то черная рука с какой-то гибельной страстью запойного схватила за его руку и потащила в глубь страшных кощунств, хулы и изуверства.

Мучительно надсаживаясь и сопя, два огромных бритых арестанта волокли за грязный обтрепанный подол полумертвую женщину.

Казалась она непосильной тяжестью, а была такой маленькой и хрупкой.

Узнал Машку.

Расцарапанными руками судорожно и пугливо прятала она истощенную худую грудь.

Узнал эти глаза, наивные и детские.

Плюнул в помертвевшие зрачки, плюнул от невыносимой боли, занес ногу, чтоб каблуком навсегда проломить этот укор:

— Зачем так надругался надо мной?

Потемнело в глазах.

Шатаясь и подпрыгивая от пинков, мать шла.

Челюсти тряслись от слез.

И он протянул руку, хотел приласкать, согреть мать, но рука неверно скользнула и упала тяжелым ударом прямо в спину матери.

А она поднялась и пошла, шла и молила каплю милосердия, обезумевшая от горя, мать...

Закружились в глазах кровавые пятна.

Он почувствовал, как в сжатой горсти захрустел сухой песок.

И, как когда-то, прицелился и метко пустил в раскрытые больные глаза больного помирившегося брата Жени.

Да, видел эти глаза, такие грустные и беззащитные. И сыпал и сыпал в эту беззащитность и грусть сухой песок.

Тогда душа в немом отчаянии схватилась за мысли, за оправдания, но они выскользнули, увернулись, все попрятались.

И спасения не было.

Душа была обнаженной.

С бесстыдством потерянной женщины она выставляла себя, казала всю мерзость и нечистоту своего заразного продажного тела, размазывала пальцами грязь по своим измученным членам, наваливала на себя грехи за грехами, подлость за подлостью...

Изводящий голос гудел жутким гулом похоронного звона и ярко, отчетливо выговаривал слова за словами своим беспощадным чугунным языком.

И Николай просил простить его:

— Господи... Господи, прости меня!

Всю мою жизнь я буду ползать, как последний червяк, я все снесу без ропота, я пройду все муки, лишь бы Ты...

А черная дьявольская рука с сладострастием запойного тащила в болезненные наслаждения поруганий, хулы и издевательства.

На крик кричала душа, вырывалась, боролась, но сил уже не стало, — она отдалась истязанию и пытке и боли безумной.

Сердце по кусочкам резали.

Вдруг белым светом Преображения упала пелена на выжженные глаза.

Среди белоснежных облаков, воркующих с теплой лазурью, встала Она и запела голосом полного сердца эту музыку, эту песню...

Песнь песней:

— Приди ко мне!

Но те, которые так глубоко врезались в душу и жалили сердце — их было много — они продирались сквозь серебро белого света, карабкались один на другого с искаженными ртами, в гноище, в слезах, в нестерпимых муках, с страшным словом на похолодевших от истощения и горя ртах:

— Проклятый ты, проклятый!

И метался по камере.

— Спаси Ты меня, спаси!

* * *

Зажгли лампочку.

Долго не успокаивалась лампочка в своей железной клетке: кивала, подмигивала, удивлялась, насмехалась, рыдала тоненькими загнутыми язычками.

В коридоре зазвякали равнодушные шпоры.

Хлопнула форточка двери.

— Сто двадцать, — сказало-мелькнуло лицо дежурного.

Хотел спросить о бумаге, хотел о многом, о многом спросить, будто там, за дверью, все знали.

— Сто двадцать один, — ответила-захлопнулась форточка.

Вошел надзиратель, отпер кровать, помялся, будто собираясь сказать что-то большое и важное, и вышел:

Спокойной ночи!

И опять ночь.

Стало все крепко безответным и скрытным.

Стены молчали, таили в своем каменном сердце какое-то бесповоротное решение неуклонной неведомой судьбы.

И погасла запылавшая с отчаяния мечта о том, как было бы хорошо, несказанно хорошо, если бы сделал не так, как сделал, а по-другому, если бы вовремя догадался, вовремя спохватился, был более чутким...

А где-то внизу, на тюремном дворе, громыхали.

Казалось, строили чудовищную плаху, громоздили орудия пытки, точили адские бритвы...

А где-то внизу, на тюремном дворе, пилили:

— Не вернется... не вернется...

И глухо ударяли молотками:

— Никогда... Никогда...

И кто-то бежал на огромных ногах, добегал до изголовья, заглядывал в лицо и, ухая, бросался прямо в кровать.

А за ним другой, а за другим третий...

III

Медленно неделями — годами, днями — неделями, мгновеньями — вечностью ползло тюремное время.

Выпускала тревога острые когти, вонзала когти в глубь сердца, волновала, душила.

Скрытые глаза души, палимые болью и одиночеством, зажигались пожаром.

Собирались слезы со всего мира, претворялись слезы в живую плоть, толпами находили люди, окружали горящим кольцом, распахивали грудь, вынимали свое сердце.

Он читал написанную на трепещущих огненных свитках судьбу каждого, разбирал вырезанные глубоким резцом мысли, деяния, чувства.

И ясным становилось то, что разбредалось, путалось, мешалось за грохотом-свистом и криком-шумом сутолки жизни, и понятным становились и этот грохот-свист и этот крик-шум.

Болтала болтовня свои пустые бредни, выплясывала игра свои кривляки-пляски, хмурилось раздумьем нехмурое лицо, покрывались холодные губы искристым смехом, а руки упорно тянулись вон за этим, за тем... за этим...

И, казалось, раскрывалась уж тайна человеческой жизни.

Маски, маски... а за ними лица такие несчастные, сиротливые, окаменелые, источенные горем, изрытые сомнением, оглушенные неведением, раскосые, помраченные, растерянные, скотские...

Но приходили новые толпы, окружали смоляным кольцом, распахивали свою грудь, вынимали свое сердце.

Страшные, странные слова горели на этих черных свитках.

И то, что было грехом и преступлением, не было теперь грехом и преступлением, а было пышными кострами, прожигающим миры до их пуповин, лабиринтными путями в лоно нечеловеческих тайн, — и то, что венчалось красотой и святостью, страшило своей чудовищностью и безобразием и трусостью и

наглым лицемерием, — и хаос распускался в созвездия, — и добро менялось троном со злом, — там, где низвергались боги и потешались в святотатственных оргиях темные силы, взирало око Бога, — и там, где возносились славословия, хохотал Дьявол.

Рассыпались, слагались, тлелись зорями царственные сердца, что жили одиноко, раздирались узловатыми пальцами праха, расплющивались костями, высасывались пауками, точились молью, изъедались плесенью и всем, на чем печать была похожих и равных.

И вновь блистала разгадка...

Но покрывалось пространство густой черною ночью.

Несметные толпы находили и сходились, красные горящие сердца, как огненные языки, пылали, и струились по ним слезы расплавленным металлом, и они горько шептали:

— Пойми нас!

И эти, одинокие-несчастные, и эти, убогие-несчастные... говорили в один голос:

— Пойми нас!

И душа трепетала... распускала вмиг свои мягкие крылья, укрыть, прижать, пригреть, отогреть хотела эту горесть, и печаль, и скорбь земную... душа земная.

Падал невидимый молот, приколачивал гвоздями рвущиеся крылья, а на руках гремели оковы.

Медленно неделями-годами, днями-неделями, мгновеньями-вечностью ползло тюремное время.

Было тихо, как в застенке с замурованным входом.

Светы-звуки угасли.

И кора шумов и скрипов, слов и гулов, облекающих душу, разбухла, расщепилась на бесчисленные волокна; нити свернулись, засохли и обратились в прах.

Он слушал.

И сказалось то, что вечно лишь смутно говорилось, и сказалось то, чего так боялся сам открыть себе, и закричало то, чего ввек бы не прошептал самым тайным голосом в тайну отходящей души.

И вот поднялась буря голосов, слетелись, понеслись вихри звуков, зажурчали шепоты, покатились волны слов, встали валы грозных громов, выбил фонтан криков, попадали капли упреков-слов, загудели, завыли водопады победоносных гимнов, забарабанили боевые кличи, и схватилось причитанье-ропот с разгульной песней, и потонул в лобзаньях бессильный скрежет...

Там загорались голоса, как праздник, кричали камни...

Там голос, как седая трава, брюзжал старческим беззубым ртом.

Беззвучный плач на заре певучей.

Воспоминание в разгар желанного беспамятства.

Глухой укор в миг наслаждения.

Там темный голос, совсем чужой, выл, как царь-колокол, рвал сердце и раздирал и рассекал и резал... врасплох застигнутое сердце.

Раскидывался театр.

И голоса, как люди, жили.

Мясом обрастали бездушные скелеты, заливались кровью пустые жилы, пылали глаза.

Это был голос-мать, это был голос-брат, и голос-друг, и голос-враг, и голос-вождь, и голос-раб... изменник и палач, предатель...

И много было голосов других — все люди с плотью, с кровью.

Он слушал, застывал, как лед.

Бросался то к одному, к другому...

Пытал себя.

И хлестала разыгравшаяся буря крупным, частым дождем, колола снежною крупой, царапала глаза песком, разъедала известкой и пылью.

Изнеможенный, падал и в затаенной тишине слышал вдруг бой часов — сторожа неволи, они напоминали...

И вмиг распускала душа свои мягкие крылья, улететь хотела на землю... душа земная...

Падал невидимый молот, приколачивал гвоздями рвущиеся крылья, а на руках гремели оковы.

IV

Чуть живые старые стрелки старых часов едва передвигались.

Какой-то сернистый удушливый воздух окутывал душу; разлагались мысли, и зияла пред глазами страшная пустота.

Хотелось книги, тех книг, где слово — смутный отголосок какой-то иной жизни и иного знания — раскрывало преддверие царств и отбрасывало тени от теней существ, которые обитали там, и вело по темным ходам в жизнь неведомых миров.

Хотелось книги, слово — откровение которой живой водой вспрыскивало умирающий состав души.

Но книг не было.

Николай казался себе таким ничтожным и бедным, и такими жалкими и смешными являлись все человеческие догадки и попытки вырвать у тайны хоть смутный отблеск, хоть тихое эхо ее глаз, ее голоса.

Безразличье окутывало мир сонливой паутиной, а люди, которым входить полагалось и командовать, казались изнеможенными, желтыми, жалующимися, больными, и была невозмутимая покорность и готовность всему подчиниться и все исполнить.

— Вот в семь у нас куб: кипяток несут, а в двенадцать обедать, а потом опять куб, — так оно и пойдет и пойдет... — сказал как-то еще в первые дни надзиратель.

Так оно и пошло.

— Грачев, а Грачев! — кричит чуть свет надтреснутый, усталый голос дежурного, — Лугачев! на работу! Пугачев... черти!

Несут кипяток.

Серый день по капле струит сухой свет, и свет сыреет, расползается и входит в жилы и терпким ядом точит кровь, а душа придавленной птицей неподвижно на земле лежит и зябнет и уж хочет ли чего — сама не знает.

Николай позвонит и ждет.

Форточка открывается.

— Ну что, ничего не слышно?

— Ничего.

И не пройдет минуты, опять звонит.

— Насчет бумаги как?

— Ничего не знаем.

И ходит он из угла в угол, от окна к двери, от двери к окну.

Прислушивается.

Над головой кто-то мучительно ходит, и по бокам кто-то ходит, и кто-то кашляет, надсаживая хрипящую грудь, и кто-то, должно быть, опять на коридоре досадливо-беспомощно ругается.

— Лугачев... Грачев... Пугачев... черти!

И приходит ночь, ночь бессонная, бессмысленная, ночь тупокошмарная, безгласная.

Он уж не видит ничего и ничего не слышит.

Только ветер, вдруг налетает ветер, судорожно теребит костлявыми пальцами форточку и ветренно-веще подает весть...

— Повтори! повтори!

Но ветер скрывался. Ветер далеко. Только скрипели ржавые жалобные петли.

V

Крепко-морозные звезды, разгоняя чертей, пробились сквозь сумрак Рождественской ночи.

Отдохнувшие за пост колокола поднялись, загудели со всех колоколен.

Николай услышал монастырский звон.

Взобрался на окно, открыл форточку, вперился глазами вдаль: искал белую колокольню Андрониева и пустырь и пруд.

Бесшумно лопались звезды, и тучи искрящихся алмазов, вспыхивая и рассыпаясь, стлали по небу белые пути, и звезда к звезде льнула.

Спутывались их золотые волосы, сплетались их серебряные ручки...

Они неслись по небу, пели:

— Слава в вышних Богу!

А рогатый месяц, выглянув острым красным рогом, вмиг черный от проклятой чертовской ноши, за дома канул.

И вспомнилось Николаю, как когда-то, наголодавшись до звезды, пили наверху в детской чай с барбарисным вареньем, да, опрокинув липкие чашки, на двор выбегали, на дворе башлыки с шапок срывали, да, посорвав башлыки, пускались по пруду до самой купальни.

А морозу, бывало, нарочно подставляют щипать щеки: чтобы, как у больших, брови заиндевели, а бровки такие тоненькие... и индеветь нечему.

Потом волчатами к воротам пробирались: огонек в окне у дяди Алексея злобно и зорко горел...

Приходили в церковь.

В церкви темно, только лампада чуть теплится пред Грузинской чудотворной иконой, да маленькая свечка на кануне.

И никого еще нет, не звонили.

Черный, как нечистый, бродит в пустой церкви пономарь, Матвей Григорьев...

Потом церковь битком набьется.

С нами Бог...

— грянут певчие.

А Прометею всегда казалось, что это он, один он рявкнул на всю церковь...

И, вспомнив все до капельки, отчетливо услышал Николай в гуле звонов родной звон.

Да, у Грузинской звонили.

Какие хорошие, какие... эти дни были, и им никогда не вернуться...

Залилось светом сердце.

Не помнил ни на ком зла.

Он видел всех добрыми, они встали перед ним и слов таких никогда не говорили и никогда так тесно не жили, как в эту минуту...

Насмешливо щелкнул проклятый волчок.

Слез с окна.

Лютым холодом пахнуло в сердце, — сердце засыпало дрожью.

Изгрыз бы тогда ненавистную стену.

— Один, один... — грустило сердце.

И вдруг, будто от тяжелого сна пробудился: в окно, пробивая лед пространств, прямо глядела тихая звездочка.

Бросился, окунул иззябшее сердце в ее родном греющем свете, простер руки к ее горящим рукам, — понеслась душа за тюрьму, за дома, за дворцы, дальше и выше...

Она сорвала корону тихого мерцанья и бурного огня, наполнила грудь до верхних краев запахом весенних растений, засветила сердце песнями и восторгом нечаянных радостей.

Тогда исступленно закричали страстные зарницы, разлились семицветные зори, разошлись утоленные жажды, загромоздились жизни.

И скалами застыло время.

Но алчущий взор расплавил камни...

И раскинулась вечность.

И всякая самость и тварь и сознание сошлись и слились в единую душу.

И была эта душа той, которую любил он.

И она была всем, и все одним было.

Да! помнишь, помнишь! — кричало сердце — уж вечерний свет погрузился в голубую дрему, и золото, прилипшее кусками к коре сосны, сгорело, и ночь пришла и задымила факел над знойными июльскими полями, ты помнишь?..

Не вернется... не вернется, — напел вдруг чужой нелюдимый голос.

Отчаянье сковало тело.

И просил он, просил...

А полночь черною жестью на окно ложилась, сменялись звезды, — прилетали неродные.

Двурогий кровавый месяц вольно плыл по небу, и кто-то черный, плясал и скакал на нем, плясал, скакал, как победитель.

Боялся шелохнуться.

За спиной бродили дразнящие соблазны и дышали горячим паром.

Мелькали призраки, неслышно растворялась дверь, и кто-то окликал жутко.

Тоска росла.

Казалось, он видит гроб свой... зияет перед глазами яма... опускают гроб... опустили.

И ком за комом падала земля.

Не смел закрыть глаз.

Странной улыбкой горели губы.

И кликал.

Ни звука.

Приснись... приснись Ты мне в эту долгую ночь... одинокую!

VI

Наступили Святки.

Места себе не находил от тоски, ночами глаз не смыкал, одно чувствовал, — вся душа изнывает, одно чувствовал, — подходит что-то, становится с каждой минутой все ближе и ближе.

И в полузабытьи с открытыми глазами мерещились Николаю всякие страхи: наполнялась камера маленькими насекомыми, юркими, как муравьи, заползали эти муравьи за шею, вползали в рукава, в ноги, впивались, точили тело, растаскивали тело по мельчайшим кусочкам.

Уж, казалось, все было изгрызано и съедено, был один голый скелет, и чувствовал, как ссыхались и сжимались кости и давили сердце, и сердце болело тупою болью.

Делал страшные усилия, тряс головой и на мгновенье пробуждался, но только на мгновенье, — тотчас же из каких-то раньше незаметных щелей и трещин, сначала в одиночку, потом целыми стаями, выползали эти проклятые гады...

* * *

В положенный час повели на прогулку, как водили однажды всякий день.

И была эта прогулка пыткой.

До последних ступеней провожали мутные глаза камер.

В некоторых огни засветили, и бросились от светов тени на решетку и, перегнувшись, как живые, хотели спрыгнуть в нижний ярус.

И болело в их напряженности страшное отчаянное ожидание.

Как на аркане, ходил Николай по кругу.

Заходило солнце, золотисто-инеевой вечер рассыпал по небу холодные красные кристаллы, и валили со всех сторон алые клубы зимнего дыма.

Зудящее жужжанье телеграфных проволок, уханье ухабов, скрип и скат полозьев, — все это мчалось, мчалось куда-то.

Оглушал грохот, опьянял воздух.

Снова сунули в камеру.

Захлопнулась дверь.

Замок щелкнул.

И глянули стены чугунными плитами склепа.

И нечем дышать стало.

И нечем дышать стало еще потому, что с душой произошло что-то неладное: сердце под льдом горело.

А на миг так ярко блеснувшая мысль, что это — конец, страшная болезнь какая-то, за плечами которой стоит смерть, эта мысль отточила все силы до острейших лезвиев.

В один миг ожили все воспоминания, прошла вся жизнь, и вспыхнули такие мечты и такие желания...

Им грани не было.

Развертывались и вдаль и вширь от вечных льдов до цветов весенних, по степям, по горам.

Утратили имя, к груди землю прижали, спалили ее нищету и богатство, понеслись за звезды... невидимое светом открытых глаз озарили, неслышное скатили громами, сорвали пелену тверди... свистнули крылья, пустились к престолу... коснулись ступеней трона...

Хлопнула форточка двери.

— Сто двадцать, — сказал кто-то резко из-за страшной дали.

И, когда надзиратель отпер кровать, оставили силы — Николай повалился.

Кутался в одеяло, хотел что-то припомнить, сказать что-то, зацепиться, а чувствовал: спускают куда-то, на каких-то горючих

красных помочах, тянут куда-то все ниже в черную глубь, глубже...

Лежал в оцепенении.

Слышал, как что-то стучало, ходило везде: и в висках, и в груди, и за окном, и за стеной.

Жмурился, а в глазах красные топорики и молоточки мелькали, мелькали и постукивали.

Лежал так долго... целую вечность.

Вдруг резко прокричал один одинокий звонок.

Кто-то шарахнулся от двери, шмыгнул по коридору.

Замок щелкнул... Замок щелкнул...

Тихо.

Кривила тишина свои сухие, зеленые губы.

Насторожился.

Сдернул одеяло.

Бросился к двери.

— Повесили! — шепнул кто-то.

Шепнул кто-то из коридора.

И шепот проколол тишь и тяжелым молотом хватил по виску.

— Повесили!

И хлынула смертельная тоска, затопила тоска ужас, сорвала все побеги сердца... кипели волны, а по ним будто горящие немые птицы.

Отчаянье сцепившихся в схватке молний.

Крушенье мраморных зданий.

Выбившийся в небо кровавый фонтан.

Затаенность в миг жизни или смерти.

— Повесили!

— Тррах!! — раскатилось по камере: Николай грохнул табуреткой в лампу.

И звякнул, задребезжал свет... хлынула тьма кромешная.

Скорчившись, с затаенным дыханием он слышал один одинокий, резко кричащий звон.

Долгий...

Свой звон.

И тихо, снова тихо и черно.

Пожирал тьму.

Вдруг из черноты выделилась блестящая фигура.

Медленно и упорно шла она к обезумевшему и, не дойдя шагу от него, остановилась.

Это был латник с суровым, ужасно знакомым лицом.

Измученными глазами, вытягивая всю душу, латник в упор смотрел на Николая.

И Николай смотрел на него.

Не мог оторваться.

Минуту казалось, он понял что-то, разгадал что-то, узнал человека в блестящих медных латах и медном шлеме.

Зашевелился латник... сделал шаг...

Медные латы сдавили сердце.

* * *

И почудилось Николаю, вскарабкался он на стол, отворил форточку.

В лунной ночи ясно белел монастырь, а за ним черный пустырь, а за пустырем пруд.

Над прудом поднятые вверх черные руки огромных обрубленных ветел и никлые кустарники в белом серебре.

У плотика прорубь.

А дом весь в снегу, наверху сквозь запорошенное окно мерцает лампадка.

И вот он будто выломал решетку и стал спускаться.

Месяц так близко, так страшно — месяц такой большой.

Совладать не может.

Обрываются руки, и выскакивают, падают камни, шелушится штукатурка — вот сорвется!

За сто двадцатый карниз зацепился, а конца краю не видно.

А месяц все ближе...

Да ты вверх лезешь! — словно ударил кто-то.

И в самом деле: от колокольни мелькала лишь точка, а пруда и вовсе не было.

Вдруг оборвались руки, скользнули по воздуху... зацепились, впились в кирпичи пальцами.

Влип в железо.

И в смертельном ужасе, с захолонувшим сердцем повис над бездной...

* * *

Был час рассвета.

Но рассвет был лунен, как лунной ночь стыла.

До одури пьяный, обделав свое дело над каким-то несчастным, храпел палач в крысьем, без окон, темном карцере.

Из-под подушки красный новенький кафтан торчал ухом.

Проиграл палач красный кафтан, а чуть свет — в дорогу опять, и не дадут отыграться.

Вышла из-под пола голодная крыса, оскалила чутко желтые зубы...

Разметался, растопырил палач сальные пальцы.

Снилась ему старуха-мать, с котомкой по полю шла, а он, будто совсем крохотный, бежит за ней; хочет за подол схватиться — да ножонками не поспеет, а покликать не может, пропал голос. Потом скрылась мать, остался он один среди поля — на нем красный новенький кафтан... И взял его страх: нарядили в кафтан, чтобы в гроб положить.

На тюремном дворе прошла казнь.

На тюремном дворе неразобранный помост к земле пристывал.

Огромный на нем фонарь коптел.

От фонаря росла черная тень. И другая черная тень находила на тень и расходилась.

Месяц, как голый череп, над головой стоял.

Часовой на помост поднять глаз не смел. Мысли лезли жуткие, жалостные.

Казалось, и смены не будет.

Виделся ему повешенный, как надели на него саван, слышался ему голос из-под савана:

— Я ничего не вижу.

— Пожалуйста! — звал палач.

— Я не могу идти.

— Царица небесная!

В сводчатой глухой мертвецкой коченел теплый труп казненного.

Промерзшие седые доски таяли.

Кто-то острым зубом стену точил.

От того звука в тишине волос дыбом вставал.

От того звука сердце, как нож, о грудь острилось.

От того звука с тоски места не стало.

От того звука...

Месяц, как голый череп, над головой стоял.

И конца ночи не было.

И люди, понуро, спали и спросонья слипшимися губами бормотали молитвы: чтобы сытым быть и сытым жить и одиноким не остаться... одиноким не остаться...

А там, на небесах, устремляя к Престолу взор, полный слез, Матерь Божия сокрушалась и просила Сына:

— Прости им!

А там, на небесах, была великая тьма...

— Прости им!

А там, на небесах, как некогда в девятый покинутый час, висел Он, распятый, с поникшей главой в терновом венце...

— Прости им!

VII

В городе шла жизнь своим чередом.

Людям недоставало времени всех своих дел переделать, а времени было страшно много.

И дела были все ненужные и неважные, весь смысл которых держался одной минутой.

Все хотели сделать что-то такое, чтобы раз навсегда успокоиться, но пути к этому покою не знали, а потому метались из стороны в сторону, хватались то за одно, то за другое. И, кончая одно, видели ничтожность сделанного и начинали другое, а чаще толклись на месте, переворачивая и подправляя одно и то же всю жизнь.

Все, чего хотелось, не исполнялось, а если и приходило, то невзначай, а чаще приходило то, от чего обеими руками открещивались.

Завтрашнего дня не знали.

Казалось, кто-то скрытно изготовлял его да в потемках подкидывал на улицу, а люди поутру от неожиданности только рты разевали и начинали жизнь по скрытой указке, нелепо, на горе себе.

Бес тешился.

Сил тратилось пропасть.

Всякий по-разному: одни работали, потому что голод этого требовал, работали до одури, а толку не было — голодали по-прежнему и тупели; другие излишествовали — обжирались и опивались, празднословили и праздношатались, изобретали себе заботы и хлопоты, а толку не было, — удовлетворения не испытывали и, обессилев, тупели.

С утра до ночи улицы кишели людом.

Сновал всяк туда и сюда за своим делом.

Лица были озабоченные или искаженные или напускные; никто как следует не улыбался и не смеялся, а если и улыбались и смеялись, то скверно и отвратительно.

Заповеди топтались и средь бела дня и ночью, под призором стен и под открытым небом.

Насиловали, убивали, грабили, обманывали, растлевали, клеветали...

По мелочам все уж преступили, и преступать нечего было, тайком все нарушили, и пробовать нечего было.

Все знали заповеди и внешне чтили.

Заповеди стояли чем-то навязчиво-приличным, жизнь же катила своим путем неведомого и беззаконного.

И, когда разгорались страсти и когда скрыто кипели вожделения, в праздник или в будни, все равно, какими смехотворными представлялись все одинокие пожелания и россказни этих обновителей и устроителей скученной своры, имя которой — человеки.

Откуда-то издалека, из-за стен, окружавших город, доносился голос пророка.

Пророк взывал:

— Остановитесь! Одумайтесь!

И вся эта толкучка слышала и толклась и бежала, подергивая своими маленькими хитрыми ушами, с заплаканным сердцем.

Не остановиться, а мчаться, сломя голову, не одуматься, а оглушиться, чтобы жить, жить, иначе разойдутся все дороги, и пути не станет, иначе небо упадет на землю, станет время, смерть пожрет.

— А смерти не надо! не надо! не надо!

Куда гонит эта страшная, беспощадная рука, зачем так больно бьет и мучает, — все равно не узнать... ты не узнаешь.

А тут дети ручонками вцепились, кричат от голода:

— Папа! папа!

А у соседа тоже дети, и у того, кто помыкает и кровь твою пьет, и у того, кто его кровь пьет...

— Господи, только бы день хорошо прошел, да завтра утром проснуться.

А для чего проснуться?

Всюду вонь, нечистота, помои, нагая гниль и гниль разукрашенная.

Все тут сходилось — красивое и безобразное, миловидное и отталкивающее — насыщалось, чтобы зажаждать еще большей сытости, рожало, чтобы убивать, и убивало, чтобы плодиться.

Казалось, вот распояшутся, сбросят с плеч лохмотья и побрякушки, бросятся друг на друга, и закипит свалка, и с перегрызенным горлом и с распоротым животом повалится тело на тело.

Лицемерие подтачивало всякую веру, и эта подлая напускная святость глаза отводила.

Жалкие люди, — ибо по-другому идти жизнь не могла.

А большего не вмещали...

Даже дети — эти единственно милые и чистые незабудки...

Нечистый подлинно первым был коноводом.

Недаром ходила молва о проклятом пруде, недаром, как угорелые, гнали лошади мимо дома Огорелышевых, — этого гнезда всякой нечисти и судьбы города, а у пешеходов тряслись поджилки.

По-прежнему дом стоял, такой белый, как сахар, а согретый снежной зимой палисадник зацвел теперь душистыми и красными цветами.

Все братья были живы-здоровы.

Николай Павлович завез по осени из-за границы какую-то изумительную и очень острую затею, которую и пустил в ход на своем пригородном имении.

Был уличен с поличным, но дело обошлось благополучно: оказалось, князь давно уж этим занимается... и впрок.

Игнатий с головой ушел в благотворительность и в писание душеспасительных книжек, которые раздаривал направо и налево.

Нищих по воскресным дням толпилось около ворот видимо-невидимо.

И всякое воскресенье подавалась им медь, и душа пребывала покойной.

Управление фабрикой перешло сыну Алексея Сене, который еще утонченней перетасовал дедовский уклад с заморским.

Фабричных не пороли, но шкуру драли не хуже прежнего. Только чисто и гладко — комар носу не подточит.

Сам же, Алексей Павлович, как ни был стар, а ухо востро держал, во всякую безделицу встревался и, кажется, ни один волос не падал без его воли и ведома.

Пристрастился старый на старости лет к бабам, много выходило грязных историй, но все оставалось шито-крыто.

Потому что приблизил к себе племянника Александра, с каких-то времен сделавшегося личным секретарем Огорелышева.

Александр же знал, как хоронить концы в воду.

Без него ничего не делалось, ничего не предпринималось. Как тот скажет, так тому и быть. А говорил Александр всегда дельно и никакого подвоху не было.

Но по городу этого не замечали, а если и замечали, то заикнуться не смели. И Алексей Павлович не говорил себе об этом, боялся: ведь это конец шел, сама смерть.

А смерть пуще всего ненавидел.

Придирался к Александру, изводил, муштровал, мучил в злые минуты.

С каждым днем чувствовал старик, как стальная ладонь Александра давит ему череп, погружает куда-то... загнала по шею, уж заливает уши...

А тому только этого и надо: под каменной маской разгоралась заповедь — давить надо человека, чтобы человеком владеть, иначе, не ровен час, этот самый человек тебе на плечи вскочит.

Умышленно раздувал огонек, который по-прежнему куда за полночь светился в кабинете дяди и мигал дьявольским глазом, прорезая темь двора.

А на дворе собаки лаяли, и выло эхо по пруду от бессонной фабрики, и кто-то илистой лапой обваливал берега пруда и затягивал дно тиной, чтобы в грязи гнездо свить.

Только вот с прудом и творилось неладное — так думали — а то все было по-старому, на своем месте.

Стоял красный флигель, как стоял раньше, будто кто и жил в нем, а двери были заколочены.

Пришибленно и придавленно шла жизнь, но как-то стройно, по заведению.

Одно смущало.

На Пасху в ночь сторож, Иван Данилов, своим единственным неокривевшим глазом видел, как «барышня» Варенька — удавившаяся мать Финогеновых, с террасы сходила и головой кивала, а он с перепугу доску выронил и коленку себе отшиб.

Беды ждали.

И напасть пришла.

На Николу в сумерки, когда, по расписанию, фабричные должны были уж спать, вспыхнули битком набитые спальни, вспыхнули с какой-то неистовой силой, охватившей огнем весь корпус.

Задуванило со всех концов.

Кто не поспел выскочить, — и был таков, а целы остались немногие.

Детей одних погорело — тьма-тьмущая.

Когда подоспел вызванный Александр, только головни пылали, да чадили и дымили пережаренные человечьи трупы.

Флигель стоял весь обуглившийся, с пробитыми окнами, черный...

Вовремя Александр не мог приехать: в этот вечер разрешили ему свидание с Николаем, которого отправляли по этапу из города.

Этому обстоятельству все и приписали странность поведения Александра: известно было, что Николай едва выжил после какой-то сильнейшей горячки, скрутившей его на Святках, и свидания трудно было добиться.

А поведение воистину было странным.

Приехал Александр такой спокойный и важный, а вместо того, чтобы принять какие-либо меры, сидел долго, запершись в конторе, — дядей никого не было, все уехали на именины к брату. Потом с каким-то остервенением выскочил на двор и, прорезая толпу не хуже самого Огорелышева, прилетел на пожарище.

Лицо было синее от злости, тряслись челюсти.

Кричал, чтобы головни растаскивали, чтобы все в пруд валили.

И, когда оторопевшие фабричные и команда бросились исполнять приказание, вспыхнули дрова и деревья.

Насилу огонь уняли.

А он, каменный, стоял на террасе и смотрел куда-то, и красное от зарева и пламени лицо улыбалось.

Как улыбалось!..

VIII

Было уж к ночи, когда Александр вернулся к себе.

Ходил по высоким, роскошным комнатам.

Не было ни бешенства, ни улыбки, ни этого проклятого камня; лицо стало каким-то прежним, немного лукавым и милым, и острота глаз притупилась, и были глаза грустные, такие грустные.

Та мысль, которая взорвалась в душе, теперь улеглась; надолго ли? — сам себе не мог сказать. Только не думал уж о доме, о паскудном старике, о той тревоге, которая не давала покою и гнула, и гнала, и одарила этой властью, и открыла вперед дорогу, и конца которой не было.

Он видел брата Николая, о котором, кажется, всю-то жизнь думал, а не знал об этом, видел сходные с собой черты и слышал его голос измученной кротости, которая глядит в душу, заставляет вспомнить позабытое или создать небывалое, как музыка.

Видел и тех, других — Петра и Евгения, таких несчастных, изуродованных и голодных.

И на минуту все лицо исказилось, и горькое чувство захватило сердце, но вдруг кровавый крик затопил всю душу, лицо окаменело.

Не укорял себя, не стыдил, нет, он твердо знал, для чего так жил и чего хотел; и выбора не могло быть.

— Довольно уж, довольно…

И вспомнил все обиды и оскорбления, накопившиеся за все годы, вспомнил все унижения.

Вдруг вздрогнул…

Попятился и застыл, как в страшном испуге.

С портрета глядела девушка.

Она стояла во весь рост с опущенными и крепко сложенными руками, а венец развевающихся русых волос едва наклоненной головы полураскрывал лицо, и улыбались губы, страдая, губя и целуя, и звали-обещали притуманенные темные глаза, пели песню.

Песнь песней:

— Приди ко мне!

Кто –то стучал в дверь.

Очнулся.

Это Прасковья, нянька, простоволосая.

— Батюшка, Александр Елисеевич, а Колюшке чулочки-то и забыли, — шамкала тупо-горько сжатыми губами, — Митя-то мой тоже опять закрутил.

— Кланяться тебе велел, — почти закричал Александр, — Прасковье, говорит, кланяйся, слышишь!

— Кто ж его знает, девушка, напущено, видно. Ну, спите, батюшка, Христос с вами.

И опять встало прежнее, но еще резче закричал тот голос; опять она… она плыла перед ним и, притупив глаза, манила вослед за собой и сгибала его, трясла этим движением своего тела…

Он тянулся за ней, он вдыхал ее… этот полевой цветок.

— Таня… Таня… Таня…

Он вдыхал ее… этот полевой цветок, и чувствовал всеми чувствами — запах раскрывал свое первородное, что приковывает к себе, как что-то дорогое бесконечно, забытое и вновь восставшее.

И с болью рвалось желание, хотелось нестерпимо, ужасно, тотчас же взять ее…

Ночь волнистою темною душною грудью мира коснулась.

Лики земные дыханием тусклым покрыла.

Здания спящие, башни зорко томящихся тюрем, дворцов и скитов безгрезною, бледною тишью завеяла.

Не услышат, не пронзятся стуком сердца моего.

Оно рвется, оно стонет.

Не услышат...

В оковах забот люди застыли, в снах задыхаясь болезней, нужды.

И ржавое звяканье тесных молитв завистливо, скорбно ползет дымом ненастным по крышам.

А судьба могилы уж роет, и люльки готовит, и золото сыплет, и золото грабит.

Не услышат, не пронзятся стуком сердца моего.

Оно рвется, оно стонет.

Не услышат...

Полночь прошла.

Изнемогая в предутреннем свете, время устало несется.

Мне же, Незримому, здесь в этот час жутко и холодно.

Жутко и холодно.

Отчего ж не могу я молиться Родному и Равному, но из царства иного?

Проклятие — царство мое, царство мое — одиноко.

Люди и дети и звери мимо проходят, мимо проходят скорчась, со страхом.

Я кинулся в волны речные.

Ты мне ответишь?

Ты не забыла?

Ты сохранила образ мой странный и зов, в поцелуе?

Ты сохранила.

И ушла с плачем глухим в смелом сердце своем.

Так в страсти, любви к страсти, любви прикасаясь, — Я отравляю.

Даже и тут одинок.

Слышу тоску и измену и холод в долгих и редких лобзаниях.

А сердце мое разрывалось.

Алые ризы утренних зорь загорелись.

В пурпурных гребнях дымятся черные волны.

Устами прильнули вы, люди, к пескам пустынь повседневных.

Ищете звонких ключей в камне истлевшем.

В мечты облекаетесь мутные.

У меня есть песни!

Слышите пение — кипение слезное?..

Вы затаились, молчите в заботах.

Алые ризы утренних зорь кровью оделись.

Проклятие — царство мое, царство мое — одиноко.

Словно золото облачных перьев крепкою бранью заставило путь между мною и вами.

Так вечно, во веки, всю жизнь...

А кто-то живет, мечтая и тут и на небе.

Так вечно, во веки, всю жизнь, вечно желать безответным желаньем, скорбь глодать и томиться.

Власть и тоска.

Беспросветная.

Темная.

И одинокая.

IX

Шла третья неделя, а этап все задерживался.

Казалось, прятался тот день, когда войдет «старший» и объявит, и все подымутся, загудят, споря и собирая рухлядь со всевозможными тайниками для табаку и «струменту».

Назначенный, наконец, на Николу к вечеру, когда уж все было готово, этап был отменен по случаю праздника до следующего дня.

Шла третья неделя, как неожиданно для себя Николай очутился в «общей» и еще слабый, не оправившийся от болезни, жил, озираясь, со слипающимися глазами, словно все время засыпал, а кто-то непрерывно будил, или сам поминутно просыпался от чего-то непременно нужного, что прикасалось и напоминало о себе.

Карманы в первую же ночь были вырезаны, а вскоре как-то среди дня, когда от страшного утомления и напряженного бодрствования, не помня себя, повалился на нары, и сон легко и приятно потянул его в какую-то пропасть, бездонную и темную, часть штиблет была срезана.

Шум, драки, ругань — постоянные, назойливые, скрутили все мысли, и они забились куда-то, а там, где жили и ходили, зияла пустота ровная, страшная и тихая...

Только что «сошлась поверка», и надзиратели обходили окна, постукивая молотками о решетки и рамы.

Принесли огромную парашку и заперли камеру.

Полагалось спать, но камера все еще шумела и галдела о разного рода притеснениях, бане и шпионстве.

Не раз у решетчатой двери появлялась черная фигура надзирателя.

— Копытчики, черти, ложись спать! чего разорались? — покрикивал его суровый, раздраженный голос.

И кое-где забирались под нары, стелились...

Так понемногу и неугомонные успокоились и, теснясь друг к другу и зевая, дремали.

Стало тише, только там и сям все еще вырывался скрипучий смех и сиплый визжащий оклик; «Лизавета» — подросток-арестант — шнырял по нарам, и мелькало лицо его, избалованное, мягкое, с оттопыренной нижней губой и желтизной вокруг рта...

И становилось душно, душны были мысли, бродившие под низким черепом гниющей и мутной камеры.

Ночь чистая, весенняя засматривала в окна тысячезвездным ликом своим, такая вольная и такая широкая.

Николай лежал с открытыми глазами.

Так сбит был за весь этот день свидания с Александром, столько нежданного он принес ему.

Припоминал Александра, припоминал свой разговор с ним, видел лицо брата и слышал глухой, опавший голос внезапно раскрытого сердца, и как вдруг брат потемнел весь, когда он о Тане спросил...

И вновь припоминал весь разговор свой и мучился, потому что должен был сказать что-то, а не сказал, и мучился, потому что поддающийся ответ какой-то только дразнил, разжигал, распалял душу.

Лежал Николай бок об бок с своим неизменным ночным соседом — «Тараканьим Пастухом», который по целым дням молчаливо выслеживал тюремных насекомых и давил их, размазывая по полу и нарам; на прогулке, сгорбившись, ходил он одиноко, избегая «публику-людей» — прочих арестантов, и только, когда мелькал женский платок или высовывалась в ворота юбка, он выпрямлялся, ощеривался и долго, порывисто крутил носом. Николай прижимался к этому безответному бродяге, впивался в него глазами, будто ждал решения.

И тот никак не мог устроиться, ерзал, чесался; песочное лицо его с буграми и впадинами от какой-то болезни, в бесцветных редких волосах, напоминавшее спину небрежно выщипанной вареной курицы, мутилось и ощеривалось. Вся его история давно была известна: когда-то певчий у «Василия Стаканыча», потом

переплетчик, потом завсегдатай «холодной», стал он, наконец, «подзорным», захирел и теперь снова шел...

— В такую ночь сердце живет, — вдруг проговорил «Таракании Пастух» хрипло, почти шепотом, — в такую вот ночь...

Он привстал и задумался.

Николай отодвинулся.

— Такие ночи были светлые, теплые, а я голодный, — продолжал сосед, — как собака какая, бродил по лесу. Все нутро-то иссосало у меня, поди, дня три и во рту ничего не было. Оглядывался да осматривался, не пройдет ли, мол, кто, а тут лист ли хрустнет, птица ль вспорхнет — так и насторожишься весь, подкатит к сердцу, жрать больно хочется. Думаешь, вот тебе тут и подвернется кто, а никого нет. Помирать собирался...

Так вот ходил-ходил, а лес кончился, уж заросль пошла... Только глядь это, крыша блеснула. Обрадовался я, — бежать. Оглядел дом. Вижу, свету нет. Спят, думаю. Я — к окну, дернул, — поддалось. Полез, да прямо в кухню. Стал шарить, шарю, а вареным-то этим, кислотой, так в нос и пышет, сам едва стою, мутит. Целую миску щей вытащил, и принялся уписывать. Насытился. Ну, думаю, возьму из вещей чего, да и уйду. Вижу, дверь в комнаты ведет. Отворил, пробираюсь, иду, сам не дыхаю, тишком, кабы чего не сшибить. Вдруг вижу, в углу на койке женщина лежит, спит. Я к ней. Распласталась вся, бе-лая, рубашка-то с плеч съехала... Постоял-постоял... Крови-то у меня как загудут, от духу-то от одного этого дрожь всего засыпала, — нагнулся. Вот бы, думаю, этакую... царевну, да как чмок... Вскочила.

«Петр! ты? — говорит, — пришел, не забыл, а как я, говорит, как встосковалась по тебе!»

Смотрит она на меня своими светлыми, светлыми глазами, а потом обняла меня, стиснула всего, целует. Креплюсь я, кабы не сказать чего.

«Чего ты, — говорит, — молчишь все, — ни словечка не вымолвишь?»

«Не время», — отвечаю ей, и голоса уж своего не признаю... забрало больно.

Дда... ну... вот, возились, возились...

....

Домой думаю, застигнет еще кто.

«Куда, — говорит,— ты, Петя, или уж разлюбил меня, все-то ведь я отдала тебе... не совладала с собой».

Так вцепилась, так вцепилась, не оторвешь. Выскользнул я, да в окно. Да только это ноги спустил, вижу человек... так прямо

и прет на меня. Я было в сторону, а он за мной. Нагнал. Остановились мы. Стоим. Смотрим друг на друга. Глядел-глядел он на меня, страшный, будто мертвец какой.

«Распутница, — говорит, — распутница!» — и пошел.

Пошел, не оглянулся. Гляжу ему вослед: все идет, и дом прошел. Окно-то открытым осталось, блестит. А она стоит в одной рубашке, глаза вытаращила, смотрит…

Так это он сказал тогда про нее: распутница…

«Пастух» скорчился весь, и голова и грудь его пригнулись к животу, а кашель глухой и тяжелый колотился и рвался и резал мягкое что-то и нежное больно…

Менялось дежурство: тяжело стуча, прошли шаги нетвердые и сонные, и другие шаги со скрипом, перебивая их, приближались.

Вся камера спала, кто-то бормотал и скрипел зубами.

«Тараканий Пастух» лежал навзничь и, ослабевший, беспомощно дышал.

Где-то далеко щелкали колотушки, а ночь по-прежнему заглядывала в окна, ночь чистая, весенняя, и такая вольная, такая вольная, такая широкая…

Не двигался Николай, не раскрывал глаз, боялся большего, боялся знать, боялся думать…

Холодный пот покрывал лицо.

Приютившийся на кончике нар и перебесившийся весенним бешенством, вдруг поднялся тюремный Бес и, скрутившись в дугу, пополз, вереща, вдоль распластанных тел по грудям, по ногам, и стал Бес мешать, сливать, — душить…

X

Прошел и обед и кипяток, а распоряжений никаких не было.

Со злости дрались и грызлись: у подследственного татарчонка оборвали ухо, старику кипятком ноги ошпарили, и, Бог знает, до чего бы еще дошло…

И только когда уж смерклось, вошел старший и объявил, и тех, кому идти следовало, перевели в другую камеру и заперли.

Одетые в дорогу, сидели арестанты на нарах и ждали.

Соскучившиеся и измученные лица их сливались с серой одеждой.

Над дверью казенно лампочка брюзжала.

Говорили о порционных и дорожных, жаловались, на все жаловались, как больные.

Потом молчали, искали, чего бы сказать, на дверь косились, оправлялись.

— Скоро придет надзиратель, отопрет, поведут в контору, а там на вокзал...

Вдруг встрепенулись: в коридоре загремели ключами.

Надзиратель широко раскрыл дверь.

Конфузливо запахивая халат, вошел незнакомый высокий, худой арестант из «секретной» и, рассеянно, будто никого не замечая, сразу сел.

Большие глаза его, казалось, когда-то провалились, потом внезапно выскочили, измученные, перепуганные.

Приступили с расспросами.

— Ты далеко? — кто-то спросил его.

— В Устьсысольск, — ответил он не то робко, не то нехотя.

— За что попал?

Но арестант молчал.

И только спустя некоторое время, глядя куда-то за стену и читая что-то, начал.

Все присмирели.

— История... рассказывать долго... — заговорил арестант, — служил я конторщиком в Пензе и уволился. Поступил в Туле на завод рабочим, запьянствовал. Правда, пил сильно, да, летом ушел в деревню. Нашла там тоска на меня: хожу по полю и все думаю. Раз так горько стало, лег я на траву... и вдруг вижу, черт стоит по правую руку и Ангел Хранитель по левую. Прочитал молитву, — черт скрылся, да... и опять. Встал я, молитвы читаю, а он за мной, ни на шаг не отпускает. Дома рассказал о черте.

«Иди, — говорят, — к священнику».

Пошел я наутро. Священник спал. Я ждать-пождать.

«Не дождешься ты его», — говорит работник.

И пошел я на кладбище, лег в холодке на могилку... и пошли мысли у меня: как на свете жить, и зачем жить? Думал я, думал и забылся. Просыпаюсь, — легко мне, будто что слетело с меня. Осмотрелся: ни пиджака, ни шапки нету. Ну, думаю, пропал теперь: документы и все украли. А кругом ни души, тишина, солнце высоко поднялось. Постоял я, посмотрел так и пошел, и сам не знаю куда. И тоска взяла меня, такая тоска. Вдруг черт... и идет за мной, так и идет. Куда я — туда он. По дороге канава...

«Раздевайся, — говорит, — ложись!»

Послушался я, снял с себя все, хочу лечь, только вижу на дне гроб, а в гробу скелет. Я и говорю:

«Милый ты человек, может, богат ты был, а теперь ничего не можешь»...

А черт говорит:

«Эй, — это твой скелет: ты из мертвых воскрес!»

И я увидел, раскрылось небо, ад представился. На самом верху Бог Саваоф, а с другой стороны стена высокая-превысокая...

«Там праведники, а ты тут будешь, мучиться будешь!» — услышал голос. Тут упал я на колени, смотрю на небо, смотрю на небо, и так хорошо мне, да...

Не знаю, как очутился я в каморке без окон темной, тесной, нежилой, видно. В щели засматривают мои товарищи, засматривают и смеются... И все — черти. Прочитаю молитву — прогонятся, а потом опять выглядывают. Как закричу на них — явился Ангел, заплакал, взял меня за руку, и повел...

Иду я по лесу, думаю: и зачем это я к немцам нанялся по лесу голым ходить за сто рублей? Возьму расчет... голым ходить, да...

А уж немцы идут, кричат по-своему... И все — черти.

«Не хочу служить вам! — кричу на них, — отдайте мне семьдесят девять рублей, а остальные на братию жертвую. И где это видно, чтобы по лесу голым ходить за сто рублей?»

А они ругать меня принялись, издеваться надо мной... И вижу вдруг, смотрит солнце на меня, смотрит и ласково так манит к себе.

«Солнышко, — взмолился я, — куда идти мне?» — уж так досадно мне было на этих немцев.

«Туда вон!» — говорит оно и показывает будто дорогу.

Бросил я немцев, иду, а солнышко говорит, говорит, и так хорошо, так хорошо мне...

«Чего безобразишь, а? — закричали надо мной, — не видишь, что ли, девки тут?»

Очнулся: поле, сенокос, полно людей, а я совсем голый.

«Отдайте мне мои деньги!» — закричал им.

А они как бросятся на меня, лупили, лупили, к уряднику поволокли, и там всю шкуру спустили. Потом в острог посадили за бесписьменность. Нашла тоска на меня, такая тоска... черти явились, всю камору заняли. И куда ни глянешь, везде они, черти, да... черти.

Остановился.

Губы странно, страдая, улыбались. Глаза выскочили: не отрываясь, глядели они на что-то смертельно страшное.

Между рамами от нестерпимой боли завизжал ветер.

Хлопнула форточка.

Сидели все молча, и каждый думал о чем-то неясно-тоскливом, о какой-то ошибке непоправимой, о жизни ушедшей.

Сидели все молча, и они посреди них, темные, вертелись, сердце травили, сердце щипали, и рвалось это сердце наперекор куда-то, наперекор...

— Собирайся! — ключи зазвенели.

И тотчас гурьбой, подталкивая друг друга и оступаясь, повалили через коридор в контору.

Пришел старший, принес какую-то темную ржавую связку не то ключей, не то замков, бросил ее на стол, и под тихий ее стон и дрожанье прошла перекличка.

Когда же окончилась перекличка, и каждый держал по ломтю черного хлеба, вошли конвойные, нехотя взяли первую попавшуюся руку и руку соседа и сомкнули замки... нацепили «баранки»... И большой и малый стали близнецами, и малый лез и корчился до большого.

Так уж видно судьба!

— С Богом!

Их было немного, и попарно прикованные друг к другу, они шли и пылили затекшими ногами.

Шли-плелись, беспокойно вертя рукой невольной, и от насильной близости что-то оттягивающей тяжестью нависало на плечи и гнуло спину.

Сияла теплая майская ночь.

Теплые темные тучи расходились, и звездное золото, открываясь, разливалось по густо-синему шелку, и они жадно вбирали дыхание какой-то страшной свободы, распахнувшейся далеко вокруг до самых последних краев, где с тучами поля сходились, где кресты колоколен уходили под звезды.

Но грязные и закорузло-потные, они и тут не переставали жить нарным тяжелым воздухом — ибо всякому терпению положена своя мера.

Конвойные — забитые солдатики, худые и тонкоголосые, окружали беззащитную голь, но их обнаженные шашки не сверкали, а были ненужными и даже, казалось, тупыми и картонными.

До вокзала дороги два-три часа оставалось.

То тут, то там вспыхивало тонкое змеиное пламя, и малиной входила махорка в ночь.

Стало теплее и уютнее: что-то домашнее оседало на душу и тихо ласкало.

Будто уж и на волю выпустили!

— Это так не полагается! — сказал было конвойный, сказал и забыл.

Их было немного, и, попарно прикованные друг к другу, они шли и чувствовали куртку соседа и там, за этим сухим волосатым сукном, изможденное тело и ребра, но каждый чувствовал также, что вот сзади идет Аришка и идет Васька, нескованные и особенные.

Аришка то и дело забегает наперед, семеня около каждой пары.

Она заглядывает в глаза... и зубы ее широкие и белые поддразнивают, а глаза светлые, детские и жалеют, и смеются, и просят, и тоскуют. И вся она живет перед ними какая-то горячая и желанная. У всех-то допытывается: куда ты и за что, куда и за что? — И все охотно по нескольку раз повторяют одно и то же, и не замечают этого. А Ариша толкует, что идет она по «аферистическому делу», идет только в роты, потому что малолетняя, а купца Сальникова, у которого в любовницах жила, в Сибирь сослали... вместе деньги подделывали, вместе и старуху покончили злющую.

Вся фигурка ее, чистенькая и опрятная, кажется маленькой, болтливой птичкой, перелетающей в этой грезящей ночи, и жизнь ее — мгновенье...

Васька, напуганный и шершавый мальчонка, напротив того, как поставили, так и идет молча, задумчиво. Изорванные рыжие сапожонки шмыгают, а ученическая курточка с бляхой на ремне висит, будто приставленная, и поддергивается.

Николай, скованный с «Чертом», глазеющим куда-то за звезды и жутко вздрагивающим, вдруг вспомнил Алексея Алексеевича, вспомнил театр, «Тучки небесные», но надорванные мысли спутались и разошлись; и осталась одна эта ночь, теплая, майская.

Так прошли они за город с полем и огородами, и едва уж мигал вдогонку тюремный фонарь, ненавистный и злой, как цепной пес.

Сразу открылся шум, и конвойные подтянулись, хотя публики еще не было.

А идти стало тяжеле: камни задевали и резали ноги, на перепревших пальцах зажглись ссадины, и обувь давила и теснила.

Феня-Феня-Феня-я
Феня — ягода моя!

— раздирая гармонику и приплясывая, шла навстречу пьяная пара.

Женщина высоко обняла его за шею и, наваливаясь всем те-

лом, жмурилась и причитала, а он без картуза, красный с слипающимися волосами на лбу, здоровый..

И с сохой и с бороной,
И с кобылой вороной!

— долетел последний, почему-то грустный голос замирающей гармоньки.

И это счастье, брызнувшее в лицо пойманным бродягам, взорвало глухое неясное желание и заострило, распалило несчастье это.

Угрюмо молчали.

Поравнялись с «домами».

В окнах было уж слишком много света, и заливалась, пилила скрипка.

Незанятые женщины толпой сбегали с лестниц и что-то кричали и махали руками.

Яркий цветной фонарь освещал их, и обнаженные их груди росли, колыхались и были везде и всем, были нарядом и лицом, и глазами, и голосом.

Пахнуло чем-то парным, гнойным и раздражающим до боли… и они, такие красивые и богатые, казались родными и самыми близкими.

— Сволочи! — пронесся вдогонку отчаянно хохочущий голос, — сволочи!

Прокатился экипаж — один, другой. Извозчики трусили. Прохожие по-разному проходили мимо — грустя, чуть подвигаясь, и убито, и махая руками, надорванно раскачиваясь, и бешено, но каждый шаг их с твоим сливался и, пропадая, отрывал кусок за куском от твоего сердца.

Они жили на воле.

С шипом, дразня мелькнул голубенький огонек битком набитого трамвая.

Фонари зажигали.

Из лавки выскочил мальчишка, сунул конвойному связку черствых баранок и шмыгнул обратно.

В окне бородатый старик осенил себя большим крестом и строго пожевал губами.

Старушонка-нищенка трясущейся рукой положила копейку, перекрестилась и горько заковыляла: сыночка вспомнила.

Улица, вырастая в волю, в жизнь, какою и они когда-то жить хотели, какою будто изо дня в день жили, тянула и рвала душу:

— Не все ли равно? — Да, не все ли равно! — будто шептал кто с этих снующих мостовых, и кричал из каждого камня высоких, согретых огнями зданий и звал и мучил скованную руку.

И воля и нищета вставали распутным кошмаром, сновали разгульные дни, что сплющивали человека в лепешку, тащили в прорубь, гнули в петлю.

Николай вздрогнул.

Из-за домов, где должен был выступить красный флигель, высовывалось теперь черное что-то.

Прощался он с домом:

— Никогда я не увижу тебя!

Прощался он с прудом:

— Никогда я не увижу тебя! Я жил с вами, я любил вас...

Вошли в вокзал, белый, холодный, и суетный. Новенькие блестящие паровозы, огромные закопченные трубы.

Отделенные конвоем от публики, они расселись на самом краю платформы.

Аришка грызет сахар, и рожица ее осклабляется.

И отрезанные, другие, чужие тем, расхаживающим где-то тут, рядом, они, как свободные, как в своих углах, благодушно распивали стакан за стаканом.

— Васька, а Васька, как же это тебя угораздило? — лукаво подмигивая, обращается к мальчонке весь заостренный и насторожившийся беглый с «Сакалина».

— В Америку! — робко отвечает Васька.

Все они хорошо знают, как и что, рассказывал он про эту Америку тысячу раз, но все же прислушиваются, и непонятным остается, как он, этот Васька, идет с ними, живет с ними, ест с ними.

— Ах, ты, постреленок, в Америку! Ишь куда хватил шельмец!

— До Ельца добежал, — начинает Васька, — а там поймали и говорят: ты кто такой? а я говорю: из приюта, а они говорят: как попал? А я говорю: в Америку. Потом...

Тут Васька отломил кусок булки и, напихав полон рот, продолжает:

— Потом, в остроге, я говорю надзирателю: есть, дяденька, хочется, а он, подождешь, говорит, а скандальники увидели, булку дали, чаем напоили, один, лысый, говорит: хочешь, я тебе яйцо испеку... Я еще булку возьму! — и снова тянется маленькая, грязная ручонка, и Васька сопит и уписывает.

— Да как же ты убёг-то?

— В Америку?
— И не забижал никто?
— Нет! — протягивает Васька и задумывается.
— В Америку, говорит начальник, в Америку бежишь, сукин сын... Я еще булку возьму!
И смуглое личико Васьки сияло теплющимся светом, и истерзанное перепуганное его сердечко качалось и трепетало в надорванной грудке.
— Второй месяц иду...
Николай прислушивался к этому мечтающему маленькому голосу и невольно искал глазами в толпе любопытных...
Вдруг выпрямился, рванул «чертову» руку, наклонился.
Да, он не ошибся: за стеной конвоя и жандармов стояли Петр, Евгений и Алексей Алексеевич.
Хотел Николай прорвать эту цепь, вырваться из этих сжимающих рук, сделал шаг, другой...
Вдруг с резким свистом и шумом, шипя и киша бездной горячих, стальных лап, подлетел поезд и заколебался, перегибая длинный, пышный хвост.
И сразу что-то отсеклось, и крик смешался с равнодушием, и жгучая тоска приползла и лизнула сердце пламенным жалом, и что-то тянущееся, глухое и безысходное заглянуло прямо в глаза своим красным беспощадным глазом.
— По местам! — закричал конвойный.

А он засохшим от боли сердцем прощался с домом, прощался с прудом.

XI

Зеленый огонек потух. Давно уж замер шум и стук колес, и людный опустел белый, неприветливый вокзал.
Петр, Евгений и Алексей Алексеевич все стояли.
И только когда сторожа принялись подметать платформу, и медленно подкатил товарный поезд, они вышли на путь и пошли по шпалам.
Шли они угрюмо и молча. Было на душе столько сказать, но тот, к кому рвалась душа, не мог услышать.
А как он дорог им стал, как необходим теперь, как близко чувствовал каждый его биенье в биеньи своего сердца.
Он был для них светом в этих сумерках полной лишений

жизни и вдохновением, когда серость буден заваливала своими отупляющими мелочами, он был для них той радостью, какая живет у несчастных к подрастающему ребенку, надеждой на какой-то новый, лучший мир, который придет с ним.

Так им всем представлялся Николай.

Вся их жизнь вместе прошла, вместе росли, вместе выросли, голодали, мучились, себя открывали, чувствовали.

Не надо было говорить, он все угадывал, проникал душой в душу и окружал сердце взором, который болеет и любит тебя.

И, вспоминая свои отдельные минуты, которые глубокой бороздой в душе полегли, каждый чувствовал на них его прикосновения.

— Почему жизнь у нас отрывает самое дорогое? — заговорил Алексей Алексеевич.

Бешено во весь дух с оглушительным звоном промчался мимо весь трепещущий поезд.

Земля колебалась.

И не было ответа.

Уж забелел монастырь; мост кончался.

Теперь надо было спуститься с крутого откоса.

И они, как когда-то в детстве, выстроились в ряд и разом наперегонки пустились и, не передыхая, вбежали на монастырский холм.

Шли по знакомой стене.

Около каменной лягушки остановились.

Безобразные, заплеванные бельма, освещенные тихим красным лучом белой башенки, беззвучно плакали.

— Не зайти ли к Глебу? — предложил Евгений, — давно мы у него не были.

Но было уж поздно, решили в другой раз непременно, и об Николае сказать надо, старец так любил его.

Пошли быстрее, от дома уж недалеко было.

И Алексей Алексеевич и Петр жили у Евгения.

В прошлом году Евгений женился, был у него маленький ребеночек, а жена после родов померла.

Эта смерть легла на него тяжелым крестом... Подымался; новое что-то вырастало в душе, и жизнь пошла было лучше...

И вдруг смерть.

— Почему жизнь у нас отрывает самое дорогое.

Оробел, затих как-то, и без того тихий. С утра до позднего вечера за гроши по-родственному просиживал в Огорелышевском банке, гнулся за работой, такой отупляющей, а главное, с

вечной палкой за спиной — вечными помыканиями и придирками.

Занимали они маленькую квартиру за монастырем, теснились, и все шло как-то неуютно и бесшабашно.

Алексей Алексеевич целый день на уроках корпел. Петр часто подолгу уезжал с театром. Вышел из него хороший актер, да все не мог найти себе дела и околачивался у шаромыжников. Теперь ходил без места и до зимы ничего не предвиделось...

Пришли домой.

— Ну, проводили отшельника? — встретила Эрих — нянька Бобика — по-прежнему поводя табачным носом, но такая старая, седая совсем.

— Проводили! — махнул рукой Петр, — проводили, Эрих!

Долго еще не расходились.

Алексей Алексеевич принимался несколько раз на рояли играть, говорил, какой-то голос все слышит, и пробирает мороз до костей от тех звуков, что повивают, растят, снуют этот голос, а подобрать не мог.

Все, и эти книги, бережно расставленные по полкам, книги, которые так любил Николай и которые так дорого доставались ему, и этот старенький столик, перевезенный с верху из дома, вместе с бумагой, рукописями, детскими дневниками, — все это лезло в глаза и кричало:

— Мы одни!

Потушили, наконец, свет.

А сон не приходил, не могли заснуть.

— Мы одни!

Ворочался Петр, думал о своей жизни, о той полосе, по которой идти рука показала.

И то, что мучило в ней, всплывало теперь, будто какая-то шальная искра воспламенила кругом душу.

Для чего и для кого, — спрашивал себя, — вся эта наряженность, все это кривлянье, все то, что театром называется?

Во имя чего служат, перед кем раскрывают душу?

Мелькнул битком набитый зал, скучающие лица, лица, потерявшие всякий образ и подобие Божье, а там на верхах в черноте рой пчелиный.

Аплодисменты...

И ликующая бездарность, увитая венцом глупого сочувствия, тупого браво и таким еще невинным, горячим восторгом

непорочных верящих глаз, для которых все искрится, ибо сами — одна искра... Мгновенный успех, мгновенное царство, дешевое подложное царство!

Но тысячи бегут, цепляются за рампу, протискиваются на подмостки, давят, толкают, царапают, грызут друг друга.

А когда душа от слез перегорает, а когда смех перехватывает горло...

Но ты жди, жди своей очереди — тут не для тебя место.

Тут пошлейшая душа ведет свою роль.

А для этого сочиняется театр — публичный театр увеселений и ходульного нравоучения.

Где оно, творчество?

Все крушится, разлагается, гаснет, и болтовня, гримасы клоуна пляшут свой блошиный танец на еще живом сердце...

Он не видал нигде такой страшной давки, такого беззастенчивого оголения, как среди своих товарищей.

Норовят подставить ногу друг другу, подкопаться, оклеветать... Злоба и ненависть вьют свое паутинное гнездо, опутывают.

И эта косность, избитые приемы, затверженные шаблоны.

Вспомнил нескольких актеров и актрис — настоящих...

И представилось то, о чем мечталось в жгучие минуты одиночества.

Казалось, исполнит театр свое назначение, он дойдет до своей белой вершины, станет великим действием.

Театр — обедня, где и актер и зритель сольются в великом акте божественного таинства...

Но на миг сверкнувший мир закружился перед глазами и разлетелся, как пух...

Пожрет это пестрое стадо друг друга, разыграет свою комедию...

И какая лживая эта порода...

— Господи, сделай так, чтобы я верил, сделай так, Господи!

Вдруг ослабел, куда-то погружается, стал жалким, изолгавшимся, завистливым, как те... его товарищи.

И открылась пустота, а в ней одни и те же дни бессмысленные, ненужные...

На последней репетиции, — мелькали обрывки этих дней, — подвыпил и с расшату попал в купель с водой, которую держали на случай пожара... во время спектакля перед самым выходом задержался в буфете, а набросившемуся антрепренеру кукишем наковырял нос... выгнали...

Петр вскочил и глядел в голубой ранний рассвет.

Проснувшийся ребеночек хныкал.

Эрих укачивала, напевала старческим усталым голосом:

Котик серенький,
Хвостик беленький.

Напевала долго, однотонно.

Заснул ребеночек.

Взошло солнце.

Солнце...

А в монастыре в постный колокол звонили, словно Эрих пела:

Котик серенький,
Хвостик беленький.

XII

Путаная и темная история разыгралась в Андрониеве на первые дни Петровок.

О. Глебу воспретили исповедовать.

Пошли по городу суды да ряды.

Но никакого толку нельзя было добиться.

Верные люди клялись-божились, будто и сам преосвященный о. Евтихий-«Каиафа» в этом деле кругом беспричинен, а причинное место будто в указе свыше.

Правда это или нет, только в первую же пятницу духовником назначен был казначей о. Самсон-«Пахмарный» — гладкий, раскоряченный, с обваренным лицом и непомерно развитым тазом, давно заринившийся на эту весьма доходную халтуру.

Об этой истории Финогеновы узнали от Эриха. Ходила Эрих Бобика причащать, все и вынюхала.

Решили возможно скорее, не откладывая в долгий ящик, проведать о. Глеба. А тут как раз письмо пришло от Николая с посылкой для старца.

Собрались в воскресенье и отправились.

В собор не зашли, противно было на паперть взойти, а пошли прямо в башенку.

У старца сидел в гостях о. Гавриил и рассказывал что-то, должно быть, о «политике», потому что старец внимательно, но

с какой-то бессильной грустью улыбался из своего глубокого кресла.

Господи, как обрадовался, когда услышал знакомые голоса, так ведь давно никто не заходил к нему.

А о. Гавриил, Бог весть когда видевший Финогеновых, но знавший все злоключения их, сначала сделал вид, что не признал, а потом напустил на себя какую-то важность и говорил в нос.

Подогрели самовар.

Пошли расспросы и воспоминания.

О. Гавриил забылся и, напав на свою старую любимую тему, брал то у одного, то у другого руку, жал суставы и, разгадав по твердости кожи что-то, блуд какой-то, прикусывал губы:

— Похудал, похудал, — покачивал он головою, — иссосут они, Петечка, тысячи…

Скоро вся келья хохотала до упаду.

— Стой, о. Гавриил, стой! — закричал, спохватившись, Петр, — эк ведь мы, курзупые, главное-то и забыли.

Он достал из-под шляпы сверток и бережно развернул его.

В руках очутилась продолговатая серая коробка, перевязанная крест-накрест тоненьким красным шнурком, концы которого сливались в красной бумажной печати подозрительного вида. От печати к краям разбегался мелкий убористый шрифт.

— Эпитафия — провозгласил Петр, держа перед собой коробку, как держал когда-то за амвоном старинный тяжелый Апостол.

Притаились.

Тихо о. Глеб улыбался.

Петр продолжал обыкновенным тоном.

«Мир тебе, неустрашимая с красной печатью коробка!

До последнего дня этапа сохранила ты гордость и неприступность и окончила победно долгий и трудный путь.

Что за вкусные сласти несла ты!

При тщательном обыске, когда меня потрошили, и мои, переполненные папиросами и карандашами карманы пустели, ни один тюремный палец-щелчок не дотронулся до тебя, и с благоговением опускались пред твоей красной печатью начальственные головы.

Одних ты испугала, и они притихли, других заставила отдернуть руки прочь, меня же ты обрадовала, и когда щелкнул замок

камеры, и мы очутились глаз на глаз, ты распечаталась, и я закурил.

Чуть стуча, где-то ходили шаги.

Дремал вечно-сонный волчок.

Папироса за папиросой — дым на всю тюрьму!

А помнишь, с меня стащили брюки, чулки... но к тебе... довольно было одного моего напоминания: Коробка с печатью! — и тебя бережно поставили на зеленое сукно.

А меня оставили босым на каменном полу.

В камеру тебя, такую маленькую, обеими руками понес сам старший...

— «Их нет», — шепнул я, когда мы остались одни.

И тотчас ты развернулась и положила мне на стол бумагу и карандаш.

Но потом, на свободе, ты тряслась всеми своими нитями и бумагой от хохота над миром, над тем миром, где красная печать ценится выше человека.

И горько мне стало за душу человеческую».

О. Гавриил долго, сначала с благоговением, потом кряхтя и сопя, рассматривал коробку, дул на печать и протирал ее пальцем и, окончательно опешенный, прервал наступившее было молчание:

— Батюшка, о. Глеб, как же это так, ведь печать-то Ильи Ивановича... их фирмы... их, кондитерская...

Общий неумолкаемый хохот взорвал келью.

И долго бы еще кусал губы и охал о. Гавриил под этот заражающий грохот, если бы не послушник, который принес тройную трапезу.

И принялись всем хором подкармливать о. Гавриила.

Появившаяся водка быстро иссякла.

— Душечка, душечка, — уж лепетал о. Гавриил, — Илья Иванович достиг, можно сказать... пост... у! как пчелы, шмели самые такие...

— Жри, Гаврила, жри!

— Мартын Задека... Колечка... а ты, Петечка, если беспокойство испытаешь, пучок преломи... преломи пучок...

— А ты сам преломил? — поддразнил Евгений.

— Я... я... — разжевывал о. Гавриил, — преломил, душечка, а намедни, душечка, выхожу из трапезы, а кормилица ко мне... Матушка, говорю ей, не могу я... не вытерпишь семь вершков.

— Жри, Гаврила, жри!

О. Глеб, минуту назад такой веселый, сидел теперь среди этого дыму, духоты и непристойностей, такой утомленный и, казалось, был совершенно один, на страшной дали.

— И стало мне горько за душу человеческую... — явственно прозвучал его кроткий, глубокий голос.

И вмиг рассеялся шум, только серый день глядел в окошко, да, наклонившись всем туловищем к тарелкам, сладко похрапывал о. Гавриил.

— За что, за что? — произнес тот же голос этот мелькнувший вопрос у всех разом, — и разве знают они, — продолжал старец, — разве знает человек, за что человека гонит, но гонит... до самой смерти. Душа его каменеет, и нет тепла в ней, нет света. А жизнь твердит: дайте мне этих камней, этого холода... и гонит...

— О. Глеб, — прервал Петр, — ну какая это жизнь... издевательство одно... родишься на свет, с пеленок ошпарят глаза тебе, а потом идешь без дороги под пинками... куда идти... везде одна цена...

— Мир тебе! — сказал старец, и снова стал таким веселым и таким безмятежным, как ребенок.

И то, что говорил он, сливалось теперь с поднявшимся шумом, а он рассказывал о монастыре, о той беде, которая стряслась над ним.

Он видел в этом перст Божий, избрание, потому что приходит беда не карой, а испытанием, только она раскрывает человеку затемненные очи, погруженные в мимолетное и близкое, а со скорбью крылья растут и подымают на выси, откуда невидное видишь и видишь то, что подлинно мечет и гнет человека, не кулак брата твоего, не меч ближнего, а утерянная надежда, безверие...

Проснувшийся о. Гавриил бессмысленно уставился в окрошку и, растягивая слова, укорял кого-то.

— Семь вершков... семь вершков...

Так много припомнилось и забылось так много...

Уж кончилась вечерня, уж привратник «Сосок», гремя ключами, пошел к воротам, а келья отверженного старца не унималась. И часы били, — не замечали боя, и заходило солнце, — не видели заката. Даже Евгений, запечаленный, принялся откалывать с о. Гавриилом такие штучки — Николаю впору...

XIII

Вот уж лето преполовилось. Каждый день будто вколачивал гвоздь в дверь дома, заколачивал, ровнял его со стеной, но чем больше гвоздей уходило, тем жарче разгоралось желание войти в дом. А дом был далеко... на краю света...

Белый собор, опоясанный белой зубчатой стеной в темных прогалинах каменных мешков, с колокольней, увенчанной тусклым, мягко-играющим золотом, такой одинокий и в своем одиночестве гордый и несравненный, жил поверх скученных низких домиков и всякого громоздкого черного жилья, и виден был со всех концов, покуда глаз хватал.

И из окна мезонина на пустынной окрайне, где Николай поселился, и оттуда виден был.

А эти березы с ветвями-крыльями, поникшими в густую старую крапиву, и эти огненно-малиновые «собаки» репейника, и эта вздрагивающая холодная река, — все это жалось, ползло, подплывало к гигантской стене, как жались, сновали вкруг маленькие, хилые люди.

Началась новая жизнь с новыми людьми... Николай попал в среду таких же оторванных от родного крова и родной земли, каким он был.

Приняли его сердечно и участливо, такой встречи он не думал найти: так ожесточилось сердце на все и всех... на весь мир.

Даже стыдно стало, глаз поднять не мог, чувствовал: берет что-то незаслуженное. Про такие отношения слыхал раз от Петра. Петр говорил, будто среди актеров это случается, но что-то не верилось...

И была душа полна благодарности и той возносящей радости, какую испытывает человек, когда находит сердце, которое не злобствует на тебя, не обижает, не творит козни, а только любит и греет.

Любит и греет и прогоняет холод, какой напускают люди друг на друга, вынужденные напускать этот холод, ибо по-другому не знают жизни.

Чужие люди.

Нет, думал тогда, есть еще Бог, жив Бог в сердце человеческом, и человек не потерян.

Человек не потерян... а как он мечтал об этом, ужасаясь и проклиная себя и других, и себя... потому что всегда чувствовал в себе что-то опрокидывающее, сшибающее, неостанавливающееся... Нашел! Раскрылся и распоясался... все, все, все до нитки выложить хотел...

Настало завтра, это беспощадное завтра, оно сдувает лепестки с нежного цвета, разрушает и покрывает морщинами милое лицо.

Завтра настало.

Наткнулся...

Из-за сердечности и участия — этих лазурных теплых облачков — глянуло вдруг иссушенное лицо сурового устава; оно не грело, а заставляло, не радовало, а сковывало, острило сердце.

И чем больше знакомился, тем ярче видел, что люди эти чужды друг другу, ненавидят друг друга, окружают себя сектантскими стенами нетерпимости и взаимных подозрений, что это люди самые обыкновенные, как все, полные человеческих слабостей, только во множестве скрываемых личинами чего-то такого бесконечно высокого, о чем думаешь в темные минуты...

С глубокой грустью и неспокойным сердцем глядел на их взаимную вражду, а потом грусть улеглась и сердце затихло, устало, — будни настали.

И пошли они, медленные, изо дня в день без всякой перемены, мучительные в своем однообразии.

Кругом распластывалось, вылезало мелко-житейское, убогое, озлобляющее, и самое страшное — самодовольство.

XIV

Там не было дня, не покрытого тюрьмой, смертью, изгнанием.

Не было дня, в который нельзя было бы не вспомнить о людях и делах, которые могучим побегом выбежали из крепкого ствола, и с каждой весной побег разрастался и с каждым листочком глохли старые, когда-то пышные ветви.

Против бойниц и собора, построенных еще Грозным — простой деревянный домик, а в домике, где гнездится колония отторгнутых, вершатся судьбы.

А стена стоит увядающе-пышная, гордая... Деревянные, топорные балки в бока упираются.

Смерть из каждого пурпурного цветочка и звездочки смотрит и ест и точит каждый гвоздик.

И волю смерти преступить невозможно.

Придут люди, воздвигнут новые стены, и стены разорвут грудь света, ибо каждая власть рвет волю... но они придут...

Вон они — весенние вестники...

Их было в городе человек до пятидесяти. Больше держать

запрещалось. Остальным же указаны были уезды, глухие и замкнутые.

Пятьдесят человек без того дела, которым жили. Без дела и без средств к жизни. Какая-нибудь подлая работа и тупая, отупляющая скука или ожидание работы, гнетущая праздность и озлобление. А часто так устроен человек, оторви его — вся душа изноет, изобьется и погибнет... Да те, остальные товарищи, сорок девять, как навязанные призраки, вечно неизменные по улицам, в домах.

А так как каждый цеплялся за свою петлю и разжигал ее воспоминанием и засвечал ей ореол, то, сходясь, начинали всегда один и тот же разговор, а с ним входили одни и те же споры.

Каждый слушал только себя, верил только себе и, подхватив какое-нибудь чужое слово, выворачивал, мял, приплетал к нему целую историю и в таком виде бросал противнику.

До личных оскорблений.

Из пятидесяти выдвигались вожаки: притягивали, группировали вокруг себя, а те поддакивали и гикали сплоченной слепой оравой.

Каждое собрание казалось собранием злейших врагов.

Такие обвинения возводили, к таким издевательствам прибегали — поискать, да мало.

Сердце, что ли, так уже расходилось?

И скука, скука смертная.

Не малый раздор кипел около кассы.

Главное, надо было устав положить. А как его положить? И начиналось. Собирались, толковали-перетолковывали. А в заключение самые полицейские меры торжествовали: налоги и надзор.

До смешного.

И опять ссора и опять озлобление.

Не последнюю роль суд играл.

Судили за все, за что только ни вздумается, но первым обвинением всегда являлось подозрение в шпионстве.

Возникали комиссии; сменялись другими.

Играли в процесс.

Скрытая ненависть друг к другу и та тягота близости, в которую втиснули несколько жизней, точили скуку. И вдруг проламывались и вспыхивали дико, необузданно...

Как злейшие враги.

И ждали, ждали часа, когда снимут, наконец, запрет, и дорога ляжет скатертью.

И каким дорогим и соблазнительным казался вокзал, а тех, кого принимал он, какими счастливыми. И все бы забыл, только бы вон, вон из этой взаимной травли и ненужных дней...

Несмотря на зарок какую-то такую жизнь начать по-новому, Николай не мог усидеть. Нет-нет да и ввернется.

Яд уж заразил его, и, думая совсем о другом, начинал думать о них, об их интересах и о тех скандалах, которые произошли с кем-то на этих днях, и, не желая вовсе, становился то на одну, то на другую сторону.

Вдруг спохватывался, но оборвать не мог: мысли сами собой складывались и не слыхали бьющейся души, которая кричала: перестань!

Объяснял, оправдывал, негодовал.

На следующий день опять пошел, с кем-то сошелся, с кем-то разошелся. Втюрился, наконец, в какую-то историю сплетническую и нехорошую, и пошла жизнь старая, по-заведенному.

Как-то после реферата и бесполезных и оскорбительных споров так вдруг опротивело все, и такая тоска нашла и такая боль зажглась, махнул рукой.

* * *

Оставался один по целым дням. Разговаривал сам с собой. Слушал свою душу.

И печалился и тосковал. Хотелось хоть что-нибудь сохранить в сердце, сохранить из того, что привело в тюрьму и в этот каторжный город, а чувствовал, как раскалывается и разрушается прежнее, камень за камнем.

Прислушивался, ждал нового голоса, который должен был вырасти из этих обломков, но ничего не слышал, — было печально и затаенно.

И угнетало предчувствие новых бед и горьких падений; они подступали, близились со всех концов...

В домике сквозь задернутые белые занавески тускнел зеленый огонек, один... другой... В домике спорили и решали: подбрасывали душу человеческую, измеряли ее, судили... и в глазах горела ненависть и месть, и в груди разливалась любовь, и гримасничало лицо, играя, и надрывалось сердце, и...

Да, у них было свое дело и свой путь, жизнь и смерть...

И метался он в отчаянии и тревоге, и одного ждал — ночи, звал ее, темную, колыбельную.

И она не темная, беспокойная, белая, медная приходила, нависала ночь над землей кошмарным колпаком.

Густело упоенное зорями небо, раскаленными руками подымало из речной глуби белые ограды.

Белый без света выходил месяц и, улыбаясь истощающей улыбкой, тянулся, как калека, к визжащему блеску крохотной звездочки.

И зоркие птицы, как черные молнии, молча мчались к востоку.

И из столбов дневного гомона, дневной суеты, дневного преступления, расстилавшихся над городом, Мара̀ вставала.

Мара̀ бессмертная, Мара̀ темная, — проклятие рожденного.

Корчились все ее члены, перевитые, будто шелковинками, красными нитями незаживающих вечных ран.

А заплаканный рот судорожно кривился, и вылетали мучительные вопли из сдавленного горла.

Выкрикивала Мара̀ безответные обиды, и по миру пущенные слезы, и слезы, тайком пролитые, и слезы, проглоченные под улыбкою...

Мара̀ бесприютная — крик отчаянных.

И растворялись резные ворота белого призрачного собора и медленно выходили в чешуйчатых кольчугах воины и рында и парчовое боярство и монахи-опричники и красный палач, а над лесом мечей и топоров сиял драгоценный царский крест Грозного.

И в ужасе кривился заплаканный рот бесприютной Мары̀, рвался из горла убитый хрип.

Проклинала Мара̀ царя, проклинала дьявольских чернецов, красного палача.

Проклинала мир, — мать свою, что зачала и вскормила детище на муку и поругание.

Но захлопывались бесшумно золотые кованые ворота, подымалось шествие вверх по реке.

И теплый свет багровел по голубой воде, и заливался небосклон алою кровью.

И подымалось огромное нестерпимо-яркое солнце, неустанное солнце над спящей землей.

И подымались жгучие желания из бессонного сердца.

Быть этим кровавым следом и стать великим солнцем, взорвать мир неопалимой купиной и осветить омытую душу для новой жизни...

Ты, Господи, дай эту мощь мне, дай совершить великий подвиг, наложи крестное бремя на меня — я все возьму, я все сне-

су... Она не будет роптать на Тебя, она не будет взывать напрасно... вечно мучиться — земля моя — Твой мир...

XV

Не тут-то было.

Словно что прорвало, или нашел такой несуразный стих на Николая, только оставил он окно своего мезонина, и с утра до позднего вечера опять стал шляться по городу.

Заходил то к одному, то к другому. Ходил на рефераты, на собрания, участвовал в прогулках за город, — всюду и везде совал нос.

Опять знакомился, опять слушал, опять присматривался.

Заметил он в своих товарищах еще одну черту, которая дала на минуту отдохнуть сердцу: были они глубоко бескорыстны, и не кричало в них торгашество, которое опутывало город сверху донизу.

Но проклятое сектанство — партийность — глушило это хорошее, стирало различие этих непокорных.

И заметил еще одно: были среди них прямо избранные, верные, готовые на смерть... но порой духом убогие...

Вступал в разговоры, сочинял небылицы и вымыслы, — мистифицировал... От тесноты дух задыхался, серединность самодовольства, как гарь, ела глаза.

И потешался, в смех изливал свою душу, которая другого ждала и о другом мечтала, из смеха создавал свой мир.

Вспомнилась как-то Палагея Семеновна, вспомнилось то время, когда Огорелышевский устав камнем лежал...

Тут тоже свой монастырь, свой двор, свой устав, суровый до беспощадности.

Схватился Николай за некрологи. Кому-кому только не писал сгоряча.

Ударил некролог по больному месту.

И поднялась целая буря.

Собирались и толковали, толковали и обсуждали, пока не пришли, наконец, к решению...

* * *

В субботу вечером назначен был суд над Николаем.

Всю неделю ждал он его с каким-то сладострастием, приговор заранее мог предугадать.

И вот пришел этот день.

Просторная комната колонии, где обычно жили сообща несколько душ и где находили приют все вновь приезжающие, была битком набита. Сидели вокруг стола, на кроватях.

Поднявшийся шум едва улегся.

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Николай медленно вышел.

Что-то липким ртом припадало к сердцу и кусало сердце.

Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых,
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых

— донеслась песня расходившейся колонии.

— А ты умереть можешь? — спросил себя вдруг. Подумал. — А они умрут... И Катинов умрет и Розиков и Хоботов. — Опять подумал... — Розиков и Хоботов, может, и не умрут, а вот Катинов... Но ты-то можешь? Ну! и вообще-то, на что ты годен?..

Над головой и кругом шумно отцветала прощально-ясная, яркая ночь...

— Прими меня, ночь!

И будто в ответ шуршала листва в опустелых садах, падали звезды, кружась и летая, как листья.

И он — лист бездомный и оторванный.

Оглянулся.

В деревянном домике колонки сквозь задернутые белые шторы мелькал зеленый огонек. Помелькал огонек и пропал.

Ускорил шаги.

Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать вы спасайте,
Честь и свободу свою.

И, перебивая такт песни, кто-то гулко стучал по мостовой, торопился.

Казалось, вот настигнет, схватит за плечи…

И заколотилось сердце:

Умереть!

Не мог уж ровно идти, бежать стал — далеко дом — на краю света…

Наконец, добежал, вбежал на лестницу, захлопнул дверь, защелкнул задвижкой.

Звездный свет играл на стеклах, и свет какого-то светила за звездами вплывал в окно.

Николай задернул занавеску.

Затаился.

Одинокая свечка насмешливо глядела.

И шумы каких-то тайных лепетов сжимали сердце.

Сердце ныло.

От окна нежданно тень упала.

— Кто ты?

Одинокая свечка насмешливо глядела.

Он бросился, хотел задуть этот медный ненавистный, этот сверлящий взгляд… убить тень…

— Не надо мне правды! не надо!

Глаза упали на стол.

На столе лежало письмо.

Знакомый почерк…

Отшатнулся…Вздрогнул всем телом резко… смертельно улыбнулся… бледный… белый…

— Завтра — завтра!

XVI

Таня приехала!

А он и не чаял, не думал… думал… навсегда уж прошло, все кануло.

Не надо приходить, не надо будить!

А вот пришла… Обрадовался?

Не радуйся, не радуйся!

Не твоя она. — Чья же? — Его. — На брата руку подымаешь? — Нет.

Нет.

Таня приехала. Приехала сказать правду. Она не любит тебя. Не хочет лгать. Любила тогда...

— Любила? — спросил Николай тихо.

Таня молчала. Она сидела перед ним, такая же гордая, такая же... сулящая бесконечную жизнь.

— Но моего брата...?

— Не знаю.

Вдруг она встала, точь-в-точь как на портрете у Александра.

— Ну что же я могу сделать с собой, если теперь я только верю вам, верю, как первому, близкому, и душу мою выкладываю.

— Стало быть, так. — Николай приподнялся.

— А вы мне не говорили всей правды. Почему вы мне тогда не сказали?.. Как-то вечером зашла она ко мне, забитая такая, помочь просила... Ребенок, говорит, был, да помер. А сама вся трясется, еле на ногах стоит, пьяная... Почему вы тогда не сказали мне?

— Не мог.

— А когда вы уехали, и все это я узнала и еще узнала... Убила бы тогда, так ненавидела... Не себя, не себя, а вас...

Николай попятился.

— Что же...

— А знаете, если бы я вас любила теперь, думаете, я могла бы забыть? Никогда не забыла бы. Всю жизнь отравило бы... Я всегда видела бы вас рядом с этими... — Таня стиснула кулаки.

Не говорили.

А потом опять. Так целый день.

Ему вдруг показалось, что она его любит... Нет, нет, если бы любила, не рвалась бы так домой, а то завтра уедет непременно, сказала твердо, уедет непременно и, как ни просил, уперлась на своем. Да и жить тут неудобно. Комнату внизу едва уступила хозяйка, а у него тут негде, ему некуда уйти на ночь. А одну оставить нехорошо. Да и это все не то. А главное в том, что теперь, после всех рассказов Николая о себе, ей становится ясно, что он не такой, как показался ей в первый раз. Вот Катинов, наверное, интересный, верный...

— Знаете, Катинов на вашего брата Александра похож.

— Да у них даже и манеры одни и те же...

— А он сильнее нас.

— Может быть...

Разговор замялся. В комнате было душно. Хотелось на волю.

На дворе дождик шел.

Вечером долго не расходились, опять перебирали все прошлое. Незаметно вырастало доверие, и лампа доверчиво светила... Таня сидела с ним рядом на диване, и они болтали.

Теперь она ему все сказала. Он ее друг. Он приедет к ним. Ему рады будут. Прошлое все забылось, и отец на него не сердится. Она начнет новую жизнь. Ей легко. — А то все что-то мучило.

И она пошла к себе вниз.

Николай слышал, как закрылась за ней дверь, как опустились гардины, как потух свет...

* * *

Убаюкай меня, ночь, — колыбель моя!

Ветер осенний шумит, скрипит. Неслышно могилы вскрывает в сердце.

Мучает...

Укрой меня от мглы и дождя, ночь — мать моя.

Руки дрожат... Вот упаду...

....

....

Николай вскочил с широко раскрытыми глазами, насторожился.

Откуда-то из низу, из-за стены тянулся больной бред, и светляками мигало тревожное дыхание в безмолвии.

Вот и опять.

Да, это она...

Ее голос, ее стон, ее дыхание.

Прислушивался...

Повторялось чужое имя, повторялось без конца, наполняя собой все кругом, всю его душу, бледную и жаждущую, одинокую, а он твердо и хорошо знал рвущимся, разодранным сердцем, что тянется весь, готов что-то сделать... должен сделать...

Почему должен? — спохватился.

Вот, кажется, подходит она, садится рядом с ним, берет его за руку. И чувствует он ее теплую грудь и сердце слышит...

Нет, нет, она никогда не придет.

Обезумел.

Долго искал спичек, чиркал, спички ломались, и, когда, наконец, вспыхнул голубоватый огонек, увидел Николай свои пальцы бледные и заостренные, как зубья, и представилось лицо в спу-

танных, извивающихся змейками волосах и повисшие усы и красные, провалившиеся от мук и бессонниц глаза... свое лицо... глаза...

Закурил.

Стал перебирать повторенное тысячу раз и днем и ночью... все дни и все ночи.

Приехала сказать... проститься...

— Ну, пусть бы вечно оставалось так, — замолил безнадежный голос, — не знал бы ничего, и ждал... Ну, пусть бы где-нибудь...

— Поздно, уж поздно!

«Барыня-то у вас какая красавушка!» — Аграфена, хозяйка, перемывает посуду и вдруг — трах! — стакан об пол.

А потом подмигивания: знаем, знаем!

И ничего-то вы не знаете... знаем, знаем!

Все тело отяжелело. Затих.

Видел ее такой, как смотрела на него в первый раз.

И дикой птицей вонзила она голодный клюв в его пробужденное сердце.

Она подходит к нему... всматривается своими темными глазами — хищные зверки в засаде... — протягивает руку...

И чувствует он эту горячую ладонь, а губы ее прильнули к его губам...

Тогда в первый день.

Зачем она пряталась, словно выжидала, и бросилась и...

Дни без времени с жаждой любви... опьянение жаждой.

Лица сближались и отдалялись, а кто-то говорил: да — нет, да — нет...

И он ждал и просил.

Первый поцелуй, вырванный и затягивающий, поцелуй бездонный, а за ним кипящая пасть, а из нее жало...

«А я думал, вы — честный человек!» — прозвучал вдруг голос отца, и старик-отец мучительно глядел в глаза этого... в его глаза...

Качался он где-то в воздухе и среди пустынного затишья шипели темные иссохшие лица, шипели, как маятники: знаем — знаем...

Задохнулся.

А время подкатывало жизнь к чему-то, от чего и уйти не уйдешь.

Вновь вползающий бред проник в сердце и точил его.

И была тупая, тяжелая боль. Она стягивала лоб железным обручем, а сверху надавливала мозг нестерпимой тяжестью.

С ревом кровь хлестала по жилам и секла каждый нерв и кутала плечи в горящую ткань.

Нервно зажег свечку.

И тотчас шум сдавленных голосов наполнил комнату, будто свет свечи крикнуть хотел, а кто-то зажал горло, остановил крик.

На дворе дождик шел.

* * *

Со свечкой в руке на цыпочках Николай спустился вниз к Тане.

Тихонько раздвинул портьеры.

Ударился коленкой о стул, замер от боли.

Смятая белая кофточка с длинными, черными шнурами глаза ела, впивалась, тянула.

Прикоснулся к кофточке, как к живому телу.

Заледеневшее сердце обдало вдруг красным лучом белую кровать, и луч, как игла, впился ей в сердце.

Все тело девушки, вздрогнув, подобралось, обороняясь.

Он повторял что-то, какие-то слова, просил о чем-то... и силился что-то вспомнить, что-то разглядеть, что-то уловить...

И увидел глаза ее ужаснувшиеся... долго-долго они ждали... не губить просили...

Туманился его голос, задыхался.

И вдруг тихий стон оглушил его: два взъерошенных зверька выскочили из ее больших глаз.

Но уж взор его гнался за дразнящими тенями на ее груди...

Уж коснулся...

Николай чувствовал, как что-то крепкостальное и горячее сдавливало его тело, слышал, как опрокинулось что-то, переломилось, как что-то жалобно хрустнуло... и хруст пронзил его мозг и пробрался глубже, разорвал мякоть и зазвенел мертвым звоном в пустых костях...

Потом рев взбешенного зверя, жалоба обиженного ребенка, вопль исступленной матери, дрожь охрипшей боли... и даль бездонно-черная в спешащих огоньках, снопах и нежностелящаяся тишина и баю-бай укачивающей песни... песня...

Колебались портьеры, а сзади стоял кто-то и двигал ими взад и вперед, взад и вперед.

А с белой кровати, с этого опрокинутого тела... глаза.

Остановились глаза; они сливались с далью, с скользящей полосой нестрашной, как ласкающее сиянье минувшей грозы, и

две слезинки дрожали у полураскрытых губ, да разметавшиеся волосы женщины перьями сухо чернели.

Свечка, вбирая кровь и тая алой кровью, плыла...

И стали все предметы подходить и заходить, сплываться и сжиматься... вот умывальник вошел в кровать и расползлись по полу ножки стула... и вдруг стянулись в адский круг и закружились кругом, и круг запрыгал кругом, кругом.

Сквозь какую-то туманную и душную даль закричали бешеные голоса и, огненным ножом пырнув во мрак, поползли... и Николаю представилось, будто ползет он за ними по нестерпимо зеленой луговине, по грудам живых тел... в кромешную тьму... в отчаяние...

Темный обморочный сон сковал Николая.

Ему казалось, вбежал он в огромный дом.

Нет конца комнатам.

Какие-то оборванные люди уселись на сундуках, как погорельцы на спасенном добре.

А в широкое окно смотрит золотой глаз.

Но они не видят его, посиневшими руками впились в сундуки.

И тупой страх тянет веки к земле.

И нет конца комнатам.

Вдруг погас свет.

Николай забился в тесную каморку.

Тихо отворилась дверь.

С тяжелыми котомками какие-то странники в запыленных армяках и в грязных онучах, седые.

Смотрят, и уйти от них некуда...

А за окном шум водопада и ветреный шорох летающих осенних листьев.

Стены сжимаются, потолок все ниже...

Да он у себя наверху, вон и зеркало...

— Колюшка-то помер! — явственно донесся знакомый голос с лестницы.

— А ведь это голос бабушки... — подумал Николай.

От ужаса зажмурился.

И представилось, идет он по черной степи. Изредка худые, изогнутые деревца, свернувшиеся листочки на изъеденных плесенью ветках...

И небо такое черное.

А идти трудно, но он идет, потому что должен выкопать яму — для себя яму.

— Вот тут! — говорит кто-то на ухо.

И, обливаясь потом, принялся копать.

И странно, все изменилось.

Он — среди весенней черной степи.

Вокруг одно сине-белое небо.

Христос воскрес!

И чувствует Николай, как легкие крылья поднимают его и несут по теплой волне все выше над землей и степью.

И так легко, вечерним замиранием переливает сердце...

Что ж нам делать,
Как нам быть,
Как латинский порешить

—обрезал несуразный голос.

Прометей поет.

Худой, зеленый весь, оскалил зубы, головой мотает.

А кругом все свечи горят, плащаница стоит, и пусто, ни души нет.

Вдруг Прометей выпрямился, обвел безумными глазами вокруг церкви, присел на корточки...

У Николая потемнело в глазах.

Прометей извивался, скакал, сигал, срывал бахрому, разрывал бархат, сцарапывал изображение, сшибал подсвечники.

Летели свечи, загорались иконы, трещал иконостас.

Вой, визг, взрыв зачинающего пожара, и среди стихийного гвалта стихийный шепот:

— Я люблю тебя!

И поднялась душная, грозная ночь.

Только они одни, Николай и Таня, одни в детской.

Уверенно теплится лампадка, жарко пылает крещенская свечка.

Жмутся друг к другу — хоронятся от этой вздрагивающей синей беды, что проползает над кровлей, вот низвергнется и похоронит весь дом.

Жмутся друг к другу — хорошо им, не страшно.

Вдруг будто раскололся дом пополам, заскакали окна, вытянулись лица... и на пороге седая нянька с прыгающим беззубым ртом:

— Маму убило!

И кричал нечеловеческий голос, белей молний, беспощадней всех громов:

— Я люблю тебя!

Бросился вон.

Но крик гнался, превратился крик в шепот, сверлил сердце, путал цепями ноги, толкал в спину, пока не повалил на землю.

— Сорок девять! сорок девять! — подхватил хор глухих сиплых голосов.

Николай поднял голову:

— Эге! да они все тут!

Будто стоит он на откосе железнодорожного полотна.

А там, внизу, какие-то люди семенят на одном месте и, держась за руки, притоптывают что-то красное, вязкое, хлюпающее, какое-то мясо.

Моросит мелкий осенний дождь.

Вдруг в глазах потемнело, весь изогнулся.

Кто-то сзади ловко петлю накинул и тянет...

А с откоса лезут и лезут, руками машут...

Чья-то рука ведет Николая в высокую башню, белую, без единого окошка.

Переступают порог башни.

Тяжелые засовы упали.

Знал, что приговор уж подписан, и с часу на час смерть наступит.

Николай лежал на нарах в грязной камере, видел кровавотеплый свет, сочащийся сквозь мутное решетчатое окно, и ждал...

С визгом дверь растворилась.

Два человека в черных плащах и черных полумасках, с тонкими, золотыми шпагами на бедрах, вошли в камеру и, молча взяв его под руки, вывели из тюрьмы.

Долго они шли по незнакомым узким улицам, завертывали в переулки, упирались в тупики, снова возвращались, пока не выбрались на людную широкую площадь.

Толпа запрудила все проходы; лезли, давили друг друга.

Истерически надорванным хохотом заливался колокольчик остановившейся конки, и кондуктор, морща желтое лицо и наседая на тормоз, заливался мелким гаденьким смехом.

А небо ярко-синее над пестрой толпой куталось в блестящую сетку знойного солнца и не летело, а спускалось ниже, все ниже.

Он мог уж достать его, когда стал на высокий помост и глянул поверх кишевшей толпы, но палач ударил кулаком по шее, и голова упала на грудь, и замер взгляд, упираясь в страшную, больную точку...

У столба на краю помоста, ударяя себя по бедрам и прихлопывая в ладоши, плясала растерзанная, с оборванной петлей на шее полунагая женщина, а измученное лицо от слез надрывалось, словно все муки вонзились в него, и от боли глаза на лоб выскакивали, и вваливались, как у похолодевшего трупа.

Плясала женщина, ногами притопывала... плясала женщина.. мать плясала...

Завертелся Николай на месте, хотел броситься, но в тот же миг будто острый кусок льда со свистом лизнул его шею, и черно-красный большой свет густыми брызгами взметнулся пред глазами, и щемящая сухая боль и что-то до приторности сладкое загрызло где-то в глубине рта, но страшные клещи сдавили череп и поволокли куда-то по вязким неостывшим трупам, по гвоздям через огонь в лед — кромешную тьму... в отчаяние.

Выгоревшая свечка вздыхала голубым тяжелым вздохом.

И в смрадном свете, закусив конец половика, лежал Николай у сбитой кровати, у неподвижного тела Тани, а по стене, как разбитые мельничные крылья, шарахаясь, ходили наливающиеся тени от торчащих затекших ног.

И караулила ночь закрытое окно... поруганное сердце... обманутое...

Запретила она, темная, всем беззвездным шорохам и одиноким стукам врываться и гулять по дому... по дому отчаяния и исступленной жажды.

Погас свет.

И время стало.

XVII

Падали листья последние, красные... Красные зори сгорали.

Кутая ватой измученный берег, угрюмый туман восходил над бурлящей рекою.

Пароходы ревели.

Прощальные звуки резали льдистые вздохи.

А кромешное небо ветрено-шумно за хлопьями хлопья бросало на сжатую землю.

Под крышами вьюга металась, — ковала синюю стужу.

И в дыме по звездам луна костяная ходила и улыбалась замогильно-скорбной улыбкой.

Злые туманы...

Листья сорвали, песни задули...

По временам казалось Николаю, он с ума сходит.

Был он весь одной тончайшей струной, и становилась эта струна с часу на час тоньше, и от малейшего прикосновения стонала... Стонала и болела.

Был он весь одним бесконечно живым нервом, и не было пушинки, которая, касаясь, не жгла бы душу, а эти руки... эти руки закручивали узлом обнаженное сплюснутое сердце...

Обычно, как только смеркалось, выходил он на улицу и, пробираясь среди старых домов, шел на безлюдье, в поле.

Если случалось, встречал кого, опускал глаза и сжимался, будто жестокий удар готовился на его голову.

Такими страшными казались люди.

Кое-где фонари зажигали.

Молча, как раздавленная собака, Николай глядел в их седое хилое пламя.

И они говорили:

— Ты помнишь?..

И в ответ гудело сердце, как гудел ветер.

А там, в белом поле, среди пушистых раскинутых снегов во мраке и зелени, темной ночью, лунной ночью он со стиснутыми зубами и сжатым сердцем не покорно молился, а требовал, настаивал, чтобы оно совершилось.

И казалось, оно совершалось.

Он видел ее, была она такой... неподдельной... лицо, тело, все... являлось ярко, резко и жило живее, будто под вызывающим, долгим поцелуем.

Да, да, да...

Он бежал по людным бульварам, и она бежала, он свертывал в аллеи, и она мелькала по дорожкам, садился, и она сидела на скамейках против, она заглядывала в глаза, он шел, — провожала...

Падал, задыхался от скрытых рыданий — колкие слезы глаза слепили, будто слезы и соль.

И что-то темное охватывало с головы до пят: он вбегал в дом к себе, запирал дверь, задергивал занавески, и сидел, отдыхая во тьме, без огня.

Свету боялся.

Впрочем, тогда боялся всего.

И среди давящей тишины забывался, и в забытьи снились кошмарные сны.

То казалось, будто кто-то на цыпочках входит в комнату, раздевает его донага, уносит одежду и снова входит и медленно, не спеша, принимается за старое: выносит одну вещь за другой. А вещей целая уйма.

А он будто лежит на полу, видит все, и холодно ему, а подняться не может.

Потому подняться не может, что вещей еще так много, а известно, когда тот снесет все, только тогда…

Целая вечность!

И так до рассвета.

Или так: приотворится дверь, и в каком-то странном стрекочущем свете выглянет с лестницы старая-престарая старуха.

Синие ее губы вздрагивают, слезятся гноящиеся глаза, и трясущаяся рука, привычно корчась, тянется за милостыней.

А он упивается злейшей горечью: видит, как эта загнанная бесприютная нищенка опускает пустую руку… Видит, и ничего дать не хочет, не шелохнется.

Нищенка протягивает руку…

И так до рассвета.

И наступал белый день, мучил несносными тягучими часами и в потугах превращался в страшную ночь.

Ночь. Не было на свете ни лица, ни такого предмета, на чем бы глаза успокоить.

Даже дети, эти единственно милые и чистые незабудки… Детские личики казались в зверских стальных намордниках.

И скалили из-за решетки свои молочные острые зубки.

* * *

За городом по большой дороге, прикрытая частым леском, раскинулась целая усадьба, посреди которой возвышалось огромное странное здание — сумасшедший дом.

Окна с толстой железной решеткой, окна, унизанные истощенно-ободранными полускелетами, полутелами, и там — понурые лица бритых голов, и сдавленный животный смех, и дьявольская улыбка, обвивающаяся змеей вокруг смертельно белых губ, и остановившийся долгий, изнуряющий взор, и такая открытость, такая беззаботная уверенность, как у ребят малых.

А там, за живой шторой, сладострастный сап и грязь, и распутство, и уличная брань, и тихая молитва, стон горький.

Железная угрюмая дверь и выползающий на волю запах подгнивающего, запертого жилья.

Вялый, увязающий в нерасходящейся мгле, измученный жел-

товатый свет, и пробитые ступени каменных лестниц, и та чернота коридора, непроглядная, где в пытке задыхающихся желаний, замирающих воплей давят, лезут, мнут друг друга слипающиеся тела с этим единым глазом, с этим ртом...

И оргия безумных бредов — остановившийся проклятый смерч.

И страшная, жуткая темь углов, куда уходят и где таятся такие слова сердца, такие думы, загадки и разгадки — сама судьба и жизнь, и смерть...

Звал этот желтый дом, приглашал под свою беспредельную кровлю, мигал своим безумным, бредовым глазом.

Гнал этот желтый дом, стращал своими палатами, где творится что-то странное, отпугивал странностью, тайной, ведь человеку хочется такого, чтобы не бояться, не тревожиться, — покою...

XVIII

Вьюжный день свистел за дверью и засыпал окна.

В переполненной приемной жутко горела неяркая лампочка.

Только что привезли больного.

Налитые кровью глаза с подбитыми черными подглазницами, пережегшие всю ярость и боль затравленного насмерть зверя, выпирались неумолимым и безответным вопросом. А длинная рыжая борода, изодранная в клочья и примерзшая к тулупу, торчала сухою паклей.

И не было живого места на теле.

Перерезанные веревками руки, красно-водянистые лепешки отмороженных ушей, багровые подтеки и ссадины на лбу, перегрызенные запекшиеся губы и неимоверно худые, бледные пальцы.

Мелкими мурашками разбегался озноб по его телу и, собираясь в огромный муравейник, колотил кулаком по шее и подкашивал ноги...

И взоры всех к нему обращались и, казалось, это в нем вьюга выла.

Пришел, наконец, доктор, и публику из приемной удалили.

Чуть внятно доносились теперь распоряжения и опросы, да в валенках служитель шмыгал со связкою ключей, как тюремный надзиратель.

Николай толкался у дверей, ждал, когда поведут больного.

Вдруг нечеловеческий крик прорезал стену и отточенной бритвой хватил по мозгу.

В приемной поднялся шум и возня.

Трое служителей пробежали мимо, шмыгая валенками.

Сгорбившись, вышли два городовых.

— Не полагается! — сказал один, — не полагается тут: уходите!

Николай вспомнил, что ему назначили придти и именно в этот час: доктор назначил — и он не тронулся.

Вдруг обрадовался: Господи, Павлушкин!

Веснушчатый плюгавый человек в огромной ушанке с болтающимися концами пронырливо выглянул из чуть приотворенной двери.

Увидел Николая, униженно закивал головой.

И вспомнилось Николаю, как однажды он вышвырнул это жалкое тельце «наблюдающего». Это было в один из таких, закрытых снегом дней, когда такая скука... и ему стало скучно.

Павлушкин принялся рассказывать: больного везли из уезда без передышки пять суток, больше тысячи верст отмахали в пургу, в метель, перекидывали с санок на санки, — торопились поспеть к празднику. Очень неспокойный, бунтовался, две рубахи на себе разодрал, уряднику самоваром голову прошиб.

— А чем же мы-то виноваты?..

Но в это время дверь распахнулась. Притихло.

В длинной сумасшедшей рубашке, как в саване, полупронесли человека.

Ни лица, ни глаз не было видно, только над бровями мертвел черный упорный шрам.

Где-то наверху гнусаво пропел тяжелый замок.

И волокли что-то грузное и затихшее по ступеням вверх.

А круг теней, увязая в желтоватой мгле, трепетал: вот оживет, займется, вспыхнет мириадами искр, бросится на стены, и рухнут стены, и помчится через ограду в сад, и полем в огород, обоймет, вопьется в город, вырвет все камни, обуглит здания и дальше...

Пока земля не разлетится вдребезги.

Но круг теней расползся в желтоватой мгле, и незаметно вышли люди, и затаились больные в своих кельях.

И только вьюжный день свистел за дверью и засыпал окна.

Захолонуло на сердце.

Черным ртом припала горечь и упивалась.

Ползком выполз Николай из желтого дома.

* * *

Николай шел по полю.

Белый сыпучий снег столбы крутил, а в столбах ветер пел.

— Скоро — скоро!

Он прокладывал путь по сугробам, а вьюга ливнем налетала и уносила.

Сердце — все нити сердца, нервы сердца — запутались в клубок и перетирались и тяжелой цепью давили грудь.

— Скоро — скоро!

— Но этого не будет, я не хочу, чтобы было... — бился охрипший голос, а в то же время хорошо знал всю бессмыслицу и ужас слов: он не властен перевернуть по-своему, если в нем самом все перевертывается.

Вдруг упало все небо, придавило спину, как доской с гвоздями.

Николай упал на землю.

Припал горячим лицом к пылавшему снегу, хотел забыть, не думать...

— Пусть сразу все! пусть сразу!

И сердце не кричало, сердце визжало, будто железные руки защемили его между железных пальцев.

— Уйдите, оставьте меня, не надо мне вас...

Мерещились ему целые полчища, она надвигались с арканами, с нагайками, и свистели...

— Странные вы, хотите привязать меня, хотите приручить меня...

Упало сердце, сдался...

— Пусть сразу все, пусть сразу все!

Вдруг вскочил.

— Не хочу!

Белый сыпучий снег столбы крутил, а в столбах ветер пел.

Дева днесь Пресущественного рождает,
И земля вертеп Неприступному приносит...

Вспомнил Николай дом.

Перебрал все старое. В каждый уголок заглянул. Ласкал, прижимал к сердцу.

Кончилось поле.

Подлетая и бухая об ухабы, катили санки.

Толкаясь и перегоняя друг друга, неслись пешеходы по тротуарам.

В магазинах зажигали огни.

В прошлом году был за решеткой… и ползла она, эта болезнь… — подумал Николай, — да…

Жил себе человек...

Зачат без желания, а на свет появился — кричал: грудь матери не молоко, а слезы точила.

Кем посеян? зачем свет увидел? на что вырос?

Любил… душу свою отдавал. —

Не приняли?.. Да ты ее отдавал ли, отдавал ли всю… всю?..

Верил бесконечно. —

Кто веру нарушил? — сам первый нарушил.

Мир себе сотворить хотел, а вот он: буря и вой и белые снежные ленты метаний с неба на землю, на небо с земли.

О мире мечтал. —

Нет покоя?.. да ты минуты не выжил бы в этом покое…

Застужено всякое сердце, а твое… горит?

Теперь, когда видятся предпраздничные огоньки, и ни один из них не приютит тебя…

— Братья мои! сестры мои!

Подточил червь башню, ты его рвал, топтал.

Подточил червь башню.

— Не верю Тебе!

Жил себе человек, жил тихо, смирно: что велят, радрадехонек… все исполнить. Да вдруг ударила его вся эта толкотня и сутолока, хлестнул по глазам тот вон свет в каменном доме, рванул за живое какой-то упрек...

— А чем я хуже, а? — и пошло.

Сначала грубое слово — слово за слово — в морду, потом…

— Не мразь же я какая, которую, кому не лень, топтать волен, не кобыла, которую лупи, сколько влезет, все стерпит.

Я гну для тебя, подлеца, спину, потому что жрать хочу, но гнуть себя не позволю!

Подточил червь башню, ты его рвал, топтал, думал, подохнет…

— Эх ты, тупой болван, старый хрыч, каждый мой кусочек, каждый мой обрывок острым зубом от злости, от боли в камень впивался и грыз…

Подточил червь башню.

А если лебезить задумаешь, обещаниями глотку заткнуть… рай свой, солнце свое, свет свой посулишь… — не верю тебе, не верю!…

Жил себе человек… какой человек?

— Братья мои! сестры мои!

— Гей! — заорал кучер.

Николай вздрогнул, шарахнулся в сторону.

Мимо мчались санки, тьма колких, грязных снежинок ударила в лицо.

Заскрипел зубами.

Такая боль поднялась нестерпимая.

Вверх дном опрокинул бы целый свет, прошел бы по трупам, пока не упал бы от крови, этой теплой, которая стекала бы по его пальцам...

Шел убитый.

Толкались прохожие, перегоняли друг друга, спешили.

В магазинах огни горели.

Забравшиеся за ворот снежинки грызли спину.

Тоска на сердце упала.

Тоска на сердце упала и росла...

И потянуло туда... в дом.

Надеть бы шапку-невидимку, мигом перелететь, стать на пороге...

Дева днесь Пресущественного рождает,
И земля вертеп Неприступному приносит...

Душа залилась слезами.

Остановился.

Видел одно черное небо, да крутился на небе дикий, бешеный столб, рассыпался в бездне тончайших сверкающих снежинок и вновь вырастал и крутился:

— Никогда-никогда!

И встала перед глазами выломанная дверь, и мать, ее вывороченные ужасом глаза...

— Никогда-никогда! — рванул черный ветреный столб.

И гудела телеграфная проволока и повторяла на разные лады тысячу раз.

— Никогда!

Пошел устало.

Жалел себя и звал смерть, и вместе умирать не хотелось, и проклинал и мучил и издевался над собой...

Ведь, когда тебе в лицо плевали, когда на спину садились, ты гнулся и нес, и топтали и помыкали тобой и ты нес.

Ведь ты смирился, потому что позволил согнуть себя...

Катинов не согнулся, Катинов ушел из этого города, а с ним и

другие ушли, а с ними и другие уйдут, а ты тут преешь и пакостишь и жалуешься: на кого ты жалуешься?

Катинов тебя по морде съездил, потому что ты и есть морда...

На кого жалуешься? чем виноваты люди, что ты — такой.

Что они тебе сделали? — ведь все они в тысячу раз лучше тебя, потому лучше, что мерзостей этих самых не делают.

И никто тебя не просил, сам навязался всем.

Эх, ты!

А потом, знаешь, ты кругом околпачен, сам себя околпачил. Думаешь, с миром борешься, не-ет, с самим собой: этот мир ты сам сотворил, наделил его своими прихотями, омерзил его, огадил, измазал нечистотами.

Что с Таней сделал? — слышишь!

Она никогда тебя не любила.

И гадко, гадко, потому что, если бы ты ее взял подлинно, ты бы не оправдывался. А то все оправдываешься... мучаешься... сгорбился весь... посмотри, посмотри на себя... фу!

Кого тешил?

Силу некуда девать было?

Ах, да... силу некуда девать было.

Но раньше, помнишь...

— А Глеб, Глеб? — простонал Николай бессильно.

«А я думал вы — честный человек!» — долбил страшный голос отца Тани.

— Молчи! — ударил кто-то изо всей силы, и все тело Николая сжалось, присело под страшным ударом.

XIX

Была темь, едва пролез Николай к двери своего дома. Дрожал весь.

Не глядел бы на себя и не слушал бы...

Зажег лампу.

Там и тут ударили ко всенощной.

И стало так пусто и невыносимо постыло.

И грубо сжимали облезлые стены и давил низкий с отставшей прокопченной бумагой паутинный потолок и щурилось обидчиво, издевалось это пестрое пятно на абажуре — старая почтовая марка.

Уйти бы!

Вдруг услышал, будто запел кто-то... да, да, ясно звучал родной далекий голос...

В тягостно убитые мгновенья, когда нет на земле места, под одинокий плач...

Так вознесся дух над гранями, и поясами и путами, над землей высоко.

Все дам тебе! — ударил гром.

И озверевшие синие златогрудые грозы разорвали небо.

И раскрылось око Бога, не Бога, что насылает мор и голод, и ветер, и зной на землю, — не Бога, что затмевает светила и рождает солнце, а Бога, парящего над солнцами и звездами, Бога, проникающего всякую тварь, Бога надкрестного —

Царю Небесный
Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняя,
Сокровище благих и жизни Подателю,
Прииди и вселися в ны
И очисти ны от всякия скверны
И спаси, Блаже, души наша.

— Так-так, — услышал Николай часы внизу от хозяев.

И вспомнил дом не свой... ее.

Он мелькнул в высоких освещенных окнах. Вся в огнях елка пылает. Как яркая свечка.

И мечется, колеблется елка.

И вдруг стала искоркой и отодвинулась, и, отодвинувшись, превратилась в горящую кровинку, — и, став горящей кровинкой, поплыла и рассекла страшную даль, а все плыла и, кажется, приходила минута, когда должна уж была погаснуть, но жила и виделась, раздвигала новые дали, плыла.

Так парил над адом борьбы и терзаний и слез с единой возносящей в великую высь неугасимой тоской.

И падал в самое пекло, разбивал череп о крепкую стену и вновь оживал.

Нищий.

Нищий... потому что ни вечности, ни божественности не дано ему.

А вся тоска, вся жажда — стать Им, Царем над царями Вездесущим, Всенаполняющим.

И прошел мечом сквозь его душу тот образ, что возжег эту безумную мечту.

Второй звон зазвонили.

И мысли, прожженные тоской, отточенные мысли переломились и рухнули, и плакали где-то тут-тут.

Прислонился к печке. Откуда-то из углов из подполья шло бормотанье.

Напрягался... все, все тянулось понять этот шум.

Кто это, что это бормочет?

А оно ползло, сновало, тоненькими-тоненькими голосками пело, подлетало, дразнило, жалило...

Вдруг острой судорогой передернуло лицо: кто-то будто холодными пальцами провел по спине.

И никому ты не нужен, и никому нет дела до тебя, слышишь: нет! нет! — стонали в клубок спутанные мысли — и ты умрешь так же, как умирает собака... умирает без крова, без любящей заботливой руки...

Нет, ты хуже умрешь, потому что о тебе и вспоминать-то будут по-собачьи...

А почему? почему? — сдавило горло.

А потому, что ты — сам...

Улыбнулся.

Мошкара ты, мошкара!

И всегда-то вывернешься, под любую кровлю спрячешься, лишь бы не нашли тебя, лишь бы сам не нашел себя...

Ну что мне делать? — простонал бессильно.

Будет изо дня в день, — заговорило что-то, — будет ночь и день ускользать земля с тобой, с твоим трупом по безмерным пространствам, будут матери детей рождать и пойдут, разбредутся дети по всем ветрам...

И те, которые заревом пройдут по земле, и те, которые туманом наполнят дали, они ринутся в бездонную высь, напоят мир своим горячим сердцем...

И вот один за другим покроют всю землю до последнего уголка.

Поколенье за поколеньем. Кишит, давит друг друга, а кто-то от хохота трясется над этой толкотней и глупостью и горем, над тем, что проползает в сердце грехом и над умом и сердцем...

А кто-то тяжкой скорбью перевивает свое великое сердце — скорбь с каждым летом горше, — ждет...

И солнце померкнет, звезды чернее ночи выглянут с черного неба.

А из очей их заструится алый свет — кровь детей — кровь мучеников — кровь всех, кто одиноко, забившись в четыре сте-

ны, им, этим стенам, свою скорбь отдает, глухим исповедается, бьется безответно, молит безответно...

И настанет то, чего так ждали...

А те желания, что затирались и замирали, развернутся своим цветом, и ты восстанешь и пойдешь по земле и будет тебе, будто во сне: все отдаленности приблизятся, а близь уйдет в бесконечность и предстанут сонмы существ, жизней, и знаний, и раскроется...око Бога, Бога проникающего всякую тварь, Бога надкрестного.

Царю Небесный
Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняя,
Сокровище благих и жизни Подателю,
Прииди и вселися в ны
И очисти ны от всякия скверны
И спаси, Блаже, души наша.

Застыл Николай, не смел оглянуться: сзади себя чувствовал, будто стоял кто-то и дышал иссушающим холодом.

— Я спасу!

Измученная голова с гулом половодья упала на грудь.

Повертелся-повертелся в черноте и дыме, — пригреваться стал.

И представилось Николаю, будто совсем он маленький. Вскакивает он с горячей постели, накидывает на плечики одеяло, да и к окошку.

А в окне чуть маленький светик.

И, кутаясь в одеяло, он таращит глазенки:

— Когда ж это волки со звездой пойдут путешествовать?

А по пруду дядя Алексей идет и так медленно, едва передвигает ноги... и сам такой мохнатый, как волк...

Дева днесь Пресущественного рождает,
И земля вертеп Неприступному приносит...

XX

Зима увядала

Дороги желтели; почерневшие дома, оттаивая, болезненно и тяжко вглядывались в улицы.

Стены комнаты казались стенами башни, и так хотелось сдвинуть всю эту каменную, навалившуюся груду...

Будто сидят вкруг большого стола пустого и темного, собрались и ждут... вот распахнется дверь и придет кто-то, желанный такой, — и выведет вон, в поле...

Целина голубеет.

Дымится малиново-морозное солнце.

А наутро жесткий молчаливый снег, и опять серый след, и небо черное...

Темные думы собирались и висели клоками затвердевших туч.

У полузамерзшего окна просидел Николай в сумеречные медленные дни, как приговоренный, день казни которого откладывается.

Безрассветность глушила все звуки и гнетом ложилась.

Рассвет вспоминался...

Так однажды без ночлега один он бродил по незнакомым улицам чужого города...

Надвигалась грозная ночь.

Одичавшие горы синели, и вершины их выли, выдыхая серебристые стрелы.

А острый, поспешный дождь колосил виноградник.

И вдруг с треском тысячи разрываемых шелков разорвалось небо, и улыбнулось, будто розовое лицо ребенка... нет, больше... он счастлив был, он любил, и его любили...

А теперь нечего ждать было...

И когда смеркалось, выходил Николай на улицу и ходил без цели, не глядя.

Ползла эта дорога бесконечная...

Бесконечная.

И так же медленно он возвращался домой, затаив в себе какое-то тяжкое оскорбление, и клевал и ненавидел себя.

Обломки воспоминаний, обломки мыслей — острые и такие горькие...

Эх, не вспоминать бы!

Кто-то обухом ударял по темени, а не убивал.

И до глубокой ночи жил он в темноте, жил медленно, — тянулось время, будто в часах какой-то гад гнездо себе свил, плодился там и гадил, — засорял механизм.

Разверзалась перед ним беспредельная пропасть, а он, как птица, вился в тяжелой туче, и эта безнадежность хватала и тащила его за крылья в муку, и не было сил вырваться...

Теперь, когда зима увядала, и в нем увядало что-то, а другое росло и тянуло... куда?

Был Николай на вокзале.

Эта машина, эти рвущиеся паровозы неумолимо свистели, и свистки, скрываясь и дразня, звали... куда?

Все тут припомнилось...

Как Таня уезжала, как он насильно обнял ее, и поцелуй этот был такой страшный, как к дорогому трупу, что никогда не восстанет.

Огоньки последнего вагона потухали, и виделись другие огоньки... и платформа опустела, а виделись огоньки.

И когда капля за каплей собралось все бывшее и ледяной корой сдавило сердце, так больно захотелось остановить время и вернуть... он не так бы сделал...

Но колокол, закричавший вдруг, придавил сердце.

— Совсем, совсем я чужой ей.

Огоньки последнего вагона потухали... люди бежали, догоняли кого-то...

— Совсем, совсем я чужой ей, — твердил всю дорогу, возвращаясь с вокзала, и ночью до рассвета, пока чья-то железная ладонь не прихлопнула веки.

* * *

С болью продрал Николай глаза.

Золотое, последнее зимнее утро горело.

Страшно было вспомнить все до конца, слишком уж ярко, есть такие вещи, которые самой, самой глубью души не могут сказаться...

Снилось ему, будто вошел царь Соломон и Мартын Задека, точно такие, как в гадальниках пишутся, и подает ему будто Задека замуслеванный вощаной ка́тушек, который над кружками надо подбрасывать, чтобы по числу судьбу узнать, подает ему этот шарик, не шарик, а глобус, и не глобус... голову... чью голову?

Вскочил, дрожал весь.

Не держался на ногах. И был каким-то квёлым и желтоватым.

Чувствовал все свое тело, а руки как какую обузу.

— Куда она уехала? где она? как живет, смогла ли жить? — словно впервые ударил по сердцу этот неотвязчивый вопрос, и в сердце зашевелилось что-то, решилось что-то, решилось бесповоротно.

Забыл боль, забыл немоготу.

Оделся. Попросил чаю.

И когда Аграфена принесла чаю, забыл о чае.

Стал собираться.

Он не знал, как все это выйдет, знал одно — уйдет непременно.

Все равно, терять больше нечего.

Бережно завернул в узелок маленького фарфорового медведя — единственную игрушку, какая в детстве была: отец накануне смерти подарил. Никогда не расставался он с этим «Медведюшкой» и теперь не забыл.

Снял фотографию «Пруда»: пруд изображен был зимним полднем; за деревьями едва виделся дом, все в инее, ледоколы ушли в трактир, покинув лошадей, к мордам привешены мешки с овсом, и сани с наколотым льдом; по льду следы...

Пошарил в шкафу, — пальцы бегали между книг, книги валились, — остановился на полотенце. Мать вышивала. Крестиком красной ниткой тянулся ряд взъерошенных петухов.

У матери в спальне висело.

Положил в карман полотенце.

— Где, где, где она?

— Мартын Задека — Мартын Задека... — ходили часы внизу у хозяев.

По лестнице кто-то шлепал.

XXI

Поезд опоздал.

И вез извозчик утомительно долго.

А хотелось Николаю как можно скорее.

Шли дома и церкви, шли, встречая и провожая, как вереница кладбищ с стертыми и еще живыми надписями на крестах и памятниках.

И сумрак, сливая крыши, растягивал их в один огромный пасмурный катафалк.

Падал снег.

Она, невидимая и горячая, обнимала крепко-крепко и сыпала под ноги талый снег... не весенние травинки, а синие гвоздики от своего дома.

И наперекор неукротимому шепоту, что по капле вливался и возмущал его душу, наперекор невнятной тревоге, что собиралась где-то под сердцем, и в беде, что следила из-за каждого угла, из каждых ворот, — рвалось что-то уцепиться за железностойкое и карабкаться.

— Не все еще пропало, — плыли, как плывет воск, воркуньи мысли — глупые ручные птицы вкруг стынущего трупа.

И огнистая полоска крови волной завивалась под сердцем.

Будто кружились красно-осенние листья, и неслись — уносились пушистые хлопья, усыпая и погребая.

А горячие руки все сильней и сильней прижимали, и огнистая полоса крови рвалась к какой-то жизни, завивая волной и творя ад.

Увидел Николай Грузинскую церковь, старую, все ту же, только купол как будто позолотили.

— Прийти, как прежде, — подумал, — стать на клирос...

— Не поможет...

— «Дом Бр. Огорелышевых».

Николай чуть не вскрикнул, привскочил весь.

Острою горечью облилось сердце и, с болью всколыхнувшись, крепко впилось в грудь.

Оно было как засыхающий комок крови, и жизнь его, изнывая, цеплялась из темной пропасти за паутинную лестницу.

— Скорей погоняй! — закричал вдруг.

Но извозчик, как ни стегал лошадь, едва двигался.

Уж фонари зажигали, когда, наконец, подъехал к дому, где жил Евгений.

На самом пороге охватил его страх: ну как, подумал, и тут не примут.

Так уж загнали, легли клеймом все эти камни-дни.

Минуту стоял столбом, прежде чем решился позвонить...

Застал Евгения.

Пристально всматривался Николай в лицо брата и одно видел: страшную тяжесть, она нависала на плечи и давила и не давала выбраться.

А тот суетился: не ожидал гостя.

— Тебе двадцать шесть? — спрашивал, не веря себе, Николай, поражаясь переменой.

— В июне двадцать семь будет, — отвечал Евгений.

— А помнишь, мы вот такие были, помнишь...

Показывали ребеночка.

Эрих с очками на лбу колясочку вывезла.

Светились милые чистые глазки на этого измученного, исхудалого, которого называли дядей, а губки оттопыривались и улыбались, как улыбаются только дети, для которых страшное совсем не страшно.

— Дя-дя... Дя-дя... бле... бле...

Брал Николай его на руки, делал козу и сороку, животик грел... хотел бы ему всю душу передать...

А на сердце была боль и тоска.

Уселись за самовар.

Евгений рассказывал, как с того самого дня жизнь проклятым пауком путала, пришибала, придавливала, кровь пила.

— Ну, а сам-то как? — перебил Николай.

— По-прежнему, ни слова ладом, одна ругань... для острастки.

— А ты?

— Да с ним уж и Александр говорил, а он все свое... я — ничего.

— Ничего! — и показалось Николаю, будто хлестнул его кто-то больно по спине, и от боли весело стало.

— Садись, — остановил Евгений, — еще уронишь чего.

— Ха, ха, ха, — заливался Николай надорванным смехом, — ты только подумай: один негодяев усмиряет, другой благотворительствует, третий «дьявол — сатана рогатая», — городом правит, и все благочестием своим...

Вдруг осел.

— Везде так...

Молчали.

Зажгли лампу. Закуску поставили.

Стало будто теплее, все до мелочей такое родное глянуло прямо в глаза.

Раскрылось сердце.

Он не позволит, не позволит так издеваться над братом...

— Прометей в пруду утонул, — сказал Евгений, — а на другой день, стоя, выплыл... раздуло — страсть, ходили с Алексеем Алексеевичем смотреть... Наш дом ломают, а весной и пруд засыплют.

— Ломают? — переспросил Николай.

— Да, после пожара почернел весь дом, обуглился, стал рассыпаться, ну и решили сломать, выстроить новый — бесплатные квартиры и поселить туда...

— Нас?

В эту минуту, надсаживаясь, задребезжал звонок.

Шумно вошли Петр и Алексей Алексеевич, набросились на Николая.

— Удрал? — ловко!

— А нас словно гонит что-то, едва дух переводим.

— Тише!

— Ну, как ты, как?

Говорили все сразу, долго не могли успокоиться.

Смотрел Николай то на того, то на другого.

Боже мой, как все изменились!

Стыдно стало, за себя стыдно. Он прочитал во всех этих глазах нужду, сиротство и бесконечную горечь.

Подали водку.

И опять зашумели, даже Бобик проснулся.

— Понимаешь, — говорил Петр, — сезон кончается, а места настоящего нет, а впрочем, что место... Придет весна, уйду из этого проклятого города...

Пустились в воспоминания.

— О. Глеба на покой уволили... в затворе теперь, и принимать никого не велено.

— Твою эпитафию отобрали, «Каиафа», должно быть, у себя поставил... в киот.

— Ха, ха...

— Сломали качели.

— Сломали! — все, все сломают, — ударил Петр кулаком об стол.

— Ребята! — крикнул Евгений, обставляя стол бутылками, — не заплачу я этому мерзавцу-хозяину, не корми вперед холодом...

Николай рассказывал о себе и о тех людях, с которыми жил.

— Да разве могут они понять, — заговорил, горячась, Алексей Алексеевич, — глубокую и страшную душу человеческую и ее хор голосов. Они скользят по поверхности. Мечтают устроить жизнь лучше и свободнее. Это внешнее когда-нибудь возьмется. Но что из того? — душа костенеет. И нельзя освободить невольную душу.

— Нет, нет, — вмешался Петр, — я давно по театрам таскаюсь, скоро себе все нутро надорву, и везде одно и то же, вот в прошлом году поступил к приятелю, милей он милого, а то, что ты жрать хочешь и не жрамши играть не можешь, этого он никогда не поймет... не заметит, некогда ему, понимаешь... И сидишь так ночью после спектакля и думаешь, как это он там у себя ест, непременно почему-то думаешь, что ест, и кишки у тебя все переворачиваются, а от холода и тупой злобы дрожь трясет...

— Это верно, — перебил Николай, — но главное тут не борьба, не свобода, а во имя чего борются..? Во имя чего борьба ведется?

— Хочешь, я сию минуту, — наступал Петр, — хочешь, я влезу на шкап и оттуда вниз головой — и не расшибусь.

Возвратились к Глебу.

Вспоминали проделки и те минуты, какие неизгладимо пережили с ним.

— Зачем мы живем, куда идем… — говорил Алексей Алексеевич. — В сутолке и беготне мы не слышим этот ужасный хор, до нас долетает только кòманда: пей, ешь, пляши, плачь, дерись, дери… Но разве это все?

— Слышал я в тюрьме, а потом еще раз, когда все сердце искусано было… И встречал простых людей, трясла их жизнь, и они слышали… Ну, а уж эти господа… просвещенные…

— Да провалится вся земля с ее утробой! — надсаживался Петр, влезая на шкап.

Евгений сидел молчаливый и грустный.

— Ха, ха, ха! — заливался Николай надорванным смехом, — значит — пей, ешь!

Чувствовал, что трясет всего, чувствовал, где-то в сердце ломают что-то…

Алексей Алексеевич уселся за рояль, и стал играть свои новые произведения.

Слушал Николай, не проронив ни одной фразы.

Ложились звуки на сердце, и был костер звуков.

XXII

Когда задули свет, и все повалились, и сон плотно сомкнул отяжелевшие веки, представилось Николаю, будто снова играет кто-то.

Чья-то невидимая рука коснулась клавишей, и зазвучал первый такой горький, полный отчаяния, безысходный аккорд:

Anima sola… Anima sola…*

И встала Она перед ним одинокая, пела свою одинокую песню…

Алкал и не накормили меня,
жаждал и не напоили меня,
в темнице был и не посетили меня,
странен был и не приютили меня…

И послышался вдруг трепет взвившихся крыльев — крик крыльев, и глянуло разорванное небо, и потонуло в ужасе метнувшихся отдаленных звезд…

Крылья…

* Одинокая душа (*лат.*). — *Ред.*

Крылья уж о землю хлопались.

А из разбитого сердца, как из кометы, лился сноп крови:

Боже мой! Боже мой, для чего Ты меня оставил!..

Видел Ее, валялась в грязи и пыли, бесприютная, заплеванная.

Видел Ее, отдавалась на глазах толпы.

Видел Ее пьяную и убогую.

И мертвая, стоя, плыла по пруду.

И визжала, одетая язвами.

И плакала опозоренная.

И глаза Ее отверженные.

Стон Ее о милости.

Видел Ее одинокую.

Задрал бабий кумачный голос пьяную песню.

У нашего кабака
Была яма глубока.

Видел, как схватились, слипаясь членами, безобразные чудовища — люди и звери, и понеслись в ужасном хороводе.

И поднялась свалка между людьми и зверями.

И месились тела, как тесто, хлюпали тела, кружились, выворачивались, ползали, заползали друг в друга, разрывали, истязали, выли, визжали...

Как во этой-то во яме
Завелися крысы-мыши,
А крысиный господин
По канату выходил.

А где-то последний, как проблеск случайный и странный, замирающий голос.

Это Она, одинокая, пела свою одинокую песню...

Наг был и не одели меня,
болен был и не посетили меня,
жаждал и не напоили меня,
странен был и не приютили меня...

Anima sola... Anima sola!

И, когда замер последний звук, представилось Николаю, будто стоит он наверху перед расколотым огромным зеркалом и видит себя, свое лицо, только странно, — без единого волоска на голове, а за ним другое, — матери лицо...

Мать одета в черное, под густой черной вуалью.

— Твой отец умер, — говорит она.

Николай будто просыпается, он уж не наверху, а внизу, в зале; слышит голос Евгения:

— Эй, — шепчет Евгений, — дернемте по последней!

А шепчет Евгений, потому что страх глушит его голос.

И опять Николай просыпается, но теперь уж по-настоящему.

* * *

Первая весенняя ночь черными тучами землю кутала и прижимала ее к теплой груди, как свое родное дитя.

А бедная Снегурочка плакала, тая, — помирала от горьких слез.

Плотники разобрали верх дома, где когда-то жили Финогеновы, и одна труба облупленная, черная, с высовывающимися кирпичами и какая-то длинная, торчала, как виселица-крест.

А кругом у террасы и далеко по саду валялись отодранные с искривленными гвоздями доски и щепки и трухлявые столбы и стропила.

И лежал, как мертвый лебедь, белый пруд.

А по дорожке, на той стороне, ходил кто-то медленно в драповом пальто, ходил, будто ждал кого-то на свидание, но такой спокойный и равнодушный и ничему не удивлявшийся...

И засвистел со сна встрепенувшийся фабричный свисток.

И вздохнула матово-зеленая лампа в белом доме Огорелышевых.

И, нервно вздрагивая, встает из-за стола Алексей Павлович, идет в спальню весь сгорбленный, и, схватившись от подкатившего удушья за стул, злой на боль и краткость часов, с отвращением глядит на полуживую, разлагающуюся заразу — никогда не слезающую с постели жену.

Возвращается из клуба Сеня и, сопя на весь дом, не раздеваясь, с назойливо сверлящим мотивом какой-то оперной арии, тычется жирным пьяным лицом в горячую подушку.

В продувных, наскоро сколоченных бараках, несладко потягиваясь и озлобленно раздирая рты судорожной зевотой, молчком и ругаясь, подымаются фабричные.

Осоловелые дети тычутся и от подзатыльников и щипков хнычут.

И сладострастно распластавшиеся с полуразинутыми ртами, наполовину больные женщины и девушки борются с одолевающим искушением ужасной ночи и с замеревшим сердцем опускают горячие, голые ноги на липкий, захарканный, загаженный пол, наскоро запахивая, стягивая взбунтовавшиеся груди.

Сменяется ночной сторож Иван Данилов и, обессиленный ломотой уцелевшего глаза, сквернословя и непотребствуя, валится в угол сторожки.

И гудит монастырский колокол к утрене.

И тянутся в Андрониев вереницы порченых и бесноватых с мертвенно-изможденными лицами, измученные и голодные, с закушенными языками, растрескавшимися, синими, бескровными губами…

И, тщетно ожидая старца, воют и беснуются.

И о. Самсон — «Пахмарный» говорком читает над ними бессильную молитву-заклинание.

Блекнет красный огонек в белой башенке.

Два худосочных шпиона, переодетые рабочими, кисло озираясь, толкутся у ворот, поджидая работы.

Какой-то деревенский парень, повязанный красным шерстяным шарфом вокруг шеи, переминаясь, свертывает цигарку.

А кто-то все ходит по дорожке на той стороне в драповом пальто, медленно ходит, будто ждет кого-то на свидание, но такой спокойный и равнодушный и ничему не удивляющийся.

XXIII

Когда Эрих разбудила Петра и Николая, Евгений ушел уж на службу.

Собираться им недолго было.

В Андрониеве перезванивали к средней обедне.

Они шли по нелюдным улицам с низкими, придавленными домами, захватывали огороды и пустыри, сворачивали на бульвары по кривым переулкам.

Дворники подскребали тротуары.

Какие-то оборванные гимназисты окружили лоток с «грешниками» и, целясь широким и коротким ножом, азартно рассекали румяные толкачики-грешники.

Где-то за вокзалом гудела роща весенним гудом.

— Это ты мне вчера сказал, что дом ломают?

— Должно быть, уж сломали, — Петр задыхался.

Проехал водовоз на колесах.

— Водовоз всегда первый на колесах, помню, бывало, как — ждешь его, и вдруг встречаешь...

— Весна.

Прогнали в участок партию беспаспортных из ночлежного дома.

Сбоку шагал городовой с книгой под мышкой.

— Почему это на таких книгах и переплет паскудный: с какими-то зелеными жиденькими разводами?

— А тебе что ж, сафьяновый надо? На верхах пакостят, ну и течет...

Черномазый мальчишка пронес огромный золотой калач — вывеску.

Какая-то женщина в одном платье, едва держась на ногах, семенила по тротуару с угрожающим в пространство кулаком.

У разносчика рассыпалось мыло: ярко-желтые, как жир вареной осетрины, куски-кубики завалили весь тупик... измазанную стену.

— Знаешь, Петя, странное со мной что-то творится, я словно в первый раз на мир гляжу, все для меня ярко и ново, все вижу... Может быть, это оттого, что я взаперти просидел столько времени.

Поравнялось несколько пар проституток: шли они на освидетельствование, шли такой отчаянной походкой... заразу несли... выгибали стан.

— Посмотри, посмотри, — Петр дернул Николая, — как эти женщины ходят... Один приятель рассказывал, будто мурашки у него по спине бегают, когда видит их... А потому это, я так думаю, что некоторые из них настоящие женщины... женщины, которые тянут...

Николай остановился вдруг: то, что все время скрытно горело в нем, выбилось острым языком:

— Где Таня?

Петр отвел глаза.

Молчали.

Теперь пошли быстро. Говорил Петр.

— О Тане я слышал, она была больна, сильно. Думали, умрет. Говорят, отравилась. Говорят, какой-то подлец... По городу много слухов. Называли и Александра...

— Что? что?

— Называли Александра.

— Нет, неправда! неправда! — Николай задохнулся.

— Толковали о свадьбе, Александр и мне говорил.

Николай дергался.

— Осенью.., в октябре хотели, и вдруг...

В это время поравнялся нищий-юродивый, пристально заглянул в глаза тому и другому поочередно и, отшатнувшись, плюнул прямо в лицо Николаю. Плюнул и с гоготом, с площадною руганью, проклятиями бросился в сторону.

Петр бросился за ним.

— Стой, Петя! — закричал Николай, ухватившись за Петра.

Петр вырывался.

— Оставь! оставь его! — просил Николай, но Петр не унимался, орал на всю улицу.

С перекрестка, ускоряя шаг, подходил городовой, держа наготове свисток.

Окна усеялись любопытными.

Няньки остановили колясочки. Высыпали из ворот дворники и кухарки.

— Го, го, го... — ударялся в спину безумный хохот.

— Не надо, не надо, — уговаривал Николай... — он прав, да...

— Прав?! — передразнил Петр.

— Знаешь, Петя, со мной что-то случится сегодня... видел я сон: мать видел и себя в зеркале без волос... а потом, совсем забыл, теперь только вспомнил: когда-то давно шел я из училища, и вот так же — нищий плевал на меня и ругал, а я, помню, чуть не плакал, стыдно мне было и горько, я не знал, за что, а теперь... Я пойду к Александру.

Шли молча.

— Александр такой сухой сделался, черствый... эта улыбка огорелышевская... Старик-то дядя путает и хорохорится. А он правая рука — все...

— Я пойду к Александру.

— Забыл он то время, как все мы вместе жили, совсем ушел от нас. Видел ты, как Женя бьется, а вот, — Петр тряхнул трехрублевкой, — последнее отдал, а тому... тому не до нас, ему некогда. После пожара закаменел весь. Ходит слух, что все это его рук дело... От него всего можно ждать. В один прекрасный день старика астма задушит...

— Кто задушит? — переспросил Николай.

— Вот и про Таню... говорят...

— Я пойду к Александру.

Петр ничего не ответил, глядел куда-то поверх белых крыш в

черную даль, словно дни считал, когда придет положенный ему срок...

Только вот весна придет, — говорили глаза.

Николай глядел на брата. Забывая себя, видел его насквозь, видел его боль и его тоску, и была боль и тоска в душе, и стыдно становилось за то, что не может вернуть ему жизнь.

Молча входили в монастырские ворота.

Сколько старого всколыхнулось, припомнилось столько хороших дней и часов и минут, и то, что думалось тогда, тогда... но этого не вернуть...

— Реставрация, — Петр скривил рот, указывая на стену.

И в самом деле, зеленого черта с хохочущими глазками, которому грешники подпаливали хвост — этой удивительной картины не было.

Рабоватый священник в пышной муаровой рясе, с необыкновенно детским выражением глаз, об руку с здоровенным генералом с пьянеющим одутловатым лицом, обрамленным рыжей лопатой-бородой, со шпорами и с белыми огромными крыльями, выходящим откуда-то из-под густых эполет, заслоняли лик Князя мира сего.

Жутко стало, когда взбирались по лестнице в белую башенку, как тогда в первый раз.

У самой двери какой-то монах загородил дорогу.

— Не принимают, — дерзко сказал монах.

— Не принимают! — Петр грубо толкнул монаха.

Вошли в келью.

И как увидали этого измученного старика, не суетящегося теперь, а загнанно-хоронящегося в своем кресле, вихрем снесло жуть.

Старец хотел приподняться, поздороваться, сказать что-то...

Только крупные слезы покатились из страшных багровых ям по впалым щекам.

— «Не принимают!» — ворчал Петр, все еще не приходя в себя.

— Колюшка! — передохнув, сказал, наконец, старец, — пришел ты...

Жалко было старца: бессильно шептал он что-то, звал кого-то, какого-то о. Мефодия, хотел, должно быть, гостей угостить, но никто не пришел, никто не отзывался.

Было тихо, только каждую секунду пели часы: так билось сильно у каждого сердце.

— Пришел я к вам, о. Глеб, — начал Николай и остановил-

ся... — Страшно мне... Страх охватил меня, я не знаю когда, но такой... до самых костей. Прежде ничего этого я не чувствовал. Прежде все легко шло, легко сносилось, легко принималось. Теперь застрял. Стало мне страшно жить, и... умирать страшно.

Старец задумался. Такой скорбью все лицо дышало.

И вдруг улыбнулся.

— Придет весна...

— Минуту назад, дорогой я представил ее себе ясно, не — весну, а смерть... конец. Секунда — и тебя нет, — нет, а все, что ты делал, все, что ты чувствовал, все, что думал, даже о чем самые близкие тебе не знают и не догадываются, — все это куда это пойдет? с тобой — все это с тобой на твоей спине, прямо на теле — кусающие точащие гнезда... Придет весна...

— Упадут на могилах кресты, — снова заговорил старец, — кресты уж падают, птицы летят, несут птицы цветы, цветы-песни... все обновляется, восстает из гробов, выходит светло...

— А я смею взглянуть в лицо этого света новой жизни?.. Кто примет навьюченного этими гадами?

Сидел Петр, как смерть, бледный.

— Род сей подобен детям, — продолжал старец, — которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали...

Любите, любите всем сердцем. Есть любовь, которая может остановить руку убийцы, зажечь потухшие чувства, просветить темные помыслы...

Слушая старца, Николай незаметно для себя поднялся, походил по келье и встал у окна.

И вдруг глаза его окаменели, прикованные к окну: между рам синело разбитое стекло и блестел острый голыш.

Встала перед ним та ночь, когда Александра увезли, встала она со всем своим ужасом, со всеми проклятиями, какими проклинал он мир, себя, всех людей со всем отчаянием, повернувшим руку бросить камень в красный огонек к старцу, который любил его, который прощал ему, который теперь принял его...

И вдруг потянуло Николая пробить раму, и вниз головой туда под обрыв...

— Есть вещи, которых простить нельзя... Ты не простишь, — ударило сердце, которое вырвал бы с корнем от стыда, муки и отчаяния.

Старец поднялся и, простирая к Николаю посиневшие от судороги руки, дрожал весь, готовый упасть на землю.

Петр подхватил.

— Простите меня, — простонал едва дышавший о. Глеб.

Несколько раз заглядывавший в дверь монах, приставленный надзирать за старцем, теперь вошел в келью и бесцеремонно уселся на стул.

Попрощались.

И когда замер последний отстук последних шагов, и каменная лестница вниз из башенки помертвела, старец поднялся, прополз к окну, растворил раму и, нащупав голыш, вынул его.

И, перебирая губами, горящими от слез, прижимал этот камень к своему сердцу, камень отчаяния, камень горя, камень перемучившегося, исстрадавшегося человеческого сердца.

И казалось, звал кого-то, молил кого-то, останавливал кого-то и, опадая, только крестил и крестил путь бесконечных терзаний — людскую долю.

Крупные слезы катились из багровых, глубоко рыдающих ям — перегоравших в ясные, лучистые видящие глаза.

— Любите! любите...

XXIV

На колокольне часы пропели полдень, когда Петр и Николай выходили из ворот.

Казалось, это из проглянувшего солнца высекал бой свои теплые звуки.

Так все горело на талом снеге.

Сердце горело.

Петр заторопился на репетицию.

И когда Николай остался один, охватило его беспокойство, и тьма голосов наперебой заговорили в душе.

Почему на могилу к матери не зашли? Почему Петр свернул в сторону? Почему он один идет?

Почему старцу всего не сказал? Почему есть вещи, о которых до смерти никому не скажешь? Почему есть вещи, которые нельзя простить? Почему у старца прощенья не попросил? Почему старец у него прощенье просил? Почему Александра подозревают в том, что ты сделал? Таня отравилась! Таня отравилась? Где она? где она? Почему на него смотрят? Почему он ходит между людьми? Никто не знает! Никто не знает! Почему он один идет? Где Таня? Где Александр? Где Петр?

— Петя! Петя! — закричал Николай на всю улицу, и пустился бегом.

И как ни бежал, не мог догнать. Словно след вымело.

Яркий-яркий весенний день. Вся земля будто выперлась от тепла, от радости, что снова открыта жизнь — иди, куда хочешь, бери, чего хочешь...

Весна!

А у него больнее заныла боль.

Шел, куда глаза глядели.

Обогнал проходивших солдат с музыкой...

Медные звуки ударили в ноги, подняли над землей и понесли.

Медные звуки, нарастая, вливались в него, сделали его огромным, сделали звучащей медью.

И, звеня, он несся по улице.

Грохнулся бы обземь, если б не чья-то рука, которая крепко впилась ему в грудь.

Какой-то господин в драповом пальто насмешливо улыбался тонкими птичьими губами, пристально заглядывая в глаза.

Николай рванулся, высвободился и, не оглядываясь, пошел шагом.

Шел так долго и медленно, ничего не замечая, ничего не слыша, пока не поравнялся с грязным трехэтажным домом с черной, сплошь измелованной доской на воротах.

Вошел во двор.

На дворе на солнышке сидели в кружок маленькие девочки в кумачных платочках и пели тоненькими и какими-то обласканными голосами.

А какой-то господин, взлохмаченный и странно одетый, размахивая руками, управлял хором:

Как у наших у ворот
Стоит девок хоровод.
Ай лю-ли у ворот,
Ай лю-ли у ворот.

Молодец коня поил...

Вдруг господин остановил девочек и, скорчившись в три погибели, как бы изображая что-то подползающе-ужасное, зашипел перегорелой октавой:

— Откуда ни возьмись ноздря... — и, выпрямившись, быстро обернулся и, хватая Николая за грудь, закричал прямо в лицо: — Ты ж убил человека?!

Николай остолбенел.

— Тебе Таньку? Тебе Таньку? — шептал господин, насмешливо улыбаясь. — Нет твоей Таньки — Танька тю-тю!

Николай попятился к воротам, мороз побежал по коже.

Заглянувший в калитку дворник сделал скребком навстречу ему какой-то ружейный прием, будто отдавал честь.

Как у наших у ворот
Стоит девок хоровод...

Опрометью бежал Николай по улицам.

Приставала песня, приставал стук нагонявших шагов, дубастанье молотка, скрип пил, жиг оттачиваемой бритвы.

Мелькнул красный забор, густо утыканный изогнутыми, ржавыми костылями, мелькнули скрипучие ворота, — как сквозь сон, как сквозь сон, — слышал, как отдирали доски, как визжали непокорные гвозди, и что-то трещало и ломалось.

В сердце ломали.

Вдруг из переулка камнем пересек дорогу весь запыхавшийся оборванец.

Прижимая руку к груди, он летел, как ошпаренная собака.

С его обезображенного лица рвались глаза...

Видел Николай, как выворачивались глаза от нестерпимого ужаса и перекипали в каком-то черном огне неминуемой смерти и рвались от нее.

А за ним озверелая шакалья толпа с гиканьем:

— Держи его! держи его! держи!

К конке прицепили лошадей, и мальчики-форейторы, подпрыгивая, махали длинными рукавами, будто обрубками крыльев, и свистели, травили, а лошади из сил выбивались, и не могли тронуться.

Толпа запрудила всю улицу, все проходы; лезли, давили друг друга.

И заливался, как безумный, истерически-надорванным хохотом заливался колокольчик.

И кондуктор, сморща желтое лицо и наседая грудью, вертел тормоз и сам заливался мелким гаденьким смехом.

А небо ярко-синее над пестрой толпой куталось в блестящую сетку весеннего солнца и не летело, а спускалось ниже, все ниже.

Он мог бы достать его...

— Держи его! держи его! держи!

Едва переводил дух.

Уж ноги подкашивались, сох рот.

«Дом братьев Огорелышевых», — метко стрельнуло прямо в глаза.

Прямо повернул в калитку.

Спустился к белому дому.

Рванул за бронзовую пасть-колокольчик.

Слышал, как прокричал звонок за дубовой крепкой дверью.

Кузьма — белый дворник — дверь открыл.

— Не принимают, — резко сказал, оглянув посетителя, и вдруг просиял от восторга: — Микалай Елисеевич, неужто это вы? к дяденьке навестить?

— Дома?

— Дома-с, дома-с, пожалуйте… А у нас, Микалай Елисеевич, Степан помер. Песню-то еще играть заставляли: Сто усов, сто… хи! хи! и дяденька-то хворые стали, бывалочи летают… Пойти доложить.

Николай ходил по коридору.

Пахло цветами.

Сто усов —
Сто носов…

Скрипело перо в конторе, и на разные лады выигрывали счеты этот дурацкий припев.

На матовом стекле двери красовалась, как прежде, черная лепная надпись: «чортора», переделанная когда-то еще в детстве из «конторы».

Заглянул в библиотеку.

Завешенные зелеными шторами стояли огромные полки и шкапы, битком набитые книгами.

Отдернул занавеску.

— Держи-держи! — захрипели вдруг старые часы.

— Пожалуйте, — Кузьма осклаблялся, — сердитые они, ужасть!

Медленно поднимался Николай по лестнице, так медленно, словно кто-то тянул его за ноги со ступенек вниз к двери, из дому. Задевал прутья ковра, цеплялся за перила.

— Цепочки-то на лампах не золотые, — подумал, — а медные, и цена им грош…

Сто усов —
Сто носов…

Пахло цветами.

Живые цветы, как около покойника, высматривали из залы гробом.

Запах мутил.

Забилось сердце.

Будто пробудился, — не понимал, как попал в дом, зачем пришел, — повернул назад. И опять очумел.

Медленно, так медленно, но упорно снова поднимался по лестнице.

Дернул за ручку двери... И вдруг приподнялся на цыпочки, оробел, как в детстве.

— Можно? — спросил Николай упавшим хриплым голосом.

Но ответа не было.

Помолчал и опять:

— Можно? — зуб на зуб не попадал.

Но ответа не было.

— Можно? — повторил в третий раз и резко, грубо толкнул дверь.

Старик сидел, как всегда, у письменного стола, высоко по-американски задрав на стол ноги.

Покосился из-под пенсне на гостя.

Николай твердо приближался; видел одно: эту морщинистую желтоватую кожу на шее, и как вдруг мускул задергался под воротником сорочки: старик узнал его.

— Тебе чего? — взвизгнул старик, как ощетинившаяся кошка.

И этот визг остановил Николая, и они смотрели друг на друга напряженно и молча.

Старик забеспокоился, рука, как мышь, проворно скользнула к звонку.

— Вот эта... фотография! — Николай вытащил из кармана ту самую, которую захватил с собой: пруд в зимний инеевый полдень, и, сунув ее старику, задрожал весь...

Прямо перед глазами тянулся двор, а поверх нагих деревьев вкруг белого пруда торчала черная облупленная труба.

И защемило на сердце, будто все эти черные кирпичи на сердце рухнули.

Старик внимательно рассматривал фотографию.

И защемило на сердце от острейшей скорби: все нити сердца расщепились и заострились, и стало оно кровавым ежом.

Дрожь ударила в плечи, — задрожали поджилки — и мигом приподняло с земли... приподняло и ударило...

Николай бросился на старика, схватился руками за его шею и стал душить.

Чувствовал, как руки, коснувшись чего-то отвратительного и живого, его тяжелые руки упали... и резали, мяли какое-то мясо,

ломали какой-то упорный металлический стержень, какой-то костлявый хрящ… какой-то…

Будто в этом стержне, в этом хряще, — надо сломать его, надо сломать его! — вся боль и скорбь хоронились: и эти нагие деревья больше не покроются листьями, и этот белый пруд никогда не оттает и седой теплый дым не поднимется из черных труб.

Надо сломать его! надо сломать его!.. — и мир кончится в боли, в скрежете, в тоске кромешной, во тьме… беспросветно…

Беспросветно!

Николай навалился всей грудью и давил задохнувшееся.

Старик, изогнув по-птичьи непомерно длинную шею, смотрел куда-то под крутой запрокинутый лоб, — и сладкая толстая слюна с кровью медленно ползла из разинутого прокопченного табаком рта.

Кто-то не спеша прошел мимо двери, и шаги шмыгали спокойно, равнодушно, и ничему не удивляясь.

Николай высвободил руки.

Где-то внизу тревожно прокричал звонок.

— Держи, — сказал кто-то раздельно, будто в рупор с того света.

Николай медленно вышел, не оглянулся.

Пахло цветами.

Прошел всю лестницу и коридор.

В прихожей ни души не было, в конторе было тихо, будто все вымерли: счеты не щелкали.

Вышел на волю.

Тихо обогнул дом, стал подыматься к воротам.

Какой-то господин в драповом пальто с белым узелком под мышкой мешкал у калитки, будто дожидаясь Николая.

Николай замедлил.

— Этот господин нарочно остановился, — решил вдруг, и охватила его лютая ненависть к этому господину.

Прибавил шагу, нагнал у калитки, грубо толкнул плечом, и, смакуя наслаждение, оглянулся: птичьи тонкие губы незнакомого насмешливо улыбались.

Минута — и Николай бросился бы и задушил этого негодяя.

Но что-то опало на сердце, какая-то непреоборимая лень вливалась в тело.

Едва передвигал ноги.

И шел так, ослабевая, с остановившимся взглядом куда-то туда за дома, за фабрики, где можно было бы лечь и заснуть крепко-крепко.

Слышал сзади себя шаги, знал, что тот господин идет за ним,

не спуская глаз, следит за ним, но обернуться силы не было.

— Monsieur! Monsieur! — покликал провожатый, и тенористо-прожженный его голос, как крючок, зацепил Николая.

Николай на минуту приостановился.

— Очень прошу извинить меня, monsieur, — господин изысканно приподнял шляпу, — моя фамилия Плямка, я — сотрудник «Совести», общий знакомый Хоботов говорил мне о вас... pardon! вы очень слабы, — Плямка бесцеремонно взял Николая под руку.

И они пошли рядом.

— Что вам от меня надо? — спросил Николай, болезненно кривя рот от чего-то такого, что, держа его, будто на крючке, начинало колоть острием, входить во что-то живое, глубоко в сердце.

— Вам, конечно, известно, — помедлив, начал господин, — что не так давно убили князя...

— Удушили?

— Нет-с, что вы, убили... такую птицу руками взять невозможно, это не старик, которого комар затопчет.

— Ну?

— Я вас поджидал целое утро, monsieur, я имею вам кое-что сказать... вы, кажется, знавали Катинова? — Плямка прищурился.

— Знал.

— Катинов убил князя...

— Катинов?

— Да, он убил князя... и сегодня его казнить будут...

Шли молча.

Шли по каким-то незнакомым улицам чрез проходные дворы, напрямик...

— Сначала выбор пал на вашего дядюшку, monsieur, потом решили оставить его в покое: не стоит марать рук; раньше это имело бы смысл, но теперь... ваш братец и тот поважнее.

Острие все глубже вкалывалось в сердце.

Плямка продолжал:

— Лично я ценю только крупное; знаете, разбить, например, такую какую-нибудь голову, как князя, чикнуть такого человека, от которого не продохнешь... В древности пророки огонь с Неба низводили на царей... слышите, ну, мы измельчали, нас на это не хватит, огня нам не свести... для таких вещей надобна великая вера... а у нас червячки...

— Кто?

— Да, червячки крохотные, блудливые: в какую-нибудь минуту их миллиарды, так и кишат... беспросветно...

— Беспросветно!

— Беспросветно.

Вдруг ударили в монастыре в большой колокол, помолчали и опять ударили и опять ударили...

Заныло сердце.

Словно рассеялась какая-то густая мгла, и предстал день, но день, о котором подумать страшно, последний день... светопреставление.

Кругом накрик кричали, неугомонно шумели, немилосердно стучали — и каждый звук был отдельным, каждый звук выходил, как в рупоре, с того света.

Ныло сердце, оно гнало бежать, бежать, вернуться, поправить, спасти.

Куда бежать? куда вернуться? что поправить? кого спасти?

— Поздно.

Николай рванулся из этих клещей — железной руки провожатого Плямки.

Мимо мчался легковой извозчик, подхлестывал лошадь.

Вырвался, бросился за ним.

Летел, сломя голову.

Уж настигал извозчика, хватался за спинку санок, заносил ногу...

А тот с остервенением гнал и хлестал лошадь, и был далеко...

И снова ударили в Андрониеве.

И звон пел великой скорбью, похоронный, — рвались звоны от давивших слез... колокола перезванивали...

> Наг был и не одели меня,
> в темнице был и не посетили меня,
> жаждал и не напоили меня,
> странен был и не приютили меня...

Боже мой! Боже мой, для чего Ты меня оставил!

XXV

Вся монастырская площадь была битком набита.

Весть о кончине старца вмиг облетела весь город.

Валом валили.

Обступили ограду, будто осаждая вражескую крепость.

На стены лезли.

Красный огонек в белой башенке не светил уж больше.

С гиканьем, упиваясь, издевались над каменной огромной лягушкой-дьяволом, проклятым св. Андроником.

Топтали ее, плевали в налитые кровью печальные бельма, непотребствовали...

Монахи, как стража, охраняли вход: не велено было пускать в ограду.

И полицейские, конные и пешие, жандармы, солдаты глухой стеной застенили ворота.

А толпа росла и шумела, как на огромном пожаре, и выли, кликали, визжали бесноватые.

И под вырастающую тоску воя хотелось выть и ломаться, биться о землю и ползти, грызть камни, царапать лицо, кусать руки...

Николай, пробравшийся к самому входу, грудь о грудь с лошадьми и шашками, чувствовал вместе страшную пустоту; она залегла, как туча, между ним и шашками, между ним и лошадьми, между ним и всей этой толпой, и, сдавливаемый со всех сторон, вертелся он, как подколотый вьюн.

Слышал хлест бича за спиной, чувствовал страшные руки, которые, падая ему на плечи, готовы были сломать все кости, а не падал, — втирался, — несся, будто на крыльях.

И жгла жажда до неистовства, выворачивала все внутренности.

Хотел бы остановиться, хотел бы схватить чью-нибудь руку и держать бесконечно, хотел бы грохнуться оземь навсегда.

Но никого не было.

Не было живого лица.

Одна жуткая пустота.

И шарахались люди от него, как от последнего, от зачумленного.

— У-у! — вырвался отчаянный раскаленный вопль, и огненный язык палил все слова, и не было больше слов на языке.

Ворвался к Александру.

Александр на пороге стоял, торопился уходить куда-то.

— Куда ты?

Стояли молча, глядели друг на друга.

Ничего не видел, только эти глаза, которые знали его... — помнишь! помнишь! — и другие, притуманенные, темные.

Там внутри… живые… пели песню.

Песнь песней:

— Приди ко мне!

Вдруг Александр обнял брата и крепко-крепко поцеловал, будто прощался…

Кто-то взял Николая под руку и усадил в кресло.

Сидел в приемной.

Боялся пошевельнуться.

Сгущавшийся сумрак глаза застилал.

Зажигали лампы.

Огромный письмоводитель с бельмом на глазу муслил языком конверты, прихлопывал их широкой ладонью и что-то приговаривал.

И представилось Николаю, будто лежит он, как в детстве, под диваном, смотрит сквозь пустую звездочку, прожженную папиросой на оборке.

— Плямка… Плямка… Плямка…

Старая-престарая старушонка в белом чепце с подносом вошла.

Прасковья, нянька, сказала:

— А Митя умер, в Пруду потонул.

И плакала сморщенными, добрыми исхлестанными глазами.

И опять:

— А когда вы были совсем маленькими, встретили мы на дворе дядюшку, а вы кулачки сжали…

— Хочешь, я сию минуту взлезу на шкап и оттуда вниз головой брошусь, хочешь? — услышал голос Петра.

— Пророки огонь низводили… ну а мы… червячки… старика и комар затопчет.

— Придет весна…

— Да жить-то мне незачем, батюшка, для чего мне жить?

— Плямка! Плямка! — затрещал телефон, и где-то на весь дом зазвонили и захлопали…

Хлопали дверьми и шумели.

И тихий сон, охвативший на миг, голос, прижавший к груди и возносивший на теплых руках по тихим ступеням, рассекся.

Николай вскочил, опрокинул кресло.

Трескотня и крик звонков иголкой кололи мозг.

Высовывалось из двери бритое лицо лакея, подозрительно оглядывало и скрывалось.

Письмоводитель на цыпочках вышел.

И Прасковьи не стало.

И настала страшная тишина, только где-то за дверью, за стеною, шаги, только шаги... взад и вперед... взад и вперед...

Да еще что-то...

Вдруг понял... Сейчас арестуют.

— Я уйду! — Николай бросился к окну, схватился за раму...

И тотчас посыпались стекла.

И стекла визжали, звенели... звонили...

....

Но кто-то стальной навалился и душил... звякали шпоры...

Звякали шпоры:

— Не уйдешь... не уйдешь...

XXVI

Пришла ночь звездная, шумно-весенняя.

А вкруг монастыря, как единая свеча, пылали свечи — не расходились; как половодье, шел народ, гудел.

Сбили полицейских, сбили лошадей, разогнали монахов, проломили чугунные двери...

Ужас и отчаяние кричало в крике бесноватых, и ужас шел чумой.

Они расползлись по кладбищу, унизали собой кресты, забирались в склепы, разрывали могилы, они — с закушенными от боли языками, в разодранных одеждах.

Запеленутое в схиму тело старца костенело, а прижатые к измученной груди руки просили:

— Прости им!

Какая-то женщина в венце развевающихся русых волос, полуобнаженная, билась о подножие катафалка и кричала:

— Глеб, Глеб, не мучь меня! Выйду, выйду... А куда я из тебя выйду?

А с кладбища через окна влетал-надрывался вопль:

— Не пойду, не пойду...

И кто-то темный, печальный, попирая лягушку у белой башенки старца, взвывал:

— Пропал я, пропал... Он мучит, сжигает меня! Выйду, выйду!

И тосковал в своем царстве.

Отчего ж не могу я молится Родному и Равному, но из царства иного?

Проклятие — царство мое, царство мое — одиноко.

Люди и дети и звери мимо проходят, мимо проходят скорчась, со страхом.

Я кинулся в волны, в волны земные.

Ты мне ответишь?..

Ты сохранила образ мой странный и зов в поцелуе?

И ушла с плачем глухим в смелом сердце.

Так в страсти, любви к страсти, любви прикасаясь, — Я отравляю.

Даже и тут одинок:

Слышу тоску и измену и холод в долгих и редких лобзаньях.

А сердце мое разрывалось.

Каменщики разобрали стену фамильного склепа Огорелышевых.

Улыбались черепа злорадной улыбкой — поджидали родного... сына и брата, звали на пир.

На пир из глуби оживающей земли ползли жирные белые черви, загребали мохнатыми цепкими ножками.

О. Иосиф-«блоха» лампадки чистил.

Пришла ночь звездная, шумно-весенняя.

Не расходились.

Как половодье, шел народ и гудел.

Запрудили весь двор черные люди.

И трещал ломкий лед на белом покинутом пруде, стонали гвозди под сапогами, притоптывался грунт разрушенного дома, где когда-то жили Финогеновы, и три длинных облупленных трубы с высовывающимися кирпичами торчали, как три креста — виселицы.

Подъезжали кареты к освещенному белому дому.

Опущенные белые шторы вздувались.

Лежал старик в высоком золотом гробе спокойный и тихий.

И был вокруг гомон, как на свадьбу.

Прыгал огонек в решетчатом окне высокой тюремной башни у Николая.

Длинная тень из окна по стене падала...

А вдоль стены по тени, как часовые, шагали Петр, Евгений и Алексей Алексеевич.

Далеко от Камушка до сахарного завода и от Воронинского сада до Синички и от Синички через пустырь до Андрониева и от монастыря до красного острога и дальше до края света, напоенное кровью, разливалось жаркое зарево.

Тосковал Дьявол в своем царстве.

И кричал страх из слипающихся, отягченных сном людских глаз.

И, пробивая красные волны, гляделись частые звезда.

А там за звездами, на небесах, устремляя к Престолу взор, полный слез, Матерь Божия сокрушалась и просила Сына:

— Прости им!

А там, на небесах, была великая тьма...

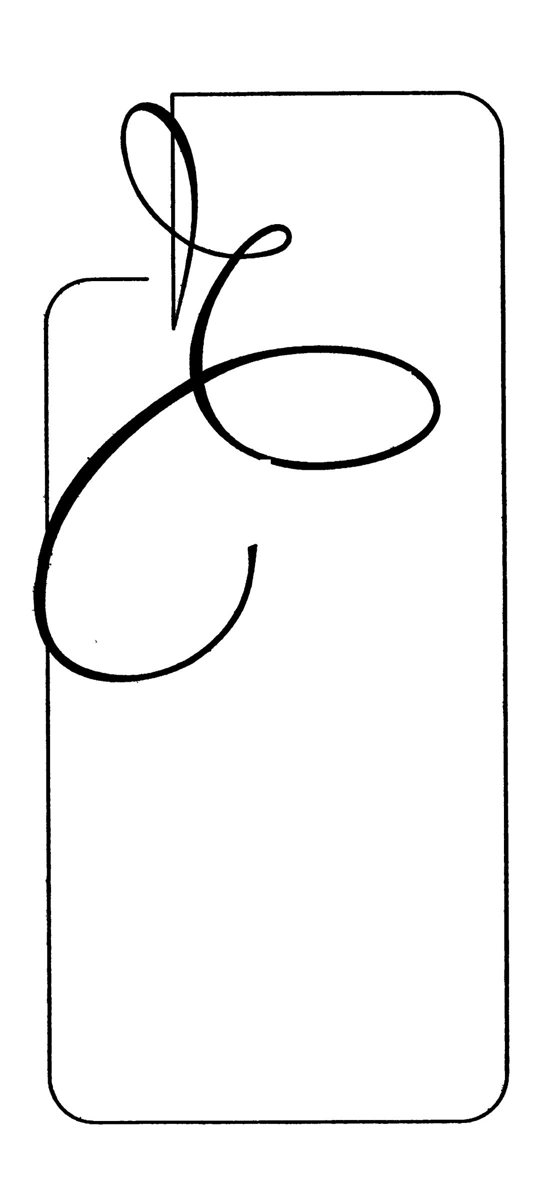
— Прости им!

А там, на небесах, как некогда в девятый покинутый час, висел Он распятый, с поникшей главой в терновом венце...

— Прости им!

КОНЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЯ



ПОДОРОЖИЕ

История моего «Пруда»

«Пруд» — мое первое произведение. Написан в Вологде (1902–1903), но в него вошло — все лирические вступления — из ранее написанного еще в Устьсысольске (1900–1901). В 1-ой редакции с некоторыми редакционными пропусками — увы! меня до сих пор редакторы цензуруют! — «Пруд» был напечатан в ж<урнале> «Вопросы Жизни», Пб. 1905. Встреча была дружная — не было журнала и газеты, где бы не было отзыва — везде выругали.

Несмотря на изустное заступничество — несмотря на слово П. Е. Щеголева, Н. А. Бердяева, В. В. Розанова, Льва Шестова, Е. В. Аничкова — я не мог найти издателя. Последняя надежда Пирожков — и Пирожков не согласился! И только в 1908 г. взял меня под свою руку С. К. Маковский и в издательстве «Сириус» (С. Н. Тройницкий, А. А. Трубников, М. Н. Бурнашов) вышел «Пруд» отдельной книгой с обложкой М. В. Добужинского. Это II-я редакция «Пруда». Изд. Сириус. Пб. 1908.

«Пруд» отпугнул «странностью» и «непонятностью», теперь совсем не странной и вполне понятной. Правда, у меня не было ни «серебристой дали», ни «истомы зноя», ни традиционных «вальдшнепов», я, по пылу молодости, наоборот — хотел все обозначить по-своему, назвать каждую вещь еще не названным именем. И в построении глав было необычное, теперь совсем незаметное: каждая глава состоит из лирического вступления, описания факта и сна; при описании же душевного состояния — как борьбы голосов «совести» — я пользовался формой трагического хора. И само собой, как тогда говорили, «наворотил!».

Через год после выхода «Пруда» в Сириусе я попал в еще горшее положение: «Неуемный бубен» — последняя надежда, как тогда Пирожков — был отвергнут редакцией Аполлона, хотя устно — и И. Ф. Анненский, и Вяч. И. Иванов, и С. К. Маковский, и Н. С. Гумилев, и М. А. Кузмин, и Е. А. Зноско-Боровский

выражали мне только сочувствие. Все издательства отказались издавать — от Горького («Знание») до Андрея Белого («Мусагет») — ну, никуда!

— — —

Через Р. В. Иванова-Разумника, принимавшего в моей жизни сердечное участие, попал я в «Шиповник»: «Шиповник», напечатав в 13-ом Альманахе «Крестовые сестры», взялся издать собрание сочинений в 8 книгах.

Тут-то вот мне и пришло в голову: «а что если попробовать странный и непонятный Пруд изложить своими словами?»

Никому никогда ни под каким видом не пожелаю этого делать — ни волею, ни неволею, ни от желания и сердца, ни со зла, ни нáзло!

Целое лето, сидя в Париже, я прилежно занимался исправлением: и если в I-ой и во II-ой редакциях я «наворотил», в III-ей я так «разворотил», что самому неловко читать стало. Так вышла III-ья редакция «Пруда» (1911 г.) Изд. Шиповник-Сирин (1910—1912). Собр. соч. т. IV.

* * *

[И теперь — через <2 нрзб.> — «Пруд» в пражском «Пламени»]. И теперь — новый «Пруд».

Я взял II-ую редакцию (Сириус), а из III-ей (Шиповник) только то, что дополняло, все же «изложенное своими словами» вычеркнул; выделил, как запев, лирические вступления, сны и хор; и, насколько возможно, сделал поправки в письме.

Есть для прозы невыносимые вещи:

1) т<ак> н<азываемая> «ритмическая проза» (само собой, во всякой прозе свой ритм!), но это именно то, что принято называть «ритмической» и что так любят мелодекламировать, — большой соблазн для начинающих, но от которого легко избавиться чтением вслух;

2) всевозможные описательные украшения по преимуществу природы, ничего не изображающие или захватанные донельзя;

3) отдельные слова между точек — без надобности, а главное без внутреннего напряжения, что можно сравнить с искусственным органом без пульса;

4) повторение слова для углубления, смысл не углубляющее, а только строчки — «коротенькие-коротенькие!»

5) библейское «и», уместно звучащее у пророков;

6) беспричинные «многоточия», как мушиная паль...

Виновен —

Виновен: и в только заманивающей «сухой» краткости, и в «пророка», и в «повторениях», и — но когда я впадал, и не раз, в грехи более тяжкие:

7) дешевые ассонансы (глагольные), производящие стрекотню кузнечиков, да чего кузнечиков! — бывает зазорнее;

8) расслабляющая слащавая чувствительность, что достигается очень просто: ставь определение за определяемым и готово дело, не скажи, напр<имер>, «русский народ», а говори «народ русский».

Эту чувствительность (весь т<ак> н<азываемый> «русский стиль» на ней стоит!) исправить легко опять же чтением вслух, ну, а с кузнечиками потруднее (на кузнечиках-то — «Also sprach Zaratustra!»* и все, что через него застрекотало по русской земле!), эти кузнечики, что блохи, от которых сейчас Париж стонет — сказывали, что с Океана прибыли с устрицами! — тут без персидского порошку... или, просто говоря, надо все заново.

Что касается самого содержания, я не решался трогать, хотя и следовало бы разгрузить, особенно в любовных сценах, которые: не люблю, и не выходят.

В первый раз я читал «Пруд» в Вологде — Щеголеву, Савинкову и Каляеву: когда П. Е. Щеголев не был еще «архивным фондом», а был «академиком» (в кавычках) за осанку, за голос и за искусное плавание, а Б. В. Савинков был сотрудником «Искры», а И. П. Каляев — корректором в Ярославле в «Северном Крае». И «обезьянья великая и вольная палата» называлась не ОБЕЗВОЛПАЛ, а С. С. А. (Союз Свободных Алкоголиков).

«Пруд» автобиографичен, но не автобиография. Круг моих наблюдений — фабрика — фабричные, где прошло мое детство; улица — я был «уличный мальчишка»; монастыри — «богомолье», куда оравой выбирались мы из города. Все это из жизни. Но самые центральные места романа: «Монах» (самоубийство матери) и «Латник» (в тюрьме) вышли из подлинных снов. [Я очень благодарен «Пламени»! Алексей Ремизов]

Paris
1925

---

* «Так говорил Заратустра!» (*нем.*) — *Ред.*

О РОМАНЕ А. РЕМИЗОВА «ПРУД»

Роман «Пруд» ни в первой печатной редакции (1905), ни во второй (1907) не встретил понимания со стороны современников, «отпугнув», по выражению автора[1], малопривычной еще в ту пору поэтикой лейтмотивов, пренебрежением к традиционным принципам сюжетосложения и психологической мотивации поступков персонажей, а также многоплановостью и подчеркнутой фрагментарностью текста. Оттолкнули первых читателей романа и его мрачный колорит, чрезмерное, на их взгляд, нагромождение в нем всевозможных «ужасов» действительности и углубленное изображение человеческих нравственных и физический страданий. Все это делало «Пруд» неприемлемым даже с точки зрения утверждавшейся тогда новаторской модернистской эстетики и как бы ставило его вне пределов искусства. Ныне, по прошествии 85 лет с момента публикации, очевидно, что «Пруд» — возможно, и несовершенное по исполнению[2], но чрезвычайно оригинальное и самобытное по замыслу произведение с весьма необычной для своего времени художественной прагматикой, которая осталась не разгаданной современниками, но которая тем не менее составляет главные его достоинства и первостепенный историко-литературный интерес. Об этом и следует говорить в первую очередь.

Эстетика, явленная в первых двух редакциях «Пруда» (1905 и 1907), — эстетика действенная, имеющая своей целью преображение действительности, изменение ее — посредством воздействия на сознание читателей. Зарубежный биограф Реми-

---

[1]Р е м и з о в А. М. Неизданный «Мерлог» / Публ. А. Д'Амелиа // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 3. М., 1991. С. 227.

[2]В этой связи см. позднейшую (1951 г.) ремизовскую оценку романа: «Скажу, как смотрю я теперь на мой "Пруд" (редакция 1907 г.): "Пруд это вереск и крик пробудившейся души, словесно взвихренное с тихими полевыми запевами, неумелое, барахтающееся <...>"» (Встречи. С. 153).

зова и хранительница его архива Н. В. Резникова свидетельствует по этому поводу: «В своих ранних писаниях (Пруд, Часы) Ремизов доходит до самого темного дна жизни. Именно в этой непроходимой черноте он старается найти выход из отчаяния жизни и жестокой человеческой судьбы на земле. У него сознательная и смелая идея, он пишет о ней в 1902 году С. П. Довгелло в письме, где он излагает свои мысли о Пруде: он будет говорить о зле своим голосом и, может быть, что-то повернет в мире. <...> Дно жизни в произведениях Ремизова того периода не "дно" Горького и других писателей реалистической школы. Ремизов стремится дойти до метафизической глубины жизни и человеческой души, он хочет услышать "поддонное" человеческого существования на земле и найти выход. Он верит в могущество слова»[1].

Иными словами, в первых двух редакциях «Пруда» Ремизов предпринял попытку создания эстетической утопии, призванной привлечь внимание читателей к проблеме трагизма человеческого существования, дать объяснение этого явления и наметить пути выхода из него. Задумывая и создавая подобного рода произведение (или, иначе, — в процессе реализации своей эстетической утопии), Ремизов ориентировался на опыт наиболее близкого ему в идейном и духовном плане современника — Льва Шестова[2], осуществлявшего на рубеже XIX—XX веков сходное намерение в сфере философского мышления.

Как известно, исходным пунктом глубоко личностной философии Шестова послужило гипертрофированное ощущение трагичности индивидуального человеческого существования. Стимулируемый им, Шестов предпринял попытку «спасения» индивида (читай: в первую очередь самого себя) посредством переориентации общественного сознания на «трагический» тип мышления. Осуществление этого предприятия прошло ряд этапов. В книгах «Шекспир и его критик Брандес»[3] и «Добро в уче-

---

[1] Резникова Н. В. Огненная память: Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, 1980. С. 135. Ср.: «С ранней юности боль человеческой жизни захватила и ранила Ремизова и стала одной из его центральных тем. В романе Пруд (1908 г.), так же как и в повести Часы, А. М. показывает с большой силой и накалом мрак человеческой души и бессмысленную, исступленную боль человеческого существования. Это сгущение темных красок (сюрреализм) — не декадентский прием той эпохи. Именно в этой конденсации мрака молодой Ремизов думает найти выход, как будто бы надеясь что-то изменить в мире» (Там же. С. 66).

[2] Перечень научно-исследовательской литературы, посвященной проблеме взаимоотношений Ремизова и Шестова, приведен в Комментарии (см. с. 530—531).

[3] См.: Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес. СПб., 1898.

нии гр. Толстого и Ф. Нитше»[1] гарантом «спасения» выступала внутренне противоречивая спекулятивная конструкция, в которой «ужасы» действительности уравновешивались признанием их разумной необходимости: страдание, по Шестову, благотворно, поскольку возводит страдающего на высшую ступень самосознания и духовной организации, что и дает ему возможность постичь подобную сверхразумную «целесообразность» мира. Противоречивость и неудовлетворительность этой конструкции была осознана Шестовым уже при завершении второй книги, что и вызвало поворот в развитии его мысли: трагизм человеческой жизни абсолютизируется философом — объявляется неустранимым («неизбывным»), но в таком случае именно этот вывод и должен лечь в основу новой «картины мира». Прежнее же — рационалистическое по своей природе — мировоззрение человечества должно быть отвергнуто — как игнорирующее трагическую проблематику и потому несоответствующее реальной действительности. Эту трагическую онтологию Шестов практически обосновал в книге «Достоевский и Нитше»[2], усмотрев адекватную для ее выражения форму в «философии» «человека из подполья», «подпольного парадоксалиста» (и в произвольно сближаемых с нею идеологиях других «бунтарей» Достоевского). Шестов создает здесь своего рода апофеоз «подполья», апофеоз положения человека в ситуации «бездны на краю» (той, что позднее будет именоваться «экстремальной ситуацией»): именно «подполье» (экстремальная ситуация) направляет глаза человека на проблему трагизма жизни, именно «подполье» удостоверяет в его (трагизма) «неизбывности», но опять-таки оно же — вопреки всем доводам ratio — вдохновляет «человека подполья» на заведомо бесперспективные, но от этого ничуть не менее интенсивные («исступленные») поиски некоего чудесного, сверхразумного выхода из ситуации «подполья», преодоления трагизма. Шестов декларирует при этом, что человек «подпольного сознания» скорее предпочтет «расколотить» в поисках этого «выхода» голову о «стену» объективных (рациональных) законов действительности, нежели смирится с безвыходностью своего положения.

В «Апофеозе беспочвенности» (1905) с этих позиций подвергся радикальному пересмотру и отрицанию почти весь суще-

---

[1]См.: Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше (Философия и проповедь). СПб., 1900 (книга вышла из печати в начале1899 г.).

[2]См.: Шестов Л. Достоевский и Нитше (Философия трагедии). СПб., 1903 (первоначально книга была опубликована по частям в петербургском журнале «Мир искусства» в конце 1902 г.).

ствующий набор общезначимых гуманистических ценностей[1]. Одновременно дальнейшая разработка трагической проблематики провозглашалась здесь философом единственным генератором и регулятором всех его будущих построений[2].

Вслед за Шестовым и их общим кумиром Достоевским Ремизов пришел к проблеме осмысления человеческих страданий и вслед за ними же и по их стопам сделал вывод о благотворности страданий для человека[3]. Экспликации, наглядному обоснованию этого вывода, сохранившего свою актуальность для сознания Ремизова на протяжении буквально всей его жизни[4], писатель и подчиняет сюжетно-образную структуру первых двух печатных вариантов своего «Пруда». Говоря об этом, следует отметить еще одну важную особенность романа. В 1926 году Ремизов не преминул подчеркнуть: «"Пруд" — автобиографичен, но не автобиография»[5]. И действительно: при сопоставлении реальных фактов биографии писателя с их художественным преломлением в романе (см. Комментарий) становятся вполне очевидными, во-первых, существенный «зазор» между ними, и, во-вторых, — последовательная авторская тенденция возможно более «трагедизировать» свое прошлое, «трагедизировав» таким образом и жизненную реальность в целом[6]. То есть, используя и творчески преображая собственные «былое и думы», Ремизов и

[1]См.: Шестов Л. Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления). СПб., 1905.

[2]Подробнее об этом и о дальнейшей эволюции Шестова в дореволюционные годы см.: Данилевский А. А. А. М. Ремизов и Лев Шестов (Статья первая) // Пути развития русской литературы / /Учен. зап. Тарт. ун-та. Тарту, 1990. Вып. 883. С. 142–151.

[3]«Шестов и Ремизов, оба под сильнейшим влиянием Достоевского, согласно утверждают (Шестов только в своей первой книге, Ремизов всю жизнь), что человеку предназначено страдание для «очеловечения» его. Тема эта превращается в сюжеты произведений Ремизова: в Пруде Николай изменяет, страдает и убивает, умирает как страдающая личность в мире страданий "сам собою" <...>» (Очадликова М. Причудливый мир Алексея Ремизова // Přednášky ve XIII. běhu letni školy slovanských studií v roce 1969: Kolektiv. Praha, [1969]. S. 247).

[4]Так, например, в 1936 году Ремизов писал: «<...> "страдание", по Достоевскому, может быть, единственное оправдание, единственный свет жизни человеческой безобразной, бессмысленной, складывающейся нелепо в самой сути жизни, благодаря каким-то "ошибкам" там — за которые человек никак не ответствен, а жить-то надо как-то, <...> не начинать же сызнова историю, начавшуюся гориллой, человеку, страданием достигшему сознания "я есмь" и тем самым переступившему "человека" с его "болью" и "страхом"» (Встречи. С. 131).

[5]Ремизов А. М. Неизданный «Мерлог». С. 227.

[6]В этом плане весьма примечательным оказывается сообщение Ремизова об использовании в романе элементов поэтики античной трагедии (см.: Ремизов А. М. Неизданный «Мерлог». С. 227).

их тем самым ставит на службу своему общему замыслу. Понятно, что и в этом случае примером ему служит все тот же Лев Шестов, сам как личность вовлеченный в процесс своего философствования.

В «Пруде» 1907 года представлена масштабная и многоплановая эстетическая модель России 1800-х — 1900-х гг., выступающей в истолковании Ремизова неким средоточием вселенского противоборства Бога и Дьявола, разрешающегося в судьбах, помыслах и поступках множества персонажей романа[1]. Модель эта строится на основе взаимодействия двух принципиально различных способов повествования: натуралистически-описательного и условно-метафорического (символического) — интерпретирующего. Посредством первого создается детализированная картина жизни и быта той поры, — в существе своем антигуманных, изобилующих социальными и политическими конфликтами и чреватых всесокрушающими общественными потрясениями. Посредством второго изображаемое переводится в условно-метафорическую плоскость: жизненная эмпирия возводится к обусловившим его метафизическим абсолютам.

Организующими полюсами сюжетного развития в романе выступают фигуры именитого промышленника Алексея Огорелышева и «Андрониевского старца» о. Глеба. На уровне бытовых отношений, уровне эмпирической реальности они четко противопоставлены друг другу как репрезентанты двух различных типов мироотношения и жизнедеятельности: как прагматичный и в прагматичности своей жестокий к людям деятель-практик, все помыслы и время которого заняты устроением посюстороннего, земного, «дольнего», — и как кроткий и отзывчивый к страданиям «ближнего» «праведник», взор которого постоянно обращен к «потустороннему», вечному, — «горнему».

Противопоставленность распространена и на жизненные судьбы Огорелышева и старца, — они построены по прицsmåипу инверсии: Глеб начинает с преступления и «бунта» и приходит к праведности и почти святости — Алексей начинает благими помыслами о всеобщем земном устроении и погибает в атмосфере ненависти со стороны великого множества им униженных и оскорбленных и от руки одного из них.

Символический план повествования еще более усугубляет это противопоставление: Огорелышев контрастирует со старцем

---

[1]В этой связи см. отзыв о «Пруде» 1905 г. Н. О. Лосского в Комментарии к наст. изд., с. 530, а также: Shane. Alex M. Remizov's Prud: From Symbolism to Neo-Realism // California Slavic Studies. 1971. Vol. VI. P. 75–76.

как репрезентант инфернального начала (на это указывают неоднократные упоминания о зеленом свете горящей в кабинете Алексея лампы, соотносящие его тем самым с наиболее устойчивым цветовым атрибутом Дьявола[1], его скрытая под показной религиозностью неприязнь к церкви и церковной обрядности и, наконец, его прозвище среди его собственных фабричных — Антихрист) с репрезентантом начала сакрального, с «земным небожителем», подобно Христу изгоняющим бесов из бесноватых и подобно пророку Магомету и «князю Христу» Мышкину[2] страдающим эпилепсией (см. также сцену, в которой ремизовский старец проецируется на старца Зосиму из «Братьев Карамазовых», — этого, по определению Мережковского, «предтечу Христа»[3]).

Столь противоположные и как бы взаимоисключающие друг друга, они тем не менее образуют некое сверхразумное антиномическое единство, пару, неразрывную настолько, что смерть одного из них оказывается одновременно кануном смерти другого.

В художественном пространстве между этими двумя антиподами, — под присмотром окон белого особняка и оконца белой монастырской башенки, в перекрещении льющегося из них далеко за полночь зеленого света настольной лампы и красного огонька лампады, — в попеременном тяготении к одному из них и отталкивании от другого разворачиваются судьбы большинства персонажей романа и прежде всего — его главных героев, братьев Финогеновых — «огорелышевцев». Самые старший и младший из них образуют другую – типологически и функционально сходную с первой — антиномическую пару в романе: связанные отношениями родства и особой душевной близостью, Александр и Николай в то же время принципиально различаются характерами, путеводными нравственными ориентирами и самыми своими жизненными судьбами. Александр, начав с поклонения и подражания старцу, проделал затем эволюцию от богоборца (с параллельной проекцией его в этот момент на наиболее

---

[1]В этой связи см., например, распространенное доныне словосочетание «зеленый Змий», а также изображение прельстительного своей красотой монаха в зеленой рясе в предсмертном видении Вареньки Огорелышевой (соблазнившего ее на не прощаемый церковью грех — самоубийство, да еще на Пасху!) и описание занавеса в театральной постановке Финогеновых: смеющийся черт на зеленом фоне.

[2]«Князь Христос» — так Мышкин назван Достоевским в черновиках романа «Идиот».

[3]Мережковский 14. С. 190.

радикального и последовательного из «бунтарей»-атеистов Достоевского – Ивана Карамазова) и бунтаря-экстремиста – до расчетливого дельца, превзошедшего своего дядю-«Антихриста» энергией, жестокостью и циничной неразборчивостью в средствах достижения своих корыстных целей, до радости по поводу его (дяди) насильственной смерти и до предательства «иудиным поцелуем» некогда самого любимого из братьев. И напротив: Николай проделал жизненный путь, существенно напоминающий судьбу о. Глеба и, по всей видимости, подобно ему же должен в конечном итоге приблизиться к праведности и святости.

Подобного рода репродуктивность антиномических пар, конечно, не случайна. Она — как лишь одно из проявлений и следствий — призвана демонстрировать абсолютную (метафизическую) антиномичность мирового универсума в целом. Именно это тотальное смешение, переплетение и взаимообусловленность сакрального и инфернального, «Добра» и «Зла» и является, по мнению Ремизова, источником и причиной всевозможных «ужасов» действительности и людских физических и нравственных страданий.

Совершенно очевидна связь данного миропонимания с представлениями гностиков, увлечение которыми Ремизов впервые пережил еще в юношеском возрасте[1] и которое сохранил затем на всю жизнь[2], подпитывая его элементами гностицизма в зороастризме, усвоенном через посредничество «философии жизни» Ницше[3], в идеях и писаниях В. В. Розанова[4] и т. д. В эстетической «модели мира», явленной в «Пруде» 1907 года, отражены и гностические представления о мире как греховной материи, по-

---

[1]См. об этом: Ивереиь. С. 25.

[2]В этой связи см., например, дневниковую запись Ремизова от 19 марта 1957 года: «И неужто мир Божье творение? И не правы ли гностики: мир в котором живет существо – творение не Бога, а Сатаны. А отречение — единственный путь к Богу» (Цит. по: Кодрянская. С. 318)

[3]О бурном увлечении Ремизова философией Ницше см., например, в его автобиографии 1912 г. в ст.: Грачева А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность // Лица: Биографический альманах. Вып. 3. СПб., 1993. С. 440 (Приложения).

[4]Об отголосках гностицизма у Розанова см.: Варшавский В. С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 294, 297. О взаимоотношениях Ремизова с В. В. Розановым и о влиянии последнего на ремизовское творчество см.: Данилевский А. А. Герой А. М. Ремизова и его прототип // Актуальные проблемы теории и истории русской литературы. Учен. зап. Тарт. ун-та. Тарту, 1987. Вып. 748. С. 150–152: Данилевский А. А. Из комментариев к «Куккхе» А. М. Ремизова // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia III: Проблемы русской литературы и культуры / Под ред. Л. Бюклинг и П. Песонена. Helsinki, 1992. С. 99–100 (Slavica Helsingiensia II).

рожденной Демиургом (особым творческим началом, лишенным божественной полноты и совершенства) и изначально противостоящей эманациям непознаваемого в своей сущности божественного первоначала, и представления гностиков об обитателе греховного мира, — человеке и о стоящей перед его духом задаче — преодолении уз материального мира через аскезу и духовное познание (образ о. Глеба). Но, разумеется, отражаются они подспудно (имплицитно) и опосредованно — языком искусства и в соответствии с законами эстетического творчества. Достигается это посредством актуализации в романе темы «богооставленности мира». Пребывание мира земной эмпирии под властью Демиурга-Дьявола, истинного «князя мира сего», особенно наглядно иллюстрируют страницы, изображающие жизнь монастырей: «божьи люди» сквернословят, пьянствуют и распутничают в своих «божьих домах», служат в них не Богу, а Мамоне. Однако в то же время Ремизов представляет дело так, будто в сознании человечества продолжает жить иллюзия Божьей власти над миром. Поддерживается и стимулируется она Сатаной, заинтересованным в сохранении подобной фикции, — для того, чтобы под сенью ее авторитета нейтрализовать благотворные инерцию «божественного первотолчка» и воздействие божественных эманаций, исподволь осуществляя тем самым дискредитацию всего сакрального и его полное искоренение. Особенно показательна в этом отношении интерпретация в романе новозаветной истории: декларированное в Евангелии воскресение Богочеловека, посланного в материальный мир для искупления его греховности крестными муками, представлено здесь фикцией. Реальными оказываются лишь крестные муки Христа, и не случайно «христоподобные» о. Глеб и Николай Финогенов соотносятся со своим прообразом именно по этому признаку: исторический процесс предстает в истолковании Ремизова как беспрерывное (с незначительными вариациями в каждом конкретном случае) репродуцированием Голгофы, где «распинаютися» жизнью наиболее отзывчивые к чужому горю, наиболее сострадающие людским страданиям.

С другой стороны, Дьявол-Демиург — «обезьяна Бога», его вечный антагонист-завистник, обреченный, однако, на вечное же копирование источника и причины своего бытия, на имитацию его деяний, но такую, в результате которой имитируемое предстает в сниженном, «опошленном» (Мережковский) обличье (эффект, аналогичный эффекту пародии). Главным объектом сатанинского пародирования остается все тот же Христос, точнее — божественный «промысел» искупительной миссии Хри-

ста. Ему Дьяволом противополагается его собственный замысел: Спасителя должно заменить внешне скроенное по его подобию «сатанинское отродье» — пародия на Христа, Антихрист, дабы таким образом усиливать под сакральным обличьем сатанинское начало в мире. И весьма знаменательно в этом смысле, что Пасха, по Священному писанию, — момент «посрамления» добрым началом начала злого, оборачивается в «Пруде» моментом высшего торжества Дьявола: именно на дни Пасхи приходятся наиболее трагические события в романе. Знаменательно и то, что показная религиозность Огорелышева-«Антихриста» — лишь личина, призванная скрывать его полное безразличие к страданиям окружающих.

Такое состояние материального мира «князь мира сего» поддерживает и упрочивает посредством навязанных ему жестких форм существования. Одной из таких сатанинских форм оказывается, по Ремизову, социальное расслоение общества. Другой — биологическая наследственность: не случайно жестокие деяния юных Финогеновых-«огорелышевцев» представлены как следствие их родовой принадлежности.

Подмена божеского сатанинским, «дурной синтез» того и другого и прочие «наваждения» Дьявола приводят к повышенной хаотичности бытия (в этой связи нельзя не вспомнить утверждение апостола из «Послания к римлянам»: «Что от Бога, то упорядочено»), к морально-этической дезориентации людей, к утрате ими способности различать Добро и Зло (в этом плане вновь показательна жизнедеятельность «огорелышевцев», предстающая как цепь деяний, то отталкивающих своей прямо-таки звериной жестокостью, то, напротив, привлекающих вызвавшими их подлинно гуманными чувствами). В этих условиях самореализация отдельной личности в пределах отпущенной ей жизни оказывается в прямой зависимости от волеизбрания человеком своего нравственного ориентира, от активности и сознательности этого выбора.

Выбор ориентации на земное, посюстороннее, «дольнее» — активен и сознателен (таковы судьбы Алексея Огорелышева-«Антихриста» и Александра Финогенова). Путь же ориентации на прокламируемое в Библии потустороннее, «горнее» человек выбирает не по своей воле, а понуждаемый к тому стечением обстоятельств — «роковых случайностей», толкающих его на преступление, вынуждающих «перейти через кровь», дабы в такой форме выказать свой «бунт» против антигуманности «божьего» мира. Заявленное в такой форме несогласие человека с существующим мироустройством оборачивается непременным

условием его последующего уподобления Христу (о. Глеб, перспективно нацеленный на это Николай). Тем самым «роковая случайность» оказывается санкционированной свыше, а сам «бунт» сакрализуется — получает потустороннее оправдание. Бог «облегчает» таким образом избрание человеком ориентации на «горнее», духовное, предоставляет ему возможность уподобиться Христу. Но окончательный выбор должен сделать все же сам человек. Принявший на себя ответственность за содеянное им против собственной воли преступление, усмотревший в этом несчастье, в этой «божьей каре» благо для себя, поднимается на высшую ступень духовной организации (согласно представлениям гностиков, построениям Льва Шестова): чувство вины за невольно содеянное зло понуждает человека принять на себя ответственность за в с е зло человеческого бытия и вызывает ответное стремление искупить это зло ценой собственных страданий (таковы просветления Николая в тюрьме). Покорно вынесшим эту «крестную ношу», прошедшим «через великое страдание» и благословившим свою судьбу открывается истинное знание о мире. Таким знанием обладает повторивший путь Христа о. Глеб, перспектива обретения подобного знания открывается перед Николаем. Такая же перспектива открывалась в свое время и перед Александром Финогеновым... Подобного рода перспектива и есть, собственно, то, чем надеялся увлечь своих читателей Ремизов, затевая свою утопическую попытку «спасения» мира. Объективно же «Пруд» 1907 года явился эстетической декларацией декадентски-бунтарского мировосприятия Ремизова 1900-х годов и его рефлексией на него[1].

История же возникновения редакции 1911 года отнюдь не так проста, как Ремизов стремился преподнести ее в 1925 году (см. выше), — мотивы ее были сложнее и не столь однолинейны.

Ко времени возникновения третьей печатной редакции «Пруда» мировоззрение писателя после продолжительного периода его метаний между декадентски-бунтарским и смиренно-христианским мировосприятием пришло — под влиянием целого ряда факторов (философские, историософские и эстетические предпочтения, его просимволистская творческая ориентация) — в состояние некоей стабильной уравновешенности, удачно определенной В. А. Келдышем как «примирение с действительностью»[2]. Сформировавшись, это новое мировоззрение властно

---

[1] В этой связи см. фразу из письма Ремизова Ф. Ф. Фидлеру от 9 января 1906 года: «Ношу кличку декадента и не жалуюсь» (РГАЛИ. Ф. 2571. Оп. 1. Ед. хр. 309. Л. 1).

[2] См. об этом: К е л д ы ш В. А. Русский реализм начала XX века. М., 1975. С. 270.

потребовало от писателя своего выражения в адекватной эстетической форме. Для Ремизова, с его типично декадентским интересом к собственной личности, особенно соблазнительным было сделать это на основе уже существующих редакций выполненного на автобиографическом материале «Пруда», дабы еще более подчеркнуть те изменения в своем мировоззрении, которые привнесло время и логика его внутреннего развития как писателя. Все это и нашло выражение в иной, нежели прежде, интерпретации фактов собственной жизни, — они переосмыслялись и видоизменялись им в соответствии со сложившимся к тому времени общим замыслом произведения и его новым видением и пониманием окружающей действительности.

Нельзя не учитывать при этом и такой фактор: «Пруд» 1911 года отчасти задумывался Ремизовым как текст-напоминание Льву Шестову о поднятой тем в свое время и затем оставленной им трагической проблематике.

Дело в том, что вопреки декларации самого Шестова (в «Апофеозе беспочвенности») о приоритетном ее развитии, уже в следующей книге философа «Начала и концы»[1] его внимание переключилось на заявленную в «Апофеозе» же тотальную дискредитацию рационализма, а затем, в «Великих канунах»[2], — на заведомо обреченное на неудачу изживание его (рационализма) рудиментов в своем собственном мышлении. В итоге выявились как непродуктивность пути, намеченного «Апофеозом беспочвенности», так и провал всего предприятия Шестова: задуманное и осуществляемое как утопическое «спасение» индивида, оно под конец обернулось своей полной противоположностью (антиутопией). И Шестов надолго (до 1916 года) замолчал.

Крах шестовской утопии способствовал осознанию Ремизовым опасностей утопического мышления вообще и своего собственного варианта утопического «спасения» в «Пруде» — в частности. Но дальнейшую разработку темы трагизма человеческого существования Ремизов считал продуктивной и перспективной и хотел вновь склонить к ней своего старшего современника и единомышленника.

Но, конечно, сыграло свою роль и ремизовское стремление (представленное в 1925 году как главная побудительная причина переработки «Пруда») стать понятнее своим потенциальным читателям. С этой целью писатель использовал поэтику активно

[1]Шестов Л. Начала и концы: Сборник статей. СПб., 1908 (сборник включил в себя статьи, опубликованные в отечественной периодике в 1905–1907 гг.).

[2]Шестов Л. Великие кануны. СПб., [1911] (сборник составили статьи, опубликованные в 1909–1910 гг.).

разрабатываемого русским символизмом особого жанрового образования — прозаического текста-«мифа», романа-«мифа». Символистский роман-«миф» (в наиболее выдающихся его образцах представленный романами «Петр и Алексей» Д. С. Мережковского, «Мелкий бес» Ф. К. Сологуба и «Петербург» Андрея Белого) строится на взаимодействии двух основных смысловых рядов: символического изображения современной автору действительности и ориентации при этом повествования на различные литературные традиции[1]. Отсылки к произведениям русской литературы XIX — начала XX вв., вводимые Ремизовым в текст Третьей редакции, выступают посредниками между уже имевшимися во Второй редакции двумя пластами текста (натуралистически-описательным и символическим, интерпретирующим) и привлекают эти произведения в качестве своеобразных ключей (кодов-«мифов»), открывающих трансцендентный смысл изображаемых в романе событий и ситуаций.

Основными полюсами мифологизации в романе оказываются сюжетные линии реформатора-промышленника Арсения Огорелышева и «боголюбовского старца» о. Глеба. Посредством ряда отсылок образа Арсения проецируется на выработанный русской литературой образ Петра I. Так, прежде всего с заботами царя-реформатора об укреплении экономики России, получившими освещение в ряде произведений А. С. Пушкина и особенно в романе Мережковского «Петр и Алексей», соотносится многогранная энергичная деятельность Арсения по всемерному подъему города, в котором он проживает. Благодаря подключению при этом к еще одной отечественной литературной традиции — изображения отдельного города как символа (субститута) всей страны в целом (ср., например, «Историю одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина), деятельность Арсения приобретает характер общегосударственной. Заботы Огорелышева о городе служат также отсылкой к мотиву Города, Петербурга как символа петровских преобразований в пушкинском «Медном всаднике» и в «Петре и Алексее». При описании усилий Арсения Ремизов старательно подчеркивает доходящую до жестокости решимость героя во что бы то ни стало реализовать свои реформаторские планы, что также перекликается с интерпретацией свершений Петра у Мережковского (не случайно у Арсения, как и у Петра в «Петре и Алексее», судорожные корчи — результат его титанического перенапряжения).

В «Пруде» имеется, наконец, и прямое упоминание имени

[1] Подробнее об этом см.: М и н ц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Творчество А. А. Блока и русская культура XX века: Блоковский сб. 3. — Учен. зап. Тарт. ун-та. Тарту, 1979. Вып. 459. С. 98.

первого русского императора в непосредственной связи с Огорелышевым: «“При Петре Великом быть бы Арсению первым министром!” — говаривали купцы <...>», — а также ряд более мелких деталей, соотносящих Огорелышева с традиционным образом царя: например, его пристрастие к игре в шашки (у Пушкина в «Арапе Петра Великого»), крайняя непритязательность в отношении своего внешнего вида (и у Пушкина, и у Мережковского) — но в «Пруде» последняя черта гипертрофирована, чтобы еще более подчеркнуть поглощенность героя своими заботами. Отношению Петра к религии и церкви в трактовке Мережковского соответствует в «Пруде» чисто показное исполнение Арсением религиозных обрядов и его прагматический подход к церкви как духовно-полицейскому институту существующей власти. Важен и такой момент: в обличье и «повадках» Огорелышева Ремизов постоянно отмечает нечто кошачье. Эта деталь отсылает к подробно разработанному у Мережковского мотиву сходства Петра I с котом (навеянному известным народным лубком XVIII века «Мыши кота хоронят», приуроченным к смерти царя и отразившим народное недовольство его реформами).

Спроецированностью Арсения на образ Петра в русской литературе задается восприятие Огорелышева и его деяний в контексте идущей от Мережковского и чрезвычайно значимой для русских символистов концепции мирового развития как земного проявления противоборства Христа и Антихриста. Подтверждением тому — неоднократное упоминание в тексте романа бытующего среди огорелышевских рабочих прозвища их хозяина — Антихрист и указания на веру «темных людей и простых» в то, что «Арсению бесы служат».

Арсению и на уровне бытовых описаний, и на мифологизирующем противопоставлен о. Глеб. Резко отрицательное отношение Огорелышева к схимнику (отсутствовавшее, кстати сказать, во второй редакции романа), которому, в отличие от него, «бесы повинуются», вновь заставляют вспомнить Петра в романе Мережковского. На мифологизирующем уровне «стоятель Божий», «хранитель Божьей правды» о. Глеб, отчетливо ориентированный Ремизовым на старца Зосиму из «Братьев Карамазовых» (ср. со Второй редакцией), противопоставлен Арсению-«Антихристу» как образ уподобленный Христу (посредством включения в его речь отсылок к Молению о Чаше и страстям Господним)[1].

[1] Вкупе с изгнанием старцем бесов из бесноватых это служит отсылкой к символике «Бесов» Достоевского — к образу Христа, изгоняющего бесов из «тела» России.

Образуя антиномию «Христова» («богочеловеческого» — пассивно-страдательного и сострадательного) и «антихристова» («человекобожеского» — активного и индивидуалистически-эгоистического) начал, образы старца и Арсения одновременно представляют в романе и два тематически различных контекста русской литературы, в свете которых выявляется скрытая ипостась братьев Финогеновых-«огорелышевцев».

На уровне бытовых описаний жизнедеятельность «огорелышевцев» предстает как поразительный симбиоз «доброго» и «злого». «Добрые» поступки братьев говорят сами за себя, «злые» же получают на уровне отсылок (опять-таки к теме Петра I) четкую маркировку, выявляющую их обусловленность «антихристовым» комплексом юных героев. Ориентация на детально разработанный в «Петре и Алексее» Мережковского мотив искоренения Петром традиционного социально-бытового и культурного уклада Древней Руси и текстуальная перекличка с ним ощутимы в изображении любимой игры братьев в «потешную войну», в изображении их религиозных кощунств: регулярно совершаемого ими «куриного» крестного хода, крестного хода «избиение младенцев», внезапного приступа исступленной религиозности у братьев — с уклоном в обрядовую сторону, поведения их в монастыре, отпевания и похорон кота Наумки.

Метания между Добром и Злом, Богом и Дьяволом, свойственное всем братьям, наиболее проявились в судьбе старшего и младшего из них. Младший — Николай — «огорелышевец», и, стало быть, огорелышевское «человекобожеское» начало присуще ему от рождения, генетически. Уже в детские его годы оно сказалось столь интенсивно, что из всех Финогеновых дядя Арсений выделил Колю, «видя в нем свою породу огорелышевскую». Максимально выразившееся в убийстве им Арсения, это начало нашло соответствующее оформление в уподоблении Николая в этот момент Раскольникову («человекобогу», «наполеону», по Мережковскому).

В то же время Николай — единственный из братьев, кто обладает сразу обеими ипостасями-антиподами: и «человекобожеской» и «богочеловеческой». Текстов-«мифов», выявляющих последнюю, несколько. Контекст «Петра и Алексея» призван выявить истинный — потусторонний — характер взаимоотношений Николая и Арсения: посредством ряда отсылок и проекций они уподобляются отношениям Петра и царевича Алексея (в «Пруде» воспроизведен мотив «тайной любви — явной ненависти», связывающей, по Мережковскому, венценосного отца и его непокорного сына). А уж уподоблением Николая царевичу

Алексею достигается, в свою очередь, перенос ипостаси последнего, ипостаси Христа[1] — на младшего Финогенова (на это же, кстати, работает и его противопоставление «Антихристу»-Арсению). В дальнейшем образ Николая проецируется на «современного Христа» Достоевского — Алешу Карамазова (тщетные ожидания Колей нетленности «приказавшего долго жить» Покровского священника перекликаются с подобными ожиданиями Алеши после смерти старца Зосимы)[2]. И наконец, образ Николая уподобляется непосредственно самому Христу: особенно показательна в этом отношении сцена в тюрьме, где принявший на себя вину за все зло мира младший Финогенов решает искупить ее ценой собственных страданий, восклицая при этом: «Боже мой, подкрепи меня!» (реминисценция Моления о Чаше)[3].

Уподобляясь Христу, образ Николая тем самым функционально сближается с образом о. Глеба. Но и событийно жизненный путь младшего Финогенова в основных своих этапах повторяет — за исключением лишь завершения! — жизненный путь старца. Однако именно иной, несходный финал определил отрицательный жизненный баланс Николая в целом: в отличие от старца, который принял и благословил свою нелегкую судьбу и собственную смерть встретил словами, утверждающими покорность Сына волеизъявлению Отца («Да будет воля Твоя!»), Николай, пройдя этот же путь — путь «современного Христа», — завершил его тем, что судьбы своей не принял и не благословил ее, т. е., по сути, устрашился Голгофы. Николай — это как бы «потенциальный», но не реализовавший себя «современный Христос».

В то же время очевидно, что изложенная в поучениях старца и реализованная в его судьбе (а частично — и в судьбе Николая)

---

[1]Об этом см.: Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах.. С. 103–104.

[2]Николай уподобляется Алеше (а Александр, соответственно, «бунтарю»-атеисту и — опять-таки, по Мережковскому, — «человекобогу» Ивану Карамазову) и в сцене беседы двух братьев в монастыре, повторяющей мотивы беседы Ивана и Алеши в трактире (в гл. «Бунт»).

[3]Этому соответствует также эпизод проводов Николая его братьями в ссылку, где атрибутами Финогенова-младшего оказываются определения, использованные несколько ранее в тексте применительно к Спасителю («Как <...> дорог им стал Николай, <...> он был для них чем-то светлым в их сумерках, <...> надеждой на <...> новый, лучший мир, который он даст им», — ср.: «...дорогой бесконечно <...>, стоял Он <...> в своих светлых одеждах и возлагал на понурые головы руки свои:

— Мир вам!» (разрядка наша. — *Ред.*).

версия евангельской истории (отсутствующая во Второй печатной редакции романа) весьма далека от ортодоксальной (как, впрочем, далек от привычных представлений о старчестве и сам образ о. Глеба): в «Пруде» 1911 года мы сталкиваемся с авторским «мифом о Христе», где наряду с Христом — искупительным Агнцем — едва ли не более значимым оказывается Христос — невольный виновник гибели вифлеемских младенцев, Спаситель, вступивший в мир «через кровь». Этим «мифом» существенно корректируется уже знакомая нам тема «богооставленности мира» в романе: как «божье попущение» Дьяволу — избиение вифлеемских младенцев — в ремизовском мифе оборачивается составной частью «божьего промысла» искупительной миссии Спасителя, так «богооставленность мира» — другое «божье попущение» — должно со временем обернуться предпосылкой для осуществления более глобального «божьего промысла» — пришествия Христа — Судии мира и окончательного «посрамления» Богом Дьявола.

Очевидно, что представленная в Третьей редакции романа эстетическая «модель мира по Ремизову» более оптимистична, нежели во Второй, однако не настолько, чтобы возможно было провести между ними непреодолимую грань. Перспектива «победы» Добра над Злом отнесена в неясное отдаленное будущее, зато, напротив, выявлены новые «сатанинские наваждения», препятствующие преображению мира. К уже известным присовокупилась повторяемость исторических и литературных (но истолковываемых «неомифологическим» сознанием Ремизова в качестве исторических же) человеческих типов. Именно благодаря этому самовоспроизводящемуся, — но с постепенным затуханием! — процессу Арсений Огорелышев оказывается «опошленным» двойником Петра I, Николай — «сниженным» вариантом царевича Алексея, а юные «огорелышевцы» — монахов-опричников Ивана Грозного и «потешных» Петра. Такова опосредованная идеями и проблематикой русской литературы ремизовская версия ницшеанской концепции исторического процесса как «порочного круга», «вечного возвращения».

И еще одно — самое страшное, по Ремизову (выявлению его способствует измененный финал романа): выполнив первую часть завета о. Глеба — «перейдя через кровь», — Николай не нашел в себе сил для выполнения второй его части, — по той причине, что резкий переход от «бунта» к «смирению» показался ему, рационалисту, противоречащим рассудку и здравому смыслу. Таким образом, именно ratio является, по Ремизову, главным средством осуществления господства Дьявола на земле, его ос-

новным «оружием» в борьбе за души и сознание людей, «оружием» едва ли победимым. Что же остается человеку, какая надежда? Та же, которую Ремизов предложил во Второй редакции романа: страдать, даже искать страдания, чтобы с его помощью осознать свое место в мире, среди других таких же страдальцев и узнать полноту бытия в любви к ним...

А. Данилевский

КОММЕНТАРИИ

ПРУД

Роман

Впервые опубликован: Вопросы жизни. 1905. № 4 / 5 –11.

Прижизненные издания: СПб.: Сириус, 1908; Шиповник 4, 1911; Сирин 4, 1912.

Рукописные источники: Беловой автограф I ред. (отрывки), 1908 — РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 92; Наборная рукопись III ред., 1902 – 1903, 1911 — РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 5; Наборная рукопись Четвертой ред., 1923, 1925 — Собр. Резниковых.

В настоящем издании представлены две печатные редакции романа «Пруд»: в основном разделе – Третья редакция (Шиповник 4, 1911) и Вторая редакция (Сириус, 1908). Текст Третьей редакции сверен с Наборной рукописью РНБ. В «Приложении» помещено авторское предисловие к Четвертой редакции романа (1923, 1925, Собр. Резниковых).

Роман «Пруд» написан Ремизовым в годы его вологодской ссылки (1901 – 1903) и имел первоначальное название «Огорелышевское отродье» – см. свидетельство автора в письме жене 19 июня 1903 г.: «Отделывал "Пруд", назывался по-другому: «Огорелышевское отродье» (На вечерней заре 1. С. 171). Во время пребывания Ремизова в июле 1903 г. в Херсоне роман получил новое, окончательное название и подвергся существенной переработке. «Отделывал "Пруд", написанный в Вологде», — писал он жене 6 июля 1903 г. (Там же, с. 182). Причиной тому была надежда Ремизова на публикацию его в журнале «Новый путь». Редакция журнала в лице З. Н. Гиппиус отвергла роман «за декадентство» (см. об этом: На вечерней заре 2. С. 243, 251). Вслед за этим Ремизов предпринял еще одну переработку произведения — в 1904 г. (см. там же, с. 246, 247), параллельно пытаясь пристроить его в какое-нибудь модернистское издательство. Эти усилия остались безрезультатными и только в начале 1905 г. Ремизов получил, наконец, согласие издателя «Вопросов жизни» (обновленного «Нового пути») Д. Е. Жуковского на публикацию романа в журнале (см.: На вечерней заре 3. С. 450). Не последнюю роль при этом сыграли ходатайства заведующего литературным отделом «Вопросов жизни» Г. И. Чулкова, одного из редакторов журнала Н. А. Бердяева и публициста Волжского (А. С. Глинки). Условием публикации было сокращение текста и внесение в него

ряда исправлений (см.: На вечерней заре 2. С. 283). Это было сделано автором, причем некоторые исправления вносились уже в ходе публикации (см.: На вечерней заре 3. С. 448, 450, 453, 459). Первая печатная редакция «Пруда» была опубликована в журнале «Вопросы жизни» (1905, № 4/5–11). Рукописей вологодского периода и первой печатной редакции «Пруда» не сохранилось. По свидетельству Ремизова, его окружение в лице Льва Шестова, С. В. Лурье, В. В. Розанова, С. П. Дягилева, К. А. Сомова, Л. С. Бакста, А. А. Блока и др. с одобрением приняло его первое крупное произведение (см.: Встречи. С. 46) и тем самым стимулировало поиски издателя для выпуска романа отдельной книгой. Она вышла при помощи С. К. Маковского в издательстве «Сириус» (предысторию издания см.: Встречи. С. 74–75), однако не в 1908 г., как не раз указывал сам Ремизов (см., например: Ремизов А. М. Неизданный «Мерлог»/Публ. Антонеллы Д'Амелиа//Минувшее: Истор. альманах. Вып. 3. М., 1991. С. 227) и как значилось на титульном листе издания, а в ноябре 1907 г. В этом издании Ремизов вернулся к своим вологодским рукописям, и текст 1907 г. представляет уже Вторую печатную редакцию произведения. В РГАЛИ сохранился автограф отрывков из романа, датированный 1908 г.

В апреле — июне 1911 г. Ремизов находился в Париже, где предпринял для издававшегося петербургским издательством «Шиповник» собрания «Сочинений Алексея Ремизова» в 7 томах еще одну значительную стилевую переработку текста романа, создав Третью редакцию. Наборная рукопись Третьей редакции «Пруда» в РНБ представляет собой печатный текст издания «Сириуса» со значительной авторской правкой. На титульном листе штамп: «Из архива Иванова-Разумника № 78». На л. 1 рукописное заглавие и пометы: «Алексей Ремизов. Пруд 2-е изд. 1902—1903 <написано> 1911. Париж. I ред<акция> 1905 г. Вопр<осы> Жизн<и> II ред<акция> 1908 изд<ательство> Сириус III [редакция] — 1912 изд<ательство> Шиповник — Сирин». В конце текста романа поставлена дата-автограф: «1902—1903 1911 г. Париж». Сам Ремизов так определил смысловую направленность стилистической переработки текста: «А что если попробовать странный и непонятный «Пруд» изложить своими словами?» (Ремизов А. М. Неизданный «Мерлог». С.227). В конце сентября — начале октября 1911 г. переработанный «Пруд» вышел в составе четвертого тома «Сочинений» под маркой «Шиповника». Чуть позже издательство «Сирин» перекупило у «Шиповника» права на ремизовские произведения и «Пруд» в той же Третьей редакции был издан в четвертом томе сириновского издания собрания «Сочинений» А. Ремизова.

Письмо Ремизова Д. В. Философову от 5 декабря 1919 г. свидетельствует о наметившейся возможности переиздания романа З. И. Гржебиным и о его новой переработке. Ремизов писал: «Дорогой Дмитрий Владимирович расскажу Вам историю «Пруда» моего — помню, Вы первый откликнулись на него.

«Пруд» написан за зиму 1902–1903 г. в Вологде. Читал я его в первый раз у Агге Маделунга, были слушатели:

Б. В. Савенков <sic!> С Верой Глебовной, ур<ожденной> Успенской, С. П. Довгелло, Ив. Пл. Каляев, П. Е. Щеголев, В. А. Жданов.

Напечатан был Пруд в «Вопросах Жизни» в 1905 г. — это первая редакция, а до того времени — два года — ходил он по белому свету, был и у Куприна и у Аничкова под глазом П. Е. Щеголева.

Много было гонителей и хулителей на эту книгу и долго издателя я не мог найти (были и читатели верные — очень немного — и все-таки были: Варвара Димитриевна Розанова, по ее собственному признанию[,] 5 раз <sic!> прочла), в 1908 г. издал Пруд «Сириус» (С. Н. Тройницкий, А. А. Трубников) — это вторая редакция.

А третья редакция перед Вами для Шиповника.

В Париже начата, а конец в Женеве. И правой и левой рукой. Принял о ту пору огненную муку — синяя висела у меня рука, как хвост. От ушиба – снился мне сон Иакова – поднялся я с болью и семь дней и семь ночей, свету не видя, мучился.

Вот три редакции, сейчас Пруд у З. И. Гржебина. Не хотелось бы мне перепечатывать в 3-ей ред<акции>, а еще раз редактировать времени нет:

«Культ мускулов!
а во мне чуть душа держится —
времени и нет» (РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 197. Лл. 5–5 об.).

Ни переработка, ни переиздание «Пруда» в 1920 г. не были осуществлены. Однако мысль о них не оставляла Ремизова. Хранящаяся в парижском собрании Резниковых Четвертая редакция романа, которая, по существу, является конволютом Второй (1907 г.) и Третьей (1911 г.) редакций с многочисленными авторскими вставками, свидетельствует о возврате к стилевой манере печатной редакции 1907 г. при сохранении принципов ремизовской монтажной прозы середины 1920-х гг. (см.: Ремизов А. М. Неизданный «Мерлогъ». С. 228). Рукопись помечена датами: «22.10.23 – 1925», что позволяет предположить, что первоначально переработанный текст предназначался для одного из многочисленных книгоиздательств «Русского Берлина» и только затем, в силу невыясненных обстоятельств, был переадресован Ремизовым пражскому издательству «Пламя» по просьбе Е. А. Ляцкого. Однако и на этот раз ремизовские надежды не оправдались: переработанный «Пруд» так никогда и не был издан. Вступление к роману в переработанном виде опубликовано в журнале «Воля России» (1926. Кн. 8—9. С. 230—232), а затем включено в кн. «Мерлогъ».

По свидетельству Н. В. Резниковой, незадолго перед смертью Ремизов вновь вернулся к правке и переделке своего первого романа, однако довольно скоро прекратил работу, придя к «мысли, что этого не стоит делать: надо оставлять произведения в их первоначальном виде» (Резникова Н. В. Огненная память: Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, 1980. С. 142).

Таким образом, имеется три печатных редакции ремизовского «Пруда». Восприятие их современниками было различно: печатные отзывы о них зачастую не совпадали с откликами, высказаниыми письменно и устно. Редакция 1905 г. в

этом отношении особенно показательна. Печатные отклики на журнальную публикацию романа были в большинстве своем негативными: и критики традиционного направления, и их собратья из модернистского лагеря оказались едины в неприятии ремизовского произведения. Так, известный отрицанием всего нового в искусстве нововременский присяжный критик В. П. Буренин в своем уничтожающем отзыве о «Пруде» даже отказался иазвать имя автора романа, — «из жалости к нему: к чему оглашать имена очевидно помешанных, несчастных пациентов современных бедламов, называющихся ежемесячными литературно-общественными органами?» (Буренин В. П. Критические очерки: Разговор со старым читателем//Новое время. 1906. № 10723. 20 янв. (2 февр). С. 4). Об истории появления этого отклика см.: Встречи. С. 46–47. Столь же бесцеремонной по тону была реакция провинциального критика Е. Бондаренко, писавшего: «...вычурностью отличается роман г. Ремизова — «Пруд». Автор пытается дать характеристику разлагающейся богатой купеческой семье, а вместо ее дает ряд страниц символико-декадентского косноязычия и заикания. <...>Проглотив два, три десятка таких страниц, вы чувствуете рези в желудке и шум в голове, словно по ней колотили кузнечными молотками. <...> После такой операции у вас надолго пропадает охота читать произведения символистов и юродствующих российских декадентов» (Бондаренко Е. А. Журнальное обозрение. «Русская мысль» – апрель и май. «Вестник Европы», «Мир Божий» и «Вопросы жизни» — май.//Каспий. Баку, 1905. № 121. 25 июня. С. 2). Даже в том случае, когда рецензенты демонстрировали в целом доброжелательное и заинтересованное отношение к ремизовскому роману, их суждения о нем отличались поверхностностью и определялись более соображениями внелитературного характера. Так, например, рецензент «передового» журнала политико-общественной сатиры «Зритель» заявлял: «Наша “господская” литература очень бедна описаниями монашеской жизни. Потому тем интереснее ознакомиться с романом г. Алексея Ремезова <sic!>, печатающегося в журнале “Вопросы жизни”. Роман этот, под заглавием “Пруд”, только что начался, подробный отчет его мы дадим по окончании, а теперь только коснемся изображения автором некоторых черт монашеской жизни. Отличительная черта дарования г. Ремезова — это откровенность. Он не окутывает жизнь туманным флером, а беспощадной рукой безбоязненно срывает все ее покровы. Его кисть рисует жизнь во всей ее омерзительной наготе, со всей грязью, смрадом, пороками, гноящимися и смердящими ранами. В июньской книжке описывается известный Андрониев (так и назван Андрониев!) монастырь» (Писака. Из журналов//Зритель. СПб., 1905. № 4. 25 июня. С. 11). В этой связи Ремизов высказал недовольство стремлением рецензента причислить его к лагерю «обличителей реалистов» (см.: Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым / Вступ. заметка, подгот. текста и примеч. И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского//Рус. литература. 1992. № 2. С. 149).

В свою очередь, Л. Д. Зиновьева-Аннибал, весьма расположенная к самому Ремизову и его творчеству, поставила «Пруд» вне искусства, отказав автору в

умении справиться с формой романа (см.: Аннибал Л. А. Ремизов. Пруд. Роман//Весы. М., 1905. № 9/10. С. 85–86). В своем недатированном письме писателю, написанном несколько позднее, она следующим образом проясняла свое отношение к его роману: «Но, дорогой мой Алексей Михайлович, искристый, истинный талант мною почитаемый и с болью любимый, я решусь честно и прямо сказать свое мнение, в объективной истине которого совершенно не уверена. Часы <второй ремизовский роман. — *Ред.*> как и Пруд *не искусство*. Быть может они ценны, даже совершенно наверное, но не в <*1 нрзб.*> Искусства. Это другое, еще небывалое, — эти <*1 нрзб.*> червяки которые вы <*1 нрзб.*> глодать сердца людей, и эти вопиящие <слепящие?> молитвы, которые извергаются со скрюченными пальцами, перекошенными губами, и злыми и скупыми слезами.

Но все что от искусства для художника ограничено незыблемою гранью и закованное в броню, как бы незаметна эта броня не была для читателя. У вас нет брони. Нет грани. Все что от искусства несет в себе какую-то сферу разряженную <*1 нрзб.*> электричество. У вас текут какие-то светящиеся зеленым, бледным фосфорическим светом линии все по одному направлению дрожа и зыблясь и прерываясь, но никогда не встречаясь во взрыве и огне. Вот ваши черты слабые, не правильно даже делающие и бессильные...» (РНБ. Ф.634. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 4–5; сохранена орфография и пунктуация оригинала).

Крайне негативно воспринял «Пруд» А. М. Горький. В июне 1905 г., в надежде на публикацию романа в издательстве «Знание», Ремизов послал Горькому его первые главы, напечатанные в «Вопросах жизни». В ответ Горький писал: «Ваш "Пруд" — как Ваш почерк — нечто искусственное, вычурное и манерное. Порою — прямо противно читать — так грубо, нездорово, уродливо и — намеренно уродливо, вот что хуже всего. А Вы, видимо, талантливый человек, и, право, жаль, что входите в литературу, точно в цирк — с фокусами, — а не как на трибуну – с упреком, местью...» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 28. С. 277). 30 января 1906 г., уже после личного знакомства с Горьким (происшедшего 3 января того же года), Ремизов писал ему: «Рад был, что увидел Вас и послушал. Посылаю оттиски "Пруда". Писал его не кривляясь, а задохнувшись. Это меня тогда так укололо в Вашем письме. Многие неясности не по моей вине: много мест внутренняя цензура повычеркивала» (Крюкова А. А. М. Горький и А. М. Ремизов (Переписка и вокруг нее)//Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 204). Об отзыве другого «властителя умов и сердец» начала 1900-х гг. — Л. Н. Андреева — узнаем из письма Ремизова жене от 8 июля 1905 г.: «Леонид Андреев, передает Чулков, заметил, что форма "Пруда" не по "роману". Большие по размеру произведения, как роман, нельзя так "ускоренно" писать. Его возмутила "лиричность". Конечно, "плавности повествования" в "Пруде" нет, да и не гнался за ней. Д. Е. Жуковский соглашается с Леонидом Андреевым и как доказательство "ускоренности" видит в том, что "прочтя главу, ничего не помнишь"» (На вечерней заре 3. С. 465).

Другие немногочисленные устные и письменные отзывы о романе скорее радовали начинающего писателя. На много лет запомнилось Ремизову письмо Д. В. Философова от 7 мая 1904 г. с подробным разбором I-й части романа. Философов писал: «Прочел первую часть Вашего романа, и очень им заинтересовался. Слышал, что Перцов <редактор-издатель "Нового пути". — *Ред.*> Вам его вернул. Я бы его напечатал, и если мне пришлось бы стать официальным редактором Нов<ого> Пути, я бы так или иначе его провел. В романе Вашем много пренебрежения пластикой, много нарочитого декадентства, которое, конечно, редакции пришлось <бы> при напечатании исправлять. Но именно это несовершенство меня прельщает, потому что оно свидетельствует о *процессе*, а не об академическом *завершении*. <...> Первая часть Вашего романа — кошмар жизни, из которого другого выхода, как религиозного, быть не может. Иначе безумие. Первая часть глубоко анархистична. Анархизм теоретический — преддверие религии. Здесь роль декадентства. Социалисты этого не понимают. Они *никогда* не избегнут упрека человека из подполья, который покажет им кукиш. Надо преодолеть, оформить хаос *самодовлеющих* индивидуалистов, а не *стадо* реформируемого человечества, т. е. какого-то choir à canon прогресса. Как Вы решаете этот вопрос в Вашем романе — меня страшно интересует, и я убедительно прошу Вас, буде возможно, прислать мне вторую часть, просто как знакомому» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 249. Л. 63).

«Пруд» вызвал понимание и живейшую поддержку со стороны друга-единомышленника и постоянного корреспондента Ремизова философа Л. И. Шестова. Известны его многочисленные отзывы в письмах 1905 г., например, следующее: «О продолжении романа скажу, что по-прежнему доволен. Все больше и больше убеждаюсь, что есть у тебя свое дарование художественное. Правда, есть и недостатки — особенно технические. Но они меня скорее радуют, чем огорчают. Каждый раз, когда писатель хочет быть совсем собой, он принужден жертвовать кой-чем» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым//Рус. литература. 1992. № 2. С. 151; см. также с. 144, 146, 155 и др.). Нельзя не отметить также позитивное упоминание «Пруда» и его автора в шестовском обзоре первых шести номеров «Вопросов жизни» (см.: Шестов Л. Литературный Сецессион. «Вопросы жизни», январь — июнь//Наша жизнь. 1905. № 160. 15 (28) июля. С. 3). Из письма Шестова от 18 (31) августа 1905 г. известно о реакции, вызванной чтением ремизовского романа у его близкого друга С. Г. Балаховской-Пти: «...Софья Григорьевна — в восторге. Говорит, что в твоем лице Россия будет иметь еще одного большого писателя» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым. № 2. С. 153). Заинтересовался «Прудом» философ-интуитивист Н. О. Лосский. В письме от 30 июня 1905 г. он сообщал Ремизову: «Читаю Ваш "Пруд". Огорелышевцы — "истинно-русские люди"; меня интересует, в каких именно городах России можно видеть их живьем. Читая Вашу вещь, ясно чувствуешь, что русская жизнь — вместилище величайших противоположностей, совсем еще сплавленных в одно целое, так что не разберешь, где божие, где чертово. <...> Теряюсь в догадках,

как назвать Вашу школу по манере письма» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 140). Роман не оставил равнодушным и Андрея Белого, сообщавшего в письме Ремизову от 10 января 1906 г.: «*“Пруд”* внимательно читаю на досуге, и сердцу близко, очень близко. Простите за прежнее невнимательное отношение: местами сильно пронимает. При случае хочу непременно печатать, сказать что-нибудь хорошее о “Пруде”» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 3).

Печатная редакция романа 1907 г. не вызвала значительного отклика со стороны рецензентов. Причину столь «бедного» его восприятия А. Шейн усматривает в том, что роман радикально расходился со стандартами современной беллетристики в отношении развития сюжета, а его крайне фрагментарная структура и изобилие в нем низких, макаберных и аморальных поступков создавали определенные трудности для восприятия (см.: Shane. Alex. M. Remisov's Prud: From Symbolism to Neo-Realism//California Slavic Studies, 1971, vol. VI, p. 72–73).

А. А. Блок еще 28 мая 1905 г. писал Ремизову, что его сковал страх, когда он прочитал «Пруд», а позже, в письме от 31 октября 1908 г. признавался, что после «Пруда» не мог читать Ремизова «года два» (см.: Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 8. С. 126, 257). В статье-обзоре «Литературные итоги 1907 года» (Золотое руно. М., 1907. № 11/12) Блок охарактеризовал роман как текст неудовлетворительный с точки зрения плана содержания, — как вещь с трудом поддающуюся прочтению, «тяжелую, угарную и мучительную», производящую «громоздкое впечатление» (Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 226–227). Все эти недостатки Блок объяснял ремизовской зависимостью от творчества польского писателя-декадента С. Пшибышевского, который, по его словам, «очень властной рукой подал знак к падению многим русским утонченникам из новых» (Там же. С. 227).

С позиций неудовлетворенности планом выражения критиковал новую редакцию романа Андрей Белый. Приветствуя в целом «первую значительную работу» Ремизова, Белый тем не менее выразил свое неприятие ремизовских стилевых и композиционных новаций: «Не нравится “Пруд”. <...> Вся беда в том, что 284 страницы большого формата расшил Ремизов бисерными узорами малого формата: это тончайшие переживания души (сны, размышления, молитвы) и тончайшие описания природы. Схвачена жизнь быта. Но охватить целого нет возможности... <...> Пока читаешь, забываешь действующих лиц, забываешь фабулу. Рисунка нет в романе Ремизова: и крупные штрихи, и детали расписаны акварельными полутонами. <...> Преталантливая путаница...» (Андрей Белый. Арабески. М., 1911. С. 475–476).

Весьма сходное впечатление вызвал «Пруд» у литературного критика социал-демократической ориентации В. П. Кранихфельда: «Пруд» <...> находится вне искусства. <...> Это был хаос, в котором не было лица, не было ни рисунка, ни даже линий» (Кранихфельд В. Литературные отклики//Современный мир. 1910. № 11. Отд. II. С. 97).

С мнением Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, В. П. Кранихфельда и отчасти Белого

о внеэстетической природе «Пруда» был согласен киевский ультрадекадентский критик и публицист А. К. Закржевский. Однако в отличие от них он усматривал в этом главное достоинство ремизовского романа. В характерной для него экзальтированной манере Закржевский заявлял в своей книге о Достоевском и современных писателях: «Не должно, да и нельзя "ч и т а т ь" "Пруд", его можно только переживать и, переживая, любить или ненавидеть. Здесь талант, глубокий талант, несмотря на его слишком тесную зависимость от Достоевского, перерос традиции искусства, вследствие чего то, что должно было стать искусством, не сделалось им, а стало чем-то иным, может быть большим и гораздо важнейшим, чем искусство, стало воплем прокаженного сердца, стало второю жизнью, стало исступленно-безумным и бесстыдно-интимным письмом к кому-то далекому, святому, всесильному, единственному. <...> после "Пруда" он, как будто желая извиниться перед публикой, стал уже писать не для себя, а для нее, стал писать утомительно скучные и ненужные книги, пахнущие мертвечиной и поддельной бойкостью, и все эти "Посолони", "Лимонари", все эти старые погудки на новый лад, все это паясничанье и подделывание под "детскость", вся эта эстетическая чепуха совершенно стерла с литературной книги истинного Ремизова, того, что в "Пруде", того глубокого и серьезного, что — в подполье» (З а к р ж е в с к и й А. Подполье: Психологические параллели. Киев, 1911. С. 72–73).

Третья редакция романа (1911 г.) опять-таки не вызвала заметной реакции со стороны критиков, лишь М. А. Кузмин в своей рецензии указал: «О новом издании "Пруда" Ремизова можно говорить как о новом произведении, до такой степени он переработан» (К у з м и н М. Сочинения А. Ремизова, т. 4. Роман "Пруд"//Аполлон. 1911. № 9. С. 74), а затем, противопоставив две части романа друг другу, заявил, что «всю первую часть "Пруда" можно причислить не только к лучшим страницам Ремизова, но и к наиболее примечательным произведениям русской современной прозы» (Там же). Зато роман получил одобрение со стороны литераторов, о чем свидетельствуют многочисленные эпистолярные отзывы. Л. И. Шестов в письме от 28 октября 1911 г. так выразил свои впечатления: «...новый, исправленный "Пруд" почти неузнаваем. Из первых трех четвертей тебе удалось вытравить весь тот балласт лирики, который отягчал его в первом издании. К сожалению, последние 100 страниц сохранили слишком явные следы прежней твоей, юношеской, манеры. И это очень жаль, т. к., по-моему, если бы тебе удалось довести переделку до конца, "Пруд" был бы лучшим из твоих больших произведений. Лучше даже "Крестовых Сестер" Когда я читал первые части, мне начинало казаться, что тебе удастся в повестях и романах дойти до того мастерства, до которого ты дошел в своих "миниатюрах" (Посолонь, Сны, Лимонарь). Это меня чрезвычайно порадовало, т. к. я никак не мог думать, чтоб одному человеку могли удастся два столь противоположных рода литературного творчества. Мне хочется надеяться, что ты "Пруда" не покинешь и в 3-ем издании переработаешь последние 100 страниц так же, как и переработал во 2-м первые 300. И тогда "Пруд", в который ты и без того вложил, по-видимому, очень много сил — ведь "Пруд" не просто рассказ, <...> — "Пруд" —

быль, вырванный кусок из истории человеческой, и близко тебе знакомой жизни — и потому, по-моему, над ним ты можешь и должен дальше работать. Не нужно, по-моему, взваливать на Николая так много преступлений. Еще может быть, что Таня из-за него покончила с собой. Но Арсения он не убил. И его кошмары должны больше забиваться вовнутрь – а не проявляться наружу. И умирать ему не следует под копытами лошадей. Ему нужно еще долго походить по свету и даже может проявить ценные, — для всех ценные – дарования. Очень мне хочется, чтоб "Пруд" еще подвергся переработке. Раз ты можешь перерабатывать — не бросай его, из "Пруда" может вырасти совсем большая вещь. И даже в теперешнем, еще не законченном виде он очень и очень хорош» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым. № 4. С. 105).

А. К. Закржевский в письме к Ремизову от 12 ноября 1911 г. вновь подтвердил свое исключительное отношение к «Пруду»: «Большое спасибо Вам за "Пруд". Наконец-то дождался я его! Опять перечитываю с тем же чувством и с теми же мыслями, что и шесть лет назад в «Вопросах Жизни»!... И вспоминаю себя и свое отношение к Вам, которое было тогда!. Это невозможно сказать, потому что немного смешно (теперь)! Мне тогда казалось, я был убежден, что Вы такой, как «Пруд»! И страшно хотелось с Вами познакомиться... <...> С каким трепетом, с каким благоговением ожидал я каждой книжки "В <опросов> Ж<изни>", и дух захватывало, когда читал!.. Что-то непередаваемое творилось со мной... О "Пруде" я ведь мечтал почти с детства... Знал: *такая* книга должна появиться, и будет она как палящий вихрь над "литературностью"! Что-то огромное, необъяснимое, страшное до ужаса открылось мне в "Пруде". Словно почувствовал новоявленную душу страданья, того страданья, о котором еще никто не говорил доселе, страданья выше сил и выше жизни, и открывающего перед глазами такие горизонты и такие миры, что жутко смотреть! Вы м<ожет> б<ыть> и сами знаете, *что* Вы вложили в эту вещь! И было сказочно. все это казалось мне чудом, потому что невозможное свершилось в жизни, из того, что зовут книгою, воскресла обнаженная, окровавленная, надрывающаяся душа! Так никто не писал (разве "Апофеоз <беспочвенности>" Шестова, но этого он не понимает или не хочет понимать, он говорит, что не любит "Пруд" за то, что "человек распустился", а раз говорит это, значит не понимает), — мало того — так и невозможно писать, будучи тем, что зовется литератором, так можно писать только один раз в жизни!

Все остальное, в конечном счете — ремесло! И у писателя (каждого) есть *одна* только книга, в которой — *все*, книга его жизни. У Вас такая книга — "Пруд". У меня к нему особенная любовь...» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 5—6). С. В. Лурье, публицист и философ, человек из ближайшего окружения Л. И. Шестова, писал в недатированном письме 1911 г. Ремизову: «...на два дня сбежал из Москвы в деревню <...> и захватил с собою "Пруд". Читал с *большим интересом*. Написан он, по-моему, неровно: есть места очень сильные, есть слабые, но то, что придает ему особый интерес, — это автобиографическая, т. е. подлинность, которая чувствуется больше всего в местах сильных. Я далек от

того, чтобы причислить "Пруд" к лучшим Вашим вещам, но хотел бы очень поговорить с Вами о многом, что там выплывает: и о своеобразном живом, рождающемся из гнили разложения, и о разлагающемся и упорно неумирающем...» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр.142. Л. 6).

Отзыв писателя и поэта Б. А. Садовского был исключительно комплиментарен, — он писал Ремизову 9 ноября 1911 г.: «Позвольте поблагодарить Вас за "Пруд", который я получил и уже прочитал до половины. Он разнится от первой редакции настолько, что кажется совсем новым произведением. Получилось два "Пруда". Многих мест, упраздненных Вами теперь, мне искренне жаль, и я чувствую, что без них мне никак не обойтись. Это, конечно, происходит оттого, что я старый Ваш читатель и знаю "Пруд" еще по "Вопросам Жизни". Дети наши начнут с теперешнего, более совершенного, "Пруда"» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 1). Приведем также отзыв М. М. Пришвина, сообщавшего Ремизову в письме от 28 октября 1911 г.: «Большое спасибо за "Пруд". Прочел я его и, к своему удивлению, вовсе не нашел таким таинственно непонятным, как привык считать его, слушая разговоры Ваших читателей» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 175. Л. 22).

С. 31. *неуклюжий белый домина ∞ спальни, дрова и амбары.* — В изображении двора и дома Огорелышевых отразились местонахождение, расположение и внешний вид усадьбы Найденовых — именитой московской купеческой семьи, из которой вышла мать Ремизова; в этой усадьбе прошло детство писателя, — ср.: « ... на второй год моей жизни мать переехала со всеми детьми на Земляной вал, к Высокому мосту, под опеку к своим братьям: ее поместили на заднем дворе, выходящем к Полуярославскому мосту, в Сыромятниках, в отдельном флигеле, где когда-то была красильня-набивная моего прадеда, <...> по соседству с фабричными "спальнями" бумагопрядильной Найденовской фабрики и каморками для мастеров (Подстриженными глазами. С. 50–51). «Мой прадед <...> пришел к Москве <...> и сел на Яузе, у Земляного вала, поставил красильню, <...> а сын его, мой дед, <...> пустил бумагопрядильную фабрику. На этой фабрике я и провел все мое детство и на моих глазах ее закрыли, когда началось новое дело: Московский торговый банк на Ильинке» (Иверень. С. 40).

С. 32. *...купечество выбрало его своим* п р е д с е д а т е л е м. — Ср. с воспоминаниями Ремизова о своем дяде по материнской линии Николае Александровиче Найденове (1834—1905): «С 1876 года стоял он во главе Московского Биржевого Комитета, и большинство крупных экономических преобразований и законодательств всяких прошли при его непосредственном участии» (Автобиография 1913. С. 444; ср.: Иверень. С. 38; Б у р ы ш к и н П. А. Москва купеческая: Записки. М., 1991. С. 116).

...и он крепко держал ее. — Ср. о Н. А. Найденове: «Именно в период возглавления им московской торгово-промышленной общественности у Биржевого комитета создался тот престиж, который внешне выявлялся в том, что

новоназначенный руководитель финансового ведомства долгом своим почитая приезжать в Москву и представляться московскому купечеству» (Бурышкин П. А. Москва купеческая. С. 116).

С. 32. *...отказавшегося от всяких чинов...* — ср.: «Отказавшись при жизни от высокой привилегии — от дворянства, наказал он <Н. А. Найденов. — *Ред.*> похоронить себя, как самого простого человека — последнего рабочего <...>» (Автобиография 1913. С. 444).

С. 33. ... *что-то зудело в воздухе, когда шел он...* — Ср. с характеристикой Н. А. Найденова: «По моей первой памяти, это был черный и очень быстрый и <...> маленький человечек, силой своей дикой воли выраставший в великана» (Иверень. С. 41).

...развлекаясь садоводством и благотворительностью. — Ср. с воспоминаниями Ремизова о старшем брате своей матери и своем крестном отце: «Виктор Александрович Найденов, как все его братья и сестры, окончив Петерпаульшуле, уехал в Англию и после пятилетней науки вернулся в Москву <...> "англичанином".

<...> Всю жизнь прожил он одиноко на Земляном валу в белом найденовском доме в семье своего знаменитого брата <...>. Ни малейшего сходства с Найденовыми, сам по себе, подлинно "англичанин". <...> Европеец — Берн Джонс, тонкий профиль и тень печали <...> Директор Найденовского банка на Ильинке — почетное место, а настоящее его дело — он выписывал английские журналы и <...> следил за литературой <...>. А кроме английских книг, оранжерея.

Круглый год нарядные комнаты белого найденовского дома ярко цвели и благоухали. <...> Как набожный англичанин, <...> воскресенье начинал с церкви, и после обедни каждый нищий получит от него пятачок. Нищие его не любили: этот пятачок не обычная копейка, но с какой гадливостью и из какой дали протянутый <...>» (Подстриженными глазами. С. 219–221).

С. 34. *...всегда был занят.* — Ср.: «Младший брат, Александр Александрович, женился на А. Г. Хлудовой < дочери московского миллионера. — *Ред.*>, занялся хлудовскими делами. Временно найденовское дело осталось в руках Николая Александровича, но фабрика его вовсе не занимала» (Иверень. С. 40).

...вытягивая его из купчишек... — см. весьма важное для понимания «Пруда» 1911 г. в целом и образа Арсения в частности уподобление Ремизовым в Автобиографии 1913 г. деятельности Н. А. Найденова преобразованиям Петра I: «Начиная с 60-х годов прошлого века до конца 1905 года († 28 ноября 1905 г.) деятельность его в торгово-промышленном мире поистине была петровская» (Автобиография 1913. С. 444).

Единственная сестра Огорелышевых... — У братьев Найденовых было три сестры: Мария, Ольга и Анна.

С. 35. *Варенька воспитывалась дома.* — Ср. описание судьбы М. А. Ремизовой: «...мать Ремизова окончила московскую немецкую школу <...>. Она

много читала, вошла в среду первых русских нигилистов. <...> В этом кружке она встретила художника Н. Все казалось удачным. Взаимная любовь, те же вкусы, понимание, но в решительную минуту он ей сказал, что не может пожертвовать семьей <...>. Ее это поразило, вывернуло душу <...> и она сама решила свою судьбу — вышла замуж “назло”.

Михаил Алексеевич Ремизов, вдовец, старше на двадцать лет. Известный московский галантерейщик. От первого брака у него было пять детей. И вот Марья Александровна очутилась в Замоскворечье, <...> в огромном доме. Верхний этаж — семья, а в нижнем жили приказчики.

Михаил Алексеевич, обходительный, ладный, хорошо знал свое дело. <...> За женой он ухаживал как нянька. Она ездила с ним и за границу <...>. Но самой души ее он, конечно, понять не мог. Ни ее любви к театрам, к книге. С первого года пошли дети, один за другим. И вот срок мести, что вышла замуж назло, кончился. Без всякого к тому хотя бы внешнего повода она решает забрать детей и уехать к братьям — в <...> “белый дом с душистыми комнатами”. В этом доме жили старшие братья. Виктор, неженатый, “англичанин” <...>. И другой брат Николай, женатый, трое детей — сын и две дочери. Николай — горячка. Когда Марья Александровна приехала с четырьмя детьми — <...> как брат разговаривал с ней! <...> Ей отведен был на другом конце владенья флигель <...> Приданое за ней взято было обратно, и она оказалась под опекой старших братьев. На руки ей выдавались ограниченные средства <...>. А какой мрак в доме — отчаяние. С первых лет Алексей это сразу почувствовал. Мать в своей комнате за книгой, редкие гости. Самый большой праздник для нее — приход Александра, младшего брата, женатого на Хлудовой. Он любил как и она театр, книги. Был с ней ласков. <...> Александр ни в чем ее никогда не упрекал, не учил... Старшие братья — опекуны: один “срыва”, а другой “методический”. У них все сводилось к упрекам и замечаниям. Детей по головке не гладили!» (К о д р я н с к а я . С. 67—69).

С. 35. ... *церковь к Покрову...* — В кн. «Подстриженными глазами» Ремизов не раз упоминает соседнюю приходскую Покровскую церковь «на Воронцовом поле, которая называлась Грузинской по чудотворной иконе Грузинской Божьей Матери» (С. 36; см. также с. 279 и др.).

С. 38. ... *и свое дело открыл.* — Ср.: «Отец, Михаил Алексеевич Ремизов, с детства попал из деревни в Москву, определился м а л ь ч и к о м в лавку к Кувшинникову, кипяток таскал, в лавочку бегал, к делу присматривался, так и жил на побегушках, а вышел в люди, сам хозяином сделался: Кувшинникова торговля кончилась, началась Ремизова — г а л а н т е р е й н ы й м а г а з и н <...>, две лавки в Москве, да две лавки в Нижнем на ярмарке. Без всякого образования, трудом и сметкой, “русским умом” своим отец сам до всего дошел и большим уважением пользовался ...» (Автобиография 1913. С. 442—443).

С. 41. ... *предпримет к законному возвращению жены.* — Ср.: «...отец не выдержал, <...> поехал на Тверскую к генерал-губернатору.

Известный московский галантерейщик, наряженный заграничным

негоциантом: серые брюки, белая жилетка, светлый галстук, черная визитка и цилиндр — с таким "венским шиком", да еще и на собственных вороных, ждать не заставили.

Князь Владимир Андреевич Долгорукий — "хозяин столицы", <...> за преклонностью лет <...>, весь с головы до ног был искусственно составной: обветшалые, подержанные члены заменены механическими принадлежностями со всякими предохранителями и вентиляцией: каучук, пружина, ватин и китов ус, и все на самых тончайших винтиках <...> Отец жаловался, что жена увезла детей и требует развод, но он не знает, в чем его вина <...>. Выслушав отца с помощью трубки, князь не без усилия пошарил в штанах, нащупал что-то <вариант: надавил кнопку> и вынул <или выскочило> что-то вроде.. искусственный палец, и этим самым пальцем с восковым розовым ногтем, долбешкой, помотал перед иосом отца. Тем разговор и коичился.

Чиновник, выпроваживая отца в приемную, растолковал ему, что символический жест князя, не сопровождаемый словами, означает: за повторное обращеиие в двадцать четыре часа из Москвы вон. "Примите это к сведению!" И уж от себя добавил, и не без недоумения: "Ваша жена — сестра самого Найденова... чего же вы хотите?"» (Подстриженными глазами. С. 116—117).

С. 41... *в Боголюбовом монастыре...* — Подразумевается памятный Ремизову с раннего детства Андроников Спаса Нерукотворного мужской монастырь, основанный около 1360 г. в Москве на левом берегу р. Яузы. Монастырь был форпостом на юго-восточных подступах к городу. Назван по имени первого игумена — св. Андроника (ум. 13. 07. 1374 г.).

С. 42. ...*уезжал к себе за реку.* — Ср.: «Рано я стал догадываться о неладах между отцом и матерью <...>; только по праздникам отец приезжал к нам и в тот же вечер возвращался домой» (Подстриженными глазами. С. 115).

...*не выдержало сердце, — конец.* — Ср.: «10 мая <1883 г.>, в день въезда государя (Александра III) в Москву на коронацию, умер отец. Мне не хватало месяца до шести лет, а матери исполнилось тридцать пять; и пять лет, как жила она с нами отдельно.

<...> Отец был старше матери на двадцать лет. <...> он умер от осложнившегося плеврита...» (Подстриженными глазами. С. 166—167).

...*до самой Москвы хватало.* — Ср.: «В духовной своей завещал отец на колокол в село на свою родину, и такой наказал колокол отлить гулкий и звонкий: как ударят на селе ко всенощной, чтобы до Москвы хватало за Москва-реку до самых Толмачей.

Этот колокол заветный, невылитый, волшебный, благовестными звонами вечерний час гулко-полно катящийся с дедовских просторных полей по России — это первый мне родительский завет» (Автобиография 1913. С. 443).

С. 43. ...*Никита-скусный* ... — Ср.: «Фабричные рабочие Найденовской шерстепрядильной сразу наклеили <В. А. Найденову> ярлык "англичанин" в отличие от других хозяев — братьев <...> "Англичанина" никто не любил. Голоса он не подымет, но никогда и не услышишь от него человеческого слова.

К “англичанину” не замедля прибавилось: “скусный” (скушный) и “змея”» (Подстриженными глазами. С. 219—220).

С. 44. *...черные большие усы...* — Ср.: «В редкие его приезды к нам <...> я его вижу с черными усами, пахнущими фиксатуаром, нарядного, как с картинки <...> и драгоценный перстень на указательном пальце, вспыхивающий белой искрой, резко для моих глаз <...>» (Подстриженными глазами. С. 166).

...«Поедемте прощаться». — Ср.: «Накануне <смерти> нас возили в Большой Толмачевский переулок прощаться.

Я не узнал отца. <...> вдруг — в халате, седая борода и никакого перстня...» (Подстриженными глазами. С. 166).

...и фарфорового серого медведюшку. — Ср.: «Из комнаты, где задыхался отец <...>, вышла младшая сестра Надежда: она подала мне фарфорового медвежонка и яйцо со змейкой. <...> Эти единственные игрушки, — <...> единственная память об отце, я долго берег их...» (Подстриженными глазами. С. 166—167).

С. 45. *...он так же горько заплакал.* — Ср.: «Я вскочил с кровати и опрометью бросился в соседнюю комнату, откуда из окон видно — <...> торчали две огромные кирпичные трубы с иглой громоотвода и рядом красный с досиня сверкающими окнами фабричный корпус — сахарный завод Вогау. <...> горел сахарный завод. <...> Дочь няньки подхватила меня и подняла к себе на руки. <...> Жмурясь от боли смотреть на свет, я горячо обнял ее шею и, прижимаясь к ее лицу, горько заплакал — <...> это были первые мои слезы» (Подстриженными глазами. С. 38–39).

... и рука поднялась высоко до самого потолка. — Ср.: «И еще раз я видел отца, но по-другому.

Его нарядили в лиловый халат, а на ноги черные, без задников туфли. И когда стали класть в гроб — я таращил глаза, <...> — ему подняли руки. И эти лиловые руки под потолок, как торчащие крылья, у меня в глазах.

Что-то мешало — или гроб не по мерке? — никак не могли втиснуть и вдруг хряснуло... и гробовщики, вытираясь рукавом, отступили: все было в порядке» (Подстриженными глазами. С. 167).

...кровь со текла по выбритой бороде. — Ср. в кн. «Подстриженными глазами» (С. 168).

...Женю на поминках напоили водкой. — Ср.: «На похоронах отца под <...> припев: “обязательно помянуть папашу” — брата напоили; он был всегда тихий и робкий и безответственный...» (Подстриженными глазами. С. 212).

Варенька перстень взяла... — ср.: “И к ней стали подходить. За священником подошел старший из моих сводных братьев и, поцеловав ей руку, подал тот самый перстень, я его хорошо запомнил у отца. И она молча взяла его — и тут произошло... и почему-то вдруг затихло, как будто, кроме нее, никого во всем доме, и это был один сверкнувший миг: подержав в руках перстень, она швырнула его через стол — в “холодный угол”» (Подстриженными глазами. С. 169).

Плавать их учила горничная Маша. — В кн. «Подстриженными глазами» упоминается «горничная Маша, всегда мне представлявшаяся розовой, яблоновой, и от которой пахло яблоками (она учила меня плавать)» (С. 80, см. также: Иверень. С. 165).

С. 47. *Бенедиктинец* — член монашеского ордена, одного из самых древних, названного по имени его основателя — св. Бенедикта Нурсийского (V—VI вв.).

С. 48. *Аксалот* (искаж. от аксолотль — ацтек.) — личинка хвостатого земноводного, тигровой амбистомии, способная к размножению.

С. 49–50. ... *наткнулся прямо на няньку Прасковью-П и с к у н ь ю ∞ тебя, девушка, почищу!* — Ср. неоднократные упоминания в кн. «Подстриженными глазами» «нашей старой няньки, Прасковьи Семеновны Мирской, по прозвищу Прасковьи Пискуньи.

«Хоть бы ты, девушка, (у нее все были "девушка"), за собой подтирал!»

А голос кроткий, покорный, <...> и глаза запалые, перетерпевшиеся, с глубоко канувшей скорбью — из бывших крепостных» (С. 52).

С. 51. *...да вскоре затем корь...* — Ср. с воспоминанием о раннем детстве: «... я захворал: скарлатина, осложнившаяся водянкой. Приговоренный к смерти — доктор сказал, что нет надежды <...> — меня посадили в теплую ванну с трухой. <...> с этого дня наступило выздоровление» (Подстриженными глазами. С. 30).

И лунатик он был... — Ср.: «... мой брат, который писал стихи, или тот, который всегда плакал, играл на рояле, — лунатики» (Подстриженными глазами. С. 236). См. также кн. Ремизова «По карнизам» (Белград, 1929). О брате писателя — Викторе Ремизове — в кн. "Подстриженными глазами" сообщается: «И всегда он очень мучился с головой <...>» (С. 175).

С. 52. *Схимник* — монах, принявший схиму, третью, наивысшую степень монашества, налагающую самые строгие правила.

Трифон Мученик — христианский святой, уроженец Фригии; принял мученическую смерть в 250 г. за проповедь христианства в Восточной провинции. В православной традиции день его памяти — 1 февраля.

...старая старуха из богадельни... — Ср.: «В дом к матери Алексея приходили старухи из богадельни. Они приносили ей замусленные <...> бисквиты в "табашном" платке. И такая бабушка оставалась жить недель пять-шесть. А где ее положить ночевать, — да вот к детям, в детскую. Тут на полу бабушка и спала! Все эти богаделки-бабушки — бывшие крепостные, и рассказы их из прошлой подневольной жизни. Сказок не очень-то много знали» (К о д р я н с к а я. С. 70—72, ср.: Иверень. С. 165).

С. 54. *...сладу с ними нет!...* — ср. воспоминание Ремизова о семилетнем возрасте: «<...> ушла наша первая нянька <...>, суровая <...>. Давно она предупреждала: "Сладу нет!" И <...> говорила себе под нос: "Семь лет каторжной жизни!" Я понял, что это про нас» (Подстриженными глазами. С. 170).

С. 55. *Экстемпорале* (лат. extemporalis — неподготовленный) — в русской

дореволюционной и зарубежной школе классное письменное упражнение, состоящее в переводе с родного языка на иностранный (главным образом на латинский или греческий) без предварительной подготовки.

С. 55. ...*Саша речисто и бойко рассказывает — сочиняет...* — Ср. с ремизовским воспоминанием о старшем брате Николае: «Еще гимназистом он, бывало, вернется из гимназии и расскажет какое-нибудь происшествие и всегда чего-нибудь подпустит на удивление, <...> про этого брата так и говорили, что "заливает"» (Подстриженными глазами. С. 118).

С. 56. ...*подымается к роялю.* — Ср.: «Все у нас дома играли на рояле: мать и мои братья. И только один я из всех — <...> по моей близорукости, <...> не разбирал нот и путал клавиши» (Подстриженными глазами. С. 96); «Дома у Ремизовых все пели, кроме матери. Все играли на рояле. Алексей не играл...» (Кодрянская. С. 76).

"Гусельки" — сборник: Гусельки: 128 колыбельных, детских и народных песен и прибауток, с голосами и с аккомпанементом фортепьяно. Собрали Н. Х. Вессель и Е. К. Альбрехт. СПб., 1875, переиздавался в дореволюционные годы свыше 25 раз.

Протодьякон — первый или главный дьякон в епархии, обыкновенно при кафедральном соборе епархиального города; как правило, обладал могучим голосом.

...*у него альт, он орало-мученик...* — Ср.: «В детстве я никогда не плакал, а кричал, за что и получил прозвище "орало-мученик", так должно быть, я наорал себе альт. Альтом я и пел <...>» (Подстриженными глазами. С. 94).

С. 57. *«Грустила зеленая ива...»* — Начало стих. Ив. Парамонова «Грустила зеленая ива» (1891). В "Гусельках " не публиковалась.

С. 59. ...*а Женя совсем ни при чем...* — Аналогичный случай, происшедший с будущим писателем и его братом Виктором в доме дьякона Покровской церкви Василия Егоровича Кудрявцева, описан в кн. «Подстриженными глазами» (С. 32).

С. 60. ...*завтра Наумка именинник!* — Ср.: «А был у меня — семь лет неразлучен со мной — кот, звали его Наумка, на пророка Наума — 1 декабря — именинник. Кот был мой ровесник: я родился, и в ту же ночь кошка окотилась...» (Подстриженными глазами. С. 50; см. также с. 29).

С. 61. *«И взяв с Собою Петра...»* — Цитата из Евангелия (Мф. 26: 37—39).

«И вспомнил Петр слово...» — Цитата из Евангелия (Мф. 26: 75).

...*Богородица* — молитва «Песнь Пресвятой Богородице» («Богородице Дево, радуйся...»).

С. 62. *«Прощайте, Марья Ивановна!...»* — Вольное изложение эпизода гл. XIII («Арест») романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1833—1836).

Ваши очи страстны... — См. в этой связи характеристику брата Сергея: «Брат <...> из всех отличался необыкновенной чувствительностью: при чтении на трогательных местах не мог сдержать слез и сам писал нежные стихи, всегда в кого-нибудь влюблен и часами просиживает у окна, мечтая; хороший голос — окончив гимназию, поступил на медицинский, но скоро перешел в

филармонию...» (Подстриженными глазами. С. 255); «К нашему счастью, брат, который писал стихи и вел аккуратно дневник, достал "по случаю" однотомного Пушкина и уж не расставался, читая вслух, и плакал над "Капитанской дочкой"» (Там же. С. 148, см. также: Кодрянская. С. 75).

С. 62. *Акростих* — стихотворение, начальные буквы стихов которого составляют имя, слово или высказывание.

Ло́сное — лоснящееся, ясное, светлое.

Паскевич Иван Федорович, граф Эриванский, светлейший князь Варшавский (1782—1856) — русский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1829), генерал-адъютант (1825).

Святейший Синод — в дореволюционной России высший коллегиальный орган Православной Церкви.

С. 63. *Кормилицу... вытурили...* — ср.: «У меня было две кормилицы. Помню вторую. А о первой — даже имени ее не знаю. <...> А взяли ее, очень понравилась матери — такой, говорила мать, я никогда не видала! — а когда через три дня принесла она свой паспорт, оказалось, "желтый билет". И наняли другую, а "первой" отказали.

Евгения Борисовна Петушкова, калужская песельница и сказочница, и меня не отделить от нее. <...> я помню, что, играя, крепко впивался в ее грудь, и она, оторвав меня, смотрит с укором, качая головой. "Но разве хочу я сделать ей больно?" — говорю я без слов глазами и улыбкой. И этот взлет глаз и разливающаяся радостью улыбка покоряет ее...» (Подстриженными глазами. С. 27—28, см. также: Автобиография 1912. С. 439).

...носик-то ей все-таки перекусил. — Ср.: «...когда я еще был совсем маленький, меня в колясочке возили, в Сокольниках, а был я ласковый и любил целоваться, и, однажды, поцеловав какую-то девочку — рассказывая случай, называли имя: Валя, — я этой Вале откусил носик» (Подстриженными глазами. С. 124).

...ты и курносый... — случай, как и предыдущий, имеющий соответствие в ремизовской биографии и занимающий значительное место в его самоосмыслении — см.: «Было мне 2 года, играл я однажды в игру <...> одинокую и молчаливую, взобрался я на комод да с комода и кувырнулся на пол да прямо на железку. С переломанным носом и разорванной верхней губой сидел я, закатившись, посиневший, на полу, а мое белое <...> платьице <...> становилось алым от хлеставшей из носу и из губы крови. <...> и сидел на полу, не двигался с места, пока не хватились. И вот боль, которая закатила меня, <...> липкая такая кровь <...> открыли мне глаза на мир, чтобы видеть и открыли мне уши к миру, чтобы слышать. С этих пор я отчетливо помню себя, с этих пор я стал вглядываться и вслушиваться <...>» (Автобиография 1912. С. 439, см. также: Подстриженными глазами. С. 29—30).

С. 64. *...мышей топчут.* — Ср. в письме к жене, С. П. Ремизовой-Довгелло из Москвы от 25—26 января 1905 г.: «Да часы у Муттера наверху — под которыми мы "мышей топтали", стуча каблуками, — нет их: <...> выбросили» (На вечерней заре 2. С. 277).

С. 64. *Степанида ∞ в темном платке...* — Ремизов часто вспоминает в кн. «Подстриженными глазами» жившую в их доме кухарку Степаниду, староверку (см. с. 80, 128, 171).

С. 65. *Хухóра* — растрепа, замарашка.

С. 66. *Золоторотец* — промышляющий чисткой отхожих мест.

Троеручица — весьма почитаемая икона Божией Матери, приписываемая св. Иоанну Дамаскину (VIII в.) и находящаяся на Афоне — святой горе на Халкидонском полуострове в Греции, где располагаются прославленные православные монастыри. Список с иконы был принесен в Москву в 1661 г. и хранился в Воскресенском монастыре в г. Новый Иерусалим.

С. 67. *...лупили за всякую малость...* — Ср. в воспоминании о няньке Прасковье Пискунье: «<...> с тем покорным взглядом и скорбным, точно говоря, что в трудные минуты повторяла, вспоминая крепостное время: "Пороли нас, девушка, пороли на конюшне!"» (Подстриженными глазами. С. 61—62).

С. 68. *Сороковка* — бутылка водки вместимостью одна сороковая часть ведра.

С. 69. *«Нива»* — иллюстрированный еженедельный журнал для семейного чтения, издававшийся в Петербурге с 1870 по 1919 г. издателем и книготорговцем А. Ф. Марксом.

Никола, угодник Божий! — Подразумевается святитель Николай (IV в.), архиепископ Мир Ликийских, великий христианский святой, прославленный своими чудесами и особенно чтимый русским народом.

...на проломленной исполсованной груди. — Ср.: «Летом погиб Егорка, фабричный мальчик, единственный мой товарищ <...> На моих глазах Егорка попал в маховое колесо и, подхваченный под потолок, был сплющен и задохся» (Подстриженными глазами. С. 200; см. также с. 164—165).

С. 70. *Алтарь* — восточная возвышенная часть церкви, отделенная иконостасом и царскими вратами, главное место в храме.

Престол — столик в алтаре церкви, перед царскими вратами, на котором хранятся Святые Дары, антиминс и Евангелие и совершается таинство Евхаристии.

С. 71. *...по-своему, по-новому, по-другому.* — Ср. лейтмотив новизны дела Петра в романе Д. С. Мережковского «Петр и Алексей» (1905). Например: «Царь Петр I делал все по-новому <...>» (М е р е ж к о в с к и й 4. С. 261), см. также запись в дневнике фрейлины Арнгейм: «Один из немногих русских, сочувствующих новым порядкам, сказал мне о царе:

— На что в России ни взгляни, все его имеет началом, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут. Сей во всем обновил, или паче вновь породил Россию» (Там же. С. 143).

А он ее еще уторапливает. — Ср. с подробно разработанным в «Петре и Алексее» мотивом «уторапливания времени» царем: «"Время подобно железу горячему, которое ежели остынет, не удобно кованию будет", —

говорит царь. И, кузнец России, он кует ее, пока железо горячо. Не знает отдыха, словно всю жизнь спешит куда-то. Кажется, если б и хотел, то не мог бы отдохнуть, остановиться. Убивает себя лихорадочною деятельностью, неимоверным напряжением сил, подобной вечной судороге. Врачи говорят, что силы его подорваны, и что он проживет недолго» (Мережковский 4. С. 122).

С. 72. *...вереницы порченых ... и бесноватых...* — Ср. с описанием московского Симонова монастыря — цели частых походов юных братьев Ремизовых: «Симонов — место встречи “порченых” и “бесноватых”. Их свозили со всех концов России в Москву <...> После обедни их “отчитывал” неустрашимый, быстрый голубоглазый иеромонох о. Исаакий: говорком, шелестя, как листьями, словами молитв, изгонял он бесов. Но не столько само изгнание — бесы что-то не очень слушались Симоновского иеромонаха! — а подготовка во время обедни — <...> зрелище потрясающее» (Подстриженными глазами. С. 136—137).

С. 73. *Царские двери* (врата) — главные, центральные врата Святого алтаря.

Теплый и холодный приделы — части храма (иногда на разных этажах и в разных зданиях), в которых служба ведется в зависимости от времени года.

Причт церковный — причисленные к церковному служению.

С. 74. *Часы* — одна из служб суточного круга.

...не было ни праздников, ни воскресенья... — ср. о Н. А. Найденове: «И все его боялись. А при его появлении расшвыривались: такая повадка — или одернет, или нахлобучит. Без дела на глаза ему не показывайся. Особенно лютовал в праздники: никаких праздников для него не существовало; скрепя сердце, подчинялся Рождеству, Пасхе и другим двунадесятым, но царских дней для него не существовало: “праздники выдуманы лодырями для бездельников”» (Иверень. С. 37).

...находя ее неисправность, выговаривал. — Ср.: «Как-то в обед мы возвращались с урока от Грузинского дьякона Василия Егорыча Кудрявцева <...>. Н. А. Найденов, увидя нас в окно, позвал к себе в дом: а делал он это часто без надобности, “здорово живешь”, но, случалось, и для “острастки”» (Подстриженными глазами. С. 156).

Страстная неделя (или Страстная седмица) — последняя неделя перед Пасхой, на которой вспоминаются страдания Христа.

Пономарь — алтарник, церковнослужитель, не имеющий священной степени и помогающий священнику при богослужении.

Олаборники — от ала́борщина, т. е. перебой, переворот, склока, новые порядки или беспорядки.

...батюшка такой старый... — Ср.: «... священнику от Грузинской, Алексею Димитриевичу Можайскому <...> было за восемьдесят, все это знали...» (Подстриженными глазами. С. 54).

Благовещение — 25 марта (7 апреля по н. ст.), день возвещения архангелом Гавриилом Пресвятой Деве Марии тайны воплощения от нее Бога-Слова.

С. 74. *Амвóн* — возвышенное место в центре храма, перед иконостасом, где читаются Евангелие, проповеди, ектении.

Просвирня (просвирница, просфорня) — женщина, поставленная для печения просфор (просвир), особого хлеба для совершения Божественной литургии.

Шестопсалмие — шесть псалмов, читаемые в начале утрени: 3, 37, 62, 87, 102 и 142, являющие собой изображение греховного состояния, грозящего верующему и надежду на милосердие Божие и его избавление.

Слава в вышних Богу... — начало Великого Славословия — песни ангелов, услышанной пастухами в ночь Рождества Христова (Лк. 2: 14).

В Вербное ∞ хлестали вербой... — Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим, — двунадесятый праздник (один из 12 главных в году), совершается в воскресный день за неделю до Пасхи; хлестать друг друга вербой в этот день — народный обычай.

С. 75. *Великая Среда* — среда на Страстной неделе.

Иермос (ирмос) — молитвословие, находящееся в начале каждой песни канона (церковной песни в похвалу святого или праздника церкви, которую читали или пели на заутренях и вечернях).

Сеченная сечется (правильно: "Сеченое сечется море чермное..") — начало канона, певшегося на утрени в Великий Четверг.

Причастие — Таинство Святого Причащения, установлено самим Христом в его воспоминание; вкушая под видом хлеба и вина Тело и Кровь Спасителя, христиане таинственным и непостижимым образом соединяются с ним.

Благочинный — священник, которому подчиняется несколько причтов с приходами, а в городах — и соборный священник.

Двенадцать евангелиев... — На утрени Великого Пятка (служится в Четверг вечером) читаются 12 отрывков Евангелия, посвященных страстям Христовым; чтению каждого предшествует колокольный звон.

...выходя с горящими свечами... — По обычаю, в этот вечер приносят горящую свечу из храма домой.

Варфоломей — один из 12 апостолов Христа, проповедовал христианство в Аравии и Армении (по другим источникам — в Индии), где принял мученическую смерть чрез распятие вниз головой; сопоставление его имени с именем предателя Христа неясно.

...курносым до скончания веков... — Ср.: «... я подставлял ей свой сломанный нос. Нянька, штопая чулки, а их всегда был ворох и не уменьшался, глядя из-под очков, качала головой: "За озорство покарал Бог, и останешься таким до <...> Страшного Суда Господня!"» (Подстриженными глазами. С. 31).

...у любимого учителя француза... — В этой связи см. упоминания в ремизовских воспоминаниях его учителя француза Лекультра (Подстриженными глазами. С. 75; Иверень. С. 47).

С. 76. *Плащаница* — плат с изображением погребения Христа или Божией Матери.

Разговеться — после поста поесть скоромную (животную) пищу, запрещенную к употреблению во время поста.

С. 77. *Прощеное Воскресенье* — последний день перед Великим постом (за семь недель до Пасхи); по обычаю в этот день христиане просят друг у друга прощения.

...звучало что-то кошачье... — Нагнетание здесь и далее «чего-то кошачьего» в облике и «повадках» Арсения отсылает к подробно развитому у Мережковского мотиву сходства Петра I с котом, навеянному автору «Петра и Алексея» известным народным лубком нач. XVIII в. «Мыши кота хоронят» (см.: Мережковский 15. С. 12–13), приуроченным к смерти царя и отразившим недовольство его реформами. См., например, запись в дневнике фрейлины Арнгейм: «У меня в глазах темнело: иногда я почти теряла сознание. Человеческие лица казались какими-то звериными мордами, и страшнее всех было лицо царя — широкое, круглое, с немного косым разрезом больших, выпуклых, точно выпученных глаз, с торчащими кверху, острыми усиками — лицо огромной хищной кошки...» (Мережковский 4. С. 117–118; см. также: 4. С. 198; 5. С. 129).

...ощетинилась и взвизгнула. — Ср. о Н. А. Найденове: «...кричал он с каким-то визгом, от которого, как утверждали попадавшие в переделку, сердце леденело...» (Подстриженными глазами. С. 156).

...ты, дурак, туда же. — Ср. о Н. А. Найденове: «Конечно, он был не пьющий <...>. Но курил зверски и потому, верно, не делал поблажки человеческим слабостям, табачников преследовал» (Иверень. С. 38); «Братья были теперь на хорошем счету у опекунов, только иногда нахлобучка Сергею за табак, он единственный из них курил. А вот Алексею за все попадало, одним своим видом он вызывал раздражение» (Кодрянская. С. 72).

С. 79. *Сажень* — старая русская мера длины, равная 213,36 см.

С. 80. *Ильин день* — 20 июля Православная Церковь отмечает память Ильи (IX в. до н. э.), библейского пророка, известного своими грозными обличениями идолопоклонства и всяческого нечестия и взятого за это живым на небо.

Богоявленская — вода, освященная в день Богоявления (Крещения), двунадесятого праздника, празднуемого 6 января. Накануне и в праздник Богоявления совершается крестный ход из церкви к водоему, у которого совершается великое водоосвящение. Воде, освященной в этот день, народная молва приписывала особо чудодейственные свойства.

...задирая бахвальством своим и плутнями. — Ср.: «В воскресенье между обеднями мы отправлялись на Трубу — по “воровскому делу”: распродав голубей — а они, приученные, непременно назад к нам возвращались! — и с деньгами, и с “голубями” мы шли на Сухаревку честно смотреть книги» (Подстриженными глазами. С. 96).

С. 81. *...птицы вылетали на волю.* — Ср. с описанием одной из бесчисленных проделок юного Ремизова: «...у всех было в памяти: освобождение птиц на

Благовещение. После ранней обедни я выпустил на волю птиц у нашего соседа, найденовского приказчика Ивана Степановича Башкирова...» (Подстриженными глазами. С. 107).

С. 81. *...а зверей так и не дождался Коля.* — Ср. с воспоминанием о приездах бывшей ремизовской кормилицы: «Кормилицу поили чаем с вареньем. Я всегда сидел с ней и слушал ее рассказы о калужской деревне: упоминались сказочные для меня поле, лес, зверн; и действительная жизнь — деревенская быль перемешивалась со сказкой. Когда я научился писать, я на листе написал свои желания: чего бы я хотел, чтобы она привезла мне из деревни, — кроме лошади, коровы, овцы, козла и всяких птиц до соловья, в мой реестр попал и волк, и лиса, и медведь, и заяц, и... леший с домовым и полевой и луговой и моховой» (Подстриженными глазами. С. 31).

С. 84. *Хору́гвь* — полотнище с изображением Спасителя, Божией Матери или святого, укрепленное на длинном древке; выносится во время крестного хода.

С. 85. *...в кон за кон, в ездоки и в плоцки* — разновидности игры в бабки.

...о семивинтовом зеркальце... — ср.: «Каких-каких сказок я не наслушался в те первые мои годы! И о "семивинтовом зеркальце" — что-то вроде пятигранного камня, талисмана Ала-ад-дина: если его повертывать, увидишь весь мир, <...> и куда ни захочешь, в миг перенесет тебя на то место...» (Подстриженными глазами. С. 31).

С. 86. *Казанская* — праздник явления (1579 г.) Казанской Божией Матери, одной из наиболее почитаемых икон Богородицы (8 июля).

...головой своей барабаном потряхивал... — образ Сёмы-юродивого вобрал в себя черты двух московских знакомцев юного Ремизова, о которых он вспоминает в кн. «Подстриженными глазами»: «глухонемого» печника и юродивого Феди Кастрюлькина. См.: «И еще о ту пору я узнал про Барму: эту сказку рассказывал "глухонемой" печник. На масленицу приходил он к нам вечером ряженый: тряс головой-барабаном, украшенным лентами, он мычал и что-то делал руками, подманивал. Стакан водки был магическим средством выманить у него слова. И на глазах совершалось чудо: "глухонемой", хлопнув стаканчик, глухо, точно издалека, словами, выходящими из "чрева", начинал сказку о похождениях вора» (с. 32—33); «На Басманной, держась Никиты Мученика, ходил юродивый Федя. Что-то похожее было в его лице на Достоевского, каким он запомнился мне по портрету из "Нивы" <...>. А был он увешан блестящими кастрюльками и погромыхивал, выкрикивая одно слово в такт — "Каульбарс" <...>. Детей и собак он любил, это чувствовалось, и мы никогда не обходили его, всегда еще приостановишься, <...> а кругом все его знали: юродивый Федя Кастрюлькин — Божий человек!» (с. 176).

С. 87. *...хватил... свинчаткой по голове...* — Имеется в виду панок, боевая битка — бабка, которой бьют и которая для тяжести заливается свинцом.

...песку пригоршню... бросил... в глаза. — Ср. упоминание Ремизова в письме

будущей жене от 1 июля 1903 г.: «Я вам рассказывал, как однажды среди игры чего-то не поладил с братом и бросил горсть песку в раскрытые глаза. И притворился, что мне это все равно, а на самом деле, задернутый гримасой — безразлично! — я стягивал себя белым железом — до безысходности...» (На вечерней заре 1. С. 179).

С. 88. *...выродок проклятый! — подхлестывала Варенька.* — Ср. воспоминание о детстве: «В числе одного моего озорства, теперь вспоминая скажу, умысла не было, а вышло из-за моих подстриженных глаз. Никто еще тогда не догадывался, что я почти слепой: за гладильной машиной мой брат водил между валами полотенце. А я вертел колесо, с полотенцем между валов попали и кончики его пальцев. Сказали, что я это нарочно сделал озорничая.

<...> Когда по двору разнесся слух — меня будут пороть, всех занимало, как это произойдет. Я <...> раздумался. Не на дворе же меня будут стегать перед плотницкой. <...> Проходили дни, а меня не трогали. Пальцы у мого брата поджили. И казалось — позабылось — до новой проделки.

Наша нянька — Прасковья Семеновна Мирская, зарайская (Рязанской области), крепостная барина Засекина, перетерпевшая — мне запомнилось ее терпеливое: "пороли, девушка, пороли в крепостях", — смотрела на меня покорно и убито. И за все время ожидания я не слышал от нее слова. А горничная Маша только глазами мне подстреливала, дразня: "добегался".

<...> как я ни лез в глаза, не обращали на меня внимания.

И я поверил, что все сошло угрозой и пороть меня не собираются. Я бегал по двору, занятый своими выдумками <...> Нянька покликала меня: я думал, любимые пенки.

— Идем в комнаты штаны мерить!

Она сказала ласково <...>. Нашего портного, по прозвищу "Поль-уже", на кухне не было. Я только не сообразил сразу. Мерить, конечно, в детской. И я поднялся наверх, а за мной нянька.

— Сними штаны, девушка! — еще ласковее проговорилось ее убитое.

Я разделся и ждал. <...> И слышу шаги, в детскую вошла няня. И никаких штанов — нянька нагнулась, в руках ремень, и крадется ко мне, теребя ремень, хлестнуть. И я вдруг все понял. И заметался, но меня как переломило — ни отбрыкнуться, ни выскочить.

— Прасковья, оставь, не надо! — издалека я услышал голос матери. Я очнулся.

— Одевайся, девушка! — сказала нянька, и не глядя вышла. Присмирев, я сел на кровать одеваться.

Кроме матери и няньки кому было знать о неудавшейся порке, а почему-то ни дома, ни на дворе о предстоящей экзекуции больше не упоминалось. Да и кто мог подумать, что сам снял штаны под ремень и был помилован? <...> Но с этих пор я стал стесняться себя. И все чаще к моему имени прибавлялось "уродина"» (Кодрянская. С. 38–41).

С. 90. *...образцовое коммерческое училище...* — Ср.: «Н. А. Найденов был

основателем и попечителем Алексаидровского коммерческого училища. Затея его была создать образцовую коммерческую школу <...> для небогатых купеческих "гостиных" детей, небольшая плата <...> Перед глазами основателя была образцовая, знакомая ему, школа пастора Дикхофа — Петер-Пауль-Шуле.

В Александровское коммерческое училище я попал по "недоразумению": меня взяли из Московской 4-ой гимназии, "чтобы моему брату ходить одному в училище не было скучно"» (Иверень. С. 44).

С. 90. *...получил он из Петербурга звезду...*— ср. о Н. А. Найденове: «Он имел все звезды и всех цветов ленты, какими только жалуют людей незнатного происхождения за беспримерные заслуги отечеству. <...> Он не придавал никакого значения ни звездам, <...> ни прочим обезьяньим знакам, за которыми так охотятся люди "до потери живота" <...>»; «Не изменяя своему роду, Н. А. Найденов и в звездах и лентах оставался московский второй гильдин купец» (Иверень. С. 39, 40).

С. 91. *«Крейцерова соната»* — повесть Л. Н. Толстого (1891), главная тема которой — тема чувственной любви, борьбы с плотью, которую должно победить христианское начало любви, лишенной всякого своекорыстия.

Коле исполнилось двенадцать лет... — Ср.: Ремизову в год публикации «Крейцеровой сонаты» исполнилось четырнадцать.

С. 93. *...Верочка... не обращала никакого внимания...* — в этой связи см.: «Вера Алексеевна Зайцева <жена писателя Б. К. Зайцева. — *Ред.*> — ровесница Ремизова, помнит его с детства. Жили в Москве по соседству. Их было пять сестер Орешниковых, а Ремизовых четыре брата. Они принадлежали к тому же приходу. Видела Ремизова в церкви и с другими мальчиками на прогулке в парке» (Кодрянская. С. 12).

С. 94. *...трогался куриный крестный ход.* — Ср. изображенные Мережковским шествия и деяния Всепьянейшего Собора Петра I в «Петре и Алексее». Например: «Рядом с набожностью кощунство.

У князя-папы, шутовского патриарха, панагию заменяют глиняные фляги с колокольчиками, евангелие — книга-погребец со стклянками водки; крест — из чубуков.

Во время устроенной царем, лет пять назад, шутовской свадьбы карликов, венчание происходило при всеобщем хохоте в церкви; сам священник от душившего его смеха едва мог выговаривать слова. Таинство напоминало балаганную комедию.

Это кощунство, впрочем, бессознательное, детское и дикое, так же как и все его остальные шалости» (Мережковский 4. С. 132; см. также: 4. С. 33–35, 118, 248; 5. С. 96–97, 139–140). Особо отметим сходство прагматики «куриного хода» «огорелышевцев» и шутовских «деяний» Петра.

...Коля в училище первый по чистописанию. — Каллиграфическая страсть Ремизова общеизвестна. См., например, его заявление в автобиографии 1907 г. для неизданного сборника «Краткие биографические данные русских писателей за последнее 25-летие русской литературы»: «Хотел быть кавалер-

гардом, разбойником и учителем чистописания» (Автобиография 1913. С. 447).

С. 95. *Паремия* (паримия) — выборные места из Ветхого Завета, читаемые во время вечернего богослужения Великим постом и в праздники.

С. 96. *...городовой Максимчук...* — В кн. «Подстриженными глазами» (С. 109) упоминается устьсысольский городовой Максимчук.

...за прудом Трезор и Полкан мечутся...— Ср. в кн. «Подстриженными глазами» воспоминание о «самом опасном углу найденовского сада, где громыхают цепями Трезор и Полкан» (С. 231).

С. 97. *...каменная пузатая л я г у ш к а...* — Ср. с воспоминанием о посещении юным Ремизовым московского Симонова монастыря: «Еще показывали: под стену монастыря подкапывающуюся гигантских размеров каменную лягушку-демона, обращенного в камень; эта лягушка, о ней знала вся Москва, была как раз к месту и дополняла бесовское скопище» (Подстриженными глазами. С. 137).

Архиерей — старший в епархии иерей из черного духовенства, епископ.

С. 98. *...встретили в монастыре очень радушно.* — Ср.: «Мы были как свои в Андрониеве монастыре, все монахи нас знали» (Подстриженными глазами. С. 103).

Иеромонах — монах, посвященный в сан священника.

Иеродиакон — монах, посвященный в сан дьякона.

С. 99. *Первый Спас* (Спас медовый, мокрый) — начало Успенского поста, отмечается 1 августа.

...да и остальные нетверды были. — Ср.: «Я же получил водочное крещение в Андрониеве монастыре, в келье иеродьякона Михея-"Богоподобного". Но меня никто не напаивал, а сам я <...> потянулся к такому настою, что и слона валит, <...> эта такая монастырская перцовка, но не на перце, а на травке ф у ф ы р к е.

<...> А секрет андрониевской фуфырки известен был одному только иеродиакону Михею <...> Настойка заготовлялась в Великий пост, а подносили по преимуществу на Святой, но не всякому, а "низким душам для воздвижения". <...> у трезвейшего, расчетливейшего "лампадника" иеромонаха о. Иосифа и с меньшей порции вдруг как бы раскрывались глаза, и он собственными глазами видел, как зарезанный Жилин вылезал из своего богатого склепа и бегал с ножом среди крестов и памятников <...> О. Михей и другие монахи уговаривали меня "не дерзать" и взамен предлагали кагору, но я <...> хлопнул <...> зеленую жгучую рюмку. Больше я ничего не помню» (Подстриженными глазами. С. 212–215).

С. 101. *— Я тебя ∞ объел? ∞ Ты меня не объел!* — Ср. с «Гимном» «Обезьяньей Великой и Вольной Палаты», шутливого общества, учрежденного Ремизовым в дореволюционные годы, который приводится в ремизовской хронике «Взвихренная Русь»: «я тебя не объел, // ты меня не объешь, // я тебя не объем, // ты меня не объел!» (Взвихренная Русь. С. 272).

Мартын Задека — легендарный прорицатель, якобы живший в XI в. и

являвшийся после смерти с загробными пророчествами (см.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 276–277).

С. 104. *...у Христофора было свиное рыло от бесовского наваждения...* — Подразумевается преподобный Христофор (VI в.), подвизавшийся в киновии преподобного Феодосия Великого и на Синайской горе.

С. 105. *...стоном стон стояя...* — Данный эпизод перекликается с рассказом в кн. «Подстриженными глазами» о том, как будущий писатель остриг волосы на голове у своего знакомого — послушника Андрониева монастыря Миши: «Наутро за ранней обедней, нарядный, <...> Миша вышел с большой свечой и стал на амвоне лицом к раскрытым царским вратам — и кто ни был в церкви, всем видно, так со смеху и покатились. “Лествица Иаковлева!” — припечатал монастырский эконом...» (С. 104).

С. 106. *Ков* — двуличие, коварство.

«Многие скажут мне, Господи, ∞ идите прочь от меня, делающие беззаконие». — Цитата из Евангелия (Мф. 7: 22–23).

С. 108. *Волчий билет* — документ с отметкой об исключении со службы, из школы и т. п.

С. 111. *Покров* — праздник Покрова (или Покровения) Пресвятой Богородицы 1 октября (14 окт. по н. ст.), после которого обычно играли свадьбы.

...загрызал землю от ∞ боли. — Ср. с воспоминанием увиденного Ремизовым в семилетнем возрасте: «Отравился найденовский конторщик Алексей Иваныч Башкиров, пристрастивший нас к театру, “артист” — по прозвищу фабричных — и за хороший голос и за беззаботность и щегольство, что бросалось в глаза. В одном белье, ворча и корчась, он катался по земле и грыз землю. Летний тихий день моросил дождем <...> И оттого, что это было непонятно, и то, как зверски он разгрызал землю, я почувствовал, как изнутри что-то обожгло меня» (Подстриженными глазами. С. 170–171).

С. 112. *...бесы повинуются ему.* — В этой связи см. след. отрывок из письма Ремизова жене от 26 июня 1904 г.: «Миф — сверхвозможное, сверхмогучее — на что смотришь снизу вверх.

Мой Глеб — старец в “Пруду” это миф. У Горького — Лука. Мне Горький и близок за эту свою “лукавую” мысль» (На вечерней заре 2. С. 272).

...грозные молитвы его и исцеления ∞ считал ∞ надувательством... — Ср. в «Петре и Алексее»: «Начался один из тех разговоров, которые так любил Петр — о всяких ложных чудесах и знамениях, о плутовстве монахов, кликуш, бесноватых, юродивых, о “бабьих баснях и мужичьих забобонах длинных бород», то есть о суевериях русских попов. Еще раз должен был прослушать Алексей все эти давно известные и опостылевшие рассказы...» (Мережковский 4. С. 46–47).

С. 113. *...использовать для дела...* — Ср. в «Петре и Алексее» запись в дневнике царевича: «Монашество искоренить желают. Готовят указ, дабы отныне впредь никого не постригать, а на убылые места в монастыри определять отставных солдат» (Мережковский 4. С. 167; см. также с. 182).

...и хитрее всяких других игр... — Пристрастие к игре в шашки — устойчивая деталь образа Петра I в русской литературе, начиная с Пушкина. См., например, в «Арапе Петра Великого»: «Государь был в другой комнате. Корсаков, желая показаться, насилу мог туда пробиться... <...> За одним из столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 6. С. 30; ср.: Мережковский 4. С. 180).

С. 113. *...была для него археология...* — Ср. о Н. А. Найденове: «Финансовые комитеты и комиссии, где он председательствовал, не мешали ему заниматься любимой историей и археологией» (Иверень. С. 40; см. также: Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1991. С. 116–117).

...видел подрывание основ. — Ср. с отношением к религии и церкви Петра I в изображении Мережковского, — см., например, ответ царя на «афеистические» суждения своих сподвижников: «— Ну, будет врать! — заключил Петр, вставая. — Кто в Бога не верует, тот сумасшедший, либо с природы дурак. Зрячий Творца по творениям должен познать. А безбожники наносят вред государству и никак не должны быть в оном терпимы, поелику основание законов, на коих утверждаются клятва и присяга властям, подрывают» (Мережковский 4. С. 169; см. также с. 132).

Угодник — святой, угодивший Богу человек.

...Катерина-Околелая лошадка... — поминая в кн. «Подстриженными глазами» своего брата Виктора, Ремизов вспоминает также «о его кормилице, длинной и ноющей Катерине с прозвищем "околелая лошадка"» (С. 232).

Канонарх — монах-регент; при пении на оба клироса он объявляет глас, а затем слова канона.

...валялся за занавеской. — Ср.: «Однажды после обедни мы зашли к о. Михею, а у него случился желанный гость, лаврский канонарх Яшка, для "препровождения" времени Яшка дернул стакан "фуфырки" <...> Я на канонарха смотрел как и без фуфырки превращавшегося во время пения во что-то нечеловеческое <...>» (Подстриженными глазами. С. 215; см. также с. 133).

Обер (ober, нем.) — главный, старший.

С. 117. *Херувимский* — от херувим, один из высших ангельских чинов.

Требник — богослужебная книга с текстами треб, служб, совершаемых не в определенное время, а по просьбам прихожан.

С. 119. *...припечатывали чертей на спину прохожим...* — в кн. «Подстриженными глазами» (с. 52) Ремизов характеризует подобное занятие как одну из своих любимых детских проказ.

С. 123. *Иван Купала* (Иванов день) — 24 июля, день Усекновения главы Иоанна Предтечи; Ремизов родился в Купальскую ночь 1877 г.

...наткнулся на сочинения Достоевского. — По признанию Ремизова, первую свою книгу он прочел в 7 лет (см.: Подстриженными глазами. С. 147, 171; см. также: Кодрянская. С. 77). В кн. «Подстриженными глазами» писатель

вспоминал: «До тринадцати лет я читал случайно, а между тем <...> вся наша бывшая красильня, начиная с матери, все мои братья упивались чтением. Детская литература прошла мимо меня. Но теперь книга стала для меня все: я читал на уроках, в перемену и дома вечером, пока не гасили свет. <...> «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского — первые из прочитанных книг, а попались случайно и за дешевку — на Сухаревке. Чувство мое было горячее, горящее — читал и не мог начитаться.

Потом все позабылось, и не как вытесненное, а нагрузом других, по чувству памятных: Достоевский, Толстой, Салтыков, Лесков, Гончаров, Тургенев, Писемский и много позже Гоголь» (с. 73). «Достоевский действовал на меня до содрогания, а Толстому мне хотелось подражать и в письме и в жизни» (Встречи. С. 250).

С. 124. *...они разыгрывали своего Конька-Горбунка...* — Ср.: «...мной всегда владело безотчетное влечение к зрелищу и театру. <...> А театр — единственное, что я видел в раннем детстве. “Конек-Горбунок” и “Волшебные пилюли” — в Большом театре и “Макбет” — в Малом. Но и этого было довольно, чтобы заиграть самому.

И почему-то — или боялись, что подожжем, другого объяснения не придумаю — наш домашний театр попал в индекс вместе с игрою в бабки (проломить голову свинчаткой неудивительно!) и торчанием в фабричных корпусах (наслушаться всяких историй немудрено!). И так как это было запрещено, оно особенно и привлекало <...>. Найденовские фабричные были на нашей стороне, и театр из наворованных досок сооружался в самом скрытом уголке бесконечного найденовского двора.

Не всегда сходило с рук, бывали случаи беспощадного истребления в разгар работы, но еще хуже, когда театр прекращался во время представления. Разыгрывались водевили, сцены Лейкина и неизвестных авторов. <...> Я играл женские роли. И это как-то повелось. <...> Исполняя женские роли в нашем театре, я имел еще одну обязанность. Я всех гримировал. Средства были незамысловатые: жженая пробка, печная сажа и малярная краска. <...> Состав зрителей нашего театра: найденовские фабричные, пололки с Всехсвятского огорода и монахи Андрониева монастыря» (Подстриженными глазами. С. 88–90). См. также: «Я <...> вспомнил <...> наши домашние спектакли, мои выступления — я играл добродушных пьянчужек, но особенно отличался в женских ролях, мой голос чаровал...» (Иверень. С. 100–101).

С. 125. *...16 августа ∞ торчала ∞ гимназия...* — 15 августа — окончание Успенского поста (1–15 авг.). «А 23-го или 25 августа, смотря по календарю, начиналась учебная страда» (Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 1991. С. 11).

С. 126. *...шинели и курточки ни на какую стать...* — в кн. «Подстриженными глазами» не раз вспоминается «работа знаменитого портного с Костомаровки Павла Павлыча, по прозвищу Поль Ужé» (С. 46.), который шил братьям Ремизовым «гимназические куртки и шинели на рост» (С. 52).

С. 127. *Тучки небесные, вечные странники!..* — Начальная строфа стих. М. Ю. Лермонтова «Тучи» (1840).

С. 128. *...на каторге театр устраивали...* — подразумевается гл. XI («Представление») части 1 «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского.

С. 131. *...видя в нем свою породу огорелышевскую.* — Ср. в кн. «Иверень»: «Старики служащие сколько раз уверяли меня, что я "вылитый дядюшка" и как хожу и повороты, и как всматриваюсь и прислушиваюсь. Пусть они правы, почему нет? — тут ничего необыкновенного — я похож на мать, стало быть не в Ремизовых, а в Найденовых. Но не могу я поверить, что мой голос хоть чем-нибудь напоминает этот единственный страшный голос, какой только мне приходилось слышать» (С. 42); в кн. «Подстриженными глазами» Ремизов называет Н. А. Найденова «мой двойник» (С. 218).

...не спускал Коле ни одной шалости. — Ср. с мотивом «тайной любви – явной ненависти» в изображении Мережковским взаимоотношений между царем Петром и царевичем Алексеем, например: «Словно положен был на них беспощадный зарок: быть вечно друг другу родными и чуждыми, тайно друг друга любить, явно ненавидеть» (Мережковский 4. С. 257).

С. 132. *Воздвижение* – церковный праздник Воздвижения Честного Креста в воспоминание обретения византийской царицей Еленой Креста Господня, воздвигнутого ею на поклонение, 14 сентября.

С. 133. *...весь грех приписывала лекарствам.* — Очевидная отсылка к событиям, описанным в романе «Братья Карамазовы» и связанным со смертью старца Зосимы. Особенно значимым здесь является упоминание о лекарстве, отсылающее к сцене у гроба старца: «В кресла не сяду и не восхощу себе аки идол поклонения! — загремел отец Ферапонт. — Ныне людие веру святую губят. Покойник, святой-то ваш, — обернулся он толпе, указывая перстом на гроб, — чертей отвергал. Пурганцу от чертей давал. Вот они и развелись у вас, как пауки по углам. А днесь и сам провонял. В сем указание Господне великое видим» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 303).

С. 134. *Паникадило* — большая люстра или подсвечник в церкви.

Милый мой коташка! — Ср.: «Пришел конец и моему любимому, моему спутнику и товарищу, в последнее лето замеинвшему мне <...> попавшего в маховое колесо Егорку: "приказал долго жить" Наумка, дымчатый кот с седыми усами, мой ровесник.

<...>на найденовском дворе у забора к Яузе я вырыл яму, всю травой устлал и одуванчики положил — <...> любимое Наумки! — в последний раз потрогал его за бархатную лапку — "простился". <...> с последней горсткой земли в зеленую, как его зеленые глаза, могилу <...> вдруг я почувствовал, что кануло что-то — семь лет нашей жизни? — и я другой» (Подстриженными глазами. С. 170).

Сергиев день — 25 сентября, день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского (1314–1392), русского святого, чудотворца, собирателя русской земли.

С. 135. *...усы ∞ как у Вильгельма.* — Подразумевается Вильгельм II (1859–1941), германский император и прусский король в 1888–1918 гг.

...Машу Варенька прогнала. — Ср. с воспоминанием о событии, происшедшим, когда Ремизову было 7 лет: «Прогнали горничную Машу. Я слышал, как сказала кухарка Степанида, и концы ее черного староверческого платка зашевелились: “Догуляешься, девка, до желтого билета”» (Подстриженными глазами. С. 171).

С. 136. *...наловчился Прометей до золотой медали...* — Ср. с воспоминанием о том, как «после запоя приютившийся у нас сын няньки, половой с Зацепы, принявший имя “Прометей”, ревностно учился по-гречески» (Подстриженными глазами. С. 174).

Солитер — здесь: жаргонное слово, возникшее от совмещения значений французских слов solitaire – крупный бриллиант, вправленный в ювелирное изделие отдельно, без других камней, и <ver>solitaire — ленточный червь, паразитирующий в теле человека и животных.

Шпульник — рабочий ткацко-прядильного производства, готовящий цевки с утком (шпульки), вкладываемые в ткацкий станок; возможна также связь с глаголом ш п у н я т ь (ш п ы н я т ь) — издеваться.

С. 137. *Многолетие* – молитва о даровании благоденственного и мирного жития, здравия, спасения и во всем благого поспешания, сохранения на «многая лета»; последние слова поются всеми вместе.

...Прометей — великий человек... – Отсылка к проблематике «больших» романов Достоевского, соотносящая (вкупе с другими деталями) образ Прометея с образом лакея Смердякова из «Братьев Карамазовых».

С. 138. *...генералиссимус ∞ Прометей Мирский.* – Ср.: «Нянька Прасковья Семеновна Мирская (ее сын, половой с Зацепы, прибавлял к Мирскому Святополка» и “наказного атамана”, — “за неграмотностью” для особо развонистого почерка подписывая: “трактирный служитель перворазрядного трактирного заведения Ивана Александровича Прокунина и для извозчиков Димитрий Леонтьевич Святополк Мирский...”), нянька кроткая, <...> “закопыченная в крепостях”...» (Подстриженными глазами. С. 253–254).

Светлое озеро — оз. Светлояр в Нижегородской обл. Существует предание, что город Китеж, будто бы существовавший на его месте, опустился на дно озера, чудесно спасенный таким образом от монголо-татар. В предреволюционные годы озеро было известно как место, где представители разных религиозных конфессий собирались для споров и собеседований.

...п р е к р а с н а я   м а т ь - п у с т ы н я. – Образ из духовного стиха о святом Иосафе, царевиче индийском, обращенном в христианство св. Варламом и удалившемся в пустыню на 25 лет, оставив свое царство.

— *Там овца ляжет около тигра...* — Ср. в Библии: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком <...> « (Ис. 11: 6).

С. 139. *...да, он бросит этот мир, ищущий веселья...* — В этой связи см. воспоминание Ремизова о его старшем брате Николае: «...старший брат,

гимназист, в тот год кончавший гимназию, <...> познакомился с Иоанном Кронштадтским; брат переписывал его дневники и обозначая в них тексты из Священного писания, — <...> большая начитанность, он мечтая, по примеру Владимира Соловьева, после университета поступить в Духовную Академию, а по устремленности — Алеша Карамазов; о. Иоанн его очень полюбил и доверял ему <...> перед всеми. Толмачевский дьякон, впоследствии известный схимник Алексий, веруя в звезду брата, написал ему на Евангелии: "будешь во времени, меня помяни!"» (Подстриженными глазами. С. 182–183).

С. 139. *...у него на столике с любимыми книгами.* — Ср. в рецензии М. А. Волошина (1907) на кн. Ремизова «Посолонь» (М., 1907): «Его письменный стол и полки с книгами уставлены детскими игрушками. <...>У домашнего очага Ремизова эти грубо сделанные игрушки: глиняные курицы, войлочные зайцы, деревянные медведи и картонные мыши <...> остаются богами, сохранившими свою древнюю власть над миром явлений, и от них возникают его художественные произведения» (В о л о ш и н М. Лики творчества. Л., 1988. С. 510–511).

Стихир – песнопение, посвященное празднику; поется за всенощной.

Акафист (букв.: неседальное пение, греч.) — церковная хвалебная молитва Спасителю, Богоматери и святым Угодникам, во время исполнения которых полагается стоять.

С. 140. *Триóдь* — богослужебная книга, употребляемая на дни Великого поста (триодь постная) и на Пасху (триодь цветная).

С. 141. *Стояние* — всенощное бдение в храме в четверг и субботу пятой недели Великого поста.

Мария Египетская – христианская святая (VI в.), в молодости — блудница, обратилась затем к вере и прожила 47 лет в пустыне Иорданской; память празднуется 1 апреля.

Сенаксарь (синаксарь) — сборник кратких повествований о житиях святых; чтение на торжественных собраниях.

С. 142. *Чистый Понедельник* — первый понедельник Великого поста.

Великая Суббота — суббота накануне Пасхи.

...до Плащаницы... — В Великую Пятницу (накануне Пасхи) в храмах совершается вынос и символическое "погребение" Плащаницы.

Иезекиилево чтение («Пророчества Иезекиилева чтение») — чтение ветхозаветной «Книги пророка Иезекииля», содержащей пророчества о воскресении мертвых в день Страшного Суда.

«Бысть на мне рука Господня...» — Иез. 1: 3.

«В о с к р е с и й, Б о ж е, с у д и з е м л й» — песнопение литургии Великой Субботы, во время пения которого священники переоблачаются в белые ризы.

С. 143. *Измоделый* – изможденный, исхудавший.

С. 144. *Деяния* — Деяния святых Апостолов читаются в храме вечером в Великую Субботу вплоть до начала полунощницы.

С. 148. *...бросилась вниз* ∞ *и в петле повисла.* – В этой связи ср. свидетельство Н. В. Кодрянской: «"Некуда" Лескова – Лиза Бахарева — вот путь,

по словам Ремизова, который прошла его мать. Она почувствовала, как Лиза, что так жить нельзя. И начались поиски новой жизни. В пропад с ними четырьмя. Только с Алексеем она вспоминала свое прошлое, свою волю, свои стремления. В "Пруде" Ремизов выразил ее отчаяние.

Она никогда ни в чем его не упрекала. <...> Одна, она доживала свой век. Все там же в доме – бывшей красильной мастерской она умерла в 1919 г. В своей комнате — одиночной камере» (Кодрянская. С. 77–78). См. у самого Ремизова: «Моя мать <...> и в духовном развитии и устремлениях своих шла вровень с передовыми русскими женщинами своего времени. Жизнь у нее сложилась трудная, но и трудная доля ее, правда, расшатала, а все-таки не сломила в ней найденовское железо» (Автобиография 1913. С. 443).

С. 148. *Христос воскресе из мертвых...* – пасхальный тропарь (краткое песнопение, посвященное празднику или святому).

С. 153. *Псалтирь* (Псалтырь) — одна из книг Библии, содержащая 150 псалмов. В отдельно изданных псалтирях псалмы перемешаны с молитвами.

С. 154. *Сорокоуст* — заупокойная молитва в церкви, повторяемая в течение 40 дней.

С. 155. *...уходят из дому на свое богомолье...* — ср.: «А когда дети <братья Ремизовы. — *Ред.*> подросли, перед ними открылась фабричная жизнь <...>. И все, как прежде, ходят в гимназию, по субботам всенощная, а в воскресенье две обедни: ранняя в приходской церкви и поздняя в Андрониевом монастыре. Круглый год безвыездно — Москва, и только пешком на богомолье в Косено, или в Троице-Сергиевскую лавру, а то к Спасу Сторожевскому в Звенигород» (Кодрянская. С. 72).

С. 158. *Короли* — азартная карточная игра.

С. 159. *Храмовый (или престольный) праздник* — праздник в память церковного события или святого, в честь которого освящен престол храма. Этот праздник отмечается особенно торжественно.

...на бульварах на музыке еще веселее. — Ср. с воспоминанием Ремизова о Москве его юности: «В четверг вечером на Тверской бульвар пожалуйте на музыку: оркестр Александровского военного училища, капельмейстер Крайнбриг, соло на корнет-а-пистоне. Приходите лучше попоздней. И не надо никаких денег...» (Подстриженными глазами. С. 282; см. также с. 98).

С. 160. *Бутоньерка* (boutonnière, фр.) — букетик цветов, прикалываемый к одежде или вдеваемый в петлицу.

С. 172. *...до пустых жил вздрагивало его сердце.* — В этой связи см. отрывок из письма Ремизова жене от 26–27 апреля 1905 г.: «Прочитал первую редакцию "у Маргаритки" — трудная для меня глава, потому что писал сердцем, но не из жизни, а со слов Бориса Вик<торовича> Савинкова. Пожалуй, оставить эту первую, не исправляя» (На вечерней заре 3. С. 459).

С.173. *...возвращая ∞ тетрадку с его сочинениями.* — Ср.: «С бухгалтерией у меня были нелады, но не из-за счетоводной премудрости, а учитель попался образец самой для меня невыносимой "неоригинальности" и "благонравия" –

“церкви-и-отечеству-на-пользу». И как он мне повторял каждый раз, просматривая мои, каллиграфически написанные, но всегда с ошибками, “годовые отчеты”, что “не в ученые я готовлюсь, а аккуратно, без обезьяньих затей, торговые книги вести”, меня возмущало: почем знает, дурак, на что и куда я себя готовлю?!» (Иверень. С. 45).

С. 174. *...он ее возьмет и кинет в помойку!* — Ср.: «Перед выпускными экзаменами сделано было распоряжение от попечителя училища, Н. А. Найденова, экзаменовать меня со всей строгостью. <...>И на экзамене все мои обычные пятерки снизились на тройки <...> . И я попал из первых в последние ученики, и само собой, лишен был высшей награды окончившим Александровское коммерческое училище, звания “кандидат коммерции”...» (Иверень. С. 45).

...пошла с этого дня служба... — Ср.: «С третьим братом, Виктором, связана судьба Ремизова: Виктор постоянно болел, его взяли из гимназии в коммерческое училище, с ним — Алексея, чтобы не оставлять брата одного <...> Виктору в гимназии <...> было трудновато, а в коммерческом шел первым по математике. Окончил он “кандидатом коммерции” и поступил в банк. Главный бухгалтер найденовского Московского Промышленного банка» (К о д р я н с к а я. С. 76).

С. 175. — *Я в университет поступлю!* — Ср.: «Каким я вышел по счету <из училища>, мне было все равно. Передо мной была трудная задача, как попасть в университет. Меня пугал не экзамен, а место в банке, куда я назначался.

Чтобы не торчать на глазах, я проводил время не дома, а на кирпичном заводе у Помялова. И осенью <1895 г.> поступил в университет — так само собой отпала моя служба в банке. И что не легко далось — <...> да хорошо, что все так кончилось без никаких «недоразумений».

<...> Все меня занимало, я пропадал в университете с утра до вечера, а с вечера до глубокой ночи долбил ученые руководства, лекции и свои записки» (Иверень. С. 27).

«La donna è mobile...» — Начало арии Герцога из оперы Д. Верди «Риголетто» («Сердце красавицы / Склонно к измене...»).

С. 177. *...ударил ... знакомый голос Арсения.* – Возможно, что реальной параллелью описанной сцене служил следующий эпизод: «На масленице окончившие <Александровское коммерческое училище> в этом году затеяли устроить в училище вечер с танцами. Вечер предполагался особенно торжественный <...> На этот вечер я пошел, но не по-бальному, а по-своему.

<...> Я <...> был не попросту наряжен. <...> Много старых знакомых я встретил, и новые — я всматривался. Все на меня так хорошо глядели <...> А когда кончилось отделение и стали выходить в большую залу, и я со всеми, <...> а было очень шумно и нетерпеливо оживленно, я отвечал и что-то спрашивал, — вдруг кто-то резко дернул меня за рукав <...> И увидел: прямо на меня не шел, а по-своему, как налетал с необычайной быстротой.

“Найденов”, — шепнул мне кто-то, да я и сам не обознаюсь. <...> И услышал тот самый режущий звук, от которого леденело на сердце:

— Убирайся вон!

От меня отстранились. Но я не шевелился. Это толкающее "вон" меня не сдвинуло. <...> Но тут кто-то <...> за руку взял меня и на ухо <...>: "Сам уходите, позовет людей, прошу вас, выведут!" И этот голос очнул меня: это был классный надзиратель, учитель французского <...> Лекультр, которого все любили.

И я пошел» (Иверень. С. 47).

С. 181. *Святая* — Пасхальная неделя.

...к пивнику Г а р и б а л ь д и ... — Прозвище, связанное, очевидно, с названием пивной, данным в честь Джузеппе Гарибальди (1807–1882), народного героя Италии, генерала, одного из вождей национально-освободительного движения за объединение Италии в 1830-е—1860-е гг., чрезвычайно популярного в России.

С. 182. *Розик ∞ плакал молча...* — Еще дореволюционной критикой было подмечено, что образ Розика (равно как и кошки Мурки из повести «Крестовые сестры») генетически восходит к образу забитой насмерть лошаденки из «Преступления и наказания» Достоевского, — см., например: «<...>даже невинно мучающиеся животные, долженствующие символизировать тяготеющий над всей тварью земной — не только над людьми, — омут неоправданных страданий: его <Ремизова> вопиющая от боли собачка Розик ("Пруд") и барахтающаяся в последнем издыхании и надрывно мяукающая кошка Мурка <...> имеют свой прообраз в жалких, как бы плачущих, кротких глазах засеченной насмерть крестьянской лошаденки у Достоевского» (Д о л и н и н А. Обреченный. Сочинения Алексея Ремизова: Т. 1–8, издание «Шиповника» // Речь. 1912. № 163. 17 июля. С. 2).

С. 185. *Воскресения день!..* — Пасхальный канон, песнь 1 (Творение Иоанна Дамаскина).

С. 186. *...и в Розике не благословлю...* — Содержание беседы двух братьев представляет собой парафраз разговора Ивана и Алеши Карамазовых в трактире в гл. «Братья знакомятся» (см.: Д о с т о е в с к и й Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 208, 213–215). Кроме того, знаменательное, а потому вряд ли случайное совпадение: разница в возрасте у Саши и Коли («Коле исполнилось двенадцать лет, <...> Саше пятнадцать») точно соответствует разрыву в годах у Карамазовых: «Алеша, я помню тебя до одиннадцати лет, мне был тогда пятнадцатый год» (Там же. С. 208).

С. 187. *...крестный ход с артосом.* — Ср. в кн. «Подстриженными глазами»: «...на Пасхальной неделе всю неделю после обедни крестный ход с артосом вокруг древней монастырской башенной ограды» (С. 133). Артос (греч. – хлеб) — хлеб, освящаемый на Пасху.

С. 189. *...избиение младенцев...* — Подразумевается эпизод Новозаветной истории, о котором сообщается в Евангелии от Матфея (Мф. 1: 16).

С. 199. *...в отхожем месте перочинным ножичком.* — Ср. воспоминание о друге юности и молодости Ремизова: «В этот день приходил Суворовский, он показался мне особенно взволнован, и было похоже, как однажды он пришел

сказать о своем брате-семинаристе: “зарезался перочинным ножиком”» (Ремизов А. Петербургский буерак. Париж: LEV. 1981. С. 282). Помимо биографических черт однокашника Николая Ремизова Николая Павловича Суворовского, музыканта и книжника (см. о нем: Подстриженными глазами. С. 190, 191; Встречи. С. 282), сотрудничавшего в середине 1900-х гг. в брюсовских «Весах» (см.: На вечерней заре 2. С. 240, 241, 247, 248, 278, 281, 294), в образе Алексея Алексеевича Молчанова отразились, видимо, также черты биографии Алексея Алексеевича Архангельского (?—1941), о котором Ремизов заметил в книгах записей С. П. Ремизовой-Довгелло (кн. IV. С. 13): «Я познакомился с ним в школьные годы, он учился в Филармонии. На нем лежала печать “гениальности”. В музыке он, кажется, все знал. А вот ничего не вышло. Какое-то малокровие душевное. Оказался под стать “Летучей мыши” Балиева... Он занимался и литературой, писал похабные стихи, потом против большевиков...» (Цит. по: На вечерней заре 1. С. 177).

С. 202. *...завтра же очистить красный флигель.* — В этой связи см. отрывок из письма Ремизова жене от 30 мая 1904 г.: «Читал 1 ч<асть> “Пруда”. Очень Сергей <Ремизов> кипятился. Никак не мог представить, что это не документ, а мое воображение, отзвук “эмпирической действительности”, как сказал бы Бердяев. Монастырь и пруд, монахи с чертями и старец — моя душа, этого-то он и не может понять. Именно то, что ты понимаешь» (На вечерней заре 2. С. 246).

С. 205. *...все самому успеть сделать...* — Подчеркивая одиночество Арсения в его новаторской деятельности, Ремизов явно ориентируется на роман Мережковского, в этой связи см., например: «В другой раз, тихонько гладя сыну волосы, Петр проговорил смущенно и робко, точно извиняясь:

— Ежели сказал я тебе, или сделал что огорчительное, то, для Бога, не имей о том печали. <...>В трудном житии и малая противность приводит в сердце. А житие мое истинно трудно: не с кем ни о чем подумать. Ни единого помощника!..» (Мережковский 4. С. 257); «Петр <...> вздохнув, прибавил:

— Ах, Алеша, Алеша, если бы видел ты сердце мое, знал скорбь мою! Тяжело мне, тяжело, сынок!.. Никого не имею помощника. Все один да один. Все враги и злодеи» (Мережковский 5. С. 111).

...и на ∞ баню жалко ему стало времени. — Ср. о Н. А. Найденове: «<...> его тяготило это постоянное — изволь наряжаться в мундир и нацеплять на себя погремушки, ему это было, как в баню пройти: изволь раздеваться и мылиться, что потребует, по крайней мере, час, а дело не ждет и минуты» (Иверень. С. 39).

...не Огорелышев, а жулик какой-то... — Вновь отсылка к литературной традиции изображения Петра I: характерным штрихом его литературного портрета является крайняя непритязательность в отношении своей одежды, см., например, в «Петре и Алексее»: «За столом, заваленным бумагами, Петр сидел в старых кожаных креслах <...>. На нем был голубой полинялый и заношенный халат, который царевич помнил еще до Полтавского сражения, с тою же заплатою более яркого цвета, на месте, прожженном трубкою; шерстяная красная фуфайка с белыми костяными пуговицами; от одной из них, сломанной.

оставалась только половинка; <...> исподнее платье из грубого синего стамеда; серые гарусные штопаные чулкн, старые стоптанные туфли. Царевич рассматривал все эти мелочи, такие привычные...» (Мережковский 4. С. 222–223, см. также следующее примеч.)

С. 205. ...*тому он ставил это на вид.* — Ср. со следующей сценой из «Арапа Петра Великого»: «Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя дух, осушил весь кубок и отдал его маршалу. “Послушай, Корсаков, — сказал ему Петр, — штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побраннлся”» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 6. С. 31).

...*такого страха, что расстраивался весь вечер.* – Ср. о Н. А. Найденове: «Из всех отличался <...>: так, здорово живешь, среди делового или ученого разговора, или появившись на вечере у родственников в самый разгар и появлением своим все погасив, муху слышно...» (Подстриженными глазами. С. 117).

С. 206. ...*словно судорога, не отпуская, бегала по нем...* — Ср. с использованием этой детали Мережковским в изображении облика Петра: «Молчал и Петр. Но вот в правой щеке, в углу рта и глаза, во всей правой стороне лица его началось быстрое дрожание, подергивание; постепенно усиливаясь, перешло оно в судорогу, которая сводила лицо, шею, плечо, руку и ногу. Многие считали его одержимым падучею, или даже бесноватым за эти судорожные корчи, которые предвещали припадки бешенства» (Мережковский 4. С. 229; ср. также 4. С. 122; 5. С. 128 и др.).

...*город строился на славу городам.* – Ср. с мотивом Города, Петербурга как символа петровских преобразований в «Медном всаднике» Пушкина и в «Петре и Алексее».

...*Арсению бесы служат.* – Ср. со страницами, характеризующими сходное отношение народных низов Руси к деятельности и личности Петра I в романе Мережковского (Мережковский 4. С. 57, 122), см. также: «Царевич взглянул на отца и вдруг почему-то вспомнил то, что слышал однажды, в беседе “на подпитках” от своего учителя Вяземского:

— Федос, бывало, с певчими при батюшке твоем поют: Где хочет Бог, там чин естества побеждается — и тому подобные стихи; и то-де поют, льстя отцу твоему: любо ему, что его с Богом равняют; а того не рассудит, что не только от Бога — но и от бесов чин естества побеждается: бывают и чуда бесовские!» (Мережковский 4. С. 196); ср.: «Судорога слабела. Иногда еще вздрагивал всем телом, но все реже и реже. Не кричал, а только стонал, точно всхлипывая, плакал без слез:

— Трудно, ох, трудно, Катенька! Мочи нет!.. Не с кем подумать ни о чем. Никакого помощника. Все один да один!.. Возможно ли одному человеку? Не только человеку, ниже ангелу!.. Бремя несносное!..» (Мережковский 5. С. 128).

С. 209. ...*сделался секретарем Арсения...* — Ср. факт службы Николая

Ремизова (уже в период создания 1-й печатной редакции «Пруда») секретарем Московского Биржевого Комитета, т. е. под непосредственным руководством Н. А. Найденова (см. об этом: На вечерней заре 2. С. 240; Подстриженными глазами. С. 117).

С. 210. — *Я не хочу! — резко сказал Николай...* – Ср.: «Я подходил к торжественному столу за аттестатом последним: я — последний ученик — так я был "поставлен на место". <...> И в то же самое время, как "для острастки меня поставили на место", я зачисляюсь в найденовский Московский торговый банк на такое место, откуда открывалось передо мной, к моему совершеннолетию (сейчас мне семнадцать), занять положение, о котором едва ли мечтает хоть один, кто получил звание "кандидат коммерции". Но я всеми правдами и неправдами увильнул от такой чести.

С осени всякое утро я отправлялся не на Ильинку в банк, а на Моховую в университет: я поступил на естественное отделение физико-математического факультета» (Иверень. С. 45–46).

...в новую тюрьму за заставу. – Ср.: «В ноябре 1896 года за полугодовую ходынку попал и я, грешным делом, в Каменщики — в губернский тюремный замок – в Таганскую новую тюрьму» (Автобиография 1912. С. 438). Свое участие в роковой для его судьбы демонстрации Ремизов позднее старательно представлял как случайное, однако на деле он был одним из застрельщиков студенческого выступления (см. об этом: Грачева А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность // Лица: Биогр. альманах. 3. М.; СПб., 1993. С. 422–425 и др.).

С. 211. *...называли его шпионом...* — Ср.: «На демонстрации я был арестован первый, <...> и первым попал в часть. Меня заперли в пустую приемную <...> Было тихо и вдруг зашумели: привели арестованных из Манежа. За городовым я вошел в другую комнату: там человек тридцать студентов. На столе самовар <...> Я взял стакан и смотрю сахар и вдруг увидел знакомого студента <...> Но он не только мне не обрадовался, а грубо отвернулся и что-то сказал ближайшему и потом, как ныряя, одному, другому, третьему. И от его слов все шарахнулись, жались к стене.<...> А он, повернувшись ко мне и не в лицо, а в сторону, тяжело и гулко: "Провокатор!"» (Иверень. С. 31, ср. с. 103; см. также: Кодрянская. С. 79).

С. 212. *...«Спаси меня!»* — Данный эпизод представляет собой художественно претворенное воспоминание Ремизова об обстоятельствах его ареста 18 ноября 1896 г. на студенческой демонстрации (см. об этом: Грачева А. М. Революционер Алексей Ремизов... С. 423).

С. 215. *Приидите ко мне ∞ и аз упокою вы!* – Цитата из Евангелия (Мф. 11; 28).

С. 217. *...ее песню, песню песней...* — Отсылка к «Песни песней», разделу Ветхого Завета, являющему собой собрание лирических песен. Религиозная традиция трактует его как аллегорическое изображение любви верующих к Богу, исследовательская – как цикл песен интимно-лирического и свадебного

характера, основная тема которого — страстная любовь, преодолевающая все преграды.

С. 225. *Сочельник* — канун праздника Рождества Христова: 24 декабря.

Отдохнувшие за пост... — Подразумевается Филиппов (рождественский) пост: 15 ноября — 24 декабря.

С. 226. *...наголодавшись до звезды...* — В сочельник перед Рождеством держали особо строгий пост и не ели до появления первой звезды.

С нами Бог... (Ис. 8: 8) — из Великого повечерия праздника Рождества Христова.

С. 228. *Святки* – время от Рождества до Крещения (25 декабря — 6 января).

Крещенский сочельник — канун праздника Крещения Господня: 5 января.

С. 230. *...в блестящих медных латах и медном шлеме.* — Этот «латник» весьма схож с «пожарным» — «нечеловечески огромным», «в огромной медной каске» — в картине «Страшного суда» ремизовской повести 1909–1910 гг. «Крестовые сестры» (М., 1989. С. 74). Относительно этого «пожарного» современная исследовательница делает вывод, что он является «искаженной проекцией» Ангела из Откровения Св. Иоанна Богослова (см.: Тырышкина Е. В. Интерпретация Апокалипсиса в Крестовых сестрах А. М. Ремизова // Slavia Orientalis. 1993. T. XLII. № 1. S. 69).

С. 232. — *Прости им!* — Отсылка к сюжету апокрифического сказания «Хождение Богородицы по мукам», памятника эсхатологической литературы XII в., любимого Ремизовым, что нашло выражение в неоднократных упоминаниях и использовании его сюжета в творчестве писателя.

...в девятый покинутый час, висел Он... — Отсылка к Евангелиям от Матфея и Марка: «А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: <...>Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? ∞ испустил дух» (Мф. 27: 46–50; ср. Мк. 15: 34–37).

С. 234. — *Остановитесь! Не делайте!* — По всей очевидности, подразумевается «яснополянский мудрец» Л. Н. Толстой. Ср. ремизовскую характеристику Толстого в кн. «Встречи. Петербургский буерак»: «И еще толстовское: остановитесь и прекратите ту жизнь, которая идет на земле, основанная на лжи и насилии — <...> какую надо веру в чудесное: человек найдет в себе мужество остановиться и своей волей перевернуть весь уклад жизни, начать новую свободную жизнь» (С. 230).

С. 236. *..зеленый огонек... до рассвета светился в кабинете...* — Ср. свидетельство Ремизова о Н. А. Найденове: «Сверхъестественной энергии, а дел конца не видно. Говорили, что даже и не спит вовсе, а ест походя, и неразборчив <...> Могу засвидетельствовать, что из его окна во всю ночь до утра не погасал свет» (Иверень. С. 37–38).

Никола — Николин день — 9 мая (Никола летний).

С. 237. *...и снова окаменело лицо.* — В этой связи см. ремизовское воспоминание: «<...> 18 ноября 1896 г. — роковой для меня день, — арест и

Таганская тюрьма. И потом ссылка в Пензу. Я был как вычеркнут, а имя мое произносили, как позорное. Я сохранил связь с матерью и братьями. Но старший брат, когда-то из всех привязанный ко мне, был на стороне старших. Обращаться к нему за помощью было бесполезно» (На вечерней заре 2. С. 239).

С. 239. *...быть с нею вместе всегда — вечно, вовеки.* — По сути, весь «лирический монолог» на с. 282–283 являет собой парафраз поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1841). Показательно появление непосредственно имени «Демон», а также анафорическое сходство имен ремизовской и лермонтовской героинь: ТАня — ТАмара.

С. 241. *...родился у него сын, а жена после родов померла.* — Ср.: «Жена брата Виктора, Ида Федоровна Рюккерт — дочь берлинского золотильщика. Золотильщик Рюккерт обосновался в Москве <...> дела шли хорошо. В семье Виктора было хозяйственно, немецкие порядки и свободно. В приезд Ремизовых они часто останавливались у этого брата, а Ида <...> приезжала к ним в Петербург. У них сын Борис и дочь Галина» (Кодрянская. С. 76).

...проводили отшельника?.. — В кн. «Подстриженными глазами» Ремизов сообщает, что в юности из-за его пристрастия к уединенному чтению у него было домашнее прозвище «отшельник» и «“отшельник” с прибавлением “оглашенный”» (С. 233).

С. 242. *Театр-обедня...* — Ремизов, служивший в 1903–1904 гг. заведующим литературной частью в «Товариществе Новой Драмы» В. Э. Мейерхольда, много для театра переводивший, размышлявший о его проблемах, наделяет Петра своим взглядом на природу театрального искусства. В этой связи см., например, такую фразу из письма жене от 26 июня 1904 г.: «Очень понравилась Вяч<еславу> Иванову моя мысль: “театр – обедня”» (На вечерней заре 2. С. 272).

С. 243. *Петровки* — Петровский пост перед Петровым (Петра и Павла) днем — 29 июня.

Каиа́фа — прозвище иудейского первосвященника Иосифа, высокомерного саддукея, яростного преследователя Христа и апостолов.

С. 245. *Апостол* — часть Нового Завета, содержащая Деяния и Послания св. апостолов.

...горько мне стало за душу человеческую. — Текст «эпитафии» представляет собой слегка видоизмененный вариант ремизовского рассказа, впервые появившегося — под заглавием «Эпитафия» — в № 3 альманаха «Северные цветы» (М., 1903) и в 1910 г. опубликованного во 2-м томе «Сочинений Алексея Ремизова» (Шиповник 2) под заглавием «Коробка с красной печатью».

С. 247. *Мара́* — морок, наваждение; греза, мечта; призрак, привидения, обман чувств и самый призрак – род кикиморы, которая путает и рвет кудель и пряжу.

...преполовилось лето. — От Преполовения, церковного праздника, отмечаемого на 25-й день после Пасхи в среду.

Древний белый собор ∞ гордый и несравненный. — Подразумевается сооруженный Иоанном Грозным Софийский собор в Вологде, где Ремизов

отбывал ссылку в 1901–1903 гг. Этот собор писатель поминает в кн. «Иверень» (С. 196) как главную вологодскую достопримечательность.

С. 248. *Ссыльные приняли его сердечно и участливо..* — Ср.: «В Вологде меня приняли и добродушно и приветливо» (На вечерней заре 1. С. 154).

С. 249. *...и в этом домике — к о л о н и и ссыльных...* — Ср. с упоминанием Ремизовым при изображении и перечислении вологодских ссыльных: «“колонии” в доме Киршина (что-то вроде коммуны) неподалеку от Золотого Якоря <...>» (Иверень. С. 246); «Золотой Якорь» — единственная «первоклассная» гостиница в Вологде в период ремизовской ссылки.

Ссыльных ∞ было человек до пятидесяти. — Ср. с перечнем Ремизова своих собратьев по вологодской ссылке в кн. «Иверень» (гл. «Северные Афины»; С. 245–248).

...вожаки притягивали к себе более ∞ слабых... — Ср.: «Были среди ссыльных хорошие, симпатичные люди, все были людьми, верующими в свою идею. Но дышать было трудно в их обществе. Было страшное сужение сознания. Были люди довольно читавшие, но у среднего ссыльного уровень культуры был довольно низкий. То, что интересовало меня, не интересовало большую часть ссыльных. Меня считали индивидуалистом, аристократом и романтиком. <...> Я принадлежал к “аристократии” вместе с Ремизовым, Щеголевым, Савинковым, Маделунгом. А. Богданов и А. Луначарский возглавляли “демократию”. “Аристократия” была более независима в своих суждениях от коллектива, более индивидуалистична и свободна в своей жизни, имела связи с местным обществом, главным образом земским, отчасти с театром» (Б е р д я е в Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 128).

С. 250. *...давая себе зарок жить отдельно...* — В этой связи см. заключение современной исследовательницы биографии и творчества Ремизова: «Именно в Вологде, где в числе ссыльных были многие известные впоследствии общественные деятели, писатели и философы, <...> где царила атмосфера интенсивной духовной жизни, Ремизов сделал свой окончательный выбор, избрав не политическую деятельность, а литературное творчество. К такому решению его привело не ощущение своей непригодности как революционера-практика, не разочарование в людях, а потребность полной творческой самоотдачи. Ремизов на всю жизнь сохранил дружеские связи и добрые отношения со многими видными деятелями революционного движения разных толков. Луначарский вспоминал его как одного из самых интересных людей, с которыми он встретился в Вологде. Б. Савинков высоко ценил литературные советы Ремизова. При этом никто из былых товарищей по ссылке не упрекал Ремизова за прекращение его участия в практической борьбе. Для них это было понятно и оправданно» (Г р а ч е в а А. М. Революционер Алексей Ремизов... С. 436).

С. 251. *Ры́нда* — телохранитель, оруженосец.

С. 252. *...схватился Николай за некрологи...* — Ср.: «... в Вологде я писал “подорожие” (некрологи).

Всякий отбывший срок ссылки, в канун отъезда устраивал прощальный вечер, я заготовлял это “подорожие”, по-старому сказать подорожие, напутствие, некролог, а П. Е. Щеголев, большой искусник “выразительного чтения”, читает полным голосом, отчетливо выговаривая все буквы по писаному. Некрологи я писал на листе в виде свитка с закорючками и завитками» (Иверень. С. 250; ср.: Встречи. С. 108–109).

С. 254. *…тихо скончался за переводом с немецкого.* — Ср. с содержанием ремизовского вологодского «некролога» Иосифу Александровичу Давыдову (1866–1942), философу, одному из первых русских марксистов, экономисту, публицисту, автору книги «Что же такое экономический материализм?» (1900), в 1905 г. сотрудничавшему в журнале «Вопросы жизни»: «Иосиф Александрович Давыдов

— Автор Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?

— Давыдов?

— Давыдов, пиши! — понукая, говаривал П. Е. Щеголев. И Давыдов писал день и ночь, несмотря ни на какую погоду.

Вот он: сухой, на тонких вытянутых ножках, в розовой сорочке, желтые ботинки — издали напоминает портрет Канта с бородою; неизменно записная книжка в руках; щурясь записывает.

Покойный не любил неясного и неопределенного.

— Пардон-с, пожалуйста! — морщась, прижимал он левый кулак к сердцу, — постулирование абсолютного? все это бессодержательные слова. Leere Wörter! — и приведет латинское изречение или излюбленное философами: “это все равно, как если бы вместе с водой выплеснуть и ребенка из ванны”.

Я помню встречу: покойный отдыхал на диване в столовой у В. А. Жданова, в руках книга — скоро позовут чай пить. Я помню наши вечерние прогулки около Собора по бульвару: перешагнув через Авенариуса и Маха, покойный настойчнво требовал признания “злого начала” — черта.

Обладая даром ясновидения, однажды вечером по дороге в Золотой Якорь к Н. А. Бердяеву, Иосиф Александрович споткнулся и угодил носом в тумбу, а когда затворилась за нами дверь в № 1, он попросил стакан чаю и даже без лимона. Отличаясь трудолюбием, покойный тихо скончался за переводом с немецкого» (Иверень. С. 256–257).

Остролицый, будто высеченный из камня, Катинов… — Ср. в кн. «Иверень», где лицо Б. В. Савинкова уподобляется камню (с. 271; см. также с. 270).

С. 257. *…и со всего размаха ударил Николая.* — Возможно, прототипической для данного эпизода явилась ситуация, о которой поведал в своих дневниковых записях близкий друг Ремизовых В. В. Розанов: «Интересна их женитьба. Он пошел куда-то на сходку и его арестовали, сослали. В ссылке — “она” и началось с того, что она при первой встрече дала ему пощечину. Он разумеется извинился, сказав: “Простите, Сер<афима> Пав<ловна>, но я не агент полиции, а

несчастный студент". Естественно, что она после этого вышла за него замуж. "Его" и "ее" я всегда представлял как черную мышь грызущую "головку" голландского сыра» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724. Л. 203, сохранена орфография подлинника). Ср. аналогичное свидетельство М. В. Волошиной-Сабашниковой в кн.: Волошина-Сабашникова М. В. Зеленая змея: Мемуары художницы. СПб., 1993. С. 151. С другой стороны, здесь, видимо, отразилось и крайнее недовольство Б. В. Савинкова Ремизовым в связи с тем, что будущий писатель, по сути дела, отвлек С. П. Довгелло от участия в террористической деятельности боевой организации социалистов-революционеров (см. об этом: На вечерней заре 1. С. 156 и др.).

С. 258. *Смело, друзья, не теряйте / Бодрость в неравной борьбе...* — неточное цитирование начала стих. М. И. Михайлова «Смело, друзья! Не теряйте...» (1861), ставшего популярной революционной песней.

Родину-мать вы спасайте... — неточное цитирование первой строфы того же стихотворения.

С. 267. *За городом ... желтый дом.* — Реальная параллель ему — психиатрическая лечебница в Кувшинове под Вологдой, знакомая Ремизову как место работы его товарища по ссылке А. А. Богданова (Малиновского, 1873–1928), с помощью которого будущему писателю удалось в 1901 г. перевестись для отбывания ссылки из Устьсысольска (нынешний Сыктывкар) в Вологду (см. об этом: Иверень. С. 194–209).

С. 271. *...Катинов убежал из ссылки...* — Очевидно, намек на побег из Вологды Б. В. Савинкова в 1903 г. (см. об этом: Савинков Б. Воспоминания // Былое. Пг., 1917. Кн. 23. С. 149–150). Об отношении Ремизова к Савинкову и об их встречах см.: Иверень. С. 264–272 и др.

С. 272. *Дева днесь Пресущественного рождает...* — Цитата из Кондака (краткого песнопения, излагающего смысл праздника) Рождества Христова.

С. 273. *...как пойдут волки со звездой путешествовать?* — Ситуация объясняется неверным — детским — восприятием слов из Рождественского канона, читаемого по-старославянски: «Волсви со звездою путешествуют» и напоминающего о чудесно ведо́мых звездою волхвах (мудрецах-звездочетах), пришедших с Востока в Вифлеем поклониться и принести дары новорожденному младенцу Христу. Звезда, возвестившая им о его рождении, "шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец"» (Мф. 2, 9).

С. 275. *Царь Соломон* (Соломон Премудрый) — иудейский царь (965–928 гг. до н. э.), сын царя Давида.

С. 276. *Кли́рос* — место для певчих в церкви.

С. 278. *Затвор* — здесь: обет не выходить из своей кельи.

С. 284. *...плюнул прямо в лицо Николаю...* — Ср. с воспоминанием детства: «На Басманной, держась Никиты Мученика, ходил юродивый Федя. <...> Мы возвращались после уроков гурьбой. Навстречу Федя — издалека он завидел нас и руками что-то показывал. А когда мы с ним поравнялись и я очутился лицом к

лицу <...>, я невольно почувствовал — <...> его глаза, из самой глуби, смотрят на меня. И вдруг, как порезанный, вздрогнув — и все его кастрюли разом грохнули, — он отшатнулся и, наклонив голову, плюнул мне в лицо — прямо в глаза. Я только заметил, что стоим мы друг против друга одни — все разбежались. С восторгом закричал он свое "Каульбарс-Кайямас!" и, круто повернувшись, пошел. А уж собирался народ, видели! и шептались. <...> Медленно шел я, не по-моему, лицо горит — <...> и режет глаза, промыть бы! И еще я чувствовал, только словами не выговаривалось – это очень трудно сказать! ведь другой раз и кто это не знает, не то что слово, а чуть заметное, а все-таки замеченное движение, как резанет и долго потом напоминает о себе, как оклик» (Встречи. С. 176–177).

С. 287. — *Да будет воля Твоя!* — Цитата из Евангелия (Лк. 22: 42).

Почему старец у них прощенье просил? – Вкупе с предыдущей сценой в келье старца данная ситуация явно спроецирована Ремизовым на финал сцены посещения Карамазовыми старца Зосимы. Ср.: «...вся эта <...> сцена прекратилась самым неожиданным образом. Вдруг поднялся с места старец. <...> Старец шагнув по направлению к Дмитрию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился перед ним на колени. <...> Став на колени, старец поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги полным, отчетливым, сознательным поклоном... <...> Слабая улыбка чуть-чуть блестела на его губах.

— Простите! Простите все! — проговорил он, откланиваясь на все стороны своим гостям.

Дмитрий Федорович стоял несколько мгновений как пораженный: ему поклон в ноги – что такое? Наконец вдруг вскрикнул: "О Боже!" — и, закрыв руками лицо, бросился вон из комнаты. За ним повалили гурьбой и все гости, от смущения даже не простясь и не откланявшись хозяину» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т 14. С. 69–70).

С. 288. *Николай остолбенел.* — Ср. со сценой в «Преступлении и наказании», в которой незнакомый мещанин неожиданно бросает в лицо Раскольникову обвинение в убийстве (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 209).

С. 290. *...полки и шкапы, битком набитые книгами.* — Ср.: «В белом найденовском доме была огромная библиотека <...> все книги были под замком и ничего нельзя было трогать <...>» (Подстриженными глазами. С. 125, 156).

С. 293. — *Катинов и убил.* — Очевидный намек на убийство 4 февраля 1905 г. московского генерал-губернатора (1891–1905) великого князя Сергея Александровича (1857–1905) членом возглавляемой Б. В. Савинковым боевой организации эсеров Иваном (Яном) Платоновичем Каляевым (1877–1905), товарищем Ремизова по вологодской ссылке (в этой связи см. его письма жене от 24–25 и 25–26 апреля 1905 г.: На вечерней заре 3. С. 456, 458).

С. 295. *Много званых, мало избранных.* — Цитата из притчи Иисусовой о брачном пире (Мф. 22: 14).

С. 296. *Через кровь перешел...* — о перекличке этой фразы с «перешагнул через кровь» Раскольникова в «Преступлении и наказании» см.: Рыстенко А. В. Заметки о сочинениях Алексея Ремизова. Одесса, 1913. С. 15.

Вдруг Александр обнял Николая и... поцеловал... — ср.: Мф. 26: 49–50; Мк. 14: 45–46; Лк. 22: 47–54.

С. 299. ... *торчали, как три креста-виселицы.* — Очевидная аллюзия на Голгофу.

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ
(1907)

С. 304. ...*окончившего ... немецкий пансион...* — Ср. у Ремизова о Н. А. Найденове: «Он окончил немецкую школу Петер-Пауль-Шуле, для московских обруселых немцев, куда поступали и природные русские дети купцов» (Иверень. С. 40).

С. 312. ...*к Василию Егоровичу можно и не ходить...* — Ср.: «С пяти лет начав грамоту у Грузинского дьякона Василия Егорыча Кудрявцева, семи лет я поступил в 4-ю гимназию» (Подстриженными глазами. С. 169; см. также с. 32, 36).

С. 314. *«Ах, попалась, птичка, стой...»* — начало стих. А. А. Пчельниковой «Птичка» (1859).

«Что ты спишь, мужичок...» — начальная строка стих. А. В. Кольцова (1839).

С. 315. *Капля дождевая ∞ Громко так стучим?* — начальное четверостишие стих. А. Н. Плещеева «Капля дождевая» (1860, перевод из М. Гартмана).

С. 330. *Русско-турецкая война* — война 1877–1878 гг. за освобождение народов Болгарии от турецкого ига.

С. 342. *Хобот* — эвфемизм, иносказание, значение которого выясняется из содержания главки «X. (Хобот)» в автобиографическом повествовании Ремизова «Кукха. Розановы письма» (см.: Ремизов А. Кукха: Розановы письма. [Берлин], 1923. С. 89–90). Соответственно «"Слоны" — это "обладающие сверх божеской меры"» (Там же. С. 35).

С. 357. *Шаховцов* — в кн. «Подстриженными глазами» дважды упоминается протодьякон кремлевского Успенского собора Шаховцов, обладатель мощного баса (см. с. 273, 279).

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) — генерал от инфантерии, популярный герой туркестанских походов и русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

С. 359. ...*ударили к Страстям...* — зазвонили к Страстной службе.

С. 373. — *Каман савал ... Мирсити ...* — искаженные comment ça va и merci.

С. 391. ...*ушла блудница непорочною...* — Имеется в виду известный евангельский эпизод (см.: Ин. 8: 3–11).

...*рече ему: ты глаголеши.* — Цитата из Евангелия (Мф. 27: 11).

С. 397. *Лисенок, собачка Саши ∞ служил...* — В этой связи см. следующие отрывки из писем жене от 18 и 24 июня 1904 г.: «Взял нарисованные <старшим братом> Николаем портреты: Действующие лица "Пруда" — Прометей, о. Гавриил (в "позе": "ты меня не объел!"), Эрих, Прасковья, Сергей, своих 2 приготовишкой»; «И опять к переплетчику: отдам рисунки Николая, где Сергей, я, Лисик (собака), Эрих, Прасковья, о. Гавриил, Пруд» (На вечерней заре 2. С. 263, 267). См. также — в письме жене от 28 июня 1904 г.: «Я вспомнил собачоику <sic!> Лисику с перешибленной задней лапкой. И забыв о старике со свечой <sic!>, стал думать о этой собачке.

И прожил какой-то отчаянный час, надрываясь от бессилия не дать этому давно "пропавшему" Лисику мучиться» (Там же. С. 274).

С. 399. *...бился лбом, бился крепко, больно, больно, больно...* — Очевидная философема-отсылка к иррационалистическим построениям Льва Шестова. В этой связи см. следующее: «Шестов настаивает на неискоренимом трагизме человеческого существования, адекватной формой восприятия которого становится битье головой об стену. Одновременно познание трагизма приводит к переоценке ценностей, нарушается равновесие между миром и человеком, человек ставит себя над миром <...>. Таким образом, трагизм обостряет не только отчаяние, но и эгоизм, и "мораль трагедии" характеризуется движением человека "от гуманности к жестокости"» (Е р о ф е е в В и к. «Остается одно: произвол» (Философия одиночества и литературно-эстетическое кредо Льва Шестова // Вопросы литературы. 1975. № 10. С. 172). В печатной редакции «Пруда» 1911 г. эта отсылка завуалирована.

С. 400. *Эх, ты, гордый человек!* — Намек на монолог Сатина в пьесе А. М. Горького «На дне» (1902).

С. 411. *Преображение* (второй Спас) — праздник в память измеиения вида своего Спасителя на Фаворской горе, отмечается 6 августа.

С. 431. *...у «Василия Стаканыча»...* — Подразумевается Василий Степанович Лебедев, регент известного и популярного в конце прошлого века в Москве частного хора, часто упоминаемый Ремизовым в его письмах 1904 г. к жеие (см.: На вечерней заре 2. С. 240, 261 и др.), в кн. «Подстриженными глазами» (см. с. 189, 190, 191, 272–273 и др.) и в кн. «Встречи. Петербургский буерак», — см., в частности: «С регентом Василием Степановичем Лебедевым или, как его величали: Стаканыч — я встретился, когда был в голосе...» (Подстриженными глазами. С. 190). В. С. Лебедев был дядей упоминаемого выше Н. П. Суворовского.

С. 432. *«Подзорный»* — поднадзорный, находящийся под надзором. «Читал 1 ч<асть> «Пруда». <...> В заключение Суворовский играл на рояли: "Anima sola" и "Погребение". А теперь все спят» (На вечерней заре 2. С. 246).

С. 488. *...и вы не рыдали...* — Мф. 11: 16–17.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

Архивохранилища

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук (Санкт-Петербург).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

Собр. Резниковых — Собрание семьи Резниковых (Париж).

РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)

Печатные источники

Автобиография 1912 — Ремизов А. Автобиография 1912 г. / Публ. А. М. Грачевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993.

Автобиография 1913 — Ремизов А. Автобиография 1913 г. / Публ. А. М. Грачевой // Лица: Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993.

Взвихренная Русь — Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж: Таир, 1927.

Встречи — Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. Париж: LEV, 1981.

Иверень — Ремизов А. Иверень. Загогулины моей памяти / Подгот. текста, коммент. и послесл. О. Раевской-Хьюз. Berkeley, 1986.

Кодрянская — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959].

Мережковский 1–24 — Мережковский Д. С. Полн. собр. соч.: В 24 т. М.: И. Д. Сытин, 1914.

На вечерней заре 1–3 — На вечерней заре: Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло / Подгот. текста и коммент. А. Д'Амелия // Europa Orientalis. 1985. № 4; 1987. № 6; 1990. № 9.

Подстриженными глазами — Ремизов А. Подстриженными глазами. Париж: YMCA-Press, 1951.

Сирин 1–8	— Ремизов А. Соч.: В 8 т. СПб.: Сирин, 1910–1912.
Учен. зап. ТГУ	— Ученые записки Тартусского государственного университета.
Шиповник 1–8	— Ремизов А. Соч.: В 8 т. СПб.: Шиповник, [1910–1912].

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3
Грачева А. М. Жизнь и творчество Алексея Ремизова 8

ПРУД. *Роман*

Часть первая

Глава 1. Дом братьев Огорелышевых 31
Глава 2. Под диваном 43
Глава 3. Оглашенные 59
Глава 4. Дух вон, лапы кверху 67
Глава 5. Олаборники 73
Глава 6. Семивинтовое зеркальце 79
Глава 7. Мертвая грамота 86
Глава 8. Огорелышевцы 90
Глава 9. Ангелы земные — небесные человеки 96
Глава 10. Хранитель Божьей правды 106
Глава 11. Ладан херувимский 112
Глава 12. Пруд посмотреть 117
Глава 13. Театр 123
Глава 14. Прекрасная мати-пустыня 130
Глава 15. Монах 143
Глава 16. Бунт 149
Глава 17. На цветы 153
Глава 18. Маргаритка 162
Глава 19. Огорелышевское отродье 165
Глава 20. Деньги вперед 169
Глава 21. Серебряная свадьба 172
Глава 22. Розик 178
Глава 23. Стопудовое яйцо 183
Глава 24. Плямка 191
Глава 25. Раненое сердце 196

Часть вторая

Глава 1. Бесы служат ему 204
Глава 2. Сто усов — сто носов 211
Глава 3. Приидите ко мне! 215
Глава 4. Морильня 219
Глава 5. Каменная лягушка 222
Глава 6. Рождественская звезда 225
Глава 7. Латник 228

Глава 8. Пожар 233
Глава 9. Серый огонь 237
Глава 10. Котик беленький — хвостик серенький 240
Глава 11. Эпитафия 243
Глава 12. Мара́ 247
Глава 13. Суд 251
Глава 14. Расправа 258
Глава 15. Куда ветер гонит 261
Глава 16. Мертвая петля 265
Глава 17. Гарь 267
Глава 18. Дева днесь 271
Глава 19. Оракул 273
Глава 20. До́ма 276
Глава 21. Мать сыра-земля 279
Глава 22. Голыш-камень 282
Глава 23. Дом ломают 287
Глава 24. Много званых, мало избранных 295
Глава 25. В девятый час 298

Пруд. Роман (Вторая редакция)
Часть первая 303
Часть вторая 401

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подорожие (предисловие к Четвертой редакции) 505
А. Данилевский. О романе А. Ремизова «Пруд» 508
Комментарии 525
Условные сокращения, принятые в настоящем томе 570

Федеральная программа книгоиздания России

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ

Собрание сочинений

Том I

ПРУД

Роман

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Г. Л. Шацкий**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **Н. Д. Бучарова**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96.
Сдано в набор 30.12.99. Подписано в печать 03.04.2000.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. На вкл. — мелов. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,35. (в т. ч. вкл. 0,11).
Уч- изд. л. 32,68
(в т. ч. вкл. 0,04). Тираж 5000 экз. С–06. Зак. № 3009. Изд. инд. ЛХ-185.

Издательство «Русская книга» Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.